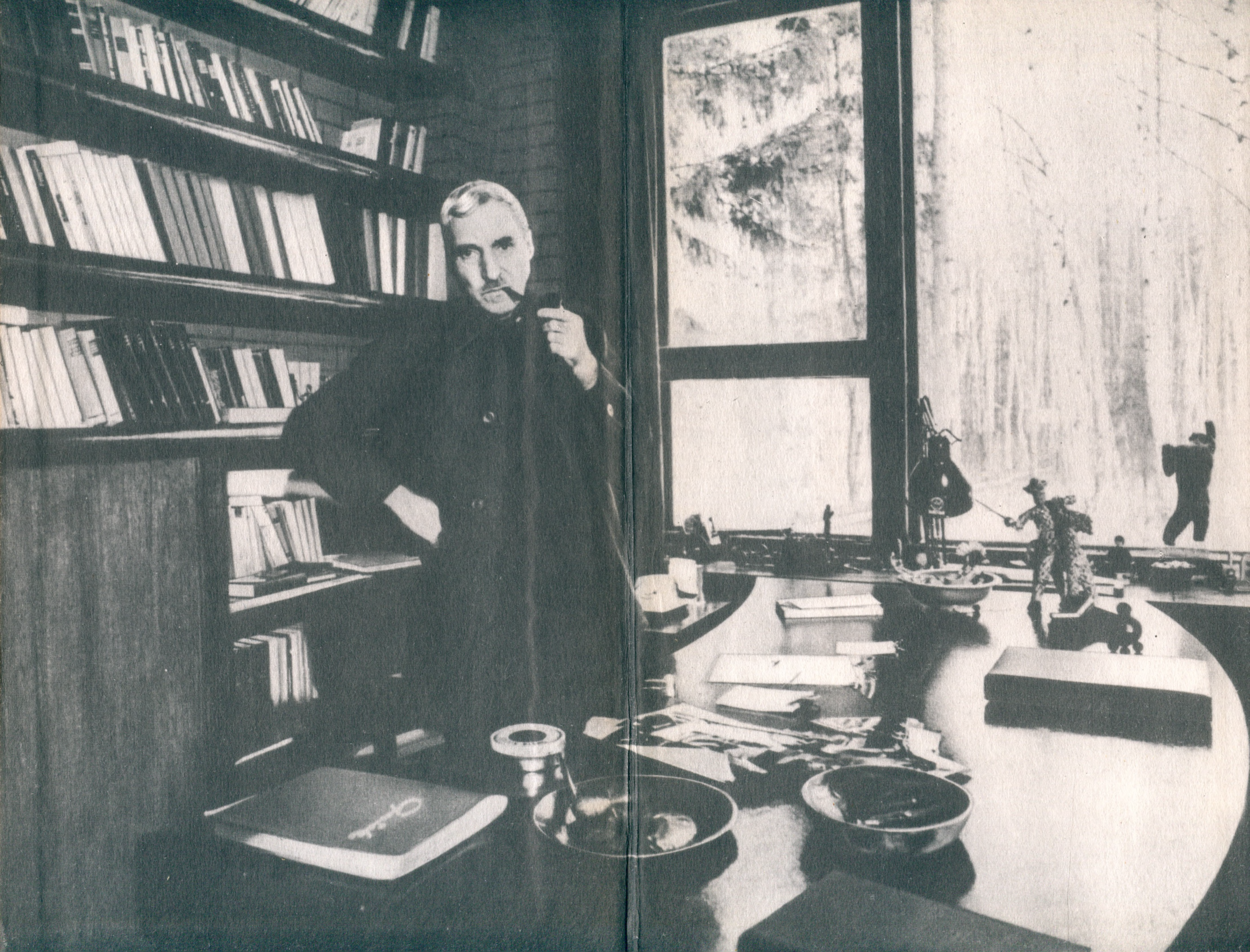
Константин Симонов



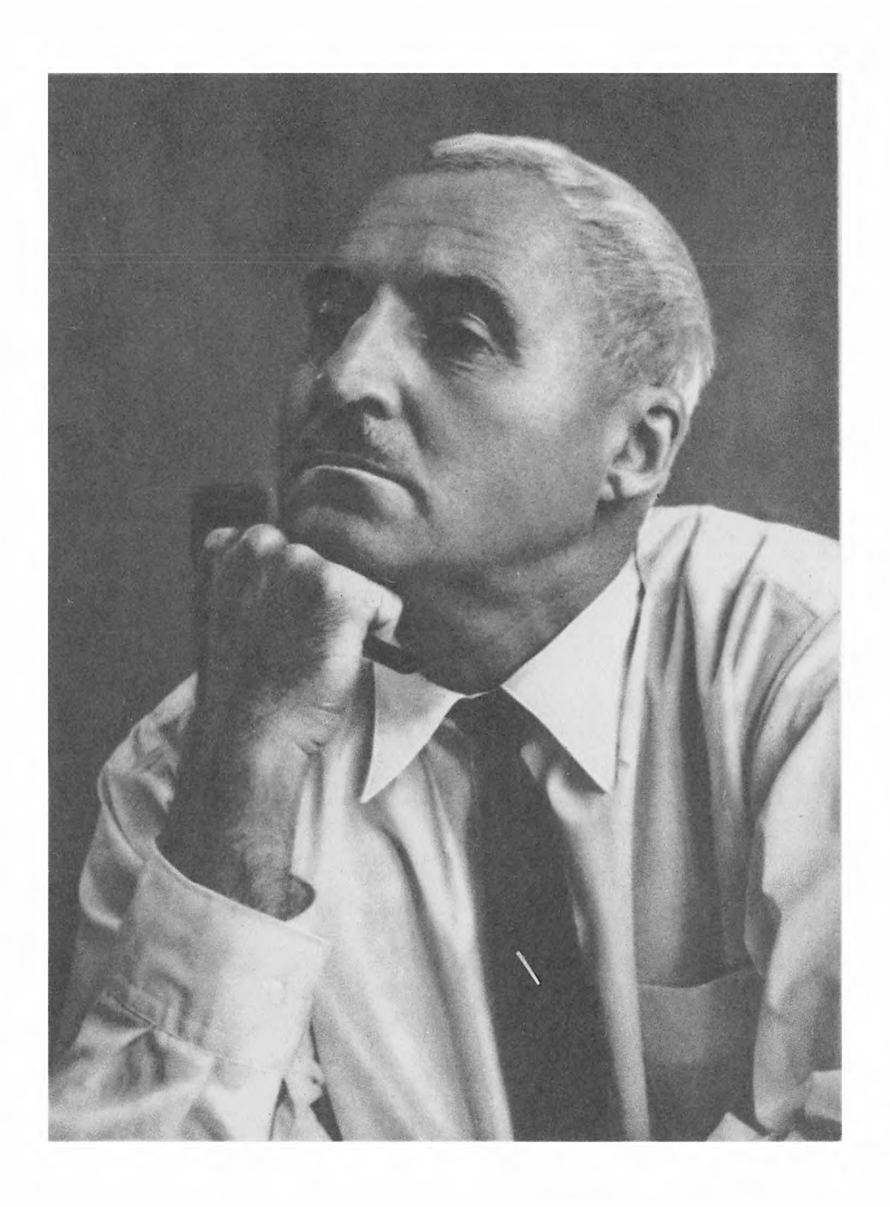
в воспоминаниях современников

Константин Симонов в воспоминаниях современников





В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ



Константин Симонов

в воспоминаниях современников

Москва
Советский писатель
1984

8Р2
К 65

Составители:
Л. А. Жадова, С. Г. Караганова, Е. А. Кацева

Художник
Владимир МЕДВЕДЕВ

В книге в качестве иллюстративного материала, наряду с фотографиями последних лет, используются архивные и любительские, плохо сохранившиеся фотографии. Публикуя их, издательство стремится показать читателям редкий фотоматериал, представляющий несомненный исторический интерес.

В сборнике использованы фотографии из личного архива К. М. Симонова. Публикуются фото М. Бернштейна, Р. Богданова, Г. Зельма, В. Каратаева, А. Карзанова, О. Кнорринга, П. Маныча, В. Мастюкова, М. Пазия, В. Пескова, В. Саксаганской, В. Темина, И. Тофрякова, П. Трошкина, Е. Халдея, Я. Халипа, а также фотографии, авторство которых не удалось установить.

$К \frac{4702010200-183}{083(02)-84}$ 18—83



Рязань. К. Симонов, его мать Александра Леонидовна Иванишева (третья слева) и отчим Александр Григорьевич Иванишев

Е. КАРПЕЛЬЦЕВА

ДЕТСТВО

Я — ровесница Кирилла Михайловича Симонова, мы учились в одной школе, в одном классе, и нас связывали с ним общие детские воспоминания. И хотя мы встречались изредка и будучи взрослыми (последний раз в 1974 году), мне кажется более важным поделиться воспоминаниями именно о тех, детских годах, когда складывалась личность и когда нет «мелочей», каждый маленький факт может стать зародышем будущего.

Хочется сначала рассказать о Рязани тех лет, по возможности передать атмосферу двадцатых годов.

Моя мать была учительницей начальных классов, отец — служащий на почте. В Рязань наша семья приехала в конце 1923 года. Отлично помню Рязань тех лет. Это был очень небольшой по теперешним масштабам городок, примерно на 40 тысяч жителей, утопающий в садах. Принято говорить о ветхих домишках, непролазной грязи и прочих атрибутах старого провинциального быта, но ничего такого в моих воспоминаниях нет. Старая Рязань, частично сохранившаяся и

поныне, отличалась четкой планировкой улиц — длинных и широких, обилием зелени. В центре стояло много красивых каменных домов, которые на первых порах просто поразили мое детское воображение невиданным великолепием. Они целы, к счастью, и сейчас: банк, Дворец труда (теперь облисполком), бывшая гимназия (о ней упоминает в письме юный Белинский, проезжавший через Рязань) — все это широкая Астраханская улица, переименованная в 1924 году в улицу Ленина. Конечно, большинство домов были деревянные, иные и ветхие. Но и деревянные не уступали красотой каменным — высокие крылечки, резные наличники, широкие «итальянские» окна. Ну, а незатейливые трехоконные домишки украшали яблоневые ветви, свисавшие из-за заборов, и всех цветов герани в окнах.

Особой грязи на улицах не помню. Но лужи — лужи были! И доставляли они нам, детям, массу радости, так что тут у нас взгляд на благоустройство был отнюдь не совпадающий с общепринятым. Ведь что может быть приятней — после хорошего летнего ливня побродить в глубокой луже или пускать в ней бумажные кораблики!

Жили мы с Кириллом на разных улицах, но в одной части города, а именно той, что выходила к лугам, к Оке, то есть в северо-восточной и наиболее древней части. Здесь неподалеку были остатки знаменитого земляного вала, насыпанного для защиты от татар, дальше — крутой берег реки Трубеж, а на нем высится и до сих пор величавый собор.

Наш домик стоял на углу улиц Владимирской (дорога на Владимир) и Подгорной. Как говорит само название — небольшая, кончающаяся тупичком уличка действительно располагалась под склоном Владимирской горы. Зимой здесь было раздолье для мальчишек и девчонок с санками! Не помню точно и не хочу сочинять, но думаю, что и Кирилл непременно бывал в толпе мальчишек, которые лихо слетали на салазках по нашей горе. Между прочим, в этих зимних ватагах была задорная рыжеволосая девчушка Лида — будущий известный художник, лауреат Государственной премии Л. А. Ильина; толстенький, похожий на медвежонка Борька — теперь заслуженный артист БССР Б. Кудрявцев.

Когда по горе стремительно скользили крестьянские сани-розвальни, ребята как воробьиная стая налетали на них с криком: «Дядя, прокати, прокати!» — и иной мужичок добродушно говорил: «Садись», а иной и сердито замахивался кнутом. Изредка проезжали и извозчичьи сани, то облупленные, то с богатым меховым пологом — в зависимости от достатка владельца.

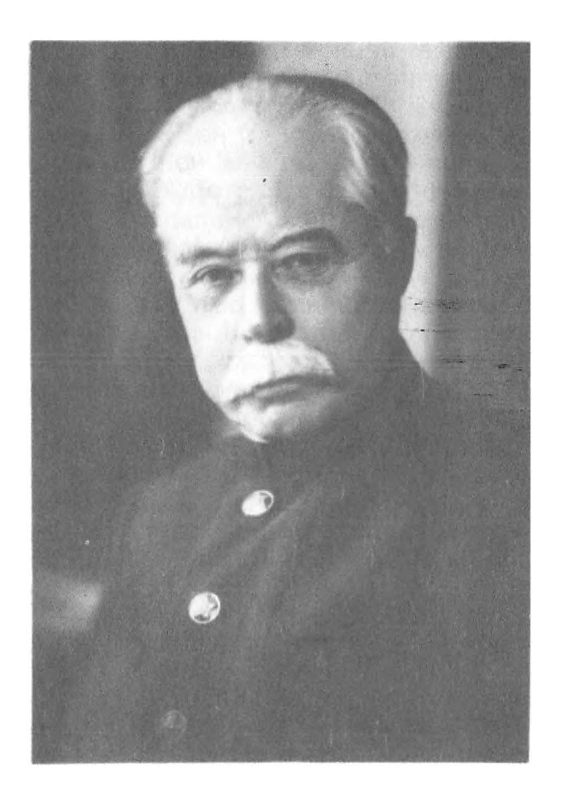
Владимирскую, впоследствии улицу Свободы, пересекала улица Садовая, название которой сохранилось. Она-то и упоминается в поэме Симонова «Отец», на ней он жил некоторое

время в раннем детстве. К сожалению, в каком именно доме — не знаю. Зато целехонек дом № 20, где Кирилл учился музыке у старой и строгой учительницы Екатерины Алексеевны Сухоручкиной. У нее же училась и я. Давно нет в живых Екатерины Алексеевны, но в глазах так и стоят ее маленькие сморщенные руки, которые так удивительно быстро могли бегать по клавишам. Насколько помню, особого прилежания Кирилл к музыке не проявлял, мои успехи были тоже скромны, но была одна причина, скрашивавшая наши скучные уроки. В доме учительницы был кабинет с огромной (по тогдашним меркам) библиотекой. Книги стояли на стеллажах от пола до потолка. Не знаю уж, кто из нас первый открыл эту сокровищницу, но мы стали прибегать к хитрости: приходили на урок задолго до назначенного времени, и Екатерина Алексеевна говорила: «Иди подожди в кабинете». Вот тут-то и наступало блаженство — порыться в книгах на нижней полке и даже почитать что-то, глотая наспех страницы. Помню, что в самом низу лежали старые комплекты журнала «Нива» за 1912-й и другие годы, вот их-то я в основном и поглощала, вероятно — Кирилл тоже. Были еще там тома различных изданий Брокгауза и Ефрона, но их трогать мы не решались, разве только полюбоваться обложкой с золотым тиснением.

Однажды мы почему-то вышли с урока музыки вместе (кажется, он решил меня подождать). Кирилл предложил: «Пойдем, покажу, где я живу». Мы прошли всего минут пять и оказались на улице Либкнехта перед небольшим и неказистым деревянным домиком с мезонином. Я очень удивилась, потому что знала, что в этом домике живет наша учительница Евдокия Васильевна Ананьина со своим братом Иваном Васильевичем. Кирилл стал приглашать зайти к нему, но я почему-то решила, что он шутит, и даже испугалась: а вдруг он втолкнет меня в комнату учительницы, а сам убежит? И я предпочла убежать сама, о чем сожалею до сих пор.

Недавно мне довелось поговорить с человеком, знавшим Кирилла еще ребенком, каким он приехал в Рязань. Это Мария Петровна Левченко, медсестра по профессии, ей сейчас 79 лет, но она активна, голова ясная, память отличная. В 1918—1920 годах она работала машинисткой в военкомате, Александра Леонидовна — мать Кирилла — была там же делопроизводителем. Они подружились, хотя Александра Леонидовна была старше.

Мария Петровна подтвердила мне адреса, где жил Кирилл, — их несколько. Первый дом — на улице Свердлова в тупике, номера не знаю, затем Садовая улица — дом отчима Кирилла Александра Григорьевича Иванишева, затем казармы на территории Спасского монастыря и, наконец, тот самый дом с мезонином на улице Либкнехта № 52; на этом доме есть мемориальная доска о том, что здесь жила одна из



Александр Григорьевич Иванишев — отчим К. Симонова. 1955 г.

участниц борьбы за установление Советской власти в Рязани Наталия Годунова.

Мария Петровна рассказала также, что часто мать приводила маленького Кирилла на работу, где-то за канцелярскими шкафами устроили ему на стульях постель. Мальчик был очень привязан к матери, ласков, приветлив, его все любили, но тем не менее какое-то начальство, обнаружив ребенка, сделало строгое внушение, и Александре Леонидовне пришлось срочно искать няню.

Вернусь к собственным воспоминаниям.

Есть в Рязани улица Революции (бывшая Соборная). На ней была школа, которая ведет свое летосчисление еще с первых «цифирных» школ. Теперь это средняя школа № 2. В двадцатых годах она именовалась «опытно-показательной», а затем получила имя Н. К. Крупской.

Именно в этой школе и увидела я впервые мальчика Кирилла — среднего роста, очень подвижного и с очень красивыми, с каким-то мягким блеском, карими глазами. Впрочем, ника-

кой первой встречи я, конечно, не помню. Вообще первый класс совершенно не запомнился, а во втором помню лишь учительницу — Клавдию Васильевну Филатову. Впоследствии она стала одной из первых заслуженных учителей в городе, работала долго, и когда, уже известный писатель, К. Симонов приехал в Рязань, они встретились. Однако, как я уже упоминала, в третьем классе нашей учительницей была Евдокия Васильевна Ананьина, и именно с этим временем связаны уже отчетливые воспоминания о школе и о Кирилле. Самое интересное — это, конечно, наш спектакль.

Напомню, что в те годы царило повальное увлечение самодеятельными спектаклями. Играли всюду — от детских садов до рабочих клубов, которых, кстати, было тогда немало в Рязани. У каждого профсоюза был хоть малюсенький, да свой клуб. Что уж говорить о школах, где частенько подготовка спектакля увлекала ребят куда больше самих уроков. Причем ставили не какие-нибудь сказочки, а что-нибудь обязательно революционное, патетическое, чтобы были пламенные диалоги о свободе, выстрелы, развевающиеся знамена. Переделывали классику, писали пьесы сами...

Пьеса, раздобытая для нас учительницей, называлась «Восстание рабов», автора не знаю. Речь шла о борьбе негров за освобождение, в числе действующих лиц были такие знаменитые люди, как Джон Браун и писательница Гарриет Бичер-Стоу. Были в пьесе и погони, и жестокие схватки «северян» и «южан», и даже лирические объяснения героев.

С восторгом принялись мы за репетиции, учили роли даже на уроках, за что нам жестоко влетало от строгой Евдокии Васильевны, сами шили костюмы, делали декорации, в чем активно помогали и родители, в частности мать Кирилла.

Кириллу поручили роль Джона Брауна. Каким великолепным казался он нам в своих длинных брюках (обычно он ходил в коротких штанишках до колен), с картонными пистолетами за поясом и с намалеванными углем усами! Мне очень хотелось сыграть Бичер-Стоу, но досталась роль Мери Топан — невесты Брауна. Слово «невеста» повергало в смущение, но... искусство требует жертв. Мистрис Топан (мать Мери) играла очень рослая школьница Таня Галай. Недавно мы встретились с Татьяной Яковлевной и долго, с упоением перебирали воспоминания, все детали спектакля...

Когда мы встретились с Кириллом в 1955 году, я спросила его, не вспоминал ли он во время своей поездки по Америке наш спектакль и свою роль защитника негров. Он улыбнулся и сказал, что, честно говоря, — нет, специально не вспоминал, но какой-то «подголосок», что ли, в душе был.

Учился Кирилл хорошо, но сказать, что лучше других, — нельзя. У нас была довольно большая группа способных ребят. Да и отметки тогда нам либо не ставили, либо ставили

лишь «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Ведь в те годы по каким только системам не учили! И комплексное обучение, и «бригадный» метод и т. д. и т. п.

В четвертом классе у нас было два учителя: по литературе — Георгий Васильевич Фалин, по арифметике — Иван Сергеевич Васильев.

Надо сказать, что в четвертом классе мы часто писали сочинения на вольную тему. Лучшие сочинения читали вслух на уроке. Такой чести частенько удостаивались сочинения Кирилла. Остались в памяти слова Фалина — учителя, горячо любимого нами. Он говорил обо мне и Кирилле вместе: «Вот смотрите, они самые младшие в классе, а пишут лучше всех и читали книг больше каждого». Попадало Кириллу только за небрежность, он вечно сажал в тетрадях кляксы, и руки у него всегда были в чернилах.

Не помню, писал ли он в то время стихи, но вот рисунки его украшали все школьные выставки. Рисовал он очень хорошо, и больше всего — на военные темы: красноармейцы на конях, портрет Фрунзе — это был его любимый герой. Рисовал в основном карандашом, а не красками. Кстати, рисование у нас преподавал известный художник Киселев-Камский — седенький старичок, которого мы — увы! — совершенно не слушались и на его уроках вели себя совсем вольно. Кирилл тоже не прочь был не только поболтать с соседом по парте, но и вскочить с шумом с места, пробежаться по рядам, кого-то задеть по макушке... И при всем этом — лукавый блеск глаз и обаятельная улыбка.

Еще один характерный эпизод. Однажды в третьем классе Евдокия Васильевна, раздавая нам тетради, потрясла перед всеми сильно измазанной тетрадью Кирилла и принялась отчитывать его за неаккуратность. А потом взяла и разорвала пополам его тетрадь: дескать, стыдно такую и в руках держать. Кирилл вскочил с места, страшно покраснев, и вдруг буквально закричал: «Зачем вы это сделали? Вы не имеете права рвать тетради!» Мы просто все оцепенели, потому что побаивались весьма суровую учительницу, которая еще по старинке и в угол нас ставила на уроке. Но у десятилетнего Кирилла, видимо, было сильно развито чувство достоинства. Он собрал клочки тетради и сказал: «Я буду жаловаться в учком». А тогда ведь учком заседал вместе с педсоветом, и подобные конфликты решались сообща. Наша одноклассница Таня Галай была членом учкома. Она помнит, что случай с разорванной тетрадкой действительно разбирался на педсовете и Евдокия Васильевна призналась, что она погорячилась.

Уехал Кирилл из Рязани осенью 1927 года, когда мы были в пятом классе. Перед отъездом он зашел ко мне проститься. Я была очень поражена и растрогана этим, так как последнее время мы были в ссоре. Обиделась я на него по каким-то



Симонов. 1934 г.

пустякам, но главным образом не стала дружить с ним из-за того, что меня донимали в школе прозвищем «невеста» и пели вслед издевательски:

Тили-тили-тесто,
жених и невеста...

Как хорошо помню я эти несколько минут! Стукнула во дворе калитка, мама вышла и говорит: «Лена, иди, к тебе Кира пришел». Я выскочила, ничего не соображая, страшно взволнованная. Смотрю, стоит Кирилл — необычно тихий, потупившись, в руке плетеная корзинка, с какими тогда ходили за покупками.

— Вот ходил за хлебом, — невнятно пробормотал он, — и зашел. Мы уезжаем. Совсем. Прощай.

Опять звучно хлопнула калитка, и вместе с ней захлопнулась и одна из дорогих страниц детства.



К. Симонов и Е. Долматовский. 30-е годы.

ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ

НЕКОТОРЫЕ СТРАНИЦЫ ВСЕЙ ЖИЗНИ

Первая отдельная квартира

Я понимаю, что рассказ о том, как мы попали в отдельную квартиру, теперь неактуален и ничем не примечателен для современного читателя. Но мне этот эпизод запомнился на всю жизнь, да и Симонов любил его вспоминать.

В поэме «Пять страниц» есть строки:

Может, просто нам тесно?
  Но семь с половиною метров,
Если все хорошо, —
  разве этого мало для двух?

Хотя поэма подчеркнуто отделена от судьбы автора и использован немудреный прием — найденные случайно чужие письма, — метраж симоновской жилплощади того периода, который для его друзей в знакомых деталях отчетливо проступал сквозь условные обстоятельства поэмы, был назван точно — семь с половиной метров.

В поэме «Первая любовь» присутствуют «мужские неуютные углы», а «метраж» все тот же — семь с половиной метров:

Весь этот мир, в длину и ширину
Давно измеренный тремя шагами...

В поэме «Иван да Марья» описывается общежитие начсостава в монастыре:

...где я, позвольте представиться,
Жил в соседней келье направо
С мамой, с папой в маленькой комнате...

Я мог бы еще цитировать, но, пожалуй, достаточно приведенных строк, чтоб точнейшим способом — при помощи стихов — вспомнить, что Симонов вырос в коммунальных квартирах, впрочем, как все его сверстники.

Нет, не все! Один юноша из нашей компании — артист Владимир Дыховичный (он начинал как артист, читал с эстрады наши стихи, а потом сам увлекся сочинительством, особенно преуспел в комедийной драматургии; одна из пьес написана им в соавторстве с Симоновым) имел отдельную квартиру. Уточняю: квартира принадлежала его отцу — архитектору. Строительство в Москве тридцатых годов только начиналось, возведение каждого дома становилось событием. Возникло несколько кооперативных домов, может быть дватри на всю столицу.

При всей исключительности таких событий, существовала традиция — архитектор получал отдельную квартиру в возведенном по его проекту доме. Дыховичный приглашал товарищей в родительские хоромы, но тогдашние молодые люди были народ занятой, визит все откладывался.

Однажды Дыховичный собрался на гастроли, родители его уехали за город, а Симонову и мне была вручена целая связка ключей: нам предоставлялась невероятная возможность пожить три дня в отдельной квартире. Не скрою, старшие Дыховичные не хотели оставлять квартиру без присмотра: как всегда бывает летом, возникли фольклорные истории о ворах-домушниках, особо интересующихся отдельными и, уж разумеется, кооперативными квартирами. К тому же в квартире оставалась кошка, ее надо кормить.

Проводив Дыховичного на Курский вокзал, гордые оказанным доверием, мы отправились в Большой Харитоньевский переулок, отомкнули солидную тяжелую дверь и вошли в переднюю.

Симонов отразился в большом зеркале, долго причесывался и рассматривал себя так, словно видел впервые этого тощего подростка в серой кепочке, в рубашке с расстегнутым воротом.

— Начнем с экскурсии, — сказал он деловито. — Мы должны принять квартиру в свое владение на весь срок отсутствия хозяев.

Должен признаться, что я с тех дней, с тысяча девятьсот тридцать пятого года, ни разу не заходил больше в Харитоньевский. Вполне возможно, что в последующие времена квартира Дыховичных не произвела бы на нас никакого впечатления.

Но тогда...

То была первая квартира, отдельная, построенная архитектором для себя и отданная в наше распоряжение — не во владение — на пятницу, субботу и воскресенье!

Большое зеркало увеличивало размеры передней или прихожей — мы еще не определили, как ее называть.

Стеклянная двустворчатая дверь вела в столовую, широкий коридор уходил направо — там были еще двери.

Столовая! Наверное, это была вовсе не огромная комната. Сейчас вспоминаю, что весь ее центр был отдан овальному обеденному столу, к которому довольно близко примыкал сервант, стулья теснились у стен. Больше ничего не умещалось и не могло уместиться в той комнате, но нам она показалась огромным бальным залом. Может быть, содействовала такому впечатлению старинная, очень изящная люстра в виде нежно светящейся фарфоровой вазы, обрамленной хрустальными подвесками на золоченых крючках...

— Мы не будем здесь питаться, — решил Симонов. — Еще поцарапаем стол, чего доброго, раскокаем что-либо из посуды.

Я заметил, что и на кухне вполне уютно.

Кабинет! Предполагаю, что это тоже была достаточно скромная комнатка: письменный стол, книжный шкаф темного дерева, два кожаных кресла и диковинное приспособление, кажется именуемое кульманом.

Симонов особо внимательно осмотрел кабинет, потрогал дверцы книжного шкафа и убедился, что он заперт.

— Дыховичные совершенно правильные старики! — весело сказал он. — Товарищей сына рискованно пускать в кабинет. Когда у меня будет свой кабинет, туда никому не будет ходу. Но если и оставлять кабинет открытым, то уж книжные шкафы непременно надо замыкать. Я уже вижу, как ты жадно разглядываешь золотые корешки энциклопедии Брокгауза и Ефрона, и если бы шкаф был открыт, ты бы занялся круглосуточным повышением своих энциклопедических знаний. Теперь давай установим порядок пользования кабинетом. Один будет работать за этим столом по ночам, другой — днем. Выбор — по жребию. Вот пятак. Орел или решка? Орел — ночь, решка — день. Бросай первым. Решка. День твой, ночь моя.

Симонов с юношеской поры был невероятно деловит, организован, и очень хотелось ему всегда быть справедливым, хотя и не всегда удавалось. Не раз решение того или иного вопроса доверялось жребию. Например, когда — несколько позже описываемого выше случая — мы отправились в Баку и переводили стихи для антологии азербайджанской поэзии, дело это было коллективное: жили в одном номере, переводили «на пару». У нас в руках оказались разные подстрочники — и классика, и современные авторы, примерно в равных количествах. Когда работа была завершена, Симонов предложил не подписывать двумя фамилиями, чтоб не задавать загадок — чей вклад больше, а разыграть при помощи монеты, кому подписываться под переводом классиков, а кому — современников. Классики — орел, современники — решка. Орел достался Симонову...

Решив проблему использования кабинета, мы вступили в спальню. Наше поколение выросло (говорят, что во сне растут!) на раскладушках и койках, на старых диванах и матрацах со сбитым конским волосом.

Впервые в жизни нам предстояло возлежать на ложе из карельской березы. Но использовать хозяйское одеяло и простыни мы не сочли возможным, решили, что принесем свои собственные, но ходить за ними было недосуг, поэтому первую ночь спали прямо на матраце, правда не пожалев подушек.

В коммуналках, где мы жили до этого роскошного дня, были, конечно, ванные комнаты, но использовались они преимущественно для стирки, причем согласно определенного графика, а что касается купанья, то оно ограничивалось душем. Добывание горячей воды усложнялось тем, что колонки были преимущественно дровяные, требовали и времени, и уменья, поэтому мы предпочитали ходить в душевой павильон, стоявший на Гоголевском бульваре, как раз между моим материнским домом и Главным политическим управлением армии...

Мы и в этой — первой в нашей жизни отдельной — квартире со всеми удобствами по привычке каждый день, то есть три дня подряд, принимали душ, не решаясь попользоваться фарфоровой (конечно, она казалась нам фарфоровой!) ванной.

Незабываемые, волшебные дни! Три дня сказки!

Мы так старательно стерегли квартиру Дыховичных, что и на улицу-то выходили по очереди — покупали молоко для кошки, хлеб и немудреный провиант для себя. Варить и жарить нам не хотелось, питались по-студенчески, всухомятку. Впрочем, на кухне (почему-то на полу) была обнаружена алюминиевая кастрюля, наполненная до краев.

Разогрели. Симонов попробовал, сказал, что суп великоле-

пен. Правда, когда пришло время откушать, в кастрюле был обнаружен клочок газеты, небольшой и совсем раскисший, можно сказать — сварившийся.

На третий день к вечеру вернулись с дачи хозяева квартиры. Мама Дыховичного очень хвалила нас за аккуратность. Такие хорошие у Володи товарищи! Все содержали в порядке, на кухне мыли посуду, а помои, которые она забыла в кастрюле на полу, убрали и кастрюлю вычистили.

В 1942 году Симонов впервые получил квартиру в доме № 25 на Ленинградском шоссе. Я как раз приезжал тогда на побывку в Москву и оказался на новоселье. Симонов в одном из тостов вспомнил наши первые три дня в отдельной квартире:

— Такого вкусного супа мне больше едать не приходилось!

Выбор имени «парню из нашего города»

Большая и неуклюжая писательская дача в поселке Переделкино была несколько перестроена, разгорожена на клетушки и названа Домом творчества. Особой популярностью тогда дома творчества еще не пользовались, и мы без унижений получили путевки, поселились в соседствующих комнатах и засели за сочинение пьес. Поскольку задуманы были пьесы о войне, в самом начале работы мы провели деловое совещание, на котором распределили зоны влияния.

Дело в том, что главным героем еще не написанных пьес должен был стать человек нашего поколения, то есть выросший в советском мире и оказавшийся на войне. За плечами Симонова были Халхин-Гол и освободительный поход в Западную Белоруссию, а за моими — тот же поход и война с белофиннами. Мы рассказали друг другу столько об увиденном, да и вместе повидали так много нового и неожиданного, что возникла опасность появления схожих ситуаций в будущих пьесах.

Поделились замыслами, и Симонов определил:

— Мой герой — кадровый командир, посвятивший себя с юности военному делу, гарнизонной жизни, училищу, выполнению особых заданий командования. (Мы тогда уже состояли на особом учете в Главном политическом управлении Красной Армии и уже дважды получали предписание «для выполнения особого задания», чем очень гордились.) А твой герой — штатский-прештатский гражданин, которому приходится надевать шинель, чтобы после окончания военных действий снова ходить в пиджачке. Это совершенно разные персонажи. Поскольку фон у нас может оказаться одинаковым, — скажем, та осень, которую мы видели при походе в Западную Белоруссию, — важно, чтоб герои были разные. Я беру себе

кадрового военного героя, а ты уж веди линию приписного штатского.

Меня вполне устраивало такое распределение, мне был интересен именно штатский герой. У Симонова, выросшего в семье военного, был иной кумир.

Мы пришли к соглашению и засели за работу. Работали, не вставая, с рассвета часов до семи, а потом шли к Александру Афиногенову играть в «маджонг» (сейчас увлечение этой игрой прошло; смутно помню: это китайское красивое разрисованное лото, кубики из слоновой кости)... Играл Симонов вдумчиво, как говорят шахматисты, в комбинационном стиле. Но это была единственная игра, за которой я его видел. Он считал игры пустым времяпрепровождением, а если включался в игру, то рассматривал ее, как ребенок модель: как ходят фигуры, в чем секрет победы. С Афиногеновым, который был немного старше нас, но уже в ту пору стал знаменитым драматургом, мы подружились легко и случайно. У него был (в ту пору редкость!) малолитражный автомобиль, он однажды подвез нас из Дома творчества в Москву, пригласил заглянуть на чаек, отсюда и пошли почти ежевечерние встречи.

На одном из чаепитий Симонов довольно подробно и обстоятельно изложил фабулу своей пьесы. Афиногенов был в восторге:

— Костя, ты сам не понимаешь, какая будет пьеса: еще никто не вывел на сцену воина наших дней. Были люди гражданской войны, была «Слава» Виктора Гусева, была условная война в «Последнем решительном» Всеволода Вишневского. Но Испания, Халхин-Гол! Это удивительно!

Заговорили о главном герое. Симонов прочитал стихи, которые мне и тогда казались, и теперь видятся замечательными.

Еще до большой войны Симонов напечатал их, назвав главами из поэмы «Родина». В собрании сочинений она в разделе поэм и называется «Далеко на Востоке». Я считал еще тогда и уверенно утверждаю ныне, что главы из поэмы «Родина» — кредо военно-патриотической поэзии.

А что касается творчества самого Симонова, то в этой поэме уже тогда был заложен образ всех будущих героев стихов, поэм, романов, пьес и очерков — профессионального кадрового командира, «военной косточки». Таких людей искал и находил Симонов на Великой Отечественной, влюбленно писал о них.

В главах из поэмы «Родина» герой-танкист назван Денисовым. Афиногенов, прослушав стихи, предложил и в пьесе сохранить фамилию. Но Симонов опасался, не возникнет ли у читателя по ассоциации и в связи с недавно опубликованными

его историческими поэмами неожиданно и некстати образ Дениса Давыдова...

— Ну, хорошо, а какое имя вы дали «парню из нашего города»?

— Сергей.

— Есть еще фамилии у действующих лиц или только имена?

— Есть. Но Сергей пока без фамилии. Никак не придумывается.

— Можно оставить другим героям только имена?



Свердловск. Март 1939 г. Слева направо: С. Михалков, П. Бажов, К. Симонов, А. Роскин.

— Было бы можно, но теперь я привык к тем, кто с фамилиями.

— Тогда будем искать фамилию для Сергея.

В крещении героя участвовала жена Афиногенова — американка Дженни. Она с очень милым акцентом утверждала, что фамилия танкиста должна быть Иванов — самая обобщающая русская фамилия.

Афиногенов неожиданно спросил Симонова, какая фамилия ему вообще нравится.

— Ну, скажем, если бы вы были не Симонов, какую бы вы фамилию не возражали носить?

Симонов не задумываясь ответил:

— Луконин!

Михаил Луконин был моложе нас года на три, но принадлежал почему-то к другому поколению. Впрочем, это не мы, а

критики так считали. Для нас же он был славным товарищем, близким человеком. Особенно полюбил его Симонов, когда Михаил вернулся с Карельского перешейка, из лыжного батальона, возмужавший, посуровевший, замкнутый.

— Луконин? — переспросил Афиногенов. — Есть, кажется, такой начинающий поэт. Что ж, отменная фамилия для героя. Я думаю, и молодому поэту будет лестно, что герой пьесы и военный герой — его однофамилец.

На том и порешили. Майор Сергей Луконин — танкист — начал свою жизнь на страницах будущей пьесы.

Когда «Парень из нашего города» уже репетировался в Театре Ленинского комсомола, Михаил Луконин прослышал, что в пьесе фигурирует его однофамилец.

Произошло нечто неожиданное: Михаилу Луконину использование его фамилии показалось обидным, а выбор Симонова — просто нетоварищеским поступком.

— Неужели ты не мог поставить в список действующих лиц любую другую фамилию? А если я напишу пьесу о футболистах и дам главному герою, центр-форварду, фамилию Симонов? И все будут говорить: вот поэт Симонов — однофамилец футболиста из пьесы!

Я убеждал Мишу, что ничего страшного не произошло, в конце концов не все же население побывает в Театре Ленинского комсомола... Но он был абсолютно уверен, что пьеса «Парень из нашего города» станет всесоюзно знаменитой (и оказался прав!).

Конфликт, в общем-то, был улажен, до ссоры не дошло, но горечь осталась... И кажется, и у Симонова, и у Луконина... У Луконина — из гордости, у Симонова — из-за неожиданности ситуации.

Лет через двадцать мы — то есть Симонов, Луконин и я — оказались в Киеве на днях литературы РСФСР. При первой же встрече с украинскими писателями мы с Лукониным оказались свидетелями вот такого эпизода: к Симонову подошел наш общий знакомый писатель Леонид Серпилин и завел такой разговор:

— Говорят, моя фамилия очень вам понравилась. Но вы могли бы спросить меня, хочу ли я быть однофамильцем вашего героя. А я, представьте, против!

Симонов очень смутился. Его ответ был, скажем прямо, недостаточно убедительным:

— А вот писатель Ваганов (был такой поэт и драматург) даже благодарил меня за то, что его фамилия фигурирует в «Истории одной любви»...

Луконина эта беседа невероятно развеселила:

— Вот мы объединимся и сочиним протест! Кстати, в «Истории одной любви» есть среди действующих лиц Марков, в «Русских людях» — Сафонов и Глоба, есть еще Козловский,

он же Василенко, в «Парне...» — Гулиашвили, почти что Гулиа. Теперь уже ясно, что ты беззастенчиво черпаешь фамилии для своих героев из списка Союза писателей. А работнику Союза Басаргину особенно повезло: он и в твоем «Дыме отечества», и у Паустовского в «Рождении моря» завел себе однофамильцев!

Вечером, за ужином, Луконин подтрунивал над Симоновым:

— У тебя в романе, кажется, намечаются образы двух медсестер? Могу предложить их имена и фамилии: Анна Караваева и Мариэтта Шагинян...

Выездные сессии дружбы

Москва была рабочим местом Константина Симонова. Уже немало рассказано о строгом дневном расписании, о том, что все его двадцать четыре часа были загружены не только (но обязательно и непременно) собственными сочинениями, но и еще заботами государственного и общественного характера, чтением книг и чужих рукописей, ответами на письма и обращения, деловыми встречами, заседаниями, совещаниями (не всегда необходимыми, но приобретавшими благодаря его участию и значительность и смысл) и т. д. и т. п.

Не оставалось времени не только на отдых.

Почти не оставалось времени на дружбу.

Она в московских условиях тоже превращалась в некое общение, деловитое и торопливое, с записями, принятием решений, телефонными звонками, параллельной диктовкой писем кому-то и прошений о ком-то. Вот и наши встречи превратились в подобие каких-то совещаний.

Лишь где-то в финале встречи, время и продолжительность которой были определены заранее, какие-нибудь десять минут уделялись пустому и малозначащему, такому необходимому и важному, шутливому и ласковому разговору.

В последние годы его жизни кое-что изменилось, образовалось время для встреч, лишенных программы, пропорции деловых разговоров и просто дружеских бесед поменялись местами. Но я говорю о всей жизни, годах, вероятно, о сорока, когда без пауз работал этот могучий человек.

А дружба продолжалась.

Я любовался московским Симоновым, а все же что-то раздражало в его деловитости. Но я знал: он умеет быть иным — открытым, веселым, сердечным, и надо только вырваться из московского ритма, чтобы он изменился.

Не раз в круговорот московских будней врывался телефонный звонок Симонова:

— Старик, не пора ли нам без долгих сборов отправиться в путешествие?

— Конкретней... Куда?

— Решающего значения это не имеет. Хочешь, в Магадан? А может быть, в Саратов? На худой конец, поедем в Ленинград, снимем тот номер в «Астории», где жили в 1936 году, и займемся воспоминаниями и планированием следующих десяти лет... Наговоримся вдоволь!

Может быть, не все эти путешествия удалось осуществить, но все же «выездные сессии» дружбы у нас проходили успешно. Они превратились в традицию.

Первая наша совместная поездка состоялась еще в пору учебы в Литературном институте, вероятно в 1935 году. Мы отправились в бревенчатую Йошкар-Олу, марийскую столицу, которую тогда по старой памяти называли Царевококшайском, а еще чаще — Краснококшайском. Мы тогда взялись переводить коллективное сочинение марийских поэтов — «Письмо марийского народа товарищу Сталину».

На затемненном, как потом в войну, перроне нас встретил поэт Олык Ипай, определил в Дом колхозника и практически поселился вместе с нами; мы засели за перевод, который был бы немыслим без его помощи.

Мы очень быстро и очень крепко подружились, даже условились никогда не расставаться с Ипаем. Он должен был ехать с нами в Москву, поступить в Литературный институт... К сожалению, этой дружеской программе не пришлось осуществиться.

Марийские писатели самого старшего поколения и ныне вспоминают давний приезд Симонова. Всеобщая дружба литератур народов нашей страны тогда лишь пускала первые ростки. Произошло открытие Джамбула, Сулеймана Стальского, Гамзата Цадаса. Не беру на себя смелость утверждать, что мы в 1935 году сделали много, но некоторое участие в выведении марийской поэзии на всесоюзную орбиту приняли.

О том, что марийская поездка осталась памятной Симонову, сужу по тому, что его письмо ко мне из санатория (оно оказалось последним) открывается такими словами: «Все началось, как мы когда-то говорили, с «долматовщины»: утром подошел ко мне седой человек и сказал, что в ящике мне лежит письмо. Письмо оказалось от тебя, а человек, сказавший о нем, — ректором университета в, думаю, памятной тебе Йошкар-Оле!»

Симонов не любил ездить в одиночестве. О том немало свидетельств в его стихах, хотя бы в тех, «Дорожных», что написаны в 1938—1939 годах, — там даже есть стихотворение «Тоска» или «В командировке», где затосковавший командировочный ищет товарища для совместной встречи Нового года.

И в стихах, написанных в транссибирском экспрессе, по дороге в первый бой на Халхин-Гол, говорится: «Чтоб с ума не сойти, сдав соседям себя на поруки».

Во всех знаменитых его стихах о войне отсутствует страх перед смертью, перед огнем, но присутствует страх перед одиночеством.

Видимо, угадав это свойство Симонова, редактор «Красной звезды» старался, чтобы его любимый корреспондент не выезжал на фронт без товарища — журналиста либо фоторепортера. Правда, двух писателей редактор в одну поездку не впрягал, наверное считая это слишком большой роскошью. Но старая верная дружба зовет к общим дорогам: Симонов бывал в командировках с Евгением Петровым, Борисом Горбатовым, Алексеем Сурковым.

Ему необходим был ПОПУТЧИК.

Счастлив, что не раз оказывался в этой роли.

Кстати, когда начались военные действия на Халхин-Голе и пришел запрос на «одного поэта» из редакции газеты «Боевая красноармейская», мы пошли в Главное политическое управление армий вместе и просили направить в Монголию нас обоих. Армейский комиссар сперва отнесся к этой идее благосклонно, но потом выбрал одного Симонова. Зато, вернувшись, Симонов, почти транзитом миновав Москву, помчался в Западную Белоруссию, и мы воссоединились. Резкая перемена климата — монгольское лето и белорусская осень — принесли беду: он заболел воспалением легких, впоследствии часто повторявшемся и принявшем в конце семидесятых трагический оборот.

На фронтах Великой Отечественной мы встречались в Сталинграде, на Курской дуге, в Белоруссии, в Польше и при штурме Берлина.

Симонов всегда был на войне образцовым товарищем. Мне кажется, что характер будущих героев своей прозы, новый человеческий тип воина-интеллигента, напряженно мыслящего солдата справедливой войны был первоначально выношен Симоновым для себя как некая норма личного поведения. Все лучшие черты Синцова, Серпилина, да и многих эпизодических фигур уже проявились раньше — в герое и авторе стихов. Мы теперь можем проследить становление героя и по опубликованным дневникам, и запискам писателя.

Прежде всего в стихах выявился и утвердился характер Симонова и та высокая роль, которую он предназначал для дружбы, товарищества, побратимства.

Дружба и товарищество — главная тема всех стихов Симонова. Вспоминаю стихотворение «Однополчане» 1938 года, где разговор идет о друге, пока еще незнакомом, и есть провидческие строки:

Под Кенигсбергом на рассвете
Мы будем ранены вдвоем.

В том же 1938 году в «Дорожных стихах» рассказано о соседях по вагону, о быстро сдружившихся командировочных; в цикле «Соседям по юрте» все начинается с дружбы летчика и механика, а дальше из стихотворения в стихотворение кочует местоимение «мы» — и это о товарищах.

То же можно вспомнить обо всех стихах, написанных на Великой Отечественной: «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», «Мы не увидимся с тобой...» и «Дом в Вязьме»...

Названия стихов говорят сами за себя: «Однополчане», «Час дружбы», «Товарищ», «Смерть друга», «Был у меня хороший друг...», «Далекому другу», «Дом друзей», «Умер друг у меня...», «Дружба настоящая не старится...».

О некоторых наших встречах времен войны Симонов вспоминал на страницах своих дневников, писем. Они опубликованы, и я могу лишь засвидетельствовать достоверность его рассказа.

Упомяну лишь о встречах, не записанных Симоновым.

1944 год. Мы поселились в только что освобожденном Люблине, в квартире польского врача, человека, достойного отдельного рассказа: когда бой пришел на улицы города, наш хозяин по собственной воле перевязывал вместе с нашими санитарами тяжелораненых красноармейцев и эвакуировал их в тыл. Некоторые черты люблинского врача, переменив национальность, возникли потом в одном из героев пьесы «Под каштанами Праги».

Нас было трое — Симонов, Борис Горбатов и я, корреспонденты «Красной звезды», «Правды» и фронтовой газеты «Красная Армия».

Заняли большую комнату, затопили камин. Борис нашел колоду карт и увлекся раскладыванием пасьянса. Это было его любимое занятие, не раз вызывавшее насмешки. Он тихо разговаривал с королями, валетами и с самим собой. Симонов засел за стихи; я, кажется, тоже.

Если взглянуть со стороны, странная возникала картина: трое военных что-то шепчут и бормочут — каждый сам с собой разговаривает. Один опустил глаза, а двое вздымают взоры к потолку... Наше «молитвенное» состояние скоро было нарушено: вошел польский врач и спросил, знают ли панове о страшной, совершенно секретной фабрике, находящейся на восточной окраине города. Из трубы в течение целого дня определенными порциями выходил черный жирный дым, обладающий тошнотворным запахом. Очень страшные слухи ходят об этой фабрике, но толком никто ничего не знает...

К неудовольствию Бориса Горбатова, Симонов собрался немедленно: едем туда!

Я не буду вновь описывать Майданек — лагерь уничтожения. Есть гневное его изображение в сочинениях Симонова и Горбатова, есть фильмы, опубликованы документы. Страшные

склады волос казненных, груды очков и холмы детской одежды, штабеля чемоданов, меченных белой краской «Сара», крематории и клумбы, удобренные человеческим пеплом, мы осматривали вместе. Шли потрясенные, оглушенные. Взяли друг друга за руки, уже не знаю почему. Может быть, нужна была цепь человеческого тока...

С наступлением ночи нам пришлось прервать осмотр: электричество было выключено, в одном из бараков группа оставшихся в живых полупомешанных узников, не понимающих, что они освобождены, затеплила плошки, похожие на лампады. Невыносимо!

Мы вернулись в квартиру люблинского врача. Молчали. Симонов стал записывать, поднял лицо — все в слезах. Сказал:

— Подъем в шесть. Выезжаем в Майданек к семи утра. В двенадцать кончим осмотр, к пяти отпишемся и отправим статьи и снимки в редакции. Договорились?

Следующая фронтовая встреча — завершающие дни войны.

События развивались с невероятной быстротой, сходились мы ненадолго на командном пункте генерала Чуйкова. Преимущественно глубокой ночью; там было много товарищей — тот же Борис Горбатов, Роман Кармен, Всеволод Вишневский, Тихон Хренников, Матвей Блантер...

Мы с Симоновым подружились с замкомандующим армией генералом Духановым, и он пригласил нас посетить радиостанцию Кенигсвустергаузен. Это я теперь говорю «пригласил» и «посетить»... Бои затихли, но война еще не кончилась, а радио «Берлин» осталось как бы в стороне, кто там и что — было неизвестно. Экспедиция состояла из нескольких «виллисов» с автоматчиками, переводчиками и грузовика — мастерской армейских связистов, именуемой «техлетучкой».

С нами были композиторы Хренников и Блантер.

Мы застали радиоцентр в странном состоянии. Он безмолвствовал, но вся техника была в полном порядке, на ходу. Технический персонал в белых халатах — на службе, — операторы возле аппаратов ожидали указаний. А было это уже после капитуляции Берлина, в мае...

Симонов был весел:

— Какой эпизод для пьесы! Война кончается, Йозеф Геббельс отравился, а персонал радио все ждет, когда хромой рейхсминистр пропаганды приедет произносить речь о победе!

Генерал Духанов спросил у майора-связиста, есть ли запись последних передач: человек тонкий, он понимал, что эти дни в Берлине до краев наполнены историей...

Последних записей не оказалось, и тогда генерала осенила озорная идея — пусть поэты и композиторы запишутся на

берлинской радиостудии. Это будет первая запись в новой Германии.

Симонов прочитал «Жди меня», а Блантер исполнил «Песню военных корреспондентов». К счастью, запись эта сохранилась; хотя в нынешних кинофильмах о войне звукозапись идет на магнитную ленту, мы в 1945 году на радиостанции Кенигсвустергаузен ленты не видели (была ли она тогда?): немцы записали наши голоса на большие граммофонные пластинки, одна пластинка была подарена Чуйкову, другая Духанову, а он, уже будучи в отставке, в Ленинграде отдал свой экземпляр на радио.

...Наши совместные послевоенные путешествия — Азербайджан (четырежды), Украина (трижды), Ленинград (многократно), Грузия (трижды), Рязань... Были и зарубежные командировки. Но еще больше помню я несостоявшиеся «выездные сессии». Рано утром раздавался телефонный звонок:

— Есть возможность вернуться в прекрасное юное состояние. Отправимся на Дальний Восток. Начнем с Чукотки, спустимся до Посьета...



К. Симонов и М. Галлай. 1975 г.

М. ГАЛЛАЙ

МЕНЯЛСЯ И ОСТАВАЛСЯ САМИМ СОБОЙ

В маленькой, тесной комнатушке двухэтажного деревянного дома на Садово-Триумфальной (там, где сейчас стоит блок из трех высоких зданий на общем стилобате, в котором размещены магазины «Советская музыка» и «Диета») в середине тридцатых годов собиралась веселая компания молодежи. Хозяева этой комнатушки — студент одного из первых наборов Литературного института, мой школьный товарищ Леонид Кацнельсон, восемь лет спустя погибший на войне, и его жена, тоже студентка Литинститута, Татьяна Стрешнева, — собирали у себя (впрочем, тут слово «собирали» не очень точно соответствует действительности: компания собиралась как-то стихийно, сама собой) людей самых разных профессий и жизненных путей. Был среди нас молодой инженер, будущий видный конструктор, был начинающий авиатор — я, были и дру-

гие, как сказали бы сейчас, — «физики». Но преобладали, естественно, «лирики» — товарищи Лёни и Тани по Литературному институту, в том числе Михаил Матусовский, Александр Раскин, Ян Сашин и Константин Симонов.

Компания, повторяю, была очень веселая. Способствовало этому, конечно, прежде всего то, что каждому из нас было чуть больше двадцати лет от роду. Мы не очень задумывались о будущем — ничто в нашем не вполне зрелом сознании не предвещало предстоящей большой войны. Молодые поэты и писатели, входившие в эту симпатичную компанию и в большинстве своем ставшие впоследствии широко известными, груза этой ожидающей их известности ни в малой степени не ощущали и уж во всяком случае никак своего высокого предназначения перед нами, технарями, не демонстрировали.

Симонов, в то время худощавый, немного нескладный, казавшийся из-за худощавости еще выше своего и без того достаточно гвардейского роста, поначалу произвел на меня впечатление этакого добродушного увальня. Любил, явившись в дом на Садовой, залечь на огромный, занимавший добрых полкомнаты диван, взять к себе хозяйского фокстерьера и возиться с ним — к полному удовольствию обоих. Ни малейших признаков столь характерных для него в будущем организованности и деловитости молодой Симонов, по крайней мере внешне, не проявлял. Был он не очень разговорчив и, хотя и не уклонялся от участия в общих беседах, отделывался больше короткими репликами, явно избегая длинных тирад. Мне казалось, что причиной (или одной из причин) его неразговорчивости была присущая ему неважная дикция, сознание которой его как-то сковывало. Но при этом нельзя было не заметить, что реплик Кости Симонова, сколь лаконичны они ни были, его товарищи мимо ушей не пропускают... И все-таки поначалу я воспринимал Симонова только как симпатичного компанейского парня — не более того.

Впервые я увидел его с другой стороны через несколько месяцев после первого знакомства, на встрече Нового года. Встречали в складчину — не помню уж, в чьей квартире, — в большом сером доме на Солянке. Как положено, ели, пили, танцевали фокстрот, танго, румбу и прочие, ныне числящиеся по разделу «ретро», танцы, рассказывали — кто как мог — всякие забавные истории, поэты читали стихи.

И вот начал читать Симонов. Он прочитал заключительную главу своей еще не законченной поэмы «Ледовое побоище». К этой поэме в целом и к ее заключению в частности несчетное число раз возвращались и продолжают возвращаться читатели, критики, литературоведы. Отмечают удиви-

тельную прозорливость автора — едва ли не все, предсказанное им в этих без малого двадцати строфах, сбылось. Но я помню прежде всего на редкость сильное, граничащее с потрясением эмоциональное воздействие на меня, да и, конечно, на всех слушателей, последних строк поэмы, так органично, естественно влившихся в заключительное четверостишие «Интернационала».

Выше я говорил, что наша компания не очень задумывалась о будущем. Оказалось, что по крайней мере один из нас задумывался. И задумывался всерьез...

Потом, в течение нескольких лет, мы встречались с Симоновым редко и случайно. И вот такая случайная встреча — уже в разгар Отечественной войны. И откровенный, доверительный разговор. Симонов здорово умел именно так — откровенно и доверительно — разговаривать с людьми. Я тогда только что вышел из госпиталя, а Симонов оказался ненадолго в Москве (чтобы «отписаться»), между двумя фронтовыми командировками.

Слышавший от кого-то о моих, естественно сменявших друг друга, удачах и неудачах на войне, Симонов высказался в том смысле, что, мол, изрядно мне досталось. Я имел все основания ответить ему тем же и сказал, что он тоже, насколько я понимаю, хлебнул на войне лиха полной мерой.

Начавшийся в тонах полушутливых (я не раз замечал, что люди, особенно молодые, часто говорят об опасностях — прошедших или будущих, — не демонстрируя своего чересчур серьезного отношения к ним), разговор быстро приобрел другую окраску. Симонов, согнав улыбку с лица, высказал убеждение, что корреспонденту на войне достается, конечно, меньше, чем летчику, но что самая трудная доля у солдата: пехотинца, артиллериста, сапера...

Я вспомнил эти его очень серьезно, даже с каким-то нажимом произнесенные слова три десятка лет спустя, когда увидел сделанные им уже в последние годы жизни фильмы о солдатах. В них он постарался воздать должное тем, к кому война обернулась самой трудной своей стороной.

Евгений Габрилович в книге «О том, что прошло» очень точно охарактеризовал довольно распространенное в жанре воспоминаний направление — «медовые мемуары».

Так вот, Симонов в таких мемуарах не нуждается.

Я не знаю человека, который в своей жизни никогда не бывал бы не прав.

Бывал не прав и Симонов. Иногда настолько не прав, что сам до конца дней своих не смог забыть об этом.

Но он умел учиться у жизни. Умел, поняв, что был в чем-то не прав — тем более крупно не прав. — так прямо, во

всеуслышание сказать об этом, как, пожалуй, никто другой из известных мне людей.

Пятидесятилетие Симонова отмечалось в Центральном Доме литераторов. Большой зал Дома был битком набит, люди стояли в проходах; многие, кому не хватило места, слушали в соседних помещениях радиотрансляцию юбилейного вечера. Не хватало разве что конной милиции. Широкая популярность писателя проявилась в самом что ни есть явном виде.

Вечер шел так, как положено: по адресу юбиляра произносились речи — серьезно прочувствованные и полушутливые, подчеркнуто почтительные и подчеркнуто фамильярные, но все без исключения — на то и юбилей — предельно восхвалительные. Как правило, юбиляр в такой обстановке размякает и приходит в умиленное состояние духа...

А Симонов, когда дело дошло до его ответного слова, встал и сказал, что он, конечно, очень признателен всем выступавшим за произнесенные ими добрые слова, но сам отлично знает, что поступал в жизни не всегда безупречно. Есть поступки, о которых он глубоко сожалеет. Разумеется, и в будущем он, как всякий человек, не застрахован от ошибок. Но чего — он обещает — не будет никогда, это чтобы он пошел против собственных убеждений.

Я, разумеется, не помню сейчас слов, сказанных тогда Симоновым, текстуально, но смысл их забыть невозможно. И какой овацией встретил их зал! Психологически такая реакция, мне кажется, объяснима: присутствуя на юбилейных собраниях и слушая то, что на них обычно говорится, мы где-то в глубине подсознания все время вносим поправку на «юбилейность» происходящего — чувствуем, что в действительности не такая уж сплошь розовая биография героя торжества. А тут откровенные, глубоко выстраданные слова Симонова заставили принять весь вечер в целом очень всерьез, не оставили места для последующих «послеюбилейных» корректив.

Пришлось мне впоследствии слышать — правда, от одного только человека — и такое мнение, что ответное слово Симонова на этом вечере шло «не от души, а от ума». Понимал, мол, он сам, что есть в его биографии не лучшие страницы, которые некоторые участники вечера так или иначе, независимо от всех юбилейных славословий хорошо помнят, вот и решил он, умница, сам пойти «навстречу опасности», чтобы нейтрализовать ее.

Не могу с такой позицией согласиться. Во-первых, слова Симонова на том вечере прозвучали предельно искренне. Думаю, что, давно зная его, малейшую фальшь, будь она в

этих словах, я бы обязательно уловил. Ну, а во-вторых, если говорить об уме, то не так уж это плохо, когда ум — особенно ум незаурядный — направлен у человека на бескомпромиссную объективную оценку своих суждений и поступков. Такая направленность ума не может не отложиться и на душе. И, наконец, в третьих, — и это, наверное, главное: прожив после этого вечера еще без малого полтора десятка лет, Симонов не дал повода усомниться в том, что сказанные им слова — не только слова.

Может быть, не стоило бы в этих кратких заметках возражать одному-единственному оппоненту, но очень уж не хочется, чтобы столь необычное для юбиляра поведение было превратно истолковано и не оценено по достоинству — хотя бы и одним только человеком.

Впрочем, стремление и умение Симонова говорить в любой, самой широкой аудитории прямо и откровенно проявлялось неоднократно, а не на одном лишь юбилейном вечере по случаю его пятидесятилетия.

Мне в связи с этим запомнился другой вечер. Любители книги (как их сейчас называют — «книголюбы») попросили меня вытащить Симонова на встречу с его читателями. Вечер в переполненном (конечно же переполненном) городском Дворце культуры состоялся. Как всегда в подобных случаях, выступали читатели. Потом Симонов читал стихи — читал много, без спешки, охотно исполняя просьбы прочитать то или другое стихотворение. А потом началось самое интересное: Симонов отвечал на записки. Отвечал, как я уже говорил, очень свободно, раскованно, с подкупающей прямотой. Помню, среди записок была одна, автор которой спрашивал, почему Симонов, переиздавая свои книги, более не включает в них стихотворение «Речь моего друга Самеда Вургуна на обеде в Лондоне». Симонов очень спокойно ответил, что это давнее стихотворение не отражает его сегодняшнего отношения к Сталину, а переписывать задним числом стихи считает неправильным, поэтому и не помещает их в выходящих сейчас книгах своих стихов.

Симонов смотрел на жизнь достаточно трезво. И, конечно, как и все мы, понимал, что абсолютной справедливости на свете не бывает и реальную жизнь в этом смысле не переделаешь. Но всегда, когда видел возможность сделать что-то конкретное для восстановления попранной справедливости, этой возможностью не пренебрегал. Ему было присуще остро развитое чувство товарищества. Он помогал друзьям чем мог: от пробивания в печать необоснованно затертой рукописи и до готовности поговорить по душам, вникнуть во все, что

волнует собеседника, поддержать его в трудную минуту жизни всей силой своего ума и всей широтой своей души. И с каких бы рационалистических позиций мы ни воспринимали окружающее, нельзя не отдавать себе отчета в том, что последнее — открытая душа друга — бывает нам порой нужнее, чем даже помощь в решении житейских проблем.

В рассказе Симонова «Третий адъютант» комиссар части, у которого убивают или тяжело ранят одного за другим трех адъютантов, придает большое значение тому, при каких обстоятельствах это случилось. И испытывает горькое удовлетворение, явно разделяемое автором рассказа, когда выясняется, что адъютант упал в бою, устремленный вперед. Упал на ходу.

Именно так — устремленным вперед, на ходу, в движении — ушел из жизни и он сам — Константин Симонов.



Молодые поэты в семинаре П. Антокольского
(пятый слева К. Симонов)
1936 г.

Михаил МАТУСОВСКИЙ

КАК КОНЧАЛАСЬ ЮНОСТЬ

У юности Симонова есть точный адрес: Москва, Тверской бульвар, 25, Литинститут им. Горького. Здесь в семинаре Ильи Селимовича Дукора, по-чеховски соединившего профессию литератора с профессией врача, читал он свои первые баллады, написанные не без влияния Редьярда Киплинга; здесь зрел его поэтический талант, складывались литературные вкусы и пристрастия, здесь он серьезно изучал материалы и документы времени, перед тем как начать писать исторические поэмы о Ледовом побоище и фельдмаршале Суворове; здесь возникла наша прочная многолетняя дружба с редакцией «Знамени», помещавшейся тогда в одном доме с институтом, — так что прямо на перемене можно было заглянуть в отдел поэзии журнала, возглавляемый критиком Анатолием Тарасенковым. Здесь начинался писатель Симонов.

Это будет несколько страничек о нашей литинститутской юности, о грустном и смешном, о бессонных ночах перед экзаменами, когда по исконной студенческой привычке мы пытались узнать и изучить за одни сутки то, что создавалось человечеством в течение многих веков; о последних критических днях месяца, когда стипендия кончалась и приходилось пере-

ходить на голодную диету, которую, я убежден, придумали не индийские йоги, а скромные студенты-стипендиаты.

Было все: яростные споры и непримиримые дискуссии, литературные вечера и «капустники», для которых поэты-сатирики Ян Сашин и Александр Раскин писали веселые стихи и пародии; мы еще и сейчас, собираясь вместе, напеваем сашинскую цыганскую песенку: «Уж давно не слышно хора, хор теперь не знаменит, — Соколовская фольклòра до сих пор в ушах звенит»; были совместно написанные книги, как, например, «Луганчане» — томик, собранный нами в результате поездки в Донбасс, после встреч со старыми луганчанами и знакомства с пожелтевшими папками архивов Истпарта, где можно расслышать стук бронепоездов и отдаленные залпы гражданской войны; были небогатые ночные застолья, на которых Владимир Луговской, или просто — дядя Володя, увлеченно читал стихи: «Телеграфируйте в пространство, дорогая, что бриз и рейс вас сделали добрей, и я рванусь за вами, содрогаясь, как черный истребитель в серебре», а потом пел своим воркующим бархатным баритоном такие странные песни, как древний ритуальный, колдовской заговор крови, или песню северян о бесстрашном американце Джоне Брауне.

У Симонова кроме всего прочего был особый талант дружить, быть внимательным к окружающим, делать добро людям.

Константин Симонов уже тогда отличался завидным умением разумно и толково организовывать свой рабочий день, славился пунктуальностью и поразительным трудолюбием, обязательно входящим, на мой взгляд, в понятие «талант». У Симонова почему-то на все хватало времени: и на занятия, и на чтение, и на дружбу, и на студенческие пирушки, на которых он был заводилой, и на то, чтобы писать огромную поэму, чуть ли не роман в стихах, под названием «Павел Черный».

Меня, с моей южной медлительностью и любовью поваляться часок-другой на диване с книжкой в руках, он считал отпетым лентяем и пробовал воспитывать жесточайшим способом. Позже, когда я приезжал к нему летом в гости на дачу, он запирал меня в небольшой комнате, ключи прятал в карман и заявлял, что выпустит узника на свободу и накормит обедом лишь при условии, если я напишу стихи и просуну их в щель под дверью. Делать было нечего, оставалось только садиться за письменный стол и усиленно работать. Так в поте лица своего я зарабатывал хлеб. Однажды я попытался сжульничать и выдать старые стихи за новые. Но с Симоновым это не прошло; у него была прекрасная память, и он сказал, что за явный подлог и нечестность добавляется мне еще один час одиночества.

И, наверное, для того, чтобы я меньше бездельничал, Костя предложил писать вместе с ним цикл юмористических стихотворений для журнала «Крокодил». Публиковали мы эти стихи под псевдонимом. Так что, если любопытствующему читателю, листающему комплекты старого «Крокодила» за тридцатые годы, попадутся вдруг стихи, подписанные неким Овидием Нарзаном, знайте, что строки эти написаны Константином Симоновым и мною. Нас даже иногда в институте в шутку называли «литературный комбайн с прицепом». Прицепом, конечно, был я.

Среди этих стихов была баллада о поэте, вздумавшем писать пьесу. Цитирую по памяти строки этого стихотворения, построенного полностью на одной рифме:

Жил да был один поэт
Романтический.
Труд писал он много лет
Драматический.
Человек он был простой,
Не практический,
Утешался он мечтой
Фантастической.
Он забыл про страшный дом,
Дом критический,
Окруженный вечным льдом,
Льдом арктическим, —
Дом, где правит репертком
Прозаический.

Упомянутый поэт
Романтический
В доме том нашел ответ
Исторический:
«В вашей пьесе есть заскок
Эстетический.
В ней очерчен старичок
Ревматический.
Если он герой труда
Тематический,
Должен вид иметь всегда
Атлетический.
В героине есть прорыв
Еретический.
В ней отсутствует порыв
Патетический.
Она ходит в институт
Косметический, —
Явно виден вывих тут
Политический.

А кончалась баллада так:

Получив такой ответ
Гомерический,
Перестал писать поэт
Романтический.

Такие стишки писал Овидий Нарзан.

Но все имеет свой конец: дорога, песня, молодость... Приближалось окончание института, всеобщий аврал, студенческая горячка, страдная пора государственных экзаменов. Мы обкладывались со всех сторон полными собраниями сочинений классиков, писавших, как назло, очень много, томами монографий и учебников, ворохами конспектов и записей. Мы пытались опровергнуть старую и мудрую пословицу: «Перед охотой собак не кормят». Мы заучивали тысячи важных исторических дат, чтобы забыть их тут же, сразу после сдачи экзаменов.

Ночь перед экзаменом, который мы должны были сдавать профессору Поспелову, решили провести в бдении, не смыкая глаз, лихорадочно восполняя пробелы в знании отечественной литературы. В то время в аптеках продавался чудодейственный препарат — шоколад «Кола», рекомендуемый для поднятия тонуса и придания бодрости людям, которым по роду работы не разрешается спать: ночным сторожам, дежурным телеграфистам, летчикам в ночных полетах и шоферам в дальних рейсах. На этикетке шоколада было помещено строгое предупреждение: средство сильно действующее, и поэтому пользоваться им следует весьма осмотрительно, соблюдая все правила предосторожности. Четверть плитки шоколада гарантировала бодрую ночь за рулем машины или за штурвалом самолета. Мы с Симоновым для надежности съели по целой плитке шоколада «Кола» и вгрызлись в гранит науки. Через полчаса мы стали позевывать, через минут сорок прилегли на неуютный узкий диван с тем, чтобы тут же встать, и уснули могуче, без сновидений, как можно спать только в молодости.

Проснулись мы в начале девятого, когда нам надо было торопиться на экзаменационное чистилище. С годами происходит совершенно обратное: укладываешься в кровать, гасишь свет и всю ночь ворочаешься с боку на бок, как будто только сейчас подействовала на тебя плитка тонизирующего шоколада «Кола».

Тверской бульвар, 25, Дом Герцена. Наш маленький скромный лицей. Здесь мы с огромным интересом и благодарностью слушали лекции по философии и эстетике Асмуса, уроки русского фольклора Соколова, размышления над теорией литературы и особенностями поэтики — Тимофеева, историю древнерусской литературы — Гудзия, русской литературы — Поспелова, западной литературы — Заблудовского и Аникста; здесь складывалась наша дружба с Павлом Антокольским, занимавшимся с нами, как древние художники со своими учениками, открывавшим для нас свою мастерскую,

делившимся с нами секретами мастерства, ревниво показывавшим нам в Ленинграде мосты над Невой, пушкинский дом на Мойке, купол Исаакия, плывущий в весеннем небе, отчаянный полет Медного Всадника. С Тверского, 25 мы часто направлялись на Петровские линии, к Костиной маме — Александре Леонидовне, кормившей всю нашу братию и вязавшей нам из шерсти разноцветные полосатые уютные кашне, которые казались нам тогда неслыханно красивыми; здесь Симонов впервые читал получившее широкое признание мужественное стихотворение о генерале интернациональных бригад в Испании Матэ Залке; отсюда Константин Симонов уезжал на Халхин-Гол, где получил настоящее боевое крещение и впервые ощутил себя певцом армии, писателем военной темы.

В заключение хочу познакомить читателя с отрывком из моей книги «Семейный альбом», публиковавшейся в «Знамени». Книга эта была задумана как собрание портретов, больших и малых, сделанных в детстве и в более поздние времена, в пути и на привалах. Здесь фотографии самых близких и дорогих людей, встречи с которыми определили многое в моей жизни. Эту историю я осмеливаюсь предложить вашему вниманию только потому, что в свое время на открытии сезона 1979 года в Центральном Доме литераторов читал ее в присутствии Симонова, председательствовавшего на вечере, и он искренне смеялся вместе со всем залом и нисколько не обиделся на меня.

Рассказ этот называется «Учебник профессора Петухова».

«Не боясь быть обвиненным в нескромности и прослыть хвастуном, хочу сказать прямо, что лучшими конспектами, какие когда-либо велись студентами во все времена, бесспорно, являлись мои конспекты. Это был образец педантичности, долготерпения, усидчивости и ученического чистописания. История родной литературы в моем изложении насчитывала что-то около сорока тетрадей, политэкономия — тетрадей десять и так далее. Не будет преувеличением, если я скажу, что на них выросло и воспиталось не одно поколение молодых литераторов тридцатых годов. И поэтому, когда Константину Симонову, вместе с которым мы окончили Литинститут и поступили в аспирантуру Московского института истории, философии и литературы, для краткости именуемого МИФЛИ, пришла пора сдавать древнерусскую литературу, он, естественно, приник к главному источнику всех знаний — моим конспектам. Но так как Симонов к тому времени успел написать свою первую пьесу «История одной любви» и вкусил от плода театральной славы, вдохнул пыль кулис и выходил уже раскланиваться перед публикой, подталкиваемый режиссером на авансцену, — сами понимаете, ему было не до изучения сводов новгородской летописи. Да и мои записи, со-

стоявшие из двенадцати общих тетрадей, одетых в черные клеенчатые плащи, были тоже слишком обременительным чтением, отрывавшим его от занятий драматургией. Симонову было необходимо что-то облегченное, сжатое до предела, что у англичан носит название «easy reading».

Тогда мы и узнали о существовании самого краткого курса истории древнерусской литературы, принадлежащего профессору Петухову и изданного в Саратове в 1912 году в качестве учебного пособия для института благородных девиц. Должно быть, от благородных девиц требовалось немногое — лишь бы они знали, что была такая литература, и не путали Акира Премудрого с Епифанием Премудрым и «Хождение богородицы по мукам» с «Хождением Афанасия Никитина за три моря». Учебник этот по своему объему и краткости информации, вместившейся в него, вполне устраивал Симонова. Подковавшись таким образом, Константин Михайлович отправился сдавать кандидатский минимум по древней литературе — минимум в прямом смысле этого слова.

Профессор Николай Калинникович Гудзий, человек исключительной душевной теплоты и доброжелательности, любил принимать аспирантов у себя дома в Трубниковском в окружении полок с рукописными книгами, пахнущими архангельскими срубами, Белым морем, лесосплавом, свечным нагаром, лампадным маслом. Симонов несмело вошел в кабинет и совсем оробел при виде всей этой вековой премудрости, которую, по правилам, ему полагалось знать. За фолиантами, с трудом умещающимися на стеллажах, и переносными библиотечными лесенками Симонов сразу не заметил, что в комнате находится еще один человек — чистенький старичок, пригревшийся в тепле и сладко прикорнувший где-то между собраниями сочинений академика Веселовского и Марра.

Николай Калинникович предложил Симонову сесть и, с удовольствием потирая руки в предчувствии интеллектуального пиршества, которое ему предстоит разделить со своим аспирантом, провозгласил: «Ну-с, приступим!» Почти в каждой сказке царь задает Иванушке три самых заковыристых, каверзных вопроса. Очевидно, следуя этой древнерусской эпической традиции, экзаменующимся предлагают всегда ответить на три вопроса. И на этот раз Гудзий задал Симонову все те же три вопроса и удобно устроился в позе ожидания в старом, хорошо продавленном кресле. Потом, спохватившись, он добавил: «Покорнейше прошу простить меня: совсем запамятовал представить вас друг другу. Знакомьтесь. Это — мой ученик, известный молодой поэт Симонов. А это — профессор Петухов». Симонов обомлел; он, грешным делом, думал, что Петухов давным-давно, еще в начале века, скончался в городе Саратове, но вот он сидит живой в углу кабинета в аккуратно зачиненном пиджаке. Примерно так дол-

жен был чувствовать себя школьник, вызванный к доске для решения арифметической задачки и узнавший, что на уроке присутствуют вместе оба составителя учебника — Шапошников и Вальцев. Не знаю уж, как выкручивался Константин Михайлович из создавшегося положения, что́ он говорил двум профессорам, известно лишь одно, что Николай Калинникович, провожая аспира́нта и, согласно своим правилам гостеприимства, лично подавая ему пальто в передней, деликатно заметил: «Вот что, мой дорогой, сегодня вы были не в лучшей своей форме. Я надеюсь, что не затрудню вас, если попрошу прийти ко мне вторично. А мы с профессором Петуховым охотно выслушаем вас еще разок...»

Кончалась юность. Позднее в нашей жизни было много трудного и несмешного. Но об этом, наверное, следует писать отдельно.



К. Симонов и В. Луговской. Севастополь—Ялта. 1939 г.

Сергей НАРОВЧАТОВ

ИЗ ЗАПИСЕЙ

Политехнический... Ему посвящены мадригалы и оды, лирика и эпика осенили его своими крылами, ирония и пафос попеременно обращали к нему свое лицо. Кто в нем только не выступал! Уже прогремела революция, а здесь еще, как в Речи Посполитой, выбирали королей. Поэзии, разумеется. Первым был избран, кажется, Игорь Северянин. Кого бы выбрали сейчас? В 60-х годах я бы не колебался в определении вкусовых пристрастий, а теперь... Старые таланты прискучили, новые не упрочились.

Мне знакомы его крутые скамьи и невысокая эстрада бог знает с какого времени. Сорок с лишним лет длятся наши встречи. Сперва ходил на поэтические вечера, потом выступал на них. Недавно я вел здесь один из вечеров и, вспомнив далекие времена, сказал: «Мне кажется, я вижу сейчас самого себя спустя сорокалетие. Вот там, на одной из задних скамей. Ну-ка... встань, подойди сюда!» Нет, иллюзия... А так все очень похоже, только другие поэты и другие стихи вокруг...

Осенью 1937-го я пришел сюда со стайкой ифлийских сту-

дентов. Мы заняли одну из верхних скамей и сразу поплыли по шумовым волнам, плещущим в преддверье вечера. Вечер открывал Алексей Сурков: «Пастернак не придет, заболел... А кто из молодежи будет? Все, кто на афише».

На афише поэтическая молодежь конца 30-х годов была представлена щедро. Помнится, объявлены были А. Коваленков, С. Васильев, Д. Алтаузен, М. Матусовский, К. Симонов, Е. Долматовский, С. Островой. Они подкреплялись поэтами старших возрастов — Сельвинским, Луговским, Светловым, Голодным, Сурковым. Председательствовал как раз Алексей Александрович. В своем выступлении он тут же раздал всем сестрам по серьгам и, оговорившись, что будет говорить и об отсутствующих, резко задел Пастернака: «Поэт, спросивший в 17-м году: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» — кажется, до сих пор ждет ответа на свой беспримерный вопрос». Зал был с ходу брошен в полемику, Сурков любил такие эскапады.

Вообще тогда на вечерах скучать не приходилось, но я не собираюсь воскрешать давние времена с ненужной дотошностью. Были и «шум в зале», и «обмен репликами», и «выкрики с мест», что пишется обычно в стенограммах, но было и напряженное внимание, с которым ловилась каждая поэтическая строка, взрывчатые аплодисменты после понравившихся стихов, счастливая атмосфера молодости в зале и на эстраде. Ведь самому старшему, Сельвинскому, едва исполнилось сорок.

Мы по своим возрастным симпатиям тяготели, естественно, к двадцатилетним. Среди них был очень заметным Симонов. Мы уже знали, что настоящее свое имя Кирилл он переменил на Константин («Не произносит «р», — говорили мы, доверительно улыбаясь). Внешность молодого поэта нам импонировала: броская смуглость, каштановая шевелюра, располагающие черты лица, решительная уверенность в каждом жесте. Всем он тогда взял. Стихи он читал раскатистым голосом, сильно картавя. Имя Кирилл действительно было не по нему. Читал он стихи, посвященные памяти генерала Лукача, незадолго перед тем погибшего в Испании. Я дружил тогда с Талкой, его дочкой, она читала мне его письма, посланные из самого пекла, они были помечены Мадридом. Как тогда звучали эти названия: Университетский городок, Эбро, Гвадалахара. Слушал я их с преклонением чуть ли не молитвенным. Все, что было связано с республиканской Испанией, нами боготворилось. Стихи о Лукаче — Матэ Залке — вызвали гром аплодисментов, не то что спустя два года, когда злободневность уже прошла и критицизм прищурил свое недреманное око. Но об этом после.

Таково было первое запоминание Симонова. Потом я видел его на многих вечерах, где читались стихи, он был в

когорте популярных молодых поэтов. Озадачивала его дерзость: закончить строками «Интернационала» поэму об Александре Невском. Надо же! — удивлялись консерваторы.

Шло время, мы набирали мускулы, и нам было невтерпеж задраться со старшими. Поводов было сколько угодно, а трибуна вскоре нашлась. «Вечер трех поколений» в Юридическом институте, о котором я уже писал, стал удобной платформой для баталии. В воспоминаниях Е. Долматовского я с улыбчивым интересом прочел, что вечер тот оказался опознавательной метой для автора мемуаров. Выходя из окружения в 1941 году, он попал к молодому следователю, с большим трудом, но все-таки узнавшему в заросшем, истощенном, не похожем на себя человеке того самого Долматовского, который отбивался от яростных наскоков «третьего поколения» вместе с Симоновым и Алигер. Вечер, выходит, запомнился не нам одним.

Со своей стороны, я помню, как стали выглядеть те же стихи о Лукаче, поставленные под другим углом. Традиция традиции рознь, нельзя же так прямо калькировать, резанул Павел Коган и под общий смех прочитал: «Над ним арагонские лавры зеленой листвою шумят, и молча в открытые люки чугунные пушки глядят».

Все эти схватки напоминали скорее грубоватую толкотню в студенческом коридоре, чем серьезные сраженья. Более глубоких взаимоотношений они не затрагивали. После финской кампании, например, Луконин привез цикл прекрасных стихов. Его тогда сразу взял в товарищи тот же Константин Симонов, стихи выступали застрельщиками дружбы. «Жди меня» — и вполне естественным оказался мой разговор с ним осенью 1943 года, когда я приехал в Москву на десятидневную побывку. Помнится, я читал свои фронтовые стихи в ЦДЛ (тогда он, кажется, еще назывался Клубом писателей). Среди слушавших оказался Симонов. После чтения он задал мне желанный вопрос: «А почему бы вам не составить сборник? Наверное, пора?» Я ответил, что на днях уезжаю опять на фронт. «Ну, тогда при первой новой побывке разыщите меня, и мы вместе примемся за книжку. Если я, конечно, буду в Москве».

Так случилось, что летом 1944 года я снова приехал в Москву, застал Симонова и не замедлил воспользоваться заманчивым приглашением. Произошло это при таких обстоятельствах.

Наша армия была Ударной, в перерывах между боями полагались отпуска, а мне, кроме того, прислал вызов Николай Семенович Тихонов. Он только что приехал в Москву, заняв пост председателя Союза писателей СССР. Имя Тихонова у нас в армии много значило, и мне без всяких проволочек дали большой отпуск. Мы стояли тогда под Нарвой, и

утром забравшись в кузов грузовика, я к вечеру оказался в Ленинграде. Переночевав, я провел там день, навестил всех знакомых — Прокофьева, Берггольц, Дудина, — а следующей «стрелой» отправился в Москву.

Удивительное дело была эта «стрела», впервые возобновившая движенье после снятия блокады в недавнем январе. Она словно вышла из госпиталя, и весь ее вид сильно напоминал офицера в ношеном, застиранном, но тщательно отутю-



Слева направо: А. Сурков, О. Курганов, К. Симонов, Е. Кригер, П. Трошкин. Западный фронт под Смоленском. 1941 г.

женном обмундировании. Проводники с ввалившимися щеками, точность и аккуратность обслуживания, свежее белье, чай с сахаром (правда, по талонам) должны были утверждать и подтверждать, что все здесь как до войны. Прямо слезу прошибало, глядючи на такие чудеса!

В Москву я приехал свежим июньским утром, вскинул на левое плечо чемодан, оставив правую руку для козыряния, и направился домой. Как меня встречали — родные, друзья, знакомые! Но впереди были деловые встречи, и одна из главных в этот момент — с Симоновым.

Помог случай. Через несколько дней по приезде я узнал, что Симонов ведет вечер в одном из рабочих клубов. Это было где-то в районе Новослободской. Долго добирался и опоздал. Народу было много, и я еле протиснулся в задние ряды. Стою и слушаю стихи. Вдруг совершенно неожиданно для меня зву-

чит голос Симонова: «Среди нас находится поэт-фронтовик Сергей Наровчатов. Он только что прибыл из действующей армии. Сейчас он прочтет нам новые стихи». Здорово! Симонов умел использовать такие моменты. Через минуту я уже стоял на трибуне. У меня были свежие стихи. «Пропавшие без вести». Незадолго перед тем прошел слух о моей гибели, и я написал стихи, как говорится, по следам событий.

По нас три раза панихиды пели,
Но трижды я из мертвых восставал,
Знать, душу, чтоб держалась крепче в теле,
Всевышний мне гвоздями прибивал.

Стихи были переполнены романтическими ссылками: «Я верю, невозможное случится, я чарку подниму еще за то, что объявился лейтенант Кульчицкий в поручиках у маршала Тито». Ударение на фамилии югославского руководителя нам еще не было знакомо, и все восприняли такое произношение как должное. Долго меня потом донимали расспросами о судьбе моего товарища, пока неопровержимо не было установлено, что он погиб под Сталинградом. Когда я был на Мамаевом кургане, я прочитал его фамилию в списке героев, павших в боях за волжскую твердыню.

Тут же на вечере Симонов, поздравив меня с возвращением, договорился со мною о работе над сборником.

Пора дать волю оценочному отступлению.

Я знал его в течение сорока лет. Возрастная разница у нас была несущественная, всего четыре года. Но принадлежали мы к разным поэтическим поколениям. Симонов встретил войну известным писателем, автором многих стихов и поэм, пьесы «Парень из нашего города». В военной печати он вскоре же зарекомендовал себя первоклассным журналистом, мастером боевых очерков, корреспонденций с переднего края. В «Красной звезде» он занял одно из ведущих мест.

Нечего и равнять его известность и значимость с нашей. Все вместе мы не смогли бы его перевесить. Были у него и отличные достижения. Не говорю о «Жди меня» — вся армия таскала в левых карманах гимнастерок газетные вырезки с этим стихотворением, — такие стихи, как «Убей его», обладали огромной мобилизующей силой. Пути военной лирике открывала огоньковская книжка «С тобой и без тебя», там были сильные вещи.

И вот при всех этих больших и заслуженных успехах Симонов оставался на редкость доброжелательным и отзывчивым человеком, чуждым всякой заносчивости и отчужденности. Со мной он держал себя примерно так, как молодой Болконский в бытность свою при кутузовском штабе с юными офицерами. Ему *нравилось* (подчеркиваю это слово) помогать, под-

талкивать, тянуть вверх. Делалось это с почти открытым подтекстом: все мы талантливые люди, и помогать тебе одно удовольствие, сам еще сможешь стать на мое место. Очень легко и красиво выходила забота о младших. Нужно было уж очень злоупотребить его добрым отношением, чтобы оно переменилось. В своих симпатиях он был постоянен.

Я к нему приезжал два-три раза в неделю. И таких посещений набралось, наверное, немало. Жил он тогда в доме на углу Беговой и Ленинградского проспекта. Дом напоминал именинный торт, вид у него был легкомысленный. На этажах — коридорная система. Симонов был женат на Валентине Серовой — известной актрисе. Дверь в ее комнату порой приоткрывалась, и я ловил любопытный взгляд... Соприсутствие молодой женщины повышало тонус делового разговора; это касалось, естественно, не Симонова, а меня.

Несколько раз Симонов звал меня в другую квартиру на том же этаже. Я не удосужился спросить, кому она принадлежала. Возможно, Серовой, но ручаться не могу, кто-нибудь мог ее и уступить на время товарищу.

Наша работа проходила легко и спокойно. Симонов почти не делал строчных замечаний. Стихи либо принимались, либо отвергались целиком. Формулы были однозначны: «Я бы не стал этого помещать...»



К. Симонов, М. Алигер и М. Луконин на Украине. 1954 г.

Маргарита АЛИГЕР

БЕСЕДА

Из воспоминаний

В руках у меня шесть сколотых вместе страниц машинописного текста. Стихи. В верхнем левом углу первой страницы — дата: 25 сентября. 1936. Затем следует заголовок: «Письмо молодежи народного фронта». И первая строфа:

Мы знаем: наш голос должен пройти
Тысячи верст пути,
Он доплывет, дойдет, долетит
К нашим друзьям в Мадрид.

Немудреные стихи, но какая в них убежденность, ясность отношения ко всему, что происходит в мире, какая твердость позиции!

Мы распахиваем окно,
Чтоб слышать в окно с утра
Накрест летящие над страной
Яблочные ветра.
Северный, южный, восточный — ветра
С трех берегов страны
Поют, что сбирать виноград пора,

Что хлебом возы полны.
Но западный ветер жесток и суров,
До нас он доносит топот полков,
Штурмующих Альказар,
И грохот орудий, и цокот подков,
И песню, идущую между штыков,.
Громкую, как гроза.
Газеты нам носит не почтальон,
То западный ветер теперь
Листы, обожженные кровью знамен,
Бросает в открытую дверь.
Не радио вести нам принесло —
То западный ветер, завыв,
Бросает к нам в комнату сгустки слов
Злых и пороховых.
И дети, услышав вести войны,
Меняют игры свои.
Мадрид отстаивают они,
Ведут за Толедо бои.

...И сразу вспыхивают в памяти ощущения, впечатления, внутренние и внешние приметы тех дней, той осени... Молодое наше существование, молодое наше дружество, еще не перегруженное пережитым, побежденным, не побежденным... И та удивительная безбытность, свобода от всяческих забот... Что мы ели? Ведь ели же что-то? А что? И кто и когда готовил? Право, я даже не помню кухни той чужой квартиры, где я снимала первую в жизни отдельную комнату. Дом стоял в бывшем Крестовоздвиженском переулке — тогда он назывался еще так, — между Воздвиженкой и Знаменкой. Первая из двух этих улиц не называлась еще улицей Калинина, но вторая уже точно именовалась улицей Фрунзе. Переулок проходил за старым Арбатским рынком. Какой удобный и уютный был рынок, а ведь уже выросло не одно поколение, даже ведать не ведающее о его существовании.

Дом был построен в самом начале тридцатых годов, обычный дом, даже неплохой по тем временам, комнаты достаточно высокие, пять этажей, — разумеется, без всякого лифта, — и жила я, разумеется, на пятом, но вот лестницы в доме были очень уж узки, до странного узки. Случилось мне познакомиться со строителем дома — он жил тут же, кажется в бельэтаже. Меня очень развеселил тогда и до сих пор помнится его ответ на мое недоумение. Он с грустью, но и с улыбкой рассказал, как организация, строящая дом, урезывала его в средствах. А когда речь зашла о необходимости сделать лестницу пошире, заказчики взяли гроб среднего размера и, убедившись, что его можно запросто пронести, заявили, что нет никакой надобности расширять лестницу.

«А если люди захотят купить рояль?» — в отчаянии взывал строитель. Но от него отмахнулись.

Там-то у меня мы и собирались в ту осень, первую осень гражданской войны в Испании, чтобы писать коллективное

стихотворное письмо молодым воюющим испанцам. У нас уже был некоторый опыт, мы уже писали коллективное письмо в стихах X съезду комсомола, и оно даже было опубликовано в «Комсомольской правде». Мы — авторы письма. Имена наши завершают текст последней, 6-й страницы. Они следуют в алфавитном порядке: Маргарита Алигер, Евгений Долматовский, Михаил Матусовский, Константин Симонов. Но, отчетливо помня все наши сборища для работы над созданием этого «эпохального» произведения, все не столь значительные подробности, обстоятельства, курьезы, накладки, неполадки, я нипочем не могу вспомнить, кто из нас что написал. Писали ведь мы, разумеется, врозь и только потом соединяли вместе все написанное. Так кто же все-таки что написал? Убейте, не помню! Означает ли это, что мы были тогда очень похожи друг на друга, очень уж одинаковы? Не думаю. А если уж дело было так, то когда же, как же, почему же мы оказались потом такими разными?

Воспоминания в наши дни постепенно становятся весьма важным и едва ли не самым интересным жанром нашей литературы, нашей взрослой и зрелой литературы, несущей за плечами нелегкий и весомый драгоценный груз пережитого. Вспоминая, можно многое осмыслить и понять, а нашему поколению, ныне уже старшему в современной нам литературе, есть о чем задуматься, что понять и объяснить людям, и, может быть, в первую очередь самим себе. Непростая задача! Для того чтобы вспоминать, надо как следует забыть, а я еще ничего не забыла, да и можно ли забыть свою жизнь! А жизни наши с Симоновым с юности, с первых шагов в литературе, столь тесно связаны, что жестокий обрыв его существования застал меня врасплох и что-то необратимо сместил и изменил вокруг. Освоиться с этим ощущением не просто, а говорить и того трудней. Каково вслух вспоминать о друге, который был всегда и которого вдруг непоправимо не стало...

Мы начинали почти одновременно, и когда встретились в Литературном институте, я, представьте, была уже чуточку впереди. У меня уже было напечатано несколько стихотворений, и их уже даже заметили и отметили. А он еще бился с первыми своими сочинениями, писал огромную сюжетную поэму «Павел Черный» — о перековывающемся уголовнике. Поэма писалась длинным и рыхлым размером, и он увязал в нем и подолгу не мог сдвинуться с места. Другая поэма, покороче, называлась, кажется, «Дом» и была живее и энергичнее, но и в ней у него долго не сходились концы с концами. И, однако, не было уже решительно никаких сомнений в его будущем. Было уже непреложно ясно, что никем иным, кроме как писателем, он не станет, чего бы это ему ни стоило.

Вспомнить, что ли, о том, как мы поехали в Ленинград, мы,

молодые московские поэты, приглашенные ленинградцами для выступлений со своими почти первыми стихами, и как мы с Костей Симоновым вдвоем каждое утро подолгу просиживали над незаконченными главами его поэмы, стараясь выбрать какой-нибудь самостоятельный отрывок, который стоит прочесть сегодня вечером, в надежде, что он все-таки сам по себе будет понятен слушателям. Задача нелегкая, но мы, очевидно, с ней справлялись, ибо его принимали хорошо и он становился интересен людям.

Или припомнить, как мы тогда же в Ленинграде, в Пассаже на Невском, покупали материю на первый в его жизни новый, не перешитый из отцовского, а новый костюм. Серое бумажное букле ценой шестьдесят целковых за метр. Если вспомнить, что с тех пор — дело было в 1936 году — советская денежная система пережила две реформы, станет ясно, сколь невысока была цена этого букле. Костюм послужил, однако, верой и правдой, — именно в нем Симонов впервые и затем многократно читал свое «Ледовое побоище», встречал и переживал свой первый успех.

Подобного рода воспоминаниям я могу предаваться бесконечно, но едва ли это будет интересно. И не стоит, пожалуй, объяснять, каким Симонов стал писателем. И вообще решительно не стоит убеждать кого-либо, чем и почему интересен тот или иной писатель. Люди сами находят необходимых им и любимых писателей, и уговаривать их не стоит. И мне, пожалуй, сейчас интереснее, интереснее для себя самой, — а это первое условие того, чтобы написанное тобой стало интересно другим, — попытаться осмыслить личность этого человека. Чем он отличался от нас, его сверстников и товарищей, в силу каких человеческих качеств и особенностей оказался он человеком иного масштаба, иного в общественном смысле уровня. Ибо приходится признать очевидное: при всей общности начал, при всей нашей близости, при неизменном интересе друг к другу, достаточно быстро стало ясно, что мы — люди разного масштаба. Я — поэт со своими возможностями и убеждениями, со своими победами и поражениями, и не более того, а он — писатель неограниченного размаха: поэт, прозаик, публицист, драматург, кинодраматург. С мировым именем, мировой известностью. И общественный деятель в широком смысле этого слова: редактор крупных изданий, секретарь Союза писателей, депутат. Для меня деятельность подобного объема была бы невозможна, а он, очевидно, не мог существовать без нее. Вероятно, это-то и есть первое условие. Первое, но никак не единственное, ибо тут недостаточно хотеть, надо еще и уметь. И он умел. Почему? Как? В силу каких человеческих качеств и черт характера?

Разумеется, с юности, с первых лет нашей дружбы, он

обладал своими отличительными чертами характера, но одну я впервые остро ощутила ранней весной 1939 года и крепко запомнила это ощущение. Шел XVIII съезд партии, и на съезде выступил известный советский писатель. Симонов сказал:

— Если бы мне предоставили трибуну партийного съезда, я бы ее не так использовал.

Я остро ощутила, отметила и запомнила его реакцию, для меня совершенно неожиданную. Мне бы тогда и в голову не пришло подумать о возможности моего выступления на съезде партии, ни в каком, даже сослагательном наклонении. И я впервые ощутила присутствие в своем товарище некоих недоступных мне сил и устремлений.

В 1938 году на заседании президиума, где рассматривался вопрос о приеме в члены Союза писателей, Александр Фадеев читал вслух недавно опубликованное стихотворение Симонова «Генерал»:

В горах этой ночью прохладно.
В разведке намаявшись днем,
Он греет холодные руки
Над желтым походным огнем.
В кофейнике кофе клокочет.
Солдаты усталые спят.
Над ним арагонские лавры
Тяжелой листвой шелестят.
И кажется вдруг генералу,
Что это зеленой листвой
Родные венгерские липы
Шумят над его головой...

Пожалуй, это первое, вполне цельное, стройное стихотворение Константина Симонова. Сам он именно с «Генерала» начинает счет своей поэтической работы. Стихи были приняты горячо, и молодой Константин Симонов стал членом Союза писателей.

1939 год был весьма для него значительным. Летом он побывал на своей первой войне, на Халхин-Голе, привез оттуда книгу новых стихов. У него родился сын. Он написал свою первую пьесу, и она была поставлена в театре. В жизни его начались решительные перемены. Работал он чрезвычайно много, печатался часто. Имя его возникало и звучало то тут, то там, во всем ему сопутствовал успех; и помнится, как Владимир Александрович Луговской, один из наших первых наставников, к тому времени уже ставший близким нашим товарищем, был озадачен и даже обеспокоен этим успехом.

— Уж больно все у него гладко идет, — озабоченно говорил он. — Тревожно даже...

Началась война. И в том же запале и напряжении, на том же крутом гребне, на той же высокой скорости, на которой он существовал в предвоенные годы, Константин Симонов ворвался и в войну.

С первых дней войны он оказался в ее огне, а мне выпало узнать ее совсем с другого конца: эвакуация с крошечной дочкой, известие о гибели мужа. Я приехала в Москву тревожным сентябрем сорок первого, в октябре снова вынуждена была уехать и вернулась окончательно только в первые дни января 1942 года, когда была уже выиграна битва под Москвой. В неповторимой атмосфере той Москвы мы и встретились с Симоновым.

Как бы по-разному ни складывались наши судьбы, как бы долго мы ни виделись, нас ничто никогда друг от друга не отчуждало, и встречались мы обычно так, словно расстались вчера. И словно бы все всегда друг про друга знали. На сей раз нас свели обстоятельства волнующие и горькие — и все же прежде всего счастливые.

Еще один товарищ нашей юности, Евгений Долматовский, с начала войны находящийся в одной из армий на Украине, с июля, когда армия эта попала в окружение, считался если не погибшим, то пропавшим без вести. Но он был жив и сумел, тяжко раненный, выйти из окружения. В январе он появился в Москве. Двое или трое суток провели мы втроем у Симонова. Нет, не дома, дома у него тогда не было, домом его была война, а приезжая в Москву, он жил в редакции «Красной звезды». В ту первую военную зиму редакции всех центральных газет, кроме «Известий», оставшихся у себя на Пушкинской площади, съехались под одну крышу, в комбинат «Правды», что по сей день стоит на улице того же названия. Там было тепло и светло, не в пример другим московским домам, и можно было даже, спустившись вниз, в типографию, принять горячий душ, что по тем временам было истинной роскошью. Там мы и окопались, и товарищ наш рассказывал нам день за днем, час за часом все, как было: все обстоятельства окружения, ранения, плена, побега, выхода. Рассказывал удивительно по точности, с мельчайшими драгоценными подробностями. Это был потрясающий рассказ, и хотя позднее Долматовский написал об этом поэму, да простит он меня, но тот его первый ночной рассказ был неизмеримо более впечатляющим. Наверное, потому, что был первым. Повторить такое, пожалуй, невозможно. Я долго не могла опамятоваться. А первой реакцией Симонова было сожаление о том, что он не додумался посадить стенографистку, которая все бы записала.

— Ну что ты, — возражала я, — какая уж тут стеногра-

фистка! Он бы при ней и разговаривать так не смог. Так можно рассказать только близким людям и только раз в жизни.

— Потому-то и жаль, — упрямо повторял он.

Мне кажется, тут уже отчетливо виден его железный профессионализм, его упрямая уверенность в том, что все эмоции должны быть подчинены интересам дела, интересам работы.

В том же памятном январе 1942 года «Правда» опубликовала стихотворение «Жди меня», и поэт Константин Симонов стал всенародно известен. Сумел угадать самое главное, самое всеобщее, самое нужное людям тогда и тем помочь им в самую трудную пору войны. Но удалось ему это вовсе не потому, что он старался угадать, что сейчас нужнее всего людям, что сейчас может им лучше всего помочь. Ничего подобного ему и в голову не приходило. Он написал то, что было жизненно необходимо ему самому. Выразил то, что было в эту минуту важнее всего для него самого. И только поэтому, именно поэтому, эти стихи, написанные одним человеком, одним поэтом, одним солдатом, обращенные к одной единственной женщине на свете, стали всеобщими, стали необходимыми людям, миллионам людей и в самое тяжелое для них время.

Сработал один из самых великих неписаных законов поэзии, ибо поэт никогда не может заранее поставить перед собой задачу написать стихи, необходимые миллионам, стихи, которые помогут этим миллионам справиться с тяжелейшей жизненной задачей. Но если он сам достаточно человечески значителен, если он вложит в свои стихи всего себя, если чувство, продиктовавшее ему стихи, окажется до предела сильным и огромным, вот тогда стихи окажутся нужными миллионам других неведомых людей. Так получилось со стихотворением «Жди меня».

Думаю, что вся симоновская лирика военных лет, весь сборник «С тобой и без тебя» был принят читателями столь горячо все по тому же великому закону. За этими стихами стояло нечто всеобщее и грандиозное — война, нечто всеобщее и всечеловеческое — любовь. И писались стихи, потому что это было необходимо одному человеку. Вот и стали они необходимы великому множеству людей.

Всю войну он жил на диво напряженно и насыщенно, в порыве неиссякающего упоения жизнью со всеми ее опасностями, угрозами, радостями. Писал со всех самых горячих фронтов, часто возникал в Москве, «отписывался» и снова уезжал. В Москве проводил иногда несколько дней, иногда несколько часов, умудряясь неизменно, как на празднике, погулять с друзьями. Наверно, все, кому случится вспоминать о нем, будут говорить о его фантастической работоспособно-

сти, а меня поражало не это его бесспорное свойство, а то, что он, при своей невероятной трудоспособности, умел решительно ни от чего в жизни не отказываться. Ни от какой радости, ни от какого праздника. И то сказать, если посмотреть со стороны, честное слово, могло показаться, что на свете существует несколько Константинов Симоновых: один шлет корреспонденции с самых жарких точек войны, другой — потоком пишет лирические стихи, третий — ставит пьесу на сцене московского театра, четвертый — публикует в толстом журнале повесть и, наконец, пятый, пожалуй самый заметный, — лихо гуляет с друзьями в ресторане «Арагви».

И на других людей у него тоже каким-то образом хватало времени. Он очень старался помочь мне написать пьесу о Зое Космодемьянской, — разумеется, после поэмы, — а у меня не получалось. Приезжал и подолгу сидел со мной, и советовал, и придумывал, и случалось, что ругал меня. Иногда будил телефонным звонком на рассвете и бранил за то, что я еще не за работой.

И, как и в юности, где-то на пути, между делом, сочинял прелестные веселые и грустные песенки: «Песню о веселом репортере», «Корреспондентскую застольную», «Песню о городе Пропойске».

При всем при том успевал и читать. (Вот уж точное отличие нашего поколения от нынешних молодых, — мы усердно читали все, что печатали старшие товарищи, да и друг друга. Нынче это как-то необъяснимо не принято, а поэт Олег Дмитриев даже написал в стихах о некоем светском литературном обществе: «Здесь никто никого никогда не читал».) Едва вышла книжка «Знамени» с моей поэмой «Твоя победа», на следующее утро меня разбудил звонок Симонова. Ночью прочел и поспешил сказать несколько добрых слов.

А когда у него наконец появился свой дом, — разумеется, не дом, а квартира, — то оказалось, что он очень домовит, любит и умеет заниматься домом, делать все вокруг себя удобнее, уютнее, привлекательнее. И что он — радушный хозяин, охотно и сам сготовит угощение для друзей.

Однажды, уже в начале пятидесятых, я заехала к нему днем по срочному делу, и когда мы вместе выходили, его задержала домашняя работница, согласовывая какие-то житейские дела. Он был в то время редактором «Литературной газеты» и одним из секретарей Союза писателей, не говоря о множестве других нагрузок, и я сказала, что уж от домашних дел его можно было бы освободить.

— Что ты! — с жаром возразил он. — Зачем?! Я так это люблю. Может быть, больше всех других своих обязанностей.

Полагаю, что никогда в его доме не ходили на цыпочках и

не произносили с придыханием сакраментальную фразу: «Тише, папа работает!» Папе это было решительно без надобности. Живая жизнь, идущая вокруг, никогда не могла помешать его работе.

Четыре года прожили мы на войне, каждый по-своему участвуя в том, чтобы любой ценой, чего бы это нам ни стоило, одержать победу над врагом, над фашизмом. Немыслимо было допустить даже иной возможности, чем полное и окончательное его уничтожение. Увы, сейчас уже можно сказать, что, и столкнувшись с ним лицом к лицу, увидев своими глазами его отвратительное обличие, мы все-таки не смогли в полной мере постичь неистребимость, мерзкую его живучесть. Все, чем мы жили, чему служили эти жестокие четыре года, давало нам полное право надеяться на то, что жизнь наша, жизнь нашей литературы, столь самоотверженно воевавшей, станет такой, какую она заслужила. Четыре года мы были готовы погибнуть во имя того, чтобы жить в преображенном мире, в мире без фашизма. За этой формулой стояла некая безмерность, некая синева, некий праздник духа.

Мир еще не успел остыть от огня войны, как началась «холодная война». И в искусстве нашем, в литературе нашей возникли свои непредвиденные сложности и трудности.

Константин Симонов пришел с войны широко известным писателем и сразу же был вовлечен в орбиту общественной жизни. Он стал одним из секретарей Союза писателей, ему было доверено редактирование «Нового мира». Начинать работу ему пришлось соответственно в весьма сложных условиях. Человек своего времени и своего общества, едва вернувшийся с войны, где многое выглядело подчас проще и определеннее, он существовал по законам этого общества и привык верить в их разумность и справедливость.

Поздней осенью 1947 года мы встретились в Ленинграде в «Европейской» гостинице. Свободного времени у него там было больше, чем в Москве, и мы проводили его вместе. Он много и доверительно рассказывал мне об обстоятельствах своего существования, и личного и общественного. Он был тем же, что и в юности, смелым и прямым человеком, но обстоятельства требовали подчас и других качеств. Приходилось и ему отступать, не всегда удавалось ему отстоять свою точку зрения, свою правоту, но скольких сил, какой энергии мозга и сердца все это стоило...

Вспоминаются некоторые обстоятельства литературной жизни конца сороковых годов. Прошло уже более тридцати лет, в жизни нашей свершилось много глубоких и живительных перемен, в литературу нашу пришло много новых сил,

новых талантов, новых людей, которым и вовсе неизвестны обстоятельства нашего тогдашнего существования, и даже понять их в полной мере им невозможно, как невозможно нам забыть о них.

Разумеется, мы с Симоновым были в ту пору в разном положении. Он был секретарем Союза писателей, он знал много такого, чего не могла знать я.

Мы редко виделись, и я могла только предполагать, каково его отношение к происходящему. Я не допускала, что мы с ним можем находиться на резко противоположных позициях, но я при этом вполне отдавала себе отчет, что мы находимся в разном положении и что его положение ко многому его обязывает.

Есть некая категория людей, считающих себя вправе судить других, выносить непререкаемые приговоры, и прежде всего — активно действующим людям. Они сами, судьи, не совершают никаких серьезных поступков, никак не участвуют, в сущности, в напряженной и противоречивой жизни нашей литературы и заняты вроде бы лишь тем, чтобы сберечь так называемое доброе имя. Но так ли уж много означает доброе имя, столь ли уж оно доброе, если за ним не стоят никакие поступки, никакие деяния? Не есть ли это некая форма чистоплюйства и самосохранения, ухода от жизни, от участия в ней, и стоит ли этим так уж гордиться?

Симонов был занят не заботой о добром имени, а добрыми делами. Быть пассивным он не умел. Болтать и судить о том, что не так, ничего не предпринимая, он не умел. Он действовал, всегда действовал. Наверно, его постигало и немало неудач, но важнее то, что бывали и удачи. Значит, действовать стоило.

Сейчас даже друзьям, даже доброжелателям, вроде меня, порой кажется, что люди уровня Симонова могли делать больше, могли решительнее сопротивляться тому, что было не в интересах литературы. Но в то время, очевидно, не всегда могли.

В середине пятидесятых годов Симонов ушел с поста редактора (да и с других постов) и уехал с семьей в Узбекистан корреспондентом «Правды». Ощутил, видимо, что самая судьба его писательская уже под угрозой, что хватит тратить силы, что времени уже не столь много. Со свойственной ему решительностью круто изменил всю свою жизнь, не спрятался от жизни, а взялся за живое и сто́ящее дело. Изъездил всю Среднюю Азию, сделал много хорошего, помог решению многих трудных жизненных вопросов. До сих пор его там вспоминают добрым словом. И — наверное, это важнее всего — написал роман «Живые и мертвые».

Сейчас мы, пожалуй, еще многого из пережитого не можем объяснить, и, может быть, объяснения уходят в такие глубины подсознания, куда проникать умела разве что великая русская литература с ее пристальным взглядом, устремленным в самые тайные глубины души человеческой. Что же, мы немало задач задали ей, великой русской литературе, и ей — нет, не той, которую мы любим с детства, а новой, будущей литературе, верной тем же высоким законам и достойной тех же вершин, — придется немало потрудиться, чтобы понять и объяснить истории нашу жизнь, поведение людей, моих современников всех возрастов, и в первую очередь тех, кто вырос после революции, кто бегом времени вынесен сейчас в старшее поколение советских писателей.

Симонов был ярким и крупным человеком своего времени, но, собственно говоря, каждый человек является человеком своего времени. Разница заключается только в том, что иные существуют в своем времени, а другие своему времени служат. Мы служили своему времени. Константин Симонов служил своему времени. Почему?

Представьте себе, постарайтесь представить себе, каково быть горячо и глубоко убежденным в том, что ты живешь в мире обновленном и перестроенном, в мире, о котором мечтали и за который боролись самые высокие герои истории. В мире, всеми своими законами и начинаниями впервые в истории человечества устремленном к тому, чтобы жизнь всех людей на свете была прекрасной и справедливой. В мире, где всё впервые и всё — праздник и торжество трудового человека, ибо «мы не рабы, рабы не мы» и «кто был ничем, тот станет всем». Верить в то, что вы есть граждане этого нового общества, быть согласными со всеми его установлениями, участвовать во всех его начинаниях, во всех его грандиозных замыслах, веря в смысл и реальность их осуществления и гордясь своей прямой причастностью ко всему, что происходит вокруг. А вокруг столько первого и яркого и вдохновенного, и все — ваше, и вы — во всем... Неужели трудно понять, какое это счастье?! Вот почему Симонов и служил своему времени.

Да, он был человеком своего времени и не мог делать того, что было невозможно. Какими мерками это определяется? Очевидно, чем больше человек, тем больше он может, хочет мочь, желает мочь. Добрая воля расширяет возможности и добивается порой неизмеримо больше того, что кажется возможным и доступным. Симонов был человеком доброй воли, активной доброй воли, и он всегда за что-то боролся, чего-то добивался, всегда был в действии, в напряжении, всегда чего-то страстно и упрямо желал и требовал. И ни от чего тяжелого, но необходимого, не отстранялся, ни от чего человеческого не отмахивался, понимая, как трудно живут люди и

сколь важны для них даже и не столь уж существенные подробности жизни. Я уж не говорю о материальной помощи — тут он был безотказен и счастлив возможности такой безотказности, это само собой разумеется, но это далеко не всё. Он добивался пенсий, добывал людям квартиры, помогал поставить телефон, доставал дефицитные лекарства, устраивал в больницы. Это тоже само собой разумеется и не поддается учету. Подобная деятельность, истинно общественная деятельность, не та, что выражается в сидении на заседаниях и переливании из пустого в порожнее — чему он, однако, тоже отдал немало времени, — нет, активная и неотступная помощь людям во всем требовала в его жизни не меньше времени и энергии, чем непосредственно писательская работа. Все его деяния подобного рода учету не подлежат, да он бы, вероятно, и не хотел, чтобы о них долго толковали. Но огромна его деятельность другого масштаба, когда он добивался справедливости и торжества разума, преодоления бессмысленного сопротивления и инерции в некоторых вопросах нашей культурной жизни. Помогал восстанавливать писательские репутации, настаивал на том, что они сделают богаче нашу литературу и ее читателей. И опять мне не просто объяснить, ценой какой борьбы и напряжения были побеждены иные препятствия и препоны, сегодня кажущиеся ничтожными, преодолены некие факты и явления; сегодня, слава богу, возвращены к жизни некие ценности, кажущиеся непреложными.

В нашей литературе долгие годы не существовало Михаила Булгакова. Во второй половине пятидесятых годов появились в печати его пьесы, вышел роман «Мольер», «Новый мир» опубликовал «Театральный роман». Все это было очень отрадно, но главным событием, истинным литературным событием явилась публикация в журнале «Москва» романа «Мастер и Маргарита». Симонов принимал горячее участие в истории этой публикации.

Михаил Булгаков, созданное им было возвращено в строй. Очень много для этого сделал Симонов, в начале 70-х годов возглавивший комиссию по литературному наследию Булгакова. Стоила ему эта победа огромных усилий, драгоценных сил души. Да и физических, разумеется. И, вероятно, думаю сейчас я, у него была или выработалась с годами потребность в такой деятельности. Она делала его сильней, обогащала его душу, и он праздновал каждую подобную победу. Их было немало.

Нелегко далась ему публикация в «Новом мире» летом 1947 года «Партизанских рассказов» Михаила Зощенко. Вот как об этом рассказал он сам в письме В. Я. Виленкину, опубликованному в сборнике «Сегодня и давно»: «Почувствовав всю тяжесть положения, в которое попал Зощенко, я, став

редактором «Нового мира», при первой представившейся мне возможности постарался помочь ему. Узнал, что у него есть партизанские рассказы, которые, по словам моих ленинградских друзей, можно было бы, наверное, судя по их содержанию, напечатать, я пригласил его приехать в Москву, отобрал большую часть этих рассказов и предложил опубликовать их в журнале. Это было в начале лета сорок седьмого года, и так вышло, что на вопросы, что из себя представляют эти рассказы и почему я предлагаю их напечатать, мне пришлось отвечать непосредственно Сталину. Он принял мои объяснения, и



К. Симонов на открытии выставки «20 лет работы Маяковского» в Центральном доме литераторов. 1973 г.

тем же летом рассказы эти были напечатаны в «Новом мире»...»

Много лет добивался Симонов публикации романа Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол». Возникали самые непредвиденные препятствия. И все-таки роман появился в собрании сочинений Хемингуэя с предисловием Симонова.

Он стал председателем комиссии по литературному наследию О. Мандельштама и настойчиво добивался издания книги поэта в Большой серии «Библиотеки поэта».

Симонов добился переиздания книг Ильфа и Петрова, которые многие годы не фигурировали в издательских планах.

Потом у Симонова возникла идея восстановить выставку «20 лет работы Маяковского». Задача была не из легких, но Симонов был полон энтузиазма. У него нашлось немало достойных помощников, и выставка была восстановлена и от-

крыта в Москве, после чего она совершила путешествие по всей нашей стране и за ее пределы.

Немало сил потратил он на то, чтобы устроить в Доме литераторов выставку работ удивительного художника Владимира Татлина.

Он радовался всякому новому талантливому имени, и это он ввел в нашу литературу ныне уже известного писателя Вячеслава Кондратьева. Не знаю уж, как повесть «Сашка» стала известна Симонову, но она была опубликована в «Дружбе народов» с его предисловием. Кондратьев писал о войне, писал правду, до сих пор многих озадачивающую, а эта тема и эта правда были всего дороже Константину Симонову.

Он умер в конце августа 1979 года, а следующей осенью, осенью 1980-го, в Ленинграде открылся первый в России мемориальный музей Александра Блока. Создать такой музей долго не удавалось. На открытии было сообщено, что добился его создания Константин Симонов.

Выходят книги с его предисловиями, публикуются его переводы. И долго еще мы, пока живы, будем сталкиваться с его именем в разнообразных добрых контекстах.

Мне кажется, что все перечисленное мной достаточно огромно было бы, даже если бы речь шла не об одном человеке, а о целом учреждении. А сколько его побед естественно вошло в нашу жизнь без того, чтобы стало известным, кому за них следует быть благодарными.

А ведь я уж и не говорю, сколь значительно то, что он неукоснительно отвечал на все письма, неизменно благодарил за книги, присылаемые ему авторами, и писал о них свой отзыв.

Не говорю я, в надежде, что скажут об этом другие, более близкие ему по этой работе лица, скажут о неоценимом его участии в борьбе нашей за мир во всем мире. А сказать стоило бы не только о его непосредственной деятельности на этом поприще в литературе и в кинематографе — и художественном, и документальном, — но и о человеческом его таланте, приложенном к этому делу. Он завоевывал нам друзей во всем мире обаянием своей личности, уважительным доверием к другим людям другого мира, прямыми и честными выступлениями на мировых трибунах.

Симонов жил полноценно до последнего часа, жил горячо и жадно, не берег себя, ни от чего не отказываясь в своей переполненной, через край плещущей жизни со всеми ее трудами и праздниками. И если уж приходилось от чего-то отказаться, так только не от писания.

Где-то в середине шестидесятых годов — он был еще совершенно здоров и полон сил — привез он откуда-то только входящие тогда в обиход тонкие черные карандашики-фломастеры, пишущие на диво приятно, мягко и густо. Почти с

умилением говорил о том, как ему нравится ими работать. Просто так и тянет писать. Такие уж карандашики!

— Да, — соглашалась я, — только они, к сожалению, очень быстро становятся негодными. Пересыхают.

— Как то есть пересыхают? — удивился Симонов.

— Ну, если несколько дней ими не поработаешь, — пояснила я.

— Как то есть несколько дней не поработаешь? — то ли возмутился, то ли вообще не понял Симонов. И решительно добавил: — Да нет, старуха, ты просто неправильно ими пользуешься. Их не надо откладывать. Нужно сесть за стол и писать, пока не испишешь такой карандашик до конца.

— Слушай, может быть, ты просто графоман? — спросила я.

— Наверно... — охотно согласился он.

Кстати, этот эпизод в некоторой мере отвечает на толки о том, что Симонов, дескать, сам не писал, а все диктовал стенографистке. И это правда: что́ писал, что́ диктовал, еще и другие находил средства, помогающие ему больше работать. Иначе невозможно было бы проделывать такую огромную и разнообразную работу.

Другом он был отменным. На его дружество, понимание, желание помочь всегда можно было рассчитывать. Другом он был надежным и верным; независимо даже от того, сколь часто виделся с людьми, он не забывал о них. Но при этом было в его характере одно свойство, по-моему завидное, хотя я отлично понимаю, что к нему можно относиться по-разному: он умел бросать людей. Не признавал тягучих и бессмысленных отношений по инерции, и ежели человек становился ему неинтересен, прекращал общение с ним, жалея времени. Однако можно было быть уверенным: если с этим человеком что случится, если ему понадобится помощь, поддержка, выручка, ему не придется просить о них Симонова. Симонов сам придет на помощь.

Весной 1954 года мы встретились в Киеве на празднике по поводу 300-летия воссоединения Украины с Россией. Было много выступлений, встреч, поездок. Однажды провели целый день в большом и богатом колхозе. Встреча с колхозниками, выступления писателей, разумеется, закончились пиршеством под открытым небом, пиршеством по-украински щедрым и хмельным. В Киев вернулись вечером. Весна стояла удивительная, и вечер был прекрасен. Я устала за день, но спать не хотелось. И вдруг позвонил Симонов, спросил, нет ли у меня пирамидона, голова разболелась. Зашел, сел, принял пирамидон. Пошутил над тем, что существуют разные точки зрения насчет того, когда следует принимать пирамидон, до или

после выпивки. Я предложила третий вариант: вместо нее; но мы решили, что это уж на крайний случай и мы торопиться не будем. И так, исподволь, с болтовни и шуток перешли к большому и серьезному разговору. Тогда, весной 1954-го, нам было о чем поговорить. И проговорили до утра, заметив, что и на Украине бывают белые ночи: за окном, пожалуй, так и не смеркалось.

Он был полон раздумий о недавнем прошлом, о том, что, как и почему, и что было не так, и можно ли было по-другому, и как же дальше.

Нимало не самоуспокоенный, нимало не довольный собой, остро и горько думающий человек, подверженный и душевной боли и душевным сомнениям. И отнюдь не безразличный к тому, что думают о нем люди, понимают ли, как непросто ему живется? Осуждают ли, оправдывают ли? И хотелось, чтоб понимали, и обидно было, если осуждают, и трудно бывало перешагивать через это осуждение, и ясно было, что придется и дальше находить в себе немалые силы, упрямо делая все, что потребует жизнь. А она, как известно, требует немало, и тем больше, чем больше и крупней человек.

Тот ночной разговор мы потом, в сущности, вели с ним до последней встречи, все эти непростые и нелегкие двадцать пять лет, четверть века. Всюду, где бы ни сталкивала нас жизнь. Нам обоим, очевидно, по-разному это было необходимо.

В последний год, уже тяжко больной, преодолевая себя, он все равно непрестанно действовал, непрестанно, по-разному, но всегда работал. Становилось ясно, что ему следует менять образ жизни, что он не в силах уже выносить прежнюю нагрузку. Но он не мог отказаться от нее: потребность всегда действовать, очевидно, вошла в его плоть и кровь. Когда умер наш старейший и любимейший наставник и друг Павел Григорьевич Антокольский, он сказал мне твердо, что не сможет возглавить комиссию по литературному наследию покойного, нет уже ни времени, ни сил, слишком много обязанностей. А когда вскрыли завещание покойного и прочли его волеизъявление, его пожелание, чтобы комиссию возглавил Симонов, он тотчас же согласился.

Все чаще болел, старался поправиться, вроде бы поправлялся, снова куда-то мчался, уезжал, снова возвращался больной. И снова лечился и поправлялся, и снова, и снова... Так и не пойму, что же это было: то ли отчаянная борьба с болезнью, стремление во что бы то ни стало перебороть, одолеть ее, то ли, наоборот, решил он до конца жить как привык, вполне сознавая угрозу неизбежного конца.

Помню, как вздрогнуло мое сердце, когда в какую-то встре-

чу, в ответ на мой вопрос, он самым будничным тоном ответил, что отложил все работы и занимается только приведением в порядок своего архива. И занимался этой непростой задачей так же упорно и тщательно, как делал все на свете. И успел завершить работу. И поглядели бы вы этот архив — поразительный и бесценный литературно-общественный документ нашей эпохи. Он и сам, Константин Симонов, — это, в сущности, целая эпоха нашей жизни. И с ним вместе, очевидно, невозвратно закончилась целая эпоха нашего общего существования. Привыкнуть к этому трудно. Может быть, и невозможно.

Наша юность была трудней и бедней, голодней и холодней, я бы даже сказала — рискованней и опасней, чем юность тех, кто молод сегодня, но мы были счастливы. Счастливы тем, что жили с упоением и работали беззаветно. Мы были счастливы, и за это счастье расплачиваемся теперь полной мерой и по самой высокой цене. И Константин Симонов заплатил за него свою высокую цену. Самую высокую цену, по масштабу его личности. И так же, как огромно было присутствие его в нашем обществе, в нашей литературе, так же огромна и пустота, образовавшаяся с его уходом.

Начав эти страницы немудреными, но уверенными молодыми стихами, которые мы когда-то писали вместе, я позволю себе закончить их горькими строками, — на сей раз я их написала одна:

Ах, эти вечера воспоминаний!
Все миновало.
Вспоминать пора!
Но как расскажешь людям вечер ранний,
который затянулся до утра,
и ту неторопливую беседу,
упрямо устремленную в зарю...
Нет, лучше я на вечер не поеду.
Нет, лучше я с тобой договорю.
Договорю?
Докуда?
Смерить трудно.
Договорить дано ли в жизни нам?
Но той беседы грузовое судно
всей тяжестью пустилось по волнам.
Нет, не вперед...
Обратно!
В те буруны,
водовороты, зарева из тьмы,
туда, где так неповторимо юны,
так яростно отважны были мы.
Так небогаты, так незнамениты,
так безотчетно незащищены,
так ко всему готовы, так открыты
для славы, для тюрьмы и для войны.
Все может быть.

Все — жизнь.
Ах, что-то будет?!
И сбудется ли?
И пробьет ли час?
Все миновало...
И теперь нас судят.
За все, что мы любили, судят нас.
Глядят высокомерно и упрямо
и приговор выносят, не судя.
Что делать, Костя?
Жить.
Стараясь прямо.
По совести. Глаза не отводя.
Чего там! Сдюжим! Всякое бывало...
Никто нас на поруки не возьмет.
И вместе быть.
Но нас осталось мало.
И то сказать... И меньше, что ни год.
И то сказать...
Хотя бы сразу, вместе,
всем поколеньем, как на бранный путь...
Но я живу и, говоря по чести,
все странно верю: можно их вернуть.
Обрадуйтесь же солнечной погоде,
земле и людям,
смертью смерть поправ.
Не умирайте, Саша и Володя!
Живите, Леонид и Ярослав!
Жизнь лучше смерти и в раскатах бури,
перед судом и в испытанья час.
Не исчезайте, Павлик, Эмма, Юрий!
На свете так невесело без вас.
Вы слышите ль меня?!
Но нет ответа.
Лишь синева без берега, без дна...
И я порой не знаю, жизнь ли это?
Еще бы!
Разумеется!
Она!
Но в сердце нет ни зависти, ни злости...
Убоги и беспомощны слова...
И только память...
Что с ней делать, Костя?
Ответа нет.
Да разве я жива?!



Монголия. 1969 г. Слева направо: Ю. Цеденбал, К. Симонов, Д. Ортенберг, Б. Смирнов

Борис СМИРНОВ

В ДНИ ВОЙНЫ И В ДНИ МИРА

Осенью тридцать восьмого года я прилетел в командировку в Ленинград на несколько дней. Константин Михайлович был там и попросил уделить ему немного времени для беседы. Меня это не удивило. Людей, воевавших в далекой Испании, окружал в те годы своего рода романтический ореол.

Но моя командировка уже заканчивалась, в кармане лежала путевка в санаторий, договорились встретиться в Москве.

Спустя две недели меня попросили к телефону в кабинет начальника санатория. Звонил Константин Михайлович, спросил, можно ли приехать. Через два дня К. Симонов прибыл в Гурзуф. Наш разговор проходил совсем не так, как я предполагал. Мне думалось, что Симонов будет задавать вопросы и записывать мои ответы. Но получилось все по-другому. Мы часами лежали на прибрежной гальке, он не задавал вопросов, ничего не записывал, просто внимательно слушал.

Я чувствовал, что Симонов человек, с которым можно поделиться самым сокровенным, с уверенностью в том, что он не подведет.

Должен объяснить одно обстоятельство: участие советских добровольцев в испанской войне долгое время в нашей стране держалось в секрете, хотя весь мир знал об этом. Наш советский журналист Михаил Кольцов в своих корреспонденциях из Мадрида вынужден был заменять русские фамилии на испанские. Поэтому многие героические поступки советских добровольцев воспринимались нашими читателями как героизм испанских патриотов.

Так, описывая подвиги советских летчиков-истребителей в ночных воздушных боях в районе Мадрида, М. Кольцов назвал Михаила Якушкина — Костэхоном, а Анатолия Серова — Матэо.

Симонов приехал в Гурзуф всего лишь на три дня. За эти три дня мы успели перейти с ним на «ты».

Провожая его в Москву, я спросил: сможет ли он использовать в своей работе то, о чем мы беседовали? Костя ответил, что обязательно использует, а когда и как, сказать трудно.

Ему, наверное, пришлось проявить немало изобретательности, чтобы рассказать об участии советских добровольцев в первой битве с фашизмом в Испании. Все-таки он сделал это, и сделал блестяще.

Незадолго до начала Великой Отечественной войны он пригласил меня на премьеру своей пьесы «Парень из нашего города». Название пьесы ничего не говорило.

И вот раздвинулся занавес. В глубине сцены висела огромная карта Пиренейского полуострова — Испания! Перед картой — стол, за которым сидит офицер в немецкой форме, рядом два патрульных и пленный в изорванной одежде.

Актеры не успели произнести ни одного слова, как вдруг зрители встали и раздались бурные аплодисменты. Все мгновенно всё поняли.

К. Симонов быстро приобрел большую популярность. Многие почувствовали его творческую смелость, желание показать интернациональное достоинство советского человека. С тех пор Константин Михайлович стал большим другом советских добровольцев, сражавшихся в Испании. Впоследствии он помогал некоторым из них в работе над своими статьями и мемуарами. Надо сказать, что события в Испании 1936—1939 гг. и участие в них советских людей глубоко интересовало Симонова, и не случайно некоторые герои многих его произведений «побывали» в сражающейся Испании.

После премьеры «Парня из нашего города» многие участники боев в Испании стали частыми гостями в кругу актеров, композиторов, художников. Расширился круг знакомства и у меня. Правда, сближение с этим миром было непрочным, вре-

менным, — видимо, сказывалась разница профессий (я — летчик), но знакомство с Константином Михайловичем перешло в дружбу.

Перед событиями в Монголии, у реки Халхин-Гол, мы с Костей долгое время не виделись. Московская группа летчиков, в которую был включен и я, вылетела к месту событий почти по тревоге. В завершающие дни сражений, в конце августа, я случайно узнал, что Симонов находится в редакции нашей фронтовой газеты «Героическая красноармейская». Дозвониться до редакции газеты оказалось невозможно. Отлучиться с аэродрома в светлое время дня тоже нельзя — каждую минуту мог быть дан сигнал на боевой вылет; поехать в редакцию на ночь глядя, да еще не зная места расположения редакции, — наверняка заблудиться в степи.

Пока я строил планы, как увидеться с Костей, московская группа летчиков неожиданно вылетела в Москву, а с Костей мне встретиться очень хотелось: к тому времени, когда он прибыл в редакцию газеты «Героическая красноармейская», завершался разгром окруженной Квантунской армии. У меня появилась дерзкая мысль посадить Костю в учебно-тренировочный самолет типа истребитель УТИ-4 и пролететь с ним над всей территорией военных действий в районе реки Халхин-Гол. Полет военного корреспондента над театром военных действий дал бы интереснейший материал в «Героическую красноармейскую», тем более из-под пера Симонова. Я был уверен, что на осуществление такого мероприятия комкор Я. В. Смушкевич дал бы мне разрешение.

Спустя несколько лет, вспоминая халхин-гольские дни, я рассказал ему о несостоявшемся тогда моем плане. Он вскочил из-за письменного стола, схватил свою трубку, что-то начал искать, потом опять сел, посмотрел на меня, тихо сказал:

— Лучше бы не рассказывал...

Я стал успокаивать его, — мол, он мог увидеть с высоты полета только пески, барханы, Холхин-Гол да впадающие в нее мелкие заросшие речушки. Но Костя укоризненно покачал головой:

— Да, конечно! Только я увидел бы все это собственными глазами.

В самый канун Великой Отечественной войны мы засиделись у писателя Дыховичного. Разговор шел о разном, только не о том, будет ли война. Меня даже удивило, как эта тема, волновавшая в те дни множество людей, обошла нашу беседу. Однако, когда мы вышли и сели в машину, Костя неожиданно задал мне этот вопрос, задал, хорошо зная, что ответить ему «да» или «нет» я не могу. Он молча обнял меня

одной рукой и, несмотря на очень позднее время, попросил отвезти его в редакцию газеты «Красная звезда». А на другой день, в воскресенье, на рассвете началась война...

С тех пор мы не виделись до глубокой осени. За это время гитлеровские войска сумели выйти на московские рубежи.

В ноябре или в конце декабря сорок первого Костя разыскал мой служебный телефон и позвонил. Я очень обрадовался, услышав его голос. Если бы не этот звонок, мы опять разминулись бы надолго. В конце разговора он попросил приехать в гостиницу «Москва», где остановился, и, если возможно, прихватить ему яловые сапоги и бутылку водки. До вечера времени было достаточно — достал ему то и другое и приехал в назначенное время.

На кровати в его номере лежали две пары белья, новые портянки, солдатское полотенце и бытовые мелочи. Рядом на полу — небольшой чемодан, вещевой мешок и хромовые новые сапоги, на столе — бутылка портвейна, банка консервированной тушенки и селедка, завернутая в газету. Судя по всему, он получил сухой паек, кое-что из обмундирования и опять собирался куда-то на передовую, кажется в направлении города Юхнова.

Ни квартиры, ни комнаты в то время у него не было. Появляясь в Москве, он жил в редакции газеты или в гостиничном номере.

Перед тем как сесть за стол, он бережно перелил водку во флягу и спрятал ее в вещевой мешок. Затем ловко намотал портянки и надел яловые сапоги, они пришлись ему впору. Хромовые сапоги отдал мне, сказал, что они ему ни к чему.

В эту встречу Костя рассказал, что помимо фронтовых корреспонденций он задумал написать пьесу, в которой главными действующими лицами будут авиаторы. И в связи с этим попросил объяснить ему несколько ситуаций из боевой работы летчиков. Беседа увлекла нас и затянулась до рассвета. Меня опять удивило то, что Костя ничего не записывал. Оказывается, он делал это потом, оставаясь один, восстанавливал беседу, отбирал то, что нужно.

Спустя два года, когда мне довелось посмотреть кинокартину «Жди меня», я вспомнил ночь в гостинице «Москва», мой рассказ о вынужденной посадке подбитого самолета.

Зимой 1942 года мы встретились снова в Москве.

В тот раз он рассказывал мне о своем трудном «рейде» на Дальнем Севере; упомянул и о том, что ему удалось побывать на одном из аэродромов, где базировались английские и на-

ши летчики-истребители, выполнявшие одну и ту же задачу — охрану с воздуха прибывавших из Англии в наши северные порты караваны судов.

Мое участие в получении иностранной авиационной техники и ее обслуживание на первых порах английским персоналом очень заинтересовало Константина Михайловича. По-моему, он хотел понять, насколько была эффективна помощь со стороны союзников. Расспрашивал о боевом качестве заморских самолетов, об интенсивности их использования на фронтах, о взаимоотношениях между нашими и английскими летчиками в процессе несения патрульной службы на Севере.

Впоследствии я понял: беседы не только со мной, но и с другими людьми для Константина Михайловича не являлись праздными и не пропадали даром. И это многие знали. То, что нужно, он держал в памяти или в записной книжке.

Иногда казалось, что то или иное давным-давно забыто, но это не так. Двадцать с лишним лет спустя после того вечера появилась повесть, а затем и фильм «Случай с Полыниным», относящийся к тому времени.

Ему хотелось как можно больше знать о каждой военной специальности и найти в ней главную нить, связывающую профессию с человеком.

Его, например, интересовали такие детали в летной работе: можно ли пилотировать, не глядя на приборы, определяющие режим полета? В каких случаях летчик испытывает страх, быстро ли это чувство проходит и как оно влияет на управление самолетом? Однажды он задал вопрос: в каких случаях целесообразно применять таран в воздухе и можно ли его осуществить с гарантией безопасности для производящего этот маневр?

Наша последняя встреча военных лет произошла в Болгарии в сорок четвертом. Я занимался необычным делом: выпускал в полет немецкие самолеты — «мессеры» и «юнкерсы». На этих трофеях летали болгарские летчики и действовали против немецких войск, находящихся на югославской территории. Все мое внимание в эти минуты было сосредоточено на том, чтобы быстрее произвести взлет. И вдруг меня кто-то крепко обнял сзади. Первое мгновение не мог сообразить, кто бы это мог в столь неподходящий момент выразить свои дружеские чувства. Оглянулся и себе не поверил: Костя Симонов здесь, в Болгарии, на аэродроме?! Мы крепко обняли друг друга.

Отлучиться с аэродрома не позволяла обстановка, поговорить хотелось о многом. Договорились встретиться вечером в Софии в его гостиничном номере. Однако Костя не утерпел до вечера и тут же выложил свой план, сказал, что надеется на

мою помощь. Оказывается, он решил во что бы то ни стало попасть на югославскую территорию, в расположение партизан, и спросил: не мог бы я перебросить его туда на каком-нибудь самолете?

Что Костя смелый — я уже давно знал; что он не раз летал, был под пулями и бомбежками, когда надо, умел пользоваться автоматом — тоже знал, но на сей раз я был все-таки озадачен. Объяснил ему, что в Югославии идут бои днем и ночью, на земле и в воздухе, что могут сбить запросто, а переправить его ночью еще сложнее: надо предварительно договориться с той стороной.

На все мои доводы Костя сочувственно кивал головой, а по глазам я ясно видел, что он понимает — в данной обстановке выполнение его просьбы означало бы серьезное нарушение воинской дисциплины. Как бы между прочим напомнил о Халхин-Голе — там, дескать, ты хотел слетать со мной, а здесь и не заикаешься.

Вечером мы сидели у него в гостинице «София», в номере с выбитыми стеклами, сидели на полу, потому что мебели не было, ее вынесли куда-то после первой бомбежки. Константин Михайлович по нашей просьбе читал свои стихи, а Евгений Кригер рассказывал тут же сочиненную им историю одной любви. Не хотелось расставаться. Такие встречи в те годы бывали редкими.

Через четыре дня дивизия, которой я командовал, перебазировалась на югославскую территорию. Я очень сожалел, что потерял Костины следы после того вечера в Софии, ведь представился случай помочь ему, но когда я перелетел в Югославию — случайно узнал, что Константин Михайлович, оказывается, где-то уже здесь, в Югославии.

В пятидесятом году я приехал в Кисловодск в санаторий. Сестра-хозяйка повела меня по столовой, подыскивая место за столом, и вдруг слышу, кто-то громко зовет меня. В противоположной стороне у стены стоял Константин Михайлович с поднятой рукой, приглашая меня за свой стол. Так мы оказались вместе на целых двадцать дней.

Первый раз за многие годы встреч мы ни разу не вспомнили о войне. Константин Михайлович, оказывается, умел не только титанически работать, но и весело отдыхать, — правда, такой отдых он почему-то называл «принудиловкой».

Кисловодск в то время был небольшим городком. Главная улица довольно круто спускалась вниз почти от самого санатория, а внизу заканчивалась «пятачком» — местом встречи всех отдыхающих. В один из дней Костя почему-то не захотел идти по исхоженному маршруту, но я все-таки утащил его

за собой, и не зря. В конце улицы, у углового дома, мы неожиданно лицом к лицу встретились с Георгием Константиновичем Жуковым. Он был один. И мы, и Жуков остановились, чтобы уступить друг другу дорогу. Константин Михайлович поздоровался первым, назвав маршала по имени-отчеству. Маршал был в штатском: в белой тенниске, серых брюках, без головного убора. Жуков нерешительно протянул руку. Я отошел в сторону, чтобы не мешать встрече.

Между ними произошел короткий разговор. Они попрощались.

Судя по их улыбкам, они о чем-то договорились. Георгий Константинович бросил в мою сторону беглый взгляд, видимо вспоминая, где видел. Возможно, вспомнил санаторий им. Фабрициуса, где вместе отдыхали, или свой командный пункт на Халхин-Голе, где я однажды докладывал ему о ходе одного воздушного боя...

Константин Михайлович был доволен. Улыбка не сходила с его лица. Некоторое время он шел молча, затем сказал, что с него причитается магарыч за то, что я утащил его на прогулку. Константин Михайлович еще не раз встречался с Георгием Константиновичем и после этого заторопился в Москву.

В 1969 году Монгольская Народная Республика отмечала тридцатилетие разгрома японских захватчиков у реки Халхин-Гол. Правительство МНР пригласило на торжество ветеранов тех боев. После ряда мероприятий в Улан-Баторе делегациям предстояло лететь в район боев у реки Халхин-Гол.

В конце маршрута к нам подсел товарищ Цеденбал и, обратившись к Константину Михайловичу, спросил, узнаем ли мы эти памятные места? Константин Михайлович ответил:

— Я вижу пока только степь, а вот Борис Александрович видит все ориентиры, над которыми сотни раз летал, все свои аэродромы и, кажется, определил места в воздухе, где проходили воздушные бои.

Цеденбал улыбнулся, глядя на меня, а я с удивлением уставился на Костю, думая: «Как это ты так точно угадал, ведь я ни слова тебе не сказал?» А между тем действительно, наблюдая за землей, я мысленно видел все то, что он перечислил, — словно и не было тех тридцати лет, ушедших в прошлое, будто и впрямь я вновь летел на боевое задание.

Все эти дни пребывания в Монголии Константина Михайловича невозможно было застать одного. Он все время находился в большом окружении людей. За истекшие годы у него здесь, в Монголии, появилось много новых друзей. Монголь-

ские ветераны боев на Халхин-Голе дарили ему сувениры, а молодежь, изучившая русский язык и читавшая произведения Симонова, особенно его первый роман «Товарищи по оружию», обступала его с просьбой получить автограф.

Прошло еще десять лет. В Монголии шла подготовка к сорокалетию битвы на Халхин-Голе. Константин Михайлович очень хотел еще раз побывать «на горячей земле Монголии» (его выражение). За полтора месяца до юбилейной даты он позвонил мне и своим неизменно спокойным голосом спросил, готовлюсь ли я к вылету в Монголию, и сказал: «Полетим вместе». Но этому не суждено было осуществиться...



Ю. Цеденбал, С. С. Смирнов, К. Симонов. Улан-Батор. 1969 г.

Ю. ЦЕДЕНБАЛ

СЛОВО О ПИСАТЕЛЕ-ВОИНЕ

Выдающийся деятель советской культуры, талантливый прозаик, поэт, драматург и публицист Константин Михайлович Симонов известен всему миру. Имя его любимо и чтимо не только в Советском Союзе, но и за его пределами, на всех земных меридианах. Этот высокоодаренный писатель и известный всему миру общественный деятель жил, творил и действовал в самое горячее, кипучее и огненное для народов земли время. Он был истинным солдатом открытого Великим Октябрем нового мира, неутомимым фронтовым тружеником во все дни неимоверно тяжелых вооруженных схваток с самой оголтелой черной силой мировой реакции — фашизмом. Народы мира будут вечно помнить незабываемые, величественные события второй мировой войны, ее решающие битвы, происходившие на советско-германском фронте. Славное имя Константина Симонова — активного участника и бытописателя этих битв — всегда будет сверкать среди имен талантливейших художников нашей эпохи.

Мне приятно отметить, что Константин Михайлович Симонов с какой-то особой заинтересованностью, истинной любовью относился к Монголии, ее трудолюбивому народу, воинам Монгольской народно-революционной армии. Ведь первое боевое крещение он получил на Халхин-Голе в 1939 г. — на завершающем этапе четырехмесячных сражений советско-монгольских войск против японских захватчиков. Халхингольская битва, как известно, завершилась окружением и полным разгромом японских сил, что вошло в историю как повторение Канн, происшедшее через две тысячи лет и осуществленное под командованием выдающегося советского полководца Г. К. Жукова.

Для широкого круга монгольских читателей К. М. Симонов является одним из самых популярных и любимых писателей. Большими тиражами в МНР изданы его произведения «Товарищи по оружию», «Дни и ночи», «Далеко на Востоке», трилогия «Живые и мертвые».

Выполняя свою основную работу в качестве министра финансов и председателя правления монгольского банка, наряду с финансированием нужд фронта в период халхингольских боев, по поручению правительства я занимался вопросами продовольственного снабжения действующих войск. Поэтому тогда не имел возможности лично вступать в дружеские контакты с фронтовыми писателями, в том числе и с К. М. Симоновым. Впервые же мне довелось встретиться с К. М. Симоновым лишь в 1949 г. во время Всемирного конгресса мира, проходившего в Праге и Париже. Эта встреча, произошедшая на благороднейшем поприще борьбы за мир против начатого после войны империалистической реакцией атомного шантажа, навсегда сохранилась в моей памяти. После 1949 г. наши с ним отношения стали регулярными и самыми дружественными, я всегда чувствовал теплоту и дружелюбие Константина Михайловича. В начале 60-х годов он посетил Монголию и широко познакомился с ее жизнью. В дни празднования 30-летия победы советско-монгольских войск мы вместе с ним в 1969 г. участвовали в торжествах в районе Халхин-Гола и Улан-Баторе.

Говоря о боевом содружестве советских и монгольских воинов в тяжелые годы враждебного капиталистического окружения, нам приятно вспомнить, что в соответствии с Договором о взаимопомощи между МНР и Советским Союзом от марта 1936 года сразу же в помощь монгольскому народу в район Халхин-Гола был введен первый корпус советских войск. Командиром его батальона тогда был капитан В. А. Копцов, который в период халхин-гольских боев в 1939 г. в числе 73 воинов был удостоен звания Героя Советского Союза.

Контакты и связи с Константином Михайловичем осуществлялись на партийных съездах, праздничных торжествах и в различных формах встреч, которые всегда были радостными и приятными, порою являлись открытиями, так как из наших задушевных бесед я узнавал много нового и полезного для себя. Константин Михайлович как-то легко сходился с людьми, был простым, доступным и приятным в общении. Он излучал радость, вдохновение и оптимизм, проявлял истинное человеколюбие, не терпел невнимательность, безразличие и бездушие. Именно эти высокие человеческие качества К. М. Симонова снискали ему глубокое уважение монгольской интеллигенции, прежде всего наших писателей, с которыми он часто встречался и помогал им своими ценными советами.

Мне почему-то казалось, что тема Халхин-Гола неизменно волновала Константина Михайловича. В своих произведениях о военном времени он, бывало, нет-нет да и вспомнит устами своих героев о знойных монгольских степях и о тех сражениях, которые прошли на них.

Одна из особенностей войны на Халхин-Голе состоит в том, что в ней, в частности в период решительного наступления советско-монгольских войск, было осуществлено невиданное ранее массированное применение авиации. Ведь для действия авиации на 80-километровом фронте было оборудовано 63 полевых аэродрома. Кажется, это Г. К. Жуков после войны однажды сказал Симонову, что во время Великой Отечественной войны применялась громадная масса авиации, но что он не знает случая, чтобы на столь узком участке фронта действовало такое количество авиации, как это было в период халхин-гольской наступательной операции.

Весной 1979 г. я в Москве дважды встречался и имел сердечные беседы с К. М. Симоновым, приглашал его на празднование 40-летия Халхин-гольской победы. В середине августа от него в подарок получил его трилогию «Живые и мертвые» в новом издании, а также письмо, написанное из больницы и сообщавшее о его тяжелом недуге, который впоследствии привел к печальному исходу. Большой и невосполнимой утратой и для Монголии была безвременная кончина талантливого летописца всенародного подвига советских людей в годы военных испытаний Константина Михайловича Симонова, вдохновенные произведения которого являются бесценной реликвией для прогрессивных сил мира.

К. М. Симонов дорог и близок трудящимся Монголии, воинам монгольской армии своим весомым вкладом в развитие советско-монгольской дружбы, замечательными произведениями, воспевающими бессмертный героизм и стойкость

Конст Симонов
МОСКВА

Дорогой товарищ Цеденбал
Простите что пишу от руки
— лежу в послеоперационной.
Ужасно жаль что не приеду
в Монголию по Вашему по-
четному для меня приглашению
Поздравляю Вас с великим
для обоих наших народов
интернациональным праз
дником победы на Халхин-
Голе!
Желаю счастья Вам
и в Вашем лице всему
Монгольскому братскому
народу!
Любящий
и глубоко Вас уважающий
Ваш Константин
Симонов
11 августа Москва. Больница

Письмо К. Симонова Ю. Цеденбалу из больницы от 11 августа 1979 г.

советских людей в борьбе с фашизмом и реакцией, возвеличивающими торжество дела мира и дружбы между народами.

Свою горячую благодарность К. М. Симонову — воину Халхин-Гола, бесстрашному солдату жестоких битв с фашизмом — монгольский народ выразил правительственными наградами — орденом Сухэ-Батора и медалями, которые были вручены в 60-х и 70-х годах.

В памяти монгольских трудящихся Константин Михайлович Симонов останется как выдающийся советский писатель и активный общественный деятель, как доблестный воин, неутомимый борец за мир и безопасность во всем мире.



Халхин-Гол. 1939 г. Сотрудники газеты «Героическая красноармейская» среди военачальников.

Лев СЛАВИН

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Я узнал Константина Симонова в ту пору, когда он только начинал как поэт. Он недавно вылупился из вуза, и на нем еще желтел цыплячий пух Литературного института. Это было в 1938 году, — стало быть, примерно за год до военной бури в Монголии — на Халхин-Голе.

Когда она разразилась, четыре писателя — Борис Лапин, Захар Хацревин, Владимир Ставский и я — отправились туда в качестве военных корреспондентов.

Редактор фронтовой газеты «Героическая красноармейская» генерал Ортенберг (в ту пору полковой комиссар) послал в Москву, в Политуправление, телеграмму, в которой просил дополнительно прислать, как он выразился, «одного поэта». И в начале августа из Москвы примчался этот «один поэт». Им оказался Константин Симонов.

Не знаю, почему выбор Москвы пал именно на него. На фронт хотели многие. Когда мы уезжали в Монголию, нас провожала группа молодых писателей. В глазах провожающих горела чистая, беспримесная зависть. То, что избранным во фронтовики оказался именно Константин Симонов, надолго, может быть навсегда, определило литературную его судьбу.

В те дни Симонов выглядел совсем юным. Он не старался казаться старше своих лет. Скорее, наоборот. «А там, на

Халхин-Голе, — писал он мне через много лет, — я, в общем-то, был совсем мальчишкой, и хотя, может, это не до конца показывал, но сильно робел перед всеми вами...» Робеющий Симонов — не правда ли, почти невероятно!

Между тем тогда этому «мальчишке» было уже двадцать три года — возраст, как говорится, не мальчика, но мужа. Мальчишескую моложавость подчеркивала его несколько скованная манера держаться, как бы смущенная. Отсюда же происходила значительная доля его обаяния. Трудно было догадаться, что за этой очаровательной застенчивостью таятся железная воля, точный жизненный расчет, несгибаемое упорство в достижении поставленных перед собой целей. И этот «мальчишка» сразу же показал себя неутомимым и бесстрашным военным журналистом. Он вспоминал впоследствии: «Героическая красноармейская» была для меня прежде всего школой газетного темпа».

В нашей юрте был еще свободный уголок, и мы втащили туда четвертую койку. Симонов стал нашим — Лапина, Хацревина и моим — соседом. Он вытряхнул из своего дорожного мешка яблоки, и мы, стосковавшиеся по свежинке — всё консервы да концентраты! — с жадностью набросились на них. И — трубочный табак, которым я немедленно набил трубку и стал клубами дыма выгонять из юрты комаров, надоедавших нам не менее, чем бомбежки. Упоминаю о бомбежках потому, что наши большие круглые юрты, составленные из ослепительно белых войлочных матов, стоявшие посреди гладкой зеленой необозримой степи, были видны издалека. И японские бомбардировщики отнюдь не пренебрегали этой соблазнительной мишенью. Разумеется, мы ныряли в щели, вырытые между юртами, и, случалось, именно там, сдвинув каски на затылок, дописывали материалы в очередной номер газеты.

Продолжая опорожнять свой рюкзак, вслед за яблоками и табаком Симонов извлек «Словарь рифм».

Боря Лапин, сам поэт сильного и оригинального дарования, удивился:

— Костя, зачем вам рифмовник?

— А это полезно, — сказал Симонов, слегка покраснев.

Полезно!

Я вспомнил эту маленькую, но такую характерную деталь, читая дневники Симонова. В них он запечатлевал со свойственной ему обстоятельностью многие, казалось бы, мелкие, но такие выразительные подробности фронтового быта! И они — эти подневные записи — часто драгоценны именно этой своей дотошностью, а также той беспощадностью, с какой Симонов порой относился к самому себе. В записи за 10.3.45 г. он приводит такой штришок:

«Петров берет меня в свой «виллис». «Виллис» открытый, даже без тента».

Почему Симонов упоминает о такой детали, казалось бы незначительной: «без тента»? Но такая ли она уж незначительная во фронтовой обстановке? Во всяком случае, прочтя эти строки в дневнике Симонова, я вспомнил удивившую меня, да и других военных корреспондентов деталь в той машине, на которой Симонов приехал однажды с фронта в Москву. Редакция «Красной звезды» вызвала нас со всех фронтов, чтобы ознакомить с некоторыми важными приказами Верховного Главнокомандования. Примчался, естественно, и Симонов. В крыше его «эмки» было вырезано большое отверстие, своего рода люк или окно. На удивленный вопрос: «Для чего вы это сделали, Костя?» — он ответил тем рассудительным тоном, который был порой свойствен ему:

— Это полезно: вовремя увидишь «юнкерс» и еще успеешь укрыться.

Опять, значит, полезно!

Только с годами мы разглядели в Константине Михайловиче мощный двигатель его жизненного поведения, во всяком случае в первой половине его жизни. Его богом был глубоко внедренный в него практицизм. Лишь с течением времени Симонов несколько сладил с ним, научился подминать его. Но следы этого, как и хромота у библейского патриарха Иакова, осталась у него как знак о его схватке с богом, принявшим облик ангела. Разумеется, упоминая о «хромоте», я говорю о чисто душевной черточке Симонова, в натуре которого многозначность спорила с одержимостью и широта интересов — с монолитностью убеждений. В литературной деятельности Симонова эти противоречия выражались в сосуществовании спорных оценок иных значительных произведений нашей литературы с безоговорочным восхищением Булгаковым и Платоновым. Наблюдая эту перемежающуюся «хромоту», люди говорили сочувственно, как в свое время при виде прихрамывающего Иакова: «Простим же ему это расщепление: все-таки он боролся с богом».

Но все это впоследствии. Тогда же, увидев это зияние в крыше машины Симонова, мы все переглянулись. Полезно? Наверное. Предусмотрительно? Пожалуй. Но почему никто из нас, фронтовых журналистов, не делал этого и не последовал примеру Симонова? Не хватало, что ли, в нас этой завидной практичности, этой прагматической воли, которая, между прочим, соединялась в Симонове с мужеством солдата: ведь он ходил с бойцами в атаку, да и в разведку хаживал.

В тот первый свой день на Халхин-Голе Симонов оглядывал с восторженным удивлением, как все мы когда-то, прости-

равшийся вокруг нас потрясающий монгольский пейзаж — необъятный простор зеленой степи, вдали — лиловатую гряду Хинганских гор причудливых очертаний и на краю горизонта — трепещущие миражи — серебристые рощи и сиреневые озера, курящиеся нежным призрачным дымком.

В необычность нашей редакционной обстановки целиком вписывалась и личность редактора газеты. Давид Иосифович Ортенберг — широкоплечий худощавый человек, словно свитый из одних сухожилий, с острым лицом сильной умной птицы. Энергия его казалась временами неукротимой. Это была волевая натура вожака. Как-то в его обществе я обогатился ценным переживанием: я понял, что страх страха могущественнее страха смерти. Мы успели спрыгнуть в щель в то время, когда вражеский самолет кружил над нами, сбрасывая бомбы, но сумел только разбить нашу уже опустевшую машину. Ортенберг вспоминает об этом случае в своей книге, этом великолепном памятнике работы писателей на фронте. Он описывает не без юмора, как мы недовольно ворочались в тесной щели, но при этом он не называет соседа, который был рядом со мной, и все это переживал с хладнокровием, которое никогда не покидало его. Этим вторым был он сам, наш редактор.

В те первые дни приезда Симонова на Халхин-Гол с лица его не сходило выражение необыкновенного удовлетворения, больше того — счастья! — что вот он дорвался до фронта, до настоящего большого дела! С поразительной быстротой, трудолюбием, оперативностью — в дальнейшей жизни Симонова оказалось, что это его основная черта, — писал он в очередной номер газеты стихи, песни, баллады.

По обычаю, установившемуся в редакции нашей фронтовой газеты, Симонов едва ли не в первый день приезда был направлен на передовые позиции. Этим боевым крещением наш редактор испытывал нервы каждого нового сотрудника. Симонов выдержал экзамен на «отлично».

Вернувшись с переднего края, обстрелянный, пропахший пороховыми газами и несколько оглушенный близкими разрывами авиабомб, Симонов ввалился в нашу юрту с выражением счастливой усталости на лице. Но только улегся он на койке, как раздался пронзительный, как клекот орла, призыв редактора. Он потребовал, чтобы Симонов написал в номер стихи размером в шестьдесят строк.

Так состоялось вступление Константина Симонова в военную журналистику, которой впоследствии он отдал столько сил. Я отлично помню его тонкую долговязую фигуру, мелькавшую на разных участках халхин-гольского фронта. Его энергия, целеустремленность, казалось, были неисчерпаемы. При всем том он был кроток и послушен. Поистине, как мальчика,

его тянуло к сильнейшим, опытнейшим, к самым, что ли, взрослым из нас. Ими были по самому своему служебному положению редактор наш Ортенберг и писатель Ставский, видная фигура в руководстве Союза писателей.

Симонов и сам ведет свое происхождение военного писателя от своей журналистской работы, то есть от работы во фронтовой газете на Халхин-Голе. Но он, разумеется, не прав, и можно даже удивляться такому странному его заблуждению, когда он заявляет: «Конечно, не будь я военным корреспондентом, я не стал бы военным писателем».

Заблуждение это довольно распространенное и в разной степени было свойственно многим писателям. Война — как грандиозная тема вторгалась не однажды в жизнь и творчество писателей. Но, разумеется, не война сделала Симонова писателем. Его воспринимающий аппарат художника не мог остаться безответным перед лицом такого потрясающего события, как война, как не могли пройти мимо нее Толстой, Лермонтов, Гаршин, Хемингуэй, Стендаль, да и мы, грешные. Симонов отразил халхин-гольскую войну в своем первом романе «Товарищи по оружию».

Но вот неожиданно через семнадцать лет после Халхин-Гола Симонов вдруг снова возвращается к нему в своих дневниковых записях «Далеко на Востоке». Что побудило его, после того как он писал так обильно и так проникновенно о грандиозной четырехлетней мировой войне, охватившей несколько континентов и океанов, вернуться к этому маленькому четырехмесячному боевому столкновению на восьмидесятикилометровом клочке, затерянном в пустыне глубинной Азии?

Сам Константин Михайлович в предисловии к этой небольшой дневниковой книжке излагает свои мотивы так: «Советская Армия... выполнила свой интернациональный долг. И, думается, именно поэтому события на Халхин-Голе не из тех, которые забываются...»

Когда Константин Михайлович прислал мне эту книжку — небольшую, но компактную, написанную очень сконцентрированно, сгущенно, что ли, — я, прочтя ее, написал ему о смелости его пера, которая придает его писаниям неподражаемую интонацию искренности. Она органична. Слово Симонова, иногда намеренно тяжеловесное, нарочито приземленное, выражает стремление автора к правде. Никакие соблазны стилистической красивости не прельщают его. Это было сознательное стремление. Недаром он процитировал полюбившуюся ему строку из стихотворения Бориса Слуцкого: «Есть кони для войны и для парада». «Меня, — тут же прибавил Симонов, — более всего интересуют первые».

Роман «Товарищи по оружию» не самое совершенное произведение Симонова. Писатель и сам не преувеличивает

достоинства своего зачина в художественной прозе. «...это вещь, во многом ученическая», — отозвался о ней Симонов через много лет. При всем том, уступая в мастерстве последующим романам Симонова, «Товарищи по оружию» привлекают своей искренностью, смелостью в изображении людей и событий, а емкость стиля выгодно отличает эту книгу от иных не в меру пухлых романов с неотжатой водой.

И все же не в этом главная ценность «Товарищей по оружию». Она — в историзме этого романа. Он шире своих чисто сюжетных рамок. В нем дышит эпоха, он — некий взгляд сквозь Халхин-Гол в надвигающиеся грандиозные события. Молодой поэт это почувствовал тогда же, хотя, по-видимому, осознал позже. «...когда я писал о боях с японцами в районе Халхин-Гола, реки, о которой у нас почти никто до того не слышал, — заявлял Симонов впоследствии, — я видел в происходившем там некую прелюдию к второй мировой войне, важное событие, которое явилось причиной того, что Япония не вступила в войну против нас...»

Невозможно сомневаться, что просто в силу свойственного Симонову чувства историзма подобное предвидение шевелилось в его сознании еще прежде, чем оно превратилось в точное знание, ибо Константин Михайлович обладал свойством для писателя драгоценным: острым ощущением политического и исторического смысла событий, совершающихся в каждый данный момент. И он знал это о себе и сказал как-то: «...мне неинтересно писать роман не о событии. Меня привлекают события, существенные для жизни многих людей, шире говоря — народа и страны».

И если бы жизнь Константина Михайловича не оборвалась так сравнительно рано, мы увидели бы и такие его произведения, в которых отразилась бы оценка и переоценка и других разных политических злоб дня. К этому шло, и, конечно, именно об этом значении историзма обмолвился он, сказав: «...мне кажется, что историзм — это справедливый суд над прошлым».

Халхин-Гол щедро обогатил Симонова познанием и людей, и исторических процессов. Именно там обозначилось начало той оси, которая пролегла через всю его дальнейшую жизнь.

Симонов навсегда остался верен этому страшному источнику своего вдохновения — войне. Она — тема войны — и манила его, и отталкивала. Он был горд своей профессией военного журналиста. И не один из персонажей его пьес и повестей несет в себе живые черты его товарищей — военных журналистов. В одной из последних своих бесед Симонов сказал:

«..У меня окончательно прорезался образ Лопатина, этого военного корреспондента старшего поколения... От людей сорокалетних, которые тогда были у нас в редакции «Красной

звезды», Платонов, Тихонов... Алексей Сурков, Лев Славин...»

Признаться, я удивился, встретив свое имя в перечислении тех людей, из которых сложился прообраз излюбленного его героя — Лопатина. Я сказал об этом Симонову.

— Как знать, — сказал он, — авось и я когда-нибудь пригожусь вам для изображения современника.

— Сомневаюсь.

— Почему?

— Уж очень вы сложный.

Он задумался. Потом:

— Не хотите ли вы сказать, что в каждом из нас водится всякая всячина?

Воспроизведение окружающей действительности возникало в писателе непроизвольно. «...Мы порой сами не замечаем, — признавался Симонов, — как что-то давно задуманное и, казалось бы, забытое пробивает себе дорогу в твоей работе. Так случилось и со мной, когда в послевоенных повестях «Из записок Лопатина» главным действующим лицом не сразу, а постепенно и даже несколько неожиданно для меня все-таки стал военный корреспондент».

Мы, военные корреспонденты, хорошо знали, что журналист Панин в пьесе Симонова «Русские люди», так сказать, «списан» с реального лица из нашей среды. Да Симонов и сам не скрывал этого.

«Для тех, кто знал по фронту, — писал он, — тишайшего, нескладнейшего и храбрейшего из нас военного корреспондента «Известий» Евгения Кригера, не составляло труда догадаться, откуда взялся в моей пьесе журналист Панин».

В 1946 году Симонов, тогда главный редактор «Нового мира», предложил мне:

— Напишите о Лапине и Хацревине.

Оба они пали на полях Отечественной войны.

— Мне трудно, — сказал я.

— Ведь они были ваши ближайшие друзья. Почему же вам трудно?

— Именно поэтому. Я очень любил их.

Он посмотрел на меня, улыбнулся, как почудилось мне, лукаво. Я подумал: «Какой он стал взрослый...»

Он сказал:

— Значит, обо мне вы сможете когда-нибудь написать: вы ж меня не любите...

Мы оба рассмеялись.

Портреты моих незабвенных друзей я все же написал. Симонов их опубликовал. Печатал он у себя в журнале и

другие мои вещи. И присылал мне свои книги с очень дружескими, порой нежными дарственными надписями.

Тем удивительнее мне было прочесть позднее на страницах того же журнала, в его статье под академическим названием «Задачи советской драматургии и театральной критики», пренебрежительный отзыв о моей пьесе «Интервенция». И вообще меня поразила статья эта, такая непохожая на обычно точное, смелое и независимое слово Симонова, и я счел ее досадной осечкой в его работе.

Но Константин Михайлович был человек мужественный. Правда, мы не раз были свидетелями того диковинного парадокса, что люди, бесстрашные на фронте, оказывались робкими в мирной жизни в тылу. Но стыдливое умолчание не было в характере Симонова. Он не остановился перед тем, чтобы публично в печати повиниться в своей неправоте в отношении к Твардовскому. А между тем в Твардовском увлекало Симонова то, что он называет в своих воспоминаниях о нем: «Победа над читателем, победа бескомпромиссная, без подыгрывания вкусам». И в какой-то степени именно в этом таилось то, что внутренне роднило Симонова с Твардовским. Так что, поддавшись сезонному поветрию, он пошел не только против Твардовского, но, в сущности, и против самого себя. Он пишет об этом в своих записях о нем:

«Я знал: у Твардовского есть горькая обида на меня за то, что я сначала слушал в его чтении бо́льшую часть поэмы «Теркин на том свете» и хвалил ее, а потом, когда он завершил поэму и зашла речь о ее печатании, не только не поддержал его, а, напротив, высказался против публикации поэмы в журнале...»

И заканчивает это признание словами, которые, надо думать, дались ему не без боли:

«Нелегко вспомнить о том, о чем позже сожалел».

В моем случае через тридцать лет после своего удара наотмашь по моей пьесе он писал в «Литературной газете» с явным пиететом об авторе, «чью знаменитую «Интервенцию» я смотрел еще юношей».

Как же все это согласуется? Как связываются начала и концы? Но не забудем, что кроме начал и концов есть еще и середина. И чаще всего провисает именно она. Начало — розово. О концах с подкупающей мужественной откровенностью сказал сам Симонов в одном своем интервью:

«Подходит пора мемуаров».

Но мемуары — это итог. Как же представлял себе Симонов свои будущие мемуары?

«Там, где ошибался, — продолжал Симонов в этом интервью, — говорить, что ошибался, там, где нечестно поступил, говорить, что нечестно поступил, где струсил, говорить, что струсил...»

В одной из последних книг Симонова «Разные дни войны» этот порыв к правде выявляется с особенным напряжением. Автор предупреждает читателя, что книга эта снабжена его собственными комментариями, так как он не хочет, по его словам, «казаться читателю умней и проницательней, чем был тогда».

Здесь Симонов уподобляется своему герою Лопатину. И хотя Константин Михайлович перечислял четырех писателей как некий свободный прообраз Лопатина, в этом списке он пропустил пятого, быть может самого главного: самого себя.

Поэтому так автобиографично звучит мысль Лопатина на одной из последних страниц романа Симонова «Так называемая личная жизнь»:

«...он уже сталкивался с этим жадным желанием поговорить с тобой просто как с человеком, расстегнуть свою, не по доброй воле, а по должности, застегнутую на все пуговицы душу!»



А. Л. Иванишева (мать К. Симонова), К. Симонов, Д. Ортенберг. 70-е годы.

Д. ОРТЕНБЕРГ

КАКИМ Я ЕГО ЗНАЛ

Боевая биография Константина Симонова началась летом 1939 года на Халхин-Голе, в Монгольской Народной Республике.

Помню, как это было.

В Городке «Героической», как на фронте тогда называли нашу редакционную полянку, в юрту, где мы с Владимиром Ставским жили и работали, вошел высокий, стройный, с девичьим румянцем на щеках юноша в серой танкистской форме без знаков различия. Он неловко козырнул нам и предъявил предписание, в котором ему предлагалось отбыть в распоряжение редактора «Героической красноармейской» «для выполнения возложенного на него особого задания».

Это был Константин Симонов.

Не сразу мы стали друзьями. По первому впечатлению, как позже он признался в своих записках «Далеко на Востоке», редактор не понравился ему, показался «сухим и желчным». Я тоже не могу сказать, что Симонов понравился мне сразу. Как напишет потом Константин Михайлович, редактор окинул

пессимистическим взором его худую фигуру и задумался. Поэту показалось, что его приезд не вызвал особого энтузиазма... Должен сознаться: в этом он не ошибся. Симонов тогда только начинал в свои двадцать три года поэтический путь, и до этого дня я ничего о нем не слышал. А между тем мы считали, что командировка на Халхин-Гол — это большая честь и большое доверие журналисту и писателю, и не каждый мог этого удостоиться. Скажу по правде, я рассчитывал на более именитого поэта.

Но что было делать — Симонов так Симонов. Выбора не оставалось. Но прежде чем составить себе представление о его поэтическом даровании, я решил, как это было с каждым новичком в газете, проверить, чего он стоит в бою, и сделал это незамедлительно. Без всяких предисловий я сказал Симонову, что жить он будет в соседней юрте, посоветовал ему оставить там свой чемоданчик и сразу же отправиться в боевые части. Как раз Ставский собирался туда, и я попросил его захватить с собой поэта.

Они отсутствовали, помнится, двое суток. Вернулись в редакцию поздно вечером, в глубокой темноте, которая здесь, в монгольских степях, мгновенно сваливается на землю.

Вошел ко мне в юрту Симонов запыленный, с горящими глазами, с какой-то торжественно светлой улыбкой, а за ним показалась могучая фигура Ставского. Владимир Петрович подмигнул мне и за спиной Симонова показал большой палец. Все ясно: окунул он парня в огненную купель! Как я узнал позже, поэт сразу же понюхал пороху во всех его видах. По свидетельству Ставского, он с честью выдержал свое первое боевое испытание.

Очередной номер газеты, помнится, был уже сверстан, но я снял с полосы какую-то заметку строк в шестьдесят и сказал Симонову:

— Надо писать стихи. В номер! Шестьдесят строк. Специально оставлено в полосе место...

Как признался потом Симонов, он был вторично огорошен. Первый раз — когда его, не дав оглянуться после дальнего пути, отправили из редакции на передовую. И второй — сейчас, когда от него сразу же по возвращении с передовой потребовали стихи в номер. Никогда прежде ему не приходилось писать стихи вот так, с ходу. И все же он это сделал. На следующий день весь наш фронт уже знал, что в редакции «Героической красноармейской» появился свой собственный поэт — Константин Симонов.

Так на Халхин-Голе началась огневая, в прямом смысле слова, поэзия Симонова. Чаще всего тогда он писал стихи, посвященные живым и павшим героям боев. Одна из первых его баллад — «Баин-Цаган» — повествовала о подвиге командира танкового батальона майора Григория Михайлова. «Его

воинский и нравственный подвиг, — спустя много лет вспоминал Симонов, — был первым, с которым я, тогда еще зеленый юнец, столкнулся на войне».

Я знаю, на Халхин-Голе Симонов еще не предполагал, что к нему, молодому поэту, придет вторая профессия — журналиста и что он, впоследствии выдающийся и любимый народом писатель, на всю жизнь останется и одним из талантливейших советских журналистов. Но газетная хватка, привычка быть в самом кипении событий пришла к нему впервые именно здесь, на Халхин-Голе. Помню, когда после разгрома японцев мы в редакции узнали, что на Халхин-Голе вот-вот должны начаться переговоры, мы все загорелись желанием поглядеть на японских генералов, посмотреть, как будет вести себя побежденный противник, и рассказать об этом нашему читателю.

Я сразу же помчался на командный пункт к Жукову, захватив с собой Ставского, Кружкова и Симонова. В пути на Хамар-Дабу мы обдумали и подготовили веские и неотразимые, как мы считали, аргументы в пользу нашего участия в переговорах. Изложив их Жукову, мы сразу же получили его согласие.

— Пожалуйста, участвуйте, раз газете это нужно, я не против, — ответил он. — Но вот вопрос — сколько вас здесь?

— Четверо: Ставский, Кружков, Симонов и я...

— Это, пожалуй, многовато, — сказал Георгий Константинович и объяснил, что делегации будут небольшими — всего по шесть человек. Кроме того, японцы вообще решили не пускать на переговоры представителей прессы: их поражение было огромным, и они пытались скрыть его от журналистов. — Тогда решим так. Поедет Ставский секретарем нашей делегации, а ты и Кружков — советниками, что ли...

— А Симонов? — спросил я.

Жуков безнадежно развел руками. Симонова он в ту пору еще знал мало. Поэт прибыл на Халхин-Гол под конец сражений и успел напечатать в газете только несколько стихотворений.

Но тут нашелся сам Симонов. Он предложил:

— Очень жаль... Но, может быть, в этом случае я буду не в нейтральной палатке, где начнутся переговоры, а в нашей, и оттуда буду хотя бы подглядывать...

Жуков согласился. Только получилось все по-иному. Во время первого же заседания делегации вдруг открылся полог палатки и вошел Симонов с папкой в руках. Он подошел ко мне и, чуть ли не пристукивая каблуками, полушепотом, таинственно стал докладывать о каких-то документах. У японских генералов это не вызвало удивления: к ним тоже то и дело вбегали с папками. Это как раз и заметил Симонов, притаившийся в своей палатке. Так приходил он ко мне раза три с какими-то мифическими бумагами, но потом все это, видно,

ему надоело, он прочно уселся за мной и больше не уходил до самого конца переговоров; кем он тогда себя чувствовал — резервным секретарем или стенографистом делегации, — кто его знает, но он упрямо сидел, иногда заглядывая в свою папку, и делал в ней какие-то пометки карандашом.

Кстати, только одному Симонову и удалось побывать в районе японских войск, увидеть многое из того, что нужно было журналисту.

Халхин-Гол стал первым боевым испытанием Симонова. Позже он сам об этом говорил так:

— С Халхин-Гола я вернулся, уже начав понимать, каким должен быть военный журналист. «Героическая красноармейская» была для меня прежде всего школой газетного темпа. Я усвоил простую истину: нечего засиживаться, застревать в редакции, нужно ехать на передовую, непременно видеть бой и людей в бою своими глазами, быстро писать, быстро доставлять материалы в редакцию, быстро уезжать снова на фронт. Таков был стиль «Героической красноармейской», и этот опыт я запомнил на всю жизнь.

На Халхин-Голе Симонов не вел дневника. Не предполагал он, вероятно, тогда, что проза станет позже для него такой же потребностью, как и стихи. Эта потребность в дневнике появилась у него позже, лишь в Отечественную войну.

II

В одной из своих довоенных поэм Симонов писал:

...Не нынче-завтра грохнет бой,
Не нынче-завтра нас разбудит
Горнист военною трубой.

Когда началась Отечественная война, я, естественно, не мог не вспомнить Константина Симонова. Еще свежи были в памяти и в сердце халхин-гольские бои и мои товарищи по этим боям, проверенные огнем. Теперь я уже могу откровенно признаться, что в первые дни войны я сознательно не взял Симонова в «Красную звезду». В воскресенье, 22 июня, начальник Главпура Л. З. Мехлис послал меня в «Красную звезду» выпускать военные номера газеты. Естественно, приказ есть приказ, но в душе я все же надеялся, что недолго задержусь в Москве, уеду во фронтовую газету и для этого случая «приберег» Симонова, да и других своих однополчан по Халхин-Голу и финской войне, чтобы отправиться туда вместе с ними. Так, собственно, мы с Симоновым и договорились тогда же, 22 июня, в первые же часы войны. А 30 июня, когда я был официально утвержден в должности ответственного редактора «Красной звезды», я сразу стал искать его. Узнал, что он, оказывается, уже назначен корреспондентом в газету

3-й армии «Боевое знамя». Послал туда телеграмму с просьбой связать меня с Симоновым. Ответа не последовало. Послал вторую депешу — ответа снова нет. Впрочем, удивляться не стоило — армия вела тяжелые бои, все время находилась в движении. Временами и связь с ней нарушалась. А в это же время корреспонденции Симонова начали появляться в «Известиях»... «Что бы это значило?» — думал я.

Решил начать широкий поиск, подготовил телеграммы во все армии и в Политуправление Западного фронта, и вдруг, откуда ни возьмись, появляется сам Симонов. Он прибыл на денек в Москву за машиной для фронтовой редакции, чтобы утром снова отбыть на фронт. Телеграмм моих он не получил и вообще не мог их получить, ибо найти редакцию армейской газеты «Боевое знамя» ему так и не удалось, а Политуправление фронта временно прикрепило его к своей фронтовой газете. Что же касается «Известий», к которой, как он понял, я его приревновал, Симонов объяснил так:

— Я ведь не думал, что ты останешься в «Красной звезде». А потом, мои корреспонденции были уж слишком гражданскими, и я, признаться, постеснялся их послать в центральную военную газету...

Я отпустил Симонова, но строго-настрого предупредил его, чтобы он из Москвы никуда не уезжал. И тут же написал проект приказа: «Писатель Симонов К. М. назначается специальным корреспондентом «Красной звезды». Заместитель народного комиссара Обороны СССР армейский комиссар 1-го ранга Л. Мехлис». С этим приказом я умчался в Главпур. Мехлис немедленно подписал приказ.

Когда утром Симонов явился в «Красную звезду», приказ лежал передо мной на столе, и я уже официально зачитал его Симонову. Он стоял вытянувшись в струнку. Гляжу, руки у него — по швам, а носки сапог почему-то внутрь... Когда я кончил, он неумело, по-граждански, приложил руку к козырьку и произнес уж совсем какую-то не уставную фразу. Мы оба рассмеялись и, отбросив официальный тон, обнялись.

III

Итак, Константин Симонов уже в «Красной звезде». Прошло совсем немного времени, и он стал не только любимым поэтом, но и популярным журналистом на фронте и во всей стране.

А в редакции его любили еще и за безотказность и смелость. Симонов был одним из тех, кого редакция «безжалостно» бросала с одного важного и трудного участка фронта на другой. И мы всегда верили, что он непременно проберется в самое пекло боя, не остановится перед трудностями и опасностями и свое дело сделает. Невольно вспоминаются сейчас,

почти сорок лет спустя, такие «незапрограммированные» симоновские истории.

В августе сорок первого года он оказался в Севастополе и решил слетать на бомбардировщике в Констанцу, чтобы написать для «Красной звезды» очерк об ударах с воздуха по этой, в ту пору важнейшей на Черном море, военно-морской базе гитлеровской Германии. Но полковник В. А. Судец, после войны маршал авиации, командовавший тогда группой дальних бомбардировщиков, наотрез отказал нашему спецкору, заявив, что на самолет не могут взять лишних людей.

И все же Симонов не отказался от своего намерения попасть в Констанцу. В то время наши подводные лодки вели активные действия на Черном море. Спецкор уговорил командование флота, и его взяли на подводную лодку, направляющуюся к румынским берегам для минирования выходов из Констанцы и других портов.

Когда лодка, выполнив задание, пришла на базу, пришвартовалась и подводники вышли на пирс, их встретила группа корреспондентов центральных и флотских газет. Они, естественно, обратились к командиру лодки с расспросами о походе. Он помедлил, а потом с невинным видом сказал им:

— Да что я буду говорить? Обо всем этом вам лучше расскажет ваш товарищ — спецкор «Красной звезды» Симонов. Он был с нами в этом походе...

И сейчас, много лет спустя, трудно удержать улыбку, представляя себе немую сцену на пирсе в Севастополе, когда журналисты узнали в худощавом парне, облаченном в морскую форму, своего сухопутного коллегу — Константина Симонова!

Не могу не вспомнить и «ход конем», который сделал Симонов, вернувшись из подводного плавания. Мы в Москве, признаться, ничего не знали о его «подводных» приключениях. Он и не мог нам сообщить об этом. Два дня, три дня, неделя — нет Симонова! Исчез Симонов, пропал. В редакции паника, не случилось ли что? Послали во все концы телеграммы: «Где Симонов?», «Разыщите Симонова», «Дать о себе знать» и др. Эти свирепые, как он считал, депеши он и застал на узле связи. Опасаясь нахлобучки за «самоволку», Симонов решил не отвечать на телеграммы, до того как напишет о походе. Написал очерк «У берегов Румынии» и передал его вместе с телеграммой о своем появлении на горизонте.

— Так я, — смеясь, рассказывал позже Симонов, — пытался самортизировать предстоящий удар. Хотя он все же последовал: за очерк получил благодарность, а за «самоволку» нагоняй — все сразу, в одной и той же телеграмме.

Позже, в последние дни сентября 1941 года, Симонов, как обычно, прямо с аэродрома ввалился ко мне в кабинет. Что-то

в его виде привлекло мое внимание. Я осмотрел его со всех сторон и спросил:

— Ты где был?..

Я, конечно, знал, что он только что вернулся из 51-й армии, которая вела тяжелые бои в Крыму, но существо моего вопроса Симонов сразу уяснил: куда, мол, еще лазил? Он ответил:

— Был на Арабатской стрелке... С Николаевым...

Я еще с финской войны хорошо знал этого невысокого, широкоплечего, с мужественным лицом корпусного комиссара, члена Военного совета армии, человека, не терпевшего трусов. Знал, что Николаев сам любил ходить в атаки и всегда втягивал в это дело всех, кто с ним оказывался рядом, проверяя, чего они стоят в бою. И, глядя на Симонова, мне сразу стало понятным, откуда эти дырки в его шинели. Как выяснилось из дальнейшего, вместе с Николаевым он ходил в атаку с ротой бойцов, подымая под огнем необстрелянных красноармейцев. А еще позже, в ночь на 7 ноября того же 1941 года, находясь на Севере, Симонов вместе с моряками-разведчиками отправился на «морском охотнике» в тыл врага.

Мне немало довелось поездить с Симоновым по фронтам Отечественной войны и видеть его в боевом деле. Мы были с ним на полях Московской битвы. Были под Ржевом. Были в Сталинграде в отчаянно трудные сентябрьские дни и ночи сорок второго года. Были в боевых частях во время сражений за освобождение Польши и Чехословакии...

Вспоминаю нашу сталинградскую поездку. Побывав в разных частях, мы затем отправились к тракторному заводу, в поселок Рынок, где вел бой с немцами батальон Вадима Ткаленко. Поговорили с комбатом, затем я и фоторепортер Виктор Темин пошли по своим газетным делам, а Симонова оставили в блиндаже командира батальона. Зная его неусидчивый характер, я приказал ему оставаться здесь и никуда не соваться. Но когда через несколько часов мы вернулись, Симонова в блиндаже Ткаленко не оказалось. Он все-таки пополз в траншеи переднего края, в первую роту.

— Это приходил «декабрист» и утащил его к себе в роту, — объяснили мне.

«Декабристом» в батальоне прозвали командира первой роты Бондаренко за его любовно ухоженные черные густые бакенбарды. Симонову понравился этот рослый, круглолицый и краснощекий веселый здоровяк. Именно он и рассказал корреспонденту о разных баталиях, пережитых бойцами роты, их настрое, чувствах, делах, и Симонову захотелось увидеть их, поговорить с ними.

Я попросил Ткаленко немедленно вызвать Симонова из роты. Когда он прибыл, я отругал его за неподчинение приказу. Симонов в оправдание показал исписанный блокнот.

За ночь он написал очерк «Бой на окраине», и, прочитав его, я понял: если бы писатель не пошел в первую роту — не было бы этого очерка.

Его поведение не было бессмысленной бравадой смельчака. Симонов не искал для себя возможности обязательно совершить подвиг. Отвага наших писателей и журналистов не была пустой удалью. Они понимали, что в столь суровое время нужно быть там, где решается судьба Отечества и где они своим пером могут принести больше всего пользы. Да, в «Красной звезде» ревниво относились к тому, как ведет себя корреспондент на фронте. И нам было небезразлично, из каких материалов делается газета, — она должна дышать боем. А для этого нужно быть на линии огня и писать о том, что видишь своими глазами.

Вспоминая свою корреспондентскую жизнь, Симонов говорил:

— Требование редакции «Красной звезды» — видеть как можно больше своими глазами — было требованием верным и с точки зрения журналистской нравственности, и самого качества материала. Мне это редакционное правило нравилось, и я стремился ему следовать.

Симонов не раз говорил, что работа военного корреспондента была не самой тяжелой и опасной на войне. Нельзя было с этим не согласиться. Но все же она была и тяжелой, и опасной.

IV

В Отечественную войну работу в «Красной звезде» так же, как и на Халхин-Голе, Симонов начал со стихов. Но жизнь сразу повернула его к прозе. На фронте шли тяжелые бои. Каждый день приносил факты — и трагедийные, и героические. Они не всегда укладывались в стихотворную форму: сюжетные стихи не по каждому поводу и не сразу напишешь. Это можно сделать раз в неделю, наконец, дважды. А газета требовала: сегодня увидел — сегодня напиши, завтра должно быть напечатано. Да и у самого Симонова было внутреннее ощущение необходимости именно сегодня же, сейчас, немедленно написать то, что сегодня, сейчас он сам увидел и пережил на фронте.

Это было особенно важно, в частности, в связи с одной идеей, возникшей у Симонова. В конце июля сорок первого года он зашел ко мне с заманчивым предложением — объехать весь передний край от Черного до Баренцева моря и написать серию очерков, дать как бы глазами одного корреспондента обзор всего нашего громадного фронта от крайней южной до крайней северной точки. Идея эта понравилась.

Хочется несколько подробнее рассказать о первом прозаическом выступлении Симонова в нашей газете, и не только

потому, что оно было первым, но и потому, что оно было очень важным и для газеты, и для читателя.

5 августа сорок первого года, в связи с нависшей над Одессой угрозой, Ставка отдала приказ командующему Южным фронтом: Одессу не сдавать и оборонять до последней возможности. Узнав об этой директиве, редакция и решила, что свою поездку по фронтам Симонов и начнет с Одессы, тем более что наши корреспонденты на Южном фронте в Одессу не попали и о боях за город ничего не сообщали.

В спутники Симонову дали фоторепортера Якова Халипа.

Однако с поездкой случилась заминка. В тот день, 9 августа, когда Симонов должен был отправиться на фронт, он неожиданно заболел. Посылать другого спецкора не хотелось, решили ждать. Через четыре дня поздно вечером Симонов зашел ко мне, еще больной, и, артистически сыграв здорового человека, сказал, что готов к отъезду.

Утром он отправился в путь. Это была первая дальняя командировка Симонова, не совсем тогда еще опытного журналиста, и он немало проплутал, прежде чем попал в Одессу. Мы рассчитывали, что дорога займет у него самое большее трое суток, а прибыл он в Одессу, когда город сражался в окружении. Добирались наши спецкоры из Севастополя морским путем, на тральщике, и не без осложнений: в пути их пытались торпедировать, но торпеда, к счастью, прошла мимо борта корабля.

Высадились они в Одесском порту и, закинув рюкзаки за плечи, поднялись по широкой Потемкинской лестнице в город. Прошли по улицам, перегороженным баррикадами. Добрались до штаба Приморской группы войск. Там, сориентировавшись в обстановке, направились на самый горячий участок фронта — в 25-ю дивизию генерала И. Е. Петрова.

За три дня Симонов набил свои блокноты материалами не на одну корреспонденцию. Немало снимков сделал и Халип. Теперь надо все это передать в Москву. Вернулись они в город, на штабной узел связи, а там оказалось, что из Одессы можно передать только по радио и только шифром очень малое количество слов, столько, что даже на заметку не хватило бы. Оставались две возможности. Одна — передать с кем-то, случайным человеком, материал на попутный корабль, идущий в Севастополь, а оттуда, тоже со случайным человеком, — самолетом в Москву. Но этот путь, рассудил Симонов, был совершенно ненадежный. И он принял правильное решение, правда не без колебаний: самим возвратиться в Севастополь, оттуда — в Симферополь и передать материалы в редакцию, так сказать, из рук в руки.

Поздно ночью 28 августа у меня в кабинете раздался звонок из Симферополя. Слышимость была скверная. Как выяснилось потом, прямой связи с Москвой не было. Соеди-

нили нас кружным путем, через Керчь — Краснодар — Воронеж. Но голос знакомый. Наконец-то появился Симонов! Мы считали часы и минуты, когда он даст о себе знать. Уже идут бои за Одессу, а у нас — ни строчки. Естественно, первое, о чем я спросил его: «Есть ли материалы?»

— Есть, — обрадовал он меня, — на четыре или пять очерков. Сейчас начну диктовать и послезавтра вышлю самолетом. Есть и снимки.

Но выслал раньше. За ночь продиктовал свои корреспонденции машинистке из областной газеты, а утром посадил Халипа в самолет с его фотографиями и своим материалом. И вот 30 августа была опубликована первая об Одессе и первая Симонова корреспонденция в «Красной звезде» «На защиту родной Одессы».

Корреспонденция Симонова вызвала широкие отклики. И вот почему. Начиная с 19 августа, вплоть до 29-го, в сводках Совинформбюро почти ежедневно появлялось «Одесское направление». Наш читатель уже знал, что «направление» — это далеко не точная линия фронта. Что с Одессой? Почему она исчезла из сводок Информбюро? Неужели наши ушли из Одессы? Сражаются ли за нее наши войска? Волнений и предположений в армии и стране было много.

На все эти вопросы прямо и откровенно и ответила корреспонденция Симонова. В ней нет имен, нет цифр, не описаны и фронтовые баталии, — об этом он скажет в других своих очерках. Но в этой сказано главное: да, Одесса в кольце, но город живет, борется, не сдается, его защитники героически сражаются с немецко-румынскими захватчиками и готовы биться за Одессу до последнего дыхания.

Прислал он в «Красную звезду» дневник румынского унтера, показывающий и состояние румынской армии, и те потери, которые несет противник под Одессой. Наконец, передал нам и статью командующего войсками Одесского оборонительного района контр-адмирала Г. Жукова, заказанную ему нашим спецкором, рисующую общую картину сражения за Одессу.

Словом, уже в первой командировке Симонов показал, можно сказать, класс прозорливости, оперативности и инициативы! Конечно, всех в редакции это обрадовало, а меня, понятно, особенно.

Так, собственно, и произошел «переход» Симонова в прозу, а если быть более точным — в журналистику. Так Симонов стал газетчиком. Прошло немного времени, и на страницах «Красной звезды» начали появляться и рассказы Симонова. Вот что об этом он писал позже сам:

«Уезжая на войну военным корреспондентом газеты «Красная звезда», я меньше всего собирался писать рассказы о войне. Я думал писать что угодно: статьи, корреспонденции,

очерки, но отнюдь не рассказы. И примерно первые полгода войны так оно и получилось.

Но однажды зимой 1942 года меня вызвал к себе редактор газеты и сказал:

— Послушай, Симонов, помнишь, когда ты вернулся из Крыма, ты мне рассказывал о комиссаре, который говорил, что храбрые умирают реже?

Недоумевая, я ответил, что помню.

— Так вот, — сказал редактор, — написал бы ты на эту тему рассказ. Эта идея важная и, в сущности, справедливая.

Я ушел от редактора с робостью в душе. Я никогда не писал рассказов, и предложение это меня несколько испугало.

Но когда я перелистал в своей записной книжке страницы, относящиеся к комиссару, о котором говорил редактор, на меня нахлынуло столько воспоминаний и мыслей, что мне самому захотелось написать рассказ об этом человеке... Я написал рассказ «Третий адъютант» — первый рассказ, который вообще написал в своей жизни».

Не зря ведь говорят, лиха беда начало. За этим рассказом напечатали второй рассказ Симонова — «Ценою жизни», третий, четвертый... Он буквально на наших глазах овладевал мастерством прозаика.

Вернусь, однако, к его поездке от Черного до Баренцева морей. Замысел неплохой. Но в нем была некая наивность, которой многие из нас переболели как ветрянкой: в первые дни войны мы недостаточно реально представляли себе общее положение и масштабы развертывающихся военных событий. Симонову, да и всем нам в ту пору казалось, что можно проехать вдоль фронта с юга на север и, связываясь из разных точек с редакцией, посылать свои корреспонденции и очерки.

В конце концов это все-таки получилось, но совсем по-иному. Симонов действительно побывал почти на всех фронтах Отечественной войны и даже южнее Черного моря. А где именно южнее — я узнал из его письма ко мне на фронт, в котором были такие строки:

«...Вот видишь, сколько ты в свое время ни запрещал мне лететь в тыл, все равно в конце войны я прорвался к партизанам: если не к нашим, то хотя бы к югославским...

Потом полетел на север, был при взятии Белграда и уже собирался в Москву, как представилась возможность совершить еще один интересный полет.

Знаешь, есть такая поговорка: «Все дороги ведут в Рим»...»

Трудно было, понятно, из этой фразы, написанной эзоповским языком, узнать, где же побывал Симонов. Но вскоре мне стало известно, что он побывал в Риме и в Неаполе. И опять, как тогда в Севастополе, он совершил «самоволку». Был он

на одном из аэродромов Югославии, собирался лететь домой, но в это время подвернулась «оказия» в Италию. На аэродроме он встретил начальника нашей авиационной базы в Южной Италии полковника С. Соколова, собиравшегося ночью лететь на свою базу. Симонов уговорил взять его с собой, и таким образом наш корреспондент нежданно-негаданно оказался на берегу Адриатического моря, а затем побывал в городах Италии.

В общем, замысел Симонова — объехать все фронты — был осуществлен, но путь этот, как известно, был сложным и долгим, длиною в четыре года. И ездить ему пришлось не вдоль фронта по прямой и даже не по ломаной линии, а крутыми зигзагами. Он выезжал на самые горячие точки главных направлений, возвращался в редакцию, опять выезжал и снова возвращался.

Продолжал Симонов, конечно, писать и стихи. Но непосредственно военных стихотворений сочинял мало. Впрочем, мы их и не очень требовали от него. Писал больше лирику. Военные стихи рождались у него тогда, когда происходили какие-то большие события, появлялись чрезвычайные факты, требовавшие отклика, вызывавшие, так сказать, взрыв чувств. По сути, это была поэтическая публицистика особого рода, высокого накала. Печатали мы также песни Симонова. Насколько я помню, их было всего две — «Ленинград» и «Комиссары». Музыку к ним написал Матвей Блантер, и его ноты мы тоже опубликовали.

V

Константин Симонов имел репутацию едва ли не самого оперативного корреспондента из числа писателей, работавших в «Красной звезде».

«Оперативный корреспондент» — это отнюдь не означало должность, а высокую оценку журналистской работы в газете. Если партийность — душа газеты, то оперативность, по-моему, — это ее пульс. Естественным и закономерным было для военной газеты во время войны быстро и наиболее полно и точно освещать события дня, сказать о них первое слово. Это, конечно, требовало большого труда и напряжения сил корреспондентского корпуса, тем более что по соседству работали такие газетные зубры, как Борис Полевой в «Правде», Евгений Кригер и Леонид Кудреватых в «Известиях» и Юрий Жуков в «Комсомольской правде». Несмотря на царивший среди газетчиков товарищеский дух, даже в войну им было трудно отказаться от журналистского азарта обскакать своих коллег из других газет. В те годы мы более щедро, чем когда-либо, делились информацией, статьями, очерками, хотя, честно признаюсь, ради приоритета «Красной звезды» я не

раз «зажимал» наиболее интересные материалы, предпочитая, чтобы их перепечатывали на следующий день со ссылкой на «Красную звезду». И когда, например, в «Правде» или «Известиях» появлялись статьи или очерки, скажем, Алексея Толстого, Василия Гроссмана, Константина Симонова и других наших корреспондентов, и именно с указанием, что перепечатано из нашей газеты,— это было для всех нас большим праздником!

Дух здорового газетного соревнования к Симонову пришел не сразу. Стремление оказаться где-то первым он, по собственному признанию, рассматривал как «самолюбивое мальчишеское желание». Но пришла пора, и он сам втянулся в своеобразные газетные «скачки». В одной из своих телеграмм он предусмотрительно предупреждал: «Выслал самолетом пять материалов и снимки. Не замедлите печатанием. «Известия» выехали... делать полосу». На эту тему, как известно, Симонов даже сочинил веселую песенку «Застольная корреспондентская» с припевом:

И чтоб, между прочим,
Был фитиль всем прочим...

Однажды мы с Константином Михайловичем вспоминали некоторые его фронтовые поездки, в частности одну из его командировок в Мурманск осенью сорок первого года. Вернулся он с Крымского участка фронта в Москву. За ночь написал последнюю корреспонденцию, днем ее сдал, получил документы, а утром следующего дня уже летел в Архангельск, оттуда в Мурманск. Перебросить корреспондента на столь далекое расстояние в то время относительно малых скоростей было делом нелегким и для редакции, и для корреспондента.

«Но если,— вспоминал Симонов,— ты внутренне гордишься оперативностью, когда чувствуешь, что очень нужен и что на тебя твердо рассчитывают,— такие ситуации хотя и создают известные жизненные неудобства, но они в то же время тебя как-то поднимают, окрыляют».

Размышляя о днях минувших, Симонов объяснял:

— Газетчик должен обладать чувством меры. С одной стороны, он должен бывать в войсках, а не сидеть прикованным к прямому проводу связи с редакцией. А с другой стороны, он не просто человек, который показывает другим, что не хуже их может находиться на передовой; он — работник, обязанный поставлять материал в газету, и, значит, слишком надолго отрываться от редакции не вправе...

Вот этой золотой середины Симонов старался придерживаться. Не раз говорил он мне о тех нравственных, чисто психологических переживаниях, которые у него возникали: как быть — уехать в разгар тяжелых боев, чтобы

передать корреспонденцию, или остаться еще на передовой? Такая ситуация была у Симонова как раз в осажденной Одессе.

В Одессе он, как указывалось, набрал много материала для своих корреспонденций. Решил вернуться в Севастополь. Знающие люди понимали, что такое работа газетчика, и верили, что корреспондент не трус и не бежит с передовой. Но находились и такие люди, которые рассматривали спецкора как человека, который, побывав денек-другой на передовой, торопится скорее дать ходу обратно, в Москву...

— Мне дали, конечно, тогда в Одессе разрешение на выезд — направление на эсминец, — рассказывал Симонов, — но взгляды, которые я при этом разговоре на себе почувствовал, были неласковые. Тем не менее я не отменил своего решения и поступил так, как считал нужным по долгу службы.

Мы в редакции к подобным молчаливым упрекам относились более хладнокровно и трезво. Мы-то знали Симонова. Но иногда вынуждены были передавать с ним записки; например, члену Военного совета 51-й армии Николаеву, который, пользуясь нашим давним и добрым знакомством, решил прикрепить Симонова к своей армии: «Посылаю самолетом на несколько дней Симонова. Не ругай его, что он в свое время не возвратился в Крым. Симонов против своего желания был командирован мною на Дальний Север. Прошу тебя помочь Симонову и, главное, быстрее отправить его обратно в Москву».

По-разному бывало у корреспондентов... В феврале сорок второго года Симонов вылетел на Керченский полуостров. Там предстояло большое наступление 44-й и 51-й армий Крымского фронта. Наши войска должны были прорвать оборону противника, выйти на просторы Крыма, снять осаду Севастополя и дойти до Перекопа и Чонгарских позиций. С нетерпением ждали мы первых сообщений спецкора.

Но Симонов, вернувшись в Москву, явился ко мне мрачный, осунувшийся, с пустой сумкой. От него первого я узнал причины неудач нашего наступления на Керченском полуострове. Его рассказ в основном совпал с тем, что мне стало известно позже, когда я побывал в Генштабе.

Эта поездка для Симонова была, как я почувствовал, серьезным нравственным испытанием, тем более что с журналистской точки зрения она оказалась бесполезной. И он ничего не смог написать, и мы ничего не смогли напечатать о керченской неудаче. В других случаях, когда ему не удавалось написать на заданную тему, он все же находил выход, чтобы редакция не оставалась без материалов.

В памяти осталась поездка Симонова на Западный фронт в декабре сорок первого года, в дни битвы за Москву. Шли бои за освобождение Ельца, который должны были вот-вот взять. Редакция послала туда группу своих корреспондентов и фоторепортеров во главе с Симоновым. Вылетели они на двух самолетах По-2. Но было уже поздно, и пока самолеты в пути дозаправлялись — стемнело. Пришлось там заночевать. И надо же такому случиться: разразилась метель, незакрепленные самолеты за ночь унесло на край аэродрома, что-то поломалось. Лететь нельзя. Спецкорам ничего не оставалось, как добираться до Москвы, не выполнив задания.

И все же Симонов и его спутники не подвели редакцию. Он узнал, что в это время 10-я армия взяла Михайлов и продолжает продвигаться вперед. Это было не так уж далеко от Рязани. Симонов решил, не связываясь с редакцией — на это ушло бы лишнее время, — добраться в Михайлов. Достал полуторку и махнул туда. К вечеру они уже были на месте и дальше из Михайлова двинулись с войсками на Епифань и Богородицк. Эта перемена маршрута, произведенная по собственной инициативе Симонова, дала «Красной звезде» уникальные снимки и один из примечательных очерков писателя в период нашего контрнаступления под Москвой — «Дорога на Запад».

Привозил он из своих командировок и стихи, которые любил нам читать.

Признаться, и мы любили слушать, как Симонов читает вслух свои стихи. Вот прочитал стихи — понравилось, и сразу же они уходят в набор.

Как Симонов работал, я особенно близко увидел, когда он дважды приезжал в нашу 38-ю армию, где под конец войны я был начальником политотдела. Дважды почти по месяцу он жил и работал у нас. Поселил я его у себя, на нашем КП, с которого он уезжал в свои командировки по дорогам войны Польши и Чехословакии. Бывало, чуть свет Симонов отправляется в боевые части, пробирается в полки, роты, задерживается главным образом там, где развертываются наиболее важные события или где находит интересных людей.

Вот он появился в блиндаже командарма К. С. Москаленко или комкора А. Г. Бондарева. Усядется в уголочке, разложит свой блокнот на коленях и записывает самое интересное. Что из этого получилось, можно судить хотя бы по страницам его «Разных дней войны», где описана «кухня» оперативного и тактического творчества военачальников. Однако это не было, так сказать, голое описательство. Точка зрения, оценка, суждения писателя нередко в них присутствовали.

А то шаг в шаг с бойцами передовых частей входит в еще пылающие, только-только освобожденные или освобождаемые города, разговаривает с нашими воинами, местными

жителями, пленными, делает пометки в своей записной книжке, примостившись у забора, на крыльце, на пне, а то и просто на ходу.

Вечером возвращается в наш домик, наскоро перекусит и сразу диктует очередной очерк политотдельской машинистке или стенографистке «Красной звезды» Музе Николаевне, которая приехала с ним из Москвы. Потом попросит меня передать очерк по Бодо «для родной «звездочки», а сам без перерыва диктует еще страниц 15—20 своих, личных записей для дневника.

С ним мне было и радостно, и трудно. Рад я был видеть возле себя друга. А трудно — потому что немало он доставлял мне волнений. Когда мы выезжали в боевые части вместе, на душе было спокойнее. Мне казалось, что я смогу его уберечь от опасностей. Смешно сказать, как вообще можно уберечь человека на передовой?! Но я любил, когда он был у меня на глазах. А в те дни, когда он сам отправлялся на «передок», треволнений у меня было предостаточно.

Однажды Симонов меня очень напугал. На политотдельском «виллисе» он уехал в корпус к Бондареву, а у меня были свои дела, и я остался в политотделе. Прошло немного времени, и вдруг на буксире к нашему домику притаскивают наш «виллис», весь залитый кровью, с посеченным радиатором и разбитым ветровым стеклом. Господи, испугался я, откуда кровь? Где Симонов? Что случилось?

Оказалось, что с Симоновым все в порядке. Он ушел в блиндаж Бондарева, а машину поставил у сарая, впритык к какой-то повозке, запряженной двумя лошадьми. И вот в это место ударил немецкий снаряд, побил лошадей, и залило кровью машину. Симонов, доложил мне водитель, остался у Бондарева и передал, что к вечеру явится.

У Симонова в архиве хранилось мое письмо, которое он позднее опубликовал:

«Давно я тебе не писал, и ты столько же. После твоего отъезда из Городенка налетели немцы и превратили город в пепел. Я так был рад, что ты своевременно уехал, ты ведь знаешь, как мне радостно было с тобой путешествовать и как тяжело было. Я всегда боялся одного: а вдруг тебя ухлопают, а меня нет, как я вернусь без тебя? Слава богу, все кончилось хорошо...»

VI

Немало написано о влиянии на читателей фронта и тыла выступлений Константина Симонова во время войны. Что прибавить к этому? Хотел бы подчеркнуть лишь одну, очень важную сторону его творчества тех лет. Симонов стремился избегать всякой парадности, выспренности, газетных штам-

пов. Он писал о войне как о тяжелом и опасном труде народа, показывая, каких усилий и жертв стоит нам каждый день. Писал с суровой беспощадностью и откровенностью человека, видевшего войну как она есть. При этом он не склонен был преуменьшать и силу противника. Он считал, что рисовать врага облегченно, как это случалось порой кое-где в нашей печати, по сути значит обесценивать героизм наших войск, сражавшихся с сильным, коварным, опытным, вооруженным до зубов врагом. Величие подвига партии, народа, армии и состояло в том, что это был неимоверно трудный, ни с чем не сравнимый подвиг.

Мои современники хорошо помнят приказ Сталина за № 227 от 28 июля 1942 года. Изданный в связи с глубоким прорывом немцев в сторону Волги и Кавказа, приказ требовал остановить врага.

«Ни шагу назад! — говорилось в приказе. — Таким теперь должен быть наш главный призыв.

Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности».

В приказе были и другие слова, горькие, суровые, но необходимые в тот период чрезвычайно трудного положения.

Стихотворение «Безыменное поле» и было ответом поэта, прямым и немедленным, на то потрясение, которое он, как и все мы, вся армия, испытали, прочитав этот приказ, или, как Симонов отметил, «не ответ, а выход из этого потрясения».

Опять мы отходим, товарищ,
Опять проиграли мы бой,
Кровавое солнце позора
Заходит у нас за спиной...

И далее — обращение к воинам:

...Ты, кажется, слушать не можешь?
Ты руку занес надо мной...
За слов моих страшную горечь
Прости мне, товарищ родной.

Прости мне мои оскорбленья,
Я с горя тебе их сказал,
Я знаю, ты рядом со мною
Сто раз свою грудь подставлял.
. . . .
. . . .
Клянемся ж с тобою, товарищ,
Что больше ни шагу назад!
Чтоб больше не шли вслед за нами
Безмолвные тени солдат.
. . . .

Константина Михайловича высоко ценили военачальники. Однажды мы с Г. К. Жуковым обсуждали, кого из корреспондентов «Красной звезды» по Западному фронту надо отметить наградами. Георгий Константинович сказал:

— Симонова — орденом Красного Знамени.

Передо мною лежит копия наградного листа на Симонова, утвержденного командующим 4-м Украинским фронтом А. И. Еременко и членом Военного совета фронта Л. З. Мехлисом. В этой реляции, написанной без лирики и каких-либо эмоций, суховатым языком, каким обычно и составляются такие документы, сказано:

«Подполковник Симонов Константин Михайлович — специальный корреспондент «Красной звезды» — в течение нескольких месяцев, начиная с февраля 1945 года находился в войсках 4-го Украинского фронта, в частях 38, 18 армий и 1-го Чехословацкого корпуса.

В период наступательных операций 4 Украинского фронта под Зорау, Послау тов. Симонов был в районе боев, много раз находился на наблюдательных пунктах командира 101, 126 ск., 2 гв. воздушно-десантной и др. дивизий, на НП командиров полков и показал себя мужественным и смелым офицером, выполняющим свои служебные обязанности под огнем противника, невзирая на опасности.

Тов. Симонов, кроме того, в период наступательных боев находился в частях 1-го Чехословацкого корпуса, где также проявил себя как храбрый и смелый офицер.

В результате пребывания на 4 Украинском фронте тов. Симонов написал серию очерков о героизме и мужестве наших бойцов и офицеров и воинов Чехословацкого корпуса.

Как корреспондент «Красной звезды» тов. Симонов за время Отечественной войны побывал на всех фронтах и своими очерками, рассказами, корреспонденциями и стихами помогал делу нашей победы над врагом.

Тов. Симонов был награжден последний раз 3 года назад, в мае 1942 года, орденом «Красное Знамя» на Западном фронте.

Начальник Политуправления 4 Украинского фронта генерал-лейтенант *Пронин*

14 мая 1945 года».

В нашем присутствии этот боевой орден был торжественно вручен Симонову.

Да, в полках и ротах не было такого человека, который бы не знал Симонова. Поэт Михаил Львов рассказывал: «В 1944 году, на Сандомирском плацдарме, за Вислой, говорил мне мой друг танкист о стихотворении Симонова «Убей его»: «Я

бы присвоил этому стихотворению звание Героя Советского Союза. Оно убило гитлеровцев больше, чем самый прославленный снайпер»...»

VII

Послевоенные годы...

Наша дружба, возникшая на войне, сохранилась на всю жизнь, была непоколебима и никогда и ничем не омрачалась.

В одном из своих писем на фронт под конец войны Симонов писал:

«Дорогой Давид, мы с тобой за нашу давнюю дружбу редко объяснялись в любви, но сейчас мне очень хочется сказать тебе, что ты для меня очень дорог и что, если у меня будет трудно в жизни, я первым обращусь к тебе, а если у тебя будет трудно, ты должен сделать то же самое...»

Нет, это не было красивой фразой. В этом я мог потом не раз убедиться.

После ухода с военной службы в отставку, в шестидесятые годы, моя журналистская и литературная деятельность ограничивалась главным образом составлением сборников. Готовил я книгу «Солдатская слава» для Политиздата, первую в стране книгу очерков о полных кавалерах орденов Славы. Известно, какое значение имеют для популярности книги имена авторов. Я попросил Симонова, чтобы он принял участие в сборнике. Дел у Константина Михайловича и в ту пору было невпроворот. Но он знал, что́ для меня тогда значила даже такая литературная работа. Ни секунды не колеблясь, он отправился к одному из кавалеров трех орденов Славы, разведчику Ефиму Минкину, и написал о нем очерк.

Готовил я другой сборник очерков — о дважды Героях Социалистического Труда, и Симонов взялся организовать очерки о дважды Героях, живущих в Узбекистане. Как это все было, рассказывается в его письме:

«Дорогой Давид! Письмо твое получил. Здесь пока говорил с Хамидом Гулямом — он напишет о Киме, дал принципиальное согласие, так что можно, ссылаясь на наш с ним предварительный разговор, написать письмо...»

Сам же Симонов взял на себя наиболее трудную задачу — написать о колхозном чабане Балиманове, работавшем в самом далеком колхозе республики. Поехал туда. Он писал мне:

«Вчера вернулся из этой довольно канительной поездки. Старик сам по себе хороший, но живет и работает в очень и очень тяжелых условиях, которые, хотя он и дважды Герой, так же тяжелы, как и для других. К сожалению, этот Тамдинский глухой заброшенный район за последние 10 лет ни в чем не изменился в смысле тяжелых условий жизни чабанов. Достаточно сказать, что на громадный колхоз в 93.000 голов

скота — всего две скважины со сколько-нибудь механизированным подъемом воды. 67-летний Балиманов, как и сто лет назад, таскает воду с помощью верблюда, а в общем вручную поит 700 овец. Много и другого в том же роде — в частности, крайне тяжелый быт при очень высоких заработках.

Вернулся я с тяжестью на душе. Пока что это наихудший по условиям жизни и работы людей животноводческий район из тех, что я до сих пор видел.

Врать не могу, хотя Балиманов личность во многом замечательная, но сейчас надо не писать о нем парадный очерк, который подтвердит нерадивым руководителям района, что у них все на высоте, а надо подумать о серьезном критическом материале в газету и, может быть, и о докладной записке куда надо.

Об этом я сейчас и думаю. Прости, что невольно подвел тебя. От души хотел сделать обещанное и, хотя мне сейчас было это очень трудно, все же вырвался и съездил.

Об этом не жалею, но очерка написать не могу.

Вот так, дорогой мой друг! Не обижайся на меня. В Москве в начале июля расскажу все подробнее».

Естественно, я на него не обиделся. Я знал — так было и в годы войны: Симонов никогда не писал того, что не соответствовало виденному им собственными глазами. И уважал его за это.

Как-то я попросил Симонова написать очерк о Георгии Константиновиче Жукове для сборника «Маршалы Советского Союза». Он с охотой взялся за это. Я получил от него письмо:

«Милый Давид! Со статьей о Г. К. — все сделаю, уже был у него и говорил с ним. Он слал тебе привет, выражал желание: повидаться бы. Сделаю в сентябре-октябре...»

Верность в дружбе была для него святыней. В дневниковых записях Симонова о нашей совместной с ним поездке на Западный фронт в феврале сорок второго года есть такая запись: «Редактор предлагает вместе пойти в батальон на ночную операцию». Идти Симонову не хотелось, и он записал: «Я по характеру наших отношений был не в состоянии сказать «нет» и сказал «да». Так он понимал дружбу и свято относился ко всему, что с ней связано.

На подаренном мне романе «Так называемая личная жизнь» Симонов сделал такую надпись: «Дорогой Давид — перед тобой вся та часть моей личной жизни, которая проходила под твоим непосредственным руководством». Известно, что автографы относятся к тому литературному жанру, который допускает преувеличения, чтобы подчеркнуть заслуги и добродетели того, кому дарят книгу.

Наши отношения строились не по должностной лестнице:

«руководитель — руководимый», не по званию: «генерал — подполковник». Это были отношения друзей. Ведь может же быть в жизни так, что отношения дружбы не противоречат служебным отношениям, помогают делу, позволяют лучше работать.

Симонов никогда и не помышлял искать для себя какие-нибудь выгоды из этих наших отношений, не искал для себя поблажек, не позволял послаблений.

Когда я сел писать свою книгу, — кстати, не без нажима со стороны Симонова, — все, что я писал, проходило через его руки. Но наша дружба не оберегала меня от замечаний, — скорее, наоборот. Вот одно из характерных для него писем (по поводу рукописи «Огненные рубежи» — о маршале К. С. Москаленко, с которым Симонов много раз встречался во время войны в Сталинграде, в 38-й армии, и после войны):

«Милый Давид! Боюсь, что не увижу тебя до своего отъезда в Кисловодск, поэтому пишу. Твою вещь прочел. Она, по-моему, по тону правильная. Ты пишешь о человеке, к которому очень хорошо относишься, — и это видно. Но я в этом не вижу беды. Может быть, где-то стоит только подумать о смягчении или сокращении эпитетов, носящих чуть-чуть преувеличенный оттенок; это только укрепит общий благородный тон сочинения. А вообще — будь я редактором — я бы проголосовал — «в номер!»...»

К этому он был беспощаден — к любому преувеличению доблестей и заслуг. В одном из очерков в моей книге «Время не властно» упоминалось, как один из наших корреспондентов чуть ли не первым ворвался в Бухарест. Я в тот период в «Красной звезде» уже не работал и поверил рассказу самого спецкора. Симонов прочел, рассмеялся и вычеркнул эту фразу.

— Не был он там первым... И врываться туда не было нужды...

Сам Симонов был человеком щепетильно скромным, строго относящимся к себе, и такими он, естественно, хотел видеть своих друзей. Он не раз мне говорил: «Не преувеличивай, не перехваливай меня». И даже написал об этом в предисловии к моим очеркам «Фронтовые поездки» в журнале «Дружба народов»:

«...Добавлю только еще одно: по отношению к нашему брату корреспонденту наш бывший редактор и в этих, но, пожалуй, еще больше в других своих воспоминаниях, на мой взгляд, иногда допускает излишество в оценке нашей оперативности, мужества, безотказности, короче говоря, перехваливает нас. Сужу об этом, как мне думается, с достаточным основанием по тем страницам его уже вышедшей книги воспоминаний, где среди других речь идет и обо мне, грешном. Если в новом издании в своих воспоминаниях он оставит только

половину тех добрых слов, что сказаны им обо всех нас, обо мне в том числе, то, по совести говоря, вполне достаточно с нас и этого».

Не послушался на сей раз я совета Симонова, написавшего это по своей природной скромности, ни при втором издании моей книги, ни в других моих книгах. Не было у меня на это оснований, морального права. Приведу только одну трагическую цифру, не требующую никаких объяснений: в Отечественную войну погибло восемнадцать корреспондентов «Красной звезды», почти половина ее корреспондентского состава! А сколько раз в минуты смертельной опасности судьба прикрыла своим крылом самого Симонова!

Решительно вычеркивал Константин Михайлович из моих рукописей кавычки, которыми они были обильно насыщены.

— Ну и нашпиговал ты ими! Это знаешь, отчего? Других слов не подобрал. Да и не веришь читателю, что он сам разберется...

Он ополчился на эти злополучные кавычки, как я когда-то, в начале войны, боролся с тем, чтобы он свои корреспонденции, очерки и рассказы не диктовал машинистке или стенографистке. Я считал, что, если бы он писал от руки, «помучился» бы над каждым словом и каждой строкой, они были бы еще лучше. Потом произошел случай, который все изменил. Симонов принес мне очередную корреспонденцию, написанную от руки, чернилами. Я ее особенно горячо похвалил. А вскоре узнал, что он и эту корреспонденцию продиктовал стенографистке, выправил и, добросовестно переписав, представил мне. После этого я отступился: «Делай как знаешь!»

А как радовался Константин Михайлович, когда его друзьям удавалось написать что-нибудь путное или когда он читал о них добрые слова. В журнале «Вопросы литературы» публиковались письма Николая Тихонова ко мне из блокадного Ленинграда. Там же была напечатана и моя статья «Ленинградские писатели в «Красной звезде». И вот из Гульрипши пришло его письмо:

«Дорогой Давид! Спасибо прежде всего за «Вопросы литературы», и за теплую надпись, и вообще за эту твою очень важную и хорошую работу.

Из писем Тихонова видно, и какой человек он был сам, и в какую газету он писал, и каким человеком был редактор этой газеты. И написано все это тогда и, слава богу, не отредактировано сейчас...

Очень рад за Тихонова, за тебя, за нашу «Красную звезду»...»

VIII

Июнь — начало июля 1979 года мы провели вместе с Симоновым в Гурзуфе. Он лечился в санатории «Пушкино», а я находился в гурзуфском военном санатории, расположенном по соседству, в одном и том же парке.

Собственно, я и поехал в Гурзуф по настоянию Константина Михайловича. Незадолго до этого случилась у меня беда: похоронил Елену Георгиевну, жену. В те дни Симонов, несмотря на то что был болен, не оставлял меня одного. Назавтра после похорон снова пришел. В руках — путевка на мое имя в гурзуфский санаторий.

— Меня отправляют лечиться в Гурзуф, — сказал он. — Я не могу тебя здесь оставить одного. Москаленко передал для тебя путевку. Поедем вместе...

Я не в состоянии был ехать, остался в Москве. Спустя три недели он позвонил из Гурзуфа и прямо-таки потребовал, чтобы я немедленно выехал в Гурзуф. В санатории держали для меня место. Обо всем подумал Константин Михайлович!

По приезде я, конечно, сразу же побежал в «Пушкино». Дежурная сестра с удивлением смотрела: почему так долго не выпускают друг друга из объятий эти два немолодых человека?.. Симонов, заметив ее недоуменный взгляд, объяснил: «Это мой редактор». Вообще он любил при посторонних и даже в семейном кругу именовать меня официально — «мой редактор», «мой начальник».

За месяц, что я Симонова не видел, он еще больше исхудал, казался выше ростом. Крымский загар слегка тронул лицо, а в уголках глаз светилась всегдашняя добрая улыбка.

Распорядок был такой. Утром он принимал изрядно надоевшие ему процедуры, а после обеда мы обычно сидели у моря. Его мучили тяжелые приступы кашля. Я смотрел на него, и сердце разрывалось оттого, что ничем не могу ему помочь. О болезни он не говорил, всякие разговоры на эту тему отводил.

— В Москве, — однажды признался он, — я чувствовал себя лучше...

— Надо что-то делать, — убеждал я его. — Нужен еще консилиум. Надо вызвать специалистов из-за границы. Надо поехать в Швейцарию. Ведь едут же другие туда лечиться...

Он слушал, слушал меня, а потом сказал:

— Нельзя всю жизнь бороться за жизнь...

Меня поразила эта горькая правда. Невольно вспомнил слова другого человека, который на жалобу, что к нему трудно добраться, ответил: «Меня надо беречь»...

А Симонова мучила не только болезнь, но и то, что он не может работать. Лариса Алексеевна строго следила, чтобы он выполнял предписания врача, и мы, как могли, помогали ей в этом.

Единственное, что ему было разрешено, — это перечитывать письма читателей, посвященные войне; он хотел сделать из них книгу. Писем было много, очень много. Они были аккуратно переплетены в толстые тома, и таких томов он привез с собой десяток. Симонов показывал их мне, перелистывал, читал свои пометки на полях — то краткие, то пространные, рассуждая по поводу тех вопросов, какие в них подымались.

Сколько было переговорено за те гурзуфские дни и вечера! Вспоминали фронтовые баталии, всякие трагические и смешные истории. Говорили о настоящем и будущем. И все больше о войне. О старых знакомых, с которыми встречались в наших совместных поездках по фронтам. Очень жалел Константин Михайлович, что не удалось ему написать повествование о Жукове при его жизни. Даже упрекал меня, что редко посылал его на фронт к Георгию Константиновичу. Трудно, говорил он, писать по старым следам, но все равно не пожалеет ни времени, ни сил и «добьет» о нем книгу. Хотел также подробнее написать и об Иване Ефимовиче Петрове. Очень интересный и умный генерал. Кстати, о Серпилине. «Жаловался» Симонов, что до сих пор идут письма читателей, требующих «оживить» Серпилина!

Заговорил я — в который раз — о его халхин-гольских стихах. Я согласился с ним, что они, как он мне сказал, «не того». Но все же я считал, что их надо включить в собрание сочинений, хотя бы как поэтический документ истории, что ли, на что Симонов мне ответил:

— Они могут заинтересовать лишь кого-либо из литературоведов, и то вряд ли, и... тебя. Но для этого есть старые комплекты «Героической красноармейской».

Не раз мы обсуждали, как порой пишут о войне. Его точка зрения неизменна: не подгонять события под сегодняшний день.

Вопросы, вопросы, вопросы... О них можно было бы написать не одну страницу воспоминаний. Но здесь мне хотелось бы рассказать о другом.

Почти ежедневно по пути на пляж мы заходили на теннисную площадку санатория. Там играла Лариса Алексеевна с партнерами, в том числе и с моим внуком. Кстати, и внук мой, Дмитрий, приехал в Гурзуф по настоянию Симонова.

Нелегко мне было в Гурзуфе. Вторую половину дня я был с Константином Михайловичем, а до этих часов метался со своей раной в душе, не зная, куда себя девать. Симонов это почувствовал.

— Знаешь что, — сказал он, — вызови сюда своего внука.

Через день мой Дима, десятиклассник, был уже у меня. И вот по утрам я бегал за ним, а послеобеденное время проводил с Константином Михайловичем.

Так вот о теннисе.

Симонов сидел на скамейке и с тоской в глазах смотрел, как бегают по корту. Он любил теннис и неплохо играл. Несколько раз он все-таки вырывался с ракеткой на корт, минут на 15 — 20, не больше. Наши протесты он мягко отводил:

— Я поиграю немного, может быть, и кашель отстанет...

Играл он хорошо, в полную силу.

Как-то я хотел поднять мячик, подвернулся Симонову под руку. Он, не видя меня, размахнулся ракеткой и так стукнул, что в глазах потемнело. Он волновался и два дня все спрашивал: «Очень больно?» А я ему сказал:

— Ну, знаешь, Костя, силища у тебя! Будешь жить сто лет...

Он печально улыбнулся и ничего не ответил.

Здесь, в Гурзуфе, Симонов открылся мне еще одной гранью. Я прежде не замечал за ним пылких родительских чувств, во всяком случае их внешних проявлений. Даже порой мне казалось, что он сухарь сухарем. Лет десять назад был такой случай. Узнал я, что внук Симонова, Женя, отдыхает в приокском городке Тарусе. Решил и я вывезти туда своего Диму. Встретив Симонова, спросил его:

— Слушай, Костя, как там, в Тарусе? Что за городок?

— Не знаю, — ответил он. — Я там не был.

— Как не был? Там же отдыхает твой внук!

Он рассмеялся:

— Я ведь не такой сумасшедший дед, как ты.

В Гурзуфе Симонов постоянно подтрунивал надо мною по этому поводу. На теннисной площадке, когда мы с Симоновым туда приходили, я дежурил возле Димы и, когда мячик перелетал через сетку, бегал за ним. Симонов посмеивался:

— Что ты мотаешься? Пусть сам ищет...

А вечером, когда внук, разгоряченный игрой, прибегал на пляж, чтобы сразу же броситься в море, я не пускал его: «Остынь!» Когда он заплывал за буек, кричал ему: «Вернись!» А когда выходил из воды, подбегал к нему с полотенцем и заставлял вытираться. Симонов все время меня останавливал:

— Что ты его преследуешь! Что ты не даешь ему воли!

И так каждый день.

Но вот уехала в срочную командировку Лариса Алексеевна, и пришла телеграмма, что ей на смену прилетает дочь Саня, студентка. Симонов решил ее встретить в Симферополе. Я его отговаривал: лучше я поеду или кого-нибудь пошлем. Но не тут-то было, поехал сам. Самолет опоздал. Холодную ночь Симонов провел в машине, закутав ноги газетной бумагой, а утром привез Саню в санаторий в одном легком платьице: чемодан с вещами остался в запертой квартире,

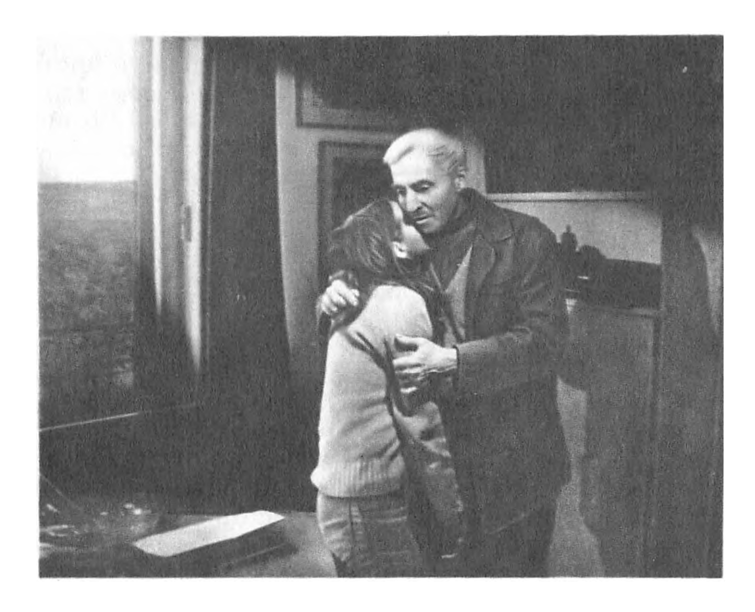
ключи запропастились куда-то, а она опаздывала на самолет, так и вылетела — в чем была.

Весь день Симонов мотался по гурзуфским магазинам, помогая ей приобрести платье и обувь.

Саня тоже увлекалась теннисом. Под вечер, после игры, прибегают на пляж Саня и Дима. Внук уже знал о порядке, а Саня — сразу в море.

— Стоп! — задержал ее Симонов. — Остынь раньше.

Я улыбнулся, но ничего не сказал.



С дочерью Сашей, перед отъездом в больницу.
Последнее фото К. Симонова

Поплыла Саня к буйку и за буек. Симонов поднялся с шезлонга и на весь пляж закричал:

— Саня! Куда? Вернись!

Я рассмеялся, но опять ничего не сказал.

Наконец Саня вылезла из воды. Хотела походить по пляжу. Симонов кинулся к ней, стал обтирать своим полотенцем, набросил свой халат.

Я расхохотался.

— Чего ты хохочешь?

— Как чего хохочу? Давно ли ты меня воспитывал: «Зачем ты бегаешь за Димой?», «Почему не даешь ему воли?» А ты лучше?..

Он посмотрел на меня и тоже начал смеяться.

Многим военным товарищам из нашего санатория хотелось поговорить с Симоновым. Но они понимали, что сейчас это невозможно. Как все переживали его болезнь! Каждый день офицеры, генералы, их жены подходили ко мне, у всех одни и те же вопросы: «Как Симонов?», «Господи, что с ним?», «Сегодня лучше?» Волновались, как волнуются о самом близком человеке.

Однажды Симонову позвонили, попросили принять работников одной из крымских газет.

— Хвораю, — сказал он, — но коллегам-журналистам отказать не могу. Пусть приезжают.

Приехали корреспондент Дружбинский и фоторепортер Халабузяр. Узнав заранее, что Симонов любит гвоздики, они привезли ему большой букет. Константин Михайлович был очень тронут. Представил он и меня своим обычным — «это мой начальник». Беседа длилась около часа.

Константин Михайлович сказал, что осенью этого года хочет снова приехать в Керчь и пройти-проехать по местам боев 41-го года, вспомнить друзей, встретиться с авторами писем, с очевидцами событий. Хочет, чтобы эти письма и воспоминания вошли в новую книгу. Это будет книга, написанная от имени всех солдат, своим горбом добывших победу, от имени дошедших и не дошедших до нее, живых и мертвых.

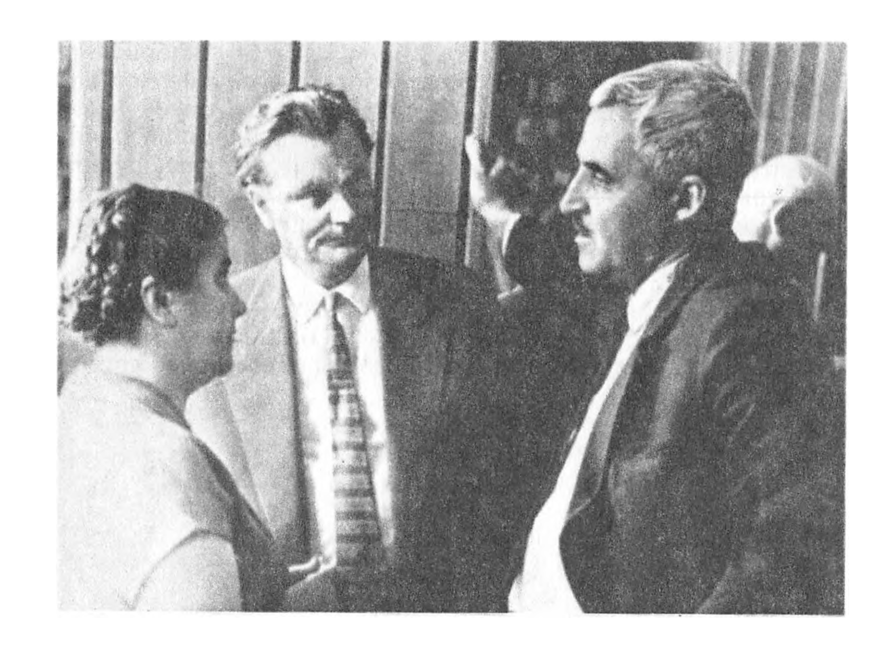
Симонов помолчал, что-то прикинул в уме, а потом сказал:

— В газете это интервью напечатать лучше всего осенью, когда я приеду в Крым. Напечатать с такой припиской: «Сейчас Симонов в Керчи и очень просит участников военных событий сорок первого года написать ему». Этим газета мне очень поможет в работе над книгой.

Нас сфотографировали на фоне Медведь-горы, журналисты попрощались и пошли по набережной. Симонов махнул им рукой и вдогонку крикнул:

— Значит, до осени...

...Пришла осень, печальная, горькая...



К. Симонов и Э. Межелайтис

Эдуардас МЕЖЕЛАЙТИС

...И Я ВЕРНУСЬ

...Я шагал по улицам военной Москвы и восхищался ее суровым обликом. Москва была похожа на солдата. Пусть измученного величайшей в истории битвой, но гордого своей победой. Мне был чрезвычайно дорог этот ее революционный, аскетический, боевой дух. Именно такой надолго сохранилась она в моей памяти.

Свое скромное место в общей борьбе обрел здесь в ту пору и я. Снова, как уже бывало прежде, мне помог мой бывший гимназический учитель Юозас Банайтис. До войны он, преподаватель музыки и старый коммунист-подпольщик, учил нас понимать искусство музыки и искусство революции. В Москве Юозас Банайтис работал во Всесоюзном радиокомитете — возглавлял литовскую редакцию. А я сидел рядом с ним у микрофона и читал тексты, адресованные молодежи. Радиоволны несли по эфиру в оккупированную Литву голоса учителя и его ученика. От Банайтиса я и получил тогда одно поручение. Он протянул мне газету и сказал:

— Переведи. Прочтем это стихотворение по радио для Литвы.

Коротко и ясно. По-военному. Он всегда был добрым человеком. Одним из самых добрых наших учителей. Но теперь Банайтис был строгим. Глаза запали, лицо осунулось. На веках лежали тени от недосыпания, недоедания и постоянной усталости. Спал он на набитом соломой матрасе, писал на подоконнике. Кровати и стола у него не было. Микрофона он не оставлял. Даже в те дни, когда немецкие танки рвались к Москве. Днем готовил передачи, а по ночам сидел перед микрофоном и говорил с Литвой:

— Братья! Не гните спину на оккупантов!..

Мне нравился новый облик моего бывшего учителя, его собранность, подтянутость. Вот хотя бы и сейчас — коротким приказом:

— Переведи...

Я развернул газету и прочел:

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут...

И вздрогнул, как от удара током. Поэт словно угадал мои мысли. Словно у меня самого сложились слова: «Жди меня...» Тогда это были самые главные, самые сокровенные слова. Мои слова. Я так долго носил их в сердце! Так хотел произнести вслух! И вот нашелся поэт, который опередил меня и высказал всем мою сокровенную мысль, мое желание. Но в то время эти слова принадлежали не только ему, не только мне, — они были всеобщей думой, надеждой, мольбой. Война, как вор, прокралась в наш дом, оторвала нас от родной земли, разлучила семьи, разрушила домашний очаг. Каждый чувствовал, что он, как любимой, лишился родной земли. И каждый повторял: «Жди меня...» Но до этого никто не написал этих слов. Их написал русский поэт. В тот день передо мной раскрылась главная тайна поэзии: угадать мысль миллионов. Если поэт раскрывает только свое, он остается одинок. Он может быть великим, но все равно он одинок. Мысль большой поэзии — всегда мысль всего народа.

Я прочитал стихотворение в вечерних сумерках, и мне почудилось, что в мою маленькую комнатушку, в которой я жил вместе с одним русским студентом, с шумом хлынули неманские волны.

«Жди меня...» Я подумал, что эти два слова станут солдатским паролем, что пароль этот откроет мне обратный путь в край, о котором я так тосковал. Пальцы сжимали карандаш, а губы шептали: «Lauk manąs, ir grįšiu ąš...» Непроизвольно скользило острие карандаша по бумаге, я и не заметил, как записал на своем родном языке это прекрасное стихотворение.

Когда я шел по притихшим московским улицам, огибая заснеженный памятник Пушкину, в находившийся неподалеку Радиокомитет, длинные руки прожекторов прощупывали небосвод. Монотонно гудели самолеты, где-то далеко сердито лаяли зенитки... Как некогда на школьной скамье, сидел я перед микрофоном рядом со своим учителем. Он нажал кнопку — вспыхнул зеленый глазок. И волны эфира понесли в Литву солдатский пароль, состоящий из двух слов. В них заключено было все — вера, надежда и любовь... Я читал, и казалось, что чувствую рядом плечо доброго друга.

Таким было мое первое знакомство с Константином Симоновым.

Очень хотелось увидеть автора этих стихов. Однако в ту пору его не было в Москве — он был на фронте. Я стал следить за прессой, жадно искал его новые стихи и фронтовые репортажи. Не всегда они были стилистически безупречны. Чувствовалось, что, пока он пишет, на листки его блокнота частенько со стенок окопа или блиндажа, сотрясаемых артогнем или взрывами мин, сыплются комки мерзлой земли, и нервная рука автора спешит, спешит. Спешит, чтобы донести до всех, кто ждет вестей с фронта, новейшую горячую информацию. И горячую духовную информацию, написанную стихами. Эта информация всегда глубоко волновала. Симонов говорил с читателем как человек, познавший в огне боев голод и холод, боль и страх, напряжение борьбы и счастье победы, — говорил торопливо, чтобы не потерять нить, прерывающимся от волнения голосом. Очень неровной была интонация его выступлений. Однако иной в ту пору она, наверно, и не могла быть.

Вскоре попал мне в руки небольшой томик стихов в синей обложке — «С тобой и без тебя». Интимная лирика. Любовь. Различные мнения ходили тогда об этой книге. И тем не менее эта интимная лирика распространилась в народе, как пожар в лесу. Поэт писал о судьбе двух людей — об их любви, разлуке, тоске, мучительной радости встреч. О любви двух обыкновенных людей в дни великих исторических событий. О любви в дни всеобщего горя, ненависти. Фактически — о жизни на грани смерти. Вот почему эту книгу Константина Симонова рвали тогда друг у друга из рук, переписывали, заучивали наизусть. И никакие «мудрые» советы не отпугивали людей от нее. (Помнится, советовали не петь песен вроде «Землянки» Алексея Суркова и стихов о любви не читать... А я, начинающий поэт, писал тогда исключительно о любви...) Эту скромную книгу в синей обложке я всюду таскал за собой в солдатском вещмешке. Лечил ностальгию бальзамом лирики:

Не сердитесь — к лучшему,
Что, себя не мучая,
Вам пишу от случая
До другого случая...

Солдатское письмо. Я читал и перечитывал томик лирики в синей обложке, и мне так хотелось увидеть автора. И вдруг...

...Нелегким делом было попасть в зал Политехнического музея на вечер писателей-фронтовиков. Дорогу пришлось прокладывать локтями.

Остро и гневно, помнится, говорил тогда с трибуны Алексей Сурков. Меня глубоко потрясло его откровенное выступление. Я сидел опустив голову, может быть, даже сжав ее ладонями. И вдруг председательствующий объявил:

— Константин Симонов.

На трибуну поднялся офицер в видавшей виды шинели.

— Должен извиниться перед уважаемой публикой... — начал он. — Не успел переодеться... Мы прямо с фронта...

Он был усталым и говорил с трудом. Казалось, каждое слово пахло влажной окопной землей. Но было оно разяще метким, как снайперская пуля. Таким увидел я его впервые. Таким и остался он в моей памяти — солдатом в серой шинели.

Кстати, он стал как бы моим крестным отцом: его живое слово подготовило меня к нелегкому труду военного корреспондента — уже был заготовлен приказ о моем направлении на фронт. Проводил меня мой учитель. Положил в вещмешок, где лежала уже книжечка стихов Константина Симонова «С тобой и без тебя», роман Хемингуэя «Прощай, оружие!». И вот ранним летним утром 1943 года отбыл я на Орловский фронт, где в составе армии, которой командовал маршал Рокоссовский, отважно сражалась 16-я Литовская стрелковая дивизия. Там ждала меня русская деревушка Литва, из которой я и привез свой первый посвященный Литве сборник стихов. Наши летчики с самолетов разбрасывали эту первую мою книжечку над территорией оккупированной Литвы.

А личное наше знакомство с Симоновым состоялось лишь спустя много лет после войны, в Душанбе, у гостеприимного таджикского поэта Мирзо Турсун-заде. Дастархан манил аппетитной, по-восточному пряной бараниной. Солнечными бликами светилось в бокалах таджикское вино. Турсун-заде читал мне исполненные восточной мудрости нестареющие рубаи Хафиза и Омара Хайяма. Вдруг за окном заурчала и умолкла машина. Кто-то по-солдатски — кулаком — постучал в окно. Удивленный хозяин пошел открывать. В доме появился Константин Симонов. Посеревшее от пыли лицо. Он и сейчас был похож на только что вернувшегося из большого похода бывалого солдата. Отер ладонью губы и попросил воды. Утолив

жажду, тяжело опустился на стул и только теперь, казалось, почувствовал всю свою усталость.

— Ехали на военной машине, — начал он, — из Ташкента. По перевалам. Там как-никак до пяти тысяч метров. Кислорода порой не хватало. А тут буран налетел.

Потом он выпил стакан вина, закусил, выкурил трубку и вдруг задремал...

С того дня мы стали друзьями. Я считаю, что Симонов был романтиком. Романтиком не по-байроновски и не по-лермонтовски. И не романтиком революционных баррикад. Романтиком середины XX века. Он был солдатом. Романтики революции выполнили свой долг. Революция победила. И теперь ей нужны были солдаты, люди с чистой совестью, готовые с оружием в руках защищать завоевания народа. Константин Симонов и принадлежал к поколению, на плечи которого судьба возложила нелегкий солдатский вещмешок.

Поколение Симонова формировалось меж двумя мировыми войнами. А когда «пробил час», выяснилось, что неплохие вышли из них солдаты.

Нынче представители этого поколения прожили, пожалуй, уже бóльшую часть своей жизни. Но не представляют ее себе без преодоления опасностей и трудностей, без риска и борьбы. Я видел, с какой отвагой Симонов встречал опасности. Мирных дней жизнь была для него продолжением солдатского долга. Подобным же образом понимал жизнь Эрнест Хемингуэй, хотя был на поколение старше.

«Солдатами не рождаются» — это слова Константина Симонова. Рождаются, ясное дело, людьми. Но если того требует жизнь, то «самые лучшие, самые храбрые, самые нежные» (снова Хемингуэй!) подчиняются зову времени. «Ты — сын войны», — писала известная литовская поэтесса Саломея Нерис. Константин Симонов больше, чем кто-либо из нас, «сын войны». Основную часть своей жизни провел он среди солдат и талант свой отдал военной теме. Для литератора, обладающего активной натурой, толстовская тема войны и мира — тема нашего века. И мне очень хорошо понятна творческая анкета Константина Симонова. Анкета кадрового военного.

Чем дальше, тем лучше узнавал я этого человека. Нам доводилось вместе бывать в дальних поездках, в частности в США. В то время президентом только что был избран Джон Кеннеди. Константину Симонову выпало на долю участвовать в благородной миссии сближения двух наших великих стран. И руководитель нашей делегации Симонов работал масштабно. Не разменивался на мелочи. Его жест, как и его почерк, был крупным. Наверно, я сильно надоел ему тогда, то и дело заводя в свободную минутку разговоры о рыбалке, о «золо-

тых» крючках, о нейлоновой леске... Как-то он не выдержал и бросил мне:

— Не люблю ловить рыбу.

А Хемингуэй, подумал я, любил. Эти писатели чем-то казались мне похожими. Хотя один любил, а другой, по собственному признанию, не любил ловить рыбу... Оба были отважными людьми. Мы с Симоновым часто вспоминали Эрнеста Хемингуэя. Вспоминали мы Хемингуэя, гостя на родине писателя. Константин Симонов, Эрнест Хемингуэй, война, Испания, Европа, фронт... Вспомнил тогда и я маленькую русскую деревушку Литву на Орловщине, грохот танков, гул артиллерии. Вспомнил и роман Хемингуэя «Прощай оружие!», который летом 1943 года читал, забравшись на сеновал в одном из уцелевших дворов этой деревни. Листал страницы этого романа и писал репортажи о воинах-литовцах, освободивших только что деревеньку Литву. Перечитывал страницы сборника «С тобой и без тебя» и писал свои стихи. Неисповедимы дороги судьбы, думалось мне теперь. Разве мог ты предположить, что сведут они тебя в США, на далеких меридианах земного шара и на разных его параллелях с этими людьми? Эрнест Хемингуэй — человек героического характера. Он знал винтовку, однако не чурался и безобидной удочки... И вдруг:

— Когда пойдете покупать крючки, захватите меня с собой.

— Что же вы будете делать с этими презренными крючками? — поинтересовался я.

— Видите ли, — ответил Симонов, — у меня много друзей. Военных. Они любят рыбалку.

Снова — солдаты... Для многих война уже давно кончилась, для Симонова — еще нет.

Разным видел я в жизни Константина Симонова. Я слышал, как он читал стихи: одни сурово и гневно, другие интимно, задушевно. Слышал, как повизгивал он, словно солдат-новобранец, захлестываемый волнами нетеплого Балтийского моря у золотых палангских дюн. И слышал, как он проникновенно, в высшей степени профессионально и необычайно чутко, рассказывал о великой красоте, созданной гениальным литовским художником, композитором и мыслителем Чюрлёнисом. Это было в 1965 году, в Центральном Доме литераторов, на юбилейном вечере, посвященном девяностолетию со дня рождения нашего великого художника и гуманиста, который тогда был еще мало известен московской публике и никто о нем еще особенно не говорил. Одним из первых заговорил о Чюрлёнисе Константин Симонов.

Он был смелым и на культурном фронте — любил и ценил новаторское искусство, поиск, рискованный эксперимент.

Последний раз посетил он Вильнюс, когда завершал

работу над своей военной эпопеей. Однажды вечером раздался звонок в дверь. Я работал, и меня даже зло взяло, что кто-то явился так поздно и мешает мне работать. Открываю — в дверях улыбается Константин Симонов. Рядом с ним — высокий человек в военной форме. Чуть не до утра просидели мы за моим длинным столом, прихлебывая вино из когда-то подаренных мне Симоновым по какому-то торжественному случаю серебряных кавказских стопочек и беседуя обо всем на свете. Мы давненько уже не встречались, было о чем поговорить. Вдруг вижу: прикусил Константин мундштук своей обгоревшей трубки и задумался. Голова опустилась, белая как весенняя яблоня. А ведь могла бы еще быть темной. Конечно, могла бы. Если бы жил спокойнее, меньше сердечного тепла раздаривал людям, меньше страдал. Впрочем, в конце концов не так-то уж плохо жил Симонов. Бурно, романтично.

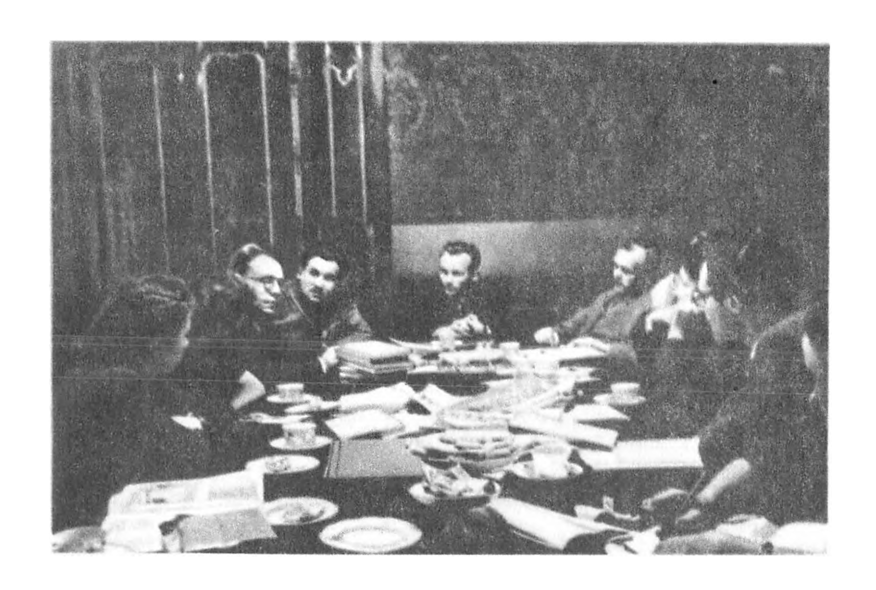
— Выше голову, старый солдат! — сказал я ему.

Он улыбнулся.

— Не удивляйся, что прикатил к тебе с этим воякой. В сорок четвертом он прошагал через всю Литву и возле Кибартай взломал двери Восточной Пруссии. Одним из первых ворвался в логово врага. Я заканчиваю свою трилогию и должен проверить ситуацию на месте. Устал. Боюсь, не успею...

Да, он любил точность в работе. Реалии всегда строго соответствовали действительности. «Уж не один ли из прототипов его героев пришел ко мне с автором? Может, сам Серпилин?» — подумал я. Спутник Симонова тоже был сед.

В тот вечер, при прощании, я поделился с ним своими рыбацкими богатствами: крючками разного калибра, лесками, спиннинговыми катушками. «Ну, спасибо! Будет хороший подарок моим военным дружкам», — улыбнулся Константин Симонов, как тогда, в США. Но лучшим подарком воинам, живым и мертвым, остались все же его книги. И не только героям-воинам — всем нам.



Заседание литературной секции ВОКС.
В центре слева направо:
С. Маршак, К. Симонов, А. Караганов.

А. КАРАГАНОВ

ИЗ ДАВНЕГО И НЕДАВНЕГО

Трудно вспоминать о том, что еще не стало воспоминанием. И все же попробую из прошлого, давнего и недавнего, выбрать несколько страниц, может быть неизвестных будущему читателю этой книги.

Сначала — предыстория нашего знакомства.

О Константине Симонове я услышал раньше, чем встретился с его поэзией. В годы, когда я учился в ИФЛИ, уверенно заявила о себе целая группа молодых поэтов. Четырех из них, хоть они и тогда были разными, в студенческих спорах всегда называли вместе — Алигер, Долматовский, Матусовский, Симонов. Одни их яростно ниспровергали, другие пророчили им роли ведущих. Споры в коридорах и аудиториях были горячими не только потому, что ифлийцы вообще любили спорить, — у нас подрастали свои, только еще поднимающиеся, ифлийские поэты, и среди них Павел Коган, Леонид Шершер, Сергей Наровчатов, — их задиристые речи доводили разноречия мнений до самого высокого накала. Я в поэтических спорах непосредственно не участвовал, только слушал: сту-

дент западного отделения литфака, усиленно занимался Шекспиром, Байроном и Шелли, из тогдашних поэтов признавал одного — Твардовского.

И вот война. После ранения под Москвой — госпиталь в Шадринске, на Южном Урале. Зимним днем 1942 года я прочитал в газете «Письмо другу» («Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»). Стихотворение потрясло, оно по-своему вписалось в эмоциональный пейзаж моего деревенского детства, в горестные воспоминания о недавних отходах из деревень Подмосковья. Я и сейчас не могу читать его спокойно — возникают переживания первой встречи с ним.

После «Письма другу» я уже не пропускал ни одного произведения, под которым стояло имя — Константин Симонов. Я полюбил его как писателя, чтобы потом полюбить как человека.

А знакомство начиналось так.

В январе 1944 года меня перевели из Челябинска в Москву — в ВОКС (Всесоюзное общество культурных связей с заграницей). По комсомольской привычке почти сразу же принялся за «план мероприятий». На первом месте среди них значилось — организовать встречу аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов с писателями-фронтовиками.

Не было вопроса, кого приглашать «главновыступающим». Конечно же Константина Симонова!

Симонов, находившийся в ту пору в Москве, очень серьезно отнесся к выступлению, даже текст его написал, хоть этого и не требовалось.

Накануне встречи нам стало известно, что из Ленинграда накоротке приехал Всеволод Вишневский. Позвали и его.

Приглашенные собрались дружно. Среди них, помнится, были Джеймс Олдридж и Джон Херси, в ту пору молодые журналисты, — потом они станут известными писателями. В зале сидели и такие газетные зубры, как англичане Ральф Паркер и Александр Верт, американцы Генри Шапиро и Джон Стивенс, — всего около пятидесяти человек, представлявших прессу, радиокомпании и телеграфные агентства США, Англии, Франции, других союзных стран.

Когда слово было предоставлено Симонову, дружно раскрылись журналистские блокноты: записи велись почти беспрерывно. Думаю, что никто не пропустил симоновскую фразу: «Нашим первым и основным законом было и остается — чтобы описать, надо увидеть самому». С впечатляющей прямотой говорил Симонов об особенностях писательской работы на фронте в начале войны: в труднейшей обстановке нужно было «объяснять реальные обстоятельства, при кото-

рых, несмотря на боевой дух и самоотверженность, нам все-таки приходилось отходить». Отступление рождало и у самих пишущих о войне тяжелое состояние: чтобы писать, надо было его преодолевать.

Всячески выделяя значение фронтовой журналистики, Симонов обращался и к литературе, которая не уйдет в историю вместе с газетным листом: ничего нельзя откладывать на более спокойное и более «удобное» для писателя время — время может сгладить остроту наблюдений и переживаний. Писательское слово, позарез необходимое воюющим, очень нужным станет завтра как запечатленная история, которая долго будет жить с нами и в нас; «...по моему мнению, сразу же, как окончится война, писателям нужно привести в порядок свои дневники, потому что, что бы они ни писали во время войны и как бы это даже ни хвалили читатели, все равно на первый же день после окончания самым существенным, что они сделали за войну, окажутся их дневники».

Не заглядывая в лежащий перед ним текст доклада, Симонов взволнованно рассказывал о работе своих товарищей, о том, в какой обстановке создавались, какое значение для воюющей страны имели «Василий Теркин» Александра Твардовского, «Радуга» Ванды Василевской, «Письма товарищу» и «Непокоренные» Бориса Горбатова, «Народ бессмертен» Василия Гроссмана, стихи Ольги Берггольц, Леонида Первомайского, Аркадия Кулешова, каждодневно воюющая публицистика Ильи Эренбурга... Он вспоминал все новые и новые имена, и за каждым из них, очевидно, возникали в его памяти прочитанные произведения и встречи с их авторами на войне.

По тишине в зале и сосредоточенным лицам слушателей чувствовалось, что доклад захватил аудиторию. Он действительно был хорош — привлекали полное отсутствие риторики, конкретность, прямота и откровенность разговора, нежелание докладчика обходить сложные вопросы, часто затрагивавшиеся и далеко не всегда объективно освещавшиеся зарубежной прессой. Привлекал, вероятно, и сам докладчик — молодой, красивый подполковник с орденами на гимнастерке, свидетельствовавшими о том, что войну он знает не понаслышке, не издалека.

Затем слово было предоставлено Вишневскому. Всеволод Витальевич произнес зажигательную речь на такую примерно тему: советские солдаты-ленинградцы и бесстрашные моряки Балтики каждодневно ходят в атаки, вгрызаясь в глотку врагу. И никогда не видят рядом своих союзников. «Мы воюем, а вы отсиживаетесь в «Метрополях», — говорил он, повышая ораторский напор, то и дело переходя с дипломатически чинных обращений «господа» на моряцкое «братишки»... —

Мы хотим, — гремел Вишневский, — чтобы вы были с нами в атаках и окопах как истинные союзники, мужчины, журналисты, работающие в обливающейся кровью России».

Можно себе представить реакцию зала. На этот раз блокноты не раскрывались. Симонов со своим прекрасным докладом был забыт. Один за другим выступали американцы, англичане, французы. Говорили о том, как им стыдно сидеть в Москве, как рвутся они на фронт. Требовали соответствующих и притом немедленных решений. Кто-то предложил направить правительству протест против действий отдела печати МИДа, не посылающего иностранных корреспондентов на передовую. (А по причинам, вероятно, весьма основательным и серьезным их редко вывозили тогда на фронт, да и то в основном в города, уже отбитые у противника.) Предложение о протесте горячо и шумно поддерживается.

Не знаю, удалось ли бы мне одному справиться с этим шквалом гневных речей и самых радикальных требований, если бы не покоряющее обаяние Константина Михайловича. Протест не был послан.

Позже мы не раз вспоминали об этом инциденте. Вспоминали смеясь. А в тот вечер нам было не до смеха.

Начиная с 1943 года, К. М. Симонов был вице-президентом литературной секции ВОКС (президентские обязанности исполнял А. Н. Толстой).

...Листаю архивные папки литературной секции ВОКС. Вот датированное августом 1944 года письмо американки Джеррил Кин, которая посылает Симонову свой перевод стихотворения «Жди меня», пишет, что это одно из самых прекрасных стихотворений, какие она когда-либо читала. Хочет переводить другие произведения Симонова — просит прислать все его новые книги.

...Вот переписка с писательской секцией Английского общества культурных связей с СССР, которая прислала в ВОКС вопросы английских писателей советским коллегам. Девятнадцать писателей отвечали на них. В организации ответов активнейшее участие принимал Симонов. Получив эти ответы, председатель секции Джон Пристли сообщил, что прочитал их с огромным интересом: они исключительно хороши, будет сделано все необходимое, чтобы распространить их как можно шире. Через некоторое время ответы советских писателей были изданы в Лондоне специальной брошюрой, предисловие к которой — по просьбе Пристли — написал Симонов.

...Информация о поездке Симонова — вместе с Фадеевым, Вургуном и Айбеком — в Англию, их беседах с английскими писателями, которые писательская секция Английского обще-

ства культурных связей с СССР называет самым большим событием года в ее жизни и работе. Письма Симонова о встречах с Чарльзом Чаплином... Переписка с Эрнестом Хемингуэем и Бернардом Шоу...

Документы, давно уже лежащие в архивах, подтверждают то, что не всегда помнилось, о чем не часто думалось: несмотря на тогдашнюю молодость Симонова, уже в 1943—1947 годах, о которых идет речь, его имя было известным, его слово было весомым и в союзных странах. Думая о последующем, убеждаешься: столь ранняя известность за рубежом не могла не наложить своего отпечатка на характер работы писателя. И не только «Друзья и враги», «Русский вопрос», «Дым отечества» и «Чужого горя не бывает» вспоминаются. Чувство прямой сопричастности делам международным стало органической чертой как самого Симонова, так и его героев.

* * *

В стихах Симонова, ранних и поздних, немалое место занимает тема дружбы, дружбы требовательной, но верной, той, что «от ветров при жизни не качается, смертью одного из двух кончается». В его произведениях создан своего рода поэтический образ дружбы, ее моральный кодекс. Почти незаметная, не декларируемая в обыденной повседневности, существующая привычно и просто, как нечто само собой разумеющееся, симоновская верность в дружбе обретает энергию действия, когда друг в беде, когда дружеская поддержка становится необходимой, как фронтовая взаимовыручка. Я испытал это на себе. Он поступал, как писал в своем, по первой видимости, шутливом стихотворении:

Когда со мной страданием
Поделятся друзья,
Их лишним состраданием
Не обижаю я...

Душевный такт его был поразителен. Переход от войны к мирному послевоенному строительству был не простым. Движение сознания, взглядов на жизнь, усложненных войной, стало внутренней темой его творчества. Вспоминаются удивительные для двадцатишестилетнего поэта строки: «И обратно не все увеличится в нашем горем испытанном зрении». Написанные в 1942-м, они не были выражением мгновенного прозрения — обозначали процесс. Многое из того, о чем думалось, что смутно тревожило, откроется, прояснится в ходе работы партии по восстановлению и развитию ленинских норм жизни. Но на место проясненных

проблем придут другие. Тоже непростые. Тоже требующие напряжения мысли, концентрации воли, трудных поисков.

Мне не раз придется удивляться тому, как широк круг его читательских интересов и писательских размышлений. Он предложил мне почитать целую серию изданных ОГИЗом книг «Октябрьская революция глазами ее врагов». Все было им уже прочитано, он хотел не оценочно, а предметно представить себе отражение революции в судьбах и мыслях тех, кто боролся против нее. Константин Михайлович читал стенограммы партийных съездов, воспоминания военачальников Отечественной войны, собирал солдатские документы. На полке у письменного стола стояли дневники Гальдера, «История второй мировой войны» Типпельскирха, книги старых немецких генералов, чьи доктрины наследовали и по-своему толковали гитлеровские военачальники.

Однажды, когда в разговоре зашла речь о кануне войны, он дал мне толстенную книгу, выпущенную издательством «Наука», — сборник документов советских погранвойск, относящиеся к 1939—1941 гг. донесения застав и отрядов, анализирующие их докладные записки округов. В документах, которые собраны в книге, все было отмечено, донесено по начальству — и передвижения немецких войск, и повышенная активность разведки, и подготовка позиций для броска на нас... Это поразительная книга о мужестве советских пограничников.

* * *

Вскоре после окончания войны Симонов стал одним из активно действующих руководителей Союза писателей — заместителем его генерального секретаря А. А. Фадеева, главным редактором «Нового мира». К тому времени у него еще не было многих слагаемых позднейшего опыта, — практическое знание войны не во всех трудных ситуациях выручало. А проблемы возникали. В их решении Симонов не всегда был таким дальновидным и аналитичным, каким станет позже. Случалось, что он совершал ошибки, о которых потом — всю оставшуюся жизнь — жалел, но в момент совершения не считал, что ошибался, сам убеждал себя в этом или позволял убедить себя. Они у многих литераторов на памяти. Тем более что он сам не раз говорил о них. И не в узком кругу — для очистки совести, — а открыто, в публичных выступлениях и печати. Но теперь уже немногие из нас помнят, а многие и просто не знают, скажем, выступление Симонова на Третьем пленуме Правления Союза писателей в феврале 1950 года.

Когда Симонов поднялся на трибуну, я понял — волнуется. Он говорил подчеркнуто спокойно и чуть медленнее обычно-

го: это был верный признак волнения. Но потом разошелся. Хотя весь пленум был наполнен спорами, симоновская речь прозвучала подобно взрыву. Симонов говорил о негативных явлениях в литературе и критике, которые мешали консолидации писательских сил, ограничивали творческий поиск. Он резко осудил групповщину, расхваливание слабых произведений по «ведомственному», приятельскому принципу и «критику на уничтожение», которой подвергались некоторые крупные писатели.

Продолжая свою мысль, Симонов говорил, что несмотря на сотни и сотни писем в «Литературную газету», протестующих против расхваливания слабых произведений, ни «Литературная газета», ни секретариат Союза, ни его журналы, включая и редактируемый им самим «Новый мир», не выступили с открытой критикой этих произведений. В этом же контексте впрямую было сказано о том, что тогдашние руководители комиссии по драматургии не давали и пикнуть против пьес «своих» и всячески зажимали, игнорировали пьесы «не своих».

После пленума Симонов написал — в развитие своего выступления — большую статью, которая была опубликована в журнале «Большевик». С большой серьезностью анализировал он в своих статьях истоки и природу «теории» бесконфликтности, ее влияние на драматургию. Писал о сборнике «Избранное» Афиногенова, вышедшем без «Чудака» и «Страха», о недопустимом обеднении сборников других писателей.

Я тогда работал в журнале «Театр» и не только в общетеоретическом плане, но по каждодневной редакционной практике ощущал значение симоновских выступлений.

Когда отшумели полемики и литературные бои конца 40-х — начала 50-х годов, Симонов решил собрать в одной книге наиболее существенное из написанного по вопросам литературы, мне предложил быть ее редактором. Сохранились два письма о составе сборника и его подготовке к печати. «...Тебе лично хочу сказать, — писал он в одном из них, — что все снятые мною пять статей снял я совершенно категорически. Три — по причине того, что сейчас душевно не согласен с некоторыми написанными в них вещами, а латать и перелатывать их не хочу, а две — о Лацисе и «После войны», потому что они просто плохие...»

Многое «читается» в этом письме — и не только в чисто рабочем его значении для уточнения сборника «На литературные темы». Находясь внутри литературного процесса, Симонов отражал его движение самой своей личностью. Искал истину, искал упрямо, подчас с мучительным ощущением, что она ускользает. Не только в практике секретарской работы в Союзе писателей и редакторской в «Новом мире», но и в

теории и критике он не настаивал на том или ином своем решении, выводе, умозаключении, если убеждался, что был не прав. Поправлял себя, не считаясь с самолюбием, с ожидаемым и вероятным злорадством недругов и оппонентов. Личные неприятности — не в счет, когда речь шла о принципах. Так он считал. Так он действовал, многому научившись на своих ошибках 1949 года. Первоначальный состав сборника, о котором идет речь, предметно показывает, как Симонов менялся. Внутренним переменам — под влиянием времени — помогало умение быть самокритичным. К себе он был беспощаден. Мужественно встречал критику. Расстраивался, как и любой из нас, но виду не подавал. Отвечал только в крайних случаях — когда ответ нужен был для защиты главного. К критикующим относился с повышенной щепетильностью.

Как-то я удивился тому, что он напечатал в «Новом мире» весьма посредственное произведение писателя N. Константин Михайлович объяснил: «Понимаешь, он сочинил очень злую пародию на меня, и я подумал: может, его вещь не нравится мне потому, что во мне говорит обида; в таких случаях лучше ошибиться в эту сторону, чем в другую...»

...Совсем недавно наш общий приятель сказал мне по поводу сложной литературной ситуации, в которую он оказался вовлеченным: «Хотел быть по-симоновски справедливым. Не смог — «субъективность» не позволила, чувства захлестнули». Симонов хотел и умел быть справедливым.

* * *

К. М. Симонов участвовал во многих встречах, связанных с усилиями деятелей мировой культуры противостоять пропаганде войны и военным приготовлениям. В его очень серьезном, глубоком отношении к проблемам войны и мира жила память о 1941—1945 гг.

Будучи реалистом по натуре и убеждениям, он хорошо понимал, что противоречия между людьми разных политических взглядов, разного социально-исторического опыта не преодолеваются на ассамблеях: нужно проявить терпимость, понимание и уважение к людям, думающим по многим вопросам иначе, чем мы, чтобы сойтись в главном — в заботах о мире.

Парадоксально, однако же факт: при всем том, что Симонов всегда последовательно, убежденно и настойчиво отстаивал свою позицию, на каждой новой встрече он буквально «обрастал» друзьями-оппонентами; покорял непринужденностью и свободой разговора, уважительным, вдумчивым отношением к аргументам тех, с кем спорил.

В начале 1972 года в Москву приехал один из самых трудных в этом смысле оппонентов — Генрих Бёлль с женой.

По некоторым аспектам нашей общественной жизни и литературной политики он и тогда выступал, и сейчас продолжает выступать с идеями и мнениями, отличными от наших, критикует нас. Но когда во время ужина у Симоновых зашла речь о подготовке Брюссельской ассамблеи, посвященной проблемам европейской безопасности и сотрудничества, Бёлль не остался безучастным.

Разговор был многотемный. Говорили о Германии, ее исторической судьбе, вспоминали минувшую войну. Бёлль интересовался, как работает Симонов, вникал в детали писательского труда и быта. И снова — о войне, снова о Брюсселе.

Мы почувствовали, что в самой Ассамблее Бёллю участвовать не хочется: вероятно, он не хотел работать в инициативном комитете вместе с коммунистами, боялся, что политические разногласия помешают дружной и согласной работе. Зато он загорелся идеей собрать в том же Брюсселе и в те же дни симпозиум крупных деятелей европейской культуры.

Вскоре Бёлль прислал мне письмо, в котором предложил тему дискуссии: «Определение Европы в историческом и культурном плане» и список возможных участников. Бёлль вызвался написать им всем личные письма и просил дублировать официальные приглашения в Брюссель от имени Международного Комитета за европейскую безопасность и сотрудничество.

Через некоторое время К. Симонов, Л. Гинзбург и я вылетели в ФРГ, чтобы обсудить с другими немецкими коллегами практические вопросы подготовки Ассамблеи и «параллельной», предложенной Бёллем, встречи деятелей культуры.

Первый вечер в Мюнхене. За ужином Симонов размышляет вслух, психологически готовится к встречам с писателями и кинематографистами. Мы понимаем, что наши завтрашние собеседники и оппоненты принадлежат к числу немцев, выступающих за сотрудничество в рамках «большой Европы», но понимаем и то, что в их подходе к общеевропейским проблемам есть свои оттенки. Они по-разному проявятся у коммунистов, социал-демократов, католиков (а нам предстояло встретиться и с теми, и с другими, и с третьими) и просто у разных, индивидуально несхожих людей, но проявятся обязательно.

Вспоминая Бёлля и еще нескольких крупных писателей, с которыми наша пресса по разным поводам спорила, Симонов сказал: «Да, нелегко будет с ними, но они не оголтелые, в заботах о мире в Европе они не враги нам, с ними можно и нужно говорить».

* * *

Это давно уже стало общим местом — говорить и писать о фантастической работоспособности и организованности Симонова. Но Константин Михайлович умел не только работать: он был очень веселым, «заводным» человеком, умел радоваться даже малым радостям, а еще больше любил доставлять радость другим.

...Шел очередной Московский кинофестиваль. Как-то поздним вечером мы с женой проходили через пресс-бар, чтобы поехать домой. В полутьме пресс-бара кто-то дернул меня за рукав. Останавливаться не хотелось, пора было спать, тем более что день выдался пестрый, утомительный. Оглядываюсь: это Симонов, с ним Тамара Макарова, Сергей Герасимов и итальянские гости — Антониони, Дзурлини, Пирро, Трамбадори... Нас усадили за стол. Константин Михайлович подзадоривает меня: «Вот если бы ты был настоящим начальником, достал бы машины, и мы двинулись бы ко мне домой. У меня найдется несколько бутылок абхазского вина».

Делать нечего: иду вниз, где расположены фестивальные службы; глухая ночь, все спят, дождь, машин нет, у гостиницы случайно оказался только туристский автобус. С трудом уговариваю дежурного дать на полчаса этот автобус. Под дождем грузимся и отправляемся на улицу Черняховского.

По-летнему пустая, нежилая квартира (Лариса Алексеевна с детьми — в Гульрипши). Симонов просит нас занять гостей, а сам вместе с Сергеем Аполлинариевичем Герасимовым отправляется на кухню. Конечно же к приему такого количества гостей он не был готов: это чистая импровизация. Тем не менее минут через 15—20 Симонов и Герасимов, очень довольные собой, появляются с несусветно большой сковородой. «Пицца, пицца!» — возликовали итальянцы. Но это была просто громадная яичница с помидорами, зеленью, сыром, колбасой, красным перцем: по-видимому, в нее «вмонтировалось» все, что нашлось в холодильнике.

По кругу пошли бутылки вина. Яичница быстро была уничтожена, расхвалена. Кто-то запевает, кто-то из итальянцев пускается в пляс, остальные присоединяются. Шум, хохот, итальянская экспансивность проявляется в полном блеске. Москвичи тоже веселятся. И только Антониони, грустный, даже мрачноватый, сидит в углу. На его лице время от времени появляется некое подобие улыбки, чтобы тут же исчезнуть. И снова — грусть... Мне хочется как-то занять его, разговорить. Но это трудно сделать в немыслимом гаме...

Разъехались на рассвете.

Проходит полтора месяца. Получаем переводы откликов на фестиваль. Среди них большой очерк Антониони. А в нем такие строки: «Самым веселым и приятным на фестивале был для меня вечер у писателя Константина Симонова...»

* * *

И еще одно фестивальное воспоминание. В Москву приехал итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи. Ему хотелось познакомиться с Константином Михайловичем. Выбрав относительно свободный от просмотров вечер, я позвонил Симоновым. Они пригласили Бертолуччи с женой на дачу в Пахру.

Бертолуччи и его жена с интересом осматривают комнату — картины Пиросмани на стенах, узбекскую керамику, низкие, открытые, из мореных досок полки с посудой вдоль стены (по дороге мы успели сказать супругам Бертолуччи, что почти все внутреннее убранство дачи — тоже «сочинение» Симонова: столы, полки, лавки сделаны по его рисункам и чертежам).

Уселись за стол. Во главе — хозяин. По глазам видно, что день у него был очень трудный (он вернулся из города буквально за несколько минут до нашего приезда). Переводя разговор (он велся на английском), поглядываю на Константина Михайловича, в душе корю себя: дернул же черт обрушить на него еще и эту встречу! Постепенно успокаиваюсь: сквозь усталость все настойчивее прорывается оживление. Симонову интересен этот не очень-то понятный ему человек. Трудный для самого себя, очень противоречивый, в чем-то даже изломанный. Постановщик нескольких фильмов о мучительных поисках революционной истины и такого «боевика», как «Последнее танго в Париже». Коммунист из аристократов. Художник, пробующий совместить свою новую веру с увлечениями и пристрастиями, которые тянутся из дня вчерашнего.

Разговор зашел о принципиально новом для Бертолуччи фильме «Двадцатый век», эпической ленте, показывающей год за годом, десятилетие за десятилетием отношения крестьянина и барина, развитие освободительного движения в итальянской провинции Эмилия-Романа.

Бертолуччи рассказывал, как он искал подробности, чтобы точнее передать своеобразие крестьянской жизни и людей провинции Эмилия-Романа, где традиции национальной культуры, национального быта оказались особенно устойчивыми.

Откликаясь на рассказ Бертолуччи, Симонов вспомнил о своей работе с Алексеем Германом над фильмом «20 дней без войны». По каким-то вопросам молодой режиссер не соглашался с автором сценария. Спорили. Спорили много. Но в главном были согласны, и это помогало «дуть в одну дуду»: тыл надо было показать как «вторую войну» — со своей Москвой и своим Сталинградом, с неимоверным напряжением человеческих сил, с недоеданием и недосыпанием, со всеми трудностями жизни. Для такого изображения «второй войны» нужна была величайшая конкретность экранного образа жиз-

ни: подробности быта должны были участвовать в экранном действии, чтобы помочь зрителю по-настоящему почувствовать, увидеть, ощутить подвиг тыла. И Симонов уже в сценарии стремился заложить стиль будущего фильма, не опасаясь того, что некоторые критики будут говорить о приземлении и «обытовлении». Алексей Герман вел режиссерские поиски в том же направлении, он искал и находил все новые детали, новые подробности, и это было по душе автору сценария.

Говорили о многом другом. Но запомнилось: Бертолуччи и младшая дочь Симоновых Саня сидят на полу в кабинете, Симонов рядом на корточках, Бертолуччи и Симонов увлеченно рассказывают друг другу о своей работе над недавно вышедшими фильмами.

* * *

Как-то в мае 1978 года мы вместе с Константином Михайловичем смотрели программу «Время». На экране телевизора появился знакомый нам обоим литератор. Он говорил о празднике Победы, легко нанизывая одну на другую округлые фразы, составленные из привычных словосочетаний. Говорил вполне безлико. Общие слова не наполнялись живым чувством.

Симонов разъярился. Выключив телевизор, Константин Михайлович с горечью заговорил о потерях в духовной и нравственной жизни, какие мы несем из-за таких речей: живое чувство убивается многословием, высокие слова стираются от частого употребления, размышления подменяются риторикой.

— Это просто нехорошо, безнравственно вот так говорить о войне — словно бы чужие шпаргалки читать хорошо поставленным голосом, — заключил он.

Сам Симонов часто возвращался мыслью к войне — и не только за писательским столом, но и просто в домашних разговорах или на отдыхе, на лечении, как в данном случае. Никогда не впадал в романтический пафос, громких слов не произносил, но по тому, как серьезно и дотошно обсуждал он вполне практические вещи, будь то уточнение тех или иных фактов истории, розыски пропавших без вести или возведение надгробий на могилах воинов, видно было, как свято берег он в душе все, что связано с войной. Во всем чувствовалось его поистине выстраданное отношение к народной беде и народному подвигу: нельзя, чтобы какое-то слово, не обеспеченное делом, или отступление от правды, даже самое малое, умаляли беду и подвиг народа, оскорбляли его нравственное чувство.

И в Госкино, и в Союзе кинематографистов Константин

Михайлович с тревогой говорил об «уходящей натуре», о том, что грех будет, непоправимый и непростительный грех, если мы не запишем на пленку рассказы полководцев, других участников войны, включая рядовых солдат.

Он добился своего: работа началась. Но шла она медленно. Мешала, как это часто бывает, нерешенность некоторых кажущихся мелкими, а на самом-то деле непростых производственных и финансовых вопросов: киностудии получают деньги на съемки тех фильмов, которые выйдут на экран, окупят себя в прокате и даже прибыль принесут. Тут же нужно было выделять пленку и ассигнования на фильмы, вернее — киноматериалы, снимаемые впрок, без быстрого возврата, а то и без всякого возврата затраченных средств.

Симонов был настойчив. Для того чтобы расширить фронт работ и их материально-производственную базу, он в сентябре 1969 года обращается с письмом к председателю Гостелерадио. «...Представим себе на минуту, — писал Симонов, — что через 20 или 30 или через 100 лет на уроке истории, посвященном Великой Отечественной войне, со школьного киноэкрана или с экрана школьного телевизора уже не учитель, а маршал Жуков в течение сорока минут расскажет школьникам о битве под Москвой или о битве под Сталинградом. Ведь этому цены не будет...»

...Прошло более четырех лет, как Симонова не стало. Горечь прощания осталась в том, 1979-м. Но живет не ослабевшее, а обострившееся ощущение его отсутствия. В литературе. В кино. Просто в твоей жизни.

«Спешите делать добрые дела». Эта стихотворная строка принадлежит Александру Яшину. Я думаю, что смысл этих, не Симоновым написанных, слов был движущей силой его жизни в последние ее десятилетия.

Спешите делать добрые дела — для одного человека, одной книги, для памяти ушедших и благополучия живых. Во имя этого Константин Михайлович Симонов так напряженно жил.



К. Симонов с Пабло Нерудой (в центре) и Мигелем Астуриасом. Балатон. Венгрия. 1965 г. (Надписи на фото сделаны П. Нерудой)

Жоржи АМАДУ

СЕРДЦЕ, БЬЮЩЕЕСЯ В РИТМЕ ВРЕМЕНИ

Я познакомился с Константином Симоновым в 1948 г., в мой первый приезд в Советский Союз. Я уже знал и ценил его творчество, так как во времена Эстадо Ново, возглавлявшего Бразилию в течение 8 лет, издательства сумели усыпить бдительность цензуры и опубликовали несколько советских книг, в том числе первые тома «Тихого Дона» Шолохова, «Падение Парижа» Эренбурга, «Дни и ночи» Симонова. Эти немногочисленные книги имели в то время большое значение — они помогали нашему народу противостоять воздействию реакции.

Симонов создал героическую сагу советского народа, разгромившего гитлеровских захватчиков, его книги рисовали всю грандиозность борьбы между жизнью и смертью, между прошлым и будущим человечества. И когда мне представилась возможность лично познакомиться с Симоновым, я приветствовал его с энтузиазмом и радостью читателя и поклонника.

Мы быстро подружились, так как нас объединяла общая



цель, ради которой мы жили: борьба за мир, против «холодной войны». Наряду со своей литературной работой Симонов принимал активное участие в международном движении за мир и у себя на родине, и за пределами Советского Союза.

Тема войны — в центре литературного творчества Симонова, ей он посвятил несколько томов, производящих неизгладимое впечатление, особенно роман «Живые и мертвые». Тема войны отражена и в его поэзии — кто не знает его прекрасных стихов, кто не помнит его знаменитых строк: «Жди, когда наводят грусть желтые дожди»? Его пламенную поэзию характеризует широкий лирический диапазон, в ней воплотилась его любовь к жизни.

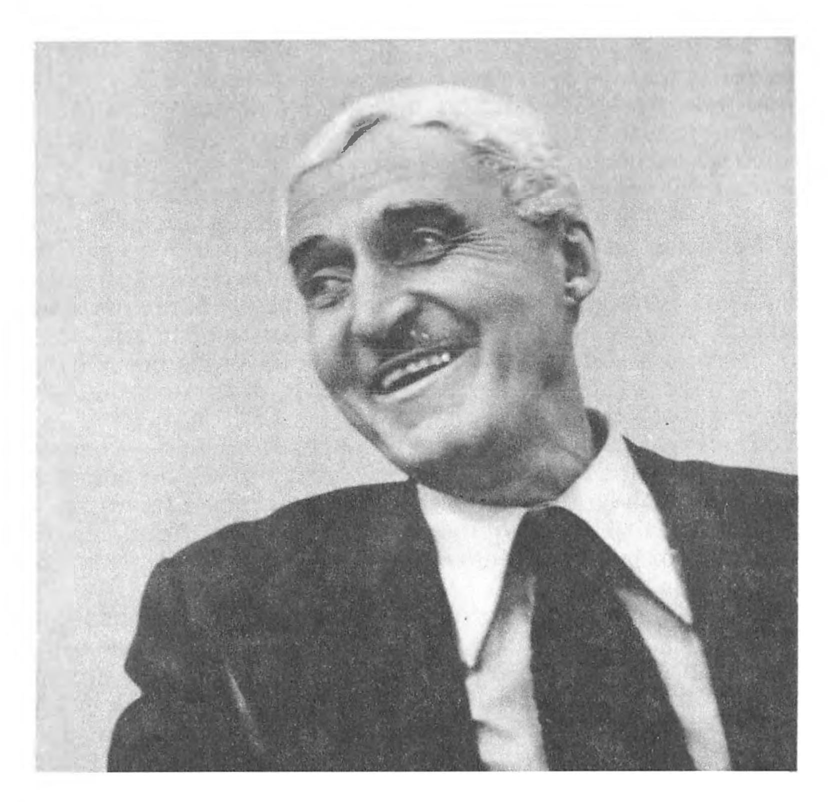
Как близкий друг Симонова, я неоднократно бывал в его доме. Вспоминаются два ужина: один зимой 1953 г., на котором присутствовал Всеволод Пудовкин, и другой, в 1954 г., с Пабло Нерудой. Мы оживленно спорили о поэзии, о романах, о кино и живописи, порой высказывали противоположные идеи, но всегда относились друг к другу с сердечным теплом. Я встречал его и в путешествиях по миру: в Париже, в Праге, в Варшаве, в Улан-Баторе. Последний раз я видел его в Ницце. Мы были членами жюри по присуждению интернациональной литературной премии в рамках Фестиваля книги в Ницце. В перерывах между заседаниями мы бродили по городу, заглядывали в ресторанчики, маленькие кафе, обсуждали политические и литературные новости, смеялись над человеческой глупостью.

Посвятив свое творчество конкретной цели — служению народу и человечеству — и постоянно борясь за достижение этой цели, он не терял способности смеяться и мечтать.

В Ницце мы договорились встретиться в Португалии, где народ праздновал падение сорокалетнего фашистского режима Салазара.

Но больше мы не встретились. Он уехал из Лиссабона на 2 — 3 дня раньше того, как я, проездом в Бразилию, разыскивал его там. Мне очень жаль, что я не видел его среди только что освобожденного португальского народа, в атмосфере, которую он любил и так умел описывать.

Писатель огромного трудолюбия, автор незабываемых книг, человек, влюбленный в жизнь, сердце, бьющееся в ритме нашего драматического времени, сердце непокорное и страдающее, — таким я сохраню его образ.



Середина 70-х годов.

Пааво РИНТАЛА

ОБЯЗЫВАЮЩЕЕ НАСЛЕДИЕ

Люди пожилого возраста в силу своего жизненного опыта обычно привыкают к мысли, что каждая встреча с другом и знакомым может оказаться последней. Но когда это касается тебя лично, никакой жизненный опыт не помогает: бренность человеческой жизни больно пронизывает тебя, в душе пустота. Еще один ушел из наших рядов. Имею в виду ряды сторонников мира, ряды тех, кто закладывал основы взаимопонимания и сотрудничества литераторов Финляндии и Советского Союза. И слова Джона Доннена: «Смерть каждого человека уменьшает меня, ибо я часть человечества», — слова, избранные Хемингуэем эпиграфом к роману «По ком звонит колокол», — точно определяют мои чувства, с какими я воспринял неожиданную кончину Константина Симонова.

Мне довелось участвовать во многих международных литературных форумах. Но самую светлую, самую глубокую память оставила Московская встреча писателей в октябре 1975 года. Председателем на этом конгрессе был Константин Симонов.

Синий джинсовый костюм, свитер, прямая трубка, источающая аромат даже без табака в чубуке, побелевшие волосы, лицо — и лукаво усмехающееся, и внимательно слушающее.

Таким я вижу Константина Симонова, таким он будет в моей памяти до конца. Что-то вечно молодое было в нем. Та духовная и физическая молодость, что считались главными ценностями в эпоху эллинизма. Провидение — мы, люди, за неимением более точного выражения, привыкли называть его Судьбой — не дало Константину Симонову состариться. В памяти нашей он остался человеком зрелого среднего возраста, но духовно молодым — «эллином», каким был до последних своих дней.

Не знаю ни одного писателя, кто так много знал бы о войне, как Константин Симонов. Он интересовался ее сущностью не только как художник, но и как исследователь, в силу своей любознательности. В 1976 году на финском языке увидели свет его дневники 1945 года «Незадолго до тишины» в великолепном переводе Эсы Андриана. Они, как и эпические симоновские романы «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются» (к сожалению, их финский перевод не дает полной картины искусства прозы Константина Симонова), внесли в мировую литературу образ советского человека, защитника Отчизны, изгнавшего с родной земли агрессора. У Симонова это советский человек — от представителей Верховного командования до рядового солдата, «главного труженика войны — пехотинца».

Выступления Симонова далеки от привычной, часто повторяющейся, как заклинание, риторики, в тиски которой легко попадают хорошие люди, с добрыми намерениями, лишь только они оказываются за общим столом какого-либо конгресса в защиту мира. Мало кто из нас, представителей движения борьбы за мир, в этом плане безгрешен. Я думаю, что Константин Симонов — и как писатель, и как общественный деятель — как раз один из таких «безгрешных». Его творчество антивоенно по самой сути, а не только в семантическом значении этого слова. Все риторическое было ему абсолютно чуждо.

Слово Симонова — военного корреспондента — принадлежит и движению за мир. Это обязывающее наследие. Это наследие, сохранение традиций которого предполагает терпимость и душевную любознательность, бдительность и непримиримость к любому проявлению человеконенавистничества.

Одна из великих задач всемирного движения за мир —

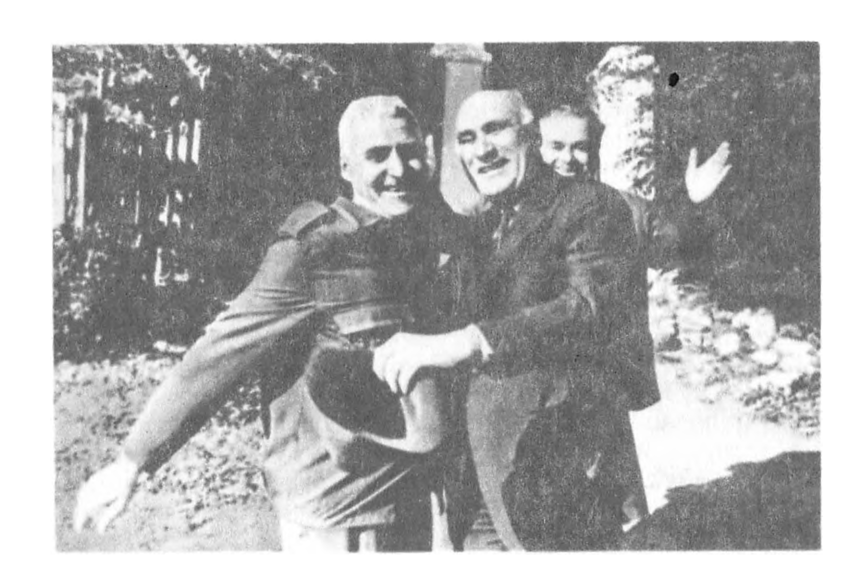
стремиться к тому, чтобы «чужое горе» ощущали как свое все более широкие народные массы на востоке и западе, на севере и юге.

Это требует от нас той самой этической способности сопереживания, что мы привыкли связывать с традициями гуманизма Толстого, Чехова, Горького.

История продолжает свой ход. Технический прогресс последних десятилетий придал нашим основным проблемам глобальный характер. В сознании современного человека это развитие имеет и другое значение. Яснее, чем вчера, мы видим, что компаньоном у Фауста был Мефистофель. И столь же страстно, как и ранее, человечество хочет определить, что́ это за «счастье» такое, которого он добивается с помощью столь трудного развития — гонки вооружений.

Вторая часть «Фауста» — та, которую выпустил из рук старый господин тайный советник из Веймара, уже завершилась, а третья часть, которая еще не написана, началась. И чтобы мы наполнили эту ненаписанную часть содержанием — своей жизнью как литераторы, как рядовые граждане, как борцы за мир, — для практического использования и для учебы нам необходима деятельность Константина Симонова как писателя и активного борца за мир. Его жизненный труд призывает нас верить в то, что люди все-таки в достаточной мере сдержанные и разумные существа; в то, что жизнь рождают, жизнь поддерживают, обогащают такие факторы, как дружелюбие, просто обычная добрая воля, естественная готовность помочь, мирное сотрудничество и старание, — факторы простые и ясные. Этому простому и ясному надо уделить все внимание. Это придаст хранителю традиций свет и силу, это наполнит преходящую, краткую жизнь человека чувством вечной ценности.

Вот о чем я думаю, с благодарностью вспоминая Константина Симонова.



К. Симонов и И. Абашидзе. 60-е годы.

Ираклий АБАШИДЗЕ

НЕСКОЛЬКО КОММЕНТАРИЕВ К ПОВЕСТИ

«Двадцать дней без войны»

Из четырех десятилетий дружбы и многочисленных встреч с Константином Михайловичем в этом небольшом очерке припомню лишь один далекий вечер...

Я был старше его ровно на шесть лет. Говорю: ровно на шесть лет, потому что оба мы родились в ноябре. И познакомились тоже в ноябре, когда он был двадцатитрехлетним юношей. И раз уж я обратился к этим сакральным датам, то и воспоминания свои пишу тоже в ноябре... Да, дождливый тбилисский ноябрьский день заставил меня написать эти строки, когда его не стало среди нас.

В том ноябре, за несколько лет до Великой Отечественной, в ялтинском Доме творчества писателей подобралось впрямь большое общество. Здесь отдыхали и работали Федор Гладков, Константин Паустовский, Максим Рыльский, Александр Малышкин, Лев Никулин, Владимир Луговской, Владимир Ермилов, Натан Рыбак и еще несколько писателей из разных уголков Советского Союза. На несколько дней приехал и Александр Фадеев.

Все они были старше меня, и на первых порах я чувствовал себя среди них несколько стесненно. Однако, как это всегда бывает на отдыхе, а тем более в писательском Доме творчества, период взаимного знакомства оказался, конечно, кратковременным, и вскоре я почувствовал себя полноправным членом коллектива. Особенно сблизились мы с Владимиром Луговским, Александром Малышкиным и Максимом Рыльским, нередко мы хаживали вечерами в стоявший на самом берегу «Лунный ресторанчик», как его тогда окрестили.

Вскоре среди обитателей дома оказался человек моложе меня. Это был Константин Симонов. Я тогда еще не знал стихов этого молодого поэта, хотя он писал уже третью свою поэму, «Суворов», — так величаво просто названо это эпическое полотно, — и я, помню, немало дивился смелости автора, который и предыдущую свою поэму озаглавил предельно просто: «Ледовое побоище». В его душе еще не остыли ее строки, и он нередко увлеченно читал мне эпизоды и сцены из обеих поэм попеременно.

Но нередко бывало и так, что мы не видели его целыми днями, так он был поглощен работой. Даже еду из столовой ему носили в комнату «сухим пайком».

В тот год Константин Симонов только окончил Литературный институт имени Горького, и по нему можно судить, какое большое внимание уделяло руководство института военно-патриотической теме при воспитании молодых литераторов. В ту пору, как пели, — «в воздухе пахло грозой», пороховой дым носился в атмосфере.

Мы сблизились и сдружились быстро и легко, как будто съели вместе не один пуд соли. Знакомство свое скрепили клятвой в вечной дружбе, в ознаменование чего снялись вместе у пляжного фотографа. В то время, оба безмерно увлеченные поэзией Блока, прогуливаясь по набережной, наперебой читали вслух:

И вечный бой! Покой нам только снится...

Это тоже было военно-патриотическим воспитанием!

И грянул бой. Началась Великая Отечественная война. Я читал его корреспонденции, и порой мелькала у меня тогда мысль о его чрезмерной юношеской безоглядной отваге, нередко приводившей его к опасному риску, к таким ситуациям, о которых герой его повести «Двадцать дней без войны» Лопатин позже скажет: «Уже не выберешься и не увидишь с того света, как все будет дальше». Как часто мечтал я тогда вновь повидаться с ним!

Начиная с 1939 года и впоследствии, в военную пору, я возглавлял Союз писателей Грузии. Начиная с 1942 года многих писателей стали посылать на разные участки фронта

Великой Отечественной, и, понятно, меня большей частью не бывало дома.

...Однако, зимним вечером в начале 1943 года, когда Симонов приехал в Тбилиси, я как раз оказался здесь.

* * *

Это свое небольшое воспоминание я назвал «Несколько комментариев к повести «Двадцать дней без войны».

Первый — связан с приездом главного героя повести Лопатина в Тбилиси.

«Вечер был холодный и ветреный. Затемненный Тбилиси казался непохожим на себя, но Лопатин, уже шесть лет не приезжавший сюда, раньше и бывал, и жил здесь по неделям; несмотря на затемнение, знал, куда надо идти, чтобы добраться до улицы Вардисубани, до того знакомого дома, о котором подумал еще в самолете, когда подлетал к Тбилиси».

«Вардисубани» — это поэтическое название улицы. Оно всегда очень нравилось автору повести, особенно когда я объяснил ему, что в переводе это означает «место роз».

На следующей странице читаем:

«Лопатин несколько лет не видел Виссариона, только прошлой осенью увидел его стихи, напечатанные в «Известиях», и порадовался, как они хорошо были переведены на русский. Если Виссарион сейчас в Тбилиси и дома, он будет рад. И его жена, Тамара, будет рада. В этом Лопатин не сомневался. Только дома ли он? А может быть, в армии? Стихи в «Известиях» были посвящены бросившемуся с гранатами под танк и погибшему лейтенанту-грузину, и под ними стояло: «Действующая армия», может быть, он и сейчас там?..»

Но когда осенью 1942 года искушенный во многих сражениях фашистский вояка фельдмаршал Клейст со своей танковой армией стал особенно настойчиво наседать на Кавказ, Дарьяльские ворота, когда Закавказью стала угрожать реальная опасность, когда действовавшие там грузинские части отступили к Марухскому перевалу, по приказу командования вместе с поэтом Симоном Чиковани и Алио Мирцхулава мы были отправлены через Дарьял в тыл, на родину. Именно поэтому мы и не разминулись с ним в тот раз.

Константин Михайлович удивительно возмужал. Его своеобразное, серьезное по природе и все же немного детское лицо и застенчивые движения куда-то исчезли. Он показался мне особенно значительным и красивым. Передо мной стоял настоящий русский офицер — с хорошей выправкой, спокойный, уверенный в себе военный, в начищенных до блеска сапогах, с пистолетом на поясе, перекинутым через плечо толстым большим планшетом с карандашами и, помнится, компасом. На сильно загоревшем, слегка шелушившемся

лице поблескивали белые здоровые зубы. Офицерская шапка была надета немного набок. Он направлялся из Средней Азии. Правду говоря, мне он очень понравился в военной форме, о чем я ему сразу же сказал. Казалось, в этой форме он чувствовал себя лучше, чем в гражданской одежде.

Я рассказал ему, как незавидно выглядели мы, грузинские писатели, когда год назад впервые облачились в военную форму. Я и Симон Чиковани, служившие прежде в армии, выглядели еще ничего, но Георгий Леонидзе казался особенно смешным. Нас направляли в действующую армию время от времени, а Константин Михайлович был постоянным корреспондентом военной газеты и все время находился на фронте. После войны я первое время никак не мог привыкнуть к гражданской одежде на нем.

Что же касается стихотворения о погибшем лейтенанте-грузине («Капитан Бухаидзе»), под ним действительно стояла подпись: «Действующая армия» (но напечатано оно было в «Правде», а не в «Известиях»). Его великолепно перевела ныне покойная поэтесса Вера Звягинцева. Константину Михайловичу, помню, перевод очень понравился. О самом же стихотворении он тогда говорил:

— Противостоящий клейстовским танкам герой-грузин напоминает мне панфиловцев, сложивших голову под Москвой, чтобы спасти от врага родную столицу.

Далее автор рассказывает:

«Виссарион самую чуточку заикался, когда он говорил по-грузински, Лопатин не замечал этого, а когда по-русски, — замечал.

— Привет тебе из Москвы от Бориса, от Гурского, — сказал Лопатин, вспомнив, как Гурский перед отъездом из Москвы просил: «Чем черт не шутит, если встретишь в Тбилиси эту сванскую башню, которая называется В-виссарион, п-поклонись ему от меня и п-проверь, не догнал ли он м-меня за эти годы по з-заиканью».

В военные годы меня и впрямь одолел этот недуг. Константину Михайловичу это доставляло немало веселых минут. Он от души хохотал, даже в сотый раз слушая мою историю о том, как, не в силах выговорить звук «б», я вынужден был вместо булки купить черный хлеб.

По словам Лопатина, Виссарион и на самом деле был чем-то похож на сванские башни. «Его высокая фигура была сложена с какой-то особенной каменной прочностью. Большие ноги, большие руки, широкие плечи, большая голова на крепкой, сильной шее. Таким он был шесть лет назад, таким остался и сейчас. Только немного полысел, и, должно быть, недавно, потому что одной рукой все поглаживал голову, поправляя редкие волосы, прикрывавшие лысину, — наверное, еще не привык к ней...»

Разумеется, в повести много авторской, симоновской, беллетризации. В том числе и то, что у Виссариона в те годы есть не только семья, но и взрослые сыновья на фронте, и что он работал тогда в Комитете по делам искусств, а не в Союзе писателей.

...«Виссарион вздохнул так, что Лопатин невольно улыбнулся.

В былые годы Виссарион не очень-то любил служить, говорил, что служба не дает ему писать стихи; почему-то они приходят в голову по утрам, когда надо идти на службу».

В тот вечер заходил к Виссариону на огонек еще один персонаж — Михаил Тариэлович, с которым Лопатину доводилось встречаться в этой семье и прежде. Лопатин, как только Виссарион упомянул имя Михаила Тариэловича, сразу вспомнил его:

«Он был инженер-путеец, служил на Закавказской железной дороге, дружил с писателями и сам немножко писал стихи, и даже хорошие, как утверждал любивший хвалить своих друзей Виссарион.

Тогда, в тридцать шестом году, этот человек был самым старшим за столом... Он почти не изменился, и раньше был таким худым, что, казалось, не мог похудеть еще больше.

Он был одет тщательно, как человек, собравшийся в гости, в старый отутюженный костюм и белую рубашку с крахмальным воротничком и черным шелковым галстуком. У него была белая, серебряная голова и казавшееся темным от соседства этой белизны худое, тонкое лицо. И Лопатин вспомнил, как много и красиво пил когда-то здесь, за этим столом, этот немногословный, немолодой человек со строгим лицом грузинского святого...»

Если на минуту отвлечься от авторской беллетризации и исключить то, что Михаил («Миша») по профессии был железнодорожным инженером, то во всем остальном нарисованный здесь персонаж весьма напоминает известного грузинского писателя Александра Кутатели. В ночь, когда Константин Симонов приехал в Тбилиси, у меня в гостях действительно был Александр Кутатели.

В тот вечер обо всяких ужасах войны я говорил больше, чем мой гость. Виденное на Крымском фронте и на Северном Кавказе все еще владело моим сознанием, а для Константина Михайловича, прошедшего тысячи километров фронтового ада, все это было уже давно знакомо. И без того скупой на слова, он говорил меньше меня. Присутствовавшие, разумеется, замечали это, но они не решались прервать меня — хозяина дома, хоть я, судя по всему, и потерял чувство меры. Правда, однажды кто-то все же набрался смелости и обратился к гостю с просьбой, чтобы он, видевший и слышавший

гораздо больше, рассказал что-нибудь. Он почти резко ответил просившему: «Простите, но у меня нет никакого желания!»

Я знал, конечно, что Константин Михайлович был в Крыму в самое страшное время. Но нам с ним не довелось встретиться в том кромешном аду. Из русских писателей я виделся там с Ильей Сельвинским. Я побывал в Крыму еще до майской трагедии, в февральские дни 1942 года, когда в связи с очередной годовщиной Красной Армии началось наше наступление, которое, к сожалению, не увенчалось успехом. Я видел своих земляков, плечом к плечу с воинами — азербайджанцами, армянами, русскими и украинцами — сражавшихся у каменоломен Ак-Моная и на Джанторском направлении. Так что и я тогда уже был достаточно обстрелянным писателем.

Особо интересовало Константина Михайловича, в каком положении могла оказаться Грузия, если бы осенью 1942 года фашистская армия смогла взломать ворота Дарьяльского ущелья и ворваться в Закавказье...

«Лопатин объяснил, что завтра утром едет через Крестовый перевал, догонять наступающую армию.

— Да, слава богу, наступаем, — сказал Виссарион. — Когда немцы осенью оказались на Эльбрусе, я каждый раз с ума сходил, когда думал об этом. Они уже на Кавказском хребте, а сзади у нас не Волга и не Урал, а Турция! Иногда казалось, что стоишь в каком-то коридоре между двух стенок и упираешься в них руками, и если одну руку отпустишь, все на тебя упадет...»

Опасность вражеского вторжения была реальной угрозой. Это особенно остро чувствовала группа грузинских писателей, своими глазами видевшая бои на Северном Кавказе, у Моздока, Прохладной, в Чегемском ущелье...

Помню, как удивился Константин Михайлович, узнав от меня о том, что у нас никаких реальных планов на случай прорыва немецких войск нет. Куда же, на самом деле, могли мы податься? «Сзади Турция».

«— Где же мы в таком случае встретились бы? — спросил Лопатин.

— Не знаю, скорее всего в горах Хевсуретии, Сванетии, в лесах Коджори или Кахетии, — ответил я. — Сам знаешь из истории, что у грузин большой опыт народной войны. Видимо, именно поэтому распорядилось командование фронта о возвращении группы писателей с Северного Кавказа в тыл, в Грузию».

Несмотря на то что многие из нас ясно видели опасность угрозы, которая летом и осенью 1942 года нависла над Грузией, мы все же не могли представить всех масштабов трагедии, способной произойти в случае неудачи в действительности.

Сегодня это можно увидеть, перечитывая материалы Нюрнбергского процесса и иные свидетельства минувшей войны с фашизмом.

Затем автор подробно описывает тогдашнее застолье.

«— Ты пил у меня это вино, — последним садясь за стол, сказал Виссарион...

...Он вел стол, как всегда; вел так, как привык, не спеша и не медля, с той отличавшей его внутренней искренностью, которая хотя и приобретала оттенок некоторой преувеличенности в выражении чувств, но где-то в глубине все равно оставалась правдой. Эта правда, сказанная стоя, со стаканом в руке, по закону стола приобретала как бы особую, условно приподнятую форму. Но внутри нее продолжало сохраняться то чувство меры, без которой похвальное слово, поочередно обращенное ко всем сидящим за столом, превращается в бессмыслицу и вздор, и о них потом не хочется вспоминать».

Но в конце концов беседа все же вернулась в привычное русло — к литературе, поэзии.

«— Хотите, я прочту вам стихи? — спросил Лопатин».

И Виссарион с удовольствием согласился.

«— Я люблю, когда ты читаешь стихи...»

В вечер, описанный в повести «Двадцать дней без войны», Лопатин читал в доме Виссариона два стихотворения: «Синий цвет» Николоза Бараташвили в переводе Бориса Пастернака и отрывок из только что написанной тогда поэмы Павла Антокольского «Сын».

«— Бедный Павел, — сказал Виссарион, — значит, правда, что его сын погиб. Я сразу понял, когда ты начал читать... Сколько ему было лет?

— Восемнадцать, — ответил Лопатин».

Я слышал о трагедии, обрушившейся на семью Антокольского, еще в январе прошлого года, в 1942-м, когда вместе с Георгием Леонидзе и Алио Мирцхулава ездил в Москву, на Чрезвычайный пленум Правления Союза писателей СССР.

Но, сколько я помню, в тот вечер Константин Михайлович прочел нам свое знаменитое «Жди меня», которое тогда было у всех на устах, и только что написанную, не опубликованную еще «Хозяйку дома».

Долгое время спустя в Индии, на поэтическом состязании — мушаире — в Дели, индийские поэты попросили его прочесть во время выступления именно «Жди меня», и он прочел, прочел его с огнем, где-то глубоко затаенным в сердце.

«Хозяйка дома» — тоже одно из лучших стихотворений русской поэзии военных лет.

Подписан будет мир, и вдруг к тебе домой
К двенадцати часам, шумя, смеясь, пророча,
Как в дни войны, придет слуга покорный твой
И все его друзья, кто будет жив к той ночи.

С того незабываемого вечера я особой любовью полюбил это стихотворение. И до самого последнего времени, до последних лет жизни, всегда и всюду, где бы мы ни встречались, он по моей просьбе и только для меня читал:

Подписан будет мир...

Только для меня...

Однажды, в начале пятидесятых годов, на своей московской квартире он читал мне свои новые стихи и, спросив мое мнение, с некоторой даже обидой сказал:

— Нет, ты ничего не можешь слушать, кроме «Хозяйки дома»!

— Вовсе нет, — ответил я тогда, обняв его, — просто «Хозяйка» напоминает так о многом...

Он больше любил беседовать о творчестве других, читать чужие стихи, а не выслушивать комплименты в свой адрес. Да, мы, писатели, честно говоря, любим говорить о своих книгах, своих произведениях, любим даже похвалить себя. Константин Михайлович жил общими интересами советской литературы.

Помню, в 60-х годах, во время прений на заседании руководящего органа объединения европейских писателей КОМЭС в Риме, представитель Англии, забыв о всякой корректности, нелестно отозвался о советской поэзии. Выступить с ответным словом от имени нашей делегации, в которую входили А. Сурков, А. Твардовский, К. Симонов и я, вызвался Константин Михайлович. Нужно было слышать, как искусно представил он нашу поэзию вообще и творчество членов нашей делегации, А. Твардовского и А. Суркова, в частности. Заслуги писателей, поэтов в Великой Отечественной войне, в деле разгрома фашизма, выделил особо. Представитель Англии вынужден был взять слово вновь и воздать должное авторам «Василия Теркина», «Жди меня», «Землянки» — всей советской поэзии.

* * *

Прочитал он «Хозяйку дома» в тот вечер по-своему — просто и естественно, а у нас на глазах стояли слезы, и ком в горле мешал высказаться словами похвалы и одобрения. И сам автор был очень взволнован, читая:

И одного из бывших прошлый раз
С мужской ворчливой скорбью вспоминают...

Стрелка часов подходила к двенадцати, неотвратимо приближался час расставанья, час возвращения на фронт, и казалось, снизу, с улицы, впрямь «трубили военные машины»: «Пора! Пора!»

В ту ночь кончилось вино у Виссариона.

«— А это самое последнее вино, — разливая его по стаканам, сказал он, — выпьем в память тех, кого нет, — сказал это по-русски и, опустив голову, повторил по-грузински и выпил стакан, оставив на дне несколько капель. Отломил кусок лепешки, вылил на него эти несколько капель и съел, стоя за столом, все так же опустив голову и ни на кого не глядя.

Несколько мгновений все молча стояли над столом. Лопатин знал этот грузинский обычай — вот так пить за ушедших, смочив хлеб несколькими каплями вина».

И я сейчас повторяю:

— В память тех, кого нет с нами...



На Дальнем Востоке. 60-е годы.





Камчатка. 1967 г.



На Чукотке у пограничников. Первый внизу справа Ю. Рытхеу. 1967 г.



На XXIV съезде КПСС. Москва. Дворец съездов. 1971 г.



Фронт. 1941 г.

И. БАГРАМЯН

ОДНА БЕСЕДА

С Константином Михайловичем Симоновым нам не довелось встречаться на дорогах войны, в послевоенные же годы мы общались довольно часто на различного рода собраниях, иногда в семье моего боевого друга — генерала армии Алексея Семеновича Жадова, которому К. М. Симонов приходился зятем...

Незабываемы для меня последние встречи с ним, когда мы оба лежали в больнице. Я тяжело болел, и он очень поддерживал меня. К глубочайшему сожалению, его собственные недуги оказались неизлечимыми.

При всех этих встречах было немало содержательных, а порой и острых бесед. Все я, конечно, не запомнил, но одна — за хлебосольным столом супругов Жадовых — крепко запала мне в память.

Константин Михайлович тогда посетовал, что журналистская судьба не привела его ни на Юго-Западное направление в 1941—1942 гг., ни в 16-ю (11-ю Гвардейскую) армию в 1942—1943 гг., ни на 1-й Прибалтийский фронт в 1944—1945 годах[1]. Я ответил:

---

[1] От редакции: И. Х. Баграмян последовательно являлся начальником штаба Юго-Западного фронта, командующим 16-й (11-й Гвардейской) армией и войсками 1-го Прибалтийского фронта.

— Вы, Константин Михайлович, не встречались со мной, а я с вами встречался.

— Как это? — с недоумением спросил Симонов.

— Да очень просто... Читая ваши произведения. Например, «Жди меня»... Я тогда понял, что встретился с человеком близким, родным по духу и воинской совести, который мыслит и чувствует как я, но умеет ярко выразить общие, священные для советского солдата чувства... Не скрою, — продолжал я, — в моей семье тоже получили вырезку из газеты с этими прочувствованными строками, как и в тысячах других советских семей. Помню я стихотворение, адресованное Алексею Александровичу Суркову, — «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», ибо точно такие же чувства пережил я при выходе из окружения из-под Киева к реке Сенче и к городу Гадячу. В этом замечательном лирическом повествовании, столь кратком по количеству строк и столь емком по силе чувств и мыслей, говорилось о России, о русских женщинах, но я, армянин, отступавший по украинской земле, пережил совершенно те же чувства. Это еще лишний раз подтверждает ту простую и глубокую мысль, что истинно национальное одновременно и интернационально. Встречами с вами было для меня и чтение других ваших стихов, романов, пьес, очерков...

— Ну, если так судить о фронтовых встречах, то и я встречался с командующим 11-й Гвардейской армией и войсками 1-го Прибалтийского фронта всякий раз, когда в их честь гремели салюты в Москве, а это было не так уж редко... Кстати, — продолжал Константин Михайлович, — вы похвалили стихи «Жди меня», а вот известный английский журналист и историк Александр Верт, вообще-то с большой симпатией относящийся к нашей стране и писавший о Великой Отечественной войне, сказал как-то, что у этих стихов иррациональный, почти религиозный подтекст.

— Ну это, наверное, оттого, что ему, видимо, не приходилось быть солдатом... На мой взгляд, в строках «Жди меня» не иррациональный смысл, а проповедь моральной чистоты, утверждение нравственного целомудрия, которые и придают воину силу духа, способность смело глядеть в глаза смерти.

Константин Михайлович пожал мне руку и сказал:

— В ваших словах, пожалуй, заключена самая высокая оценка этого моего, признаюсь, любимого детища.

Я, помнится, тогда сказал также Симонову, что меня поражают глубина и правдивость в раскрытии им образов командиров, военачальников.

— Вы, как мне представляется, обнажили самую суть, психологический стержень их поведения на войне. После прочтения страниц «Живых и мертвых», посвященных Серпилину, напрашивается вывод, что настоящий военачальник — это

солдат и мыслитель одновременно. Острота, молниеносность реакции командира на изменение обстановки в ходе сражения, солдатская храбрость, выдержка, стойкость — это и есть важнейшие факторы боевого успеха... И все это должно быть помножено на коммунистическую убежденность.

Эти слова явно пришлись по душе Константину Михайловичу...

— То, что мне, по вашим словам, сопутствовала удача в изображении военачальников, не только моя заслуга. Я внимательно прислушивался к их же советам.

— В одном случае, однако, — продолжал я разговор, становившийся все более интересным, — вы не отреагировали на довольно настойчивые пожелания военных и не изменили почти ничего в обрисовке командира дивизии, оборонявшей Могилев.

— Вы имеете в виду генерала Зайчикова? — живо откликнулся Константин Михайлович.

— Да, конечно. Ведь одна дивизия обороняла Могилев — 172-я, и ею командовал генерал Михаил Тимофеевич Романов, настоящий кадровый военачальник. Природа щедро одарила его и гибким острым умом, и человечностью, подлинной душевной теплотой, благородной внешностью, физической силой и, наконец, влечением к искусству... Он и пел прекрасным баритоном, и стихи читал с большой проникновенностью. А у вас Зайчиков толстый, крикливый, временами бестолковый и к тому же приверженец нецензурной брани.

— А разве не было таких командиров дивизий? — спросил Симонов.

— Встречались, но не часто, — вынужден был ответить я.

— А коли встречались, значит, у художника есть право показать их... К тому же Зайчиков у меня не однозначен. Вы помните, как достойно он ведет себя, будучи смертельно раненным?

— Да, это так, и все же всем ясно, что прототип Зайчикова — Михаил Тимофеевич Романов.

Константин Михайлович задумался на минуту, а затем сказал:

— Да, было много писем и телефонных звонков от участников обороны Могилева и Смоленского сражения в целом, в том числе от маршалов Конева и Еременко, а также от вдовы генерала Романова... Не скрою, я хотел поначалу переписать страницы, посвященные комдиву, и фамилию его изменить, но после долгих и нелегких размышлений делать этого не стал. Ведь у книги «Живые и мертвые» сотни тысяч читателей, а у фильма — миллионы зрителей. Они приняли это произведение, поверили в его правдивость, в искренность автора, и вот он вдруг начинает менять свои оценки, характеристики действующих лиц. Писатель — не фактограф, он руководству-

ется требованиями художественной правды, внутренней логикой своего повествования... Одним из главных героев моего романа являлся Серпилин. В его образ я вложил черты многих известных мне военачальников, в том числе и Михаила Тимофеевича Романова. Некоторые отрицательные черты Зайчикова в какой-то мере призваны оттенить безупречного во всех отношениях советского военачальника-коммуниста.

— Но ведь все же был какой-то элемент случайности в том, что командир могилевской дивизии получился таким.

— Бесспорно, был, — ответил Константин Михайлович. — Крикливый генерал, командир какой-то другой дивизии попался мне на пути в Могилев. Определенную роль сыграло и то, что в личное дело Михаила Тимофеевича Романова были ошибочно вшиты документы его однофамильца, который по странному стечению обстоятельств явился полным антиподом своего тезки. Но когда роман был написан, все его герои стали взаимодействовать уже по законам внутренней логики произведения... Мне хочется верить, что его содержание правдиво отражает реальную действительность. Поэтому нашивать заплаты на ткань повествования было бы с моей стороны крайне опрометчиво...

Именно после этой беседы Симонов стал близок мне не только как писатель, но и как человек... Я остро и отчетливо понял, сколь труден путь настоящего художника. Он, я бы сказал, сродни солдатскому, ибо требует недюжинной храбрости и мужества, веры в себя, в свою правоту. Писатель должен показать и современникам, и потомкам подлинную жизненную Правду, как бы очищенную от тех мелочей, которые мешают понять главное.



К. Симонов с Маршалом Советского Союза Г. Жуковым

М. ЗОТОВ

ТОЛЬКО ФАКТЫ

> ...Человек, который берется за воспоминания, обычно пишет их потому, что он любил и ценил того, о ком он пишет, и ему хочется сказать об ушедшем добрые, хорошие слова.
>
> *К. М. Симонов*

Да, я очень любил и продолжаю любить, очень ценил и ценю теперь, кажется, еще больше так рано ушедшего от нас Константина Михайловича Симонова. И, конечно, мне хочется сказать о нем много добрых и хороших слов. Но многословие, а тем более славословие были противны ему. Он считал немалой погрешностью, если «за добрыми словами не стоит того конкретного факта, случая, обстоятельства, на основании которого у автора воспоминаний родилась соответствующая оценка, соответствующее впечатление». Поэтому постараюсь быть повоздержаннее на слова о дорогом мне человеке, отдавая предпочтение пусть разрозненным, пусть даже случайным фактам из его жизни, наблюденным мною при различных обстоятельствах на протяжении почти сорока лет.

1

С Константином Михайловичем Симоновым судьба свела меня впервые в редакции «Красной звезды» в военные годы. Близостью к нему в то время я похвалиться не могу. Разными причинами обусловлено это. Самой, пожалуй, простой из них, хотя отнюдь не главной, была весьма ограниченная возможность общения. За все годы войны в стенах редакции мы встречались едва ли более четырех раз, да и то мельком, на ходу. А на фронте — и того реже. Кажется, однажды.

Симонов пришел в краснозвездовский коллектив уже с прочной репутацией талантливого молодого поэта и многообещающего драматурга. Да и журналистом он оказался блестящим. Перед ним сразу как-то сникли и поблекли довоенные «короли» и «премьеры» нашей микродержавы. Я не числился ни в «королях», ни в «премьерах» и, хотя относился к ним с подобающим уважением, влачиться в их свите не желал — стыдился этого. А потому и от Симонова старался держаться на определенной дистанции.

Сейчас, как ни стараюсь, не могу вспомнить, каким образом и почему еще в ходе войны попала в мои руки часть обширных дневниковых записей Константина Михайловича, страниц этак триста, перепечатанных на машинке. Маловероятно, чтобы Симонов сам дал их мне, как это случалось в более поздние времена; очевидно, тут не обошлось без чьего-то посредничества. По тогдашней своей наивности, если не употребить более резкого слова невежественности, я далеко не в полной мере оценил, какое это сокровище. На меня в гораздо большей степени произвели впечатление симоновское трудолюбие, его неутомимость. Это ж надо! Работая почти круглосуточно на потребу газеты, вести еще заготовки материала впрок...

Газета приучает нашего брата жить сиюминутными заботами. Вырваться из круга таких забот чрезвычайно трудно. Тем более когда идет война. Сегодня ты жив-здоров, а что станется с тобою завтра — никому не ведомо. Есть своя мудрость в расхожей солдатской шутке: если тебе дали на обед черпак супа с мясом, ешь сперва мясо, а то можешь и не успеть отведать, каково оно на вкус.

Симонов, насколько мне известно, не пренебрегал этим советом, когда ему доводилось обедать на передовой. Но в работе руководствовался иными установками. Тогда как мы, грешные, дорвавшись на короткий срок в Москву, в родную редакцию, и, конечно, сдав в очередной номер очередную свою корреспонденцию, со спокойной совестью отправлялись на боковую, он часами диктовал в ночной тиши редакционной стенографистке или машинистке то, что не годилось для газе-

ты, но по-своему волновало его и могло годиться на что-то в необозримо далеком будущем.

После этого неожиданного для меня открытия Симонов поднялся в моих глазах на еще большую высоту. И, кажется, тогда же, по горячему следу, состоялся мой первый обстоятельный разговор с Константином Михайловичем.

О чем? А как раз о его дневниках...

Не рискую задним числом воспроизводить здесь наш диалог, да в этом и нет нужды. Суть своих тогдашних суждений Симонов сам сформулировал в предисловии к двухтомнику «Разные дни войны»:

«Что касается писателей, то, по моему мнению, сразу же как кончится война, им нужно будет привести в порядок свои дневники. Что бы они ни писали во время войны и как бы их за это ни хвалили читатели, все равно на первый же день после окончания войны самым существенным, что они сделали на войне за войну, окажутся именно их дневники».

Утверждение это не бесспорно. Позже Константин Михайлович счел необходимым оговориться, что, возможно, он «преувеличивал» значение писательских дневников. Но такая оговорка последовала уже в семидесятые годы, а первый наш разговор на эту тему имел место, кажется, в конце 1943-го, перед откомандированием меня на 1-й Украинский фронт, где суждено было нам встретиться.

Это и была единственная моя встреча с К. М. Симоновым во фронтовой обстановке. Произошла она в городе Славута. Там в то время размещался штаб фронта, а в близком соседстве с ним были расквартированы и корреспонденты «Правды», «Известий», «Красной звезды», Совинформбюро, ТАСС. «Правду», помнится, представляли Михаил Брагин, Леонид Первомайский, Яков Макаренко, «Известия» — Виктор Полторацкий и Павел Трошкин, Совинформбюро — два Александра — Шабанов и Навозов. Самым же многочисленным было представительство «Красной звезды» — человек двенадцать, и среди них скромный капитан Андрей Платонович Платонов.

Однажды, уже перед вечером, когда почти все (что бывало не часто) корреспонденты «Красной звезды» собрались вместе и наш общий любимец Кафий Салхутдинов, охотно совмещавший обязанности шофера и повара, выставил на стол громадный чугунище с горячей отварной картошкой, распахнулась входная дверь, и на пороге, за плотной завесой синего табачного дыма, неожиданно возник улыбающийся бравый подполковник.

— Лихо воюете, — изрек он. — А в Москве-то считают, что вы неотлучно в войсках, на передовой.

— Костя! — сорвался с места Платонов. — Кафий, ложку гостю! — распорядился он.

Наш кормилец послушно выхватил ложку из-за голенища сапога и протянул Симонову.

— Да ты хоть оближи ее, — пошутил Андрей Платонович. — Не мыл ведь, наверное, после обеда.

— Никак нет, товарищ капитан, она мытая, — обиделся Кафий. — Могу, конечно, еще раз помыть. Бода в бедре есть. (Он был не в ладах с буквой «в»: у него и «в» и «б» звучали одинаково.)

— Не трудись, давай ее сюда, — сказал Симонов и, перехватив выразительный взгляд Платонова в сторону небрежно брошенного сидора, развел руками: — Нету ни капельки. Издержался в дороге, как говаривал незабвенный Иван Александрович Хлестаков.

И тут же нам было рассказано о приключении, отраженном впоследствии в симоновских дневниках. Там оно обрисовано, по-моему, менее ярко, чем услышали мы в изустном изложении. Велик соблазн восстановить по памяти некоторые красочные детали, отсутствующие в дневниковом тексте. Но лучше все-таки воздержаться от этого. Ограничусь дословной цитатой из двухтомника «Разные дни войны»:

«В штаб фронта, в Славуту, я... летел, на У-2... из Киева... Летчик из эскадрильи связи, с которым я тогда, в марте, должен был лететь, почему-то в тот момент оказался не на аэродроме, а в Киеве, и мы ехали на аэродром вместе... На скорую руку пообедали, выпив по полтораста граммов водки. Летчик был дюжий малый, и эта норма, которую он, кстати сказать, сам определил, по тем временам опасений мне не внушала. Они возникли уже в полете, когда мы, судя по часам, давно должны были приземлиться в Славуте, но все не приземлялись, а как-то странно и резко меняли курс.

Дальше началось нечто и вовсе мне непонятное. Летчик несколько раз закладывал крутые виражи над самой землей, словно желая что-то увидеть, разворачивался и летел дальше. И только на третий или четвертый раз я уловил в его действиях некую последовательность, отнюдь меня не успокоившую. Оказывается, свои виражи с разглядыванием он делал как раз над перекрестками дорог, и я в конце понял, что он, потеряв ориентировку по карте, а может, и вообще забыв взять ее с собой, ориентируется теперь по надписям на дорожных указателях!»

Андрей Платонович слушал Симонова с обычной своей простецкой вроде бы улыбочкой, в которой непостижимым образом уживались голубиная кротость и задиристость (выражаясь по-платоновски, — «бедовость»). Другие из слушателей нет-нет да бросали какую-то реплику, спешили с вопро-

сами и расспросами. Платонов помалкивал. Только дослушав все до конца, сказал:

— Чудесный сюжетец для юмориста.

Симонов сделал широкий жест:

— Дарю!

— Да ведь я ж не юморист, — с притворным сожалением ответил на это Платонов. — И потом, ты знаешь, вероятно, как погорел я когда-то, опрометчиво приняв такой же вот подарочек.

— Не знаю, — заверил Симонов.

— Рассказать?

— Расскажи...

История, которую поведал нам тогда Андрей Платонов, не имеет отношения к Симонову. Однако думается, что маленькое отступление от темы не прогневает читателей. А если прогневает, заранее прошу извинить меня и войти в мое положение: мне едва ли представится другой случай поделиться своими воспоминаниями об А. П. Платонове. Данная же история является, на мой взгляд, существенным штришком к его портрету и даже, может быть, послужит ключом к раскрытию чего-то нового, малоизвестного или вовсе неизвестного из платоновского литературного наследия.

Незадолго перед войной отмечался своеобразный юбилей А. Н. Радищева: стопятидесятилетие «Путешествия из Петербурга в Москву». В редакции журнала «Октябрь» родилась интересная идея: откликнуться на эту немаловажную дату в истории русской литературы циклом новелл о путешествии по тому же маршруту кого-либо из современных писателей. Выбор пал на Андрея Платонова. Перед ним была поставлена двуединая задача: показать, какие разительные перемены произошли за минувшие полтора века в жизни русского народа, написать правдивые, социально заостренные портреты теперешних обитателей Тосно, Любани, Чудова, Валдая, Вышнего Волочка, Торжка, бывшей Твери (теперь Калинина), Клина и других больших и малых пунктов, где останавливался, как принято говорить сегодня, лирический герой бессмертного творения А. Н. Радищева.

Андрей Платонович не сразу решился взвалить на свои немолодые плечи такой тяжеленный груз. Особенно его смущала необъятная и безбрежная первая часть задания. Зато вторая часть — «портретная» — пришлась по вкусу.

После некоторых раздумий он подписал договор с редакцией, получил аванс и направился в Ленинград экспрессом «Красная стрела». Из Ленинграда же в Москву запланировано было ехать непременно на лошадях.

По чистой случайности в одном купе с Платоновым оказался директор то ли Ленинградского ипподрома, то ли какого-то конезавода, существовавшего неподалеку от

Ленинграда. Узнав о намерениях Платонова, тот вызвался помочь в подыскании лошадей, возницы и даже шутки ради предложил кибитку екатерининских времен, хранившуюся в подвластном ему музее. Андрей Платонович ухватился за этого доброхота мертвой хваткой. Для закрепления скорой дружбы распили бутылку коньяка и вместо гостиницы «Астория», где для Платонова был забронирован номер, он прямо с вокзала отправился в гости к вновь обретенному другу.

На другой день перед Платоновым предстал дед, поразительно похожий будто бы на Карпа Дементьевича, с коим Радищев «пировал» в Новгороде полтораста лет назад.

— Лучший санкт-петербургский извозчик, — отрекомендовал его новый друг Платонова. — Еще в начале нашего века не раз доставлял скорым манером подгулявших питерских купцов в белокаменную. В настоящее время состоит в моем штате в качестве конюха.

Многоопытный возница, придирчиво осмотрев выделенную ему тройку лошадей, нашел, что она тощевата, выговорил трое суток «на поправку». Тем временем и музейная кибитка была приведена в полный порядок.

Напоследок Андрей Платонович закатил пир горой в ресторане «Астория», и путешествие началось. Сколько длилось оно, я забыл, но рукопись была доставлена в редакцию к сроку. А юбилейный номер журнала вышел все-таки без новелл Платонова.

Нетрудно понять, почему. Платонов не написал о переменах, происшедших в этих краях и тем самым свое путешествие превратил в забаву!

— Редакторов чуть не хватила кондрашка, когда они познакомились с моими «социально заостренными портретами», — вспоминал автор не без горькой иронии. — Собственно, портреты-то понравились, не понравились натурщики. Среди них, сам не знаю почему, оказались: вор (правда, отбывший наказание и «перековавшийся»), бывшая проститутка (тоже «перековавшаяся») и еще какие-то «пережитки прошлого». В итоге вся затея пошла прахом...

Не могу ручаться, что дотошный исследователь, заинтересовавшись данной историей, не обнаружит в ней какой-то доли мистификации. Андрей Платонович говорил, как писал, а писал, как говорил: искусно соединяя быль с небылью, приправляя увиденное и пережитое в действительности настолько правдоподобным вымыслом, что от такой приправы действительность казалась еще действительнее.

В отличие от прозы Платонова, яркость первых, да, пожалуй, и многих последующих прозаических произведений Константина Михайловича обеспечивалась не столько полетом

писательского воображения, сколько обилием животрепещущего фактического материала. А для того чтобы добыть такой материал, и притом еще в количестве, позволяющем автору выбирать из яркого самое яркое, требовалось все время лезть, как говорится, из огня в полымя. И Симонов лез. Без устали лез, не переводя дыхания. Вот и в тот раз, не успев отужинать с нами, объявил, что завтра, с утра пораньше, собирается ехать в район Тарнополя, а значит — сегодня, сейчас же, ему необходимо побывать у командующего фронтом маршала Г. К. Жукова.

— Должен передать письмо от главного, — пояснил он, лукаво сверкнув глазами.

Я понял, что это означает. Письмо главного редактора «Красной звезды» к командующему фронтом наверняка освобождало меня от забот о машине для Симонова. Но выглядел Константин Михайлович изрядно уставшим, и все мы запротестовали:

— Зачем пороть горячку? Бои в Тарнополе приняли затяжной характер. Туда можно не спешить. Следовательно, и к Жукову ехать сегодня необязательно. В городе тьма кромешная, на проезжей части улиц не везде еще зарыты немецкие окопы и воронки от авиабомб — разбиться можно.

— Бог сегодня милостив ко мне, — отшутился Симонов. — Если уж подвыпивший летчик не угробил, то отличный шофер, — кивок на значок, украшавший грудь Кафия, — несомненно, отвезет и привезет меня обратно в целости и сохранности.

— Будьте спокойны! — заверил польщенный Кафий.

Отвез он Симонова на КП Жукова без каких бы то ни было происшествий, а вот обратно не привез. Вернулся с короткой запиской приблизительно следующего содержания: «Братцы! Не ждите. Здесь сейчас будут давать концерт молодые вахтанговцы. В репертуаре у них есть что-то из моих вещей — любопытно посмотреть. А сразу после концерта отбываю в Тарнополь, подвернулся надежный попутчик — офицер связи от Черняховского. Свидимся дня через три-четыре. Ваш *Костя*».

В свидании этом мне участвовать не довелось. Симонов задержался в районе Тарнополя не на три-четыре дня, а почти на две недели. Чем была вызвана такая задержка, он сам объяснил в своих дневниках: «Тарнополь интересовал меня и других корреспондентов и потому, что это был сравнительно крупный город, один из областных центров Западной Украины, и о взятии его необходимо было написать в газету, и потому, что уличные бои в нем носили особенно упорный характер, своей крайней ожесточенностью напоминая Сталинград».

Когда же Константин Михайлович вернулся наконец в Славуту, меня не оказалось на месте — ездил, кажется, в 13-ю армию, на правое крыло фронта. Мое отсутствие не было продолжительным. Тем не менее Симонов успел за это время умчаться на противоположное — левое крыло фронта, в 38-ю армию, а оттуда взял курс на соседний 2-й Украинский фронт, передовые части которого только что пересекли нашу государственную границу и вступили в пределы Румынии.

2

Свиделись мы лет через пятнадцать после войны. За это время к громкой славе Симонова — поэта и драматурга, шестикратного лауреата Государственных премий — прибавилась еще более громкая слава романиста.

Только что вышел его роман «Живые и мертвые». Книга эта задела за живое миллионы сердец. За ней образовались очереди в библиотеках, ею восхищались, она порождала порой жаркие споры, в том числе споры среди военных историков. Надо иметь в виду, что тогда у нас лишь начиналось издание первого капитального научного труда по истории Великой Отечественной войны. Причем его второй том, охватывающий тот же период, что и симоновский роман, находился еще в стадии разработки. Не все тут отстоялось, откристаллизовалось, не отслоилось еще объективное от субъективного.

По явному недоразумению, кое-кто из историков не признавал различия между научным и художественным исследованиями минувшей войны. А другие пытались поставить роман Симонова в один ряд с военными мемуарами, что тоже, конечно, неверно.

Желая, по-видимому, избавить от такого рода заблуждений хотя бы ближайших сотрудников «Военно-исторического журнала», главный его редактор Николай Григорьевич Павленко — человек умный и широко эрудированный — организовал некое подобие того, что ныне именуется «круглым столом». Вот за этим-то «столом» мне и посчастливилось снова соприкоснуться с Константином Михайловичем. Он был приглашен сюда как автор «бестселлера» (так изволил выразиться кто-то из участников собеседования), а я — как главный редактор недавно созданной в Воениздате специальной редакции мемуарной литературы.

С именитым писателем, даже те, кто в чем-то были не согласны с ним, держались здесь более чем корректно. Зато со мной братья историки не стеснялись. Особенно после того, как я имел неосторожность высказать «крамольную» мысль: мемуары, мол, всегда субъективны и не могут быть иными; надо-де предоставить возможность бывалым военным людям, в

первую очередь — видным полководцам Великой Отечественной войны, самостоятельно, без помех с нашей стороны, осмыслить, обобщить и сделать достоянием грядущих поколений свой богатый житейский опыт, свои наблюдения. Не беда, если кто-то из них что-то слишком «переоценит» или чего-то «недооценит», ошибется в каких-то частностях. В свой срок историческая наука разберется в этом, отделит плевелы от полноценных зерен истины. А вот если мы сейчас станем навязывать мемуаристам наши, тоже в какой-то степени субъективные, взгляды, то ничего хорошего не получится: отечественная военная мемуаристика замрет, в ней, может быть, исчезнет целая эпоха — молча уйдут из жизни свидетели и участники мирового исторического события.

На меня тотчас обрушился неистовый огонь критики. А Константину Михайловичу мои суждения понравились. Он решительно поддержал их и, кажется, именно с того дня одарил меня своим расположением на долгие годы.

Из старинного особняка на Кропоткинской мы вышли вместе. У подъезда Симонов кивнул на поджидавшую его машину:

— Садитесь, подвезу.

Я усмотрел в этом всего лишь знак вежливости и, проявляя ответную вежливость, от машины отказался. Заявил, что после долгого сидения в душноватом помещении хочу пройтись пешочком.

— Как знаете, — усмехнулся он понимающе, — но дайте мне, на всякий случай, ваш рабочий телефон и адрес редакции...

Через несколько дней у нас состоялся первый телефонный разговор. Константин Михайлович обрадовал меня похвальным отзывом об одной только что выпущенной нами книге. А вот другую, вышедшую чуть раньше, основательно покритиковал, сказал, что она чересчур «залитературена», посоветовал не увлекаться этим при редактировании рукописей. Под конец разговора назвал несколько лиц, чьи мемуары, по его мнению, могут быть весьма интересными. Среди названных, наряду с достаточно громкими именами, вперемежку с маршалами и генералами, оказались совершенно безвестные майоры, капитаны, лейтенанты, даже, кажется, кто-то из солдат или сержантов. Я записал всех, кого рекомендовал Симонов. Не с каждым удалось потом связаться, не у каждого из откликнувшихся на наш призыв получилось то, что надо, но двое или трое вполне оправдали надежды Константина Михайловича. Их книги заняли достойное место в серии «Военные мемуары»...

Время от времени ко мне стали являться авторы с рекомендательными письмами Симонова. Иногда очень пространными. Такими вот, например:

«Дорогой Михаил Михайлович!

Хочу предложить вниманию Воениздата вообще, а в частности — вниманию руководимой тобой мемуарной редакции прилагаемую к этому письму рукопись — воспоминания полковника Ивана Ивановича Исакова.

История этой рукописи не совсем обычна.

Зимой, на заседании нашей Военной комиссии, в присутствии представителей Воениздата я уже кое-что говорил об этом и грозился, что рукопись скоро будет закончена и представлена в издательство. Теперь, когда пришло время выполнить эту угрозу, хочу написать несколько слов о том, с чего началось дело.

По ходу работы над своим романом я встречался со многими сталинградцами, воевавшими в свое время в разных должностях. И вот по ходу дела мне понадобилось проверить свои воспоминания и представления о боевых действиях в масштабе батальона в период осени — зимы 1942/43 года. Благодаря содействию некоторых из тех товарищей-сталинградцев, которых я уже мучил своими расспросами до этого, я познакомился с бывшим комбатом Тринадцатой Гвардейской дивизии в Сталинграде, а ныне полковником, работником Московской комендатуры Иваном Ивановичем Исаковым. Он несколько раз выкраивал из своего довольно туго занятого времени большие куски, и мы с ним подолгу разговаривали, а диктофон писал эти разговоры. Впрочем, это был не столько разговор, сколько вопросы и ответы. Разговор шел главным образом о событиях, связанных со Сталинградской битвой, но иногда перебрасывался и на другие события — предшествующие и последовавшие.

И вот когда после наших разговоров машинистки перевели записанное с ленты на бумагу, то передо мной оказалась рукопись, почти что в двести страниц. И когда я ее прочел всю подряд, то я понял, что у нас с Исаковым вышла достаточно неожиданная вещь. Само собой разумеется, что в рассказанном им содержалось много такого, что было очень важно для меня как для человека, пишущего роман о Сталинграде, такого, что косвенно могло быть использовано в этом романе. Но это все была только одна сторона дела. А вторая сторона дела состояла в том, что передо мной на столе лежала очень интересная, на мой взгляд, мемуарная рукопись, вернее, довольно обширное начало этой рукописи, которую был полный смысл довести до конца.

Я дал эту рукопись, на девяносто процентов содержащую ответы Исакова на мои вопросы, автору и с полной уверенностью сказал ему, что он в состоянии написать интересную книгу воспоминаний, что полкниги, в сущности, здесь уже есть, что ему нужно только дописать не написанное и

привести в хронологический порядок, перестроить написанное — и дело выйдет.

Исаков сначала заколебался, а потом взялся за эту работу. И вот сейчас эта рукопись лежит передо мной вся целиком. По примерным подсчетам в ней около шестнадцати листов. Причем, на мой взгляд, в этих шестнадцати листах мало лишнего, мало общих слов, и рукопись не нуждается в особых сокращениях. В ней много фактов, правдивых и живых подробностей войны, умных и точных наблюдений; много подлинной фронтовой жизни, увиденной глазами командира батальона. Причем жизнь эта взята на широком плацдарме — от первых боев под Киевом в сорок первом году и до последних боев, в которых участвовал автор, в сорок четвертом году на Днепровском плацдарме. По существу, это почти вся война. Причем автор прошел ее в общем всю в одной и той же дивизии, в одном и том же полку, большую часть времени командуя батальоном. Это придает рукописи дополнительный интерес, дополнительную цельность и сосредоточенность.

Разумеется, рукопись нуждается в редактуре. Есть и некоторые длинноты, повторяемость. Может быть, какое-то количество деталей должно быть поджато, может быть, наоборот, при дополнительных расспросах со стороны дельного и хорошо знающего войну редактора автор в некоторых случаях разовьет и дополнит те или иные эпизоды, где он излишне поэкономничал. Повторяю, мне не кажется, что рукопись надо сокращать вообще — она очень плотная, — но какие-то частные уплотнения и расширения, наверное, должны в ней произойти.

Мне кажется, что для работы над рукописью нет необходимости привлекать кого-нибудь из тех товарищей, которые в разных случаях, числясь в разных рангах, по существу самоотверженно переписывают всё заново. Рукопись эта — подлинные записки командира батальона, человека образованного, умного, наблюдательного и владеющего пером — не как писатель, а просто как образованный, интеллигентный человек, не способный писать художественные произведения, но вполне способный описать свою жизнь. Тут, на мой взгляд, нужен не литобработчик, не писатель, прикрепленный в помощь, а очень опытный и тщательный редактор, который, не превращая эту рукопись в литературное произведение, в то же время вместе с автором внесет в нее всю необходимую литературную правку. Причем внесет очень тактично, не меняя вполне делового характера повествования, характера, который отражает характер и личность автора — человека военного до мозга костей.

Вспоминая редакторов, с которыми я всю жизнь имел дело и о которых думаю с благодарностью, я вспоминаю, например,

многолетнего литературного редактора «Знамени» Софью Дмитриевну Разумовскую. Если бы такой человек, как она, взялся за эту работу, то, думается, он сделал бы ее вместе с автором замечательно.

Но, кажется, я уже начал вмешиваться не в свое дело. Я заговорил об этом просто потому, что для меня эта рукопись является принципиально важным явлением: ее написал человек, провоевавший всю войну в строю и в небольшой, но решающей должности командира батальона, и написал сам от первой до последней страницы. Мне кажется очень важным, чтобы такая книжка вышла и чтобы она не была «залитературена», чтобы на сто процентов чувствовалась ее подлинность, достоверность, чтобы чувствовалось, что автор написал ее сам, чтобы это ощущение присутствовало на каждой странице. А для такой работы требуется особенно высокое мастерство редактуры.

Если говорить о принципиальной стороне дела, то мне кажется, что если эта книга выйдет, то она покажет, какими были во время войны наши лучшие, передовые офицеры в звене батальона — полка, как они учились воевать, как они воевали, как они относились к делу, к начальникам, подчиненным, что они из себя представляли в деловом — чисто военном и в широком — духовном смысле. Надо ли говорить, как важно будет появление такой книги...

Я очень горячо рекомендую принять эту рукопись к изданию и сразу же назначить на нее редактора для доведения ее до необходимой кондиции.

Если у издательства будет на то желание, я с величайшим удовольствием напишу предисловие к этой книге.

Жму руку.

С товарищеским приветом
Константин Симонов

12 июля 1963 года».

Бывало и по-другому. Симонов присылал ко мне не автора, а только рукопись с краткой сопроводительной запиской, вроде такой:

«Дорогой Михаил Михайлович!

В свое время я просил тебя прислать мне на рецензию рукопись Георгия Гвоздева «Пока бьется сердце», копию которой автор по старой дружбе прислал мне. Я получил из издательства рукопись и предложение написать рецензию, но не сделал этого тогда же, потому что тем временем я по дубликату рукописи уже написал автору письмо с целым рядом предложений о доработке ее.

Автор известил меня о том, что он будет работать над рукописью, а вслед за этим прислал новый вариант ее, который я сейчас в двух экземплярах и направляю в издательство вместе со своей рецензией.

Был бы рад, если бы ты познакомился с этой рецензией, поэтому прилагаю копию ее к этому письму.

С товарищеским приветом
Константин Симонов

12 июля 1963 года».

Уместным считаю сказать здесь попутно, что и рукопись Ивана Ивановича Исакова, и рукопись Георгия Борисовича Гвоздева были впоследствии изданы. Книги имели успех.

3

В армейской среде Константин Михайлович Симонов был, да и теперь остается одним из любимейших писателей. Особенными симпатиями и высочайшим авторитетом пользовался он среди войскового офицерства и генералитета. А вот в военных верхах в разное время к нему относились по-разному.

Общеизвестны давние (со времен Халхин-Гола) отношения между ним и маршалом Г. К. Жуковым, переросшие впоследствии, в послевоенные годы, в дружеские, взаимно доверительные. Об этом распространяться не стоит. Зато об отношении к Симонову других крупнейших военных деятелей, живших в одно с ним время, рассказать хотя бы то немногое, что известно мне, — безусловно, следует.

Вспоминаю сейчас один разговор с маршалом И. С. Коневым при подготовке к изданию его книги «Сорок пятый». Я пришел к Ивану Степановичу с редакционно-издательским заключением, в общем-то вполне одобряющим рукопись. Однако были в этом документе и какие-то претензии. Автор решительно отверг их. И аргумент у него был один-единственный:

— Рукопись читал Симонов.

Маршал не допускал, чтобы после симоновского одобрения у кого-то там еще могли возникнуть по рукописи, пусть даже самые незначительные, замечания не только стилистического, а и фактического порядка.

Столь же уважительно относился к мнению и вкусу Константина Михайловича маршал К. К. Рокоссовский. Буквально за несколько дней до смерти этого выдающегося

военачальника мы получили из типографии верстку его книги «Солдатский долг». Нам очень хотелось, чтобы автор взглянул на свой многолетний труд уже не в рукописи, а в виде почти готовой книги и сам подписал его к печати. Вместе с редактором В. И. Милютиным я помчался в Барвиху, где находился тогда Рокоссовский. Константин Константинович очень обрадовался нашему приезду, с удовольствием полистал верстку, скрепил ее своей подписью, но сказал при этом с горьким сожалением:

— Эх, как надо бы было показать предварительно Симонову! Он наш совестный судия...

Однако известно мне и иное. Симонов навлек на себя немилость лиц, далеко не равных, правда, Жукову и Рокоссовскому, но все-таки достаточно авторитетных. В основе этого прискорбного факта лежало несовпадение или, точнее сказать, неполное совпадение точек зрения по ряду тогда еще не вполне проясненных вопросов истории Великой Отечественной войны. Не смею утверждать, что Константин Михайлович был кругом прав, а противная сторона кругом не права. В принципиальном споре, прокладывающем путь к истине, так случается далеко не всегда. И пенять на это не приходится. Достойно сожаления другое: то, что на каком-то этапе спора в него вторглась горстка людей, замутивших принципы дрязгами. Невероятно, но это так: в пору наибольшего расцвета симоновского таланта, в годы, когда он создал всемирно известную трилогию «Живые и мертвые», удостоенную Ленинской премии, когда если не буквально все, то уж по крайней мере почти все советские издательства и издания, театры и кино считали за честь донести до миллионов читателей и зрителей его слова, мысли, образы, нашлись такие люди.

4

В феврале 1970 года я был приглашен на работу в редакцию журнала «Знамя». Мне доверили там отдел прозы. Как всегда, этот отдел был завален рукописями и в то же время мучился в поисках произведений, достойных опубликования.

— Симонова надо потормошить, он, кажется, заканчивает новый роман, — подсказал главный редактор Вадим Михайлович Кожевников.

«Потормошили» и добыли не весь, правда, роман «Последнее лето», а только первую его половину.

Научные авторитеты отнеслись к роману если не восторженно, то, во всяком случае, лояльно. Были сделаны какие-то частные, но вполне конкретные уточнения и высказано несколько довольно общих пожеланий, отнюдь не принципиального порядка. Последние автор волен был и не принять.

Так, по крайней мере, казалось мне. Так же, по-моему, отнесся к этим пожеланиям и В. М. Кожевников, хотя заявлять о том громогласно не торопился, решил, видимо, выслушать перед тем соображения членов редколлегии. А из них-то кое-кто явно поддался гипнозу предостерегающих телефонных звонков: начали настаивать, чтобы автор непременно реализовал все рекомендации рецензента. Главный редактор чуть остудил этот пыл, сказав примерно следующее:

— Мнение ученых людей мы уважаем, и, наверное, автор отнесется к их рекомендациям также уважительно. Только давайте не превращать желательное в обязательное. Пускай редактор отдела прозы съездит к Симонову, ознакомит его с рецензией. Предоставим автору возможность спокойно разобраться во всем, затем пригласим его к нам, послушаем, с чем он согласен, а что отвергает, и безотлагательно займемся редактированием рукописи.

Уточнения, содержавшиеся в рецензии, Симонов принял безоговорочно, а вот к рекомендациям отнесся довольно скептически. Тем не менее главный редактор подтвердил свое решение: готовить первую книгу романа к опубликованию.

Редактировать рукопись мы уехали на дачу Симонова втроем: автор, редактор и испытанная помощница автора Тамара Дмитриевна — милая пожилая женщина, очень молчаливая, очень внимательная к каждому слову Константина Михайловича, превосходная, безукоризненно грамотная машинистка. Держалась она с большим достоинством и имела на то более чем достаточные основания. Мне показалось, что Тамара Дмитриевна лучше, чем сам Симонов, знает все написанное им, помнит наизусть не только его стихи, а и прозу и публицистику.

Позже и гораздо ближе мне довелось познакомиться с другой многоопытной помощницей Константина Михайловича — Ниной Павловной Гордон. И я имел возможность убедиться, что, при всей внешней несхожести, возрастном различии и ярко выраженной индивидуальности характеров этих двух женщин, они одинаково надежны в работе, предельно точны, предельно обязательны, наделены поразительным умением держать в памяти все, что могло потребоваться их шефу в любую минуту — сегодня, через год, через несколько лет.

Константин Михайлович умел «подбирать кадры». Но это — к слову. А теперь вернусь к тому, от чего незаметно уклонился в сторону.

Итак, Симонов увез меня к себе на дачу, убедив, что редактирование романа пойдет быстрее и даст наилучший результат, если мы займемся этим, как он выразился, «в четыре руки

и под одной крышей». В моей практике такого еще не случалось. Я приучен был, редактируя, оставаться наедине с рукописью. Много лет так работал и считал, что иначе нельзя. А оказалось, не только можно, но и впрямь гораздо плодотворнее вести эту работу в присутствии автора, под его недремлющим оком, при его живейшем участии, не тратя времени и нервов на последующие согласования отредактированного текста. Конечно, это нельзя возводить в правило. Автор автору рознь. Но с Симоновым работать таким образом было предпочтительнее.

На практике это выглядело так.

Константин Михайлович сел за свой просторный письменный стол, на свое обычное рабочее место. Меня посадил напротив себя, по другую сторону того же стола, и сказал:

— Вот тебе рукопись, вот карандаш — трудись. Сам я потружусь пока над новым началом романа.

Дело в том, что и в рецензии, и в ходе устного собеседования по рукописи в редакции журнала «Знамя» автору было высказано пожелание, чтобы он сразу ввел бы читателя в обстановку последнего лета войны; кратко, но сильно сказал, какие качественные изменения произошли в нашей действующей армии к сорок четвертому году по сравнению с годом сорок третьим, коему посвящен предшествующий роман симоновской трилогии. Константин Михайлович ответил на это пожелание уклончиво: «Подумаю». И вот, подумав, решил все же переделать начало, вернее — предпослать прежнему началу несколько новых абзацев. Мысленно он, вероятно, уже сформулировал их, потому что довольно скоро подал мне густо исписанный листок без единой помарки.

Прочитав содержимое листка, я помедлил с высказыванием своего мнения. Симонов насторожился:

— Что, не нравится?

— Не очень нравится, — признался я.

— Почему?

— Потому что мне понравилось прежнее начало. Прислушайся, как хорошо оно звучит: «Можно понять всю меру досады и тревоги военного человека, вдруг силою случайных обстоятельств вырванного из гущи войны и очутившегося сначала на операционном столе, а потом на больничной койке».

Симонов улыбнулся довольно:

— Звучит недурно, а все-таки... — Он погасил улыбку и объявил безапелляционно: — Все-таки к прежнему началу возвращаться не будем. Оно мягче, но едва ли лучше. Не сбивай меня, старик, с пути истинного. Из всех советов, какие я выслушал у вас там, в редакции, самым разум-

ным считаю вот этот, насчет начала. Пренебречь им не могу...

Еще раз придирчиво просмотрев только что написанные абзацы, я обратил внимание Константина Михайловича на какое-то слово, показавшееся мне лишним.

— Спасибо, — сказал он и тут же вычеркнул его черным фломастером. — Давай сюда странички, вычитанные тобой.

Пока Симонов писал новое начало романа, я успел вычитать только первую главу рукописи — не более тридцати страничек. Там мною тоже были сделаны кой-какие пометки карандашом: предлагались две-три вымарки, две-три замены отдельных слов. Я полагал, что автор ограничится рассмотрением только этих моих карандашных пометок, а он начал читать всю главу заново и вслед за мною еще раз редактировать текст.

Тем временем я занялся второй главой. Потом мы обменялись кусками рукописи, отредактированными каждым из нас. В куске, возвращенном мне, какая-то из моих поправок так и осталась в карандаше, не была закреплена черным фломастером. Это означало, что автор не принял ее. Объяснились. Легко пришли к согласию. Отдали исправленные странички Тамаре Дмитриевне на перепечатку и продолжили нашу работу в той же последовательности.

В три часа нас позвали к обеду. Это было обусловлено заранее. Перед тем как сесть за письменный стол, Симонов спрашивал меня:

— Обедать когда будем?

Я ответил, что мне все равно.

— В три часа не поздно?

— В самый раз.

И ровно к трем все было готово. А когда мы отобедали, Константин Михайлович осведомился:

— Отдохнем часок?

— Отдохнем.

— Потом?

— Потом опять можно поработать.

— Ужин во сколько?

— По твоему усмотрению.

— В девять не поздно?

— Нет...

Этот режим закрепился на все последующие дни нашей работы над подготовкой к опубликованию первой книги романа «Последнее лето». Вставали мы в семь утра. Умывались, брились, прогуливались полчаса по весеннему лесу, завтракали и ровно в восемь усаживались за письменный стол. В три часа обедали. До пяти вечера отдыхали. С пяти до



К. Симонов и генерал армии И. Е. Петров. 1945 г.

девяти опять работали. В девять ужинали и после недолгой совместной прогулки расставались до утра: Константин Михайлович поднимался наверх, в свою спальню, я оставался ночевать в его кабинете. Перед сном он любил почитать свежие журналы или что-либо другое, не имеющее прямого отношения к тому, чем занимался на протяжении всего трудового дня.

Через год точно так же мы редактировали вторую книгу того же романа, а потом и повесть «Двадцать дней без войны». Не скажу, что в процессе работы у нас никогда не возникало расхождений, не было споров. Все бывало, но в конце концов улаживалось к обоюдному удовольствию.

Если Константин Михайлович проявлял порой неуступчивость в том, в чем, по-моему, можно и даже полезно было уступить влиятельному рецензенту либо члену редколлегии журнала, а то и самому Вадиму Михайловичу Кожевникову, я, каюсь, прибегал к недозволенному приему, просил автора:

— Костя, сделай уступку, ради моего служебного благополучия. Не ставь под удар товарища.

Это средство было почти безотказным. Симонов обычно уступал, приговаривая:

— Бархатный ты тиран...

В автобиографии, предпосланной десятитомному собра-

нию сочинений, вспоминая свое рязанское детство, Симонов пишет:

«Наша семья жила в командирских общежитиях. Военный быт окружал меня... Дисциплина в семье была строгая, чисто военная. Существовал твердый распорядок дня, все делалось по часам, в ноль-ноль, опаздывать было нельзя, возражать не полагалось, данное кому бы то ни было слово требовалось держать, всякая, даже самая маленькая, ложь презиралась... Атмосфера нашего дома и атмосфера военной части, где служил отец, породили во мне привязанность к армии и вообще ко всему военному, привязанность, соединенную с уважением. Это детское, не вполне осознанное чувство, как потом оказалось на поверку, вошло в плоть и кровь».

Общаясь с Константином Михайловичем в пору его зрелости, я имел возможность убедиться, что это действительно так. В доме, где он уже сам выступал как глава семьи, господствовала такая же строгая дисциплина. Может быть, поэтому и успел Симонов так много написать за свою относительно короткую жизнь, а еще больше сделать добрых дел для других — пишущих и не пишущих.

5

Последняя моя встреча с Константином Михайловичем произошла за четыре месяца до того, как он навсегда оставил нас. Мы встретились на похоронах жены нашего общего друга — Давида Иосифовича Ортенберга. Симонов, как всегда, проявлял поразительную чуткость к чужому горю... (Написав — «к чужому горю», я невольно приостановился. Вспомнилась строка одного из симоновских стихотворений: «Чужого горя не бывает».) В то же время он выглядел совершенно больным, осунувшимся, ослабевшим физически.

После траурного митинга в больничном морге, когда похоронная процессия готова была тронуться на кладбище, он усадил меня в свою машину. Рядом со мной оказались Александр Кривицкий и Лазарь Лазарев. Ехать нам пришлось через всю Москву, дорога заняла не меньше часа. Зашел разговор о текущих литературных делах. Константин Михайлович с большой теплотой говорил о еще никому не ведомом Вячеславе Кондратьеве:

— Хороший писатель, честный, искренний...

Настоятельно рекомендовал нам прочитать подготовлявшуюся к опубликованию в журнале «Дружба народов» кондратьевскую повесть «Сашка»:

— Настоящая литература!

Потом как-то внезапно смолк, задумался и вдруг стал читать собственные стихи, не известные мне дотоле:

Все было: страшно и нестрашно,
Казалось, что не там, так тут...
Неужто под конец так важно:
Где три аршина вам дадут?

На том ли, знаменитом, тесном,
Где клином тот и этот свет,
Где требуются, как известно,
Звонки и письма в Моссовет?

Всем, кто любил вас, так некстати
Тот бой, за смертью по пятам!
На слезы — время им оставьте,
Скажите им: не тут — так там...

Чувствовал ли Константин Михайлович приближение своего рокового конца? Наверное, чувствовал. И, может быть, сам того не желая, дал почувствовать это нам, своим товарищам. Ах, как это было больно для нас!

Вот они, выстроились на полке, почти все симоновские книги, выходившие на протяжении последних двадцати лет его жизни. На каждой дарственная надпись. Перечитываю эти надписи одну за другой и невзначай обнаруживаю, что по ним легко прослеживается, как развивались мои отношения с Константином Михайловичем, вернее — его отношения со мной, отношение ко мне:

«Михаилу Михайловичу Зотову — со старой краснозвездовской дружбой. Ваш *Константин Симонов*».

«Мише Зотову на память. Твой *К. Симонов*».

«Дорогому Мише Зотову — милому моему редактору. Твой *Костя Симонов*».

«Дорогому Мише Зотову. *Костя*».

«Дорогому Мише Зотову — с благодарностью за дружескую помогу! Твой *К. Симонов*».

«Дорогому Мише Зотову — моему внештатному редактору. Спасибо, старик! Твой *К. С.*»

Должен прояснить насчет «помоги» и симоновского «спасибо» за внештатное мое редактирование. Те две дарственные надписи, в которых содержатся эти слова, относятся ко времени, когда я уже не работал в «Знамени». В тот период вся моя «помога» Константину Михайловичу состояла лишь в доставлявшем мне удовольствие немедленном прочтении очередной его рукописи и последующем откровенном разговоре с автором о впечатлении от прочитанного. Иногда, по просьбе Константина Михайловича, я уточнял имя и отчество кого-то из невымышленных героев будущей книги или календарную дату такого-то конкретного события. Этим, собственно, и исчерпывалось все, что Симонов от щедрой своей души назвал «помогой», за что возвел меня в ранг «внештатного редактора».

Снимаю с полки первый том его Собрания сочинений в десяти томах. Он успел выйти при жизни автора. Дарственная надпись на этой книге отсутствует. Почему? Ведь она тоже подарок Константина Михайловича. Да, но получена мною совсем не так, как другие его книги. Симóнов разослал многим своим товарищам и друзьям абонементы на получение его десятитомника по подписке в Книжной лавке писателя. На абонементе № 101 четким, несколько размашистым, таким знакомым почерком проставлена моя фамилия. Как всегда, черным фломастером. Это последний из сохранившихся у меня автографов Константина Михайловича.



Фронт. 1943 г.

Борис ЛАСКИН

СЕРЬЕЗНО И ШУТЯ

Из множества примечательных черт характера Константина Симонова я собираюсь рассказать лишь о двух.

Первая — сила нравственного примера.

Движимая внутренней активностью и неизменным чувством товарищества, сила эта с годами росла и крепла. Ощущалась она каждым, кому посчастливилось встречаться и дружить с Симоновым, кому довелось с ним поработать до войны, во время войны и после войны.

Вторая — чувство юмора, любовь к смешному во всевозможных его проявлениях.

Я попытаюсь кратко рассказать о том, как высвечивались эти черты его характера порознь и слитые воедино.

Лето тысяча девятьсот сорокового года.

Мы уже знакомы. Я рассказываю, что подписал договор на киносценарий, за который хорошо бы засесть где-нибудь подальше от Москвы.

«Это, вообще говоря, правильно. Могу предложить тебе такой вариант, — говорит Симонов. — Я собрался в Ялту, поработать в Доме творчества. Если хочешь — полетим вместе».

Предложение неожиданное. Я, начинающий литератор, довольно смутно представляю себе Дом творчества. Да и к тому же до сей поры мне еще ни разу не доводилось летать на самолете. Нерешительности моей был тут же положен конец.

Итак, мы летим в Крым. Сказать, что на промежуточной посадке в Харькове я был не в форме, — это значит ничего не сказать. Истерзанный болтанкой, я где-то прилег на травку, с тоской думая о том, что мне через пятнадцать — двадцать минут вновь предстоит лететь, обрекая себя на мучения.

Симонов, инициатор моего приобщения к авиации, благоразумно воздерживается от шуточек и бодро заявляет: «Лежи спокойно. Сейчас я принесу тебе замечательное средство».

Вернувшись через несколько минут, он протянул мне таблетку: «Только сразу не глотай. Предварительно ее надо как следует разжевать».

Приняв это, по словам Симонова, замечательное средство, я малость приободрился и оставшуюся часть воздушного пути перенес гораздо лучше.

В Симферополе, покинув самолет, Симонов с одобрением сказал:

— Ты одержал сегодня моральную и физическую победу. Нормально себя чувствуешь?

— В общем, нормально.

— Молодец! — Глаза Симонова излучали нескрываемое торжество. — Дело в том, что нужных таблеток в медпункте не нашлось, я взял то, что у них было в наличии. Ты принял таблетку фитина. Это идеальное средство от рахита! — И, смеясь, он подвел итог: — Отныне тебе не страшна болтанка, и главное — тебе не угрожает рахит.

В Ялте он не раз заставлял меня всенародно докладывать о моем «харьковском исцелении». Это доставляло ему несказанное удовольствие.

Февраль 1944 года. Москва. Поздним вечером звонит Симонов:

— Боря, не можешь заехать? Есть одно дело.

Меня нисколько не удивил его звонок — к тому времени мы уже успели познакомиться поближе и подружиться.

Вскоре, расхаживая по комнате, он с увлечением рассказывает, что где-то неподалеку от Краснодара, на тамошнем участке фронта, действует, и отлично действует, единственный в наших военно-воздушных силах женский авиационный полк ночных бомбардировщиков.

— Я не сомневался, — говорит Симонов, — что тебе это будет интересно. Завтра же отправляйся в ПУР, оформляй командировку, там уже знают о твоем намерении побывать в этом полку.

— От кого же они это могут знать?

— От меня. Торопись в полк, пока тебя не обскакали. Тебе представляется реальная возможность написать героическую комедию для театра.

По правде говоря, я был изрядно растерян.

— Для какого театра?

— Для Театра имени Ленинского комсомола. Там тоже кое-что известно о твоих ближайших творческих планах.

Я не стал задавать вопросов, понимая, что Симонов уже успел провести большую подготовительную работу.

— Вот, — он протянул мне пачку газетных вырезок. — Тут есть кое-что о боевой работе женского авиаполка. Почитай. Пораскинь мозгами. Тебе предстоит встреча с руководством театра.

Через два дня дома у Симонова состоялась встреча с художественным руководителем И. Н. Берсеневым и Ю. И. Сосиным — директором театра.

В кабинете появилась стенографистка, и Симонов сказал ей:

— Евгения Александровна, присаживайтесь. Запишите, пожалуйста, историческую речь автора, некоторые его соображения о героической комедии.

Я начал что-то говорить, но меня связывало присутствие стенографистки, я старался позакругленней строить фразы, больше всего думая именно об этом. Некоторое время Симонов терпел, затем поднялся:

— Спасибо, Евгения Александровна. На сегодня вы свободны. Завтра мы работаем с девяти. А сейчас я вас провожу.

Вскорости Симонов вернулся.

— Рассказывай свободней, размышляй вслух. Теперь уже тебя ничего не будет стеснять.

Я почувствовал облегчение, как в свое время на аэродроме в Харькове, когда проглотил чудодейственную таблетку, и, как мне показалось, довольно связно изложил первые наметки сюжета и отдельные мысли общего характера.

— Вы заметили, товарищи, насколько автор стал раскованней, перед нами другой человек. Я его вполне понимаю — некоторым присутствие стенографистки просто мешает...

Он не успел закончить свою мысль. В кабинет заглянула Евгения Александровна:

— Завтра к вечеру я все расшифрую. До свидания.

И она ушла. На сей раз действительно ушла, я слышал, как за ней хлопнула входная дверь.

Я ждал — Симонов улыбнется: удалась его маленькая хитрость. Но он был серьезен.

— Мне представляется, что все развивается нормально. Завтра вечером у тебя будет стенограмма. Один экземпляр, Иван Николаевич, автор оставит в театре. Это для того, чтобы вы потом вместе могли сравнить, насколько правда жизни богаче авторской фантазии.

И только тут Симонов улыбнулся.

Летом сорок пятого года, после премьеры моей пьесы «Небесное создание», на встрече с героинями-летчицами, приглашенными театром на спектакль, Симонов как бы между прочим сказал мне:

— Эти прекрасные девушки не боялись совершать по три боевых вылета в ночь, а ты побоялся мирной стенографистки.

И вновь на лице его появилась хорошо знакомая мне улыбка.

Помнится, я счел тогда вполне уместным произнести слова благодарности в его адрес за подсказанную им идею написать первую в моей жизни пьесу. Поблагодарил я и летчиц за неоценимую помощь, оказанную мне, когда я находился у них в полку.

— Но обо мне ты там вспоминал? — неожиданно спросил Симонов и, не дожидаясь ответа, пояснил девушкам: — Я посоветовал Борису Савельевичу поехать к вам в полк в гражданском обмундировании и одолжил ему дивной красоты высокие шнурованные башмаки...

— Да, — сказал я, — я тебя там часто поминал добрым словом, особенно когда выковыривал из колец для шнурков высококачественный местный чернозем.

— Это была механическая работа, — отметил Симонов, — ведь одновременно ты думал о своей пьесе.

Вспоминая о стойком пристрастии Симонова к веселой затее, к розыгрышу, к шутке, я всякий раз с сожалением думаю о том, что в своей работе он почти никогда не обращался к юмористическому жанру.

Как-то ему прислала письмо участница войны. Эта женщина описывала забавную ситуацию, в которую попала на фронте, и предложила, чтобы он, К. М. Симонов, написал на данный сюжет юмористический рассказ. Письмо было переадресовано мне вместе с шутливой запиской: «Сэр! Не найдете ли вы возможным использовать сей забавный факт в своей литературной деятельности? По-моему, может получиться смешно. Ответь ей, пожалуйста». Одновременно он прислал и копию своего ответа бывшей фронтовичке, где, между прочим, написал: «Минувшая война была частью нашей жизни, а значит, на войне, как и в жизни, находилось место

для смешного. Письмо ваше я передал моему другу писателю Б. Ласкину. Может быть, он сумеет воспользоваться вашим предложением».

Обменявшись несколькими фразами об этом письме, мы почти одновременно вспомнили случай, когда он решился испытать свои силы в веселом жанре.

В самый разгар войны в «Красной звезде» появился воскресный раздел — «Веселые рассказы». В тот день, когда группу писателей сатириков и юмористов пригласили в редакцию и предложили выступить под вышеуказанной рубрикой, многие, да и я в том числе, были озадачены — трудный период войны мало настраивал на веселый лад. И вот тут-то Симонов, оказавшийся в тот час в редакции, проявил инициативу:

— Братцы! — сказал он. — Я не слышу вашего бодрого смеха. Вы меня толкаете на отчаянный поступок. Я — вы слышите? — я сяду и напишу юмористический рассказ.

И написал. Напечатанный на четвертой полосе, он назывался «Корень любви». В нем рассказывалось о первом испытании, выпавшем на долю юной докторши, под аккомпанемент артобстрела удалившей зуб у младшего лейтенанта. Операция кончилась тем, что юная представительница медицины при виде крови тут же лишилась сознания и пациент бережно вынес ее на свежий воздух.

Насколько я знаю, это, пожалуй, единственный опыт Симонова в юмористике. Сочинением этим он, разумеется, особенно не гордился, но, наверное, был доволен тем, что в трудную минуту сумел оказаться первым.

Позднее, уже в послевоенные годы, Симонов неоднократно подтверждал свое уважение к сатире и юмору. Мало кто был удивлен тем обстоятельством, что именно он выступил с серьезным и добрым предисловием к однотомнику Ильфа и Петрова, вышедшему в свет после довольно долгого перерыва. Вполне естественным был его интерес и глубокое уважение к блестящей сатире Михаила Булгакова, в публикациях произведений которого Симонов сыграл, как известно, весьма серьезную роль.

Даже люди, близко его не знавшие, лишь по тому, как заливисто, иногда до слез, умел смеяться Симонов, наверняка понимали — оптимизм и внутренняя веселость очень к лицу этому строгому, даже порой суровому на вид человеку.

Однажды, сейчас уже не припомню, в какой связи, состоялся у нас разговор о смешном, о том, что способно вызвать смех, Симонов сказал тогда, что поводов для смеха достаточно много и один из них — это несоответствие.

Не буду сейчас говорить о том, как расшифровал, как проиллюстрировал он тогда это положение.

Случилось так, что к мимолетному разговору на тему о смешном первым возвратился Симонов.

Произошло это при следующих обстоятельствах.

Конец ноября 1965 года. В Центральном Доме литераторов состоялся торжественный вечер — круглая юбилейная дата — Симонову исполнилось полвека.

Минут за двадцать до начала мы встретились с ним за сценой. Он был очень спокоен, лицо выражало веселое любопытство: интересно, что же сейчас здесь произойдет? Вся обычная в таких случаях предначальная суета проходила как бы мимо него... И вдруг, отведя меня в сторонку, он как-то рассеянно спросил:

— Помнишь наш псевдонаучный разговор о природе смешного, когда я пытался тебе объяснить, что такое несоответствие?

Я удивился, не поняв, почему вопрос этот возник у него в столь неподходящий момент.

— Чтобы тебе до конца разобраться в этом вопросе, — продолжал он с загадочной улыбкой, — проделаем небольшой опыт. — Он помолчал и спросил: — Ты случайно не собирался сегодня выступить? Есть у тебя намерение глаголом жечь сердца людей, которые сидят в зале?..

Безуспешно пытаясь уловить ход его мысли, я ответил, что в списке выступающих меня нет.

— А может, ты выступишь? — спросил он и вытащил из кармана пиджака толстый журнал.

Найдя нужную страницу, он показал мне два-три абзаца, обведенные черным фломастером.

— Будет очень неплохо, если в общее песнопение вольется твой баритон. Но постарайся найти ход. Желательно не юмористический, лучше торжественный. Тогда наиболее эффектно прозвучат эти цитаты. Посмотри и подумай.

Я пробежал глазами отмеченные строки в статье, посвященной военной прозе Симонова, и с недоумением развел руками.

— Сумей найти правильный ход, — снова сказал он и ободряюще похлопал меня по плечу.

И вот начался юбилейный вечер. Приветственные речи перемежались чтением адресов и шуточными выступлениями, которые особенно нравились юбиляру.

Мне предоставили слово где-то в конце программы.

Выходя на трибуну, я успел перехватить напряженный взгляд Симонова и понял, что он с интересом ждал моего выступления.

Вначале я сказал примерно следующее:

— Дорогой Константин Михайлович! Позвольте мне поздравить вас с первым пятидесятилетием и пожелать новых свершений. Мне приятно отметить, что в достойной оценке

содеянного вами на ниве отечественной литературы я не одинок. Сегодня уже было произнесено немало добрых слов, и в печати нашлось место, чтобы, как говорится, воздать вам должное. Я хочу процитировать несколько абзацев из статьи, опубликованной в одном из журналов, посвященной вашему творчеству. Обратите внимание, какой нежной, я бы даже сказал — материнской теплотой проникнуты эти строки.

Следом за этим более чем обнадеживающим вступлением пошли цитаты из явно тенденциозной, даже разносной критической статьи.

Реакция сидящих в зале и за столом президиума была такой: сперва недоуменные голоса, затем гул и потом смех. Да-да, смех, громкий и дружный смех, к которому добавились иронические аплодисменты в адрес автора статьи.

Уже заканчивая свое выступление, я обернулся и встретил веселую и даже, не побоюсь сказать, счастливую улыбку Симонова.

Уже не на официальной части вечера Симонов сказал мне:

— Должен заметить, старик, что ты говорил с большим чувством. Я чуть не заплакал. Кстати, ты не заметил, как здорово сегодня сработало то самое несоответствие? А?

Позже, когда мы расставались, Симонов протянул мне свой трехтомник и улыбнулся:

— С этим я, к сожалению, немножко опоздал.

И он открыл первый том.

На титульном листе было написано: «Дорогому Боре Ласкину с любовью, а также с просьбой не забыть это зачесть сегодня на вечере среди других документов. Твой *Костя*».

* * *

Летом 1979 года, узнав, что я с семьей живу на даче в Переделкине, уточнив ее адрес, Симонов как бы между прочим спросил:

— Не в этом ли доме во время войны и потом жил Лев Кассиль?

Когда я подтвердил это, Симонов ненадолго задумался и сказал:

— В таком случае, мой мальчик, могу тебе кое-что сообщить. Осенью тысяча девятьсот сорок первого года приехал я с фронта на короткое время, и так уж случилось, что целые сутки провел в Переделкине в гостях у Кассиля. И вот как раз тогда, именно там, где ты теперь живешь и работаешь, я написал стихотворение «Жди меня».

Помню, я почему-то удивился этому, а Симонов пожал плечами:

— Именно так оно и было. — Потом, искоса взглянув на

меня, добавил: — Данный факт общественного значения не имеет.

— Понимаю, — сказал я, — но мне приятно было это узнать.

— Приятно? Ты серьезно говоришь? Тебя это, разумеется, ни к чему не обязывает, но, должен тебя огорчить, не дает никаких дополнительных прав. Хочешь не хочешь, а арендную плату тебе все-таки платить придется.

Вспоминая сейчас этот разговор, я думаю о том, что шутливое его завершение абсолютно в характере Симонова. Эта разрядка означала: «Ты только, пожалуйста, не вздумай, что я хочу подчеркнуть мемориальное значение переделкинской дачи». Для него это было только воспоминанием, и, как мне кажется, воспоминанием дорогим.

Иногда мне казалось, что юмористический настрой чаще проявлялся у Симонова в общении с людьми, причастными к этому жанру, но это было совсем не так. Склонность к шутке, готовность ответить улыбкой на улыбку была ему свойственна всегда.

Часто это проявлялось довольно неожиданно.

Много лет назад, когда его дочка вышла из «колясочного» возраста, я спросил, не передаст ли он освободившуюся коляску моей трехмесячной дочке.

Назавтра в зале ЦДЛ происходило какое-то многолюдное собрание. Симонов сидел в президиуме, сосредоточенно просматривая бумаги, видимо готовясь к выступлению. Потом, обведя взглядом зал, он принялся что-то писать все с тем же серьезным выражением лица. Спустя несколько минут мне передали записку из президиума. На листочке бумаги была нарисована детская коляска и ниже — летящим почерком: «Тов. Ласкин Б. С. Прошу подать мотивированное заявление в трех экземплярах. *К. С.*».

Признаюсь, мне стоит немалого труда, вспоминая о долгих годах нашего знакомства и дружбы, не выходить за пределы того, достаточно узкого ракурса, о котором я уведомил читателей вначале. Убежден, что другие авторы этого сборника воспоминаний подробно и впечатляюще расскажут о том главном, что составляет существо Константина Михайловича Симонова — большого, поистине замечательного человека и писателя.

В день прощания с Константином Михайловичем в одной из комнат писательского клуба в ходе разговора о горечи утраты прозвучал тихий голос художника Владимира Медведева. Он много лет сотрудничал с Симоновым, оформил десятки его книг. Медведев сказал:

— Даю слово, если завтра утром я услышу в телефонной

трубке знакомый голос: «Володя! Привет! Симонов говорит. Приезжайте, будем работать», — я нисколько не удивлюсь. Соберусь и поеду... Я понимаю, такие слова произносились не раз, но ужасно трудно, просто невозможно себе представить, что мы с ним больше никогда не будем работать...

Значение сказанного Владимиром Медведевым хорошо понятно всем, кто давно и достаточно близко знал Симонова.

Находясь рядом с ним, я всегда чувствовал себя серьезней и собранней, с обостренным чувством ответственности. С ним, мне кажется, я не побоялся бы отправиться в трудную и даже опасную экспедицию. И не потому, что рассчитывал на его помощь и поддержку, нет, — речь идет о другом.

Главное, что мною руководило бы тогда, — его необычайная сила влияния, сила личного примера. Примечательно то, что, призывая к смелому решению, говорил он очень спокойным, как бы совещательным голосом.

* * *

В моей рабочей комнате над столом висит большая застекленная фотография.

На фотографии необычный памятник. На постаменте — идущий на крутой подъем наш советский танк, из тех, что славно действовали в монгольских степях, на Халхин-Голе. Постамент охвачен невысокой оградой, на бронзовой доске, вмурованной в камень, — четыре строчки из моего «Марша танкистов», написанного еще до войны: «Гремя броней, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход...»

Под фотографией написано: «Боре Ласкину на память о нашей юности. Твой *Константин Симонов».*

И даты: август 1939 — август 1964.

Снимок Симонов привез из Монголии.

Это очень, очень дорогая мне память.



В Японии. Первый слева Б. Агапов. 1946 г.

Борис АГАПОВ

ПОЕЗД НА КРАЙ СВЕТА

1945 год

Провожание было бурным. Это объяснялось тем, что с нами был Симонов. (Вообще многое объяснялось тем, что с нами был Симонов.) Приехали актеры театра, в котором идет его пьеса «Под каштанами Праги». Я был в Праге как раз тогда, когда он писал ее там. Мне казалось, что он только и делал, что публично обедал и общественно ужинал, приветствовал и провозглашал... Между тем он работал. Он писал, и не только пьесу. Я же был адски занят и не написал ничего. Я все искал чего-то, что должно было объяснить мне 1945 год, какой-то ключ к Чехии, к войне, к фашизму... Я, конечно, никакого ключа не нашел. Надо было просто писать; надо было понимать, что выше себя не прыгнешь и лучше себя не напишешь! Пусть даже гений, но если он не осуществлен, кому он нужен? А уж обыкновенный человек и подавно!

На вокзал приехала Серафима Бирман, я помнил ее в «Вассе Железновой», а еще больше в ее постановке «Блохи», смешного и умного спектакля во Втором МХАТе, и еще — в страшном образе отравительницы Евфросинии из «Ивана Грозного» Эйзенштейна... Именно она и ставила только что «Под каштанами Праги»... Актеры и актрисы шумно толпились у вагона и были сразу заметны не только благодаря

изяществу одежды, но и своей привычкой быть заметными.

В предотъездные минуты Симонов откупоривал бутылки и наливал провожавшим шампанское. Они уже вывалились на платформу, и обнимались там, и хлопали друг друга по плечам, и хохотали, и хотели тоже ехать, и Симонова, как ребенка, убеждали надеть пальто, и выносили ему шубу, и нахлобучивали на него шапку, и умоляли не уходить далеко от вагона... А он уходил с кем-то в обнимку, не хотел ничего слушать, вывертывался из этих захватов и призывов, делал ручкой и вновь удалялся... Ветер успеха веял над перроном, шел первый год послевоенного времени; казалось, все страшное преодолено, все пути открыты — на запад и на восток, к творчеству и к славе!

...Симонов стал нашим главным как-то само собой. Во всяком случае, мне не были известны никакие решения об этом. Как только поезд выскочил из Москвы и мы сидели вокруг стола в салоне и молчаливо перестраивались со столичной суетни на то межконтинентальное путешествие в девять тысяч верст, которое нам предстояло, вошел проводник, человек печальный и усталый, и, обращаясь к Симонову, спросил: чего бы нам хотелось выпить — нарзану, чаю или лимонаду?

— Коньяку, — сказал Горбатов ругательным голосом.

Проводник вежливо улыбнулся, но ждал указаний.

Симонов поднялся, положил руку на плечо нашего вагонного хозяина и сказал:

— Пойдем посмотрим, как там у нас все уложилось.

И они отправились приводить в порядок наши запасы, которые были втащены в вагон кое-как в минуты отъезда. Легкий на подъем, он первый начинал всякое дело, пусть оно было даже самым неответственным.

Слово «начальник» происходит от слова «начало», так надо понимать подобные вещи.

Симонова мы назначили «вождем» нашей группы. Кудреватых, как самый покладистый и тихий, был признан профоргом, я по беспартийности и старости — комсоргом, а когда дело дошло до Горбатова и его спросили, кем он хочет быть, он сказал безапелляционно:

— Я — масса. Должны же вы все кого-то обслуживать!

В сущности, я не знал никого из моих спутников. Я был знаком с их произведениями, слышал их выступления в Союзе писателей, читал о них, но близко видел впервые.

...Симонов руководил нашим хозяйством мягко, но неуклонно. Так, он ни за что не хотел открыть ящики, предназначенные для Японии, особенно те, в которых были шоколадные наборы или «шикарные» московские папиросы. Он берег это для гостеприимства. Он не терпел никаких поблажек — ни для себя, ни для других. Ко всем поводам для «фракционных выступлений» Горбатова прибавился еще один — шоколад.

— Я не люблю сладкого, — стреляет Горбатов, — но я не могу пить чай без конфет. Я всегда пью чай вприкуску с шоколадом.

— Обойдешься сахаром. Ешь сгущенное молоко.

— Это невозможно. Оно напоминает мне твои произведения: сладко и неестественно. Я не могу питаться такой гадостью. Дай мне шоколаду.

Симонов не дает.

— Я всегда говорил, что ты скупец. Если бы ты был только плохой писатель, я тебе простил бы это — мало ли бездарностей. Вот, например, сидящий тут Леонид Кудреватых. Дело не в том, что он, как и ты, плохой писатель. Он чем плох? Он алкоголик. Однако и это бы еще ничего — мало ли алкоголиков... Но главное — он ханжа.

— Ну почему же ханжа? — говорит Кудреватых, собирая в улыбчатые складки все выпуклости на лице.

— Потому что ты хочешь создать у нас впечатление, что ты не алкоголик. И для этого ты пьешь смехотворно мало. А между тем, по агентурным данным, именно ты и есть самый страшный пьяница из всех журналистов. Не говоря уже о разврате, грязнейшем, в котором ты погряз. Как все агенты буржуазии, ты стремишься усыпить нашу бдительность. Ты боишься, что я напишу на тебя заявление и ты вернешься в Москву уже разоблаченный. Я уже написал на тебя заявление одной даме, к которой ты неравнодушен. Я раскрыл ей глаза на ее ошибку. Этим она избежала еще более страшной ошибки. А то ты бы прельстил ее и навек погубил девушку. Ты мне скажи: сколько у тебя жен только по твоей Горьковской области? Я смотрел по карте место, где ты родился, и сразу видать, что оттуда ничего путного выйти не может.

— Горбатов в своем репертуаре, — жмурится от добродушия Кудреватых. — Срывание всех и всяческих масок на глазах у публики!

— Товарищи! Похлебка готова! — кричит Симонов, врываясь в салон вместе с запахами перца, мяса и чеснока из кухни.

— Очередная отрава готова, — говорит Горбатов. — Дайте мне перед смертью хотя бы выпить пива. Мне точно известно, что Симонов получил директивы отравить всех нас, чтобы приехать в Японию со всеми долларами, которые у нас есть, и там обвенчаться с миллионершей.

— Ты будешь пить свои сто грамм, как и все мы. Пива больше нет.

— Я не пью водки. Я пью только пиво. А пятнадцать тысяч штук папирос, которые я закупил? Их тоже больше нет? Где шоколадный набор? Где вино? Где колбасы?!

— Горбатов прекрасный человек! — возглашает Симонов, картавя на всех «р» и «л». — П'ек'асный че'овек!! Он

мог бы быть еще лучше, но и этого довольно. Друзья, к столу!

В салон вкатывается Муза Николаевна. Она улыбается и кивает, как если бы кругом гремели аплодисменты. Она стенографистка Симонова, так что, вопреки традициям, тут не Муза диктует Поэту, а наоборот. Впрочем, Поэт называет свою Музу по-русски — «чижик» — за ее добродушный и веселый нрав.

На столе дымится похлебка — волшебно ароматическое творение симоновского искусства. Он всегда весело гордится своим чревоугодием и всюду, куда бы ни бросала его судьба, пополняет и без того обширную кулинарную эрудицию. Откуда пришло к нам на стол это дивное блюдо? Из Венгрии? Из Монголии?

Пиршество начинается. Горбатов быстро добреет. Примирительным тоном он отстукивает:

— Я имею секретные инструкции вставить вам всем фитиль и написать о Японии лучше всех. Что я и осуществлю. Легче всего будет справиться с Симоновым. Поскольку своей дутой славой он обязан Музе Николаевне, я сделаю так. Завтра я выиграю у него в преферанс все его деньги, потом переманю Музу к себе и буду делать вид, что диктую ей всякие шедевры. И тогда от Симонова не останется ничего.

— Друзья, хотите, я прочту вам стихи? Я сегодня перевел их с чешского. Очень хороший поэт Незвал, я с ним познакомился в Праге...

— Если ты его переводишь, то, во всяком случае, он не может остаться хорошим. Теперь я понял: ты приковал меня к столу своей похлебкой, чтобы у тебя была побольше аудитория. Дьявольская хитрость!

Симонов читает из Незвала. Переводы удались. Сегодня с самого утра он, лежа на верхней полке своего купе, что-то картавил, дирижировал карандашом, промывал руки лекарством от нервной экземы, которая его мучает, снова бубнил, и вот — получилось.

Я встречал Незвала в Праге. Полный, с большими добрыми руками, с круглым веселым лицом, всегда ожидающий чего-то хорошего от окружающих, человек храбрый, озорной и заботливый... Симонов полюбил его. Он вообще любит людей. Не как натурщиков, а попросту, от полного сердца. И когда он видит, что вы любите кого-то, он относится к этому всерьез, как к важному факту. Мне кажется, что наиболее противоположно ему то понимание мира, когда все окружающее берется под сомнение, все подвергается осмеянию, когда человек за всем видит второй план — план выгоды, хитрости, ловкачества. «Такова жизнь!» — говорится в таких случаях с грустно-ироническим пожиманием плеч. Вот это для него и невыносимо. Вот тут-то он и чернеет лицом, и закидывает назад голову,

и становится начальником... Самое ненавистное слово для него — «филонить», то есть жить, ничего не производя, хотя и делать вид, что работаешь. Казаться деятельным. Ехать на казенных.

Конечно, жизнь не сладкая водица. Очень редко она предлагает возможность комфортабельных решений, когда и долг сыт, и чувства целы. Важно, что эти чувства для него не окурок, а большое дело, так что если приходится ими поступиться, то только ради чего-то большего, что важнее всего не только для него одного.

Словом, переводы получились, и день не прошел даром. Ни один час не должен пройти даром!

Горбатов и я не прочь предаться философическому занятию — раскладывать пасьянс в бесконечные часы путешествия. В нашем поезде смешались времена, московское не хочет уступить новосибирскому, мы едем навстречу солнцу, мы встаем в полдень, ложимся спать утром... В конце концов, пасьянс — безобидное занятие, я видел даже изданные в красках книги, трактующие о пасьянсах. Сколько в них уюта! Симонов сперва заинтересовался было сложными карточными фигурами, которыми мы заполняли обеденный стол и пустое время. Но уже на второй день стало ясно, что это не для него. В карты — пожалуйста. На игру еще можно убить какое-то время.

В карты он играет с азартом. Он заполняет собою всю игру. Он блефует, прикупает, дьявольски рискует. Он агрессивен, хотя без тени какого-нибудь недовольства партнерами. Он отдается игре, как соревнованию, бросается в нее, как в атаку... Так он устроен... отдача, безжалостная трата себя доставляет ему новые силы для действия. Вот бы подсмотреть: как получается такой характер? Гены это или воспитание? Можно ли делать всех детей столь же трудояростными или это «от бога»? Конечно, никакие академии педагогических и любых иных наук ответить на сей вопрос не могут. Да и занимаются ли они подобными проблемами? Между тем тут одна из самых важных тайн нашего познания человека. Именно в преодолении внутреннего сопротивления труду — главный резерв творческих успехов и хозяйственного преуспеяния нашей Родины. Не зря писалось об Обломове, и не случайно Ленин — именно Ленин! — так горячо принимал к сердцу национальную беду, именуемую обломовщиной.

...В стуках на стыках, в качании, в мелькании нечастых станций проходили наши дни, и печальный проводник изредка напоминал нам о том, что надо переставлять стрелку часов. Сибирь бежала мимо нас. Как непохожа она на Европу!

О тайге нельзя сказать, что она стоит, так же как нельзя сказать, что она — лес. Лес — это часть природы, часть ландшафта. Тайга — это мир, это материк. И еще: тайга — огромное, необозримое живое существо. Она то бежит, наклонив стволы в одну сторону, то борется, оставляя на опушках навалы древесных трупов, то ползет вверх по склонам сопок, расставив черные лапы, забираясь ими в овраги, переваливая свое чудовищное тело через хребты... Она — хозяин и главный житель этих пространств. В ней есть нечто допотопное, как в лесах каменноугольного периода. Ее сосны похожи на гигантские хвощи — заостренная прямая палка ствола, и из нее, как из канделябра, выгибаются вверх ветви, тонкие, малохвойные. Эти великаны торчат над суматохой нижних этажей как свидетельство о каких-то катаклизмах растительного мира, которые происходят здесь вне человеческого взгляда. Человеческое время слишком мгновенно для созерцания событий этого организма, чтобы мы могли ощутить его изменения.

Тайга бежала мимо нас, мы врывались в нее, она замыкалась за нами, как океан за кораблем. Казался странным яркий свет в нашем вагоне-снаряде, пронизывающем эту стихию. Крошечный кубик тепла и комфорта, кристаллик Москвы, в котором сохраняемся мы!

Как и предрекал печальный проводник, поворот совершился. Исчез ледок в умывальной, не было больше инея на заклепках. Мы катились на юг почти точно по меридиану — прямо в крымский климат.

Всем надоело ехать. Все скучали, и томились, и молчали, даже за обеденным столом. Только Симонов писал стихи взахлеб. Он приходил ко мне читать новинки.

Моим мнением он интересовался мало. Судя по всему, он считал меня человеком отживших вкусов, близких символизму, акмеизму, в крайнем случае — конструктивизму. По совести говоря, я не был этим особенно озабочен. Сам я стихов уже давно не писал, решив, что на это имеют право только подлинно одаренные люди, а прудить стихотворные болота — просто свинство по отношению к читающим людям. Лично у меня был и остался мой мир поэзии, который мне дорог как часть моей Вселенной. Я не только не умею, но не хочу отворачиваться от музыки стихов, от их индивидуальности, от их необъяснимости, произвола, даже неясности... Поэтому, когда начинается рифмованная публицистика или тексты для романсов, меня корежит, и Симонов не мог этого не видеть.

Между тем я искренне уверен, что «Жди меня» — лучшее лирическое стихотворение, которое было написано за время

войны. Оно свободно от всякой патетики и вместе с тем полно подлинного патриотизма. Оно абсолютно правдиво. В нем есть жажда волшебства, надежда на чудо — остаться в живых, и улыбка над этой мальчишеской верой в добрый рок, и боль опасений за верность любимой, и гордость ее любовью, и нежелание нарушить строгость поэтического вкуса и наговорить грозных или горестных слов, и сквозь все это суровое, солдатское, взрослое — такая юношеская тоска по родному человеку, по любимому сердцу, которое бьется бесконечно далеко... Черт его знает, сколько слилось в этих строчках всего, чем полна была душа человека на фронте!

Об этом я ему тоже не говорил. Но слушатель я хороший. И я старался, чтобы он не очень ясно видел, что его вагонная лирика мне не нравится. Я знаю также, что критика моя ничему не помогла бы.

Но я по-прежнему твердо уверен, что стихи для того и стихи, чтобы не быть прозой.

Первое, что я увидел во Владивостоке, была фотография в местной газете нас четверых — фотография неузнаваемая, сводящая скулы. И под ней были напечатаны новые стихи Симонова. Вполне под стать фотографии.

О, если б знала ты, как я люблю тебя!

А потом эти же стихи он читал в рабочем клубе и во флотских экипажах, и я видел молодые разгоревшиеся лица матросов и работниц, слышал грохот их аплодисментов. Это была лавина радости, молодости, счастья. Вероятно, он понимал что-то, что мне было недоступно.

А может быть, он не хотел понимать чего-то, что было не нужно или непонятно этим молодым людям...

Наконец-то мы едем на аэродром. Пейзаж по дороге как в окрестностях Севастополя. Двухмоторная амфибия типа «Каталина» ждет на фоне восходящего солнца...

Мы приземлились в Ацуги уже вечером. Втюковались в машины и поехали «до горо́ду Токио». Все молчали. Я чувствовал себя скверно, что касается Симонова, он продиктовал на следующий день:

«...По бокам дороги мелькали бумажные окна и стены придорожных домиков, иногда темные, иногда освещенные изнутри... Первое ощущение — это теплынь, тишина, какая-то легкость, разлитая в воздухе. ...Почему-то мне нравится приезжать в чужую страну, на чужое и новое место, ночью, вот в такую теплую ночь. Это как-то многообещающе, чуть-чуть таинственно, словом, хорошо».

Несомненно, это было именно так. Во всяком случае, я хотел бы, чтобы это мог записать и я. Но я был занят своей усталостью. Самым радостным в поездке из Ацуги для меня был момент, когда в черном зеркале воды вдруг перед нами засияли какие-то буквы. Это было отражение неоновых надписей. Там сияло по-английски:

МЕРРИ КРИСТМАС
ВЕСЕЛОЕ РОЖДЕСТВО

и рядом:

ПРИВЕТ ТЕБЕ, СТАРЫЙ ДРУГ!

Мне объяснили, что это генерал Макартур, новый владыка Японии, приветствует на всю столицу какого-то своего однокашника, который должен приехать в Токио.

. . . .

...Симонов был у Макартура. Он пришел от него иронически-злой и сказал, что обещал «владыке» никому ничего не рассказывать об их беседе.

Симонов сдержал свое обещание Макартуру. Только через несколько лет после возвращения в Москву он дал мне прочесть свои записи об этом визите. Вот некоторые выдержки:

«...Генерал Беккер на этот раз был любезнее, чем тогда, когда мы были у него в оффисе. Он сказал, что Макартур хочет меня видеть, но перед этим просил предупредить меня о двух обстоятельствах.

— О каких? — спросил я.

Во-первых, чтобы я не говорил никому из корреспондентов о своем посещении его...

Я сказал, что, конечно, я никому ничего не скажу.

— Кроме того, — продолжал Беккер, — просьба ничего не писать об этом посещении в прессе... Свидание будет неофициальным.

Я, улыбнувшись, заверил, что я не собираюсь ничего писать, и это было истинной правдой.

— Кроме того, — добавил Беккер, — я вас прошу ничего не передавать кодом, то есть шифром.

Я пожал плечами...

Это было, во-первых, бестактно с его стороны, а во-вторых, меня поразила глупость самой идеи, что я буду передавать к о д о м (?) что-то о свидании с Макартуром. Кому, зачем и о чем?..

Макартур, когда я вошел, стоял у стола, держа в зубах огромную трубку, такую огромную, что он все время поддер-

живал ее рукой. Это была подчеркнуто простая солдатская трубка. Далеко отставляя трубку от тела, Макартур сделал два или три шага мне навстречу, энергично пожал мне руку и пригласил сесть...

...Макартур — высокий человек, довольно широкоплечий... Он выглядел гораздо моложе своих шестидесяти лет. Лицо сухощавое, которое можно было бы назвать красивым, если бы не какая-то излишняя резкость во всех его чертах. Он, несомненно, был военным до мозга костей, это чувствовалось. Но в то же время в том, как он двигался, как слишком прямо держал корпус и голову, как слишком резко придвигал и отодвигал руку с трубкой, как тоже слишком резко и отчетливо попыхивал этой трубкой, и по тому, какая большая и грубая была эта трубка, и даже в подчеркнутой простоте его одежды была некая излишняя аффектация... Десять дней спустя, когда мы разговаривали со знаменитым актером театра Кабуки, Оноэ, человеком его лет, и тот распахнул кимоно и потребовал, чтобы мы потрогали мускулы его ноги в доказательство того, что они действительно железные, мне вспомнился Макартур. Что-то от актера было в нем. По-моему, он в жизни беспрерывно показывал людям свою мускулатуру, конечно, не в буквальном смысле слова.

...Разговор длился минут пятнадцать, был коротким и бессодержательным. В сущности, не о чем было мне говорить с Макартуром и тем более ему со мной...»

Американское командование обстоятельно объяснило нам, что ехать на машинах в Южную Японию не следует. Дороги, видите ли, плохие, возможны инфекционные заболевания, наконец, американское командование не может дать гарантию безопасности русских, да и гостиницы полны блох... Словом, необходимо подождать. Между тем украинское упорство адмирала Стеценко наконец увенчалось успехом, и штаб генерала Макартура предоставил ему возможность посетить военно-морские базы Японии, расположенные на западе и юго-западе.

И он взял нас с собою — Симонова и меня.

Накануне был банкет в нашу честь в газете «Асахи», было крупно пито (проклятое обыкновение превращать друг друга в больных!), ночь прошла тяжко от рентанов — печек дифференциального действия, которые выпускают тепло на улицу, а вонь в комнату, и вот мы оказались в раю — в специальном вагоне адмирала.

Это был японский вагон первого класса, но по борту он имел белую полосу и надпись «Цинциннати». Рядом шел такой же вагон с надписью «Гарвард». Чтобы как можно больше Америки и как можно меньше Японии.

Во избежание теоретически мыслимых покушений на русских со стороны «туземцев» у нас в вагоне оказался пост «Эм-Пи» — «милитэри полис» — военной американской полиции: четверка молодцов под управлением толстяка, курчавого брюнета с лицом пожилого амура турецкого происхождения. Все они были снабжены, увешаны и напиханы огромным количеством всяких вещей, что является вообще национальной особенностью американцев: фотоаппараты, бинокли, вечные ручки, термосы, трубки, сигары, сигареты, жевательные резинки, шоколадные брикеты, ножи с ручками в виде голых бедер эмалевых гёрлс, бумажники с «молниями», карманные детективы — опять с голыми бедрами гёрлс, очки против солнца и очки против пыли, записные книжки с листиками мыла вместо бумаги, бумага вместо носовых платков, кожаные обшлага на рукавах и штанинах, всякие пряжки, застежки, ремни, карабинчики, браслеты с часами и без часов, — и все это «лучшее в мире!». Все это как бы вращалось вокруг них, образуя некий электронный рой «высшей культуры», отделявший их от окружающего, и прежде всего от «джапов», что по-американски значит «япошки».

Поскольку и этот вагон, и все наше путешествие являлись частью какой-то военно-дипломатической игры, я должен дипломатически оговориться, что сопровождавшие нас лица были отменно милы и в пути не обращали на нас внимания, занятые изучением местных порнографических изданий и пивом. Мужественный амур был озабочен тем, чтобы все было «о'кей». Поэтому в вагоне топили так, что нам грозило превратиться в тушенку, из кранов умывальников хлестал кипяток, лампочки менялись каждые два часа, ибо они перегорали от сверхнакала, и японские бои, милые испуганные мальчуганы, не давали нам покоя со своими щетками и метелками... То и дело нас приглашали к столу, где нам предлагались всевозможные пищевые препараты, тоже лучшие в мире, — во всяком случае, столь яркой окраски, как будто они были сделаны посредством цветной фотографии.

Я устроился за столиком у окна и смотрел на Японию из «Цинциннати», как из космического корабля. Что же еще оставалось?!

Впрочем, Симонов с его беркутовой хваткой сразу стал интервьюировать мистера Д., американского переводчика, и сразу узнал массу оригинального. Оказалось, что у Д. домик в Огайо, там у него жена, он в отчаянье, что из-за поездки с нами десять дней не будет читать от нее писем... но зато в Токио он прочтет сразу десять штук, командование предоставит ему прямой телефонный разговор с Огайо... и он скоро демобилизуется и наконец заживет всласть в Огайо! Только бы скорее убраться отсюда!

Поскольку совершенно такую же историю и с тем же

припевом «скорее отсюда» я слышал в Токио от другого американца, только там было не Огайо, а Техас, я предложил Симонову составить одно интервью из двух. Мы посмеялись, хотя, в сущности, ничего веселого в этом не было.

Круиз со строгой изоляцией начался. В оконном иллюминаторе мчалась Япония, и глаз от нее нельзя было оторвать!

. . . .

. . . .

...По-видимому, по всей трассе нашей поездки была дана инструкция, как с нами обходиться, ибо метод обхождения был везде один и тот же.

Вот останавливается «Цинциннати». Эмписты уже на перроне. На всю длину наших вагонов асфальт очищен от «джапов». Обмен рукопожатиями с встречающими, нас вываливают в машины и мчат с возможной скоростью на «парти».

«Парти» — это специальный вид военно-дипломатического кретинизма. Он состоит в том, чтобы как можно меньше выпить самому и как можно больше влить в другого. Выпивание производится под примитивные остроты (с участием переводчика) и под междометия и деланный хохот (без переводчика). Обе стороны отлично понимают, что занимаются чепухой, но так приказано нашим хозяевам, а нам остается только «быть на высоте». Эта высота выдерживалась вполне вследствие крупного перевеса питейных способностей с нашей стороны, но я не видел в том особенной чести.

Я дивился на Симонова. На этих проклятых «парти» он бывал всегда залихватски весел и выглядел простаком, которому некуда девать молодую силу, хотя я знал отлично, что он, во-первых, дьявольски устал после четырех лет фронта, во-вторых, отнюдь не чемпион здоровья и, в-третьих, все замечает, все понимает и сегодня же вечером или завтра утром будет диктовать очередные из тех полутора тысяч страниц, которые он привез с собой после ста дней пребывания в Японии. Только однажды я видел, как после нескольких часов вот этакого идиотского провождения времени он пришел в ярость. Он встал с кресла и предложил кому-то из американцев сыграть в пинг-понг. Несмотря на выпитое, он играл как зверь. Я знаю за ним это свойство — чернеть от гнева. Так вот — черный, с поджатыми губами, не замечая ничего кругом, он колотил по очереди одного за другим наших хозяев, — непонятно, откуда у него брались силы.

— Уж очень осточертели, — сказал он в машине.

...На одной из баз возле пирса были пришвартованы большие подводные лодки, и одна из них — немецкая, длинная, острая... так сказать, «ось Берлин — Токио». Вероятно, она привезла в Японию то ли документы, то ли какие-нибудь приборы и уже не вернулась в Германию. В один миг Симонов

оказался на ее палубе. Вот его запись об этом, которую он продиктовал Музе Николаевне вечером и потом позволил привести в моих воспоминаниях:

«...Взяв фонарик, я спустился в люк и добрался до центрального поста. Все подводные лодки похожи друг на друга, и здесь, в Японии, на немецкой лодке, мне невольно вспомнилось начало войны и мое плавание по Черному морю в Констанцу на нашей лодке. И боже мой! — как все это сейчас далеко! И странно, что я жив и что нахожусь вот здесь...

Необъяснимое чувство тоски охватило меня в этой лодке. Странно было еще и то, что внутри горел свет... почти через полгода после капитуляции. Он горел всего в двух отсеках. Видимо, эти лампочки были подключены на питание к аккумуляторам, и они могли гореть тут не только полгода, но еще год, учитывая громадную аккумуляторную мощность на подводных лодках. Хотя это было очень простое объяснение, но в том, что внутри свет горел, было в то же время что-то странное. И рождалась какая-то опаска. И казалось, что из соседнего отсека через дверь вдруг вылезет какой-то немец, подполковник, прячущийся здесь все эти полгода. Это, конечно, глупость...»

* * *

Срок отъезда приближался. Весна рвалась на Японские острова. Вместе с буйными ветрами прилетали жаркие денечки, предвестники того, что лето в Токио невыносимо. Мы кончали наши дела — передали общее имущество советским организациям, расплатились с персоналом, устроили расставальный банкет, нанесли прощальные визиты, упаковали вещи, книги, материалы, сувениры... Все было готово, и наконец — завтра едем!

И назавтра — ураган. Дождь. Холод. Сведения о погоде самые погребальные. И все-таки надо ехать. Оставаться уже нет сил, тем более что напитываться еще новыми впечатлениями и сведениями — это как после сытного обеда опять приниматься за борщ.

Мы едем в порт.

С нами — наш адмирал. Теперь он принял командование. Мы превратились в морскую пехоту, а он стал замкнут и молчалив. Не слышно даже его любимого междометия «тю-ю-ю-ю!», которое он произносит всегда в моменты неожиданных событий. Наши шоферы в белых воротничках, как если бы мы были послы всех главных держав, они захлопывают за нами дверки машин.

Прощай, Япония!

...Как бы не так! Все это совсем не просто.

В порту нам под ноги бросает ветер горох дождя, в мутной

серости еле разобрать небольшие военные фрегаты, которые даже под защитой мола кланяются буре, а уж что там будет, в открытом море, известно одному господу да императору... Муза бледна, ее губы шепчут по привычке какие-то японские слова...

Что же, пойдем? Или не пойдем?

— Поехали обедать? — предлагает Симонов, посмотрев на часы.

Адмирал пожимает плечами. Он стоит, глядя в небо. Потом опускает голову и молча лезет в машину.

Кортеж направляется в «Империал-отель» — обедать. Это лучший вариант в такую погоду. В ацтекском зале серо-бежевого туфа, под хрусталями, в хрусталях, на крахмальности и фарфорности, под мелодию и тихий говор элиты мы оттягиваем процедуру качки и океанской беспризорности, нам предстоящие.

В три мы были опять на пирсе.

Адмирал опять смотрел в небо, потом дал какие-то приказания, и мы увидели, что один из фрегатов разворачивается возле стенки при помощи хлопотливого и чернодымного буксира.

Шторм по-прежнему бушевал в море, но на берегу начал бушевать Стеценко. Ему доложили, что какое-то японское судно вышло в море. Это привело его в ярость.

— Японский торгаш ушел, а мы, военные моряки, должны бултыхаться у пирса?! Немедленно принимайте пассажиров!

Было ясно: наш час пробил. Наскоро пожав чьи-то руки, мы кое-как вскарабкались на палубу. Буксир, покрутившись возле — теперь он был где-то внизу, — быстро исчез. Лица пробегавших по палубе моряков сосредоточенны и злы.

Взяв носовую чалку, мы разворачиваемся у стенки, даем гудок и шпарим прямо к выходу в море. Наши автомобили, наши провожатые почти тотчас исчезают из глаз за пеленой не то дождя, не то тумана...

Шустрый фрегатик проносится мимо конца мола и сразу становится на дыбы. Море хватает нас, как погремушку. Чаек уже нет, они не прилипают больше к волне на секунду, они не кричат больше в своей драке с ветром... А ветер срывает стружку с огромных волн и дробью сбрасывает ее на палубу с подветренной стороны, — и счастье, что есть за что схватиться!

...В ушах у меня катается свинец, я лечу вниз, я взмываю вверх, — ни зги впереди... Может, уползти в каюту? Лечь, раскинув циркулем ноги, чтобы не скатиться с койки?.. Нет, уж лучше тут — всем ветрам назло.

...Утром я не сразу понял, что качки нет. Умывшись, я поднялся на палубу. Мы шли как в перламутре, где-то розоватом, где-то лиловатом. Ни берегов, ни облаков. Матрос сидел

на самом рожне фрегата и вдруг кричал: «Бочка по правому борту!» И снова тихо, только шелест воды. Впереди, как сгущение атмосферы, далеко обозначался флагман. Какие-то темные птицы кругами ходили вокруг корабля, касаясь воды лезвиями крыльев, иногда, как бы врезаясь в зеленый мармелад волны, когда гребень скрывал их за собой. Все повеселели, и только Муза с трудом возвращалась к норме бытия...

...Вечером Симонов пригласил нас на сукияки собственного приготовления. К этому времени он получил признание всего экипажа, и я не удивился бы, если по его команде аквалангисты отправились бы под воду за морской капустой для приправы к его кулинарным творениям...

В тесной кают-компании собрался экипаж, и был устроен литературный вечер. Симонов читал свои стихи. Среди них были очень хорошие, а некоторые ужасно плохие. Но милые лица передо мной как уставились на него своими мальчишечьими глазами, так и глядели до конца, и это было лучше любых похвал!

И я готов был признать, что все читанные стихи преотличны.

Перед сном я вышел на нос. Стоя на острие корабля, я чувствовал как будто бесконечное падение в пространство, лишенное света и звука: то ли я, то ли вся жизнь моя падали куда-то, освобождаясь от напрасного, открываясь чему-то огромному, ласково ожидающему меня. Навстречу с еле слышным шипением неслись тускло-зеленоватые бесформенности, да впереди — или внизу? — в бездне миров тоже падал и не удалялся светлячок флагмана.

Переделкино

28/VI 1973

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВОСПОМИНАНИЯМ БОРИСА АГАПОВА

Эти воспоминания составляют часть очерков Бориса Николаевича Агапова (1899—1973) о Японии, над которыми он очень долго, много лет, работал и которые были напечатаны в его книге «Шесть заграниц» в 1974 году, вскоре после его кончины.

И сами очерки, и воспоминания о Симонове в Японии возникли как результат совместной поездки в Японию в конце 1945 — начале 1946 года четырех писателей: Б. Н. Агапова, Б. Л. Горбатова, Л. А. Кудреватых, К. М. Симонова. Сам Константин Михайлович очень высоко ценил эту книгу вообще, и в частности — как «добрую по отношению ко всем нам — его тогдашним спутникам».

Вот как он сам рассказывает об этом:

«Впоследствии, работая над книгой, он (Агапов. — *Л. Ж.*) сетовал, что в свое время многого не записал, и, для проверки памяти прочитав мои дневники, попросил позволения привести несколько выдержек из них в своей книге. Я сказал, что буду очень рад этому.

— И вам нисколько, ничуточки не жалко? — почему-то улыбнувшись моей готовности, спросил Борис Николаевич.

— Ничуточки. А почему вы спрашиваете?

— А потому, что я на вашем месте, наверное, сам бы напечатал эти дневники...»

Надо сказать, что К. М. Симонов послушался Агапова и действительно, уже в 1977 году, выпустил книгу «Япония—46» (изд. «Советская Россия»), в которой опубликовал часть своих японских дневников, добавив их к изданным ранее рассказам о японском искусстве. Предисловие автора к этой книге мы и цитировали выше. В нашем тексте выдержки дневников Симонова, взятые Агаповым с разрешения автора, выделяются курсивом.

Когда Агапов окончил работу, он прислал Константину Михайловичу большое письмо (12.8.1973) со всеми выбранными им из дневников цитатами, в котором писал:

«Я сдал в «Советский писатель» книжку о своих зарубежных поездках... Там и о нашем путешествии в Японию — листов восемь. Сперва я хотел послать вам все, что написал о вас в этом творении. Потом, по зрелом размышлении, отменил это решение. Ведь таким образом я поставил бы вас в неловкое положение — апробировать, например, хорошие слова о вас или, скажем, запретить плохие слова о вас. И я каким-то образом как бы уклонялся от ответственности за написанное. Поэтому я решил послать вам только то, что я взял из Японских тетрадей. Должен сказать, что тетради очень хорошие, я читал их с увлечением и еще больше убеждался в силе наблюдательности, точности и здравости анализа их автора. Поэтому — большое спасибо!»

Л. Жадова



В Японии. 1946 г. Справа налево: К. Симонов, Б. Горбатов, Б. Агапов, Л. Кудреватых

Леонид КУДРЕВАТЫХ

В ЯПОНИИ И ПОСЛЕ

26 сентября 1945 года я записал в дневнике: «Ночью позвонил из Москвы Леонид Федорович Ильичев (редактор «Известий»): «Немедленно трогайтесь в Москву!» Спрашиваю: «Что случилось? Вы сами отправили меня на отдых. Передохнуть надо. Четыре года войны, и после нее без передышки две нелегкие поездки с западными журналистами, аккредитованными в Москве, в Польшу и Югославию. Теперь опять куда-то лететь?» — «На этот раз не на запад, а на восток. В Японию. Да и компания какая! Симонов, Горбатов, Агапов и вы. Послезавтра жду».

До утра я уже не сомкнул глаз. Значит, снова в путь. Неведомая Япония. Неповторимая природа. Самобытные нравы. Древнейшая культура. А компания?!

Борис Агапов знаком мне с первой пятилетки. Он приезжал

на строительство Нижегородского, ныне Горьковского, автозавода.

С Борисом Горбатовым мы знакомы тоже давно. Взаимная приязнь, переросшая в дружбу, возникла еще до войны.

А Симонова я впервые увидел в лифте редакции «Известий» в июле 1941 года. Поднимались на шестой этаж: Борис Белогородский, заведовавший только что созданным военным отделом газеты, я и молодой человек в ладно сидящей на нем военной форме с двумя шпалами в петлицах, с поскрипывающими при движении портупеями, в до блеска начищенных сапогах.

— Вы не знакомы? — спросил Белогородский и тут же представил: — Константин Симонов, до сегодняшнего дня наш специальный военный корреспондент, но, увы, его забирает «Красная звезда».

С той поры зародились наши добрые отношения, сохранившиеся до последних дней жизни Симонова.

...Приехав в Москву, я предстал пред очами Леонида Федоровича Ильичева. Он спросил:

— Довольны предстоящей поездкой?

— Еще бы! В такую страну и в таком обществе! — ответил я.

Сейчас, когда я пишу эти строки, с душевной болью думаю: из нас четверых в живых остался я один. Это и побуждает меня рассказать о поездке в Японию с Константином Симоновым, о ста днях, проведенных там рядом с ним.

Сборы наши неожиданно затянулись. Агапов отдыхал на юге, Горбатов был на Балканах, Симонов что-то писал «в укрытии». А когда все собрались в Москве, то выяснилось, что никто не мог нам толком объяснить: с какой целью мы едем в Японию, надолго ли, кто нашу поездку будет финансировать, как мы будем туда добираться? Кроме советской военной миссии, оставшейся в Токио после капитуляции Японии, никакого советского представительства там не было. Не было ни воздушного, ни морского прямого сообщения.

За разъяснениями пошли к заместителю министра иностранных дел С. А. Лозовскому. Его ответ был коротким, но ничего не разъяснившим:

— Постановление о вашей поездке в Японию подписано в самых высоких инстанциях. Там только названы ваши фамилии, причем против Горбатова в скобках указано — руководитель. И больше ни одного слова. Добейтесь объяснений в МИДе.

Когда мы вышли из МИДа, Горбатов взбунтовался:

— Какой я, к черту, руководитель? С таким капитаном все пойдем ко дну. Пусть руководителем будет Костя. Он самый молодой из нас, самый энергичный. Он все знает, все умеет, никакого начальства не боится.

Аргументы Горбатова оказались настолько убедительными, что мы, вопреки решению, сделали Симонова «главным», возложив на него все хлопоты о наших делах. И все сдвинулось с места. Симонов за несколько дней побывал у всех, кто мог разъяснить цель поездки. Определились и источники финансирования, пути оформления выездных документов и многое другое.

Симонов, Горбатов и я уже более четырех лет ходили в военной форме. Приличной гражданской одежды в ту пору у нас не было. И об этом тоже позаботился Симонов. Мы приехали на какой-то склад, где выбрали материалы на костюмы. На прилавке появилось жгуче-фиолетовое трикотажное мужское белье.

— В таком белье только любовниц ночью пугать, — весело заметил Симонов. — Пижамный материал у вас есть? Вот и дайте нам его для одной пары на каждого.

Цивильную одежду сработали нам за одни сутки в мидовской мастерской.

Главнокомандующий американскими войсками в Японии генерал Макартур на второй день после подписания на «Миссури» акта о капитуляции Японии выслал из Токио всех советских журналистов, кроме корреспондентов ТАСС, участвовавших в историческом событии. Мотивы? «В моем штабе не знают таких журналистов. Может быть, они шпионы?»

Понаслышке зная нрав Макартура, Константин Симонов, встретившись на каком-то приеме с послом США в СССР Гарриманом, попросил у него рекомендательное письмо к Макартуру.

Через несколько дней он уже имел это письмо в кармане. Все мы поименно назывались его, Гарримана, друзьями, видными советскими писателями и журналистами. Он, Гарриман, просил полного содействия штаба Макартура нашей работе в Японии.

...Все уладилось. Мы уже в вагоне, удобно устроились, едем. Теперь можно передохнуть, полюбоваться пейзажами. Но где тут! Едва миновали московские пригороды, Симонов пригласил в салон и сказал:

— До Владивостока прочитать всю библиотеку книг о Японии, с таким усердием собранную Борисом Николаевичем. Установим такой порядок: каждый из нас в какой-то срок читает одну книгу, а вечером конспективно рассказывает ее содержание, более примечательные места цитирует. Чтобы не задавать в Японии глупых вопросов, обнажающих наше невежество, мы, хотя бы по этим книгам, обязаны узнать как можно больше о стране, о нравах и быте народа.

...Наконец доехали до Владивостока. Устроились в гостинице «Челюскин» и сразу же попали с корабля на бал: нас

пригласили на «литературный четверг» в редакцию краевой газеты «Красное знамя». В полночь ушли из редакции и попали на вечеринку, устроенную местными актерами.

На следующий день, пока мы спали, Симонов уже побывал у какого-то начальства, выяснил, когда и на чем мы будем добираться до Токио. Вернулся, доложил:

— Есть указание из Москвы отправить нас по воздуху на двух «Каталинах». С одной пойдут продукты, на другой полетим мы.

В номере гостиницы не умолкал телефон. Бывший редактор «Красного знамени» Вагин, с которым я недавно отдыхал в санатории, вспоминал:

— Ваше недолгое пребывание во Владивостоке запомнилось на всю жизнь. В те дни я не столько работал, сколько разговаривал по телефону. Звонили из разных организаций, военных и не военных, просили устроить у них литературный вечер с вашим участием. Особенно им хотелось послушать стихи Симонова. Крайком партии поручил мне регулировать «посягательство» на вас. Я переговорил с Симоновым. Он сказал: «Нагружайте до предела, сил у нас хватит».

Мои дневниковые записи свидетельствуют: нагрузка была большая, сил наших едва хватило.

Три дня мы пробыли во Владивостоке и отправились на аэродром.

«Каталина» — самолет-амфибия. Она с одинаковым успехом садится и на воду, и на сушу. Ее корпус напоминает старинный волжский челн, только закрытый. Мы шли рядом со второй машиной. Через окно я видел: чуть-чуть впереди нас идет челн эпохи Степана Разина. Сверху он окрашен в ярко-зеленый цвет с черными пометами, а низ, вернее, днище — белизны снега. Только широкое и очень длинное крыло напоминает неподвижное, брошенное в воздушный океан весло.

В Японии по предложению Симонова каждому был определен круг основных проблем, чтобы мы могли как можно глубже вникнуть в суть этой проблемы с философской, исторической и политической сторон. Установили также, что ездим по стране не скопом, а по двое или даже в одиночестве, с тем чтобы в совокупности охватить всю территорию Японии, повидать все, что можно. Правда, в Хиросиме и Нагасаки мы еще в январе побывали попарно. Киотский куст тоже посетили все.

Не надеясь на точность памяти, обращаюсь к своим дневникам:

«*25 января 1946 года*. Наше пребывание здесь нашло уже отклик. В одной американской газете напечатана заметка о том, что в Токио прибыли четыре советских журналиста. Их груди увешаны орденами (мы приехали в гражданской одежде

и ни одной награды не носили), ведут себя дерзко, ни с кем не разговаривают, делают вид, что не знают английский язык, а на самом деле его хорошо знают. (К великому сожалению, ни один из нас не владел никаким языком, кроме русского; правда, Горбатов знал еще украинский. — *Л. К.*) Эти корреспонденты, — написано в заметке, — добивались приема у Макартура, их не принимали, но потом приняли. Макартур спросил: «Что вам нужно?», они ответили: «Карандаш и бумага».

Некоторые американские журналисты, с которыми мы уже познакомились, подходили к нам (клуб журналистов мы посещаем почти каждый день, когда находимся в Токио), выражали возмущение.

Мы уже было плюнули на всю историйку, как вдруг вчера, после ужина, на доске объявлений, что висела в вестибюле, увидели вырезку из американской газеты с самой заметкой. Тут же приклеен ответ группы американских корреспондентов. В нем опровергались вымыслы автора-пасквилянта и написаны всякие добрые слова о нашей группе; в частности, было отмечено, что имена Симонова и Горбатова хорошо известны в Америке. К опровержению прикреплен лист чистой бумаги для подписей. Их было уже около двадцати.

Теперь уже не могли остаться безучастными и мы. Написали слова признательности тем, кто выступил против автора статьи. Константин Симонов от себя добавил: «Приглашаю автора заметки, если он того захочет, зайти в наш дом, где я объясню ему, как русские разговаривают с клеветниками...»

Когда на доске объявлений появилось наше добавление, то подписей под опровержением стало уже тридцать шесть (клуб насчитывал около шестидесяти членов)».

«*26 января.* Можно себе представить наше удивление: пришли в клуб пообедать и увидели доску объявлений чистой: ни одной бумажки. Оказывается, ночью пришел капитан из штаба Макартура и снял весь «уголок», связанный со злополучной заметкой».

Пишу эти строки и думаю: минуло более тридцати пяти лет, а желтая буржуазная журналистика осталась такой же... У Константина Симонова есть стихотворение «В корреспондентском клубе», написанное в 1948 году. Оно перекликается с тем, что было в Японии, и с тем, что случается и сейчас:

Опять в газетах пишут о войне,
Опять ругают русских и Россию,
И переводчик переводит мне
С чужим акцентом их слова чужие.

Шанхайский журналист, прохвост из «Чайна Ньюс»,
Идет ко мне с бутылкою, наверно,
В душе мечтает, что я вдруг напьюсь
И что-нибудь скажу о «кознях Коминтерна...»

«*2 января 1946 года.* 31 декабря в девять вечера мы вместе с генерал-майором Вороновым и контр-адмиралом Стеценко были на новогоднем вечере в обществе штаба Макартура».

Позднее Симонов напишет:

Новогодняя ночь,
новогодняя ночь!
Новогодняя — первая после войны.
Как бы дома хотел я ее провести,
чтобы — я,
чтобы — ты,
чтоб — друзья...
Но нельзя!
...«Мистер Симонов» — карточка там на столе,
чтоб средь мистеров прочих
нашел свой прибор,
чтобы с кем посадили —
с тем и вел разговор.
...А за окнами дождик японский пронзительный,
а за окнами Токио в щебне и камне..

Заключительные строки большого стихотворения, написанные в 1954 году, звучат весьма современно:

Новогодняя ночь,
новогодняя ночь!
Не была ль ты проверкою после войны,
как мы в силах по дому тоску превозмочь
и как правилам боя остались верны
на пороге «холодной войны»?
...Нам мечталась та ночь
вся в огнях,
в чудесах,
вся одетая в русской зимы красоту,
а досталось в ту ночь
простоять на часах
под чужими дождями,
на дальнем посту!..

«*9 января 1946 года.* Вчера, прежде чем поехать в семью эмигранта Воеводина, получающего советский паспорт, зашли в нашу военную миссию. И сразу в кабинет генерала Воронова. Генерал подал Симонову телеграмму С. А. Лозовского. В ней сообщалось о выдвижении Симонова кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР по Ярцевскому избирательному округу. Для Симонова такая весть оказалась столь неожиданной, что он растерялся... Лицо налилось румянцем. Сел. Молчит. Такое доверие партии и народа, такое признание значения писательской и журналистской деятельности!

Коллективно составили ответную телеграмму — Симонов

благодарит за высокое доверие и дает согласие баллотироваться по этому избирательному округу. Прошел примерно час, и Симонов сказал:

— Знаете, откровенно говоря, я несказанно рад.

Рад не только Симонов. Рады и мы. Он энергичный, темпераментный человек. Он хороший, добрый товарищ. Талантливый поэт. Идет самостоятельной дорогой. Лишен и тени подхалимства и заискивания. А самое главное — чертовски трудолюбив, деятелен. Он не пижон в литературе и журналистике, а чернорабочий».

Еще страничка из моего дневника:

«*26 января.* Интересной была вторая половина дня. Симонов, Агапов и я ездили на обед к крупнейшему японскому композитору Ямада, родоначальнику новой японской музыки. Она сродни современной, европейской. Симонов дотошно интересовался историей развития японской музыкальной культуры и театра. Ямада высоко ценит русских композиторов, с некоторыми он в свое время дружил, когда недолго жил в России.

Обед — изысканные японские блюда. Я, например, впервые в жизни ел каракатицу, нарезанную ломтиками, а морского рака подали в собственной броне.

«Забавно, но чертовски вкусно», — сказал Симонов, когда мы возвращались от Ямады. Вообще Костя любитель всего нового, неожиданного. Он с удовольствием уплетает морскую траву — еду японских крестьян. Где-то у кого-то ел черепаший суп и хвалил его. Ел и молодой бамбук. Раза два он уже сводил нас в ресторан и угощал сукияки — тонко нарезанные, почти прозрачные листики мяса. Они жарились в сосуде на электрических плитках в каком-то масле. Симонов лучше нас орудовал хащами — двумя деревянными палочками, заменявшими вилку, подчеркнуто легко брал ими мясо, обмакивал в соевый сок и отправлял в рот. Его лицо выражало полное удовольствие. Его все интересует, всем новым ощущениям он рад и счастлив».

«*27 января.* Мы уже месяц в Японии. До отказа загружен каждый день, распланирован каждый час. Спим по пять-шесть часов в сутки. Симонов к тому же каждое раннее утро диктует Музе Николаевне свои дневники. Он все успевает. Он в центре всех событий, связанных с нашим пребыванием в Японии. Точен и обязателен. По его инициативе наш дом посещают десятки интересных людей.

В два часа дня состоялась встреча в редакции газеты «Асахи» с группой японских писателей. Были Симонов и я. Знакомили слушателей с организацией и системой руководства советской культуры. Беседа продолжалась ни много ни мало пять часов. Конечно, говорил и отвечал на вопросы в основном Костя. Его тут все знают. Беседа стенографирова-

лась, ее опубликуют в первом номере нового журнала, который начинает издавать «Асахи».

Пресс-конференции, ответы на вопросы на встречах в редакциях разных газет и беседах с разными группами лиц, выступления по радио — все вошло в обиход нашей жизни, отнимает немало времени и требует нервного напряжения. Наш страж и руководитель Симонов неослабно следит, чтобы никто не смел отказываться ни от какого предложения. «Нам нужно рассеивать тучи лжи, накопившиеся над Японией почти за три десятилетия», — не раз говорил он нам...»

«*29 января.* ...В полдень к нам приехали адмирал Стеценко и пресс-аташе Цихоня. Не без удовольствия они сообщили, что московское радио только что передало сообщение о присуждении очередных Сталинских премий. Константин Симонов — третий раз лауреат. Оба Бориса — Агапов и Горбатов — тоже стали лауреатами».

«*1 февраля.* ...Наша жизнь полностью вошла в рабочую колею. Все работаем, записываем об увиденном и услышанном. Симонов только что продиктовал Музе Николаевне несколько новелл, сразу можно сдавать в печать — такова их литературная готовность».

«*9 февраля.* Пока я потратил несколько дней, чтобы записать свои впечатления о пятидневном пребывании в деревне Хираска, Симонов уже вернулся из пятидневной поездки в имение графа Хидзиката. Интереснейший граф! Его в Японии зовут красным графом. Он — создатель революционного драматического театра. Вместе с двумя сыновьями, ныне нашими переводчиками, несколько лет прожил в Советском Союзе, был режиссером московских театров. Старший сын Виктор и Муза Николаевна, сопровождавшие Симонова в этой поездке, рассказывали, что Симонов был занят по двадцать часов в сутки.

— Беседовал минимум с двадцатью крестьянами. Две ночи провел в крестьянских домах, — заметил Виктор Хидзиката.

— Надиктовал: будет не менее двухсотпятидесяти страниц на машинке о беседах с крестьянами, — добавила Муза Николаевна.

Симонов тоже восторженно говорил о поездке, о Хидзиката, о «красном графе» ныне коммунисте. И неожиданно прочитал стихотворение «Хибачи» написанное недавно. Оно начиналось так:

В тонком доме над рекою
У хибачи греем руки...»

«*10 февраля.* ...Вчера вечером Симонов, Горбатов и я побывали на кинофабрике. Не обошлось без обстоятельной беседы о советском кино. Нам показали картину «Урок сочинения». Поставлена в 1938 году. Главную роль ученицы из бедной

рабочей семьи талантливо исполняет ныне известная киноактриса Хидяко Такамине. Тогда ей было 14 лет. Она охотно с нами сфотографировалась. Когда мы возвращались домой, Симонов сказал: «Мне очень хочется самому поставить кинокартину: я — сценарист и режиссер-постановщик! Может быть, начну с документального кино, но обязательно начну».

Утром сегодня у нас было большое событие. Всей советской колонией ездили на причалившие вчера в Токийском порту два советских корабля. Голосовали за кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР — адмирала Юмашева и секретаря Дальневосточного крайкома партии Пегова. Симонов в эти минуты выглядел сосредоточенным и торжественным. Вот так же в Ярцевском избирательном округе Смоленской области советские люди голосуют за него, Симонова, находящегося где-то в далекой Японии».

«*26 февраля.* ...Общий сбор в Токио. Неделя поездки по южным городам прошла незаметно — у каждого была своя задача. Симонов, например, основное время посвятил изучению истории театра — в Киото подробно интересовался театром «НО», существующим несколько столетий. Выглядит Симонов уставшим, заметно изменился. Меньше задорных, юношеских порывов, зато весь — деловитость».

«*5 марта.* Из Москвы от Лозовского получили тревожную телеграмму, почему ничего не пишем для газет? Посоветовались и по предложению Симонова ответили так: «Находимся в беспрерывных поездках. Дорожим каждым днем для изучения страны и крайне сложной обстановки. В связи со здешней ситуацией считаем посылку нейтральных статей неинтересным делом. Готовим серию статей, печатание которых раньше нашего отъезда из Японии сделало бы затруднительной дальнейшую работу здесь».

«*11 марта.* Симонов и я поехали на Хоккайдо. «Смотреть так смотреть всю Японию!» — сказал Костя перед отъездом».

«*15 марта.* Симонов и я были приглашены к профессору Кооно, знатоку проблем народности айно, живущей на Хоккайдо. За обедом с японскими кушаньями и сиденьем на подушечках, по сути дела на циновках, состоялась беседа с гостями Кооно, представителями разных профессий: врач, кинооператор, журналист, студент. Много говорили об эсперанто — в Японии им увлекаются.

Конечно, шла речь и о внутреннем положении послевоенной Японии. Симонов перед всеми собеседниками поставил такой вопрос:

— Вы люди разные по профессиям и политическим взглядам. Представьте, что каждого из вас назначили премьер-министром. Что бы вы стали делать, какой бы первый закон издали?

Все задумались, отвечали медленно и, как мне показалось, откровенно. Кинооператор всю войну провел в армии. Он был конкретен.

— Для меня стало ясным, что Япония навечно попала под влияние Америки. Она оказалась мышью в пасти кота. Поэтому любые действия премьера обречены.

— Если бы меня сделали премьером, я принял бы все меры, чтобы Япония не стала местом военных действий, — сказал врач».

Переписываю два ответа, перечитываю другие и вижу, что за тридцать пять лет мало изменилось мышление людей разных слоев населения Японии. Об этом очень убедительно и хорошо написал Симонов в книге «Япония—46».

«*18 марта*. Поездом возвращаемся из Саппоро. Грохот колес, свист паровоза, мелькающие в окне пейзажи. Костя усадил Музу Николаевну за уложенные им чемоданчики, сунул в рот американскую жвачку и начал диктовать впечатления о своих, еще киотских, встречах. Он все помнит: ширину глаз собеседника, улыбку, костюм, обстановку комнаты, манеры хозяйки. Он как бы читает бесконечную книгу своей памяти, книгу, в которой масса метафор, юмора и сатиры, зарисовок пейзажей и исторических справок. Садясь диктовать, он говорит: «Муза, оторвем сегодня тридцать страниц!» — и «отрывает» тридцать пять.

Я тоже открыл машинку, хочу записать кое-что о Косте. Удивительный это человек по имени Константин Симонов. Внешне — совсем не собранный, похожий на молодого медведя-забияку. Он в тяжелых ботинках, в брюках, давно не глаженных, обившихся внизу, шерстяная рубаха на голом теле. У него всегда все разбросано: пальто на полу, шляпа на одной кровати, кашне на другой, фуфайка почему-то оказывается в ванной, тросточка на моей, только что выглаженной рубашке, лежавшей на стуле. Сам он — лохматый, с густой копной уже седеющих не по возрасту волос. Он не может ни минуты сидеть спокойно. Хотя в глазах его всегда усталость и они даже немного грустные и печальные, сам он полон движения и порыва. То он играет в пинг-понг, то пьет виски, то куда-то рвется, спешит, то теребит соседа, вызывая на разговор. А то неожиданно завалится в постель и отхватит минут семьсот сна. У него всегда много вещей и забот. Он не забывает ни одной мелочи, он все помнит, и на поверку оказывается, что он самый аккуратный человек, для которого огромное удовольствие доставляют разные, им же придуманные, хлопоты. Не будь этих хлопот, не было бы и Симонова. В Саппоро он купил кимоно айно, какую-то огромную деревянную полусобачью маску и дурацкий ящик с пятью или семью выдвижными ящичками, еще кинжал и пюпитр. Он всем доволен, доволен и своими покупками.

Ему нравится снег и солнце, он тоскует по Москве.

Сегодня он смеялся над тем, что все мы настолько признали его власть, что спрашиваем: «Костя! Можно глотнуть виски?» Расходование наших запасов — под его строгим контролем. Он понимает, что если этого не будет — наш дом скоро придет в разорение. Сейчас он ходит по вагону с палкой, одергивает брюки и что-то смешное диктует Музе Николаевне, улыбаясь в свои крохотные, не идущие к его могучей фигуре усы».

Забегаю на несколько десятилетий вперед. Весной 1977 года я написал «Вместо рецензии» на только что опубликованные в журнале «Новый мир» страницы японских дневников Константина Симонова, позже вошедших в книгу «Япония—46». Со своим «творением» я счел нужным познакомить Симонова.

Вскоре он прислал мне подробное письмо, в котором есть такие строки: «...А теперь, как говорится, о личном. С благодарностью и интересом прочел то, что ты написал вместо рецензии на мои японские дневники для «Недели», и конечно же пожалел, что они не напечатали этого, да еще продержав девять месяцев без ответа.

С большим удовольствием своей дочке, которую я яростно критикую за беспорядок в комнате, прочел у тебя страничку записей, из коей видно, что у нее это вполне наследственное свойство.

Да, вот так бывает: ехали вместе с милейшей Музой Николаевной впятером, а сейчас приходится обсуждать все эти вопросы уже вдвоем. Жизнь есть жизнь, ничего с ней не сделаешь...

...Жму руку, желаю здоровья, обнимаю

Твой

Константин Симонов

3.VI.77 г.».

И снова — Япония, 1946 год.

«19 марта. После антисоветской и антикоммунистической речи Черчилля в Фултоне, отношение к нам всех служб штаба Макартура резко изменилось.

Мы с Симоновым из Саппоро хотели съездить в северные окраинные городки и поселки. Но представители американской армии находили десятки причин — то заносы, то поезда отменены, то на ближайшие дни въезд в эти места запрещен, чтобы не пустить нас туда. И не пустили!..»

«24 марта. У всех настроение одно: «Домой, в Россию». Но неугомонный Симонов еще что-то придумывает. Сегодня устроил просмотр японского кукольного театра у нас на дому».

«*31 марта.* Предотъездные хлопоты. С утра по инициативе Кости снимали шуточный фильм о нас и нашем доме. Пленку Симонов берет с собой. В половине второго к нам стали собираться японские писатели и композиторы, журналисты и политические деятели, настоятели буддийских монастырей и кинооператоры, профессора и певицы, коммунисты и представители правых партий, — словом, все, с кем мы за минувшее время успели перезнакомиться. Мы их угощали водкой, всем, что у нас еще сохранилось. На приеме присутствовали Деревянко, Малик и японист Жуков. Вел прием, или, как говорят, тамадил, конечно, Симонов. Малик, ставший советником Деревянко, после приема сказал:

— Друзья, вы сделали много хорошего, даже неоценимого за время вашего пребывания в Японии».

«*3 апреля.* В четыре часа дня мы вышли из токийского порта... Наш путь на Владивосток! Прощай, Япония! Надолго ли?»

Поездом Симонов ехал только до Читы. В Хабаровске в вагон пришли два полковника и, обращаясь к Симонову, сказали:

— В Чите вас ждет самолет. Не позднее 14 апреля из Москвы вы должны вылететь в США в составе небольшой делегации: вы, Эренбург и Галактионов.

— А писать о Японии будет Иисус Христос? — несколько растерявшись, проговорил Симонов.

Полковники мило улыбались, а один из них, прощаясь, сказал:

— В Чите, товарищ Симонов, вас встретят.

Так закрутилась, завертелась жизнь Симонова, как мы знаем теперь, до конца дней. Облетал и объездил он полсвета.

В конце сороковых, в пятидесятые и шестидесятые годы я не часто встречался с Константином Михайловичем. Сводили нас друг с другом только служебные и писательские дела.

Эти годы для Симонова были и славными, и трудными. Получал он не только коврижки — нередко и шишки. Резкой критике подверглась его повесть «Дым отечества». Читатели не так уж давно получили возможность снова прочесть эту умную и честную повесть Симонова. Критике подвергались произведения других писателей в редактируемом им «Новом мире».

Неравнозначным было отношение писателей к нему, как и его отношение к писателям. Симонов был крупной, самостоятельной фигурой в литературе. Он не скрывал симпатий и

антипатий. Одним не нравился его заметный для всей страны взлет как писателя и общественного деятеля, поэтому некоторые пытались чем-то и как-то умалить его возрастающий авторитет. Другим не нравились симпатии Симонова, проявляемые к определенным литераторам. Словом, вокруг имени Симонова нередко разгорались споры. А он упрямо шел своей дорогой, несмотря на все житейские и рабочие передряги.

То, о чем я хочу рассказать ниже, — не мелочь, в этом — суть человеческой натуры.

Сколько у нас известных литераторов (да, наверно, не только литераторов), которые не просто знакомым, но даже друзьям не только руки не протянут, а кивком головы не удостоят. Я не помню случая — в Союзе ли писателей, в редакции или просто на улице, — чтобы Симонов, увидев меня, не оторвался от того, с кем он шел или беседовал, не подошел бы, не спросил:

— Как здоровье, старик? Дела как?

Однажды я рассказал ему биографию Михаила Ивановича Родионова, бывшего учителя, потом секретаря райкома партии, председателя облисполкома, в годы войны — первого секретаря Горьковского обкома партии, впоследствии председателя Совета Министров РСФСР, члена оргбюро ЦК КПСС. Симонов, выслушав меня, сказал:

— Отбрось все служебные обязанности, литературные поделки. Пиши документальную повесть о Родионове, а я обеспечу тебя деньгами минимум на год.

Но я не мог «отбросить» служебные обязанности, да и не уверен был, что напишу что-то стоящее.

Мой товарищ по работе в «Известиях» и фронту Евгений Кригер, по признанию самого Симонова, послуживший прототипом Панина, корреспондента центральной газеты в пьесе «Русские люди», — этот самый Женя Кригер лет пять назад рассказывал мне:

— Телефонный звонок. Слушаю. Голос Симонова. «Женя, сегодня вечерком, если у тебя есть время, загляни ко мне на часок. Соберется кое-кто из фронтовых друзей по «Красной звезде» — журналисты, фотокорреспонденты... Ну, а ты из «Известий», с тобой я, собственно, провел первые недели войны». Конечно, я еду. Среди собравшихся был и наш шофер Боровков. Не забыл его? Длинный такой, немного нескладный. Он на пикапе нас возил на Западном фронте. У пикапа лопнула задняя правая рессора, так он вместо нее вставил деревянную чурку. Помнишь: едем, ухаб, пикап подскочит, а чурка, как снаряд, с шумом летит назад... Останавливаемся. Боровков сбегает, подберет чурку, мы поднатужимся, поднимем задок пикапа. Боровков воткнет чурку на место, и мы едем до нового ухаба.

Симонов разыскал Боровкова — тот ушел на пенсию, —

пригласил на эту своеобразную летучку и под общий хохот рассказал об этой поездке на пикапе.

Щедрость души, память о тех, кто когда-то шел с ним рядом по жизни, благородно отличали Симонова, его характер, его внутреннюю культуру.

В октябре 1977 года я получил бандероль. В ней изящно оформленная Вл. Медведевым книга Константина Симонова «Япония—46», вышедшая в издательстве «Советская Россия», с надписью: «Моему милому спутнику и доброму товарищу Лене Кудреватых. Твой Костя С.» На последней странице обложки воспроизведен автограф Симонова: «А это деревянная японская дощечка, которая висела на дверях дома, где в 1946 году жили мы, четверо советских журналистов». Далее графически изображена эта дощечка со столбиком иероглифов. И опять симоновский автограф:

«На ней наши имена:

АГАПОВ
ГОРБАТОВ
КУДРЕВАТЫХ
СИМОНОВ».

Не знаю, скромность или щепетильность заставили Симонова покривить душой. Его фамилия на дощечке стоит первой, а не последней.

По ряду обстоятельств, прежде всего по собственному желанию, владевшему Симоновым уже несколько лет, он освободился от ответственных служебных должностей.

— Задумано на десятилетия. Сюжетами романов, пьес, повестей полна голова, — сказал он мне при встрече. — А когда писать? Годы уходят. Уеду из Москвы. Закончу начатое и начну задуманное. Буду работать по восемь, а если потребуется — и по двенадцать часов в сутки. Голова и душа зовут к письменному столу.

И уехал в Узбекистан специальным корреспондентом «Правды». Не в командировку, не на месяц, прожил там с семьей не один год. С достойным уважения прилежанием выполнял обязанности корреспондента «Правды» по Узбекистану и одновременно работал над трилогией «Живые и мертвые».

После возвращения Симонова из Узбекистана мы часто встречались в редакции «Правды» — были в одной парторганизации, но иногда возникала необходимость что-то написать Симонову (он мог быть в отъезде, приедет, знаю, сразу прочтет мою писульку). И не было ни одного случая, чтобы он или немедленно не позвонил, или не откликнулся письмецом, маленьким или большим, в зависимости от обстоятельств.

Предметом нашей переписки были и общелитературные дела. Симонов как председатель комиссии по литературному наследию А. Т. Твардовского входил во все дела, касавшиеся этого наследства. Его участие ускорило выпуск в свет сборника воспоминаний о Твардовском.

Уже после смерти Эренбурга, в 1969 году, мне прислали на рецензирование рукопись книги Эренбурга, вобравшую в себя его очерки и статьи.

Читателям моего поколения памятна публицистика Ильи Эренбурга в годы войны. Его памфлеты и статьи нередко находились в солдатском сидоре рядом с патронами и тюбиками пшенной каши. Поколение, которому ныне меньше сорока лет, мало знает о публицистической деятельности И. Эренбурга. Поэтому, прочитав рукопись, я свою рецензию заключил словами: «Хорошо и обстоятельно подготовленная книга И. Эренбурга... достойно пополнит нашу художественную публицистику о войне».

Подготовка к изданию книги Эренбурга затягивалась[1]. В августе 1977 года я получаю письмо:

«Дорогой Леня!

Мы с Полевым хотели, чтоб ты был в курсе дела с дальнейшим движением отрецензированного тобой Эренбурга.

Посылаю тебе копию нашего письма в издательство.

Жму руку.

Твой *Конст. Симонов*».

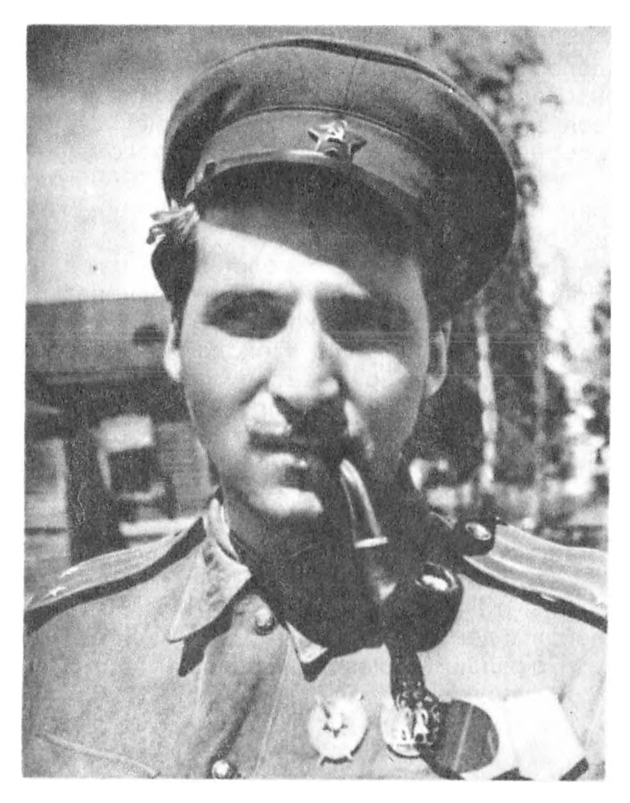
Записка приколота к девяти машинописным страницам коллективной рецензии К. Симонова и Б. Полевого. Привожу последний ее абзац:

«В заключение этого отзыва мы хотим процитировать слова, которые один из нас написал, а другой напечатал в журнале «Юность» и которые выражают нашу общую оценку предложенной издательству рукописи: «Собранные все вместе, эти статьи, написанные им для зарубежной печати, составят замечательный том, которым по праву будет гордиться наша русская советская публицистика, как своего рода писательским подвигом, совершенным в годы войны».

Эти два примера далеко не единственные, когда горячее вмешательство Симонова ускоряло выход нужной книги.

---

[1] Книга И. Эренбурга «Летопись мужества» издана «Советским писателем» в 1974 году и переиздана в 1983 году.



1943 г.

Гаррисон Э. СОЛСБЕРИ

ЕГО КНИГИ — ПАМЯТНИК ЕМУ

Все, что я могу написать о Константине Симонове, его русские друзья знают много лучше меня. Единственное, что я могу сделать, — это поделиться своими впечатлениями о Симонове — молодом журналисте, каким я его увидел в Советском Союзе в годы второй мировой войны, и рассказать, что он значил для меня как человек и писатель.

Впервые я встретился с ним в гостинице «Метрополь», представлявшей собою в то время улей, куда слетались корреспонденты из бессчетного количества стран. Это был февраль 1944 года. Я только что приехал в Москву, побывав до того в Лондоне, в Северной Африке и на Среднем Востоке. Я писал репортажи о военных действиях в этих местах, а теперь собирался провести несколько месяцев в Москве в

качестве корреспондента ЮПИ, чтобы сменить на время отпуска Генри Шапиро, который представлял это агентство в СССР в течение долгих лет.

В феврале 1944 года, как я знаю из «Разных дней войны», Симонов был чрезвычайно загружен. Он заканчивал сценарий «Дней и ночей», а также занимался массой иных дел, прежде чем вновь умчаться на фронт. Все же он как-то ухитрился найти «окошко» в этой немыслимой круговерти и на несколько часов заскочил к друзьям в «Метрополь». В Америке он уже приобрел репутацию русского Хемингуэя. Аналогия была не слишком точна, но кое-что их действительно сближало. Симонов был знаменит. Его корреспонденции и статьи публиковались в наших газетах и журналах. Я с нетерпением ожидал встречи с ним. В том году в Америке была опубликована повесть «Дни и ночи», которая мгновенно стала бестселлером, — такая судьба выпадала не многим книгам советских авторов, напечатанным в Америке за пятьдесят лет.

Мы почти ничего не сказали друг другу. Я не говорил по-русски, он — по-английски. К тому же он выглядел озабоченным. Бесспорно, сказывалась чудовищная загруженность делами. Многие американские и английские корреспонденты уже были знакомы с Симоновым. Все они недавно присутствовали на судебном процессе в Харькове, где немцам было предъявлено обвинение в зверском обращении с гражданским населением; на этом процессе они и подружились с Симоновым.

В ближайшие месяцы я встречался с Симоновым всего пять или шесть раз. Нам так и не пришлось оказаться вместе на одном и том же фронте одновременно. В отличие от советских корреспондентов, мы, иностранцы, всего на несколько дней наезжали в различные штабы, как правило, после того, как на фронтах одерживались победы, — освобождение Севастополя, изгнание немцев и румын из Одессы, снятие ленинградской блокады, другие события того же масштаба.

Как-то раз наши дороги пересеклись где-то на Украине. Мы провели ночь не то в Харькове, не то в Киеве, ну и, конечно, время от времени встречались в Москве, но не часто. Симонов вообще проводил в Москве не много времени. Он все время был на фронте.

Я затем столь настойчиво говорю о случайности наших военных встреч, чтобы подчеркнуть, что и это беглое знакомство позволило мне почувствовать теплую симпатию к этому талантливому, честному и надежному человеку. Что он был хорошим писателем, что он был наделен даром мужества и терпения, становилось очевидным каждому, кто читал его книги. Его человечность немедленно ощущалась любым, кто сталкивался с ним.

Мой военный архив пребывает в довольно беспорядочном

состоянии, и все же, просматривая бумаги, которые последовали за мной из Москвы (в августе 1944 года я уехал оттуда в Индию и на южные острова Тихого океана), я обнаружил два документа, представляющие некоторый интерес. Первый — английский перевод стихотворения «Жди меня», который, выполняя просьбу одной знакомой из Нью-Йорка, я с неимоверными усилиями, пользуясь услугами словаря и переводчика, сам сделал в Москве. Другой — листок бумаги, покрытый карандашными заметками, из которых должна была вырасти статья о русских военных корреспондентах. Там говорилось: «14 корреспондентов и один фотокорреспондент были убиты; пятеро корреспондентов и один фотокорреспондент были ранены». Думаю, что это относится только к корреспондентам «Красной звезды», а не ко всему корпусу советских журналистов, потому что общее число мужчин и женщин, которые отдали свои жизни, запечатлевая пером и фотокамерой борьбу Красной Армии с немцами, куда больше. В заметках приводятся технические детали того, как корреспонденты передавали свои репортажи, как газеты доставлялись на фронт; здесь есть также упоминание о том, что зарплата Симонова как штатного сотрудника «Красной звезды» составляла 1500 рублей (конечно, по военному курсу), не считая гонораров за авторские публикации. Но следов самой статьи, которую я писал тогда, я так и не разыскал.

Во время поездки Константина в Америку, которую он совершил после войны с Ильей Эренбургом и генерал-майором Михаилом Галактионовым, мы с Симоновым стали друзьями. В ходе этого визита мы немало бывали вместе и хорошо узнали друг друга. Я дорожу фотографией, на которой Симонов изображен со своими спутниками за завтраком, данном в их честь нью-йоркским отделением ЮПИ. На этой фотографии Симонов, что не удивит знающих его, сидит с задумчивым выражением лица, с наслаждением посасывая свою пеньковую трубку.

Тот, 1946, год знаменовал критическую пору в американо-советских отношениях. Симонов и другие приехали в США сразу после фултонской речи Уинстона Черчилля, где он говорил о «железном занавесе».

Первые признаки приближающейся «холодной войны» уже были достаточно очевидны. Мне кажется, Симонов и я были равно озабочены судьбами послевоенного мира. Конечно, он знал войну гораздо лучше, чем я, но и я навидался достаточно на тех фронтах, куда меня посылали (в том числе и на русском фронте), чтобы разделить общую убежденность в том, что только прочный и длительный мир может оправдать те страшные жертвы, ту огромную цену человеческих жизней и страдания, которые пришлось заплатить народам мира.

Должно было пройти много лет, прежде чем мы вновь

смогли беседовать свободно и непринужденно, — лет, отмеченных горьким антагонизмом между Соединенными Штатами и Советским Союзом, особенно на рубеже пятидесятых годов, когда люди, подобные Симонову и мне, не могли и встречаться, не говоря уж о том, чтобы беседовать. Даже когда наступила оттепель и лед начал крошиться — процесс, в котором Симонов сыграл такую заметную роль, — мы редко общались. Я временами приезжал в Советский Союз, Симонов временами наезжал в Америку. Мы встречались, разговаривали, а затем возвращались к своим делам. Мы были занятыми людьми. Я был обозревателем и редактором газеты «Нью-Йорк таймс», уезжал в отдаленные концы света, он был предельно поглощен своим писательством, своими общественными и личными делами, своими профессиональными обязанностями.

Мы продолжали поддерживать контакт друг с другом. Нет спора, у каждого из нас были свои политические взгляды, свои эстетические пристрастия. Во многих пунктах они не совпадали. Но каковы бы ни были его суждения, я всегда уважал его. Я понимал, как это может понять только человек, бывший в России во время войны, что сделал он и что сделала Россия. Я знал ту службу, что он сослужил своей стране. Я знал, какой вклад он внес в развитие русской культуры. Я знал, что он видел лицо войны и не забыл его, как, надеюсь, и я никогда его не забуду.

И даже когда мы были разделены огромными пространствами океанов и континентов, я читал то, что выходило из-под пера Константина. От друзей я знал, какие позиции он занимал по тому или иному политическому или литературному вопросу. Хотя я и был далеко, нетрудно было увидеть, что, как и всегда, он оставался человеком принципа, мужественным человеком, человеком, твердо преданным нравственным ценностям, человеком, для которого понятие дружбы имеет подлинный смысл. Ему не свойственно было лицемерие. Он никогда не был приспособленцем. Он знал различие между добром и злом, а когда проживешь долгую жизнь и узнаешь разных людей, приходит умение ценить чистое золото.

Война была главным событием в жизни Константина, как и многих из нас. Она окрасила всю его будущую судьбу. Мне трудно назвать другого человека, для которого война стала главным не только в жизни, но и в литературном творчестве.

Он никогда от нее не удалялся. Да и к чему бы? Ведь война стала Ниагарским водопадом XX столетия, «Титаником» нашего времени. Многие писатели разных стран, в том числе и самые талантливые, писали о войне. Ни один из известных мне писателей, на каком бы языке он ни писал, не открыл своему поколению столь же обнаженно, сколь это сделал Симонов, смысл, подлинный смысл наиболее страшной из тех

трагедий, на которые человечество когда-либо само себя обрекало.

Так случилось, что в последние годы жизни Константина мы сошлись ближе, чем прежде. Мы начали чаще переписываться, обмениваясь мнениями о текущих делах. Физически нас разделяли большие расстояния, но и через тысячемильные пространства мы беседовали тепло и задушевно. Я думаю, нас сближало фронтовое братство. Наверное, это прозвучит старомодно, и все же скажу, что я так и не освободился от воздействия, оказанного на меня стихотворением «Жди меня», держу в памяти тот эмоциональный эффект, который оно произвело на мужчин и женщин воюющей России, ту веру, что вырастала из этих простых слов, исполненных оптимизма и убежденности. Победа русских над нацистскими захватчиками сложилась из многих факторов. Но не последним из них была сила симоновского воображения, проникновения в суть вещей, лиризма, поэтичности, сила его человечности, его молодого жизненного духа, выразившегося в его стихотворениях, репортажах, пьесах, романах. Один из моих русских друзей, который был однокашником Симонова по Литературному институту, сказал мне как-то: «Он был потрясающе работоспособен. Он просто садился за стол, и писал, и писал, и писал. Во всем Советском Союзе не было более трудолюбивого писателя». Другой друг сказал мне: «Он был одним из достойных людей. Он никогда не делал ничего дурного». Таким его вижу и я, и когда его прах был развеян на поле битвы под Могилевом, я не мог не подумать, как верно это было сделано. Потому что Константину не нужны памятники. Его жизнь и его книги — вот лучший памятник ему.



К. Симонов с матерью А. Иванишевой и Г. Михайловым (прототипом Луконина — героя пьесы «Парень из нашего города»). 1941 г.

Александр БОРЩАГОВСКИЙ

ЖИЗНЬ, СТОЯЩАЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЖИТЬ

В молодости Константин Симонов распахнул театральную дверь так, будто за ней не кулисы, не полумрак дневного безлюдного зала, а знакомые улицы Москвы, спартанская комната друга, жаркое небо вожделенной его Испании или холмистая земля Монголии.

Могло показаться, что в театр он заглянул случайно и ненадолго. Поиграл молодой мускулатурой, попытал силы в драме, едва устоял на ногах от нокаутирующего удара критики на первых же секундах первого раунда и постарается забыть о сцене. Тем более что стихи и поэмы писались увлеченно, что жил он жизнью полной, подвижной, тревожной, как раз по нему, а в Москве его ждала комната у Зубовской площади, странная, пятистенная, угловая комната с покатым полом, по которому делал первые шаги русоволосый, большеголовый сын Алеша.

Таким, с книгой «Стихи 1939 года» под мышкой, с лицом, обожженным ветрами Халхин-Гола, открытым, я и увидел впервые Симонова летом 1940 года. Он был чуть моложе меня, не старался выглядеть старше, и тем не менее с самого

первого дня и до ранней его седины, а потом и подавно воспринимался мною как старший по возрасту. И суть дела заключалась не в «чинах» (их и не было летом 1940 года), не во внешних знаках значительности — Симонов и впоследствии пренебрегал ими со всей интеллигентской, обостренной и умной щепетильностью, — разгадка была в зрелости личности, в уверенном ощущении судьбы, назначения, цели жизни. Это взрослит мужчину, как материнство женщину.

Первое памятное ощущение от встречи с Симоновым: чувство новизны, несходства со всем привычным, чего ждешь, знакомясь со столичным драматургом. К лету предвоенного года, когда Симонов приехал под Житомир, в лагеря к танкистам, где наш окружной военный театр играл его «Обыкновенную историю», у меня, бывалого завлита, уже сложился некий стандарт деловых отношений с драматургами. Маститые неохотно ездили в провинцию, мы являлись к ним на поклон в Лаврушинский или в Переделкино.

Молодой Симонов, приглашенный нами (а что как удастся заказать ему оригинальную военную пьесу?), появился в военном городке под Житомиром по-домашнему просто, приехал в Киев, не известив нас, и «на перекладных» добирался до летних лагерей. Кажется, он был рад, что возник внезапно и встретил людей тоже молодых, запальчивых, упрямо стоящих на своем в столь важном для Симонова деле, как судьба его первой пьесы.

Да, мы играли пьесу Симонова «Обыкновенная история». Но к лету 1940 года такой пьесы не было, появилась другая пьеса — «История одной любви», о тех же Алексее Маркове и Кате, но изрядно переписанная. Теперь она была защищена и новым названием: это стало историей одной любви, а не обыкновенной расхожей историей.

При самом появлении «Обыкновенной истории» не повезло. Кто-то из критиков, еще до премьеры в Театре имени Ленинского комсомола, откликнулся на нее театральным фельетоном.

Большая пресса в предвоенные годы обладала магической силой. «Обыкновенная история» была немедленно задержана Главреперткомом, и вскоре театры получили от автора «Историю одной любви».

Мы, единственные в стране, упрямо продолжали играть «Обыкновенную историю», а Симонова потянуло в театр, который не захотел подчиниться ни фельетонным эскападам, ни запрету, ни даже его авторскому выбору. В этом был он — и молодой, и поздний, — его интерес к нестандартному, ко всякой немерности и чужому честному упорству.

Кажется, он не пришел в восторг от спектакля. Был задумчив, хмуроват, но после спектакля оживился, вернулась его располагающая, больше трогающая глаза, чем рот, улыбка.

Вскоре мы почувствовали, что он душой не в театре, а в поэзии, а более всего — в самой жизни, на которую смотрит широко, пытливо и азартно. Позади уже был опыт Халхин-Гола, а в нем самом жило предчувствие близящихся трудных судеб. Предчувствие это — поэтическое, отчасти романтическое, но и в броне симоновской наружной логичности и трезвости — порождалось многим: тридцатыми годами, Испанией, пережитой, как личная, обжигающая драма, поэтическими студиями на темы военного прошлого России, кровью Халхин-Гола. Война еще не вошла в наши дома, не стала делом каждого. Недалекое будущее чувствовали не все, но среди немногих, кто чувствовал остро, был Симонов. Чувствовал и отчасти жил уже этим: вот разгадка стремительного творческого взлета Симонова в годы войны. Ведь еще в 1938 году, до Монголии, молодой поэт написал слова высокого предвиденья:

Как будто мы уже в походе,
Военным шагом, как и я,
По многим улицам проходят
Мои ближайшие друзья.
. . . .
Святая ярость наступленья,
Боев жестокая страда
Завяжут наше поколенье
В железный узел, навсегда.

Летней ночью 1940 года, после спектакля, рядом с нами оказался как бы второй Алеша Марков — герой «Обыкновенной истории», но более легкий, веселый, а главное — поэт, поэт с головы до пят, буквально погруженный в стихию поэзии, охотно читающий свои и чужие стихи. Он читал из вышедшей книги, и то, что появилось в журналах и не напечатанное еще, читал по памяти, и рад был этой возможности читать стихи актерам, офицерам, читать одному мне, и не только небольшие стихотворения, но и изрядные куски из первых поэм «Ледовое побоище» и «Суворов».

Памятные, превосходные стихи! Стихи, в которых так зримо отпечаталось время и личность поэта, его узнаваемая строка, его музыка — напряженная и возвышенная, — значительность мысли и та гармония замысла и выражения, по которой узнаются стихи долгой жизни. Меня никогда не смущали скептики — а ими в нашем деле хоть пруд пруди! — которые как тяжкий груз несут собственную скуку, слепоту, драматическую отъединенность от жизни и именно поэтому торопятся выносить приговоры поэзии и назначать ей сроки. Симоновская поэзия тех лет и военной поры — живая, не потерявшая истинности, и я счастлив, что впервые насла-

дился ею еще тогда, слушая автора, на всю жизнь запоминая его «Поручика», «Старика», «Изгнанника» и другие стихи.

Мне кажется, что расставание Симонова с поэзией было долгим и мучительным, куда более трудным, чем это могли себе представить даже и близкие друзья. Он так много работал, писал и печатал, ставил на сцене и снимал в кино, что боль эту можно было и скрыть и даже отчасти утишить. Но она была, ее не могло не быть: разлад с поэзией не расставание с женщиной, даже любимой.

Могут возразить: какое еще расставание с поэзией, если в первом томе нового собрания сочинений Симонова напечатаны стихи семидесятых годов? Их, правда, не много, и они, за редким исключением, не задержались в памяти, не остановили нас в нашей житейской суете. А многое ведь останавливало прежде властно, надолго.

И думается мне, что я знаю, я почувствовал когда-то дни или месяцы поэтического кризиса, пору расставания Симонова с поэзией. Все было взвешено и обдумано им со всем мужеством самоотречения, с беспощадностью к себе, и знамя поэзии было приспущено, хотя помириться с этим было нелегко, стихи еще писались, вышли еще две поэтические книги, случалось, писались и хорошие стихи, но все реже и реже. Все реже рождалась собственная симоновская строка, возникала вдруг строчка Маяковского, его лесенка; такое запоздалое ученичество тоже настораживало — за ним стояли ум, логика, выучка, техника, но не чудо поэзии, всегда единственное и органичное.

Это был 1948 год, когда Симонов закончил небольшую книгу стихов «Друзья и враги», — она круто повернула от лирической поэзии к своеобразной стихотворной полемике, острой, актуальной, порой не лишенной блеска. Но пришла и тяжеловесность; прозаизмы, которых Симонов был не чужд и прежде, стали исподволь разрушать поэтическую ткань. Убежденный в правоте каждой строфы этого цикла Симонов вместе с тем волновался как-то необычно.

Члены редколлегии журнала «Новый мир» получили машинописный экземпляр «Друзей и врагов» с письмом редактора Симонова, просившего внимательно прочесть стихи и обсудить их на редколлегии. В требовании прямоты, когда речь шла о написанном им, редактором, не было ничего необычного. Таков Симонов был всегда, умел и сказать правду в глаза, и выслушать ее. Необычным показалось мне письменное обращение. Именно поэтому, подумав, что какие-то внешние обстоятельства подтолкнули Симонова к этому письму, как шагу осторожности, особой предусмотрительности, я спросил его, нет ли сложностей, мешающих «Друзьям и врагам»? Сложности, увы, возникали часто, непредвиденно, не вполне понятные для меня, едва ли имеющие отношение к высоким

интересам литературы. Во всяком случае, Симонов не удивился вопросу, ответил с серьезностью, не оставлявшей сомнения в точности его слов: «Нет, Шура, — все в порядке. Это необходимо мне самому».

Мы собрались и говорили о его стихах. Разговор касался сильных и слабых сторон поэтического цикла, но мне почудилось, что он почти не коснулся того, чего напряженно ждал Симонов. Быть может, мы говорили и дельное, кое-что из сказанного пошло впрок, но Симонова, тогда тридцатитрехлетнего, кажется, больше волновало ощущение целого, оценка цикла как некой ступени в поэтической судьбе... И не только в поэтической, а во всей судьбе личности. Ведь для деятельной, не знавшей творческой праздности натуры Симонова расставание (пусть и замедленное, надолго растянувшееся) с поэзией было и началом новой, мощной художественной работы, постижения мира другими средствами.

Таково было мое субъективное ощущение, и я записал это тогда же в немногих покаянных словах, но это только наблюдение, а не бесспорная истина.

Хотя всего восемь лет отделяли этот эпизод от встречи под Житомиром, к 1948 году Симоновым уже была прожита огромная жизнь, и ничего в ней не было случайного, как ни удивителен был его взлет.

Но вернемся ненадолго в военный лагерь лета 1940 года.

Скоро открылось, что мы оба любим стихи Киплинга. Я помнил некоторые старые переводы, имел тогда при себе сборник Миллер-Будницкой. Симонов читал свои переводы, и они пришлись мне по душе. Мне уже нравилось все в этом человеке, принесшем что-то новое в самою атмосферу моей жизни. Я тогда был увлечен англоязычной поэзией, знал на память стихи Уайльда, Броунинга, Мастерса. Попав на сутки в Киев в конце июня 1941-го, я захватил из дому две книги стихов: сборник новой английской поэзии и недавно вышедшую антологию американской поэзии, книгу в броском оранжевом переплете. Мои «англичане» потерялись после ранения на Украине и лечения в одном из госпиталей Тбилиси, антология американской поэзии была со мной еще и летом 1942 года в междуречье Волги и Дона, под Сталинградом, и мы с Евгением Долматовским читали там кладбищенские эпитафии Мастерса из его «Антологии Спун-ривер», созданной в годы первой мировой войны. 14 марта 1943 года Долматовский писал мне с фронта в Читу, куда наш фронтовой театр забросил приказ Главпура, писал, уже привычно конспирируя, именно об этих местах южнее Дубовки, где мы 22 августа в степи, на перекрестке дорог, в ожидании попутной машины читали стихи: «Несколько раз я проезжал знакомые тебе места — где падали бомбы, где арбузы и т. д., всюду вспоминал тебя с неизменной нежностью. Я уверен, что мы уже

навсегда останемся настоящими друзьями... В Москве жил у Кости, усатого подполковника, и оставил у него на пару недель отпускного солдата Наташу».

Это письмо — клеточка живого организма прошлого. В нем дорогие приметы времени, честного, не ведающего двоедушия: истинна дружба, любимая, оставленная на попечении друга, лаконичность и многозначность войны. Вне этих примет и этой духовной атмосферы не все поймешь и в молодом Симонове, хотя бы и того, почему так несомненно сложилась наша дружба, хотя виделись мы тогда с ним считанные разы: под Житомиром, в Москве, когда я приезжал к нему за новой пьесой, и однажды, накоротке, на Сталинградском фронте, на одном из аэродромов. Почему же он, формируя редколлегию «Нового мира» в 1946 году, настойчиво захотел увидеть меня в числе ее членов?

Знакомство началось с пьесы, но сблизили нас стихи. Безусый, молодой Симонов, с горделивой, но отчасти и бесхарактерной складкой у рта, с минутами необъяснимой хмурой задумчивости, собранный и ладный, веселый рассказчик, так резко переходивший от шутки к молчанию, с сурово поджатыми губами и вспоминающими, сузившимися глазами, красивый парень, не выговаривавший так много букв родного алфавита, очень полюбился нам.

В автобиографических заметках к десятитомному собранию сочинений Симонов коротко говорит о начале своей драматургической работы. «В 1940 году я написал первую свою пьесу — «История одной любви», в конце этого же года поставленную на сцене Театра имени Ленинского комсомола. А вслед за этим написал и вторую — «Парень из нашего города», поставленную тем же театром уже в канун войны». И все же истина требует небольшого уточнения: Сергей Луконин («Парень из нашего города») в талантливом исполнении актера А. Аркадьева появился на сцене уже в апреле 1941 года и в нашем театре. С новым спектаклем мы и выехали в район Львова, в части военного округа, а поздним вечером 21 июня, за несколько часов до начала войны, пьеса Симонова была сыграна на самой границе, в погранотряде. «После спектакля коллектив на машинах, нагруженных декорациями, ехал по направлению ко Львову, — читаем мы в кратком очерке истории театра. — Рассвет 22 июня 1941 года встретил их фашистскими бомбами».

Начальник театра Леонид Дивинский, которого Симонов высоко ценил, еще летом 1940 года завел с ним разговор о новой пьесе, предложил договор и аванс: то, от чего, на нашей памяти, не отказывался ни один драматург.

К удивлению нашему, Симонов, автор одной пьесы, отказался.

Это его черта, неизменная через всю жизнь: редкостная щепетильность во всем, что касается денег, точнее — получения денег, при столь же редкостной душевной щедрости, желании и умении (а это ведь деликатнейшее из искусств) приходить на помощь другим. Он это делал неизменно, и так, чтобы в самой помощи не оказалось ничего обидного или задевающего другого человека. Многие, кто попадал в беду и искал — и даже не искал! — его помощи, помнят, какие усилия он прилагал (порой страдая от этого сам), чтобы создать атмосферу легкую, почти шутливую, словно он сам одолжается больше, чем ты...

Хорошо ли, нужно ли об этом, о деньгах, когда хочешь рассказать об ушедшем друге, когда чувство привязанности еще сильнее самой памяти, а нежность силится украсить жесткие черты реальности, когда еще так трудно совместить родственное, почти домашнее ощущение человека и отчетливую мысль о необычных масштабах его пожизненной работы, о личности, принадлежащей чему-то большему, чем круг домашний или дружеский?

Уверен, что хорошо и нужно. В этих движениях души больше натуры и личности, чем в иных публичных (часто случайных или казенных) их проявлениях. Помню один эпизод в Гослитиздате, во времена директорства А. Котова. Гул удивления стоял в коридорах издательства: час назад в бухгалтерию за деньгами приходил Борис Пастернак и, обнаружив, что причитающаяся ему сумма, по его разумению, слишком велика (вышла большая книга стихов, переводы трагедий Шекспира, еще какие-то переводы), попросил у главбуха лист бумаги и написал просьбу перечислить половину его гонорара на детские дома.

В этом, конечно, не весь человек, а тем более не весь поэт. Но уйти от этого воспоминания я уже не мог никогда, ни перечитывая стихи поэта из его первых — так много значивших в моей жизни — книг, ни размышляя о нем в трудные для него времена.

Симонов понял наше обиженное молчание: не подпишет договора, — значит, не даст пьесы, ему не понравился спектакль.

— Напишу... — сказал он и тут же поправился: — Если напишу, сразу телеграфирую. Экземпляр дам из первой закладки.

Все так и было: московская телеграмма, мой приезд, комната с наклонным полом, странное ощущение бивачной, транзитной жизни. И с той поры навсегда — короткое Шура, Костя, хотя на «ты» мы никогда не переходили, и я почему-то всегда дорожил этой привлекающей меня гранью отношений, духовно близких, но почти не затрагивающих быта.

Мне не хотелось расставаться, и я поехал с Симоновым в Киев — проводить его к московскому поезду. В трофейный «опелек» сел с нами замначальника театра, а за рулем был механик гаража, редко ездивший шофером (без двух пальцев на левой руке). Сеялся докучливый дождик, на высоком шоссе минут через 20—30 после Житомира машина начала выписывать «восьмерки» по мокрому асфальту все размашистее и размашистее, и мы полетели вниз по откосу, боком дважды перевернулись через голову и стали на колеса. Машину сильно помяло, двери перекосило и заклинило, мы выбирались по капоту, переднее стекло все раскрошилось и выпало. Я хорошо запомнил Симонова в эту минуту. Было в нем что-то мальчишеское, почти обрадованное происшествием, и старание как-то поддержать дух механика, который выбирался последним. Оставив механика у машины, мы пошли в ближайшую деревню к телефону, чтобы через Житомир вызвать другую машину. Началось долгое переругивание с телефонистками, они отказывались соединить нас с военным городком по сельсоветскому казенному телефону, без гарантии оплаты разговора. Об этом вскоре было рассказано на страницах «Правды» в фельетоне В. Дыховичного и М. Слободского о чуткости.

Мы вернулись к машине, примерно туда, где в ноябре 1943-го, всего лишь три года спустя, танки Манштейна сделали обреченную попытку снова устремиться на восток, в направлении Киева. Мы шли по влажной стерне, по земле, освещенной заходившим на распогодившемся небе солнцем, и я думаю, что в эту минуту Симонов был единственным человеком не только на этом клочке земли, но и во всей округе — с лагерями, солдатами и командирами, — кто внутренне жил странным, отчетливым, а вместе с тем и бестревожным предчувствием близкой военной грозы. Пока мы ждали машину и аварийный кран, он вдруг стал рассказывать мне о будущей пьесе, которую очень трудно написать, потому что он решил не вгонять ее в тесные временные рамки, а дать все тридцатые годы, дать, как он выразился, т у в о й н у и э т у, связать судьбой одного человека, своего сверстника, Испанию и Монголию 1939 года, написать не чудака, не нескладного человека, которые, в общем-то, пишутся легче всего другого, а человека собранного, упорного, яростно направленного к цели своей жизни. В том, что он говорил, было такое отчетливое ощущение движущейся истории, такое эпическое, публицистическое, а не сценическое видение жизни, что я, в ту пору книжник, читавший курс теории и истории драмы в театральном институте, усомнился: не обернется ли все это обозрением?

Мне казалось, что Симонов хочет объять необъятное.

— Нет, — возразил он обдуманно. — В том-то вся штука,

чтобы крепко собрать значительные события. А собрать их может только характер.

Больше мы о пьесе не говорили: она ведь еще смутно ворочалась и в нем самом. Потом я прочел «Парня из нашего города» и понял, что он был прав, что сцену он чувствует, как немногие, он на ней не случайный гость, а серьезный работник. Как показало уже целое сорокалетие, «Парень из нашего города» — пьеса надолго, в ней время выразилось не мимоходом, а истинно и глубоко.

После Москвы мы встретились с Симоновым только на Сталинградском фронте летом 1942 года.

Почему же мне часто казалось, что были и другие встречи, что общение не прерывалось и в эти полтора года?

Вероятно, потому, что для меня эти месяцы были по-своему наполнены Симоновым. Его мысли, его интонация, как они открылись летом 1940 года, сопровождали нас от самой границы под Равой-Русской до донских рубежей, а затем и до Сталинграда. «Парня из нашего города», эту очень симоновскую пьесу, мы играли день за днем, случалось — и по два раза, играли при свете дня, на сцене из четырех специально оборудованных грузовиков.

Но у этой иллюзии — нерасставания — был и другой источник: быстро растущая в войсках известность Симонова — поэта и военного публициста. Она крепла на глазах, соперничая с популярностью неустанного в дни войны Ильи Эренбурга. В семье фронтовых журналистов мы часто говорили о Симонове — о Косте, особенно часто — с Евгением Долматовским, который любил Симонова искренней, братской любовью и с ревнивой восторженностью радовался его успехам. Но один случай летом 1942 года на Сталинградском фронте поразил и меня.

Участник события, давний товарищ Симонова по Халхин-Голу, Д. Ортенберг, дивизионный комиссар, в ту пору редактор «Красной звезды», быть может, удивится, прочитав эти абзацы, если только Симонов впоследствии не рассказал ему, как они оба оказались в самолете, увозившем с военного аэродрома в московский госпиталь летчика с тяжелыми ожогами.

Ради обожженного командира и был снаряжен самолет в Москву. Летчики, сопровождавшие своего товарища, стояли тут же, полные напряженной и скорбной решимости сделать все для его спасения. Просьбу — именно просьбу, а не приказание, — захватить в Москву дивизионного комиссара они отвергли с мрачной, непоколебимой решимостью, и аэродромное начальство отступило. Самолет выделен для спасения летчика, в нем не будет ни одного лишнего человека, не будет потерян ни один кубический сантиметр спасительного кислорода...

Стоял знойный, выматывающий летний день. Дивизионный комиссар в сторонке беседовал с кем-то, по обыкновению веселый, поглядывая вокруг быстрыми, живыми глазами: он и не подозревал о случившемся афронте.

Все решилось в считанные секунды. С редактором «Красной звезды» должен лететь и Константин Симонов. Летчики только переглянулись, в них разом вспыхнула наивная, прекрасная вера в хорошую примету: известный поэт в самолете — это к добру, к счастью, с поэтом летят к жизни, а не к смерти, если все так хорошо началось с самого вылета, то должно хорошо и кончиться. Сняв фуражку с взмокшей от пота головы, смущенно бася, Симонов попросил за дивизионного комиссара, и через несколько минут дверь самолета за ними закрылась.

Все было значительно в этом эпизоде: прекрасное неподчинение военных летчиков, их жажда чуда, вера в поэзию и мальчишеское смущение старшего батальонного комиссара Симонова. Провожая взглядом самолет, я вспомнил события двухлетней (точно, двухлетней) давности: высокое шоссе Житомир — Киев, разбитый «опель», самонадеянного поэта, решившего написать пьесу, которая свяжет «ту войну и эту», Испанию и Монголию, и расскажет о целом десятилетии жизни страны.

А на исходе 1946 года я оказался в Москве, в редколлегии журнала «Новый мир» при новом редакторе Константине Симонове.

О двух годах работы с Симоновым в «Новом мире» я не стану рассказывать, я сделал это в другой рукописи, неторопливой и обстоятельной. Здесь же хочу сказать о некоторых чертах личности Симонова, о нравственных его уроках, немало значивших для меня.

Ничего так не ценил Симонов в людях — кроме, разумеется, честности и чести, — как прямоту и независимость мысли. Ценил объективно, в кругу отношений, не затрагивающих его лично, и ценил вдвойне, когда чужая прямота задевала его самого, и не просто задевала, а могла больно ударить по самолюбию. Не раз видя, как он предупредителен к своим противникам, как справедлив в суждениях о людях, недобрых к нему, я как-то шутя сказал ему, что хорошо и удобно быть врагом Симонова, уж своего литературного врага он в обиду не даст и напечатает при малейшей возможности.

Симонов засмеялся негромким, внутрь убегающим смешком и сказал:

— Ничего не поделаешь: кающийся дворянин или гнилой интеллигент! Выбирайте, что вам больше нравится.

Еще до войны, приехав в Переделкино за пьесой к Афиногенову, я встретил на станции своего земляка Бориса Ямпольского, которого не видел со школьной поры, с середины двад-

цатых годов. Я не узнал Бориса, а он узнал и окликнул меня. Оказалось, он писатель, воспитанник Литинститута, живет в институтском общежитии. В какой-то связи я назвал Симонова и попал на больное место: что-то их разделило жестоко и непримиримо. Уничижительные свои филиппики Борис закончил несколько неожиданно, сказав, что Симонов вызвался редактировать его повесть «Ярмарка», повесть с нелегкой судьбой.

Вечером у Симонова я осторожно обмолвился, что встретил земляка, он тоже писатель, окончил Литинститут, Симонов должен знать его... То, что я услышал, было так непохоже на страсти, клокотавшие днем на переделкинской железнодорожной платформе.

— Талантливый человек, — сказал Симонов убежденно. — Сложный человек, но талант настоящий. Написал прекрасную повесть, я ее редактирую, надо, чтобы повесть появилась.

Неприязнь личная не только отринута, отодвинута куда-то, она как будто обязывала Симонова к особо внимательному, благоприятствующему даже отношению.

Он действительно стал первым редактором «Ярмарки», опубликованной незадолго до войны.

Вспоминаю на какое-то мгновение погрустневшее и раздосадованное лицо Симонова: он только что прочитал рецензию Леонида Малюгина на спектакль «Дни и ночи» во МХАТе. Малюгин хвалил повесть Симонова и поругивал пьесу, написанную по ней, поругивал, казалось, чуть свысока, — иронический склад ума критика создавал именно такое впечатление.

Симонов быстро справился с эмоциями и спросил:

— Читали? — Не дождавшись ответа, он добавил с выражением грустной, меланхолической обреченности: — К этому надо привыкнуть: ничего страшного. Малюгин написал пьесу, и теперь ему не понравятся все мои будущие пьесы. Если он напишет прозу, ему перестанет нравиться и моя проза; чего доброго, пожалеет, что похвалил повесть «Дни и ночи»...

Вскоре наступил трудный 1949 год, а затем потянулись годы талантливой работы и тяжкой болезни Леонида Малюгина, и я с чувством растущего уважения убеждался в том, как внимателен был к нему Симонов, как заботлив, как по доброму пристрастен в оценках его работы, в человеческом отношении к нему.

Это не евангельская кротость, не вторая щека, смиренно подставленная под размашистую руку. Люди бесчестные, паразитирующие на литературе, «ловцы удачи», равнодушные эгоисты вычеркивались Симоновым брезгливо и резко. То, о чем пишу я, выражает духовную силу человека, его благород-

ство и высокое, созидающее чувство самосохранения, решимость развиваться, двигаться вперед, меняться самому и отбросить от себя защитные ширмы положения, литературного чина, во что бы то ни стало избежать этой уютной, надежной могилы таланта.

Симонов обдумывал свою жизнь, жил не сослепу, труд его был взвешен и целеустремлен, этические и нравственные аспекты этого труда были ясны и открыты. Он не только понимал и знал, он осязал и предвкушал завтрашний свой труд, будущую книгу, а когда жизнь не останавливается, не замыкается в скудости — честолюбиво и обидчиво — на каждой вчера написанной строке, легче двигаться вперед, сохранять добрый и умный взгляд на жизнь и людей.

Осенью 1947 года «Искусство» предложило мне написать предисловие к сборнику пьес Симонова, от «Истории одной любви» до «Под каштанами Праги». Я сразу не дал ответа, решил поговорить с Симоновым, как он отнесется к тому, что автором предисловия будет, так сказать, его сотрудник, член редколлегии журнала.

— Не вижу ничего плохого, — сказал он, подумав. — Вы не служите у Симонова, не я назначал редколлегию. И, насколько я понимаю, вы не будете льстить мне. Есть желание и время — пишите, нет — не пишите. Ни то, ни другое ровным счетом ничего не изменит в наших отношениях.

— Тогда у меня просьба: не включайте, ради бога, в сборник «Жди меня».

— Просьба или требование?

— Требовать я не могу, но если «Жди меня» войдет в сборник, я, пожалуй, треть статьи отдам критике этой пьесы.

— А если не войдет? — спросил он с воинственной и чуть иронической усмешкой.

— Тогда только четверть статьи!

Он знал, что пьесы я не принял, но серьезного разговора о ней у нас не случилось, это произошло только теперь, осенью сорок седьмого. Кстати, впервые о пьесе «Жди меня» я узнал из цитированного уже письма Евгения Долматовского. «Видел «Жди меня», — писал он. — Нудновато показалось. Сегодня в провинциальном театре смотрел «Нашествие» Леонова. Пьеса удивительно меткая, но Федор неточен: ему бы надо быть не уголовником. А?» Тонкое, безошибочное наблюдение! Но сегодня мы знаем, что в этой биографической неточности Леонов не повинен: таковы были обстоятельства.

Для меня пьеса «Жди меня» была не просто неудавшаяся. Мне казалось непростительным на протяжении всего спектакля свидетельствовать, а тем более демонстрировать, супружескую верность. Ведь верность входит в состав любви, она естественное состояние любящего человека. Верность родится из любви, как ее нормальное, единственное выраже-

ние, верность живет в любви, не задумываясь над тем, удобно ли это или неудобно, выгодно или невыгодно. Всякого рода соблазны и искушения, уготовляемые драматургом для подтверждения чистоты и целомудрия женщины, только унижают ее и зрителя, далекого от подозрений. Стоит ли заронять в душу зрителя сомнение только для того, чтобы сказать, что оно неосновательно!

Эту позицию я и защищал с обычной горячностью. Симонов слушал, задетый, кажется, не столько аргументами, сколько моей запальчивостью. Он отложил решение на несколько



К. Симонов и И. Берсенев. 1940 г.

дней, и затем мне, уже из издательства «Искусство», позвонил ни о чем не подозревавший редактор и, недоумевая, сообщил, что «Жди меня» в сборник автором не включается. Так книга и вышла в свет без этой пьесы, однако с критикой в ее адрес.

Решиться на такое драматургу нелегко, тем более что в папках его хранились десятки похвальных рецензий на спектакли «Жди меня». В дело вступила неумолимая для самого Симонова логика: впереди достаточно времени, чтобы поразмыслить обо всем не спеша, без скидок самому себе, с годами свершится и более основательный, и более объективный суд.

Пользовавшийся огромной читательской популярностью, Симонов среди собратьев писателей не однажды встречался с размашистыми о т р и ц а т е л я м и, и это вполне объяснимо.

Слишком уж субъективен, отъединен наш труд, слишком велико несходство талантов, чтобы не возникать разноречью, спорам, крайностям. Но когда в критикующем голосе я слышу обвинения не в адрес знакомого мне совестливейшего художника, а некоего вымышленного благополучного парнасца, удобно расположившегося среди книг, при жизни нареченных шедеврами, мне хочется крикнуть: полно! О ком вы говорите?! Симонов превосходно знал, для чего он живет, для кого пишет, кого хочет сделать богаче своим трудом, и в этом, главном, определяющем, никто не мог вышибить его из седла. Но я не знал другого серьезного художника, столь готового выслушать критику, столь устремленного к ней навстречу. Перечитайте все без исключения мемуарные страницы Симонова: в них по крупицам, с непостижимой, обескураживающей бережностью собраны все, ему одному ведомые, критические в его адрес слова и суждения людей, ушедших из жизни и чтимых им, суждения, сохраненные для нас не слепой случайностью, а самим Симоновым, им одним. Как еще понимать это среди нередкой саморекламной шумихи, самовосторгов, публикации случайных писем, возводящих адресатов в гении, а их при жизни забытые книги — в перл создания!

Передо мной всегда была его простая и в главном на редкость скромная жизнь труженика, жизнь мягкого, доброго, отходчивого и славного товарища, нисколько не обуянного духом учительства. А уж «сановности» в нем и вовсе было не отыскать, даже и тени: ничто не было так чуждо его природе. Точный во всем, работоспособный, как никто другой на моей памяти, всегда берущий самый тяжелый груз на собственные плечи, — таким я знал его столько лет, сколько знал вообще.

Всего два года я был с ним рядом — в «Новом мире», — но к исходу этого срока в чем-то и я уже переменился, дышал уже не через одну театральную «пуповину». Расставшись со мной как редактор в 1949 году, Симонов оставался заботливым другом, и другом не тайным, а открытым, проявляющим не жалостливое сочувствие, но существенный, деятельный интерес к моей жизни и литературной работе.

Ничто так не врачует душу, не прибавляет сил, как верность друга.

Я не писал бы об этом, если бы последовательная и принципиальная дружеская поддержка Симонова коснулась меня одного, — но это было правилом его жизни, потребностью духа, важным нравственным императивом. Не десятки — сотни людей, чьей судьбы в трудные для них дни коснулась дружеская рука Симонова, могли бы рассказать об этом не скупее меня.

Однажды в «новомирскую» пору (1948) возникла некая

напряженность, не имевшая прямого отношения к журналу. Симонов завлитствовал в Театре имени Ленинского комсомола и относился к своим обязанностям так же неукоснительно, как и ко всему, за что брался.

Зачем он принял на себя это бремя, и без того работая от первых петухов и за полночь? Что двигало им? Всегда живой интерес к театру, к высокой — не бытовой — тайне кулис? Сочувствие к шумливой и не очень сытой актерской братии? Благодарность театру, который дал ему жизнь как драматургу? Давняя и какая-то незащищенная привязанность к Берсеневу? Вероятнее всего, все это вместе и еще что-то, чего мы никогда не знаем даже о друге.

Театр поставил пьесу братьев Тур и Шейнина «Губернатор провинции». Мне она показалась не просто слабой, а конъюнктурной, слащаво заискивающей перед теми слоями западногерманской интеллигенции, которые, хотя и вынуждены глухо, под сурдинку осудить гитлеризм, все же лелеют неистребимую мечту о некоем превосходстве, о главенстве если не германского оружия, то германского духа, философской и государственной мысли. Мне казалось кощунственным отношение авторов к выведенному ими на сцену подпольщику, уцелевшему узнику Шпандау, сыну обласканного и вознесенного драматургами профессора, либерала губернатора, который и после разгрома третьего рейха продолжал третировать сына-коммуниста. Я чувствовал, что в пьесе подлинные ценности подменены конъюнктурной схемой, льстящей западногерманскому обывателю, но чуждой зрителю страны, отдавшей победе миллионы жизней.

Я написал для «Известий» статью о спектакле «Губернатор провинции», и в малой мере не связанный тем, что пьеса идет в театре, где репертуаром ведает Симонов, мой товарищ и глава нашей редколлегии. Именно такова была нравственная атмосфера наших отношений.

Но случилось непредвиденное.

Симонов позвонил по телефону. Звонил он из театра, близко, через дорогу. Позвонил, я это сразу понял, из многолюдного кабинета Берсенева. Хорошо были слышны голоса, среди них и густой, подсказывающий голос великого лукавца Берсенева. Я по всему чувствовал, что Симонов предпочел бы вообще не вести этого разговора, он и начал с того, что звонит из театра, что попросили об этом товарищи, они обеспокоены, авторы пьесы сообщили им о готовящейся в «Известиях» статье. Это мое, исключительно мое дело, сказал он, о чем и как писать, он бы только хотел знать, если это возможно, если это мне удобно, в чем предмет спора...

Я провел в театре почти всю жизнь и физически ощущал атмосферу кабинета, людей рассерженных и воинственных, не сомневающихся в том, что их именитый завлит сейчас все

уладит: трудно было уговорить его поднять трубку, а коли он позвонил своему товарищу, то все и обойдется.

Симонов жестоко разочаровал их. Он не стал ничего улаживать: его действительно занимало существо дела и ничто другое.

— Я смотрю на события пьесы несколько по-иному, — сказал он, выслушав меня, — многого не могу принять, но то, что вы мне сказали, серьезно и последовательно. Считайте, что ни Симонов, ни завлит театра вам не звонил.

Если у Берсенева и оставалась иллюзия, что дело сделано, звонок состоялся и это все решит, то он ошибся. Интонация Симонова не имела скрытого смысла, она освобождала от какой бы то ни было зависимости, в том числе и дружеской. Именно это и хотел он мне сказать.

И этот эпизод, как и многие другие, не помешал дружбе, а прибавил ей достоинства. Скоро мне пришлось в этом убедиться в обстоятельствах, трудных для меня. Если заглянуть в самые глубины души, то дружбе нашей мог импульсивно изменить я: в боли, в запальчивости, в одержимости придирчивой, обвинительной мысли, наблюдая многообразную, жадную деятельность Симонова. А он был по натуре, по высшему призванию деятелем, причем совершенно лишенным карьеристской жилки, так что оставалась только чистая, первородная связь двух понятий — «деятель» и «деяние». Я мог срываться, молча отвергать его, он всегда оставался терпеливым, заботливым и проницательным другом.

Стоит вспомнить еще один пример редкой широты и умной терпимости к тому, что на первый взгляд должно было больно задеть честолюбие художника.

Повесть «Двадцать дней без войны» экранизовал на студии «Ленфильм» режиссер Алексей Герман. Симонов сам захотел, чтобы фильм о военной поре поставил этот молодой, родившийся перед самой войной режиссер. Захотел, увидев первый, тоже военный фильм Алексея Германа «Операция „С Новым годом»». Симонову пришлось преодолеть известное сопротивление, чтобы работа была поручена режиссеру без имени, оказавшемуся в ту пору в «штрафниках». Уже в этой настойчивости мне видится проницательность Симонова, умение распознать талант и желание, вопреки объективным трудностям, помочь ему. Это желание у него всегда оборачивалось не прекраснодушием, а поступком, делом.

Ко времени экранизации «Двадцати дней без войны» уже сложилась судьба повести и театральных инсценировок, а молодой и как бы облагодетельствованный режиссер взял круто в сторону от уже принятого подхода к повести, в сторону, как могло показаться, и от Симонова. Так круто, что ополчилось кинематографическое начальство, дважды прекращались съемки, закрывалось финансирование,

шло к тому, что фильм попросту не будет доснят. Юрий Никулин — циркач, клоун — в роли героя, ташкентская окраинная серая натура, жестокая правда тылового быта, — что только не вызывало протест людей, от которых зависит кинопроизводство!

И они искали единомышленника в Симонове: смотрите, мол, в кого превращен ваш Лопатин, Лопатин, который так привлекателен в исполнении артиста Гафта, как отходит режиссер от «буквы» повести, опуская множество ее реплик, монологов и сентенций, казавшихся ключевыми!

Они были, на поверхностный взгляд, близки к истине: едва ли кто-либо другой из столь известных, как Симонов, писателей согласился бы с таким видимым, порой разительным внешним расхождением с его повестью. Едва ли кто-либо другой, месяц за месяцем просматривая отснятый материал, казавшийся то чересчур темным, то будничным и приземленным, теряя на это и время, и нервы (нервы особенно!), так терпеливо доискивался бы истины, уже новой истины, не литературной, а кинематографической.

Я близко наблюдал их почти двухлетнюю работу, видел, как нелегко давался этот процесс Симонову; его, фигурально выражаясь, смирение, благородное, самоотреченное смирение перед лицом мучительно рождавшейся на экране новой жизни, которая на первый взгляд не совпадает в привычной нам мере с жизнью, как она изображена в повести. Но на всех острых этапах, когда, казалось, естественным был бы авторский взрыв, Симонов последовательно гасил взрывы студийные и сторонние. Жестко споря с режиссером, отстаивая свое там, где это было необходимо по высшему смыслу, он самоотреченно уступал во множестве случаев, чтобы дать выразиться на экране другому таланту, который может быть только таким или никаким вообще.

Помню и завершение дела — просмотр всей, собранной воедино, хотя еще на двух пленках, картины. Мы смотрели ее втроем — с Симоновым и Германом. Едва загорелся свет после заключительных кадров, Герман тут же сбежал из маленького зала, будто за дверью его ждали неотложные дела.

Состояние Симонова было сложным. Чувствовалась и взволнованность многими уже не раз виденными эпизодами, прикосновением к возникшей на экране правде жизни, так памятной Симонову; чувствовалось, что он не остался глух к особой поэзии этой, наконец собранной ленты, негромкой, земной и вместе с тем возвышенной. Но было и горькое ощущение потерь, печаль по непрозвучавшим словам. Теперь, когда готовый фильм перед тобой, уже нельзя тешиться успокоительной мыслью, что многое еще сделается, поправится, доснимется...

Помню каждое сказанное им — после долгого молчания — слово.

— Видите, Шура, я ему не нужен (это с защитным, несвободным смешком)... Я понимаю: Гафт мне нравится, но он рупор моих слов, моего героя. В спектакле это забирает, держит, и не одного меня... — Он немного помолчал, но не дал мне вмешаться, прочитав в моем взгляде вовсе ненужную готовность броситься на защиту фильма. — Герман снял не саму повесть, а ее душу. Не ее буквально, а то, о чем она написана: в этом все дело (и теперь уже с защитной твердостью). Кое-что поправим непременно, надо поправить: Герман упрямый человек, но картина получилась.

Картина, несомненно, получилась. Ее незаурядность сегодня почти ни у кого не вызывает сомнений. Но первым ее другом и убежденным сторонником был Симонов, единственный, кто, на взгляд педанта, был как бы задет или ущемлен экранизацией. Симонов не просто принял, впустил в душу фильм; верный себе, он продолжил творческое сотрудничество с Алексеем Германом, начал совместную работу над новым оригинальным сценарием о танкистах на войне и после войны. Как и многие другие работы, она оборвалась в горький день, на исходе августа 1979 года.

Вскоре после ухода из «Нового мира» я рассказал Симонову о двух давно одолевавших меня эпических сюжетах: об обороне Камчатки в 1854—1855 годах и о мужественном, героическом исходе приднепровского колхоза на восток, к реке Урал, — колхоза, уходившего от фашистского нашествия, угонявшего племенной скот и все, что можно было увести от врага.

Совет Симонова был, как мне кажется, безупречен: на моем месте он предпочел бы исторический сюжет, сказал он. Ведь сейчас у меня нет того спокойствия души, той уверенности, которые позволили бы мне писать о трудном 1941 годе. А в жизненных событиях середины прошлого века (к слову сказать, в сюжете, из которого когда-то возник и его «Поручик») я буду свободен и в мыслях, и в душевных движениях, защищен несомненностью истории, быть может, для меня будет даже целительно долгое пребывание в кругу новых для меня, благородных людей, о которых я попытаюсь рассказать в книге. Если деревенская эпопея 1941 года не умрет в моем сердце — а это и будет проверкой ее на прочность, — то я смогу вернуться к ней и спустя годы...

Все так и случилось. В 1953 году появился исторический роман «Русский флаг», а спустя полтора десятилетия — «Млечный Путь».

Симонов быстро прочел огромную (больше тысячи страниц!) рукопись романа «Русский флаг», пригласил меня телеграммой на дачу в Переделкино, где он жил летом 1950 года, и

после короткого общего разговора мы сели за многочасовую работу. Он листал рукопись, задерживаясь на своих пометах, что-то советовал, о чем-то спорил со мной, считая, что в целом книга сложилась, что объективно она уже существует и едва ли что-либо может помешать ее появлению. Рядом с нами устроилась Муза Николаевна, мне не пришлось записывать: через два дня я получил от Симонова рукопись в 32 страницы, вычитанную им и дополненную записями от руки.

Стенограмма, а еще больше наш долгий разговор о романе заключали много глубоких наблюдений над природой про-



Берлин. 1 мая 1945 г. Слева направо: маршал бронетанковых войск П. Рыбалко, Ф. Дмитриев, А. Кривицкий, К. Симонов, А. Капник

зы, особенностями диалога в повествовании, над способами передачи в ней в р е м е н и, временнóй протяженности, хотя Симонов был еще тогда по преимуществу поэтом и драматургом, человеком, еще не достигшим в о з р а с т а п р о з ы и делавшим в ней только первые шаги.

После «Русского флага» я редко посылал Симонову свои книги, иной раз не отсылал, даже и сделав уже дарственную надпись.

Много лет я наблюдал за тем, как работает Симонов, и знал, что праздного времени у него нет. Он мог лечь в два-три часа ночи, после затянувшегося застолья, со стихами и вином, — и любил это, как любят немногие, — но в восемь утра был уже готов работать, писать, диктовать письма,

рецензии на «новомирские» рукописи, черновики статей, готов буквально загонять работой не одну только Музу Николаевну, а двух первоклассных стенографисток.

Сознание этого тоже удерживало меня, но в 1978 году я послал Симонову по его просьбе две книги: исторический роман о генерале Турчине и сборник рассказов «Не чужие».

18 ноября 1978 года я получил письмо от Симонова, которым и закончу эти заметки. В письме содержатся некоторые важные размышления и наблюдения над собой и над жизнью. Ими я и ограничусь:

«Милый Шура, как я уже говорил Вам по телефону, я прочел Вашего «Кузнеца». Прочел с интересом, кусками — с волнением и каким-то странным чувством — что прочитанная мною до этого Ваша переписка с американцами и вообще узнанная от Вас заранее драматическая история создания книги, чем-то ослабили во мне впечатление от нее самой. Видимо, я постепенно становлюсь окончательно осатанелым документалистом — и в этом и лежит причина испытанных мною, в данном случае, чувств.

Книгу рассказов прочел сейчас, по дороге в Грузию и из нее, немного побаливая и глядя в окно на невеселые в неповторимости своей пейзажи земли нашей в это время года.

Вы, наверно, правы, что большинство написавшегося в Ваших рассказах и есть то самое главное, из-за чего писатели живут на свете, один из-за одного, другой из-за другого, где-то незримо смыкающегося и в людях, про которых пишем, и в нас, пишущих...

...Очень рад был прочесть эту Вашу книгу и продолжаю думать над ней и над нашей невеселой, но все равно стоящей того, чтобы жить, жизнью. Будьте здоровы, Шура! Ваш *К. Симонов.* 13.XI.78».



К. Симонов, А. Твардовский, Б. Шинкуба. Абхазия. 1969 г.

Баграт ШИНКУБА

ОН ЖИЛ У НАС

Впервые Константин Симонов приехал в Абхазию в самом начале 1948 года. В середине зимы этот солнечный край он выбрал не случайно. Ему хотелось забыться на некоторое время, отойти от столичной сутолоки, от напряженных редакционных дел (в ту пору он был редактором «Нового мира») и отдаться творчеству.

В Сухуми Симонов остановился в гостинице «Абхазия». «Погода тут хорошая, неслыханно тепло и солнечно. Начинаем устраиваться на новом месте...» — пишет он в Москву.

Настоящее знакомство Константина Симонова с Абхазией началось с Дмитрия Гулиа — основоположника, патриарха абхазской литературы. Он принял гостя с той редкой простотой, которой всегда отличался. Об этой встрече спустя не один десяток лет Симонов будет вспоминать: «С первых дней знакомства, а потом и душевной близости, этот край был связан для меня с именем и личностью Дмитрия Гулиа. Его дом стал для меня дверью в эту страну. В этом доме, построенном так, что, пожалуй, он был больше удобен для гостей, чем для

хозяев, часто бывало шумно, потому что сюда приходило много людей. Врачи считали, что даже слишком много. Хозяин считал, что нет».

С тех пор Константин Симонов приходил в этот гостеприимный дом как в свою родную семью, и встречали его здесь как сына.

А в доме Гулиа бывали почти все писатели, которые оказывались на Черноморском побережье Абхазии. Здесь бывали А. Фадеев, Н. Тихонов, В. Ажаев, Ар. Первенцев, К. Федин, Г. Табидзе, Г. Леонидзе, И. Абашидзе, Гр. Абашидзе, Р. Гамзатов, К. Кулиев и другие. Гости уезжали, но их здесь не забывали, долго о них вспоминали. В 1948 г. Симонов пишет Фадееву из Сухуми: «Во-первых, сердечный привет тебе, дорогой, и не только мой, но и еще кое от кого из здешних жителей, хорошо помнящих тебя и огорчающихся, что ты много лет не приезжал сюда. Например, самый сердечный привет тебе от стариков Гулиа, — я у них был, и они очень трогательно о тебе вспоминали».

Находясь на абхазской земле, К. Симонов, несмотря на то что был поглощен своей работой — для этого он, собственно говоря, и приезжал сюда, — считал своим писательским и человеческим долгом познакомиться с абхазской литературой, сблизиться с писателями Абхазии и по возможности оказать им помощь и поддержку.

Первые годы приездов Константина Симонова в Абхазию хронологически совпадают с годами, когда абхазская литература была в трудном положении.

Именно в эти годы он старался отбирать все лучшее, что было создано писателями Абхазии, для «Нового мира», для других изданий, познакомив таким образом с абхазской литературой всесоюзного читателя.

На страницах «Нового мира» публикуется цикл стихов народного поэта Абхазии Дмитрия Гулиа «Человек в горах», повести Георгия Гулиа «Весна в Сакене», «Кама», «Добрый город», «Черные гости».

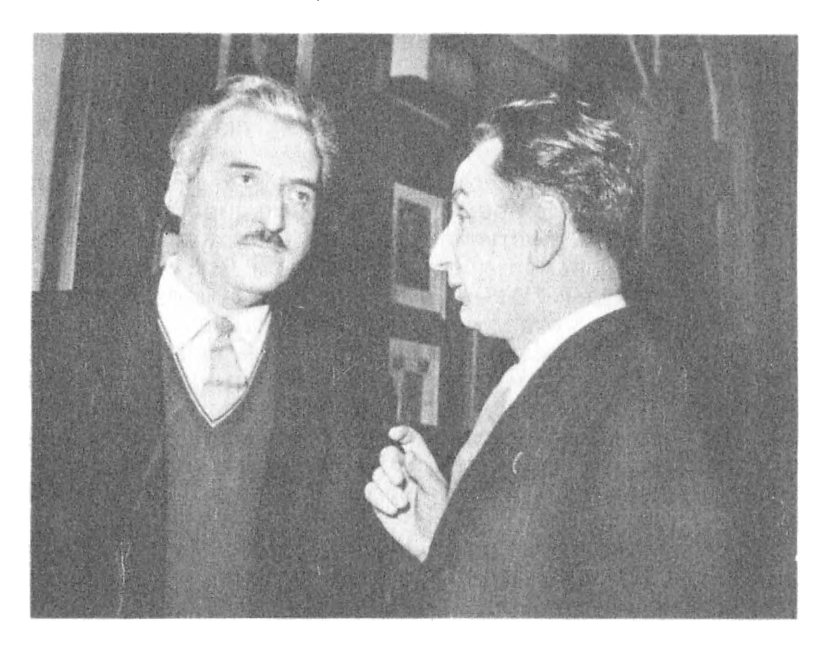
Сам я впервые встретился с Константином Симоновым в 1948 году в Сухуми около гостиницы «Рица». Он шел туда обедать, а я случайно оказался рядом. Его спутники представили меня Симонову. Но знакомство наше ограничилось двумя-тремя фразами, поскольку я отказался от приглашения на обед.

В 1950 году я завершил работу над «Новыми людьми». Этот первый роман в стихах в абхазской литературе был опубликован в литературном альманахе и тепло принят читателями, хотя и страдал немалыми недостатками, большей частью порожденными общей для всей тогдашней советской литературы бесконфликтностью, которая мешала глубокому анализу жизненного материала.

Издать «Новых людей» отдельной книгой в Абхазии мне не удалось.

Я сделал подстрочный перевод и послал его в издательство «Советский писатель». Однако и здесь возникли препятствия, одолеть которые в одиночку не мог. Друзья посоветовали обратиться за помощью к Симонову, который тогда находился у нас. После долгих колебаний я направился в Гульрипши.

Это было осенью 1950 года. Константин Симонов встретил меня в своем небольшом рабочем кабинете. Фактически это и



К. Симонов и Г. Гулиа. 1954 г.

было нашим знакомством. Как только мы сели, чтобы начать беседу, неожиданно к даче подъехала машина, из которой вышли гости из Тбилиси и Сухуми. Пришлось прервать разговор, и гостеприимный хозяин пригласил нас к столу. После обеда мы пили у камина черный кофе. Симонов, очевидно, под впечатлением только что прочитанных им «Записок русского офицера», шутя сравнил себя с автором этих записок — бароном Торнау, который в тридцатых годах прошлого века под чужой фамилией собирал сведения об Абхазии.

— Торнау был разведчиком, а вы советский писатель, — вспылил я. Очевидно, тогда я был не в состоянии воспринять шутки.

— Смотри, какой обидчивый! — сказал Константин Михайлович и перевел разговор на другую тему.

Но моя несдержанность произвела неприятное впечатление на присутствовавших. Я возвращался из Сухуми на машине гостей. По дороге они, разумеется, не похвалили меня за мою вспыльчивость. Я очень переживал случившееся.

Но на другой день меня позвали к телефону (я тогда работал научным сотрудником института). Звонил Симонов. Он сожалел о несостоявшемся разговоре и сообщил, что завтра уезжает.

— Прошу вас все то, что вы хотели сказать мне, написать в письме и прислать в Москву, — сказал он.

Я написал Симонову письмо, к которому приложил мой подробный ответ рецензентам «Новых людей». Константин Михайлович попросил у издательства «Советский писатель» подстрочный перевод романа и прочитал его в самый короткий срок. Некоторое время спустя на имя директора издательства М. Корнева поступило письмо Константина Симонова. Он писал: «Я прочел подстрочник поэмы абхазского поэта Баграта Шинкубы «Новые люди». Как мне думается, подстрочник дает очень отдаленное представление об оригинале, однако при этом сразу видно, что поэма — явление незаурядное и по ее размаху, и по талантливости автора...» Константин Михайлович ставил вопрос о необходимости издания «Новых людей». Судьба моего романа была решена. Издательство «Советский писатель» включило его в свой план. И роман под названием «Мои земляки» вышел в переводе в 1953 году.

Это событие было для меня жизненно важным. Стало легче дышать, в Абхазии более или менее регулярно начали печатать мои произведения.

Насколько я помню, когда бы ни приезжал Константин Симонов к нам в Абхазию, он меньше всего отдыхал. Он много и плодотворно работал на своей даче в Гульрипши, но нередко выезжал в разные уголки Абхазии, встречался с самыми различными людьми. Абхазские застолья порой затягиваются надолго. Но Константин Михайлович, строго соблюдая обычай абхазского стола, терпеливо ожидал завершения. Как признавался сам Симонов, первое его «крещение» состоялось в моем родном селении Члоу — его туда пригласил в дом своего отца поэт Алексей Джонуа. Жители села Члоу до сих пор вспоминают эту встречу, тогдашний гость в одну ночь одолел одного за другим трех бывалых тамада, не нарушая этикета стола. Действительно, Константин Симонов настолько хорошо усвоил тонкости нашего застолья, что нам, местным писателям, трудно, а подчас и невозможно было сравниться с ним.

Где бы я ни был вместе с Симоновым — в Москве, Тбилиси, Ташкенте, Сухуми или в гостях у наших крестьян в селах Абхазии, — я всегда удивлялся, как легко он умел расположить к себе совсем незнакомых людей. Его всегда слушали с интересом. Но и он сам умел слушать своего собеседника. У него был какой-то неутомимый интерес к жизни, он любил людей и умел делать добро широко, щедро и бескорыстно.

Мир человеческих отношений всегда был сложен: одни подбирают друзей из «нужных людей» и легко прощаются с ними, когда те становятся ненужными. Такие люди быстро сходятся и так же быстро расходятся, не оставляя в душе друг друга никаких следов. Есть и другая категория людей — эти, наверно, пострашней. Они стараются приобщиться к славе широко известного человека. В это время они забывают зло,. которое причиняли ему раньше, беззастенчиво поют дифирамбы, дают клятву верности в дружбе, бессовестно лгут перед светлой памятью человека, которому причиняли боль и страдание. Таких людей Константин Симонов инстинктивно распознавал и сторонился, не открывал им своего сердца.

В 1957 году Константин Симонов оставляет Гульрипши — уезжает с семьей на несколько лет в Среднюю Азию. Прекращаются его ежегодные приезды в Абхазию, а его дача переходит к другому писателю. Примерно через год, осенью 1958 года, мы встретились в Ташкенте на Конференции писателей стран Азии и Африки. Это было у Театра имени Навои. Невдалеке от нас журчали фонтаны.

— Вообрази, что мы в Гульрипши и стоим у самого берега моря! — сказал Константин Михайлович, рукой показав мне на фонтан.

Он с любовью вспоминал Абхазию, друзей, незабывшиеся встречи с ними, хотел знать, что написали абхазские писатели за последние годы, снова с грустью вспомнил Гульрипши, куда приезжал ежегодно около десяти лет.

— Я, видимо, вернусь в Гульрипши. Уж слишком глубоко засело это местечко в моем сердце! — сказал он в заключение нашего разговора.

В июле 1960 года Симонов вместе с женой Ларисой Алексеевной и детьми приезжают в Гульрипши. Возобновились его ежегодные приезды в Абхазию. Он снимает комнаты у местной жительницы Евдокии Ивановны Игнатовой (все ее зовут «тетя Дуся») и по-прежнему живет в Гульрипши по нескольку месяцев. Мы, писатели Абхазии, рады, что Константин Симонов снова рядом с нами. В 1966—1967 годах Константин Михайлович по собственному проекту пристроил к дому тети Дуси рабочий кабинет. Он получился довольно просторным. Одно окно выходит на море, в

комнате слышен шум набегающих на берег волн. У окна стоит длинный письменный стол из стесанного бревна. На нем — диктофон, ручки, фломастеры. Когда приходят гости, стол выдвигается на середину комнаты и становится обеденным.

В этом кабинете Константин Симонов трудился более 15 лет. Здесь он писал трилогию «Живые и мертвые», подготовил дневники «Разные дни войны» к печати. Здесь у него бывали многие советские и зарубежные писатели: Федин, Горбатов, Кривицкий, Твардовский, Луконин, Алигер, Евтушенко, И. Абашидзе, Каладзе, Маргиани, Думбадзе, Н. Саррот из Франции, Фр. Хитцер из ФРГ, Неруда из Чили...

Пабло Неруда в своей книге «Признаюсь: я жил», тепло вспоминая эту встречу, пишет: «...Несколько дней я живу в доме писателя Симонова; с ним мы купаемся в теплых водах Черного моря.

Симонов показывает мне свой сад с прекрасными деревьями. Мне знакомы почти все, и стоит Симонову сказать, как называется дерево, я с чисто крестьянской гордостью замечаю:

— Такие есть и у нас в Чили. И эти — тоже. И вот те.

Симонов смотрит на меня, пряча насмешливую улыбку. А я ему говорю:

— Как жаль, что ты, быть может, никогда не увидишь дикий виноград в моем саду в Сантьяго, не увидишь тополей, позолоченных чилийской осенью, — такого золота нигде нет в мире! Если бы ты знал, как цветут у нас вишни и как душист чилийский больдо. Если бы ты видел по дороге в Мелитилью, как крестьяне раскладывают на крышах домов золотые початки маиса. Если бы ты хоть раз ступил в холодную чистую воду у берегов Исла-Негра. Но выходит, дорогой Симонов, что пока страны воздвигают преграды, пока они враждуют и стреляют друг в друга в «холодной войне», мы — люди — разделены. Мы взмываем ввысь на скоростных ракетах, чтобы приблизить небо, но все еще не можем обменяться братскими рукопожатиями на земле.

— А вдруг все изменится? — говорит сквозь улыбку Симонов и бросает камешек богам, погруженным в Черное море».

Константин Михайлович с Ларисой Алексеевной и детьми много раз бывали и у меня дома. Вся моя семья с радостью ждала прихода Константина Михайловича и встречала его как близкого, родного человека. Мои внуки Гунда и Леван подстерегали гостей, чтобы первыми открыть им дверь. Моя жена Тамара Константиновна старалась, чтобы на столе были любимые абхазские блюда Константина Михайловича. И стены нашей столовой не раз слышали голос Симонова. Здесь

он много раз читал стихи, здесь было много душевных бесед, смеха и веселья. Однако упорный и вдохновенный труд — вот что было самым главным в его жизни в Абхазии и чему я был участливым свидетелем. На книге «Разные дни войны» он написал: «Старому другу и давнему доброму свидетелю моих гульрипшских дел...», а на книге «Последнее лето» его автограф: «Книга, написанная в его владениях и созданном им воздухе дружбы...»

Мне кажется, что Константин Михайлович никогда не переставал интересоваться абхазской литературой, где бы он ни жил. Он откликнулся статьей в «Литературной газете» на публикацию в русском переводе древнейшего нартского эпоса — значительного события в культурной жизни Абхазии.

В 1960 году, узнав о смерти Дмитрия Гулиа, Симонов в Ташкенте написал статью «Черты облика». «Когда я думаю о Дмитрии Иосифовиче Гулиа, в глазах моих стоит маленькая и величественная Абхазия...» — так начинается эта статья. В ней дан образ «невысокого старика с широкими худыми плечами», у которого «сила была силой духа, выдержавшего в жизни многие испытания и не согнувшегося и перед последним — старостью...».

А когда в 1963 году в Сухуми открывался памятник Дмитрию Гулиа, Симонов на торжественном митинге сказал: «Мне даже трудно мысленно представить себе другого человека, который бы с такой силой любил страну и свой народ, как любил их Дмитрий Гулиа, и который имел бы такое же бесспорное право быть похороненным в сердце этой маленькой страны, которую он так любил и на благо которой так неутомимо работал...»

1974 год. Столетие со дня рождения Дмитрия Гулиа. Праздник начался днями абхазской литературы в Тбилиси, где некогда Дмитрий Гулиа преподавал в университете, где в 1912 году вышла его первая книга стихов. Города и села — вся Абхазия — торжественно и воодушевленно отмечают этот праздник. Константин Симонов, как всегда, с нами, он возглавляет делегацию из Москвы, выступает с речью на торжественном заседании, едет с другими гостями в родное село поэта — Адзюбжа, участвует в закладке парка имени Дмитрия Гулиа, посещает Литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулиа...

Этот большой интернациональный праздник завершается в Москве. Зал имени Чайковского, торжественный вечер, председательствует Константин Симонов.

«Эта удивительная жизнь мальчика из абхазской деревни, молодого сельского учителя 90-х годов прошлого века, ставшего сначала великим просветителем своего маленького народа, а потом писателем и поэтом, известным

в громадной двухсотмиллионной стране, — такая жизнь, конечно, граничит с подвигом, а может быть, и является им...» — эти слова о Дмитрии Гулиа тоже принадлежат Симонову.

Интересы Константина Симонова в Абхазии не ограничивались только национальной литературой, он интересовался историей края, искусством, абхазским фольклором. Он исколесил всю Абхазию. В последний раз посетил село Лыхны. Его и меня пригласил Иван Ванача — кавалер трех орденов Славы, который встречался с Симоновым, когда снимался фильм «Шел солдат». Нас принимал у себя дома отец Ивана 110-летний Темур, участник первой империалистической войны, ныне лучший танцор ансамбля абхазских долгожителей.

Симонов все чаще приезжает в Гульрипши: ему, как всегда, работается здесь хорошо. Он всегда среди друзей, всегда в курсе всех литературных событий. Помню, Константин Михайлович был у меня дома. За обеденным столом попеременно читали стихи. Я читал по-абхазски, но потом кто-то из участников застолья пересказывал ему содержание стихов. Симонову очень понравилось одно стирохотворение, которое по его просьбе я прочел еще раз. Здесь же, по его настоянию, я сделал устный подстрочный перевод. Константин Михайлович записал его на свой портативный магнитофон.

На другой же день он прислал мне прекрасный перевод моего стихотворения, которое начинается строками:

Пьют за долгую жизнь мою,
А я словно не понимаю,
Со стаканом в руке стою
И весенний лес вспоминаю...

Мы не раз беседовали с Симоновым о художественном переводе. Я вспоминал его статью, напечатанную в «Литературной газете» еще в 1951 году. И сегодня остается актуальной высказанная тогда Симоновым мысль: «Почему-то о работе переводчика обычно говорят только в конце статьи, относя иной раз за его счет даже недостатки оригинала. Не отсюда ли идет вредная тенденция «улучшения» текста? Критик редко заглядывает в подстрочник и почти никогда — в оригинал». Он считал, что не следует проявлять поспешность в выборе произведений для перевода, то есть «не переводить их раньше, чем они станут устойчивым фактом родной поэзии для широкого круга читателей, читающих эти стихи на своем первоначальном, если можно так выразиться, языке».

При встречах мы обычно разговаривали о своей литератур-

ной работе. Константин Михайлович знал о том, что уже много лет я работал над историческим романом «Последний из ушедших». Каждый раз, приезжая в Абхазию, он неизменно спрашивал, как у меня продвигается работа, и я с удовольствием рассказывал ему об исторических материалах, собранных мной. В 1972 году роман был опубликован в журнале «Алашара». Константин Симонов находился в ту пору в Гульрипши. Я ему послал подстрочный перевод первой книги



К. Симонов и Р. Гамзатов на вершине Гуниба. Дагестан. 1956 г.

«Последнего из ушедших». Он за сутки прочел рукопись и дал высокую оценку произведению. При этом сказал, что, хотя он не занимается переводом прозы, он считает своим моральным долгом перевести эту книгу, поднимающую сложные исторические проблемы, и просил переслать ему в Москву другие части романа.

Весной 1973 года Константин Симонов с Ларисой Алексеевной жили в Крыму, в санатории «Нижняя Ореанда». Здесь он закончил чтение подстрочного перевода всего романа. Ему оказалась необходима встреча со мной. Я приехал в Ялту, остановился в городской гостинице, в которой, как сооб-

щили мне с гордостью сотрудники, некогда останавливался Вл. Маяковский. Мы встретились с Симоновым. Несколько часов просидели над его замечаниями к роману. Среди них были и очень важные, которые я учел в окончательной редакции.

После деловой части нашей беседы Лариса Алексеевна и Константин Михайлович пригласили меня за город, в ресторан «Лесной». Это было в апреле. Природа только-только начинала пробуждаться. Наша машина поднималась кругами по извилистой дороге. Вокруг свежо и тихо. В ресторане было почти безлюдно.

Константина Михайловича, разумеется, узнали. Мигом все засуетились. Мы втроем сидели за столом, пили прекрасное крымское вино. Разговор о романе возобновился. Константин Михайлович с бокалом в руке поздравил меня с успешным окончанием «Последнего из ушедших», произнес здравицу, как он выразился, «за дальнейшую его жизнь». Сидели долго, уходить не хотелось, вспоминали друзей. Много говорили о Твардовском. Константин Михайлович писал тогда свои воспоминания об Александре Трифоновиче.

В конце 1973 года Константин Симонов и поэт Яков Козловский приступили к переводу «Последнего из ушедших». Под Новый год получаю телеграмму от Константина Михайловича: «Поздравляем, обнимаем, переводим».

Симонов всегда очень серьезно относился ко всему, за что бы ни брался. Работал самоотверженно, с полной отдачей. Казалось, своевольное время с робостью подчинялось его власти. Прежде чем приступить к переводу романа, Константин Михайлович прочитал большое количество исторического материала. Переводческая работа над романом его увлекла. Он и Яков Козловский много раз встречались со мною, советовались, обговаривали самые различные вопросы, возникавшие в процессе перевода.

После выхода романа на русском языке Симонова не раз спрашивали о том, что побудило его взяться за перевод исторического романа. Он ответил: «Хотя роман исторический, проблемы, поднятые в нем, должны волновать современников... Проблема романа — это проблема Родины и человека, трагедия потери не только своей земли, но и своего языка, культуры, будущего...»

Его дружеское участие, его благородную готовность всегда оказать поддержку товарищу делом и словом — а доброе слово в иную минуту помогает не меньше дела — я чувствовал и на расстоянии.

Как дорогие реликвии сохраняю я теперь письма Константина Михайловича.

«7/XI—76 года.

Дорогой Баграт Васильевич,

спасибо Вам большое сразу за все. Прежде всего за книжку Вашего «Избранного»...

...Я остался доволен и своим предисловием, которое на свежий глаз перечитал. Ваша гражданская и поэтическая позиция и Ваша последовательность в принципиальных для литератора вопросах позволили мне поставить и в предисловии некоторые, как мне думается, принципиально важные проблемы, выходящие за пределы этого предисловия к этой книге. За это я должен быть благодарен прежде всего Вам...»

И последнее письмо:

«7/XII—77 г.

Дорогой Баграт Васильевич!

Очень рад за Вас — за то, как достойно Вашей деятельности прошел Ваш юбилей. Рад тем добрым отзывам, которые он породил, рад тому серьезному и глубокому уважению к Вам и Вашей работе, свидетельства которого я встречаю в различных и не только литературных кругах. Всему этому я очень рад!

А грустно мне оттого, что я не смог приехать и обнять Вас в эти дни, и обменяться с Вами дружескими рукопожатиями, и сказать лично, а не заочно, то, что у меня на душе. Увы, врачи, по крайней мере на будущий год, а там — хотя они ничего хорошего и не обещают — все-таки поживем увидим, — нынче не разрешают мне ездить в Сухуми, как и вообще в другие места — жаркие и влажные. Хроническая пневмония, которую они у меня обнаружили, в этом году дала себя знать особенно жестоко, и поездка на конференцию в Болгарию, которую мне пришлось совершить посредине очередного воспаления легких, довольно дорого мне обошлась. Хорошо хоть, хватило сил все это время понемножку работать, и думаю, что к концу года допишу ту повесть, которую давно начал[1].

Сижу на даче, пока что на полупостельном режиме и стараюсь как можно реже оказываться в городе. Завидую своим детям, которые летят сегодня в Гульрипши и повезут с собою это письмо.

Обнимаю Вас, крепко жму Вашу руку. Целую руку Тамаре Константиновне, и самый сердечный привет всем Вашим близким — большим и маленьким.

Ваш *Константин Симонов*».

---

[1] Речь идет о повести «Мы не увидимся с тобой...».

Симонов много времени отдавал работе комиссии по грузинской литературе, председателем которой являлся. В конце марта 1979 года в Москве состоялись творческие вечера видных грузинских поэтов — К. Каладзе, И. Нонешвили, Д. Чарквиани, на Автозаводе им. Лихачева прошла читательская конференция и по моему роману «Последний из ушедших». Председательствовал Константин Симонов. На конференцию шел с волнением: я знал, что здесь предстоит встреча с читателями высокого уровня. Выступления были серьезными, и эта читательская конференция на всю мою жизнь останется мне памятной. Каждый раз, когда я вспоминаю этот вечер, перед взором возникает Симонов, стоящий за столом президиума, предоставляющий слово ораторам, дающий попутные комментарии, разъяснения. Так не спеша, непринужденно вел он вечер...

На вечера грузинской поэзии в марте 1979 г. он приходил вопреки нашему желанию: мы видели, как он себя плохо чувствует, знали, что у него повышенная температура.

Примерно через неделю Константин Михайлович лег в больницу. Я посетил его. Мы долго сидели в палате; когда я вставал, чтоб попрощаться, он просил посидеть еще немного. Говорил о только что проведенных вечерах, о продолжении этих встреч в будущем... В разговоре он почему-то несколько раз возвращался к Абхазии, вспоминал Гульрипши, куда собирался приехать после того, как немного полечится в Крыму. Вспомнили вечер, который несколько лет тому назад мы провели в моем родном селении Члоу, в доме моих предков. Даже вспомнили белоствольный платан, под которым вечером долго сидели. «...Ночью перед сном мне почему-то показалось, что горы здесь совсем рядом, а утром вроде отдалились... — с грустью вспоминал Константин Михайлович. Затем тихим голосом добавил: — Как хочется пройти босиком по зеленой траве...»

Это была последняя наша встреча.

* * *

В самом начале своего творческого пути Константин Симонов писал:

Мы измеряем, долго ли ты жил,
Не днями жизни, а часами дружбы...

На протяжении всей своей жизни он оставался неизменно верным им же установленному своеобразному летосчислению, в котором главное — не прожитые календарные годы, а те минуты, те часы и дни, что остаются людям и только им.

Да, он жил у нас. И все живые нити, которые связывали многие годы Константина Симонова с Советской Абхазией, свидетельствуют о том, что он имел самое непосредственное отношение к судьбам абхазской литературы, к тому удивительному явлению, что эта, возникшая лишь в начале века, литература ныне вышла за национальные рамки и становится известной не только в разных уголках нашей Родины, но и за ее пределами.

Он писал: «Больших народов и маленьких народов нет, есть народы многочисленные и малочисленные. И это обстоятельство снова и снова подчеркивается каждым шагом вперед, который делает в развитии человечества наша коммунистическая культура, не на словах, а на деле борющаяся за истинное равноправие всех народов».

Все то, что сделал большой советский русский писатель Константин Симонов для культуры Абхазии, не исчезнет бесследно. Рука друга всегда оставляет добрый след. Наверно, то же самое могли бы сказать о Константине Симонове писатели других наших республик, ибо ему было присуще такое замечательное чувство, как чувство братства, называемое интернационализмом.

Вот почему светлая память о Константине Симонове дорога абхазскому народу, всей нашей Абхазской республике.

Я хотел бы закончить эти заметки моими стихами о К. Симонове[1].

Как жил ты на семи ветрах,
Так и остался жить без срока.
И ветру отдали твой прах,
И он понес его далеко.

В огне войны, в густом дыму,
Твой путь вперед был прям и светел,
Так пусть по следу твоему
Всегда несется этот ветер.

Пускай летит он на крылах
Твоей солдатской честной славы,
И пусть он понесет твой прах
На все границы и заставы.

Пусть он ложится, словно пыль,
На обелиски, камни, плиты
Героев воинов.
Не ты ль
Слагал о них за былью быль,
Чтоб не были вовек забыты.

---

[1] Стихи перевела с абхазского Маргарита Алигер

Ты наше море видел в снах,
Тебя, как сына, горы ждали.
Пускай же долетит твой прах
И к нам в Апсны, из дальней дали.

На пике остром и крутом,
Куда лишь ветер долетает,
Стань вечным снегом, вечным льдом,
Который никогда не тает.

Будь выше облаков и туч,
Но пусть однажды в час рассвета
К тебе дойдет, как теплый луч,
Любовь абхазского поэта.



60-е годы.

В. КОСОЛАПОВ

«ВЗРЫВЧАТАЯ СИЛА НЕРАВНОДУШИЯ...»

Вынесенные в заголовок слова принадлежат Константину Михайловичу Симонову. Они взяты мной из его письма в Тбилиси к Этери Гугушвили. «Неравнодушие, — писал Симонов, — вообще одна из самых дорогих черт человеческих, что же говорить о значении этого качества в жизни литератора, в жизни критика... Тот, кто лишается где-то даже посредине жизни этого качества, продолжает только якобы жить в литературе, а на самом деле перестает в ней жить. Тот, кто обладает этим качеством неравнодушия до конца, до последнего дня своей жизни, продолжает существовать в литературе и после своей физической смерти. Что-то отмирает у сошедших в прошлое, некогда злободневных литературных текстов, что-то продолжает жить, что-то перемещается или ощущается по-другому, но взрывчатая сила неравнодушия к жизни и литературе остается навсегда, как звук эпохи, как невынимаемая из него часть минувшего исторического времени»[1].

---

[1] «Литературная Грузия», 1980, № 2, с. 21.

Письмо это написано в январе семьдесят девятого года. Нетрудно видеть, что мысли, высказанные в нем, выходят далеко за рамки обычного, частного письма. Они воспринимаются как жизненное и литературное кредо писателя. Высоко ценя это качество в других, он сам был щедро наделен им. Весь его путь — и в жизни, и в литературе — яркое свидетельство этой «взрывчатой силы неравнодушия».

В первой половине 50-х годов мне довелось, что называется, рука об руку работать с Константином Михайловичем в редакции «Литературной газеты». Естественно, что мои воспоминания о Константине Михайловиче — это прежде всего воспоминания о нем как о редакторе «Литературной газеты», руководителе большого редакционного коллектива.

Известно, что, будь редактор газеты или журнала хоть семи пядей во лбу, он немногого добьется, если коллектив его не понимает, не разделяет его взглядов, если в редакции подобрались случайные, равнодушные люди. Успех обеспечивается людьми, по-настоящему влюбленными в свое дело и преданными ему, людьми, как говорится, с искрой божьей. В коллективе «Литературной газеты» такие люди были. И в том, что они были, — заслуга прежде всего Симонова.

Основные отделы газеты возглавляли тогда писатели Борис Агапов и Николай Атаров, искусствовед и театральный критик Аркадий Анастасьев, публицист-международник Александр Кривицкий; одним из заместителей главного редактора работал критик и литературовед Борис Рюриков.

В редакции работали известные уже в те годы писатели и журналисты и целая плеяда молодых способных сотрудников.

У Симонова было особое чутье на молодых литературно одаренных людей. Стоило появиться в какой-либо газете или журнале заметному выступлению дотоле никому не известного автора, смотришь, Константин Михайлович уже «положил на него глаз». После выяснения — кто такой? откуда? когда и где начал печататься? профессия? образовательная подготовка? и т. д. — следовало приглашение в редакцию. Давалось задание, порой связанное с командировкой. А через какое-то время Симонов уже вносит на обсуждение редколлегии предложение — зачислить этого молодого литератора в штат редакции. «Осечек», как правило, не случалось.

Константина Михайловича — главного редактора «Литературной газеты» и одного из руководителей Союза писателей — постоянно заботила мысль о том, как лучше помочь

людям ориентироваться в поистине необъятном книжном море. Его удручало, что девяносто пять, если не больше, процентов всех издаваемых в стране книг не получали никакого отклика в прессе. Он искал такие газетные формы разговора с широкой читательской аудиторией, которые позволяли бы охватывать возможно больше произведений. Ежемесячные полосы «По страницам журналов»? Хорошо, но далеко не достаточно. А что, если регулярно, раз в месяц, под рубрикой «Заметки о стихах» давать толковые обзоры поэзии в журналах? Первый такой обзор, написанный самим Константином Михайловичем, был посвящен анализу стихов в январских номерах журналов за пятьдесят второй год. Им же были написаны и несколько следующих обзоров.

Со второй половины того же года по инициативе Симонова «Литературная газета» ввела еженедельное «Книжное обозрение». Обычно оно занимало от полутора до двух газетных подвалов и вмещало семь-восемь коротких рецензий. В редакции их окрестили «малютками». Дело это оказалось исключительно трудоемким, потребовавшим от коллектива немалых усилий. Основная трудность состояла в том, что было решено делать «Книжное обозрение» силами наиболее авторитетных критиков и литературоведов, а также силами известных писателей. Первые же, привыкнув к объемным статьям, считали короткую рецензию «мелочью», несолидным для себя занятием, а вторые отмахивались от просьб редакции на том основании, что они — не критики и это, мол, вовсе не их дело. Симонов сам энергично включился в организаторскую работу, сам вел разговор со многими будущими авторами обозрения, доказывая, что глубина воздействия той или иной рецензии на умы и сердца не связана с ее размерами. Постепенно лед тронулся. Когда в редакции образовался запас готовых рецензий на две-три недели вперед, первое «Книжное обозрение» увидело свет. Прозаики и поэты соревновались с профессиональными критиками в глубине и тонкости идейно-эстетического анализа разбираемых книг. «Малютки» Юрия Олеши, Михаила Светлова, некоторых других писателей привлекали внимание и цельностью мысли, и высоким совершенством литературной формы.

Как-то вечером Константин Михайлович позвонил по внутреннему телефону:

— Вы не очень заняты?

— Сейчас как раз пауза между полосами.

— Я загляну к вам. Бродит одна мыслишка. Обсудим...

— Вы заметили, — сказал он входя и попыхивая трубкой, — за последние годы из журналов, про газеты я уж не говорю, исчезла любовная лирика? Отсутствие спроса со стороны редакций — а я убежден, что это вовсе не совпадает с

запросами читателей, — убивает у поэтов охоту писать такие стихи. Поэты словно боятся, что их обвинят в мелкотемье, копании в интимных переживаниях, в отступлении от гражданских мотивов. Так мы сами обедняем нашу поэзию. А читатели сетуют. Кто сказал, что стихи о любви сегодня менее нужны, чем во время войны?

В тот вечер я впервые услышал от Симонова историю публикации в «Правде» стихотворения «Жди меня».

— Вот я и думаю, — продолжал Константин Михайлович, — а что, если именно «Литгазета» попытается пробить эту стену равнодушия нашей периодики к любовной лирике? Сделать крепкую подборку. Придумать для нее броский заголовок. Набрать его «глазастым» шрифтом. Дать стихи не на подверстку, не на затычку, а на самом видном месте. Неужели мы не в состоянии сделать праздник для читателя — напечатать хорошие стихи о любви, которых он давно ждет?

Редколлегия одобрила это предложение. И вот праздничный первомайский номер «Литературной газеты» пятьдесят третьего года вышел с подборкой стихов о любви. Она заняла всю нижнюю часть первой полосы и имела общий, крупно набранный заголовок «Весеннее».

Когда на редакционной летучке обсуждался первомайский номер, Константин Михайлович заметил:

— Я думаю, что мы правильно сделали, что напечатали эту подборку. Это поступок принципиальный... Мы могли, конечно, значительно сильнее и лучше это сделать, если бы мы более тщательно к этому готовились... Какой вывод из этого надо сделать? Будем и дальше печатать стихи о любви, но скидок на первый блин уже давать нам никто не обязан, тем более не обязаны мы сами себе давать. Надо сосредоточить усилия на том, чтобы это были стихи очень высокой пробы, повысить требовательность к поэтам, повысить уровень редакционной работы над стихами.

Прошло немного времени, и с легкой руки «Литературки» любовная лирика стала вновь завоевывать права гражданства на страницах журналов и газет.

Умение порадоваться вместе с коллективом тому, что удалось, и в то же время никогда не довольствоваться этим, выдвигать более сложные задачи, искать новые темы, новые газетные формы и жанры — это тоже была характерная черта Симонова-редактора.

Руководимая им «Литературная газета» подняла на своих страницах вопрос большой государственной важности — о совместном обучении мальчиков и девочек в советской школе. Как известно, с сентября сорок третьего года по сентябрь пятьдесят четвертого у нас существовало раздельное обучение. И чем дольше оно существовало, тем все ощутимее

давали о себе знать его воспитательные протори и убытки. «Волнующий вопрос» — так называлась статья профессора В. Колбановского, публикацией которой в апреле пятидесятого года газета начала широкую и длительную кампанию за возврат к совместному обучению. В ней приняли участие многие писатели, педагоги, родители учащихся.

Среди откликов на статью В. Колбановского, поддержанную рядом писателей, редакция долгое время ждала недвусмысленного и авторитетного мнения органов народного образования и Академии педагогических наук. Ждала терпеливо, понимая всю серьезность проблемы, от правильного решения которой зависело дело воспитания миллионов школьников. Понадобилось четыре года, чтобы газета смогла напечатать беседу с вице-президентом Академии. Озаглавлена беседа была так: «Академия педагогических наук высказывается за совместное обучение». А через три месяца — в июле пятьдесят четвертого года — было обнародовано правительственное постановление о введении совместного обучения.

По предложению Симонова появилась в газете и рубрика «Рецензии на вещи», сразу обратившая на себя внимание. Подсказали ее письма читателей, нередко жаловавшихся на низкое качество тех или иных товаров массового спроса. В качестве эпиграфа к новой рубрике были взяты слова Маяковского:

Товарищ!
К вещам
пером прицениться,
критикуй поэмы,
рецензируй басни.
Но слушай окрик:
«Даешь рецензии
На произведения
сапожной и колбасной!»

Поначалу заметки для этой рубрики делались руками журналистов и писателей, но уже третью по счету подборку «Рецензий на вещи» целиком составили письма читателей — рабочих и работниц, служащих, домохозяек.

Удивительно, как умел Константин Михайлович создавать и поддерживать в коллективе дух творческого соревнования. Долгое время в газете не ладилось с фельетонами. Появлялись они редко, и качество большинства из них оставляло желать много лучшего. Симонов попросил международный отдел редакции «вставить фитиль» фельетонной группе — показать ей, как надо работать, чтобы обеспечить регулярный выход фельетонов на газетную полосу. Руководитель отдела А. Кривицкий пообещал, что на протяжении месяца ни один номер «Литературки» не выйдет без фельетона на междуна-

родную тему. И свое обещание отдел сдержал. На редакционной летучке главный редактор по достоинству оценил эту работу.

— В международном отделе, — подчеркнул он, — нет специальной фельетонной группы. Для того чтобы дать двенадцать фельетонов в месяц, мы не создавали там группу в четыре человека, они работают за счет своих внутренних резервов. Это урок.

Симонов, если был убежден, что факты, которыми располагала редакция, верны, требовал самой острой постановки вопроса. Но при этом органически не терпел дешевой сенсационности, показушной смелости.

Я уже несколько раз упоминал о редакционных летучках. Симонов проводил летучки, как правило, сам. Требовал от членов редколлегии, руководителей отделов не только обязательного присутствия на летучках, но и активного в них участия. Добивался, чтобы доклады были краткими — максимум пятнадцать минут, — но дельными, объективными и самокритичными. Особое внимание уделял первым шагам в газете молодых репортеров, очеркистов и публицистов, молодых литературных критиков.

— Мне думается, — говорил он также, — что следует всегда, когда мы анализируем номера, подмечать то новое, что мы пробуем в газете. Оно особенно нуждается во внимании и критике, независимо от того, удалось ли оно или не удалось.

Симонов настойчиво проводил мысль, что в редакционной работе не существует «мелочей», нет ничего, что можно делать кое-как, спустя рукава. В газете все важно — и большая статья, посвященная актуальным проблемам развития литературы, и крохотная заметка в хронике культурной жизни, и то, как сверстана газетная полоса, как она «смотрится», и хороши ли заголовки, и удачно ли отобраны и размещены фотоснимки, и достаточно ли усилий приложено к тому, чтобы подписи под ними были яркими, выразительными. «Многословие, набор газетных штампов... все правильно, а читать нет сил», — критиковал он неудачные подписи. А вот несколько слов из его выступления по поводу непродуманно сверстанной полосы: «Это все бублики, а веревки, на которую их нанизать, не оказалось. Материалов много, а центрального материала нет, организующая мысль отсутствует...»

Константин Михайлович очень дорожил авторитетом «Литературной газеты», авторитетом писательского слова, звучащего с ее страниц, и многое успел сделать для укрепления этого авторитета. Малейшая ошибка, допущенная кем-либо из авторов или сотрудников редакции, даже появление в газете «невинной» буквенной опечатки, глубоко огорчало его.

— Создать авторитет газеты, — подчеркивал он, — дело большое, длительное. Он создается годами. Разрушить авторитет газеты на длительный период можно в два счета. Две-три ошибки, и авторитет газеты рушится на многие месяцы, и восстанавливать его приходится с величайшим трудом.

Какие конкретные обстоятельства породили ошибку, «обеспечили» ее появление в газете — именно это, а не формальная «проработка» провинившихся, в первую очередь занимало Симонова.

Должен сказать, что даже и сегодня, спустя тридцать лет, читать стенограммы симоновских выступлений на летучках — а они сохранились в архиве писателя — чрезвычайно интересно. Вот, скажем, на первый взгляд не очень-то значительный случай. В Калуге, где в те годы еще не было писательской организации, вышел литературный альманах. Экземпляр альманаха был прислан в редакцию на имя Симонова. Он поручил двум сотрудникам ознакомиться с этим изданием и прорецензировать его. Об альманахе уже была заметка в «Крокодиле» — один из опубликованных материалов оказался плагиатом. На этом основании сотрудники редакции, не посоветовавшись с Константином Михайловичем, отписали в Калугу, что «Литературная газета» не считает для себя возможным откликнуться на выход альманаха. Случай, повторяю, не столь уж значительный, он мог бы остаться незамеченным. Но именно ему Симонов целиком посвятил свое выступление на очередной летучке:

— История с калужским альманахом — это интересная и по-своему поучительная история. После того как я поручил нашим товарищам заняться альманахом, я вскоре почувствовал, что у них отсутствует живой интерес к этому делу. Формально они как будто правы: «Крокодил» выступил, и нам нецелесообразно выступать. Я прочитал альманах. Там напечатаны главы из романа о Болотникове. Я потом узнал, что автор этого романа — старый человек, врач, занимающийся и сегодня своей профессией. Не знаю, как в целом будет выглядеть этот роман, но я прочитал многое с большим волнением. Человек знает историю, умеет писать; возникает запоминающийся образ Болотникова, прекрасной души человека, русского человека, а не того «рыцаря Ивана», который был когда-то изображен. Наши товарищи, читавшие альманах, заметили в нем только три страницы плагиата, а на роман о Болотникове они не обратили внимания. Этот пример у меня лично рождает тревогу — тревогу за книги, выходящие на периферии, за альманахи, за журналы областные. Я не вижу, кто за них в редакции ратует, ищет, волнуется. Наши литераторы, журналисты должны интересоваться тем, что выходит в областях. Это часть культурной жизни.

Как бы размышляя вслух, он рассказывал, что вот так ему

видится та или иная тема и вот с какого конца следовало бы к ней подступиться.

— Отделу критики, — говорил он на одной из летучек, — я бы посоветовал подумать над такой темой — о культуре писательского труда и о культуре писательского времени. Надо порыться, взять воспоминания, записки, посмотреть, как работали классики, как работали писатели наши лучшие. Причем брать во всех разрезах эту работу; брать в особенности тех писателей, которые умели быть и общественниками, которые и школы вели, и докторами были — таких примеров достаточно в русской литературе, — и показать, как в то же время они умели ежедневно писать, сколько выдавали, как говорится, на-гора неплохой продукции. А дальше посмотреть, покритиковать... неверный стиль работы, нетрудоспособность иных наших литераторов — люди разучились каждый день работать. И вторую сторону вопроса здесь взять очень важно — об уважении к труду писателя со стороны разных учреждений и организаций. То есть поставить вопрос о необходимости понимания того, что если писатель пишет, то он работает; писать — это и есть его главная работа. Это в сознание многих наших организаций никак не может войти: «Ну что ж, оторветесь». Бухгалтера или счетовода не придет в голову оторвать в часы службы...

О высокой культуре труда самого Симонова свидетельствует, в частности, оставленный им богатейший личный архив. Ни у одного из знакомых мне писателей я не видел такого огромного и при этом продуманно организованного и постоянно «работающего» архива!

Не помню уж, по какому поводу мы с Константином Михайловичем условились встретиться. Сидели в его рабочем кабинете. Как-то невольно нас повело на воспоминания о годах работы в «Литературной газете».

— Видите эти папки? В них все стенограммы выступлений на редколлегии и на летучках в «Литгазете». А вот в этих папках — стенограммы выступлений на редколлегии «Нового мира» за все годы моей работы в журнале. Понадобится что-то уточнить, проверить свою память — пожалуйста, материал всегда под руками...

Но я все-таки хочу возвратиться к тем страницам биографии Симонова, когда он был главным редактором «Литературной газеты».

В те годы он делил свое основное время между собственным творчеством, «Литературной газетой», Союзом писателей и Советским комитетом защиты мира. Его рабочий день был расписан буквально по минутам. В редакции «Литературки» он работал четыре дня в неделю. Непременно вел один из номеров газеты (она выходила тогда по вторникам, четвергам и субботам). В четверг вечером, проведя заседание

редколлегии, уезжал в Переделкино, где у него тогда была дача. Пятница, суббота и воскресенье — его писательские дни. В то время он работал над первым своим романом «Товарищи по оружию».

В свои писательские дни, одержимый одновременно несколькими творческими замыслами, Симонов работал по двенадцати — четырнадцати часов в сутки. Телефона на даче не было — «чтоб не отвлекали, не выдергивали из-за рабочего стола». Свой писательский труд он жестко планировал. «Иначе ничего не успеешь. Не могу сидеть и ждать, когда тебя посетит так называемое вдохновение. Для нашего брата писателя важно выработать внутреннюю потребность трудиться ежедневно». Вот одна любопытная деталь: если намеченные им сроки почему-либо оказывались сорванными, он наказывал сам себя тем, что запрещал себе курить. Заходишь к нему в редакционный кабинет и видишь: с грустным видом сосет пустую, не набитую табаком трубку.

— Что, проштрафились, Константин Михайлович?

— И не говорите. Должен был написать очередную главу — в голове она вполне сложилась, — но расслабился и не дописал.

— И надолго «епитимья»?

— На месяц, а там поглядим...

Кому-то эти «самонаказания» казались писательским чудачеством, но сам он относился к ним вполне серьезно. И, кажется, не было случая, чтобы он себя «амнистировал», сняв запрет на курение раньше им же самим установленного срока.

Уезжая в четверг вечером из редакции в Переделкино — к своему писательскому рабочему столу, — Симонов тем не менее забирал с собой оттиски сверстанных полос субботнего номера «Литгазеты». В середине дня в пятницу он возвращал их тщательно вычитанными, со своими редакторскими исправлениями в тексте и замечаниями на полях. Возвращал с запиской, адресованной либо Рюрикову, либо мне, в зависимости от того, кому из заместителей главного редактора надлежало вести данный субботний номер. Записки его были немногословны, строго делового характера.

Замечания Константина Михайловича на газетных полосах были четкими. Иногда, правда, он позволял себе слегка порезвиться. Так однажды на полях не лишенной элементов заушательства критической статьи он написал:

«Из Козьмы Пруткова: Одной, пусть даже самой искренней нелюбви к литературе еще недостаточно для того, чтобы уже считать себя литературным критиком».

Статья эта света не увидела.

Как автор «Литературной газеты» Константин Михайлович выступал в самых разных жанрах. Однажды он поставил на

обсуждение редколлегии написанный им фельетон «Пустой стул». Речь в фельетоне шла о весьма распространенном явлении — о пустых стульях в редакционных коллегиях журналов, художественных советах, жюри литературных конкурсов, в редакционных советах издательств. Напечатанный под рубрикой «В порядке обсуждения» фельетон, если судить по многочисленным письмам, полученным автором и редакцией, и по множеству телефонных звонков, вызвал горячее одобрение читателей. А чтобы у них не создавалось впечатление, будто в редакционной коллегии самой «Литературной газеты» в этом отношении все обстоит благополучно, Симонов закончил фельетон так:

«Да, пора над этим задуматься, сводя к минимуму количество пустых стульев при обсуждении... И чем скорее, тем лучше, ибо, если честно признаться, при обсуждении на редакционной коллегии этого фельетона тоже были замечены один-два пустых стула».

Помню, как на заседании редколлегии раздавались голоса, что, мол, вторую половину заключительного абзаца надо снять, но Симонов с этим решительно не согласился.

Надо сказать, что ему как редактору вообще было не свойственно защищать во что бы то ни стало «честь мундира» и уклоняться от самокритики. Ограничусь одним примером. В пятьдесят первом году Симонов выступил в «Литгазете» с заметками, названными им «О доброжелательстве». Речь в них шла о тоне литературно-критических выступлений, о том, что самая строгая и принципиальная критика недостатков тех или иных произведений должна сочетаться с уважительным отношением к авторам рецензируемых книг и их работе.

Конкретным материалом для этого разговора послужили рецензия на книгу Всеволода Иванова «Встречи с М. Горьким» и статья молодых критиков о романе Владимира Лидина «Две жизни». Обе статьи были напечатаны «Литературной газетой». Обстоятельнейшим образом проанализировав их, Симонов показал, что и той и другой недостает именно доброжелательства, что строгость литературно-критических оценок подменена в них едкостью, а действительные недостатки разбираемых произведений более осмеяны, чем доказаны.

Конечно, сказанное в заметках «О доброжелательстве» имело отношение не только к двум статьям, появившимся в «Литературной газете», но и к некоторым другим критическим выступлениям в других газетах и журналах. Однако Симонов считал, что начать этот разговор правильнее будет с того, что ближе, — с неверного в собственной работе.

Требуя от сотрудников «Литературной газеты» работы с полной отдачей сил, он в то же время всегда внимательно относился к их житейским нуждам. В те годы в Москве было еще очень трудно с жильем, но Симонов добился улучшения

жилищных условий для многих. Также его заботами в Подмосковье были построены два дачных поселка «Литературной газеты». Он выкраивал время, чтобы навестить заболевшего сотрудника, подбодрить его, выяснить — в чем тот нуждается и сделать все возможное для того, чтобы помочь ему.

В один из четвергов я почувствовал, что заболеваю. Не мог даже участвовать в заседании редколлегии. А назавтра мне предстояло вести субботний номер. Зная, что Симонов дорожит своими писательскими днями, я, уезжая из редакции, сказал ему, что постараюсь к утру сбить температуру, привести себя в порядок и номер вести буду, тем более что к часу дня мне все равно надо быть на заседании бюро райкома. Константин Михайлович на это ничего не сказал, лишь посоветовал выпить на ночь стакан водки, намешав в нее больше перца, и потеплее укрыться — ему на фронте приходилось так лечиться, и обычно помогало... А часа через два мне привезли от него записку: «Дорогой Валерий Алексеевич! Как мне удалось выяснить, райкома завтра не будет. По здравому размышлению считаю, что Вам лучше вылежать до понедельника, — завтра я буду дежурить. Решение окончательное — отменам не подлежит. Жму руку, желаю здоровья. Ваш *К. Симонов*. 16.IV.53».

«Литературную газету» Симонов редактировал до конца августа пятьдесят третьего года. Но и потом он не порывал связей с ней. У меня сохранились его письма той поры, когда он уехал корреспондентом «Правды» в Среднюю Азию.

«Дорогой Валерий Алексеевич, — писал он из Ташкента в феврале шестидесятого года, — посылаю, как договорились по телефону, отрывки из дневника С. Гудзенко. Эти страницы связаны с его пребыванием на маневрах Туркестанского военного округа осенью 1950 года. Это была его уже вторая поездка сюда. Первая была в 1949 году — результатом явилась поэма «Дальний гарнизон». После второй поездки появились «Туркестанские стихи».

По-моему, трудно придумать более удачный материал к 23 февраля. В дневнике много мыслей о войне и мире, о воспитании людей, о романтике военной профессии. Все это написано с глубокой любовью к нашей армии и ее людям. Хотя это и дневник, но записи выстраиваются в очень цельную картину — благодаря тому, что охватывают как раз от начала и до конца период маневров...

Название я дал произвольное — можно дать другое: «Маневры» или «На маневрах» или еще какое-нибудь («Солдаты мира» и т. д.)...

Позвони, отец, как решили, ладно?

Жму руку! Ваш *К. Симонов*».

Еще одно письмо:

«Дорогой Валерий Алексеевич! Посылаю Вам, как обещал по телефону, только что вышедшую здесь, в Ташкенте, книгу материалов Конференции писателей стран Азии и Африки.

Я еще раз бегло проглядел все эти материалы, и мне кажется, что во многих из них есть превосходные места для цитирования, целый букет очень ярких и резких высказываний против империализма и колониализма.

Мне кажется, в нынешней политической обстановке выход этой книги материалов можно было бы с успехом использовать в специальной передовой с широким цитированием. А может быть, можно было бы сделать и целую полосу из наиболее сильных цитат. Это было бы неплохо и для газеты, и для привлечения внимания к следующей конференции.

Кроме того, нам было бы политически важно привлечь внимание к этой книге и оповестить таким образом писателей во всех странах Азии и Африки о том, что она наконец вышла в свет.

Книгу посылаю бандеролью одновременно с этим письмом, тоже на Ваше имя.

Жму руку. Ваш *К. Симонов.*

Ташкент, 21 мая 60 г.».

После того как он покинул пост главного редактора «Литературной газеты», мы стали видеться не часто — ведь к узкому кругу самых близких его друзей я не принадлежал. Но вот спустя почти десять лет, когда я был болен, получил от Симонова по почте бандероль. Он прислал свою незадолго до того вышедшую книгу «Стихи. Поэмы. Вольные переводы» с дарственной надписью: «Дорогому Валерию Алексеевичу со старой дружбой... Константин Симонов».

Очень тогда порадовал и растрогал меня этот симоновский подарок!

Еще десяток лет миновал. Время, как известно, неумолимо — для меня вплотную приблизился рубеж пенсионного возраста. Не могу сказать, что от этого было очень уж радужное настроение. И снова получил бандероль. В ней оказались аккуратно переплетенные страницы из двух номеров «Юности» — «Записки молодого человека». Дарственная надпись гласила: «Дорогому Валерию Алексеевичу на память от немолодого человека, дружески! Ваш Константин Симонов».

Послав Константину Михайловичу свою книжку, одна глава которой целиком посвящена трилогии «Живые и мертвые», я, зная его предельную занятость, приготовился набраться терпения. Никак не ожидал, что получу от него письмо через пять дней. «Спасибо сердечное за книгу, — писал он. Прочел в ней

то, что касается меня, с признательностью, а все вместе взятое с большим интересом. Книжка, по-моему, справедливая по отношению к нашей военной литературе в целом, что не исключает, конечно, некоторых отличий оценок моих и Ваших в отношении кое-каких упомянутых Вами книг. Крепко жму руку. Ваш *К. Симонов.* 8.IV.76».

К тридцатипятилетию победы в Великой Отечественной войне издательство «Книга» задумало подготовить сборник «Слова, пришедшие из боя». В нем предполагалось осветить историю создания и дальнейшую жизнь ряда наиболее значительных произведений о войне. Меня попросили взять для этого сборника интервью у Константина Михайловича и темой беседы избрать его фронтовую лирику. Я написал ему о просьбе издательства. Привожу отрывок из его ответного письма: «...мне кажется, что в качестве объекта, который мы с Вами будем рассматривать, не стоит брать книгу стихов «С тобой и без тебя», ибо я не склонен комментировать ее каким бы то ни было образом сверх того, что сказано о ней в «Разных днях войны».

...В качестве встречного плана предложил бы повесть «Дни и ночи» — история ее возникновения, работа над ней, последующие сокращения, публикации и так далее. По-моему, об этом значительно меньше писалось, чем о «Живых и мертвых», и кое-что в этом материале может оказаться, как мне думается, любопытным...»

Встретились мы в конце сентября, вечером, на московской квартире Константина Михайловича.

— Знаете что, — сказал он, перед тем как включить диктофон, — обычно ведущие беседу заранее знакомят с вопросами, которые собираются задать. Я прошу вас не делать этого. Знание всех вопросов наперед меня будет как-то сковывать, будет мешать мне... Согласны? Тогда, как говорится, с богом...

— А как назовем беседу? Или потом это решим?

Симонов на какое-то время задумался.

— А что, если назвать просто — «Первая проза»? Это будет верно и по существу. «Дни и ночи» действительно были моей первой большой по объему прозаической вещью, написанной в годы войны.

Под таким названием беседа и была опубликована.



К. Симонов и Назым Хикмет.
50-е годы.

З. ПАПЕРНЫЙ

«СПЛОШНАЯ ЛЕДОКОЛЬНАЯ РАБОТА...»

Симонов работает... Мне посчастливилось видеть это с близкого расстояния. Я был сотрудником «Литературной газеты», когда ее главным редактором стал Константин Михайлович. Это было в 1950 году. И четыре года, до 1953-го, я работал под его началом.

Однажды К. М. Симонов назначил совещание отдела критики на 3 часа ночи. Собираться так поздно в те времена казалось обычным и естественным. Рабочий день газеты — да и не ее одной — длился чуть ли не до утра. Ровно в 3 часа ночи секретарь Симонова, Татьяна Александровна, вызвала нас по телефону к нему в кабинет.

Примерно за час все текущие вопросы по отделу были решены. Я подошел к Константину Михайловичу и спросил, может ли он почитать «загон» (набранные статьи) по литературоведению, за которое я отвечал. Он согласился, взял у меня папку с гранками и вложил ее в свой портфель — совершенно необъятных размеров. При взгляде на этот портфель, приближавшийся по объему к сундуку, возникала мысль о носильщике.

Когда я уезжал из редакции, уже светало, Симонов еще оставался. На потрепанной «разгонке», редакционной машине, развозившей сотрудников, я добрался до дому, поел — не то поужинал, не то позавтракал — и лег спать. На следующий день в редакцию я пришел поздно, в час дня. На всякий случай захожу к Татьяне Александровне: Симонов еще не приехал? Она говорит: «Что вы, он здесь с десяти утра, у него с 10-ти до 12 часов депутатский прием».

Я не спрашивал о статьях — когда он их мог прочитать? Но Татьяна Александровна протягивает папку: «Константин Михайлович просил вам передать». Смотрю: все статьи тщательно прочитаны, даже вычитаны не просто редакторски, но и корректорски, на каждой — мнение Симонова и подпись.

Значит, прикидываю, Константин Михайлович выехал из редакции в пять утра, читал еще, может быть в машине, статьи по литературоведению — именно читал, а не просматривал «по диагонали» — и в 10 часов утра уже был в редакции. Неясно только одно — когда же он спал?

Однажды поздно ночью я ехал с Константином Михайловичем из редакции в Переделкино — он возвращался к себе на дачу и подвозил меня (я жил тогда неподалеку, в Баковке). Я стал расспрашивать его, как он работает, удается ли ему писать «для себя» после редакционного дня. А если удается, то практически когда? И когда же отдыхать?

Вопрос мой был, конечно, наивный. Все равно что спрашивать у воинствующего атеиста, когда он ходит в церковь.

Казалось бы, Симонов уже по своему положению был отдален от сотрудников: есть же служебная иерархия. Но когда в номере шла важная статья, главный редактор как-то незаметно и запросто становился с сотрудниками в одну упряжку. Он вел себя очень тактично — умел и начальство не оттеснить (заведующих разделами и отделами газеты), и рядового сотрудника, который непосредственно отвечал за данную статью, выдвинуть на передний план.

В 1952 г. шла подготовка к гоголевскому юбилею — столетию со дня смерти писателя. Надо было кому-то ехать на заседание Комитета по проведению юбилея. Обычно делалось так: ехал член редакционной коллегии и сотрудник, которому было поручено писать отчет.

Константина Михайловича спрашивают: кому ехать для представительства, а кому — для отчета? Симонов: «Кто должен писать отчет?» Называют меня. Симонов: «Раз он будет писать отчет — пусть и представительствует. Нечего разделять работу и представительство».

Значиться и быть — эти слова для него всегда оказывались неразрывными.

Вспоминаю урок, который он мне преподал. У меня дома был снят телефон — еще в годы войны, и вот теперь мне

никак не удавалось его восстановить. Что делать? Просить о помощи Константина Михайловича? Я обратился к нему с письмом, шутливым по форме (пародировалась пушкинская «Сказка о рыбаке и рыбке»), но весьма для меня важным по существу:

> Дорогой Константин Михайлыч,
> Одолела меня моя старуха,
> Не дает, старику, мне покоя,
> Не желает жить без телефона... —

и т. д.

Константин Михайлович вызвал меня и, как золотая рыбка, сказал: не печалься, ступай себе с богом. А в переводе с пушкинского языка он обещал поговорить с министром связи (тогда — Н. Д. Псурцев). Я должен был подготовить текст ходатайства за подписью главного редактора «Литературной газеты».

Поблагодарив, я пошел сочинять ходатайство. Жанр мне был знаком — он строится по принципу гиперболы. Просим, мол, помочь такому-то, потому что такой-то является тем-то и тем-то, и если ему не помочь, газета вообще может перестать выходить. Ну, буквально так я, конечно, писать не стал, но перечислил все свои трудовые доблести...

Тут было одно щекотливое обстоятельство. В редакции я работал в отделе критики, ведал подотделом литературоведения. Для большей солидности и значительности я в ходатайстве назвал свой подотдел — отделом. И тем самым произвел себя в заведующего отделом, каковым тогда не был.

В этом виде я передал текст ходатайства К. М. Симонову. На следующий день Татьяна Александровна сообщила мне, что Симóнов его не подписал. Я пошел объясняться.

— Видите ли, — сказал он мне, — мы с вами должны быть особенно аккуратны. Вы можете перечислять любые свои заслуги перед газетой и перед, — он улыбнулся, — отечеством. Но только не надо создавать несуществующего отдела, раз его в штатном расписании нет.

Быть точным — для Константина Михайловича это означало держаться реальности, не «отлетать» от нее.

И еще одно: держать свое слово. Тут Симонов особенно много требовал от себя и от других. Прежде всего — от себя.

Эта симоновская черта кажется мне особенно ценной. Не скажу, чтобы она была такой уж дефицитно редкой. Однако болезнь «несдержания слова» получает в наше время довольно широкое распространение.

Маленькое отступление. Я жил в доме отдыха, где не отдыхал, а выполнял срочную работу. Туда надо было ехать сто километров на поезде и еще добираться километров пятнадцать. Мне предстояло привезти несколько чемоданов с книга-

ми. Я сговорился с шофером дома отдыха, что он встретит меня с машиной такого-то числа к такому-то часу на железнодорожной станции. Несколько раз я напоминал ему о нашем уговоре, сказал, что иначе со своими тяжелыми чемоданами не доберусь. Он меня заверил, что все будет в порядке.

Приезжаю в обусловленный день и час. Никакой машины нет и в помине. В общем, кончилось тем, что, измучившись вконец, я добрался на каком-то мотоцикле — один автодоброхот сжалился надо мной и довез.

Встречаю шофера:

— Вы же обещали, почему же вы меня так подвели?

Он отвечает гениально просто:

— Да, обещал приехать. Но почему вы решили, что если я обещал — я приеду?

Как это ни печально, в покоряюще простодушном ответе водителя чудится нечто ультрасовременное.

Симонов всем, что он делал и как делал, противостоял стихии необязательности, как он любил выражаться, всяческого «небрежения».

В начале 50-х годов я задумал свою первую книжку — о мастерстве Маяковского. Но я же не Симонов, чтобы работать в таких условиях! Служить в редакции, связываться с десятками авторов, читать, править, верстать, переверстывать, да еще писать книгу, притом первую, — это выше моих сил. И вот я иду к Константину Михайловичу — договориться о моем уходе из редакции.

Все я рассказал: как ничего не получается, говорил искренне, даже чуть не расплакался (к счастью, удержался). Уходить из редакции тогда тоже не хотелось, было трудно — очень уж интересно работать с таким главным редактором.

Симонов советует:

— Возьмите свой очередной отпуск — месяц. Да еще я дам вам месяц за ваш счет. 60 дней! За это время вы многое успеете с книжкой, а потом вернетесь в редакцию, и вам уже легче будет дописывать книжку.

— А меня не вызовут из отпуска, если здесь начнется очередной аврал?

— Нет, это я вам обещаю.

Поступаю по совету Симонова, ухожу в отпуск на два месяца. Но вот что происходит дальше. Начинается большой пленум Союза писателей. Команда: «Свистать всех наверх!» Сотрудников отдела критики, находящихся в отпуске, вызывают на работу. Хотят вызвать и меня. Но Симонов распоряжается, чтобы меня не трогали.

— Как не трогать? Не хватает работников!

— Но я ему обещал.

И все. Этого достаточно.

В твердости слова Симонова я убедился сразу же, как

только он пришел в газету. В те дни я написал фельетон об одном очень смешном ложноакадемическом издании. Это был объемистый том, посвященный забытому — едва ли несправедливо — поэту прошлого века. Все было выдержано в стиле умиленного семейно-альбомного литературоведения.

Когда Константин Михайлович прочитал мой фельетон в гранках, он подивился: неужели возможны такие допотопные издания? Взял книгу, о которой шла речь, прочитал. И поставил фельетон в номер. Заведующий разделом литературы и искусства газеты А. Н. Макаров мне сказал:

— Симонов будет поздно вечером в типографии. Позвоните на всякий случай, по фельетону могут быть вопросы.

Звоню. Макаров говорит:

— Все в порядке, по фельетону замечаний нет. Константин Михайлович, он рядом со мной стоит, просит вам передать, что он дал к фельетону иллюстрацию из рецензируемой книги: сюртук дяди поэта.

Я похолодел. Кричу в трубку:

— Я умоляю Константина Михайловича этого не делать! Ведь на фото сюртук, пробитый пулями на поле сражения! Меня обвинят в смертных грехах.

Макаров передает мне ответ Симонова:

— Он просит вас не беспокоиться, говорит, что всю ответственность за фото берет на себя. Спите спокойно.

На следующий день выходит газета с фельетоном. Составители тома, о котором шла речь, тут же обращаются с жалобой на меня и на газету. В Союзе писателей начинается разбирательство, туда едет К. М. Симонов как главный редактор газеты и я. Выступление газеты признается правильным. Но тут встает один из жалобщиков:

— Ну, хорошо, пусть фельетон в целом обоснованный, но вот фото сюртука, пробитого пулями, — это же явное пренебрежение фельетониста к русскому оружию.

Не успеваю опомниться, как встает К. М. Симонов:

— Фото сюртука поместил в газете я — при яростном сопротивлении автора фельетона. У вас есть желание обвинять меня в пренебрежении к русскому оружию?

Разумеется, такого желания нет. Разбирательство закончено. Все обвинения в адрес газеты отведены. Назад в редакцию возвращаемся в машине Симонова. Еду и чувствую к нему несказанную благодарность.

...Вспоминается подготовка к столетнему гоголевскому юбилею в «Литературной газете». Константин Михайлович активно этим занимается. Когда надо — ведет разговоры с авторами. Как всегда, сочетает общее руководство с самой черной работой.

Во время одной из встреч в его кабинете по гоголевским делам он вдруг усмехается и достает листок.

— Вот. Получил сейчас телеграмму от... — называет фамилию сотрудника газеты. Сейчас он отдыхает в Гагре, но сообщает, что близко к сердцу принимает гоголевский юбилей. И рекомендует использовать для газеты слова Гоголя о том, как он любит Россию. Вот эти слова, указаны том и страница. Я не поленился, — смеется Константин Михайлович, — нашел том и страницу. Гоголь действительно говорит, как он любит Россию. Но в телеграмме цитата оборвана, а дальше у Гоголя следует: потому что Россия — истинный оплот православия и самодержавия. Ох, до чего же мы научились цитировать! Можем урезать цитату, и сократить, и перелицевать, вывернуть наизнанку. Все можем! А чего там...

Не знаю, когда у Симонова родилась мысль восстановить — строго документально, без изъятий и перемен — выставку Владимира Маяковского «20 лет работы». Развернуть ее там же, где ее устроил сам Маяковский: в том же здании, где сейчас Союз писателей, а раньше был писательский клуб.

Мысль не просто счастливая, но по самой природе своей — симоновская. Она продиктована заботой о правде, о том, «как это было на земле», полна стремления увидеть реальность без назойливых посредников.

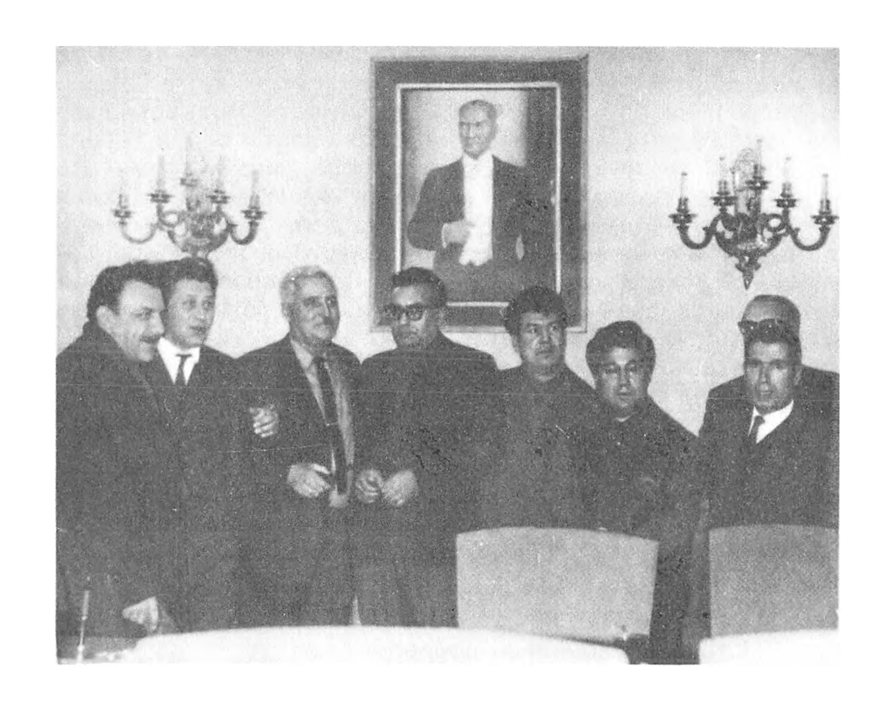
К счастью, сохранились фотографии залов выставки. И вот Константин Михайлович, вооружившись всеми необходимыми планами, фотографиями тогдашних выставочных витрин, начинает шаг за шагом воссоздавать все, что сделал Маяковский, инициатор и организатор своей выставки 1929—1930 гг.

Никогда не забуду дня открытия выставки, ее второго — после стольких лет — рождения. Вот стоит Виктор Борисович Шкловский. Слезы на лице... Он не один — плачут многие. Плачут потому, что воскресло прошлое, с которым связана жизнь, прошлое — как оно было, во всей своей неподдельной, бьющей в душу натуральности.

В одном из стихотворений, которое увидело свет в первом томе собрания сочинений К. М. Симонова, сказано:

Порой подумаешь:
Вся наша жизнь
Сплошная ледокольная работа...

Поэты по-разному называли работу: трудная, тяжелая, каторжная, вдохновенная. Но симоновское определение особенно выразительно — ледокольная...



Р. Фиш, К. Симонов, М. Карим среди турецких писателей. Третий справа Азиз Несин. Стамбул. 1965 г.

Азиз НЕСИН

ПИСЬМО, КОТОРОЕ НЕ ДОЙДЕТ ДО АДРЕСАТА

Друг мой, Константин Симонов!

Последний раз мы виделись в Софии, на конгрессе писателей мира. И жили мы в одной гостинице. Стало быть, с последней нашей встречи прошло уже четыре года. А были мы знакомы и дружны с Вами пятнадцать лет; я имел счастье считать Вас своим другом. Вы — хороший человек, потому что в глазах у Вас всегда светилось Ваше сердце. Я думаю, Вы поймете, что я пишу эти строки столь откровенно лишь оттого, что письмо не дойдет до Вас...

Вспоминаю забавную историю, связанную с первым Вашим приездом в Турцию. Вы не сумели получить визы в турецком посольстве в Москве. Союз писателей СССР направил мне телеграмму такого содержания: «Константину Симонову, Мустаю Кариму и Радию Фишу не дали турецких виз. Просим Вашей помощи».

Прочитав телеграмму, я рассмеялся: должно быть, Вы думали, что турецкие писатели обладают теми же правами в Турции, что советские писатели в СССР.

Два дня телеграмма лежала передо мной на столе. Зашел ко мне мой товарищ, прочитал телеграмму и спросил, что я предпринял, чтобы помочь вам получить визы.

— А что я могу предпринять?.. Ровным счетом ничего! — ответил я.

— И все-таки ты должен предпринять хоть что-нибудь. Пусть даже твоя попытка будет безрезультатной, зато, если тебя спросят, ты сможешь ответить, что сделал все от тебя зависящее...

И тогда я отправил телеграмму Сулейману Демирелю, тогдашнему премьер-министру Турции: «С огорчением узнал, что три всемирно известных советских писателя Константин Симонов, Мустай Карим и Радий Фиш не получили виз для посещения Турции. Приезд этих писателей — честь для нашей страны. Прошу распорядиться о выдаче им виз».

Много позже я узнал, что, получив мою телеграмму, Демирель сказал: «Впервые слышу эти имена, но пусть им выдадут визы, а то хлопот не оберешься»...

И турецкому посольству в Москве пошло соответствующее указание.

Помню, в день моего пятидесятилетия три советских писателя навестили меня. Это был день Вашего прилета в Стамбул.

Тогда Вы пробыли в Стамбуле всего неделю. Оставив Мустая Карима и Радия Фиша, Вы улетели в Москву.

— Почему Вы так торопитесь? — спросил я.

— К сожалению, должен уехать, — ответили Вы, — у нас в круглые даты писателям устраивают торжества. И мне необходимо быть на собственном пятидесятилетии.

Так я узнал, что мы ровесники.

Дорогой Симонов, я поторопился появиться на свет на двадцать дней раньше Вас. Но как поторопились Вы покинуть этот мир!

На второй день Вашего пребывания в Стамбуле мы пошли в рыбацкий кабачок на берегу моря. Перед нами плескался Босфор, освещенный лунным светом. В тот вечер около двадцати турецких писателей пришли на встречу с советскими коллегами...

На следующий день на многолюдной пресс-конференции Вам задавали много вопросов о социалистическом реализме, потому что эта проблема была в те годы животрепещущей и для турецкой литературы. И ответ Ваш был для нас очень важен. Вы сказали, что социалистический реализм надо рас-

ценивать в зависимости от того, в каких общественных условиях он зародился. Своим ответом Вы выдвинули на передний план основную задачу литературы — ее общественную необходимость и полезность.

...Помню, как мы познакомились. Это было летом 1965 года. Из Берлина и Веймара, где проходил всемирный конгресс писателей-антифашистов, я перебрался в Варшаву, а оттуда приехал в Москву. Познакомились мы в Союзе писателей. Вы пригласили меня домой. Так началась наша дружба.

Вы были председателем комиссии по литературному наследству Назыма Хикмета, созданной в Советском Союзе. Мы обсуждали с Вами завещание Назыма. С Вашей помощью оно было обнародовано, и сын Назыма — Мемед — стал его наследником, как того и желал Хикмет.

Велись разговоры о том, чтобы одному из лайнеров советского воздушного флота дать имя «Назым Хикмет». Вы предложили назвать именем поэта пароход, потому что самолеты приземляются лишь в аэропортах, а пароходы бороздят все моря и океаны, и, таким образом, Назым Хикмет будет путешествовать по планете.

Пароход был построен, и я присутствовал в Одессе на церемонии его спуска на воду. Вернувшись в Москву, я встретился с Вами и просил Вас похлопотать о мемориальной доске на доме, где жил Назым в Москве и где сейчас живет его жена Вера. Вы сказали, что доска будет установлена. И через несколько лет она была открыта. Был устроен торжественный митинг, на который пришли друзья Назыма, почитатели его таланта, товарищи, близкие. Я помню, что там были Николас Гильен, Расул Гамзатов, Андрей Вознесенский, Чингиз Айтматов, Кайсын Кулиев... Выступал на этом митинге и я. Я искренне благодарил Вас, но высказал и новые пожелания турецких писателей: присвоить имя Назыма районной библиотеке, расположенной в доме, где жил Назым, назвать одну из улиц или площадей Москвы его именем...

И Вы вновь обещали, что постараетесь выполнить наши просьбы. Как жаль, что жизнь не дала Вам такой возможности! Но мы никогда не забудем того, что Вы успели для нас сделать. Потому что все, что Вы сделали в Советском Союзе для Назыма Хикмета, должны бы были сделать мы на родине поэта... Обстоятельства пока не позволяют...

В одну из наших встреч Вы сказали, что у Вас в роду по линии матери были тюрки. «Теперь понятно, — пошутил я, — почему Вы так симпатичны и близки турецкому читателю».

И действительно, читатели в Турции полюбили Вас как сво-

его турецкого писателя. Когда Вы были в Стамбуле, десятки почитателей хотели познакомиться с Вами поближе, поговорить. Но не всем это удалось.

Помню, как мы гуляли с Вами по Стамбулу и зашли в чайхану на площади перед мечетью Султанахмет. Мимо проходили школьники. Узнав меня, они принесли книги и стали просить автографы. Вдруг один из школьников воскликнул:

— Смотрите, здесь и Симонов!

Через некоторое время ребята притащили Вам на подпись Ваши книги.

1 сентября 1976 года мы в первый раз отмечали в Турции День защиты мира. По счастливой случайности Вы оказались в этот день в Стамбуле и выступили в летнем театре. Одиннадцать тысяч турецких сторонников мира долго аплодировали Вам после Вашего прекрасного выступления.

Дорогой Симонов!

В соответствии с законом земного притяжения, по мере приближения к земле скорость и вес тел увеличиваются. С возрастом мы приближаемся к земле, и скорость нашей работы возрастает. Ведь в 65-летнем возрасте двадцать четыре часа совсем не такие длинные, как в двадцатилетнем... Так, с ускорением мы приближаемся к земле, а дни, месяцы, годы летят все быстрее и быстрее... И чем больше высота, на которую ты взошел, тем быстрее возрастает тяжесть при падении. И вот Вы в земле... Как щедра земля плодоносящая в момент, когда она плодоносит, так алчна и ненасытна она, когда забирает себе обратно то, чему она дала жизнь. И не устает она плодоносить, и не насыщается чрево ее, поглощая и поглощая...

Вспоминаю, как мы в Стамбуле решили пойти в музей. С Вами были Ваша жена Лариса и дочь Саша. Надо же было так случиться: куда ни пойдем, все музеи закрыты. Был понедельник, а в этот день все музеи выходные. И все же в несколько музеев мы попали. Директора музеев открывали перед нами двери, узнав, что их неурочный гость — знаменитый советский писатель Симонов.

Вы приезжали в детский дом, который я строю для беспризорных детей. Это воспоминание для меня незабываемо. Тоненькие грушевые деревья гнулись под тяжестью сочных спелых плодов, Вы пробовали эти груши, срывая их прямо с веток.

Дорогой Симонов! Поверьте, что турецкие читатели не забудут Вас, читая новые и новые издания Ваших книг. И тем более Вас всегда будут помнить дети из моего детского дома — восемьдесят моих детей. Они будут читать Ваши книги с особенным удовольствием, потому что для них Вы

будете не просто великий писатель, а еще и человек, который ел фрукты с одного с ними дерева.

Дорогой Симонов! Письмо это не может дойти до Вас. Если бы могло, я написал бы Вам всего два слова, составляющие название Вашего знаменитого стихотворения: «Жди меня». Увы, но мы никогда больше не сможем ни встретиться, ни обнять друг друга. Такова бесконечно горькая человеческая судьба.

Сегодня 31 августа 1980 года, 5 часов утра... Я пишу это письмо в Москве, в гостинице «Украина», и сердце мое глубоко чувствует эту бесконечную горечь.



На совещании по военной документалистике. К. Симонов, Л. Лазарев, А. Адамович. Минск. 1978 г.

Л. ЛАЗАРЕВ

«КАК БУДТО ЕСТЬ ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА...»

С Константином Симоновым я был знаком почти тридцать лет — срок, что говорить, немалый. Наши отношения, поначалу далекие и полуофициальные, со временем незаметно становились все теснее и ближе, а последние десять лет, если не больше, были уже дружескими. Мы довольно часто встречались — порой по каким-то делам; год от года этих дел, в которых я, как считал Константин Михайлович, должен был принимать участие, становилось все больше и больше... А иногда мы встречались без всякого дела — просто поговорить, вместе поужинать, выпив рюмку-другую. В самое последнее время, когда врачи посадили его на очень строгую диету (от этого, по его словам, он не очень страдал) и совершенно запретили вино и водку (что огорчало его куда больше), он несколько раз с грустью говорил мне: «Выпьешь рюмку?.. Выпей... А я хоть рядом посижу с тобой...»

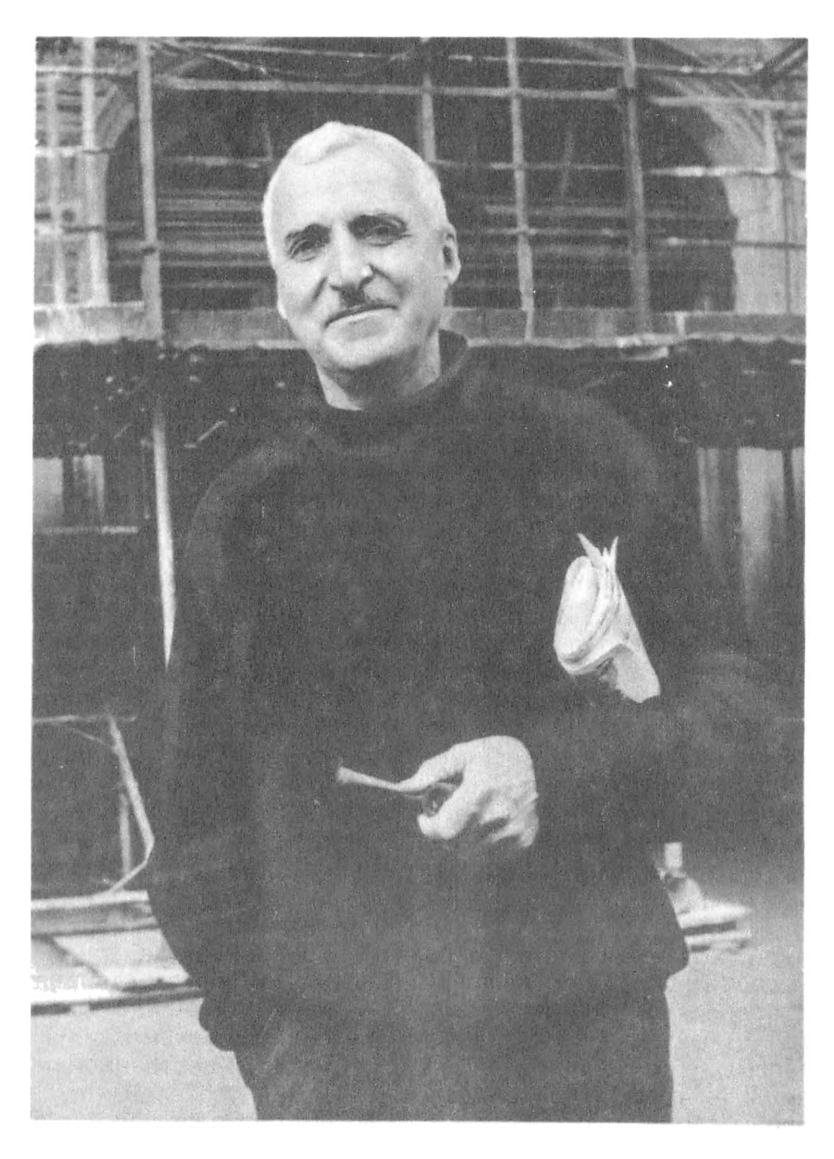
И вот что, наверное, следует сразу же иметь в виду, иначе многое в моих заметках будет непонятно... Мое поколение самых молодых солдат и офицеров сорок первого года по-особому относилось к Симонову: его стихи, очерки, рассказы были тогда, в войну, наиболее близки нашему нелегкому опыту из всего, что печаталось, — так, во всяком случае, воспринимал их я и мои фронтовые товарищи. Нам каза-

лось — это было так и на самом деле, — что он лучше других понимает, что приходится солдату и офицеру хлебать «на передке», в окопной грязи, крови, рядом со смертью. Наверное, поэтому из его рассказов военной поры я до сих пор больше всего люблю «Пехотинцев» и «Перед атакой». Сказать, что мы, фронтовые читатели, были ему благодарны, — это и в малой мере не выразит нашего чувства: само имя его словно было окружено неким романтическим ореолом. Думаю, что это отчасти объясняет, почему и моя студенческая дипломная работа, и кандидатская диссертация были посвящены его творчеству, почему, став затем литературным критиком, я не раз писал о его книгах.

И вот что еще, пожалуй, существенно. Между моими университетскими работами о Симонове и критическими статьями довольно большой промежуток времени. То, что он писал в первые послевоенные годы, меня не очень привлекало, по-настоящему мне были интересны лишь его книги о войне. И дело тут не только в нем, но и во мне. Когда я сейчас просматриваю свои статьи и рецензии середины 50-х годов, мне ясно видно, как слабо отражены в них мои главные литературные интересы. Наверное, из-за того, что я начал выступать как критик прежде, чем появилась «моя», моего военного поколения, литература. Эта литература — книги Ю. Бондарева, Г. Бакланова, А. Адамовича, В. Быкова, В. Богомолова, Б. Балтера, А. Ананьева, К. Воробьева, В. Рослякова — возникла лишь через несколько лет, в конце 50-х... Но я — вот что в данном случае важно и к чему я клоню, — увлеченный ею, горячо отстаивавший ее, воспринимал эту литературу не как противостоящую (тогда было немало охотников с разных позиций противопоставлять, сталкивать эти явления), а как продолжающую то, что было сделано Константином Симоновым в его произведениях военных лет — в повести «Дни и ночи», в лучших рассказах и очерках. В моем представлении существовала и внутренняя связь между новыми книгами Константина Симонова о войне и этой, как ее называли, «лейтенантской» литературой; если брать широко, направление было общим...

Все это ближе к истории литературы, но ее не минешь, когда речь идет о писателе.

А теперь о личном знакомстве. Такое знакомство с писателем — очень нелегкое испытание: не разрушится ли тот образ автора, который сложился после чтения его книг, от сопоставления с реальным человеком во плоти, окажется ли писатель как личность вровень с тем, что он написал? И как бы хорошо ты заранее ни знал, что писатель вовсе не небожитель, а живой человек, что у него могут быть свои слабости, вернее, их не может не быть, что у него есть свои домашние заботы, далекие от литературы, — о родителях, жене, детях,



К. Симонов. 1973 г.

что пишет он все-таки не о себе. Как бы твердо ты ни знал все это, в глубине души все равно невольно задаешься вопросом: такой он, каким тебе представлялся, или не такой? Ничего с этим не сделаешь. И нередко, что греха таить, расхождение между созданным воображением образом и реальностью бывает столь велико, что личное знакомство с писателем приносит не радость, а огорчение...

Евгения Ивановна Ковальчик, заведующая кафедрой советской литературы в МГУ, мой научный руководитель, работавшая и в «Литературной газете», главным редактором которой был тогда Симонов, летом 1951 года попросила его прочитать мою дипломную работу «Драматургия Константина Симонова», выходившую в издательстве «Искусство» в изрядно пощипанном виде, что по тем временам неудивительно: молодой критик — о ведущем драматурге. У нее возникла мысль, если работа понравится Симонову, устроить с его помощью меня в «Литературную газету»: после окончания университета я повис в воздухе, меня никак не утверждали в аспирантуре, несмотря на все хлопоты Евгении Ивановны. В этой истории, затеянной по доброте Евгенией Ивановной, меня смущало то обстоятельство, что диплом мой — о Симонове. Но Евгения Ивановна очень уверенно сказала, что Константин Михайлович такой человек, что считаться с этим не будет, для него это не плюс и не минус, он будет исходить только из качества работы.

Я пришел на Цветной бульвар в «Литературную газету» в указанное мне время. Симонов меня сразу же принял, взял папку с рукописью и сказал, что прочитает ее за месяц, к 5 июля, и тогда поговорит со мной... Он на мгновение задумался и взглянул на календарь: нет, не поговорит, не успеет — он уезжает, а напишет. Все это не продолжалось и минуты.

Мне тогда и в голову не могло прийти, что через несколько лет с хозяином этого большого кабинета, так заверченным недоступными мне важными делами, у меня установятся довольно короткие отношения. Очень уж многое нас разделяло. Он был не просто знаменит, он был кумиром многих читателей. Он находился на верхних ступенях общественной лестницы — один из руководителей Союза писателей, лауреат, депутат Верховного Совета СССР. Это разделявшее нас расстояние преодолевалось не сразу, не вдруг. Во всяком случае, мне оно довольно долго мешало, рождая чувство настороженности, желание к месту и не к месту подчеркнуть свою полную независимость, на которую, право же, он вовсе не посягал.

Мы уже были хорошо знакомы, не раз встречались по разным литературным делам, когда он пригласил Аркадия

Галинского и меня поужинать в «Арагви»; приглашены мы были с женами.

За ужином я стал спорить с Константином Михайловичем: речь шла о его пьесах и статьях. И не в том дело, что спорил, — для спора были основания и для моих упреков тоже. Но время и место для всего этого выбраны были не самые удачные, а главное, как спорил! Я отстаивал свою точку зрения демонстративно, с явным вызовом, который, в общем, ничем не был с его стороны спровоцирован, выговаривал ему за то и за это... Было потом еще несколько случаев, когда я не мог справиться с «комплексом» независимости, вел себя по-мальчишески, и остается только удивляться тому, что Константин Михайлович все это терпел. Но он был человеком чутким и проницательным и, наверное, понимал, чем это вызвано...

За те дни, что рукопись лежала у Константина Михайловича, меня наконец зачислили в аспирантуру, и затея Евгении Ивановны лишалась практического смысла, чему я был тогда очень рад. И меня мало беспокоило, что в назначенный Симоновым срок я письма от него не получил, — наверное, он не успел или не стал читать моей работы, думал я, и слава богу. Однако недели через две или три после этого срока мне позвонила секретарь Константина Михайловича — Нина Павловна Гордон. Из разговора с ней я узнал, что она с большим трудом отыскала в университете мой адрес и телефон, что произошло неслыханное ЧП, она приносит свои извинения, что Константин Михайлович будет очень огорчен, что у них не бывает, чтобы письмо так долго лежало неотправленным и т. д. и т. п. Она так искренне радовалась, что отыскала меня... Мне было даже неловко. Затем я получил письмо, на котором стояла дата — 5 июля... Признаюсь, меня тогда поразила щепетильная пунктуальность и обязательность Симонова...

Потом я множество раз имел возможность убедиться, что стремление все приводить в порядок было органическим свойством его деятельной натуры. Эта любовь к порядку проявлялась и в малом, и в большом. Возвращаясь из длительных поездок, он сразу же садился разбирать почту и отвечать на письма, чтобы они не залеживались. Не терпел невыполненных, «повисающих» дел, не любил что-либо откладывать. Несправедливости, на которые ему жаловались люди, он тоже рассматривал как непорядок, который он должен тотчас же ликвидировать. Не раз я слышал от него: «Ты же знаешь, что я не умею рассуждать беспредметно, лучше подумаем, что можно тут конкретно сделать».

И на письменном столе у него обычно был образцовый порядок — все на своих местах, все под рукой. Не помню, чем мы собирались заниматься, — кажется, надо было сочинить какую-то деловую бумагу, — но хорошо помню сказанную им

фразу: «Погоди, уберу со стола лишнее, а то не могу работать — мешает».

Очень любил все, что «организует» работу, — удобные скрепки, конверты, всевозможные папки, фломастеры разного цвета. Впервые у него я увидел таймер, он с увлечением объяснял мне, как полезен он для работы, как помогает беречь время. Потом у него появилась в кабинете на стенке доска с магнитом, к которой прикреплялись карточки разного цвета, на них он записывал то, что нужно было сделать. Позвонив кому-то или написав письмо, он с видимым удовольствием снимал карточку и в новом порядке размещал на доске оставшиеся...

Да, он был человеком обязательным. Слов на ветер не бросал, никогда не забывал того, что обещал, — даже когда дело шло о пустяках (это ведь помнить труднее), не отступался, если дело вдруг осложнялось и выяснялось, что оно потребует много больше усилий, чем первоначально предполагалось. Когда тяжко захворавшего Бориса Слуцкого, которого он очень уважал, понадобилось перевести из одной больницы в другую, лучшую, — а оказалось, что это непросто, — Константин Михайлович упорно занимался этим несколько недель, звонил, ходил к тем, от кого зависело решение вопроса, писал письма, а ведь в ту пору он и сам был болен — одно за другим его одолевали воспаления легких...

Так было им заведено, что если говорил — сделаю к двадцатому, никогда не подводил, делал обещанное именно к этому сроку. В таких случаях ни собственные неотложные дела, ни даже болезнь им во внимание не принимались, уважительной причиной не считались. Для этого правила он не признавал никаких исключений. Даже палата в больнице, где он лежал, тотчас же превращалась в рабочий кабинет: толстые папки с рукописями — своими и чужими, книги, письма, диктофон. И в людях ценил обязательность и чувство ответственности, не выносил бездельников, лодырей, трепачей. На моих глазах он изменил отношение к одному человеку, увидев, как тот работает, вернее, увиливает от работы, — это был «сачок», он отлынивал от дела, не выполнял обещанного, и хотя все это проделывалось довольно ловко, каждый раз помехой были те или иные вроде бы объективные обстоятельства, Симонов его раскусил...

Проработав более четверти века в редакциях, я, кажется, изведал все виды неприятностей, которые подстерегают редактора, когда он сталкивается с автором амбициозным, уверенным в своей непогрешимости, или небрежным, все забывающим, теряющим и путающим, с автором разгильдяем, водящим за нос, морочащим голову, или с автором не от мира сего, взваливающим всю работу на редактора. Иметь дело с Константином Михайловичем как с автором было легко и при-

ятно — не нужно было напоминать, теребить, все будет точно, никогда он не капризничал. А главное, работать с ним было необыкновенно интересно. Даже когда это был такой не чересчур увлекательный жанр, как доклад...

В 1954 году Ю. Карасеву, В. Турбину и мне в Союзе писателей предложили готовить материалы для доклада о прозе, который должен был делать на писательском съезде Константин Симонов. Несколько месяцев мы занимались этим. Сначала Константин Михайлович давал нам разные задания, всегда конкретные, четкие, ясные, — он хорошо знал, что ему нужно, все у него было продумано, мы делали всевозможные обзоры: тематические, жанровые, проблемные. Потом, когда он написал первый вариант, мы несколько дней подряд, приезжая к нему на дачу, редактировали, выверяли, обсуждали вместе с ним написанное страница за страницей. В этом участвовала обычно и Г. Колесникова, работавшая тогда консультантом в Союзе писателей; однажды приезжали А. Марьямов и А. Кривицкий. Константин Михайлович первым высказывал свои сомнения, вызывал нас на споры. Мы спорили с ним и между собой. Проверял какое-то возникшее вдруг у него соображение, сразу же подхватывал кем-то высказанную свежую мысль, поворачивая ее по-своему. Очень быстро от обсуждаемого варианта живого места не оставалось, такая же участь ждала и следующий. Все это делалось увлеченно, с азартом и в очень напряженном темпе — работали мы с утра до позднего вечера. Уезжали совершенно одуревшие, а Константин Михайлович часто, прощаясь с нами, говорил: «Подышу немного воздухом и еще часок-другой потружусь».

Когда все было кончено, он неожиданно спросил, как у меня с работой (после защиты диссертации я никуда еще не устроился, поэтому и взялся готовить материалы к докладу), и предложил мне свое былое место — завлита Театра имени Ленинского комсомола. Я отказался — мои планы были связаны не с театром, а с литературой, но был тронут его вниманием — оно выходило за рамки наших не очень продолжительных служебных отношений...

В те месяцы работы над докладом мы и познакомились по-настоящему. Но не больше... Хорошо помню, что во время «неофициальной» части нашего ежедневного пребывания на даче — обедов и ужинов — меня никак не оставляло чувство связанности. Хозяин был и гостеприимен, и обаятелен, но за столом почему-то общие темы — помимо тех, которые мы только что обсуждали в его кабинете, — отыскивались с трудом. Они возникли у нас позже...

Присущий ему демократизм обнаруживал себя и в том, как он держался с рядовыми редакторами, и в том, с каким вниманием и уважением относился к труду технических сотрудников

и редакций, и съемочных групп. Несколько раз мне пришлось брать у него интервью для кино- и телевизионных фильмов. С техникой обычно что-то не ладилось (даже на студии Останкино). Но как бы он ни торопился — а день часто у него был расписан так, что все впритирку, без зазоров, — он никогда не показывал, что нервничает, не злился. И успокаивал меня: «Видишь, у них и так все валится из рук... Помолчим, если хотим, чтобы побыстрее...»

Мы вместе с ним были в больнице у захворавшего товарища. Вышли, а машины, которая должна была прийти за Константином Михайловичем, почему-то нет, задержалась. Ходим, ждем... Он после недавно перенесенного воспаления легких, а погода не для прогулок — дождь со снегом. Зашли погреться в один магазин, потом в другой. Я, беспокоясь за него, предлагаю поймать такси. Константин Михайлович ни в какую: «Приедет, будет ждать, не понимая, куда мы делись... Нельзя, нехорошо».

Помню такой эпизод. Поздняя осень. Двумя машинами едем в Дубну на встречу с читателями «Вопросов литературы». Очень плохая дорога, шоферы нервничают, попадаем в какую-то мелкую аварию, сильно опаздываем — часа на полтора. В большом зале публика не расходится, нас ждут, главным образом Симонова. Сразу поднимаемся на сцену. За кулисами Константин Михайлович успевает все-таки сказать устроителям: «Покормите, пожалуйста, наших водителей. Им сегодня досталось». Вечер длится долго, заканчивается поздно. Нас приглашают, буквально тянут на банкет. Константин Михайлович спрашивает у водителей, покормили ли их. «Нет, но все в порядке, мы поели». Потом спрашивает у нас, выдержим ли мы без харча обратный путь до Москвы. И резко говорит устроителям, что на банкет мы не останемся, и объясняет — почему. Те что-то лепечут в свое оправдание, всячески упрашивают остаться, говорят, что уже накрыты столы, но Константин Михайлович непреклонен. Мы уезжаем, по дороге жуем бутерброды, которые одна из редакционных сотрудниц предусмотрительно захватила из дома...

Симонов при первом знакомстве оказался таким, каким я его и представлял по книгам. И был похож на своих героев — так я его тогда воспринял. У него была та же мужественная повадка и прямота, ему тоже было свойственно чувство ответственности, одинаково распространявшееся и на дело, которым он занимался, и на отношение к людям — близким и далеким; он был, как и его герои, человек долга, человек слова, хороший товарищ, верный друг...

Таким было мое первое впечатление. Годы близкого знакомства это, в общем, подтвердили. Другое дело, что, хорошо узнав Константина Михайловича (или, как часто его называли близкие знакомые, — Каэма), я понял, что эта связь с

героями была сложнее, чем мне сначала казалось, стал различать, что́ в его манере поведения и привычках от характера, от того, что́ в этом человеке, очень значительном, было изначально заложено, а что благоприобретено, — результат строгого самовоспитания, которым он непрестанно занимался до последних своих дней, не давая себе никаких поблажек, результат литературных привязанностей, — скажем, к Хемингуэю, в юности — к Киплингу...

Лирические декларации поэтов вовсе не всегда и далеко не во всем совпадают с их житейскими правилами — это известно. Для Константина Симонова, написавшего в стихах «Чужого горя не бывает...», — это был не некий пусть правильный, но все-таки отвлеченный принцип, а живое чувство, порыв души: он постоянно взваливал на себя чужие заботы и неурядицы, стараясь при малейшей возможности поддержать тех, кто в этом нуждался, всеми силами добиваясь справедливости, если это требовалось... Для очень многих он был той последней неофициальной «инстанцией», в которую они могли или считали для себя возможным в крайнем случае обратиться, уповая на искреннее внимание, добросердечие и реальную помощь...

Как-то позвонил: «У тебя свободен завтра вечер? Не поедешь ли со мной во ВГИК посмотреть дипломную работу одного парня? Его там прижимают». Мы поехали, посмотрели эту ленту, — она и по проблематике, и по манере была чужда Симонову, но он оценил талантливость режиссера и вступился за него...

Он не входил в комиссию по литературному наследию Ильи Эренбурга, но когда в издательстве прочно завяз сборник военной публицистики Эренбурга, он сделал все возможное, чтобы пробить книгу.

Я рассказал о нескольких историях, к которым был сам причастен. Мог бы вспомнить десятки других, похожих. А ведь я знал вовсе не все, лишь небольшую часть...

Могут сказать: что же здесь особенного, так и должно быть, это норма. Но в том-то и дело, что эта норма в повседневной жизни осуществляется далеко не всегда, и редко кто придерживался ее с такой последовательностью и постоянством, как Константин Михайлович...

Он не только откликался на всевозможные просьбы, — бывало, и сам вызывался, сам предлагал свою помощь. Узнав из случайного разговора, что один талантливый писатель живет в маленькой комнате, ему необходима квартира, Константин Михайлович спросил, не может ли он быть полезным в этом деле, тотчас связался с ним — они не были до этого знакомы — и принял самое деятельное участие в хлопотах...

Он был человеком увлекающимся, новая интересная

работа как магнит притягивала его. В последние годы это была кино-и телевизионная документалистика. Я как-то пожаловался ему, что меня на киностудии (кстати, это была его идея, чтобы я написал сценарий документального фильма) заставляют заниматься чуждым мне делом — читать в фильме текст от автора, а я этого не умею, да и ни к чему мне это. Он очень серьезно мне сказал: «Ты не прав, надо иногда заниматься и не своим делом, а то можно закоснеть и в своем». Но это его увлечение кинодокументалистикой было связано, мне кажется, вот еще с чем. Он любил коллектив, дружную, напористую, как говорили в былые времена, артельную работу — в какой-то мере киногруппа заменяла ему в последние годы редакционный коллектив. А потом, у него всегда возникало столько идей, замыслов, что даже при его феноменальной работоспособности реализовать их он не мог и щедро раздаривал сотрудникам редакций, которыми руководил, киногруппе, друзьям... Никогда не забывал людей, хорошо работавших, привлекая их к новым и новым делам.

Когда-то в молодости, еще до войны, Константин Симонов написал стихотворение, в котором были такие строки:

Как будто есть последние дела,
Как будто можно, кончив все заботы,
В кругу семьи усесться у стола
И отдыхать под старость от работы...

Но одно дело — так думать в молодости, желать так прожить свою жизнь, и совсем другое — поступать так и в ту пору, когда одолевают болезни, когда силы убывают, их становится все меньше. У него же до конца жизни одна работа находила на другую — пауз не было. Он просто не мог жить без работы. И до самых последних дней нес груз не только своих, но и чужих дел и забот, видя в этом свой долг, не желая и не умея жить иначе. И по мере того как росла его популярность, груз этот становился не легче, а все тяжелее и тяжелее. Я не помню такого времени, когда бы он занимался только своим творчеством, а не разными делами множества людей. По складу характера он был человеком доступным, громкое имя, как это порой бывает, не отгораживало его от людей, и к нему шли и шли — со своими бедами, неустройствами, просьбами. А самое главное, он считал, что слава — это не почет да дары, не лавры да литавры, а прежде всего нравственные обязанности.

Да, дело было не только в его доброте. Доброта сама собой, но одною ею не объяснить, почему он так близко к сердцу принимал судьбу попавшей к нему талантливой рукописи, почему кровным делом для него была забота о литера-

турном наследии Маяковского, Булгакова, Мандельштама, Твардовского, Хикмета, Горбатова, Ильфа и Петрова, Вишневского, почему он так добивался издания романа Хемингуэя «По ком звонит колокол»... Он любил не себя в литературе — как часто художник оказывается во власти такого чувства, — он по-настоящему бескорыстно любил литературу. Вот откуда и широта его эстетических представлений (достаточно взглянуть на только что перечисленные имена писателей, чтобы убедиться в этом), вот почему он всегда радовался чужим удачам...

Как он был доволен, когда был подписан в печать номер «Дружбы народов», в котором печаталась повесть Вячеслава Кондратьева «Сашка» — словно там публиковалась его собственная вещь... Но самое поразительное, он мог сравнить понравившуюся ему вещь с тем, что писал сам, и поставить ее выше, отдать ей предпочтение. Надо ли говорить, что художник редко на это способен, да и попрекнешь ли его за то, что он безоглядно любит свои творения?.. Вот что писал Симонов в марте 1944 года Твардовскому о «Теркине» (стоит, наверное, сказать и о том, что это единственное в годы войны письмо о поэме, которое написал Твардовскому не читатель, а писатель): «Это то самое, за что ни в стихах, ни в прозе никто еще как следует, кроме тебя, не сумел и не посмел ухватиться... Я тоже вчуже болел этой темой и сделал несколько попыток, которые не увидели, к счастью, света, но потом понял, что, видимо, то, о чем ты пишешь — о душе солдата, — мне написать не дано, это не для меня, я не смогу и не сумею». Как-то мы говорили с Константином Михайловичем о современной поэзии, и он сказал о Слуцком: «Он в поэзии делает то, что хотел бы делать я, если бы сейчас писал стихи». Разговор был ни к чему не обязывающий, и мало ли что в этом случае может прийти человеку в голову... Но вот написанное Симоновым за несколько месяцев до смерти предисловие к «Избранному» Слуцкого, здесь мысли и слова взвешены, и та же мысль выражена, пожалуй, с еще большей определенностью, чем когда мы беседовали: «И о войне, и о послевоенном времени Слуцкий написал много таких стихов, читая которые нередко кажется: вот это ты хотел написать сам, но не написал, а вот об этом думал так же, как он, но у тебя твоя мысль не воплотилась в стихи, а ему это удалось».

Симонов не просто любил литературу, он еще считал, что отвечает за нее, и меру своей ответственности не снижал спокойствия и благополучия ради, с годами ощущал ее все острее, поднимал все выше...

По-настоящему представить себе, что это была за ноша, можно будет, наверное, лишь после того, как будет обнародовано эпистолярное наследие Константина Симонова (если и

не все, потому что оно огромно, то хотя бы существенная часть). Я имею об этом некоторое представление: когда Константин Михайлович готовил для публикации подборку своих писем, он дал мне прочитать переписку за несколько лет. Но ведь даже и в письмах эта сторона его жизни и работы, касавшаяся множества людей, запечатлена далеко не полностью...

Если бы не эти бесчисленные письма, встречи, телефонные звонки, хлопоты, заботы, пожалуй, Константин Симонов мог бы написать еще не одну книгу. Но если бы он от всего этого отстранялся, наверное, те книги, которые он написал, не отличались бы такой нравственной высотой, такой притягательной силой...

* * *

Несколько лет назад Криста Вольф взяла у Константина Симонова интервью. Беседа эта была напечатана по-немецки, а затем по-русски. В русской публикации Константин Михайлович сделал купюру. Он не стал печатать свой ответ на вопрос о писательской славе, популярности. Наверное, ему казалось, что даже искренний и прямой разговор на эту тему может быть понят превратно: как его уверенность в том, что это ему причитается, полагается. Кристе Вольф он говорил тогда: «Вопрос о писательской славе или о популярности — вопрос такой, отвечая на который трудно не покривить душой, лучше бы вообще не отвечать. Но, как говорили у нас в старину, перекрестясь, все-таки прыгну в воду. Не опасна ли слава или ее синоним — популярность? По-моему, ответ может быть только один: конечно, опасна. Конечно, человек, сознавая, что его широко читают, должен больше многих других людей думать о том, как вести себя, должен с большей чуткостью относиться к возможности обидеть, задеть другого человека, должен привыкать к постоянному самоконтролю. Думаю, что все это легче, со всем этим легче управиться, когда ты продолжаешь работать и не живешь на проценты давным-давно когда-то написанной книги. Вообще, когда много работаешь, меньше остается времени думать обо всем другом, в том числе и о собственной славе или популярности. В этом еще одна польза постоянной работы».

В этих словах отчетливо раскрываются некоторые принципы Константина Михайловича. Он настороженно следил за тем, чтобы его популярность, оказываемые ему знаки внимания не ударили бы рикошетом по тем, кто в данную минуту находился рядом с ним. Никогда об этом не забывал. Вот один штрих. На совещании в Минске, посвященном военной документалистике, участникам подавались микроавтобу-

сы, чтобы ехать из гостиницы в Дом писателей и обратно. Приезжала и «Волга» — за Симоновым, поскольку он возглавлял совещание. Но ни разу он ею не воспользовался. Както так все время получалось — вроде бы самым естественным образом, случайно, в этом не было ни тени демонстрации (посмотрите, мол, какой я демократ), — что ездил он неизменно со всеми вместе микроавтобусом. Только люди, хорошо знавшие Константина Михайловича, могли догадываться, что это, конечно, не случайно...

Симонов обладал одним свойством, которого я почти не встречал у других людей, во всяком случае у людей мира искусства. Живший в Москве в постоянной, изматывающей спешке, сверх меры загруженный множеством обязанностей, освещенный слепящими лучами славы, притупляющими остроту зрения, он умел вдруг остановиться, чтобы взглянуть на себя, на то, что делает, как бы со стороны, трезво все взвесить и постараться отбросить то, что ему мешает, преодолеть инерцию сложившегося образа жизни и устоявшихся представлений. Он культивировал, воспитывал в себе эту привычку к самоконтролю.

На вечере в ЦДЛ, посвященном его 50-летию, он сказал: «Ну что же, когда вот такой вечер — пятьдесят лет человеку, — конечно, больше вспоминают хорошее. Я просто хочу, чтобы присутствующие здесь, собравшиеся здесь мои товарищи знали, что не все мне в моей жизни нравится, не все я делал хорошо, — я это понимаю, — не всегда был на высоте. На высоте гражданственности, на высоте человеческой. Бывали в жизни вещи, о которых я вспоминаю с неудовольствием, случаи в жизни, когда я не проявлял ни достаточной воли, ни достаточного мужества. И я это помню. А говорю это не в порядке, так сказать, каких-то покаяний, это личное дело каждого, а просто потому, что, помня это, хочется не повторять ошибок. И я постараюсь их не повторить, как бы трудно ни приходилось...» Я помню, как были встречены залом эти столь необычные для юбилейной речи слова...

Помню и такой случай. Дома у Константина Михайловича празднуется его 55-летие. В середине вечера, когда все были уже несколько разгорячены, один из его былых приятелей с особой многозначительностью преподнес виновнику торжества репродукцию его портрета сорок шестого года и произнес небольшую речь в стихах, общий смысл которой можно довольно точно передать словами некогда популярной песни — «каким ты был, таким ты и остался». Идея эта не понравилась мне — я не считал то время лучшим и в жизни Симонова, и в его творчестве, а так как следующий тост пришлось провозглашать мне, я предложил выпить за мужество хозяина

дома, который не боится меняться, уходить от старого, порывать с ним. Мой оппонент, хотя я его не назвал, был, однако, задет и бросил мне не совсем вежливую реплику, кто-то ему ядовито ответил, кто-то его поддержал. Возникла короткая, но напряженная и, самое главное, не очень подходящая для праздничного застолья перепалка. На следующий день, считая себя возмутителем спокойствия, я позвонил Константину Михайловичу, чтобы извиниться. Оказалось, он вовсе не был раздосадован этим маленьким происшествием, — напротив, возникшая дискуссия, сказал он, посмеиваясь, весьма полезна, потому что помогает определиться; разумеется, лучше, когда человек меняется, если, конечно, он меняется в хорошую сторону...

Ирония, легкое подтрунивание, юмор — такова была его манера разговаривать. Часто ирония была для него способом отделять важное от неважного, пустяки от серьезного, форму от сути. В какой-то статье меня назвали критиком-фронтовиком. Статья эта попалась ему на глаза. Он долго потом вспоминал это неуклюжее определение, подразнивал меня. «Здесь у меня один знакомый критик-фронтовик, — говорил он кому-то по телефону, поглядывая на меня, — мы с ним еще часика полтора посидим...» Прочитав в одной рецензии — «самый авторитетный критик Симонова», он затем всячески обыгрывал эту странную формулу: «Смотри, какой я уже стал важный, теперь у меня есть самый авторитетный критик».

Он умел при случае уложить наповал убийственно насмешливой репликой, но чаще не столько острил, сколько иронизировал. Перед началом торжественного вечера кабинет директора ЦДЛ сверкает от золота генеральских погон... После разговора с одним из генералов, что-то очень уверенно внушавшим Константину Михайловичу, он подходит ко мне и, показав глазами на своего собеседника, пряча улыбку, тихо говорит: «Он мне сейчас таким тоном заявил: «А я вот позвоню Бакланову, чтобы он немедленно это сделал...», словно Бакланов в его корпусе до сих пор служит в лейтенантах...»

Один критик, неоднократно в своих статьях поносивший книги Симонова, обвиняя его в очернительстве и еще бог знает в каких грехах, когда была устроена читательская конференция (уже после присуждения Симонову за трилогию «Живые и мертвые» Ленинской премии), выступил там с хвалебной речью, в которой особо отмечал прекрасный образ русского полководца Серпилина, всячески делая упор на этом определении — «русский». «Я бы не стал реагировать на его выступление, хотя не выношу лицемерия, — рассказывал Константин Михайлович. — Но этот пассаж я пропустить не мог. В заключительной речи вежливо пожурил его за неточ-

ность: «Наверное, лучше было бы говорить о Серпилине — советский полководец. Ну, а если следовать вашей логике, то, уважая точность, на худой конец надо было сказать — русско-татарский полководец, мать-то у него была татаркой». Ты бы видел, как веселились в зале... И я, по правде говоря, тоже получил удовольствие...»

Но, как правило, его ирония не была обидна, потому что была обращена и на самого себя. Он радовался шутке и тогда, когда подтрунивали над ним, никогда не обижался на «подкалывание», совершенно не ощущал собственного веса, не было в нем сановности, он не «бронзовел», не носился с собой. Я прислал ему купленную в газетном киоске в Прибалтике открытку, сделанную с его довольно пижонской фотографии, с ехидной надписью, что наконец наши советские писатели могут конкурировать с исполнителем роли Штирлица. Когда возвратился в Москву и мы встретились, он признался, что разрешил печатать этот снимок в качестве открытки, не подумав, как это будет выглядеть, смеялся и подарил мне фотографию, с которой и делалась эта открытка...

Появились в «Звезде» записки Виктора Конецкого, в которых писатель рассказывает, как он в качестве дублера капитана участвовал в проводке каравана судов Северным морским путем. На одном из кораблей находились в качестве пассажиров Константин Михайлович с женой и дочерью. Конецкий очень смешно, не без яду — другой человек на месте Симонова почти наверняка обиделся бы (из разговора с Конецким я понял, что он этого опасался) — описывает, какую «волну» среди команд кораблей каравана вызвало это путешествие популярного писателя. Он высмеивает главным образом отношение к знаменитости, к «звезде», но рикошетом самой знаменитости тоже достается порядком. Константин Михайлович, позвонив мне из Гурзуфа, говорил: «Давно так не смеялся. Вот придет следующий номер, дочитаю и напишу Конецкому, поблагодарю его». Но уже не успел этого сделать...

Это чувство юмора, обращенное и на самого себя, тоже было выражением присущей ему самокритики, трезвого и строгого самоконтроля. Меня эта его способность к беспощадной самооценке поразила еще в том первом полученном от него письме — там о пьесе «Жди меня» говорилось: «Пьеса эта хоть и написана с добрыми намерениями, но, разумеется, плохая, а во многих своих частях даже очень плохая, и сколько я с ней потом ни возился, чтобы сделать ее хорошей, ничего из этого не получилось, то есть она плохая в своей основе, и я думаю, Вы правильно показываете, почему она плохая. Но я бы на Вашем месте, не смягчая формулировок, написал бы о ней покороче. Предмет разбора, на мой

взгляд, не заслуживает того, чтобы разбирать его столь подробно».

«Слушай, а Симонов на тебя не обиделся? Здорово ты... Все-таки очень много критических замечаний. Как это он стерпел?» — примерно так говорили мне при встрече коллеги, когда вышла моя книга «Военная проза Константина Симонова». «Нисколько не обиделся. Так что все ваши комплименты — ему», — обычно отвечал я. Это вызывало неподдельное удивление, а бывало, и недоверие к моим словам: «Что ты говоришь? Правда? Не может быть...» И эта реакция не случайна. Ведь куда чаще происходит иначе. И у меня не раз бывало, что высказанное откровенно автору мнение о том, что не все хорошо в его произведении, которое он сам просил прочесть «для дела», вызывало обиды, приводило к осложнению до этого добрых отношений; случалось, что отношения на этом просто прерывались...

Когда мою книгу прочитал Константин Михайлович, мы проговорили с ним целый вечер главным образом об одной ее главе, посвященной творчеству Симонова первых послевоенных лет. В этой главе речь идет о творческом кризисе, который он тогда переживал, об утрате ориентиров, в том числе и нравственных, о той дани, которую он заплатил иллюстративности и бесконфликтности. Что греха таить, писателю мало радости читать о себе такое. Но Константин Михайлович не думал обижаться, иное его заботило. Здесь не место воспроизводить этот длинный разговор (я никогда не записывал бесед с Константином Михайловичем, это была часть моей и его жизни, а не заранее заготовляемый материал для будущих мемуаров, но многое, в том числе этот важный для нас обоих разговор, помню хорошо). Одно могу сейчас сказать: Константин Михайлович тогда не только старался мне объяснить, почему это все произошло, я видел, что ему самому хотелось до конца разобраться, «где не так мы сказали, ступили не так и пошли», как писал он в довоенных стихах по другому поводу. Он говорил и о себе, и о том, что написал тогда, беспощадно, считая, что его как человека и как писателя чуть не погубила тщеславно неумеренная общественная деятельность на ниве литературы, — так он выразился. Он рассказывал, как несправедливый разнос повести «Дым отечества» и неоправданные дифирамбы по поводу пьесы «Чужая тень» дезориентировали его, внесли опасную сумятицу в его жизненные и литературные представления. Ему горько было все это сознавать, но он ничего не хотел смягчать, не желал самообольщаться и лукавить сам с собой.

И очень ценил и в других это умение бесстрашно смотреть правде в глаза, как бы ни была она тебе лично неприятна. Однажды кто-то при нем довольно высокомерным тоном заго-

ворил о маршале Тимошенко. Константин Михайлович стал возражать: «Не буду касаться вопросов чисто военных, в этом надо серьезно и основательно разбираться, а расскажу вот что. Когда пробивался на экран фильм «Если дорог тебе твой дом...», было организовано несколько просмотров для крупных военных. На один из них был приглашен Тимошенко; рассчитывали, что он-то наверняка будет противником фильма. Когда показ кончился, предложили перенести обсуждение на завтра. И вдруг Тимошенко сказал: «А я могу и сейчас сказать. Мне этот фильм было смотреть труднее, чем кому бы то ни было, но ничего не поделаешь — здесь все правда». Я знаю, как нелегко судить себя; и тех, у кого хватает на это гражданского мужества, не могу не уважать».

Отношение к себе и определяло отношение Симонова к критике его произведений. В беседе со мной, опубликованной в 1973 году в «Вопросах литературы», он говорил: «...Я очень спокойно отношусь к критике художественного характера, к неприятию критиком моего стиля, манеры, даже к резкому неприятию, к осуждению моих слабостей. К этому я отношусь спокойно и, мне кажется, способен согласиться с критиком, обнаружившим в моей книге действительные слабости. Иногда я не согласен с критиком, но мне интересен ход его мыслей, его взгляд на тот или иной вопрос, и я с интересом читаю его статью, и у меня нет желания его опровергать».

Эти слова Симонова подтверждаются одним любопытным, кажется не имеющим прецедента в современной литературной жизни, его письмом. Это письмо критику, которого отчитали за то, что он резко критиковал один из романов Симонова. «Я без всякого удовольствия, — писал Константин Михайлович, — напротив, с огорчением прочел абзац в редакционном заключении, который касается меня и Вас. С особой скорбью прочел я фразу, в сущности сводящуюся к тому, что раз «критика единодушно отметила», что сей роман «одно из самых значительных произведений года», то, стало быть, негоже никакому отдельно взятому критику сосредоточить свое внимание главным образом на том, что́ в оном романе написано слабо. А почему, собственно, негоже? Почему о романе после нескольких десятков одобрительных рецензий не может существовать иных мнений и вообще, и по частностям?.. У нас уже есть в литературе несколько неприкосновенных авторов и неприкосновенных произведений. И вдруг промелькнувшая в этом абзаце даже отдаленная возможность попасть в их число меня испугала».

Он действительно не хотел, чтобы его оберегали от критики и хвалили по обязанности или из-под палки. Не терпел

фальши и лицемерия, когда сталкивался, выходил из себя. На приеме, который устраивал в честь его шестидесятилетия Секретариат правления Союза писателей, с очень пышной, полной всяческих заверений в любви речью выступил какой-то полковник, в подчинении которого находилось Военное издательство. Когда он сел, Константин Михайлович неожиданно взял слово и сказал, что перестал бы себя уважать, если бы промолчал: высокие слова полковника совершенно не вяжутся с практикой Воениздата, не выпустившего за последние годы ни одной его книги...

Симонов не выносил запаха фимиама, «приписок», с брезгливостью, с крайней нетерпимостью относился к попыткам возвышать его, принижая других. Он знал себе цену, но знал и свои возможности. И не только не боялся критики — даже резкой, — он жаждал правды, нелицеприятного разговора, искал способы проверки написанного, старался извлечь из критических замечаний все разумное, дельное, чтобы реализовать затем в рукописи. Многие свои вещи он давал мне (и еще двум-трем товарищам — Е. Воробьеву, Д. Ортенбергу, некоторым военным) читать до публикации, так сказать в приватном порядке. Не помню ни одного случая, чтобы он раздражался из-за суровых оценок или въедливых замечаний. Иногда спорил, иногда говорил: «Ты прав, но этого я не умею, не получится у меня», но никогда не отмахивался, не относился пренебрежительно, не затаивал обиду. Одну из своих книг он подарил мне с такой надписью: «Дорогому Лазарю — другу и ругателю».

Мы редко писали друг другу — в наш век экономнее и проще пользоваться телефоном. Но вот одно из писем (он находился в больнице, а я под Москвой, в Доме творчества, связываться по телефону было трудно). Я цитирую ту часть письма, где речь идет о моих советах (замечу на всякий случай, чтобы при чтении моих заметок не возникало неясностей: сначала мы были с ним на «вы», потом он мне говорил то «вы», то «ты», а в последнее время обращался ко мне на «ты», только в официальной обстановке употребляя «вы»): «Во первых строках моего письма спасибо Вам за Ваше письмо, за стремительное прочтение моей повести и за добрые советы. В известной мере я их выполнил; к примеру, связал «Пантелеева» и «Жена приехала» тем, что Лопатин внутренне сравнивает историю со шпионкой на Арабатской стрелке и историю женщины, оставшейся у немцев в Одоеве. Сделал и другие маленькие связочки. Отчасти же выполнить не удалось, ибо на поверку оказалось, что сколько-нибудь заметные, новые, большие вкрапления размышлений самого Лопатина в «Пантелееве» что-то разрушают там, лишают цельности. В «Левашове» это выходит, а в «Пантелееве» — не выходит. Видимо, это слишком вещь в себе для того, чтобы произ-

водить там сколько-нибудь крупные нарушения ткани. Сделал это только там, где это почти не заметно». Думаю, что это письмо прекрасно иллюстрирует его не амбициозное, деловое, рабочее отношение к критическим замечаниям...

В литературных делах Константин Михайлович был всегда предельно тактичен и щепетилен, любил во всем точность и ясность...

В свой сборник «Сегодня и давно» он включил нашу беседу, до этого печатавшуюся в «Вопросах литературы», предварительно спросив, не возражаю ли я. Как-то вечером я был у него, мы разговаривали о делах. Потом пришли гости, и все стали ужинать. Уже за столом он вспомнил: «А вот пришла верстка книги, там и беседа с тобой, посмотри, как это выглядит». (Кстати, он очень любил все это: верстку, самый процесс рождения книги, книгу, особенно если она была со вкусом оформлена, — хотя книг вышло у него у нас и за рубежом бесчисленное множество.) Я бегло полистал верстку, нашел нужную страницу и с удивлением обнаружил, что там набрано не то, что было в журнале, — не «Беседу вел Л. Лазарев», а «Ответы на вопросы редакции журнала «Вопросы литературы». Мне эта формулировка показалась странной и неуместной: ведь речь шла о записи живого разговора, в котором активно участвуют оба собеседника, а не об ответах на заранее заготовленные вопросы редакции. Это было главным, что меня смутило. Но, не скрою, мне почудилось и какое-то пренебрежение, что ли. Объясняться за столом при посторонних людях было неловко, и я ушел, ничего не сказав. А наутро уехал в Малеевку. Когда оттуда я писал Константину Михайловичу письмо по поводу какого-то дела, о котором мы с ним толковали, я очень колебался, написать ли и об этом. По правде говоря, меня останавливало то, что в какой-то момент я все-таки почувствовал себя уязвленным. Мне это чувство было неприятно, но особенно неприятна была мысль, что Константин Михайлович может решить, что оно-то мною в основном и двигает. Но потом я решил, что поступлю нехорошо по отношению к Константину Михайловичу, если промолчу, и написал. В ответ я тотчас же получил от него телеграмму: «Дорогой Лазарь глупейшую оплошность разумеется не мою уже исправил читая верстку подробности как говорится письмом обнимаю ваш Константин Симонов».

И другая история. Позвонили мне из издательства «Московский рабочий» с просьбой написать предисловие к тому симоновской прозы. Писать мне не очень хотелось: незадолго перед этим вышла моя книга о военной прозе Симонова, писать по-другому, в сущности, то же самое — трудно. Да и был составлен сборник, как мне показалось, не лучшим

образом. Но я не отказался; сказал, что подумаю. Мне пришло в голову, что, может быть, ко мне обратились по рекомендации Константина Михайловича. При встрече рассказываю ему о звонке и добавляю: «По-моему, это глупая затея. Никому не известный Лазарев будет представлять читателям писателя, имя которого знают даже те, кто его не читал». Константин Михайлович мгновенно, как выражаются герои Богомолова, «прокачал» ситуацию: «Это я тебя им назвал. Прости, должен был, наверное, все-таки заранее предупредить. Хотел, как лучше... Если тебе не очень муторно, напиши, пожалуйста. У них в этой серии обязательно должно быть предисловие». (Что это значило конкретно — «хотел, как лучше», — я узнал недавно; в руки мне попало письмо Константина Михайловича в одно издательство, в котором он, называя нескольких литераторов (в их числе и меня), которые могли бы написать предисловие к сборнику его стихов, предупреждает: «Прошу только об одном: если вы будете обращаться к кому-нибудь из названных мною товарищей, — не упоминать обо мне и о том, что я их назвал, сказать, что это просто от издательства. Потому что упоминание обо мне могло бы их поставить в неловкое положение — отказаться вроде неудобно, а вдруг по каким-нибудь причинам им не с руки писать или не ко времени, что бывает и вполне понятно».)

Но что характерно: он запомнил эту историю. Когда было запланировано его новое собрание сочинений (при жизни успел выйти только первый том, и теперь оно будет не десяти-, а двенадцатитомным — добавятся статьи и письма), он пригласил меня, сказал, что просит написать предисловие, что мне по этому поводу будет звонить редактор. Мы несколько раз обсуждали проспект собрания сочинений, состав томов, ездили вместе в издательство договариваться об этом, о типе комментариев...

* * *

Войне не только посвящено большинство произведений Константина Симонова, она была не только главной темой его творчества, но и главным событием его биографии, ею он многое мерил в жизни — своей и чужой — и в людях. Не зря писал в стихах:

Не чтобы ославить кого-то,
А чтобы изведать до дна,
Зима сорок первого года
Нам верною меркой дана.

Пожалуй, и нынче полезно,
Не выпустив память из рук,
Той меркой, прямой и железной,
Проверить кого-нибудь вдруг!

И думая о своей смерти, он в мыслях неизменно возвращался к этому страшному, кровавому году, к жестокой и тяжкой войне, после которой и «двадцать лет, и тридцать лет живым не верится, что живы». Потому и завещал развеять свой прах на Буйническом поле под Могилевом, откуда он чудом выбрался тогда, в июле сорок первого. Сейчас там, на поле боя, стоит валун, на котором высечено: «Константин Симонов», в каких-нибудь ста метрах — обелиск воинам 388-го полка, который почти целиком полег в боях за Могилев. А в самом Могилеве улица Константина Симонова находится рядом с улицей полковника Кутепова, командовавшего этим полком. Есть в этом высокая справедливость. Симонов ощущал неразрывную связь с теми, кому судьба не подарила, как ему, послевоенных лет, кто навеки остался на поле боя, как мог остаться там и он. И жизнь его, и творчество в эти годы были посвящены им. Прах его смешался с прахом погибших в сорок первом. Он вернулся к ним — навсегда...

Когда в 1974 году я поехал по делам журнала в Монголию, он по собственной инициативе дал мне письмо к товарищу Цеденбалу, в котором просил его помочь мне осуществить поездку на Халхин-Гол, на места боев. Хотя речь в этом письме идет обо мне, оно характеризует прежде всего самого Константина Михайловича, и только поэтому я позволю себе его процитировать. «Сам Лазарев — инвалид Великой Отечественной войны, фронтовик, командир разведроты, — писал он. — Но еще раньше его на войну попал его двоюродный брат Илья Юрьевич Вильнер, который был командиром пулеметной роты на Халхин-Голе и погиб там в июне 1939 года. Лазареву хотелось бы посетить те места, где когда-то погиб его брат. Кроме того, у него есть еще и другая цель: он написал книгу о моих военных романах, Великую Отечественную войну он видел своими собственными глазами, знает ее лучше меня, а вот на Халхин-Голе, где происходит действие «Товарищей по оружию», ему быть не довелось, и помимо личных причин у него, и как у критика, есть желание повидать своими глазами эти места, связанные для всех нас с памятью о нашем братстве по оружию».

Многое в письме продиктовано тем, что Константин Михайлович хотел меня представить товарищу Цеденбалу самым лучшим образом, — это понятно, — и все же здесь сказалось и то, что в стихах он назвал «прямой и железной» меркой 41-го года. Те, кто видел его фильмы «Шел солдат...» и «Солдатские мемуары», помнят, как много для него это значило: человек переднего края...

Разумеется, он знал войну куда лучше, чем я, — сравнения здесь быть не может. Но когда говорил в письме, что я знаю лучше, — не лукавил, а на самом деле был в этом убежден. Явно преувеличенное представление о моих знаниях объясня-

ется тем, как он оценивал свое собственное участие в войне. «Я не был солдатом, был всего-навсего корреспондентом... Это не самый тяжелый хлеб на войне...» — не однажды высказывал он эту мысль. Всякий раз считал своей обязанностью подчеркнуть это — не только из скромности, но чтобы воздать должное тем, кто сражался на переднем крае...

А в действительности знал войну как никто. Я не встречал — во всяком случае среди военных писателей — человека, превосходившего его объемом этих горьких знаний. Многие пережили больше, многим на фронте больше досталось, а видел и знал он больше. К тому же он еще и умел увидеть то, что далеко не все замечали, — взгляд у него был проницательный. А потом, уже в послевоенную пору, он пополнял свои и без того уникальные знания со свойственным ему упорством и трудолюбием. Не просто «набирал материал» для произведений, над которыми работал, — в это стремление больше узнать о войне, лучше ее понять, глубже проникнуть в ее прежде скрытые закономерности была вложена страсть человека, который во что бы то ни стало хочет докопаться до жизненно важной ему истины. Все, что происходило в те суровые годы, постоянно было предметом его неотступных дум. Поэтому в каждом новом его произведении открывались до этого неведомые и ему, и нам грани народной войны.

Многое я узнал о войне из его книг, много нового для себя услышал от него самого. От него я впервые узнал о дневниках Гальдера: он рассказал мне, что, когда работал над «Живыми и мертвыми», маршал Жуков порекомендовал ему обратиться к этим рабочим записям немецкого генерала, еще не изданным у нас, как к самому объективному из всех зарубежных источников о первом годе войны. Когда эти дневники вышли в свет на русском языке, я сразу же, и с большой пользой для себя, их проштудировал. От Симонова я узнал, сколько наших военнопленных оказалось у гитлеровцев и сколько из них было уничтожено, — цифры эти были затеряны в примечаниях к одной переводной книге немецких документов. Том за томом — он подвигнул меня на это — я читал вслед за ним мемуары Черчилля...

Вообще, прочитав какую-нибудь интересную книгу — это необязательно были книги, связанные с войной, — он нередко предлагал ее мне: «Хочешь почитать? Заслуживает внимания». То это был, скажем, стенографический отчет заседаний I Государственной думы, то издававшийся в провинции в самом начале двадцатых годов какой-то военно-исторический журнал, воспоминания Пилсудского о польской кампании и полемические заметки Тухачевского об этих воспоминаниях, мемуары лейб-медика Александра I... Даже эти немногие перечисленные мною книги дают представление о том, сколь широк был круг его чтения и интересов. Можно, впро-

чем, по ним судить и о направленности его интересов, — больше всего его занимала история, особенно военная история: документы, исследования, мемуары...

Читал он, как говорится, запоем. Навещая его в больнице, куда он попадал все чаще и чаще, я неизменно видел у него гору книг. В 1978 году мы ехали в Минск — туда и обратно в одном купе, — до двух часов ночи он не гасил свет, в руках его была книга. Он был одним из самых внимательных читателей журнала «Вопросы литературы», в котором я работаю, всегда замечал и то, что сделано хорошо, и наши промахи, — журналистские чутье и хватка у него были замечательные. Обнаружив в книге или в статье что-то любопытное, не мог отказать себе в удовольствии прочитать вслух. Это могла быть цитата из Василия Розанова, свидетельствующая, что некоторые новомодные литературные концепции не изобретены их авторами, а заимствованы; проницательно точная рецензия Осипа Мандельштама на стихи Коваленкова; параграф русского военного устава начала века...

* * *

Он не любил разговоров о своих болезнях, на прямые вопросы отвечал с явной неохотой, односложно, чаще отшучивался. Мнительность, нытье, жалость к самому себе казались ему недостойными мужчины. То, что он тяжело болен, что ему худо, что мысли у него на этот счет самые мрачные, я понял после одного разговора. Он спросил у меня, почему у меня такое дурное настроение. Я сказал, что заболел брат, он обречен, жить ему осталось несколько месяцев. «Он знает?» — вдруг спросил Константин Михайлович. «Думаю, что знает. Почти уверен. Только никому не говорит», — ответил я. «Правильно. Так и надо, — сказал он и после небольшой паузы добавил: — А я сказал врачам, что должен знать правду, сколько мне осталось. Если полгода — буду делать одно, если год — другое, если два — третье...» Его мучил кашель, появилась одышка, слабость, но он крепился, не подавал виду, что думает о самом худшем. Шутил: «Все усилия врачей приводят к стопроцентной смертности». Но несколько раз проговаривался. Однажды (в октябре 1978 года) позвонил, голос у него был очень усталый. Я спросил, в чем дело. «Да вот с Ниной Павловной разбирали фотографии — ужасная оказалась работа», — ответил он. «Нечего вам больше делать... На кой черт?» — укорил я его. «Чтобы после меня Ларисе меньше хлопот было», — сказал он. Это было так на него непохоже, что я перевел разговор на что-то другое, никак не отреагировав на неожиданно вырвавшуюся у него фразу. Кажется, на следующий день вечером я был у него. Он кивнул в сторону полок, где стоял аккуратный ряд больших картон-

ных папок с фотографиями. «Вот видишь! А глянь последнюю...» — предложил он. На ней была надпись: «Прощания» или что-то вроде этого; я посмотрел несколько фотографий — похороны, памятники — и молча поставил папку на место. У меня осталось такое чувство, что он хотел что-то сказать, но в последний момент удержался. И мы занялись делами: он дал читать черновой вариант статьи, посвященной комментариям к первому тому Маяковского, собрание сочинений которого выходило в качестве приложения к журналу «Огонек»...

Он думал о приближающейся смерти уже тогда, когда составлял первый том собрания сочинений, вышедший в свет в марте 1979 года. В числе включенных туда нескольких — до того не публиковавшихся — стихов есть одно, явно навеянное этими невеселыми мыслями и выражающее накопившееся у него за многие годы отвращение к казенному траурному ритуалу, к тщеславной суете вокруг слез и горя:

Все было: страшно и нестрашно,
Казалось, что не там, так тут...
Неужто под конец так важно:
Где три аршина вам дадут?

На том ли, знаменитом, тесном,
Где клином тот и этот свет,
Где требуются, как известно,
Звонки и письма в Моссовет?

Всем, кто любил вас, так некстати
Тот бой, за смертью по пятам!
На слезы — время им оставьте,
Скажите им: не тут — так там...

Завершает том не печатавшийся прежде перевод одной из киплинговских эпитафий. Думаю, что это сделано намеренно, потому что в разделе переводов не соблюден ни хронологический, ни алфавитный порядок, — он построен так, чтобы именно этой эпитафией закончить том. Вот она:

Заканчивая путь земной,
Всем сплетникам напомню я:
Так или иначе, со мной
Еще вы встретитесь, друзья!

Я вам оставлю столько книг,
Что после смерти обо мне
Не лучше ль спрашивать у них,
Чем лезть с вопросами к родне!

В июле он вернулся из Гурзуфа в очень плохом состоянии — так скверно он никогда не выглядел, крымский санаторий явно не пошел ему на пользу. Позвонил и попросил

приехать. У него был какой-то посетитель, кто — не помню, и Нина Павловна. Шел сначала деловой разговор, потом некоторое время просто болтали. Ушел посетитель, начала собираться Нина Павловна, и я тоже поднялся. Он сказал мне: «Останься, у меня есть к тебе разговор». Показал на груду диктофонных кассет, еще не убранных с письменного стола: «Зря брал. Ничего не делал. Впервые в жизни не мог работать». Видимо, это угнетало его больше всего. Помолчал, словно собираясь с духом, потом сказал: «Я здесь привожу в порядок все свои дела. Вот пакет Алешкиных писем для архива. Это дела семейные. В последние годы мы с ним подружились. — И перешел на привычный иронический тон: — То ли он повзрослел, то ли мне годы разума прибавили. — И снова серьезно: — Я хотел с тобой поговорить о комиссии по литературному наследству. — И, прочитав в глазах у меня то, что я хотел ответить ему, опережая меня, сказал: — Только не говори, что ты на эту тему не желаешь разговаривать. Разговор мужской...»

Передо мной сейчас ксерокопия последнего письма Константина Симонова, ее прислал в комиссию по его литературному наследию товарищ Цеденбал. За этим коротким письмом стоит длинная история, начавшаяся сорок лет назад... Письмо написано 11 августа в больнице, в реанимационной палате, — так что нетрудно себе представить, чего стоило ему написать эти несколько строк (об этом можно судить и по почерку). Но он считал своим долгом снова поблагодарить товарища Цеденбала за приглашение на торжества и объяснить причину, из-за которой не может приехать. А коли он считал, что обязан что-то сделать, то силы — даже когда их уже не было — откуда-то у него находились... А тут в Монголию с только что оконченным ею фильмом «Халхин-Гол, год 1939...» улетала Марина Бабак.

Последняя появившаяся при жизни статья Константина Симонова тоже о Халхин-Голе — она напечатана меньше чем за две недели до его смерти, 15 августа 1979 года, в «Литературной газете», — не знаю, видел ли он этот номер. Вот ее начало: «Надо же так, как назло, случиться, что именно в эти дни сорокалетия Халхин-Гола мне приходится шагать взад и вперед по больничной палате, а не по жаркой, сухой в эту пору монгольской степи, как я надеялся».

Он очень хотел туда поехать, много говорил об этом в последние месяцы и до отъезда в Гурзуф не терял веры, что все-таки поедет. Но дело, конечно, не только в этой поездке, не только в юбилее...

То, что и последнее его письмо, и последняя статья — о Халхин-Голе, разумеется, воля случая, как бы многозначительно и символично это ни выглядело теперь. Просто Халхин-

Гол всегда присутствовал в его мыслях, там была часть его сердца. Наверное, многое в жизни человек может забыть, но только не свой первый бой. А ведь именно там, на Халхин-Голе, в августе тридцать девятого года довелось Константину Симонову впервые быть под огнем — раньше, чем большинству его ровесников. Разве могло это стереться из памяти?..

Когда было решено к сорокалетию халхин-гольских событий сделать на Центральной студии документальных фильмов картину, Константин Михайлович из-за болезни не взялся за эту работу, но обещал всячески помогать делу. Он предложил студии в качестве режиссера фильма Марину Бабак, а авторов сценария — Давида Иосифовича Ортенберга и меня. Он все время был в курсе наших дел, дал нам редкие материалы (комплект выходившей на Халхин-Голе нашей армейской газеты «Героическая красноармейская», военно-исторические исследования — наши и японские, опубликованные в труднодоступных изданиях, мемуарные очерки, письма участников боев, — все это он собирал и сохранял). Он прочитал самым внимательным образом и заявку, и сценарий, и дикторский текст, смотрел отснятый материал, — его советы и замечания нам много дали.

Но и это еще не все. Понадобилось для фильма интервью с товарищем Цеденбалом — беседу провел Константин Михайлович (во время этой встречи в Москве он и получил от товарища Цеденбала приглашение на торжества в честь 40-летия Халхин-Гола). Понадобилось, чтобы стихотворение «Танк» прочитал в фильме сам автор, и Константин Михайлович, чувствовавший себя в те дни совсем скверно, все-таки приехал на студию записываться...

В самых последних числах июля, перед отъездом в отпуск, я навестил его в больнице. Кроме меня пришли к нему Нина Павловна (она тоже собиралась в отпуск) и Марина Бабак. В разговоре Константин Михайлович упомянул, что завтра должен продиктовать статью о Халхин-Голе, которую давно обещал «Литературной газете». Я стал его отговаривать, хотя и не надеялся, что он меня послушается: ему надо сейчас лечиться — это важнее всего, у газеты же есть еще время организовать какой-то другой материал, он ее не подведет. Меня поддержала Марина. «Но я обещал», — сказал Константин Михайлович. «Вы обещали, когда были здоровы, а не лежали в больнице», — заметила Марина. Он ей не возразил. Мне показалось, что Константин Михайлович, не желая с нами спорить, но не собираясь следовать нашим благоразумным советам, решил просто перевести разговор на другую тему, потому что он вдруг стал рассказывать историю, которую слышал от военных и которая вроде никакого отношения к нашему спору не имела. Когда после войны, рассказывал он,

маршал Жуков был назначен командующим Одесским военным округом, он прибыл на место новой службы к началу учений. Проходили учения далеко не лучшим образом, немалую роль в этом играло, видимо, то обстоятельство, что многие были убеждены: работа на новой должности по масштабам меньше той, которой Жуков был занят прежде, интереса к ней у него не должно быть... и свои обязанности выполняли спустя рукава. На разборе новый командующий начал свое выступление так: «Вы почему-то решили, что к вам прислали другого Жукова, а я тот же Жуков, хотя и в другой должности». Что маршал тут же и продемонстрировал. «Так вот, — неожиданно сказал Константин Михайлович, обращаясь к Нине Павловне и показывая на нас, — они почему-то решили, что я уже другой Симонов. А я хоть и больной, и в больнице, но все тот же». И он рассмеялся...

Он выглядел гораздо лучше, чем после Крыма, и чувствовал себя лучше, вот только приступы кашля по-прежнему мучили его; он надеялся, что предстоявшая ему несложная операция, в сущности процедура, избавит его от кашля, нетерпеливо ждал этой операции, назначенной на десятые числа августа, операции, которая оказалась для него роковой. Был прекрасный летний вечер, мы долго гуляли по больничному парку, он шутил, рассказывал всякие забавные истории, связанные с жизнью в Гульрипши.

Одну я запомнил. Домохозяйка там держала кур, которые почему-то на ночь не забирались в курятник, а усаживались, как на насест, на деревья. Эта домохозяйка очень любила стрелять. Если вечером неожиданно появлялись гости и надо было их кормить ужином, она брала ружье и отправлялась, как на охоту, за курами. Я сказал, что это прекрасная идея: мне по утрам не дают покоя вороны, поселившиеся на деревьях прямо у наших окон, летом в четыре часа утра они регулярно устраивают свои крикливые общие собрания. Константин Михайлович предложил: «Хочешь, я тебе отдам охотничье ружье, которое мне подарил генерал Свобода. Замечательное ружье, редкое; правда, из него, кажется, никто еще никогда не стрелял, ты будешь первый. Проведешь, как наша тетя Дуся, отстрел — только не кур, а ворон». Я пошутил, что моя стрельба по воронам может быть неправильно понята соседями. «Да, — подхватил он, — боюсь, что и мне, пожалуй, будет нелегко тебя вытащить».

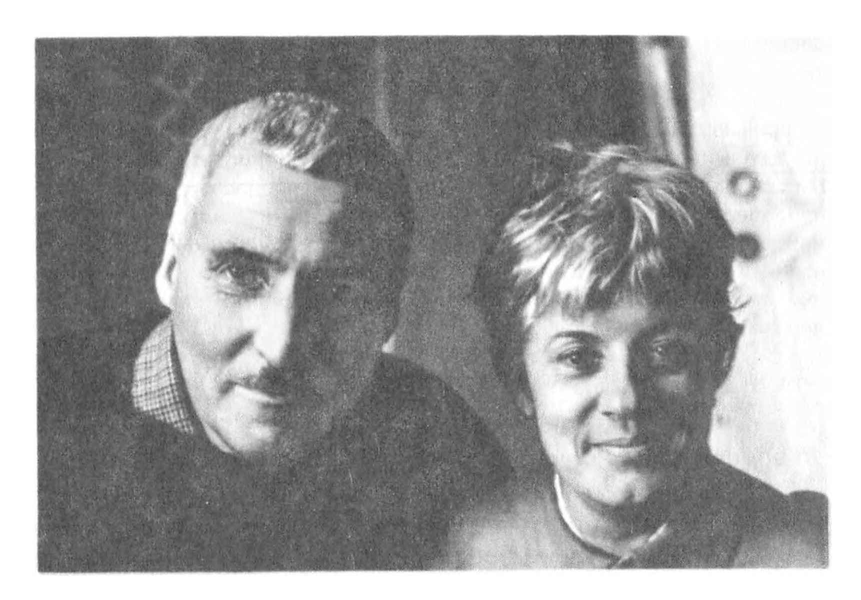
Вспоминаю об этих веселых пустяках, чтобы сказать, какое у него тогда было хорошее настроение. Ничего не предвещало надвигающуюся трагедию. И думать я не думал, что меньше чем через месяц, прервав отпуск, буду лететь в Москву на его похороны...

А в тот вечер мы поздно гуляли, он пошел провожать нас даже за больничную проходную, к автобусной остановке, и, позвонив назавтра, смеясь, рассказывал, что ему сделали выговор за это нарушение больничного режима... Он был, видимо, доволен, что у него достало сил стать нарушителем...

* * *

Телефонный звонок: «Лазарь, добрый день... (Если трубку брала жена: «Ная, добрый день, повелитель дома?») Это некто Симонов... Как у тебя завтрашний вечер? Свободен?.. Тогда подъезжай... Накопилось дел минут на пятнадцать — двадцать... А потом мы посидим с тобой...»

До сих пор я слышу этот голос...



К. Симонов с литературным секретарем Н. Гордон. 1965 г.

Н. П. ГОРДОН

ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ

Нина Павловна Гордон проработала литературным секретарем Константина Михайловича Симонова 35 лет (1944—1979). Параллельно с ней у К. М. были, в разные годы, и другие помощники, упоминающиеся в предлагаемых записях. Но только Н. П. Гордон сотрудничала с К. М., при небольших перерывах, с военных лет вплоть до последних дней его жизни.

Профессионал высокой квалификации (до войны она десять лет была литературным секретарем М. Е. Кольцова), она принимала участие в литературной работе К. М. как стенографистка, машинистка, помощник по его многочисленным самым разнообразным делам. Однако Н. П. Гордон — человек не только образцовых деловых качеств. По словам самого Симонова, она на протяжении многих десятилетий была его «самым преданным другом».

В начале 1956 года Константин Михайлович приступил к работе над первым романом трилогии «Живые и мертвые». Черновик его он диктовал Нине Павловне. Именно к этому времени относятся первые более или менее регулярные записи о том, самом важном и интересном, что случалось на ее глазах в работе и жизни ее «шефа». Иногда это стенографические заметки на полях той или другой диктовки (по ходу работы, точнее — в короткие перерывы), воспроизводящие тот или другой произведший на нее впечатление разговор или диалог... Но чаще всего — это записи, сделанные на

следующий день или через несколько дней, так сказать, по следам событий.

Дневниковые записи Н. П. Гордон не предназначались для публикации. С горечью говорит сама Нина Павловна: она и представить себе не могла, что переживет своего «шефа». Многие из этих стенографических заметок расшифрованы ею лишь недавно, когда они по несчастливому «вдруг» приобрели несравненную, особую важность. Эти прижизненные записи читаются сейчас уже как воспоминания о Симонове, обладающие ценными качествами документа. В сборнике предлагается монтаж из дневниковых записей Н. П. Гордон, снабженный в примечаниях необходимыми пояснениями.

Л. Жадова

15 апреля 1956, Репино

...Справляли мы здесь, в Репино, и день рождения Льва Романовича Шейнина. 25 марта ему исполнилось 50 лет. Много было народу из Ленинграда, а главное — местных его друзей. Натаскали тарелок, вилок, стаканов из композиторской столовой в наш домик. И опять все в основном организовал К. М. Сидит в нем эта жилка вожака-организатора, и даже не жилка, а талант. Все молниеносно делается, всех рассадит как надо, и тамада прекрасный.

К концу ужина, когда уже принесли какие-то сногсшибательные торты, я беспомощно посмотрела на К. М. Тарелки были грязные, жирные, рыбные, столовая уже закрыта, а вода у нас в домике, как и во всех маленьких домиках, почти не шла. (Только утром, и то по капле, так что умываться я лично ходила в основной корпус.) Где помыть тарелки? Нельзя же шоколадный торт класть на рыбьи остатки?

— Что, Н. П., не знаете, как с тарелками быть? А мы вот сейчас как с вами сделаем — собирайте тарелки и несите на крыльцо...

И тут же сам схватил целую стопку грязных тарелок и пошел во двор. Когда я вышла, по тупости не понимая, что он хочет сделать, я увидела, как К. М. уже тычет каждой тарелкой в снег, благо около крыльца были сугробы. Я даже ахнула от удовольствия, и так мы, раздетые, без пальто, «перемыли» все тарелки. Правда, не очень чисто вышло, и вытереть было нечем, но все же вполне под торт подходяще.

Много, очень много работает. Уже здесь продиктовано двести страниц, и мне кажется, что все это намного сильнее первой книги. Работает с увлечением и с душевной болью переживает то, что диктует, а диктует о страшных днях под Москвой в сорок первом году.

4 мая 56 г., Гульрипши

Сегодня прилетела в Гульрипши. К. М. здесь уже с 28 апреля, провел здесь первомайские праздники и сегодня встретил меня на аэродроме.

Летела я в первый раз в жизни (если не считать 40-минутного полета с М. Е. Кольцовым еще в тридцатые годы, над Москвой). Сначала, когда возвращались из Ленинграда в Москву в «Стреле» и К. М. сказал мне, что я полечу в Сухуми на самолете, — я испугалась, но потом, подумав, что аварии бывают везде, летела без страха и с большим любопытством к этому виду транспорта.

Приземлившись на аэродроме в Гульрипши, вернее, в Драндах, под Сухуми, я еще из окна самолета увидела шефа в его брезентовой курточке, очень загорелого, бодрого и веселого.

Здесь райский уголок; небольшой каменный домик-дача, три комнатки внизу, одна наверху, и еще двухкомнатная пристройка во дворе, рядом с гаражом. Чудесный сад в цветах и деревьях в пятидесяти шагах от моря. Море совсем под ногами!..

У К. М. хороший кабинет, большой, светлый, с двумя окнами с двух сторон, с дверью на крыльцо-терраску и камином.

Большой деревянный некрашеный письменный стол, три кресла, тахта, небольшой сейфик. Ковер на стене, тахте и на полу. На стене висит большое охотничье ружье. Около тахты — низенький маленький столик. Такой же столик и два низких деревянных кресла на терраске. Над столом — полка с книгами. В углу, около двери в столовую, комодик, на нем радиоприемник, над ним копия натюрморта Сарьяна. Оригинал в Москве, в квартире. К. М. очень любит этот натюрморт. По-моему, ничего особенного, только краски хороши — яркие пятна желтого лимона, хурмы и других южных овощей и фруктов...

21 мая 1956, Гульрипши

Вчера я, по-моему, сильно напугала своего шефа.

Он все последние дни с утра ходит у моря — думает; после обеда тоже ходит и думает, и только после ужина начинает диктовать. А я, пока он ходит и думает, без передыху молочу на машинке — расшифровываю стенограммы, — хочется работать в ажур, хотя К. М. никогда не гонит и не торопит — здесь он спокойный. Но к вечеру, несмотря и на обед, и ужин, и купанье, — все же усталая.

Вчера начал диктовать около девяти вечера — до этого сидели на терраске, пили кофе, разговаривали. Диктовал, как всегда, очень эмоционально, с полной отдачей самого себя; и

шло хорошо, чувствовалось, как продумано, как перебродило у него в голове и душе все, что он диктует.

Время летело быстро; когда хорошо идет диктовка, его не замечаешь. Дверь на балкон распахнута, в кабинете несколько сыровато, он ходит без конца, а я сижу без конца. От сырости и прохлады повела плечами. К. М. заметил и тут же накинул мне на плечи висевшую у него на стене черную бурку. Я благодарно кивнула, не отрываясь от тетрадки, закуталась в бурку и продолжаю писать.

Может, от тепла — меня стало клонить ко сну. Взглянула на часы — уже первый час ночи, а К. М. увлечен диктовкой страшно, ничего не видит, ходит, жестикулирует, говорит. Чувствую, что засыпаю, засыпаю — и все.

Но молчу и пишу.

Вдруг К. М. остановился около меня — я не заметила этого — и даже крикнул с испугом:

— Нина Павловна, да вы спите?!

— Ну, да... — ответила я, ничего не соображая. Потом пробормотала что-то вроде того, что я все слышала, что я все записала...

— Идите тут же спать, — сказал К. М. — Прошу завтра с утра расшифровать сегодняшнюю диктовку.

Я ушла наверх, быстро легла и тут же заснула.

Утром, после завтрака, села за расшифровку, а К. М. пошел опять гулять вдоль моря и думать.

К обеду я все закончила и, как это ни странно, не пропустила ни одного слова. Сама себе не верила, и он, когда читал, по-моему, тоже сам себе не верил. Шутка ли, если бы пришлось все передиктовывать!

— Но ведь вы же явно спали? — сказал он улыбаясь.

— Спала!

— Как же вы записали?

— А я, наверное, спала с открытыми глазами. Знаете, стенограмма не легкое дело, но когда натренируешься, видимо, техника выручает. Наверное, слова ваши через ухо сразу передавались мне в руку, писала машинально, ничего не соображая. Не могу ночью работать! В свое время Кольцов попробовал меня брать с собою в «Правду», когда дежурил, хотел ночью в свободное время диктовать мне фельетоны. Ничего не получилось, после двенадцати засыпаю. Уж как старалась не спать — все равно засыпаю.

— Ну, ничего, Нина Павловна, не огорчайтесь, я перестроюсь, и будем начинать работу раньше...

28 мая 56, Гульрипши

...Позвонил из Москвы А. А. Сурков и сообщил К. М., что умер Самед Вургун. Для него это не было неожиданностью. Ведь только 12 мая он летал в Баку на юбилей Са-

меда в связи с его 50-летием и видел его уже умирающего от рака. Это была их последняя встреча, и он знал об этом, когда летел туда. И хотел его видеть в последний раз.

Продиктовал мне большую душевную телеграмму в Союз писателей Баку, но на похороны не полетел.

С романом выбились из всех намеченных им сроков, а пятого июня еще надо лететь в Москву на пленум.

Перед самым обедом наконец сели писать. Работа шла медленно — письма, смерть друга, все это выбило его из колеи. После обеда работали опять до 12 ночи, продиктовал около пол-листа.

Сегодня продолжал диктовку четвертой главы, третьей части — Маша в оккупации. Судя по началу, будет интересная глава.

Вообще работает как зверь, с января, с 16-го, уже написано 45 авторских листов. В отдельные дни диктует по листу в день и даже больше.

Когда диктует — все время ходит, изредка присаживается, много курит. Диалоги говорит разными интонациями, так что всегда чувствуешь, кто говорит, — поэтому легко писать, легко расшифровывать.

Диктует большей частью медленно; часто, прежде чем произнести фразу, говорит ее шепотом, для себя, проверяя ее на слух. Весь воплощается и перевоплощается в описываемые им образы, переживает их судьбы на себе, все забывая и ничего не видя кругом. Иногда на середине фразы задумывается и долго ходит молча, иногда жестикулируя — видимо, продолжая в уме диктовать. Потом очнется, посмотрит на меня отрешенными глазами и скажет:

— А? Что?

Тогда я прочитываю последний абзац, и он продолжает диктовку.

Меня всегда поражает его память. Помню, когда я только начала с ним работать, уже официально, в «Новом мире» и приехала на дачу в Переделкино, кажется, в 1947 году, он мне диктовал какую-то статью для журнала. Его позвали в сад; там работал плотник. Минут сорок он отсутствовал, а вернувшись, с порога закончил начатую фразу, не переспросив даже последнего слова. Он как-то сказал потом мне, что все, что он диктует, у него как бы сфотографировано в голове, он видит продиктованное.

Рассказал случай с Музочкой[1]. Когда писал «Дни и ночи»,

---

[1] Музочка — Муза Николаевна Кузько. В войну стенографистка редакции газеты «Красная звезда». После войны литсекретарь-стенографистка у К. М. Симонова.

продиктовал ей главу, а она ее затеряла. Все перерыли — искали долго, упорно — нет тетрадки. Ну что делать, прошло уже много времени, стал диктовать эту главу вторично. Музочка ее расшифровала. А потом, много месяцев спустя, нашли злополучную пропавшую стенограмму где-то под шкафом или диваном. К. М. попросил ее расшифровать, и когда расшифровали, оказалось, что целыми страницами диктовал слово в слово!

Прислушивается очень к замечаниям, часто сам спрашивает о той или иной фразе: «Можно так сказать? Понятно это? Бывает так? Да!..»

Вечером послали телеграмму Аркадию Райкину в Сочи, который был здесь три дня, уехал в Сочи на спектакли, а второго июня опять приедет в Гульрипши, на дачу к К. М. с женой.

«Поздравляем с премьерой привет Брагину. Барашка скучает день и ночь блеет у дверей твоей комнаты нетерпением ждет свидания тобою и твоей семьей второго. Сообщи нам когда приедешь. Костя Ваня» (И. К. Тарба).

С барашкой (так мы называли ягненка) была дивная история. Когда Райкин гостил три дня у К. М., шефу кто-то подарил живого барашка на шашлык. Резать его было рано, и барашку привязали в конце сада, около какой-то канавы, поблизости от уборной. Нонна Николаевна[1] его кормила и поила. А Райкин жил в пристроенной к гаражу комнате с крылечком. Ночью начался страшный ливень, я спала на втором этаже и проснулась от рева моря и барашки. Бедный барашка, маленький, очевидно, просто тонул в воде, в низине, у самой канавы. Он так жалобно кричал, что я не выдержала и спросила Н. Н., которая тоже не спала в комнатке рядом: «Нонна Николаевна, а ведь барашка может утонуть?» — «Не знаю», — ответила она недовольно.

Я понимала, как ей не хочется вставать, вылезать из постели и идти под проливной дождь в сад. Но тут раздался голос К. М., и ей пришлось встать и спуститься вниз.

Я приоткрыла дверь и посмотрела: К. М. в черном плаще с капюшоном, в резиновых сапогах, с фонарем в руках впереди, а за ним — Н. Н., тоже в плаще и тоже в сапогах, но в руках уже веревка, — открыли дверь в сад. Рванул ветер, дождь хлестал как бешеный, — я даже поежилась от одной мысли выйти в этот ад и юркнула обратно в кровать. Слышала, как они шлепали сапогами, как Н. Н. звала барашка, как что-то долго не могли его вытянуть из воды, — он действительно чуть не утоп. Потом, привязав веревкой, тащили его, орущего, упрямого, маленького, наверное очень несчастного и ничего

---

[1] Нонна Николаевна Льянова — домработница у К. М. Симонова на даче в Гульрипши.

не понимающего, через весь сад и притащили наконец... на крылечко к Райкину! Больше было некуда, не в дом же его тащить. Барашка долго не мог успокоиться и все блеял над ухом Аркадия Исааковича.

Утром было яркое солнце, синее море, покой и тишина. К. М. еще спал. Я сошла в сад и увидела мрачного Райкина, гуляющего около своей терраски.

— Вы уже встали, так рано! — удивилась я.

— Тут поспишь... Я же всю ночь еще и мок... Помимо крика барана над ухом, меня поливало через крышу... Всю ночь двигался с раскладушкой по комнате, искал сухое место. Вот, все мокрое, — и он ткнул ногой в одеяло, валявшееся на траве, на солнышке.

— Давайте все мне наверх, на веранду, там жара — все моментально высохнет.

За завтраком все трое хохотали, вспоминая дождь, ночь, полузатонувшего барашку и мучения Райкина, о которых он сам рассказывал со своим первоклассным юмором.

Вот поэтому и дали сегодня ему такую телеграммку.

29 мая 56, Гульрипши

...Вернувшись из Сухуми, рассказал мне, что они с Тарба навестили поэта В. В. Каменского, соратника Маяковского. Старик лежит без ног и без языка, одинокий, заброшенный — от него ушли и дети и жена. Лежит и ждет, что на днях приедет к нему в гости Давид Бурлюк, который сейчас гостит в Советском Союзе и которого Каменский не видел около тридцати лет.

К. М. со свойственной ему энергией и напором тут же созвонился с Москвой, с СП, — с Б. Н. Полевым, М. Я. Аплетиным и В. Н. Ажаевым, с Сухумским обкомом и договорился, чтобы старику дали дополнительную пенсию по Литфонду, перестроили и привели в надлежащий вид жилье.

Вечером он сказал мне:

— Люблю власть для добрых дел, для этого и сижу в Союзе писателей.

3 апреля 1962, Москва

Вчера и сегодня работала с шефом на даче. Начали вторую часть романа «Середина войны»[1]. Вчера весь день он правил роман, а я переносила правку на второй экземпляр. Долго работал над куском о Сталине.

---

[1] «Середина войны» — первоначальное название романа «Солдатами не рождаются».

За обедом сказал мне, чтобы я ему напомнила в городе о завещании.

Я заметила ему, что-то он часто стал поговаривать об этом, — не плохо ли он себя чувствует?

— Нет, я себя чувствую хорошо, но все же надо сделать. Я имею в виду не финансы и имущество — тут есть закон, — а о литературных моих работах. Надо оформить завещание и указать, что надо печатать, а что нет.

На мой вопрос — много ли у него ненапечатанного, он сказал, что, в общем, мало, лучшее почти все напечатано. Но дневники — о них главная речь.

Первую часть романа правил уже в третий раз. Сейчас считает, что она готова, чтобы ее давать читать.

— Но возможно, Нина Павловна, вы завтра придете и я вас встречу словами, что опять перелопатил весь роман.

Настроение хорошее, веселое. Доволен, что роман идет, по-видимому, неплохо. Трудный материал...

6—7 сентября 1963, Москва

...Вчера и сегодня продолжает диктовку романа. Пишет еще одну главу после Алексеевского лагеря.

А когда диктовал об Алексеевском лагере, вернее, после диктовки этого куска, — оба были как мертвые.

Диктовал с такой страстью, с такой болью и горечью, иногда шепотом — о том ужасе, который был в этом лагере под Сталинградом у немцев. У меня мороз по коже пошел, когда пошли наши врачи по вмерзшим трупам наших же к баракам, после освобождения Сталинграда.

А в бараках — трупы и полутрупы наших бойцов... Умирающие, обовшивевшие, грязные, голодные.

Когда кончил диктовать — я взглянула на него. Он был черный и как бы опустошенный от всего только что пережитого.

Я машинально обхватила себя руками, отряхивая рукава.

— Вот и мне, — сказал он тихо, — хочется смахнуть с себя вшей. Как будто я покрыт ими...

И курит, курит без конца.

25 марта 1964, Москва

Вчера весь день работала с шефом на даче. Приехала туда в 11 утра и уехала в 10 часов вечера. Опять разбирали почту, накопившуюся за три последних месяца, когда он ни до чего не дотрагивался, пока не додиктовал роман до точки.

Но он уже думает о следующей книге романа. Диктуя мне ответ какому-то читателю, пишет, что немного отдохнет и

начнет четвертую, последнюю книгу о войне и доведет ее до конца войны.

Диктовал мне письма девять (!) часов подряд, с небольшими перерывами на обед и чай. Я просто обалдела, он, по-моему, тоже. Но очень был доволен, что разделался с почтой.

Письма его теплые, умные, с большой душой и искренностью написанные. Даже когда бывает вынужден одернуть какого-нибудь просто грубого, но в то же время чем-то зацепившего его своим письмом, какой-то фразой в письме (иногда несчастной нотой) корреспондента, — он делает это только с одному ему присущей какой-то теплой строгостью; и никогда не писал и, по-моему, не умеет писать сухих писем, — всегда доброжелательно и с теплом. Так и исходит от него это тепло к людям и в общении, и в письмах...

Понимаю, что, получив такое письмо, многие читатели отвечают, что «это был их самый счастливый день в жизни»!

Переписка обширная. Кто только не пишет и чего только не просят. Многим помогает.

31 марта или 1 апреля К. М. уезжает на Северный флот вместе с А. П. Штейном. К. М. не был там с войны, и ему интересно съездить туда. Зовут его уже около года, но все не мог из-за романа. Возможно, поеду с ним в Гульрипши на май месяц, хочет что-то еще писать...

16 мая 1964, Гульрипши

К. М. улетел в Москву. Я вздохнула с облегчением. За десять дней он меня просто замотал. Чего только не диктовал — и письма (полсотни отправили!), и воспоминания, и рецензии на рукописи. Безжалостен к себе и безжалостен к секретарям. Вернее, забывает о нас, когда диктует. А может быть, думает, что выводить «крючки и палочки» (как сказал Райкин) легкое дело. А ведь стенограмма — очень напряженная работа, и когда пишешь часами, выматываешься до предела. Правда, сколько раз он мне говорил: вы меня остановите, вы скажите, что надо передохнуть... Но как остановить, когда видишь, как он увлечен работой, как ему хочется поскорее «раскидать» и письма, и дела, и рецензии и приняться за роман, за основную диктовку.

Живем вдвоем с Шуриком[1]. Она простудилась, болеет, а я сижу около и стучу на машинке. Дай бог успеть расшифровать все к его приезду.

А еще, улетая, сказал: вы тут передохните...

Трогательный человек!

---

[1] Шурик — младшая дочь К. М. Симонова.

25 сентября 1965, Москва

Скоро — 28 ноября — юбилей Константина Михайловича — 50 лет! Я уже обалдела от подготовки к нему. Сколько списков, конвертов, адресов, писем, билетов и всего прочего. Вечер будет в ЦДЛ, а ужин в Красном зале «Метрополя».

Билет сделал очень скромный — небольшого формата, с небольшой фотографией...

А на ужин к билету прикладываем отдельное приглашение, написанное от руки, отпечатанное в трехстах или больше экземплярах, где он каждому тем же карандашом, вернее бисом, вписывает несколько теплых слов, каждому персонально, с именем и отчеством.

Это он очень здорово придумал. Получается такое теплое, дружеское, именно к вам относящееся приглашение.

А тепла от него к людям идет много, очень много. Меня иногда поражают его любовь и доброжелательность к людям. И вообще сколько он делает добра и как никто почти об этом не знает. Человек огромного сердца...

28 декабря 1966, Москва

Сегодня, когда я пришла, у шефа уже сидел Марк Александрович[1] — разговаривали насчет международного авторского права. Продиктовал мне письмо в «Советский писатель».

Затем просмотрел и исправил корректуру для К. Ф. Платоновой[2] в Гослитиздат (книга к 50-летию Октября).

Потом пришел из ЦГАЛИ Вадим Алексеевич Черных, которого К. М. пригласил поговорить по поводу архивных дел.

— Я задумал книгу об интеллигенции, — сказал К. М., — книгу и пьесу — на материале людей творческих, на материале архива ЦГАЛИ и моего и, может быть, на сданных материалах моего юбилея. Сначала это будет круг очень большой. Это будет монтаж материалов и писем, где должно быть точно сказано, откуда это использовано. Когда будет какой-то первый черновик, нужно будет с театрами думать, как это делать на сцене.

...Я не думаю это делать к 50-летию. Просто хочу поговорить с вами, узнать, как вы смотрите на такую возможность. В ЦГАЛИ много ценных материалов. Могут быть письма семнадцатого года, а потом пятьдесят седьмого — все тут может быть. На сцене может быть представитель архива, который

---

[1] Марк Александрович Келлерман — юрист, специалист по авторскому праву, помощник К. М. Симонова.

[2] Клавдия Федоровна Платонова — редактор издательства «Художественная литература»; редактор первого собрания сочинений К. М. Симонова в издательстве «Художественная литература» (1966).

будет где-то говорить. Вот, скажем, идет монтаж, а он будет говорить: «Такого-то года, такого-то числа, таким-то все сдано на хранение. Сдано было после смерти... Или прислано...» Потом мы будем уточнять это дело. Это ювелирная работа.

...Я вот делал работу — небольшую книжку из шестидесяти разных воспоминаний — «Штрихи эпопеи». Делая такой монтаж, уточнил сначала все фамилии людей. Всю эвакуацию рабочих из Ростова в Ташкент — записал и смонтировал.

...В этой новой работе имена могут быть значимые, а могут быть и незначимые. Можно человека неизвестного подать так, что он будет совершенно необходим. Главное — эпоха! Эпоха — и целое. Важные свидетельства эпохи — они интересны в любых устах. Тут я думаю взять только людей художественной интеллигенции — писателей, художников, театральных деятелей...

...У вас в ЦГАЛИ, наверное, кое-что публикуется, ведется, видимо, соответствующий журнал — что, где и как опубликовано? Вот было бы хорошо, если бы мы через несколько месяцев какой-то круг работы посмотреть могли бы, проверить — что можно, что нельзя, как это складывается. Я думаю, на такую подготовительную работу надо брать срок до осени.

...Интеллигенция и революция — вот основной смысл. Как бы ни ломать эпоху — трещина проходит по интеллигенции. Она всегда на изломе.

...Можно использовать воспоминания, заявления. Можно подумать о некоторых разных людях, скажем, Луначарский, Эйзенштейн и другие. В общем, в итоге все это должно вместиться в страниц семьдесят — восемьдесят...

...Светлов, скажем, — у него есть письма от 20-х и от 50-х годов. Он может быть одной из сквозных фигур...

...Мы тут фильм сделали о битве под Москвой. Записывали Жукова, Конева, Рокоссовского. У меня было впечатление, что если даже не получится фильм, одной лишь записью этих людей уже оправдана будет эта работа. Выйдет фильм или нет — а это сделано!

3 апреля 1967, Москва

К. М. с Ларисой вернулись из Югославии 30 марта. Настроение хорошее.

Много работает, и уж очень дергают его со всякими просьбами. Сегодня, после его отъезда на хронику, одолели звонки (звонки мы теперь записываем — очень удобно для работы).

Звонили из журнала «Иностранная литература», напоминали об его обещании написать предисловие к юбилейному номеру (50-летие).

Иван Николюкин — о своих стихах.

Галина Дробот — с просьбой написать завтра к вечеру несколько страничек о покойном маршале Малиновском.

Д. И. Фикс просит воспоминания об Иосифе Уткине (в сборник воспоминаний).

Радио — хотят, чтобы К. М. почитал по радио свои стихи и поговорил о поэзии.

Племянница М. Ф. Андреевой — хочет посоветоваться по поводу «одной пьесы» — так она таинственно сообщила мне о своем желании повидать К. М. Но я-то помню, что она уже советовалась с К. М. по поводу «одного сценария» своего племянника из Ленинграда.

И, наконец, Володя, столяр, который должен прийти и что-то «доструговать» по просьбе К. М. По-моему, это единственный, нужный лично шефу звонок!

После Володи выключила телефон.

До отъезда на хронику К. М. дал мне перепечатать письмо о снятии своего имени и об изменении названия фильма «Солдатами не рождаются». Поправки, которые предложили сделать, принять никак не может, считает их несправедливыми. В фильме будет указано — «по мотивам романа Константина Симонова».

4 октября 1967, Москва

Сегодня встретились с К. М. после большого перерыва.

Они с Ларисой 17 августа уехали на Дальний Восток и оттуда прямо в Японию, вернулись 22 сентября. А мы с Юзом почти два месяца пробыли в Париже и только приехали.

Очень обрадовались, расцеловались, но первое, что я от него услышала:

— Сегодня я в запарке страшной...

Я засмеялась и сказала, что за двадцать с лишним лет не помню дня без запарки. И спросила: «А когда же отдохнете?»

Он показал пальцем наверх и сказал: «Там!»

Сегодня ему и правда «нечем дышать»: сдает фильм об Испании, который назвали «Гренада, Гренада, Гренада моя...».

Сегодня же в СП в два часа дня встреча писателей с Артуром Миллером. Хотел еще заехать к Елене Сергеевне Булгаковой, но с сомнением покачал головой — успею ли, не знаю, сколько пробуду на хронике.

Все же сказал мне, что очень доволен поездкой в Японию, что хочет до романа написать книгу листов на тридцать о Японии.

— На тридцать?! — переспросила я с сомнением.

К. М., усмехнувшись, ответил:

— Да она уже почти написана.

Я вспомнила, что Тоня Толстецкая перепечатывает его дневники поездки по Японии в 1946 году. Из них и хочет сделать книгу.

7 октября будет премьера фильма «Если дорог тебе твой дом...» в ЦДЛ. Замечательно, что наконец-то фильм выходит, — чего ему это стоило...

10 декабря 1967, Москва

Вчера в ЦДЛ состоялась премьера фильма «Гренада, Гренада, Гренада моя...».

Переполненный зал, встретила много жургазовцев; но не только они, увидев Михаила Кольцова в кадрах Испании, плакали. Плохо, что Кармен не сделал стоп-кадра на Кольцове (хотя в фильме было много стоп-кадров на других деятелях!), он промелькнул в фильме. Я слышала шепот: где Кольцов? Какой Кольцов? Который... — а он уже прошел. Ведь многие его просто не знают!

Фильм по сравнению с тем, каким я его видела в черновом варианте на хронике (К. М. меня взял посмотреть на Кольцова), намного лучше; просто хороший фильм, нужный фильм. Я еще тогда, после просмотра на хронике, сказала К. М. о Кольцове и стоп-кадре, но он, как всегда, отмолчался. Может быть, этого не надо было делать по каким-нибудь высшим, недоступным мне соображениям, — не знаю!

Перед просмотром «Гренады...», как всегда, было выступление группы. Картину представил А. Я. Каплер, затем Кармен представил группу.

К. М. в своем слове насмешил зал, заявив, что он и Кармен читают по очереди текст совсем не потому, что нет хороших дикторов, а так было нужно по картине, и он, «несмотря на то, что я не выговариваю все буквы алфавита», все-таки решился на это. «Просто хочу вас заранее предупредить об этом, чтобы вы были подготовлены».

22 июля — 9 августа 1968, Москва

К. М. вернулся из Гульрипши 22 июля на десять — пятнадцать дней, чтобы записывать беседы с военными для своего последнего романа «Сорок пятый год»...

...Каждый день он кого-нибудь записывает. Кого дома, кого в Архангельском — в военном санатории, к кому-то едет домой сам, кто-то приезжает к нему.

Три дня записывал приехавшего из-под Ульяновска со своими товарищами Мельникова, бывшего начальника штаба дивизии на Курской дуге. Мельников несколько дней даже ночевал у К. М. в нижнем кабинете.

Пленок тьма. Скромные товарищи, не привыкшие говорить на диктофон, конечно, стесняются, говорят тихо, невнятно,

записи — в смысле техники — плохие, и мы с Т. В.[1] ужасно мучаемся с расшифровкой. А К. М. еще все и всех торопит, все ему надо быстрее, скорее, дергается сам и дергает нас. Иногда с утра приходит напряженный до предела, нельзя спросить ни одного слова — начнешь говорить, а он морщится, как от зубной боли. Причем и говоришь-то только по делу — без дела совсем уж не разговариваем!



К. Симонов с женой Л. Жадовой и дочерьми Сашей и Катей. 1969 г.

Но проходит напряжение, и К. М. опять улыбается, шутит, смотрит иногда виноватыми глазами. Думаю, что где-то в душе он сознает, что бывает иногда слишком уж нетерпелив. К слову надо сказать, что если он и начинает нас торопить и дергать, то быстро спохватывается, и тогда подходит, положит руку на плечо и скажет ласково: «Все! Не будем нервничать, будем работать спокойно!»

И мы все оттаиваем, начинаем улыбаться, работать спокойно, расторможенно — до следующего его «запоя в работе». Ну что с ним сделаешь — таков характер!..

[1] Татьяна Владимировна Дубинская — литсекретарь К. М. Симонова (1963—1973).

...Смешной разговор со Столпером.

22-го, когда К. М. только-только прилетел из Сухуми, тут же позвонил Столпер. К. М. отвечает:

— Здравствуй, старик... здравствуй. Я ничего. Роман пишу... В море купаюсь...

— Как пишешь роман? — почему-то удивился Столпер.

— А вот так и пишу... Прямо в море, понимаешь, пишу... Столик у меня там в море стоит, и пишу...

Положил трубку и рассмеялся.

16 марта 1973

...Как-то на днях шли мы с ним из его квартиры в рабочий кабинет, и он начал перечислять все, что предстоит сделать в этом году.

— Ну, закончу дневники конца войны — передиктую их до отъезда в санаторий (1 апреля!), затем картина с Алешей Германом «Двадцать дней...»[1] надвигается; книгу «Письма с войны»[2] надо закончить, а там начнется «Шел солдат...» на хронике. А в июле — Маяковский, а до него — пленум... А потом...

Я взглянула на него даже со злостью.

— А отдыхать когда?

— Уеду на апрель с Ларисой в Крым, а потом во Францию на месяц. Ничего там делать не буду — буду ходить по ресторанам, — засмеялся он. — Да, еще вот надвигается Шинкуба, которому я обещал перевести его роман, и сделаю это. Потом, еще в этом году...

Но тут мы дошли до кабинета, откуда с двух сторон неслись телефонные звонки...

5 мая 1973

Двадцать минут говорила с К. М. по телефону с Ниццей, где он был членом жюри на Международной книжной ярмарке. Давал мне указания по поводу предстоящего в Париже 2 июня симпозиума, вечера, посвященного 10-летию смерти Назыма Хикмета.

Не велел мне говорить, что сам к этому времени уедет из Франции, но просил позвонить и в Инкомиссию, и А. А. Косорукову, и Б. А. Слуцкому, и Б. Н. Полевому в «Юность», и В. Г. Комиссаржевскому, и Расулу Рза в Баку, и А. А. Вознесенскому — чтобы все прислали телеграммы или письма, обращенные к симпозиуму и молодежи, т. к. вечер будет проходить в Париже, в Университетском городке.

---

[1] Алексей Юрьевич Герман — режиссер «Ленфильма», сделавший фильм «Двадцать дней без войны...»

[2] «Письма с войны» — первоначальное название книги «Сегодня и давно».

В общем, все организовал оттуда! Нет, не умеет отдыхать.

Самое трудное — достать телефильм, недавний, посвященный Назыму, где участвовали и К. М., и Слуцкий, и Комиссаржевский.

24 июля 1973

...20 июля было открытие выставки «20 лет работы Маяковского» в Союзе. Дня за три до этого, когда я пришла с К. М. в Союз, я просто опешила: казалось, что ничего еще не сделано, полный ералаш, не было даже стекла для стендов, кругом просто бедлам. К. М. только что вернулся из Тбилиси, где возглавлял делегацию на «дни Маяковского». Я увидела, как потемнело от гнева его лицо.

Собрал всех работников, имеющих отношение к выставке; тут же стал звонить какому-то зам. министра по поводу стекла, и через час 300 — или больше — огромных, от пола до потолка, стекол было в Союзе. Пришел Е. А. Розенблюм, гл. художник-оформитель выставки, и беспомощно сказал, что рабочие скоро кончают работать, а надо бы работать весь вечер.

К. М. пошел в зал, поздоровался со всеми и сказал:

— Вот, ребята, сейчас устроим вам всем здесь подхарчиться, не поработаете ли сегодня вечерок, попозже?

Тут же организовал в ЦДЛ в ресторане хороший обед (конечно, за свой счет), посидел с рабочими за столом, поговорил, пошутил и совершенно «обаял» всех. Огромная сила в его обаянии, в его умении подойти к людям — просто, дружески, душевно. Мне потом говорила Мила Макарова[1], что ни один рабочий не ушел, пока не окантовали, не покрыли стеклом все стенды. Работали допоздна и охотно.

За 10 минут до открытия выставки еще подметали в фойе, еще чего-то все доделывали. Мне рассказывали, что один из работников Союза, проходя через выставочные комнаты за полчаса до 12-ти, с усмешкой спросил: надеетесь вовремя открыть? — и кто-то ему ответил, что это как в театре — за кулисами ералаш до поднятия занавеса, а как поднимут занавес — на сцене полный порядок.

К открытию приехали Н. Тихонов, А. Сурков, другие секретари Союза.

К. М., открывая выставку, сказал очень немного; я видела, вернее, чувствовала, с каким напряжением он говорил, собрав всю свою волю, все свои силы. Видела его черное

---

[1] Людмила Константиновна Макарова — художественный редактор издательства «Книга», работавшая, в числе других, над книгой-буклетом «Маяковский делает выставку».

лицо, напряженные от боли глаза (опять страшная головная боль), казалось, что он с трудом подбирает слова.

Он поблагодарил всех, принявших участие в восстановлении выставки, сказал, что «особенно благодарен работникам Литературного музея, Центрального государственного архива литературы и искусства, Комитету... комитету — он как заезженная пластинка твердил «комитету», «комитету» и наконец сказал: «Комитету по делам печати». Не мог вспомнить! Совсем плохо, подумала я, но я тогда еще не знала, насколько действительно ему было худо.

21 июля К. М. опять весь день пробыл на выставке. К вечеру, часам к пяти, когда весь «штаб» уже разошелся, К. М., совершенно измученный, зашел с Ларисой и Е. Розенблюмом в комнату, посмотрел на меня и сказал:

— Идите, Нина Павловна, домой. Вы не лучше меня выглядите! А я поеду с Ларисой Алексеевной прямо на дачу отсюда, буду отлеживаться.

23-го утром, это был понедельник, он мне позвонил с дачи домой и попросил, когда пойду на работу к нему в рабочий кабинет, зайти в поликлинику Литфонда — это все рядом — к врачу Белле Борисовне Быниной и сказать, что опоздает к ней на час, т. к. спустила шина и Саша ее накачивает.

Я зашла к Белле Борисовне; она не могла его дожидаться — ехала на вызовы, — но его ждали два других врача. Белла мне сказала, что и она, и глазник, и физиотерапевт считают, что его надо обязательно уложить в больницу, что она даже не понимает, как К. М. мог работать с такими дикими головными болями, что вирус в голове, что затек глаз (кажется, она сказала, опоясывающий лишай), что все это нехорошо — и глаз, и голова...

...Потом встал, попрощался со мной — протянул мне руку и, сказав: «Я не заразный», поцеловал в щеку — я через два дня уезжала в отпуск. И тут же добавил:

— Мы, наверное, еще с вами увидимся. Меня, наверное, сразу не положат, и я тогда вернусь сюда.

Но его положили сразу. Из поликлиники тут же вызвали свою машину — так положено — и отправили в больницу, в Кунцево.

Настроение у меня было тягостное: за тридцать лет работы с ним впервые его увезли в больницу. А ведь всегда он был такой здоровый, сильный, если и хворал, то на ходу.

Очень я обрадовалась, когда на другой день вечером он позвонил мне домой и пожелал хорошо отдохнуть и подлечиться в санатории. Говорил тепло и ласково, а голос был такой грустный и больной...

5 октября 1973

Только что говорила с К. М. Звонила ему в Гульрипши. Голос хороший, веселый: видимо, отдохнул, поздоровел. Хотя «отдохнул» он, по-моему, относительно. Много работал. Заканчивает работу над своими военными дневниками «Разные дни войны». Шлет пленки сюда, да еще и там Т. Д. расшифровывает.

Просил позвонить Марине Бабак, чтобы она на хронике подготовила к его приезду куски, записанные к фильму «Гренада», но не вошедшие в нее, — разговор Пабло Неруды с Гарсиа Лоркой в Испании. Хочет по приезде быстро сделать фильм о Пабло Неруде, которого знал, любил и переводил.

Просил позвонить 8.X, хотя 9-го уже выезжает в Москву.

— Позвоните все же в понедельник, может быть, что-нибудь срочное будет.

Да уж и так срочного накопилось тьма. Неуемный человек.

Декабрь 1973

К. М. продиктовал сегодня письмо, адресованное мне же и Марку Александровичу Келлерману, где он довольно подробно изложил нам — чем он будет заниматься в 74 году и чем не будет; что будет делать и от чего мы должны его избавить; подробно перечислил свои «долги» по выступлениям и другим взятым обязательствам — что из них сделает, а от чего отказывается.

Короче — кроме перечисленных обязательств по «долгам» будет заниматься только своими военными дневниками и фильмом «Шел солдат...», который должен сдать к весне 1975 года — к 30-летию Победы.

Я обрадовалась письму, потому что на нем лица нет от усталости и потому, что этим письмом дает нам возможность и основание еще активнее отбиваться от всех наваливающихся на него людей с их нужными и ненужными делами. Отбиваться от выступлений и встреч, от предисловий и послесловий, от радио и телевидения, от множества ненужных звонков, просьб и т. д. и т. п.

Но, зная К. М., в душе отношусь скептически к этому письму — уж очень он неуемный. И сказала ему об этом.

Он взглянул на меня, на М. А., потом взял однотомник своих стихов и начал читать:

Над сном монастыря девичьего
Все тихо на сто верст окрест.
На высоте полета птичьего
Над крышей порыжелый крест.

Монашки ходят, в домотканое
Одетые, как век назад.
А мне опять, как окаянному,
Спешить куда глаза глядят.

С заиндевевшими шоферами
Мне к ночи где-то надо быть,
Кого-то мучить разговорами,
В землянке с кем-то водку пить.

Как я бы рад, сказать по совести,
Вдруг ни к кому и никогда,
Вдруг, как в старинной скучной повести,
Жить как стоячая вода.

Описывать чужие горести,
Мечтать, глядеть тебе в глаза.
Нельзя, как в дождь на третьей скорости
Нельзя нажать на тормоза.

Эти слова прочитал особенно значительно!

Я люблю его чтение стихов, читает просто, но с какой-то волнующей глубиной. А в этот раз особенно я почувствовала это.

18 апреля 1974

Сегодня получила из Кисловодска от К. М. верстку «44-го года» и письмо.

«Все у нас хорошо, погода хорошая, а главное — сплю и гуляю».

Господи, наконец-то спит и гуляет.

Сегодня же звонил С. П. Кошечкин из отдела литературы «Правды», говорит: «Где ваш вождь и учитель?» Отвечаю: «В «Красных камнях». — «Будете говорить с ним по телефону — поздравьте заранее от меня и всего нашего литературного отдела». — «Э, нет, — говорю, — только после вашей газеты. Когда будет в газете?» — «21-го».

Я хоть и суеверная, но потихонечку сегодня поздравила К. М. в письме, все равно раньше 21-го оно в Кисловодск не дойдет.

22 апреля 1974

Сегодня в «Правде» постановление о Ленинских премиях. Я счастлива, что К. М. ее получил. Это по-настоящему, по совести справедливо.

...Мне оборвали все телефоны и на работе, и дома. Сколько радующихся, сколько счастливых за К. М. людей. Врагов у него хватает, но друзей больше, куда больше...

Утром, только отправила К. М. поздравительную телеграмму, а он звонит из Кисловодска.

Голос хороший, настроение тоже.

Говорит: «Получил ваше письмо, спасибо за поздравление... Позвоните мне вечером по всяким делам».

Я успела крикнуть, что поздравляю и обнимаю, — и телефон разъединился.

Пришла на работу — туча телеграмм и писем. Пришлось сесть за разборку. И кто только не поздравляет. И сколько по-настоящему хороших, даже замечательных писем и телеграмм. От некоторых — особенно инвалидов войны, студентов, офицеров — подписываются целыми семьями. Семья таких-то, семья таких-то — из разных городов. Его любит народ — и это не громкие слова.

Много поздравлений из Франции и других стран.

22 мая 1974

...Сегодня было три телевидения сразу. Можно от этого телевидения сойти с ума!

К счастью, сегодня были все очень симпатичные, куда более организованные, и не устроили мне, как обычно, «мамаева побоища».

Первая запись К. М. была о Пабло Неруде.

Вторая — к Пушкинскому юбилею, и он, как всегда, очень просто и умно сказал несколько слов — что́ для него Пушкин — и прочитал небольшой отрывок из «Онегина». Прочитал хорошо.

Вообще у него стала совсем другая манера чтения. Когда был молодой, читал как-то голосом, а сейчас — душой.

Третья запись — о Николае Тихонове. Самая интересная; но мне не повезло — пошла встречать зам.директора ЦДЛ М. М. Шапиро в коридор и там его занимала до конца записи.

25-го К. М. улетает в Париж, на Всемирный конгресс мира. Вернется 1 июня. Может, хоть чуть передохну.

27 октября 1974

...В четверг попросил зайти вниз, забрать все и к 11 часам быть у него наверху. Прихожу — там Алик[1] и новый полукруглый письменный стол. К. М., утирая нос (простужен!), двигал стол туда и сюда, и так, и эдак. Алик ему помогал. К. М. выдвигал разные полки, ящики, садился за новый стол в вертящееся кресло, задвигал себя ящиками, оставив узкий проход.

— Вы себя как в бублик посадили, — не выдержала я.

Замечание успеха не имело — слишком серьезен был вопрос стола.

---

[1] Алик — Альберт Петрович Кузнецов, инженер, мастер по дизайну.

А я сидела на его тахте, глядела и думала, что ведь правильно — все, даже взрослые, даже седые мужчины, остаются мальчишками до конца жизни.

Наконец в час дня он сказал мне, что извиняется, что просит меня идти вниз работать. Я обрадовалась — стенограмма огромная, работы завал, а я два часа гляжу, как они стол двигают.

Спустилась на лифте, а Маруся[1] говорит, что Алик пришел в 9 утра, значит, 4 часа столом занимался, ну разве не мальчишка!

Вечером поднялась с письмами — на подпись. Смотрю, а там уже Броня (который стол делал) и вскоре пришел опять Алик. Ну, значит, опять будут столом заниматься. Но К. М. сказал:

— Сейчас я Нине Павловне подпишу письма, отпущу ее, а потом уж мы займемся.

А он любит устраивать, перестраивать, перестанавливать, и слава богу, что это ему доставляет удовольствие. Это тоже отдушина.

28 октября 1974, понедельник

Сегодня к 9-ти утра пришла вниз. Съемка у него в нижнем кабинете. Привезли аппаратуру еще в пятницу. Приехала вся группа «Шел солдат», снимали очередного кавалера орденов Славы.

Мне интересно было посмотреть, как это происходит. Группа вся очень симпатичная, дружная, молодая. По-моему, все обожают К. М.

Володя Альтшулер, оператор, уселся на гору подушек на тахте за аппарат, а К. М. с кавалером сидели за маленьким столиком и беседовали. К. М. задавал вопросы, а тот рассказывал, как он воевал. В этот раз, если не ошибаюсь, был, кажется, солдат из Молдавии. Да, точно, русский, но жил в Молдавии, оттуда ушел на войну и туда же вернулся с войны. Кавалер всех трех орденов Славы.

Казалось бы, сидит К. М. на стуле, напротив кавалера, покуривает свою трубочку и ведет неторопливый разговор. Марина шлепнет стукалкой, скажет: «Внимание, мотор, три» — и сядет! Звукооператор все время в наушниках — там работка без дураков. По себе знаю, как целый день работать с диктофоном в наушниках, очуметь можно.

Остальные стоят и смотрят. А к вечеру все ужасно усталые...

---

[1] Мария Георгиевна Жигунова — многолетняя помощница семьи Симоновых.

17 декабря 1974, Москва

Совсем был сумасшедший день — с 9 утра съемки по фильму «Шел солдат» в кабинете у К. М. Снимали трех кавалеров, да еще трех женщин-доноров. Закончили в семь часов вечера.

А днем К. М. еще часа на полтора уезжал в польское посольство — награждали его орденом.

К вечеру все уже ошалели от работы, по-моему. Группа и дружная и хорошая, но уж очень много времени берет у К. М. эта работа. Он ведь все-таки писатель, а не режиссер, и как-то мне горько, что не на то он тратит силы.

Прощаясь, он был такой усталый, почерневший, даже большие блестящие его глаза потускнели и веки еле поднимались, — хотелось, наверное, тут же закрыть глаза и уснуть.

15 декабря 1975, Дубулты

Вот и прошло 60-летие К. М. Устали мы все изрядно.

К. М. не хотел нигде его проводить, кроме как в ЦДЛ. Когда мы с Марком Александровичем еще осенью заикнулись о Колонном зале, он категорически это отверг.

— Я какой был десять лет назад, такой и остался. Я люблю наш Дом, мне там уютно и хорошо.

И он, конечно, был прав. И его там любят и все сделали для того, чтобы было хорошо.

21 февраля 1976

...Сейчас работает над японскими дневниками 46 года. Нигде их не публиковал, малая часть вошла в небольшую книжку о японском искусстве. А они интересные, «Новый мир» взялся печатать.

Ну и опять съемки «Солдатских мемуаров»; я еще их не видела, но веры в них у меня нет. Для историков войны они будут безусловно нужны и интересны, а для телезрителей — не знаю. Конечно, все может быть, — надо посмотреть.

А повесть новую пока совсем отложил — некогда. Написал лист и на этом застрял.

И сам мне сказал: «Я еще хочу добраться до литературного архива, написать воспоминания!»

Какое это нужное дело! То, что может написать и сказать он, — никто другой не может. А когда?

18 марта 1976

Сегодня К. М. взял меня с собой на телевидение, посмотреть телепередачу о Твардовском. Он и Михаил Ульянов — К. М. рассказывает, а Ульянов читает стихи.

Ехала немножко с опаской — не «забил» бы Ульянов К. М.

Да и сам шеф мне как-то сказал (все это тянулось долго, он был очень занят): мне не так-то просто говорить рядом с Ульяновым.

Передача, по-моему, получилась замечательной. Никто никого не «забил». Не чувствуется, что большой писатель и большой актер «выступают» по телевидению. А просто два человека, любящие Твардовского и его поэзию, рассказывают с экрана о нем с глубокой любовью и затаенной скорбью — что его уже нет.

К. М., как всегда, говорит умно, внешне спокойно и в то же время с огромной эмоциональной внутренней силой. Особенно это чувствуется, когда читает стихи Ульянов, он читает, а К. М. сопереживает. И когда камера с Ульянова переходит на него, вы видите такую эмоциональную силу в глазах, в крепко сжатых губах, в напрягшейся шее, что у самой перехватывает горло и от прекрасного — особенно прекрасного в своей простоте — чтения Михаила Александровича, и от симоновского лица. К. М. очень ярок в этой передаче.

А главное, глубоко копнули, не по поверхности фильм, а в глубину.

Кадры, когда сам Твардовский — такой живой, ну, вот прямо рукой бы дотянуться — читает главу из поэмы, невыносимо от боли смотреть, и в то же время огромное счастье, что видишь и слышишь его, живого.

К. М. остался доволен передачей. Сказал Диме Чуковскому[1], что резать ничего не даст и если что — чтоб звонили.

По дороге, в машине, заметил:

— Я сказал все, что я хотел сказать, и назвал все своими именами.

Я поняла, что это относилось, в частности, к словам «великий поэт».

12 апреля 1976, понедельник

Ну и денек! Даже на моей памяти таких не много было.

К. М. сегодня укладывают в больницу — на обследование, к часу должен быть в больнице. В 9.30 утра приехала вся съемочная группа «Солдатских мемуаров»; все, что сняли за последнее время, — брак, то ли пленки, то ли еще что, но все надо переснимать. Вызвали всех московских кавалеров ордена Славы, которые уже снимались в фильме «Шел солдат», а потом в «Мемуарах», — на пересъемку. Они пришли к 9-ти, и тут же пришел К. М.

Кавалеров начали снимать по очереди; первые полчаса все шло как будто гладко, а потом вышла из строя камера, поехали на киностудию хроники за новой.

---

[1] Дима — Дмитрий Николаевич Чуковский, режиссер фильма.

К. М. пришел ко мне в комнату, где сидели кавалеры (съемки в кабинете К. М.), и начал с ними разговаривать, что-то показывать, занимать их — неудобно, людей от работы оторвали. А сам, чувствую, нервничает, хотя внешне как всегда спокоен.

Привезли новую камеру — начали снимать. Немного поснимали — сел аккумулятор. Поехали на студию за другим. К. М. побежал домой собрать чемодан. Врач из б-цы звонит, Лариса нервничает. Вся группа нервничает. Хотели с 9 до 11 все отснять — куда там, уже 12.30, а ничего не сняли.

Короче, кончили снимать без пяти минут 3 часа, а К. М. к 3-м, как крайний срок, должен был быть в б-це. Наскоро попрощался со всеми, сказал мне, что будет звонить, — и помчался к машине, совсем усталый и задерганный.

Посмотрела на всю группу — у всех лица осунулись. Все изнервничались, издергались. Но это пройдет. А вот время, которое убивает К. М., — его не вернешь. О господи, хоть бы не было больше брака!

Я сама еле доплелась до дому.

А все кавалеры смотрят на него с любовью. Подарил каждому по книге «Разные дни войны». Очень были рады.

В больницу набрал чемодан пленок, рукописей, диктофон — будет работать...

4 ноября 1976

...Вчера, кажется, была последняя съемка последнего фильма «Солдатские мемуары». «Кажется» — если не брак. Но все равно виден конец этой адовой работе.

Практически сделал за полтора года 6 полнометражных фильмов. Очень устал. Ведь это — плюс ко всему остальному.

Остальному — разному, а писать сейчас совсем не пишет. Повесть начал — и так и лежит. Кино — очень трудоемкое дело, отбирает все время и все силы.

Вот поедет в Кисловодск, лечиться на полтора срока, и там уже займется «Восьмой неделей»[1] — продолжение повести «Двадцать дней без войны».

А сегодня все время народ, как на приеме у врача, один не ушел, а другой уже пришел. И, конечно, все с просьбами.

Не устаю поражаться его доброте.

Вчера вечером в ЦДЛ была премьера «Двадцати дней». К. М. взял меня с собой. Он выступил и тут же уехал опять в свой рабочий кабинет — съемки продолжались до 11-ти...

---

[1] «Восьмая неделя» — первоначальное название повести К. М. Симонова «Мы не увидимся с тобой...»

11 ноября 1976

...Сегодня на хронике смотрели черновой вариант последнего фильма «Солдатских мемуаров» — танкисты. Материал интересный, и фильм, конечно, будет, но над ним еще надо работать. А когда? К. М. уже на пределе усталости, а ему 22 ноября надо ехать в Грузию, а потом в Баку. Когда он все это успеет!

Сейчас по его указанию просматриваю архив его для будущей работы. Сколько же он сделал всего за все эти 35 лет! И хоть сама все эти годы рядом с ним, и, кажется, знаю архив вдоль и поперек, а когда вот так просмотрела подряд все — была потрясена. Какие письма, какие материалы и какая борьба; всю жизнь борьба — за правду, за отдельных людей, за книги разных писателей, за все хорошее. Литературный архив его — письма писателей — уникален.

Тома и тома переписки. Даже непонятно — как мог столько сделать один человек. А вот — сделал.

13 ноября 1976

Только что мне позвонил Виталий Яковлевич Виленкин, совершенно потрясенный письмом моего шефа к нему. Потрясен и самим фактом его написания, и прямотой и честностью написанного, и самой темой.

— Только что получил его. Два раза перечитал и сейчас буду читать в третий раз. Знаете, я весь красный, взволнованный... — говорил он. — Удивительное письмо.

Письмо я это читала, и тоже дважды, прежде чем отправила его. Виленкин попросил К. М. прочитать его рукопись об Анне Ахматовой. Я ее читала в Малеевке, где был и В. Я., — и он тоже дал мне почитать.

К. М. написал ему 13 страниц через один интервал. Очень интересно и об Ахматовой, и о Зощенко, о стихах Ахматовой и о ней самой. Это одно из тех редких человеческих писем, писем-документов эпохи, написанных сильно, а главное — правдиво и честно.

Это из тех случаев, когда я бываю особенно горда за своего шефа.

30 ноября 1976

— Я находчивый, — сказал мне улыбаясь К. М., когда я была обрадована, как быстро он сорганизовал свою запись на ТВ к фильму «Шел солдат», с записью его еще к одному фильму для студии Министерства обороны. — Наверное, я потому и в войну уцелел, что находчивый был...

И я подумала, какое это точное определение. Молниеносно ориентируется, молниеносно соображает, быстрота решений в работе всю жизнь. Находчивый...

15 января 1977

К. М. с Ларисой приехали из Кисловодска загорелые, веселые, но К. М., по-моему, усталый и не так уж блестяще выглядит.

Потом он мне сказал, что там у него был и приступ печени, и бессонница...

Вовсю включился в повесть «Восьмая неделя», надиктовал несколько пленок и сильно исправил первую главу. Собирается, не отрываясь, за январь — февраль дописать первую часть повести.

А тут выставка Татлина; а тут сотни и сотни писем по «Солдатским мемуарам» и «Шел солдат»; от этих писем одурели все — перепечатываем, раскладываем, нумеруем и т. д. и т. п. Шеф собирается сделать телепередачу по письмам — закончить ею серию мемуаров. Конечно, он сумеет это сделать, но это нелегкий труд — письма в основном от военных, от инвалидов Отечественной войны, — несколько строк о передачах, а там его собственная судьба, собственная военная биография; много просьб о розыске, много жалоб на тяготы жизни, просьбы о жилье, о пенсии. Рвущие душу письма матерей, которые пишут о своих сыновьях, погибших как герои, но не успевших получить никаких наград...

Что К. М. со всем этим будет делать — пока не знаю!

2 февраля 1977

В пятницу вечером (28.I) уехала с К. М. на дачу и вернулась в понедельник вечером. Он диктовал на пленки повесть, а я эти пленки расшифровывала. К. М. отбросил все дела, влез в повесть с головой и решил, пока не кончит первую часть, ни на что не отрываться. А времени нет — скоро открытие выставки Татлина.

Повесть решил назвать «Мы не увидимся с тобой...» (строка из его стихотворения).

Еще до отъезда позвонил мне и сказал:

— Все! Повесть решил назвать «Мы не увидимся с тобой» — вместо «Восьмой недели».

— «Восьмая неделя» — непонятное название, — сказала я.

— Да, непонятное, и я уже давно думал над этим.

Сколько ни работаю с ним, никогда не привыкну к его бешеной работоспособности — с утра до вечера, почти не отрываясь. Наскоро обедает, почти молча, и опять в кабинет. Повесть, по-моему, будет хорошая, есть куски замечательные, и диктует так эмоционально, с такой страстью. Переписать бы эти пленки...



К. Симонов с дочерью Машей. 1978 год.

В машине — туда и обратно — «пускал музыку», записанную на пленку песню Окуджавы «Бери шинель, пошли домой...». Очень ему нравится эта песня — и слова, и музыка. Мне тоже.

3 апреля 1977

...К. М. с Ларисой в Ленинграде, он завтра вернется, она еще задержится.

Он председатель комиссии по Блоку — поехал посмотреть квартиру, где жил А. А. Блок, чтобы добиться и сделать эту квартиру Музеем Блока. К 100-летию со дня рождения все должно быть закончено.

28 сентября 1978

Вчера в Военной академии имени Фрунзе была конференция по «Разным дням войны».

В 3.15 из академии приехали за К. М., и мы поехали вместе с подполковником и девушкой из библиотеки академии.

Поднялись по лестнице к входу академии, двое часовых преградили нам дорогу — совсем молодые ребята. К. М. спросил:

— Документы? — И полез в боковой карман куртки.

И тут я увидела, что они протягивают какие-то открытки, и сказала К. М.:

— Они хотят от вас автографы, а не документы.

Все засмеялись. Очень трогательно это было!

Конференция прошла интересно. Возглавлял ее генерал из политотдела академии. Я впервые слушала военных, говорили о многом. Один сказал о Г. К. Жукове, что, вот, видел кусок какого-то фильма с Жуковым. Будет ли фильм о нем?

К. М. разъяснил, что кусок этот — оставшийся материал от фильма «Если дорог тебе твой дом...», называется «Маршал Жуков рассказывает о битве под Москвой», что в пятом номере «Дружбы народов» напечатана «История одного интервью», и добавил:

— Думаю о создании фильма о Жукове. Материал есть — и если позволят здоровье и силы... Но не знаю, сколько потребуется времени на такой огромный материал — год или больше...

...В военных архивах отчаянно много интересных материалов... Интересных очень много... — повторил он. — Может быть, в собрании сочинений я сделаю дополнения к комментариям по «Разным дням войны». Приходит много новых писем, новых документов...

...В послевоенные годы, работая над романами и дневниками, я много встречался с военными людьми. Я лучше войну знаю сейчас, чем 9 мая 1945 года. Моего личного

опыта военного корреспондента никак бы не хватило на роман.

Вопрос из зала: как он относится к фильму «Двадцать дней без войны»?

— Я хорошо отношусь к этому фильму. Мне очень дорого, что режиссер, которому во время войны было лет пять, — наверное, так, — почувствовал войну так правдиво, так точно рассказал о ней в фильме. Сейчас мы хотим с ним сделать фильм о танкистах — «Экипаж» — так мы его назвали...

24 ноября 1978

...20 ноября в Подольске в Военном архиве была конференция по «Разным дням войны», а 21 ноября в Доме дружбы было открытие фотовыставки Я. Н. Халипа, которую открывал К. М.

Он пригласил меня и в Подольск, и «на Халипа».

В Подольск из Москвы мы поехали вчетвером — Д. Ортенберг, Л. Лазарев, Марина Бабак и я. А К. М. приехал туда прямо с дачи.

Когда мы въехали во двор подольского архива, К. М. с архивным начальством уже ждали нас во дворе.

Конференция прошла довольно интересно; были отдельные конкретные замечания по книгам — правильные и неправильные, все выступающие говорили о большой правде этих книг; о тщательной проверке военных документов (не случайно К. М. просидел три года в этом архиве!), сетовали на малый тираж книги. Говорили об ее переиздании.

К. М. выступил в конце; как всегда, говорил спокойно и просто. Кое-что я застенографировала.

— Со многими из вас я встречался пять — десять и, даже страшно сказать, пятнадцать лет назад. И если бы не та помощь, которую мне оказали здесь, в архиве, — такие книги невозможно было бы сделать. Помощь оказали очень большую — и я приношу товарищам свою благодарность.

...Мне поверили здесь, что я ищу правду, правду хочу рассказать, горячо поддержали меня и помогли найти эту правду — правду о событиях, правду об обстоятельствах, правду о людях. Иногда правду тяжелую, иногда героическую, иногда радостную — некоторые товарищи оказались живы.

...После публикации «Разных дней войны» в журнале «Дружба народов» я получил целый ряд писем, и когда вышла книга, в нее уже вошли дополнительные материалы по этим письмам.

Сейчас собираюсь выпускать собрание сочинений в 10-ти томах в Гослитиздате. Года через три дело дойдет до 8-го или 9-го тома, в котором будут дневники. У меня есть запас времени внести поправки в комментарии. В дневниках поправлять нечего — дневник есть дневник. А в комментариях возможны уточнения, и если бы кто-то из товарищей, работников архива, захотел этим заняться — разыскать людей, уточнить некоторые обстоятельства, — был бы за это крайне благодарен.

...Тираж книги большой, и жаловаться не приходится. Но если военные хотят — есть Военгиз — Военное издательство, — пусть они туда и обращаются. Если Воениздат согласится издать эту книгу — весь гонорар обещаю внести полностью в фонд мира. Буду рад, если Военгиз издаст «Разные дни войны». Сейчас это издательство выпускает мою книгу военной лирики...

25 ноября 1978

23 ноября по первой программе ТВ показали фильм «Михаил Булгаков». Я не первый раз его вижу, но смотрела без отрыва, с волнением.

К. М. прекрасно говорит — просто, спокойно, даже строго, но иногда с горечью.

Не успел кончиться фильм, я бросилась поздравлять Диму Чуковского с прекрасной работой. Только положила трубку, раздался звонок из Ленинграда — звонил мой большой друг В. Д. Днепров. Я услышала его взволнованный голос:

— Нина Павловна, это событие! Булгакова включили открыто в число классиков нашей литературы. Проходит такой человечный рассказ Константина Михайловича о его муках... Большой писатель говорит целый вечер о другом большом писателе; говорит много, и вы чувствуете, как все, абсолютно все, самые маленькие факты важны, все важно. Константин Михайлович говорит скромно, строго, просто, с одному ему присущей формой разговора, с одному ему присущей интонацией...

Как же я обрадовалась — это был первый отклик на Булгакова, и отклик человека серьезного, умного, критика строгого.

На следующий день, придя к К. М. наверх, я сказала ему, что звонил Днепров.

— Я знаю, Нина Павловна, это ваш большой друг...

— Да, но звонил он по Булгакову... — И выпалила ему все, что говорил Днепров.

По-моему, он был очень доволен, ему было это приятно, во всяком случае в разговоре с Димой Чуковским, которому я по

телефону рассказала о мнении Днепрова, Константин Михайлович, взяв трубку, добавил:

— Я этого человека очень уважаю, это серьезный человек...

А потом без конца были звонки, телеграммы, письма — все о Булгакове, об этой еще одной, великолепной, такой нужной, такой огромной по значению работе Константина Михайловича. Мне он только сказал:

— Еще одно дело сделано...

Да, сделано, и прекрасно сделано, настолько хорошо, что это действительно стало событием!

16 июня 1979

Вчера звонил К. М. из Гурзуфа, и впервые я услышала почти прежний голос, и не кашлял.

Я возликовала.

Давал разные поручения, а потом говорит:

— Вот, дочитываю письма, что вы мне прислали по трилогии. Много интересных... А работать еще и не начинал...

— Когда отдохнете — начнете.

— Думаете, начну? — с какой-то безнадежностью спросил он. А потом добавил: — Ну, а если не начну — будем с вами все доделывать. Нам с вами многое еще надо доделать... ох как много.



Якутия. 1957 г. Справа налево: В. Ажаев, А. Симонов (сын К. Симонова), К. Симонов и сотрудники института мерзлотоведения

А. СИМОНОВ

ТРИ ДНЯ В ИЮНЕ

Мне очень трудно писать об отце. И дело не в том, что не притупилась боль, — ей еще долго не дано стихнуть, и надо учиться с ней жить. И не в том, что смерть отца образовала пустоту в жизни его близких, — реальную величину этой пустоты не только нам предстоит еще ощутить. Дело в том, что самое главное, самое существенное для меня в отце связано с нашей, его и моей, личной жизнью, говоря о которой страх быть нескромным соседствует с желанием — непроизвольным, но сильным, — смягчить острые углы; опасение писать не о нем, а о себе — стесняет, заставляет оговариваться на каждом шагу, и самое непреодолимое — ему написанного не покажешь, не сверишься памятью, как было, и пишешь так, как казалось или кажется тебе одному.

Я беру из всей нашей с ним сорокалетней жизни малый эпизод, для меня — один из самых важных в ней, для него — думаю, что нет. Но рассказать о нем я должен подробно, с длинной преамбулой, без которой, как мне кажется, смысл этого эпизода не будет ясен читателю.

Сейчас, когда я пишу эти строки, мне почти столько же лет, сколько было тогда отцу, и оттого мне представляется, что я лучше понимаю его тогдашнего. Скорее всего это неверно. Но для того чтобы писать, мне легче думать, что так оно и есть.

Отец не раз говорил, что понятие «кровных» связей для него лично — пустой звук. К родственникам, в том числе и к детям, он признавал отношение — долг и отношение уважения. Подозреваю, что эта идея, как и некоторые другие его основополагающие идеи такого рода, носила несколько абстрактный характер, не всегда подтверждаясь практикой, и возникла из желания уравнять в праве на себя свою родную мать и неродного отца. Всем не очень многочисленным родственникам это не мешало, ибо они, не подозревая о существовании этой идеи, смело обращались к нему прямо или через мою бабушку, и уж из долга или из уважения, но, как правило, отец делал все, что мог, раздражаясь иногда необходимостью заниматься нашими просьбами не в очередь с остальными своими делами.

Более всего от этой идеи досталось детям, мне в частности. Человек по-настоящему, непоказно демократический, изначально принимавший другого человека как равного, он на детей этот демократизм не распространял; именно детям право на равенство надо было доказывать. Пожалуй, только в отношении к младшей моей сестре Саше, которая моложе меня на семнадцать лет, он этим поступился в какой-то степени, — наверное, просто помягчел с возрастом.

Но в то время, о котором я пишу, Саше было несколько месяцев, а я за прошедшие 17 лет знакомства с ним и нашего, так сказать, приобщения друг к другу не раз больно набивал себе шишки об эти совершенно непонятные мне тогда категории, и, не очень сознавая, над чем бьюсь, я бился за то, чтобы из разряда отношений по долгу перевести его отношение ко мне в разряд отношений уважения.

Поскольку отец всегда старался быть чрезвычайно последовательным, а жизнь, которой он жил, не давала ему такой льготы, то там, где это, наконец, зависело только от него, он становился не только последовательным, а железно несгибаемым. Мне, например, не приходилось сталкиваться с курильщиком, который в момент наивысшего творческого напряжения вдруг запрещал бы себе курить вплоть до окончания работы — на месяц, а то и больше, — отец же с собой поступал так неоднократно. Последовательности он требовал и от окружающих, в том числе от детей. Мне кажется, что эта любовь к последовательности и вера, что она-то и есть основа хорошего в человеке, иногда играла с ним шутку. Скажем, в его устах понятие «хорошая женщина» означало «последователь-

ная», т. е. делающая верные выводы из правильно понятых предпосылок. Не потому ли все положительные «нехарактерные» героини его драматургии и прозы так похожи друг на друга...

Вот с этой последовательностью он и осуществлял свою идею в отношении меня первые шестнадцать лет.

Разумеется, тогда я не только не мог этого сформулировать, но вряд ли бы и понял, расскажи мне кто об этом. Но то, что в моих ощущениях, перемалываемых внутри себя в долгие паузы между нашими нечастыми встречами, присутствовал некий не преодоленный мною рубеж, — несомненно. И бывало очень больно. Знал ли он об этом? Думаю, что нет. Больше того, подозреваю, что он об этом даже не думал. Он любил меня, то есть выполнял свой долг по отношению к сыну, связанный с определенными затратами времени и сил. Я тоже любил его, воспитанный матерью в уважении к нему. Она ухитрялась гасить во мне вспышки понятного, вероятно, ей, но совершенно непонятного мне отчаяния, которое возникало иногда, когда я наталкивался на внутреннюю преграду неустановившегося душевного контакта.

Попробую рассказать об одном особенно хорошо запомнившемся случае.

Летом сорок шестого года отец ездил в Америку, в результате чего я стал обладателем коричневого костюмчика с короткими штанами и кепочки из того же материала, — а-ля хороший американский мальчик. Короткие эти штаны вызывали «классовую» ненависть мальчишек дома № 14 по Сивцеву Вражку, где я жил тогда у бабушки. Эпоха джинсов была далеко впереди, а эстетика шорт и сегодня еще вызывает нездоровый смех в наших краях. Так что, невольно эстетически опередив свое время, стал я мишенью для насмешек своих сверстников. Эстетические разногласия выражались в том, что меня периодически поколачивали во дворе, и хотя я быстро усвоил, что штаны должны быть как у всех, штаны эти ненавидел и не носил, однако поколачивали меня по-прежнему, в память о штанах и, вероятно, других американских штучках типа ковбойского костюма, о которых я уже помню не сам, а из писем и из устных семейных преданий.

Скорее всего, это весна сорок седьмого. У ажурного забора нашего дома останавливается черная машина («эмка»? «БМВ»? — не помню), и знакомый отцовский шофер объясняет, что приехал взять меня повидаться с отцом. Отмытый бабкой, с залитой йодом свежеразодранной в очередной драке коленкой, я вдет в ненавистный костюмчик («Папа должен видеть, как ты ценишь его подарок!» — увещевает меня бабушка), посажен в машину на глазах всего двора (завтра

придется драться еще и из-за этого) и привезен в «Гранд-отель», помещавшийся позади гостиницы «Москва» и ныне снесенный.

Меня вводят в ресторанный кабинет, где отец демонстрирует меня каким-то своим друзьям. Хорошо помню, что кабинет большой, а друзей двое или трое. Я докладываю, что попрежнему в школе у меня одни пятерки и получаю наставление, что именно этим я и завоевал право на сюрприз. Гасят свет, и появляется повар в белом колпаке, который несет на серебряной продолговатой тарелке невиданное блюдо с коричневой запекшейся корочкой, над которой играют синие языки спиртового пламени. Это омлет-сюрприз. Там под взбитыми белками оказывается мороженое. Насладившись моим остолбенением и разъяснив мне, что и откуда надо извлекать для еды, отец снова зажигает свет. Он беседует с друзьями, я доедаю мороженое. Отец кажется мне далеким и всемогущим, немножко волшебником. Всемогущим и волшебником он в этот момент кажется и себе, очень веселится, глядя на меня, а в заключение спрашивает, доволен ли я своим костюмчиком. Я выражаю приличествующую случаю благодарность и на той же машине отбываю домой. До следующей встречи, может быть, месяц, а может, и полгода — в зависимости от того, как сложатся руководящие отцом государственные дела. Это я знаю от мамы и бабушки.

Апофеозом этой любви по долгу кажется мне письмо, написанное отцом по случаю тринадцатилетия сына. Одно из редких в эти годы писем-записок. Год пятьдесят второй. Август. Привожу здесь два отрывка.

«Дорогой Алеша!

Я немножко прихворнул, не был в Москве и только сегодня узнал, что тебе не отправили, по недоразумению, телеграмму, которую я написал тебе ко дню рождения.

Я верю в твое будущее и надеюсь, что с годами в твоем лице у меня вырастет младший друг. Еще год теперь прошел по пути к этому, а год — большой срок. Проезжая дважды в неделю мимо нового здания университета, я всегда думаю о том, что придет время, и ты будешь учиться в нем, с тем чтобы потом начать трудовую жизнь — поехать туда, куда тебя пошлет государство.

Радостно думать об этом, дорогой, и радостно работать для этого — для того, чтобы такая судьба ждала и тебя, и миллионы таких ребят, как ты...»

Это сейчас я понимаю, каким трудным было для отца то время, но ведь и душевную скудость этого письма я ощутил, только перечитывая его, когда сел писать эти воспоминания.

А тогда оно было, что называется, «в ряду» и никакой отдельной обиды мне не нанесло, скорее даже наоборот, — я очень ценил эти редкие и тем более памятные знаки его внимания. В его присутствии я, правда, испытывал некую напряженность, потребность соответствовать неведомому мне идеалу и несвободу быть самим собой. Теперь я знаю, что и он не всегда был свободен в моем присутствии. Необходимость обязательно направлять меня в короткие наши встречи, по врожденной совестливости, сковывала его, потому-то мы оба плохо знали друг друга. Как самое легкое и светлое вспоминаются случаи, когда на даче в Переделкине мне доводилось стать соучастником его зарядки, купанья или других физических упражнений, — тут все условности отступали, и, отчаянно радуясь и визжа, я прыгал на большого и сильного мужчину, отца, а он, для которого такой отдых был редким подарком, забывал об обязанностях, в том числе воспитательских, и просто возился с мальчишкой, получая удовольствие от того, что он сам большой и сильный.

В шестнадцать лет я окончил школу и через месяц, довольно неожиданно для своих учителей и соучеников, поступил на работу, а в первых числах августа 1956 года уже был в Якутске — лаборантом экспедиции по III международному геофизическому году.

Затрудняюсь сказать, кто из нас двоих придумал, чтоб, кончив школу с медалью, я поехал в экспедицию. Когда позднее мы вспоминали об этом с отцом, честь первым сказать «а» он отдавал мне. Но у меня были сомнения. Не прошли они и поныне. Последние месяцы школы мы виделись чаще, разговоры наши стали более емкими, что ли. В одном из таких разговоров я и ляпнул, что не обязательно сразу идти учиться дальше. Он подхватил эту тему, а человек он был, как уже говорилось, железно последовательный, и как-то вырулить из логики моей собственной, но так горячо поддержанной отцом, идеи мне просто было неловко. Тем более что и тогда, и много еще лет потом спорить с отцом я не умел. Основной принцип его в спорах со мной заключался в том, что он ставил себя на мое место и говорил: «Я бы поступил так». И тут он бывал так логичен и так смело пренебрегал нюансами, в которых, на мой взгляд, таилось то, что и составляло существо спора, что, хотя в большинстве случаев он бывал прав, спор для меня не кончался с окончанием разговора, а итог его не приносил душевного облегчения.

Раньше, по малолетству, я лишен был возможности поступать, как он на моем месте, а вот, отправившись в экспедицию, я впервые сделал это и тем, как оказалось, заставил его впервые за себя волноваться по-настоящему. Потому что я все-таки был не он и возникли те самые

нюансы, касающиеся уже лично меня, от которых было не уйти.

В Якутск он написал мне письмо, которое я очень люблю и которое привожу здесь целиком. Если сравнить его с тем, написанным ровно за четыре года до этого, разница особенно заметна.

«Дорогой сын, а также внук, племянник, двоюродный брат и т. д.

Письмо твое порадовало меня здравым суждением о будущей жизни, деловым тоном и требованием обоюдной правды в разлуке насчет хорошего и плохого, радостей и трудностей.

Разговор твой порадовал меня заботой о матери. Еще раз хочу сказать тебе — чтоб ты был спокоен, — я понимаю, как ей важно иметь сейчас интересную работу, и нужную ей, и ту, на которой она будет нужна, будет чувствовать себя такой же необходимой многим людям, какой необходимой была тебе все эти годы. Понимаю и то, насколько ей нужно все это именно сейчас, когда ты уехал. Все это будет сделано, и пусть у тебя на душе не будет никакой тревоги.

Теперь о себе: 4-го лечу в Бельгию на межд. встречу поэтов, по дороге день проживу в Праге. Это все интересно, и я в общем даже доволен, что лечу, хотя и жаль отрываться от правки романа, которую я уже начал. А вот дальше будет и поинтересней, и потяжелее — из Бельгии надо будет ехать в Гамбург на конференцию драматургов. Кажется, я говорил тебе об этом, но сейчас обстановка в З. Германии мало веселая — и поездка, очевидно, будет соответственная. Вернусь в Москву к 20-му и засяду за роман в часы, свободные от Союза.

Вчера прислали наконец верстку «Дыма отечества». Наверное, через месяца два выйдет книга — тогда пошлю ее тебе вместе с книгой статей, и ты отпишешь мне — что там к чему — по твоему мнению.

Погода более или менее ладная, дача достраивается, тут неплохо, но больно много времени уходит на езду — два часа в день.

Дед отъехал в санаторий. Теперь задача отправить лечиться Алиньку[1], но это, сам знаешь, не так-то просто. Однако надо — выглядит она плохо.

Меня тут в Союзе замучили сезонной болезнью — все кому не лень таскаются со своими чадами, коих конечно же или несправедливо, или случайно туда-сюда не приняли, и мир рухнет, если они не поддержат его стропила своим высшим образованием. Я всех заворачиваю назад оглоблями, а Ажаев

[1] Так в семье звали бабушку — мать отца.

смеется, что я тебя специально отправил в Сибирь, чтобы мне легче было всех их выпроваживать восвояси без душевных неловкостей.

Если же серьезно — то приятно чувствовать, что в этом деле мы все правы, и ты, и мать, и я, приятно гордиться, что это так, а не иначе, и заворачивать разных ходатаев как бы от нашего общего лица.

Положено в письмах подавать отцовские советы. Вообще воздержусь — но один, перед твоим отъездом на зимовку, дам. Ты, наверно, и слышал, и мог составить себе представление по тому, что я писал, что во время войны я в общем вел себя не трусливо. Но тебе и именно сейчас я хочу сказать вот что: я делал то, что нужно, и то, что согласовалось с моим понятием о человеческой чести и мужском достоинстве, но помни, что если ты имеешь ныне удовольствие иметь живого и здорового отца, а не могилку и воспоминания, то — помимо воли случая — это потому, что я никогда не рисковал сдуру, был очень аккуратен, выдержан и осторожен во всех случаях, когда была реальная опасность, хотя и не бегал от нее. К чему я это пишу тебе сейчас — тебе ясно. То, что мы все под богом ходим, я знаю лучше многих других, но в то же время многое в нашей власти, если не идти никогда ни на чьи, в том числе и на собственные, подначки, и во всех рискованных случаях держать свои чувства в *собственном* кулаке и помнить, что необходимо так или иначе сделать дело, а попутная, лезущая в глаза смелость — дело привходящее, дерзость — тоже дело привходящее, хотя за них мельком, случается, и пощекочут похвалами. Но дело, сделанное и без особо очевидных проявлений смелости, остается сделанным делом. А смело сломанная голова при недоделанном деле есть предмет минутного восхищения — не более.

Теперь, дорогой мой, я побегу в Союз писателей говорить там, как надо и как не надо писать младшим товарищам — а ты пока расставь тут у меня знаки препинания и исправь грамматические ошибки. Ладно?

Целую тебя, милый, и крепко жму лапу
Отец

19 $\frac{31}{\text{VIII}}$ 56».

Теперь я могу сказать, что если бы отправка в экспедицию была единственным делом, которое для меня сделал отец, то и тогда я был бы ему обязан в себе очень многими главными качествами, которые помогли и помогают мне жить и по сию пору. Но тогда я хлебнул лиха, как может хлебнуть его городской мальчик, выросший у мамы с бабушкой, попавший туда, где умение колоть дрова ценится больше, чем умение не есть рыбу ножом. Отвыкнуть от по-

следнего, кстати, проще, чем научиться первому, но это уж так, кстати.

Мысль приехать ко мне первым высказал отец. Видимо, «отцовские наставления» его удовлетворить не могли уже, он сам хотел убедиться, что «моя» идея не пошла мне во зло. Я в письмах относился к этой мысли со сдержанным энтузиазмом, хотя хотел этого смертельно. Поездка, намеченная на весну 1957 года, несколько раз откладывалась, я ждал все нетерпеливее...

Но к радости моей примешивались и опасения. Первые полгода в экспедиции ушли на то, чтобы всем, в том числе и себе самому, доказать, что ты не маменькин сынок. Доказывать это, не умея ничего из того, что требует от тебя такая жизнь, — дело довольно тяжелое. Но к тому времени, как приехал отец, я уже валил лес, пек хлеб, готовил обед и заработал геморрой, стараясь физически доказать свою пригодность для дела. И тут приедет отец и, как бы поточнее выразиться, может вернуть тебя в систему неравенства и самим фактом приезда папы к сыну, и системой отношений старший — младший, от которой ты всеми силами души и тела отбояривался все проведенное здесь время.

И прилетел отец. Прилетели они на нашу посадочную площадку в 25 километрах ниже, на равнине. Я их не встречал. По расписанию работ мне надлежало быть на леднике. Можно было попросить... но именно этого от меня ждали, а потому о приезде, а точнее, приходе их на главную базу узнал я, как и остальные, из ракеты, досидел свою очередь в качестве груза на вращающейся штанге ручного бурения и наконец, истощив все оттяжки и промедления, каковыми демонстрировал себе и окружающим свою мужскую несентиментальность и сдержанность, я припустил по леднику вниз, через реку и вверх по скалам напрямик и через сорок минут был дома.

И вот с той минуты, как мы встретились, и до того мгновения, как взлетел «Ан-2», увозивший отца и его спутников, почти трое суток я был влюблен в отца так, как никогда в жизни. Каждую минуту он был таким, каким я хотел его видеть, но притом он — и это я тоже успел разглядеть и почувствовать — ни на секунду не переставал быть самим собой. Он открылся мне вдруг, и с той самой поры, какими бы потом сложными и неоднозначными ни были наши отношения, идеалом мужчины, раскованного, сильного, уверенного в себе, безупречно чувствующего ситуацию, обаятельного для всей компании и для каждого человека в комнате, нисколько не берущего внимания на себя и остающегося центром происходящего, умеющего равно говорить и слушать, не давая собеседнику заговориться и стать скучным, одинаково

склонного и к юмору и к самоиронии, был и остается для меня отец.

Сели за стол. Нас, хозяев, набралось к тому времени человек двенадцать, и четверо гостей: директор института, которому подчинялась наша экспедиция, директор якутского филиала, руководившего ею непосредственно, писатель Василий Николаевич Ажаев и отец. Готовясь к ужину, все гости достали привезенные гостинцы, — все-таки девять месяцев мы находились в двухстах с лишним километрах от ближайшего центра цивилизации, письма и те получали в среднем не чаще раза в месяц. Икра, колбаса... Отец отдал повару мешок. Там была молодая картошка. Через час все четыре или пять килограммов этого деликатеса были съедены со шкурой. Не был он никогда ни в каких экспедициях — это я знал. Занят перед отлетом был сверх меры — об этом я еще скажу. Но именно он подумал и угадал, что никакая икра, ничто не сравнится с удовольствием, которое доставит нам эта картошка. Нет, он напривез еще кучу всяких вкусностей и выложил их на стол сразу, так же как сразу, не оставляя на обратную дорогу, выставил весь запас спиртного. Но нам, у кого девять месяцев единственным свежим продуктом бывало мясо, нам эта картошка была как домашнее лакомство. Когда, наевшись, отвалились от стола, то все одновременно почувствовали неловкость: двое наших товарищей оставались дежурить на леднике и не могли принять участие в этом пиршестве, а картошку мы уже...

— Я тут отсыпал немного картошки подхарчиться тем, кто завтра придет, — сказал между прочим отец.

Ужин кончился поздно, и только ночью мы остались одни, да и то в построенном нами доме на одиночество не хватало места. Вышли на улицу. Был июнь месяц, поэтому на седле перевала, где стоял наш дом, снега не было, обнажился крупный слоистый щебень. Но в двадцати — тридцати шагах, там, где рельеф менялся и теплый ветер с Охотского моря не мог лизнуть каждый бугорок, во впадинах еще лежал снег. Было начало сунтар-хаятинской весны. И тишина стояла странная непривычному уху: тишина, лишенная растворенного в ней движения живого, — ближе 20 километров не росла даже трава. Ходили кругами, светили себе под ноги фонариком.

И отец говорил. Я никогда ни после, ни тем более до не слышал, чтобы он столько говорил. Только что закончился Пленум ЦК. Отец буквально кипел радостью этих дней, их надеждами, их борьбой. И то, что довез он все это до меня, не расплескав по дороге в общении со спутниками, то, что говорил с глазу на глаз, доверяя мне первому и единственному, делало меня счастливым. Впрочем, я повторяюсь: эти три дня относятся к самым счастливым дням моей жизни. Позже,

вспоминая эти дни, я удивлялся этой его почти горячечной откровенности. Может быть, дело в том, что никогда больше я не видел отца таким счастливым. Он был полон XX съездом, новой семьей, только что родившейся дочкой, домом в Пахре, который он строил, новым романом — это были «Живые и мертвые»; он, только что обруганный за статью «Литературные заметки» в № 12 «Нового мира», он был остро счастлив: ему было сорок один год, и ему казалось, что он всю жизнь начинает заново, с чистого листа. Все старое полетело в тартарары. Такое вот скопилось стечение обстоятельств.

И еще одно. Рассказывая все это мне, отец искал и формировал во мне соратника, единомышленника. Вообще дело с соратниками в его жизни обстояло достаточно непросто. Положение его в литературе и место, занимаемое в общественной жизни, сочетались так, что ситуация оказалась уникальной, и соратников в полном смысле слова, т. е. людей, сочетающих в себе и единомыслие, и соучастие в каком-то деле, у него практически не было. Да при частой смене и литературных, и общественных положений и ситуаций на это и надеяться было трудно. Трибуна, с которой он выступал, была слишком высокой и громкой, и хотя со временем, особенно с начала его активной работы на телевидении, ему с этой трибуны все чаще удавалось говорить простым человеческим голосом, соратников ему это не могло прибавить. Многие думали так, как он, но не могли быть соучастниками в его деле; другие могли, но думали иначе. Кроме того, трудно представить себе соратников, не разделяющих полностью ответственности за сказанное и сделанное. А у отца получалось, что в каждом задуманном деле главная ответственность вольно или невольно приходилась на его плечи. Поэтому даже люди близкие ему, его домашнему кругу, друзья все-таки волею всех этих обстоятельств могли быть с ним заодно лишь в одной или нескольких сферах его слишком для нас разнообразной, а иногда и противоречивой деятельности.

Чтобы закончить это отступление от своей темы, скажу только, что и я сам, даже в последние годы, когда мы стали особенно близки, не был ему во всем единомышленником; в нашей жизни оставались сферы, которых без особой надобности мы оба старались не касаться, чтобы не разрушать очень дорогого мне и, видимо, небезразличного ему душевного единения. А основы этого душевного единения заложил именно он и именно тогда, в том ночном разговоре. Ходил, пыхал трубкой, хотя обычно не любил курить на воздухе, тяжеловатый, почему-то располневший в те месяцы, в белой штормовке, взятых в Якутске сапогах и кепке козырьком назад.

А утром мы пошли на ледник. Во-первых, это была единственная достопримечательность наших мест, во-вторых, — основной объект работы нашей гляциологической партии, а в-третьих, там оставались, как я уже сказал, двое наших товарищей, которых нужно было вызвать на базу. Пошли наши гости и начальник нашей экспедиции Николай Александрович Граве, а в проводники им определили меня. Товарищи смотрели на меня с надеждой, ибо взаимоотношения наши с руководством требовали, чтобы я здесь и сейчас воочию продемонстрировал им нелегкость наших экспедиционных условий. И я постарался, не подвел товарищей: тот путь, что я накануне в одиночку проделал за сорок минут, мы с трудом одолели за два с половиной часа, — я так хорошо знал каменную лощину между базой и ледником, что нам не попался ни один ровный участок.

Угрызений совести я не чувствовал. Мне почему-то казалось, что, если бы я во всем признался отцу, он бы только засмеялся. А между тем спутники мои выдохлись. Мы стояли на моренных валунах возле ледникового языка. Перед нами на четыре километра вверх поднимался ледяной поток, разбросавший как застывшую пену остатки снежного покрова на склонах горных своих берегов. И почти два километра нужно было еще пройти до нашей палатки — лагеря. Все в один голос решили не идти дальше. Все, кроме отца. Ему, пожалуй, было потяжелее, чем остальным, более привычным к маршрутной жизни. Он был красный, потный и какой-то тяжелый. Но, постояв минут пять и отдышавшись, он как-то очень необидно для остальных, но бесповоротно сказал: «Мы, помнится, решили до палатки идти... и потом, как они там узнают, что их ждут в лагере? Может, мы с Лешкой дойдем?..»

Что меня в этом поразило? Почему так запомнился этот пустяк? Отчего всякий раз, когда я об этом вспоминаю, сердцу становится жарко?

У меня растет сын — его внук. И, может быть, ни о чем я так не мечтаю, чтобы и в нашей с ним жизни он когда-нибудь нашел такой же малозначащий эпизод, а потом сказал: «Вот тогда я и почувствовал, что на свете надо быть мужчиной. И с тех пор чувствовал, что это значит, даже если не сумел бы это сформулировать». Что это было? Долг перед теми, в палатке? Едва ли — туда можно было послать меня, и я за двадцать минут долетел бы до лагеря. Нежелание проявить слабость в моем присутствии? Возможно, но почему-то кажется мелким. Точнее всего, пожалуй, так: в этом была привычка не уступать себе в мелких слабостях, из которых потом растут наши мелкие и крупные мужские грехи.

А потом все было просто. Мы шли по тающему леднику,

еще покрытому метровым слоем мокрого снега. Талый наст не выдерживал нашей тяжести, а под снегом по льду текла вода. И я ничего другого не мог сделать для него, любимого в эти минуты всеми силами души, кроме того, что все время старался идти перед ним, собственным телом прокладывая тропу и облегчая ему путь.

Это мне иногда снится: я вижу это большое, поднимающееся вверх, к зубчатому горизонту, набухшее сероватое поле, глубокие, мокрые до черноты следы на нем, иду по нему, трудно доставая из ноздреватого, сочащегося снега поочередно каждую ногу, и слышу дыхание отца за спиной.

А потом дыхание обрывается.



К. Симонов, Анна Зегерс, Б. Полевой (первый слева). 1965 г.

Стефан ХЕРМЛИН

МОЙ РОВЕСНИК

Константин Симонов и я были ровесниками. Когда кончилась война, кончилась и наша молодость, нам обоим было по тридцать. Три года спустя я встретился с ним в Москве, к этому времени я прочитал на английском языке его знаменитую повесть «Дни и ночи», выпущенную в карманном формате издательством американской армии. Тогда у него были еще темные, довольно длинные вьющиеся волосы, короткую стрижку он стал носить позднее.

В те дни меня пригласили в московский писательский клуб прочитать несколько стихотворений и ответить на вопросы. К моему удивлению, Симонов прочел одно мое стихотворение по-русски, в собственном переводе. Я знал, что он почти не знает немецкого, — значит, он перевел его, прибегнув к чьей-то помощи. Он оказал мне дружескую услугу, которую нельзя забыть, и я ее не забыл. Получилось так, что в один из этих дней был день моего рождения. Вечером ко мне в гостиницу пришли несколько советских писателей поздравить меня. Я не был знаком с ними лично, хотя их книги читал еще много лет назад. Среди них был Михаил Зощенко. Он переживал тогда трудное время. Симонов, главный редактор «Нового мира», сказал мне: «Пока я возглавляю журнал, Зощенко сможет у нас печататься».

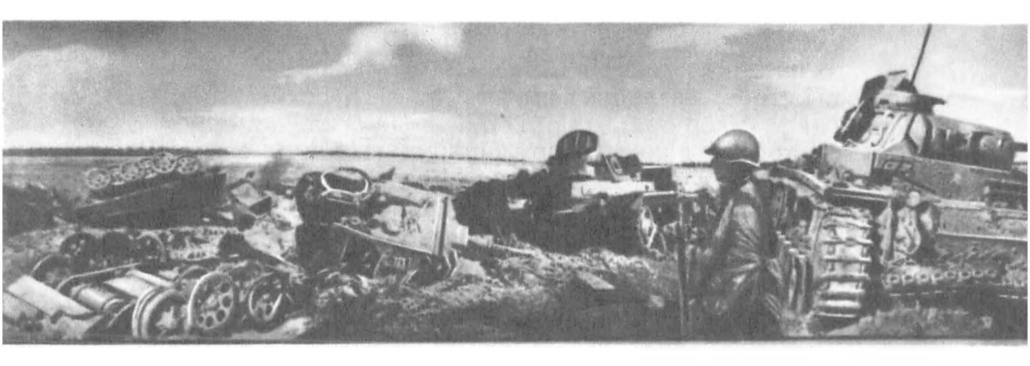
Мы тогда подружились. Оба мы прошли через войну, каждый своим путем, далеко друг от друга, русский и немец, но враг у нас был общий. Это объединяло нас, как объединяло и сознание того, что́ в нас разрушила война. Война стала его темой, выходила книга за книгой, каждая переводилась на многие языки, он приобрел мировую известность, но остался прежним — человеком сдержанных чувств и острого разума. Его темой было самое страшное, что только может случиться с людьми, и он терпеливо взялся за изображение этого самого страшного, что, в сущности, могло бы состоять лишь из долгого нечленораздельного крика, но он знал, что литература — это нечто иное, это попытка выразить невыразимое, тяжкое и само себя ограничивающее.

Однажды он позвонил мне и попросил меня перевести документальный фильм, который он сделал о войне во Вьетнаме. Фильм должен был демонстрироваться на ежегодном международном фестивале в Лейпциге. Я сразу же согласился, перевел прекрасный симоновский текст и взял на себя роль синхронного переводчика. Фильм получил первую премию. Симонов цитирует в нем слова Достоевского о том, что мучения одного-единственного ребенка не могут быть оправданы даже спасением всего человечества. О внутренней сути писателя свидетельствует не только его произведение, но иной раз и приводимая им цитата.

Мы довольно часто виделись, чаще всего в Москве или в Берлине, но также и в других местах, в Софии и в Будапеште, в Париже и в Дели. Странное это было общение — я не знаю русского, а он с большим трудом понимал те языки, на которых я говорю. Чаще всего переводчиками служили наши жены, но случалось, что мы бывали и одни и все же хорошо понимали друг друга, — может быть, потому, что чувствовали: даже расходясь порой во мнениях, мы в главном совпадаем, о нем можно говорить, а можно и молчать. Он любил литературу и искусство и потому стремился познакомиться с культурой разных народов. Он знал, что культура существует повсюду и повсюду она под угрозой варварства.

Мы долгое время говорили друг другу «вы», потом без объяснений и церемоний перешли на «ты», — может, оттого, что обнаружили, что волосы наши тем временем побелели.

Мне его не хватает.





А. Толстой, К. Симонов, И. Эренбург в Харькове на процессе военных преступников. 1943 г.



К. Симонов со словацкими партизанами. 1945 г.



Панорама Буйнического поля под Могилевом, опубликованная в газете «Известия» в 1941 году. Фото П. Трошкина.

К. Симонов и М. Бернштейн. Белое море. 1941 г.



Поездка в Карелию и Вологду. 70-е годы.

Леонид ИВАНОВ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПУБЛИКАЦИИ

Наверное, в жизни каждого человека случаются неожиданные повороты, которые решительно меняют, казалось бы, уже хорошо устоявшееся, уводят на совершенно другую жизненную дорогу. И очень часто у истоков таких «поворотов» оказывается друг ли, недруг ли, но человек, который сыграл тут главную роль.

В моей жизни тоже не обошлось без нескольких совершенно неожиданных крутых поворотов, в корне изменивших дальнейшую мою судьбу. Главным «виновником» одного из таких моих жизненных поворотов был Константин Михайлович Симонов.

* * *

Под влиянием знаменитых очерков Валентина Овечкина и свалившейся на него славы я тоже решился написать деревенские очерки на сибирском материале. Тем более что мно-

гие ситуации, описанные в очерках Овечкина, встречались и в Сибири. Правда, до той поры я ни одного очерка не написал, нигде в журналах не печатался... Обилие жизненного материала при отсутствии опыта в написании очерков привело к тому, что мой очерк, который я назвал «Сибирские встречи», хотя и отнял у меня мало времени — не более десяти дней, — занял 170 страниц машинописного текста...

Куда его отослать? Тут для меня и вопроса не было. Конечно же в журнал «Новый мир», где публиковались и очерки Овечкина.

Толстый пакет с моей рукописью вернулся довольно быстро. Заведующий отделом очерка и публицистики В. Спасский писал, что в моем очерке есть и удачные места, есть и запоминающиеся герои, но... Все это публицистика, а раз так, то и объем подобного материала, который может «переварить» журнал, не более двух печатных листов. А в моем очерке — семь... Для утешения автора В. Спасский предлагал несколько тем, которые интересуют редакцию журнала. Тем самым «Сибирские встречи» как бы зачеркивались, о них разговора уже не велось...

«Толкнулся» со своим очерком в местное издательство. Там пришли к выводу, что если его сократить раз в пять, тогда можно говорить о публикации в альманахе.

В июне 1956 года в Новосибирске проходило межобластное совещание по сельскому хозяйству. Мне было поручено осветить его в своей газете. Решил захватить и свой очерк, чтобы показать его писателю Залыгину. Сергей Павлович Залыгин — наш омич, но недавно перебрался в Новосибирск. Встретил его на совещании. А он поспешил познакомить меня с главным редактором журнала «Сибирские огни» Анатолием Васильевичем Высоцким.

— Нет ли у вас чего-нибудь о деревне? — спросил Высоцкий.

И я передал ему свой очерк.

Примерно через неделю получаю письмо Высоцкого. Он пишет, что мой очерк заинтересовал редакцию.

Опубликовали его в четвертом номере журнала (тогда он выходил раз в два месяца). Можно понять мою радость: первый в моей жизни очерк увидел свет! Но и беда была не за горами...

Однажды звонит Высоцкий. Спрашивает:

— Не читали «Советскую Сибирь»? В газете опубликована разгромная рецензия на ваш очерк. С меня, конечно, снимут штаны, но я беспокоюсь за вас: могут быть неприятности на работе... Я выслал газету; подумайте, можно ли обороняться, — напишите. Сам-то я в сельских проблемах не силен...

Еще три дня волнений, пока шла посланная Высоцким газета. Не убавилось их и после того, как прочел в ней статью

«Наблюдения и обобщения». Смысл полутораподвальной статьи сводился к тому, что наблюдения автора очерков «Сибирские встречи» в общем-то верные, а вот обобщения...

Вскоре откликнулась и омская областная газета подвальной статьей. В ней примерно те же выводы, но в адрес автора более резкие упреки.

Директор Омского книжного издательства не скрывал своей радости:

— Прав я был, когда советовал сократить очерк в пять раз!

Я был решительно не согласен с рецензией «Наблюдения и обобщения». Пишу длинное письмо в редакцию газеты, а копию — в журнал, пытаюсь опровергнуть критику очерка. Авторы статьи делали упор на то, что многие описываемые мною события придуманы, в жизни, мол, такого не было и быть не может. Это-то больше всего меня и бесило: очерк-то написан с натуры, лишь слегка изменены имена героев...

Тем временем Высоцкий сообщает: создана комиссия обкома, которая изучает очерк и рецензию на него, и что вопрос стоит об исключении Высоцкого из партии: за политическую слепоту...

И мое начальство всполошилось. Редактор газеты шумит: ты скомпрометировал себя, давай объяснение...

Конечно, для меня стало ясно: больше очерков писать нельзя. Во-первых, никто теперь не напечатает их, во-вторых, очень досадно, что своими очерками приношу неприятности порядочным людям, в данном случае Анатолию Васильевичу Высоцкому. Да и друзья предупредили, что стоит вопрос об освобождении меня от работы в газете.

Я начал подыскивать работу. Конечно, работать я мог только в совхозной системе, где уже прошел путь от экономиста совхоза до заместителя директора Союзного треста совхозов. Кое-чему подучился и работая корреспондентом. А в то время министром совхозов РСФСР был мой старый товарищ по совместной работе: в омском тресте я пять лет был его заместителем. Дружеские отношения сохранились до сих пор. К тому же и мои очерки ему понравились. Он сказал просто:

— Написано, конечно, остро, но честно!

Звоню ему на квартиру, говорю о сложившейся ситуации, прошу работу. Ответ министра обрадовал:

— Назови любой совхоз из Подмосковья — пошлем туда. Будешь директорствовать.

О директорствовании я не думал; это, как я уже знал, ничуть не проще, чем писать проблемные очерки. А вот экономистом — это другое дело. Но так или иначе, а место для отступления, так сказать, было, и я немного успокоился.

Попросил отпуск, приобрел путевку и в начале февраля 1957 года умчал в Сочи.

Сутки прожил в санатории, и вдруг вызов на переговоры с Омском. Жена по телефону зачитывает полученную телеграмму:

«ПРОСИМ ПЕРВЫМ САМОЛЕТОМ ВЫЛЕТЕТЬ МОСКВУ ПО ВЫЗОВУ И ЗА СЧЕТ НОВОГО МИРА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПУБЛИКАЦИИ ВАШЕГО ОЧЕРКА СИБИРСКИЕ ВСТРЕЧИ НОВОМ МИРЕ ТЕЛЕГРАФНО СООБЩИТЕ ВЫЛЕТ ПРИЛЕТЕВ СРАЗУ ПРИХОДИТЕ РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА КОНСТАНТИН СИМОНОВ ГЕОРГИЙ МАРКОВ»

Уж чего-чего, а такого я ожидать не мог... Тот самый журнал, который отверг мои очерки, теперь приглашает решать их судьбу. Конечно, обрадован страшно. Но вот беда: следующий день воскресный, а мне без паспорта нельзя в Москву. Чтобы получить свой паспорт, нужно разрешение директора. Пришлось идти к нему на квартиру.

В самолете обдумывал складывающуюся ситуацию. Почему Симонов и Марков прислали такую телеграмму? Меня-то они совершенно не знают. И я ни того, ни другого никогда не видел, только на газетных снимках... Чем же вызвано все это?..

В понедельник утром я в Москве, отыскал Пушкинскую площадь, редакцию «Нового мира». В большой комнате несколько посетителей, вижу знакомые лица, но знакомые только по фотографиям. Ведь к тому времени из живых, так сказать, писателей в лицо я видел только Сергея Залыгина.

Секретарь Зинаида Николаевна, выслушав меня, пошла в кабинет редактора, скоро вернулась, сообщила:

— Сейчас у Константина Михайловича адмирал... Как он выйдет, сразу вас примет...

Адмирал вскоре вышел.

Не без волнения открывал я дверь в кабинет главного редактора. Не скажу, что чего-то боялся, но все же — как встретит меня Симонов?

Когда я переступил порог, Константин Михайлович поднялся из-за своего стола — рослый, красивый. Начавшие седеть виски лишь подчеркивали его красоту, придавали ей совершенную зрелость.

— Товарищ Иванов? — уточнил Константин Михайлович. При этом по-доброму улыбнулся и тем самым снял с меня возникшее напряжение.

Он шагнул от стола, протянул руку, крепко пожал мою, пригласил присесть. Все как-то просто получилось, и я совершенно освоился, смелее глянул на Константина Михайловича. А он повел деловой разговор.

— Мы знаем, что вам досталось за ваши очерки... И мы здесь думали, как помочь вам... Считаем, что с вами обошлись несправедливо. Пока что мы придумали единственный доступ-

ный нам путь поддержать вас — это перепечатать ваши очерки из «Сибирских огней» в нашем журнале... Если, конечно, вы не будете возражать.

Он глядит на меня, ждет реакции.

Возражать!.. Я не сразу нашелся, что ответить, не находилось подходящих слов, чтобы от души поблагодарить. Но Симонов не стал ждать, когда я найду эти слова. Наверное, он понимал мое состояние, не впервые же встречается с начинающим литератором... Продолжил:

— Через пятнадцать минут у нас редколлегия, вы, пожалуйста, побудьте на нашем заседании, у некоторых членов редколлегии есть замечания по вашему очерку, выслушайте их, и если они полезны для вас, то учтите их. Но... — Тут он чуть улыбнулся, как мне показалось, совсем ласково посмотрел на меня. — Но прошу учесть: я готов публиковать ваши очерки без единой поправки, так что, если с замечаниями будете не согласны, не примем их в расчет, опубликуем все как и в том журнале.

И опять я не нашел подходящих слов для благодарности, ответил обыденно:

— Большое спасибо вам...

Симонов тем временем достал из папки, лежавшей на краю его стола, рукопись, протянул мне со словами:

— Мы перепечатали из журнала ваш очерк; все, кому положено у нас, прочли его, а этот экземпляр для вас, для работы с редактором... Ну, а через... — тут он глянул на часы, — через пять минут прошу на редколлегию... Это в соседнем кабинете...

Я поднялся, но Константин Михайлович жестом остановил меня.

— Надо же устроить вас в гостиницу... Или вы уже устроились?

— Нет, я сюда с самолета...

Он позвонил, в кабинет вошла очень красивая женщина, вопросительно глянула на Симонова.

— Наталья Павловна, надо устроить — и получше — нашего гостя, товарища Иванова...

Наталья Павловна ответила, что утром ей не удалось устроить кого-то в гостиницу, просит Симонова позвонить какому-то Ивану Алексеевичу...

Константин Михайлович набрал номер, весело приветствовал:

— Иван Алексеевич! Здравствуйте! Симонов говорит... Я редко вас беспокою, только в самых крайних случаях. Сегодня как раз такой случай... Прошу, Иван Алексеевич, отдельный номер для писателя Иванова... Что-что?.. Нет, так нельзя, Иван Алексеевич... Надо, чтобы наверняка!.. Ну, хорошо, спасибо!

— А теперь и нам пора, — сказал он и, взяв меня под руку,

провел в соседний кабинет, где за длинным столом сидели человек восемь — десять. Симонов довел меня до стула у длинного стола, а сам прошел за председательский.

И сразу приступил к делу. Сказал, что поскольку автор очерков «Сибирские встречи» здесь, то просит высказать ему свои замечания.

А я все всматриваюсь в лица сидящих тут членов редколлегии. И вот что удивительно: мне кажется, что всех уже видел, лица-то знакомые, но только Константина Александровича Федина узнал сразу... Он очень походил на фотографии в газетах.

Симонов тем временем обращается к полному мужчине:

— Борис Николаевич, у вас, кажется, были замечания.

Это к Агапову, как потом я узнал. Он был заместителем Симонова.

— У меня один вопрос к автору: сибиряки в прошлом году собрали хороший урожай, не вызовет ли публикация вашего критического очерка нежелательную для нас реакцию сибиряков?

Я попытался разуверить Агапова: в Сибири хорошие урожаи бывают два раза в пять лет, и уже в нынешнем, 1957 году трудно ждать высоких урожаев.

— Сергей Николаевич Голубов имеет что-то сказать, — объявил Симонов.

Голубов задал мне вопрос:

— А где еще публиковались ваши очерки?

— В «Сибирских огнях», — быстро ответил я.

— Это мы знаем, — возразил Голубов. — А еще где-нибудь они публиковались?

У меня в голове вихрем промчалась мысль: а что, если еще кто-то опубликовал что-то подобное? Ведь ситуации схожие есть в любой зоне страны.

— Нет, — говорю, — нигде не публиковались.

— А может, вы забыли? Может быть, отрывки публиковали...

Эта настойчивость Голубова совсем обескуражила меня. Но все же нашел мужество пошутить:

— Мне, Сергей Николаевич, трудно забыть, потому что этот — первый в моей жизни очерк. И вообще ни в одном журнале ничего моего не публиковалось...

— Тогда извините, пожалуйста, — чуть склонил голову Голубов. — Я, Константин Михайлович, за то, чтобы публиковать у нас эти очерки.

Мне стало легче. Но тут поднялся худощавенький человек с очень высоким лбом. Повернувшись к Симонову, начал:

— Я пришел на редколлегию, Константин Михайлович, чтобы высказать свои сомнения... Знаете, я все же где-то читал эти очерки. У меня перед глазами целые абзацы прочи-

танного. Хотя должен сказать, что очерки очень интересные, но... Они где-то еще уже публиковались. — И он сел.

Кто-то из членов редколлегии бросил:

— Так припомните, товарищ Спасский, где это было?

Эта реплика очень помогла мне. Я вскочил со стула, громко спросил:

— Ваша фамилия Спасский? — И, получив утвердительный ответ, не удержался от радостного восклицания: — Так вы читали мою рукопись в мае прошлого года и вернули ее со своим письмом!

Спасский быстро поднялся и, хлопнув ладонью по своему высокому лбу, воскликнул:

— Извините меня, пожалуйста, товарищ Иванов... Я ввел в заблуждение членов редколлегии... Да, теперь вспомнил, я читал это в рукописи...

Теперь поднялся Симонов.

— Позвольте, Владимир Григорьевич, значит, эти очерки были уже у нас и вы их отклонили?

— Да, я вернул их...

— Позвольте! — уже с возмущением воскликнул Симонов. — Почему же вы, не посоветовавшись с членами редколлегии, решили судьбу этих очерков?

Тут и другие начали упрекать Спасского. А я пытаюсь защитить его, говорю, что некоторые его советы использовал при доработке очерков. Но тут Симонов объявил:

— Тогда, Владимир Григорьевич, я не могу доверить вам редактирование этих очерков... И прошу взять на себя эту миссию Елену Борисовну.

— С удовольствием! — ответила Елена Борисовна, единственная женщина, сидевшая в кабинете.

— Тогда вопрос решен, — заключил Симонов, — и мы отпустим товарища Иванова. А вы, Елена Борисовна, назначьте ему час и место встречи.

Мы вышли с Еленой Борисовной. Она прихрамывала, опираясь на трость, сказала, что сломала ногу и теперь вот вынуждена ходить с палкой.

Договорились, что я приеду к ней на квартиру.

Как вскоре выяснилось, Елена Борисовна была членом редколлегии журнала. Выяснилось и другое: она внучка Глеба Успенского и жена поэта Льва Ошанина. Она познакомила меня со своей матерью. На ее квартире я увидел фотографию отца Елены Борисовны. Лицо показалось мне знакомым. И не случайно. Оказалось, что он — мой учитель. В 1932 году я учился в Москве на курсах экономистов, и бухгалтерию нам преподавал именно Борис Глебович. Он есть на фотографии, хранящейся у меня, — курсанты и преподаватели.

При подготовке очерка пришлось выполнить просьбу Агапова — сократить страниц десять, потому что весь очерк не

вмещался в освободившееся в журнале для него место. А шел он, как заметила Елена Борисовна, вне очереди. Готовили мы его в середине февраля, а публиковать хотели в мартовском номере...

На второй или на третий день я зашел в редакцию журнала. Константин Михайлович, увидев меня, зазвал в кабинет, сразу же позвонил по телефону, попросил кого-то принять меня...

Оказывается, говорил он с секретарем Союза писателей СССР Георгием Мокеевичем Марковым. Я сразу же отправился к нему и был тепло принят им.

От Георгия Мокеевича узнал предысторию всего того, что случилось теперь со мной. Когда мой очерк подвергся разгромной критике, Георгий Мокеевич (а он был членом редколлегии журнала «Сибирские огни») запросил мнение о моем очерке у Валентина Овечкина, Гавриила Троепольского, Геннадия Фиша. И все они, как сказал Марков, хорошо отозвались об очерке. Тогда-то и возникло решение поддержать меня. И Константин Михайлович Симонов принял, возможно, беспрецедентное решение перепечатать очерк в «Новом мире».

Георгий Мокеевич сказал мне, что он выполнит просьбу Симонова — напишет предисловие к моим очеркам. Пока же он подробно расспросил меня о положении дел в сибирской деревне, на целине.

А события продолжали развиваться просто сказочно для меня.

Когда мы с Еленой Борисовной завершили редактирование очерка, я зашел к Симонову проститься.

Он спросил:

— Это что же: мы, выходит, сорвали вам отдых?

О курорте я проговорился Елене Борисовне, а она передала это Симонову. Но я ответил бодро:

— Теперь мне курорт уже не нужен!

— Нет, это нехорошо... Договоримся так: я напишу письмецо директору санатория, попрошу восстановить вам путевку, но если он откажется, то на оплату новой путевки мы дадим вам деньги, — словом, за наш счет отдыхайте...

Запечатав письмо в конверт, передал мне. При этом спросил:

— А деньги-то у вас есть?

— Конечно... Я же отпускные получил.

— На курорте деньги нужны... — Подумав о чем-то, Константин Михайлович вдруг спросил: — А вы не намерены продолжить свои очерки?

— Теперь обязательно буду продолжать, — твердо ответил я.

— Вот и хорошо! Значит, мы можем заключить с вами договор, вы согласны передать нам будущие очерки?

— Конечно!

— Очень хорошо, — повторил Симонов. — Вы напишите заявку... Очень коротенькую. — Он протянул мне лист чистой бумаги. — Укажите примерный объем, срок представления.

Я начал писать. А в кабинете появилась Наталья Павловна Бианки — она заведовала редакцией. Константин Михайлович попросил ее оформить договор со мной, передав ей мою заявку.

— Постарайтесь сделать так, чтобы товарищ Иванов к вечеру мог получить аванс...

Когда Наталья Павловна ушла, Константин Михайлович улыбнулся:

— А как же получилось, что мы с вами даже по рюмке не выпили?

Я, конечно, смутился. Промолвил невнятно, что хотел, мол, пригласить, но не осмелился...

— Это еще поправимо, — возразил Константин Михайлович. Глянув на часы, сказал: — Как раз подходящее время. Поехали обедать.

Он поднялся, поправил свою меховую безрукавку, взялся за пальто...

Константин Михайлович сразу, в начале нашей трапезы, заметил, что он не очень понимает проблемы деревни и сельского хозяйства вообще и потому просит просветить его в этих делах.

— Со своей стороны, — усмехнулся, — я готов давать вам любую консультацию по делам военным.

Я пригласил его приехать к нам в Сибирь, где повозил бы его по колхозам и совхозам.

— А это идея! — воскликнул Константин Михайлович. — Твердо я не обещаю, но при первой возможности воспользуюсь вашим приглашением.

Я, конечно, был, что называется, на седьмом небе, и при этом, наверно, выглядел смешно. Увлекшись, говорил и говорил о том, что наболело, — о нерешенных проблемах деревни. Но Симонов слушал, и это подбадривало меня.

Но вот все съедено, выпито. Я достал бумажник, но Константин Михайлович решительно остановил мой порыв, пошутил:

— Здесь нет наличных расчетов...

...Директор санатория прочел записку Симонова, и лицо его расплылось в улыбке.

— Неужели сам Константин Михайлович писал?.. А я ведь видел его однажды на фронте. Да... Интересно. — Говоря это, он продолжал рассматривать записку Симонова. Потом

вызвал секретаря и распорядился, чтобы мне восстановили путевку на двадцать четыре дня.

— Два дня я уже использовал, — заметил я.

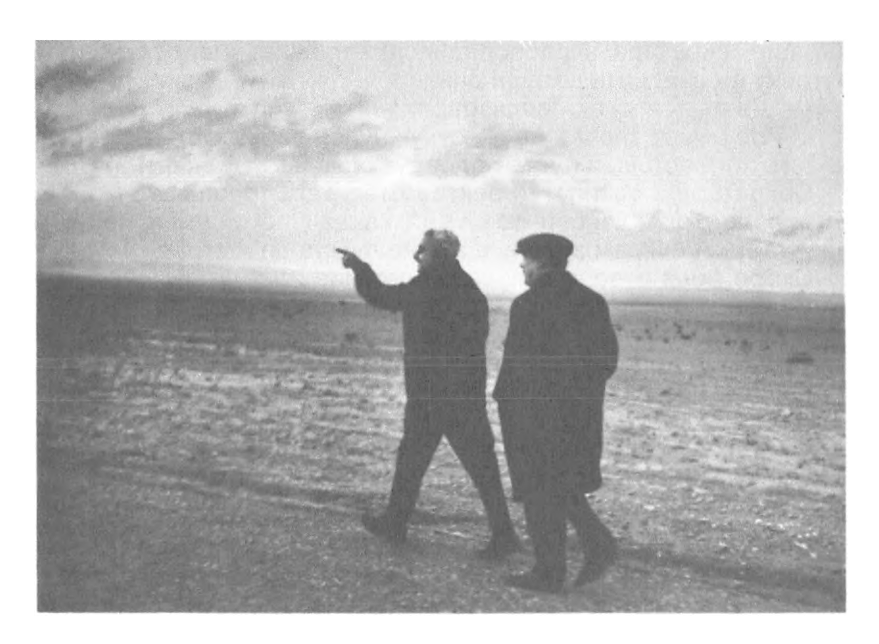
— Не имеет значения, — отмахнулся директор. — Восстановить полностью, и пусть подберут одноместную комнату...

Секретарша вышла. Директор стал расспрашивать меня о Симонове: каков он сейчас на вид, какая у него семья, над чем работает? А я и сам знал все это не лучше директора...

Скоро меня отвели в выделенную мне одноместную комнату. Симонов продолжал помогать мне и здесь.

В дальнейшем я в течение десяти лет продолжал рассказывать о жизни и работе героев своих «Сибирских встреч», написал в общей сложности семь книг о них. И бóльшая часть этих книг издана Политиздатом в серии «Повести о делах и людях партии», а затем они были объединены в одну большую книгу «Глубокая борозда».

Вот как вдохновил меня Константин Михайлович Симонов!



К. Симонов и М. Карим в Сирии. 1965 г.

Мустай КАРИМ

ВОСПОМИНАНИЯ У КРОМКИ МОРЯ

> Я не думал, не верил, не ждал никогда,
> что без этого друга придется мне жить.
>
> *К. Симонов*

Он мне ни разу еще не приснился. О нем я много думаю. Думаю не просто, а с болью и тоской. Он не снится. Будто щадит меня, чтобы я его не терял вновь и вновь. Он не прав в своей жалости. Бывают и сны, как явь, достоверные. Он непременно явился бы достоверным. Как всегда при жизни.

Посетил бы ты меня, Константин Михайлович, пока и я не ушел туда. Ведь тогда совсем не встретимся...

Эти горестные слова я пишу на берегу теплого, ласкового моря, которое сегодня с утра мирно колышется у горячего берега. И мы спесиво тешим себя мыслью, что раз оно плещется у *наших* ног, значит, у *наших* ног вечность... Какая наивность! Мы с нашей спесью — лишь мгновенье перед морем. Мы просто стоим на кромке и в любой час не по своей воле можем уйти в него.

...Он нечаянно поскользнулся и ушел туда, в Пучину.

А до этого была жизнь. Удивительная жизнь. Жизнь борю-

щегося поэта. Эта Жизнь прикасалась ко мне в течение тридцати семи лет — иногда житейским делом, иногда товарищеской заботой, иногда дружеским состраданием, а всегда тем, что она была наполнена страстной работой, высоким смыслом. Такие судьбы вообще не проходят мимо современников. Константин Симонов один из редчайших наших писателей, который за все четыре с лишним десятилетия своим словом и сущностью своей личности имел неоценимое влияние на нравственное усовершенствование, на рост гражданского самосознания соотечественников нескольких поколений. Константин Симонов, как непреходящее достояние Отечества, принадлежит не только литературе. Он принадлежит эпохе, принадлежит всем.

...В августе сорокового года (ой, как давно!) я впервые увидел Константина Симонова на берегу того же моря, в ялтинском Доме творчества. До его приезда там был Владимир Луговской, который по нескольку дней пропадал где-то в горах, потом, вернувшись, вечерами мрачно и гордо просиживал на стеклянной веранде. Подступиться к нему было просто боязно. Казалось — неприступный утес. Его густой властный бас, который мы слышали нечасто, стал окончательной, непреодолимой преградой. Так и не подходил я к нему, хотя очень хотелось. Он уехал. Спустя много лет, близко узнав его, убедился, что тот «утес» был человеком нежнейшей души и детской доверчивости.

В те дни с особой предупредительностью относились в нашем Доме к высокому худощавому человеку с поседевшей головой. На приветствие он отвечал молчаливым почтительным поклоном. Это был испанский писатель Сесар Муньос Арконада, участник недавней гражданской войны в Испании. Горечь поражения, печаль потерянной родины лишили его глаза улыбки. Ровно через два года в полевом госпитале в лесу под городом Плавском мне доведется прочитать одолженный у безрукого соседа роман «Река Тахо»... того тихого испанца. Роман, захватив с начальных строк, потряс меня. Скачущий с дурной вестью о войне всадник, разрезая жизнь пополам, врывается в первую страницу книги, длинное облако пыли за ним превращается в черную грань между миром и бедой. К моим ранам и ненависти прибавилась «испанская боль». И испанская отвага...

В сумасшедший листопад в прифронтовом лесу я опять вспомнил сказочную Ялту в последнее мирное лето. Тогда несколько вечеров подряд Владимир Яхонтов в городском театре читал Маяковского и Есенина. На Яхонтова, как говорят, народ валом валил. Я ходил два раза. В голосе чтеца я почему-то слышал звон круглой луны. Именно звон луны. На этих вечерах меня не покидало восхищение, смешанное с чувством стыда. Запоздалый стыд имел причину. Совсем недав-

но, всего полтора года назад, одного студента мы исключили из комсомола за чтение вслух стихов Сергея Есенина, хотя сами украдкой заучивали их наизусть. Тошно вспомнить.

Симонов приехал туда с женой. С ними был высокий, громкоголосый Борис Ласкин. Они казались намного старше меня. Четыре-пять лет разницы в молодости — это немало. Автор поэм «Ледовое побоище», «Суворов», многих упругих, мускулистых лирических стихотворений, участник боев на Халхин-Голе уже тогда имел такую известность, что до славы ему было рукой подать. И она пришла. Пришла на всю жизнь. Прочная, заслуженная слава.

Мне сразу показалось: все шло ему, все было по нему — и речь, и смех, и походка, и трубка... Лишь красивая палка его мне не понравилась. К тому же она в столовой во время обеда каждый раз с грохотом падала на пол. Сначала я было думал, что она — опора по надобности. Когда я увидел самозабвенную игру ее хозяина на теннисном корте, то понял, что эта палка просто обуза. Палка-дармоед. Потом он ее выбросил. Вообще трудно представить себе Константина Симонова, чинно прогуливающегося по людной улице, грациозно выбрасывающего вперед красивую трость. О палке я так много говорю не без умысла.

Константин Михайлович, на мой взгляд, владел бесценным свойством — умением отбрасывать от себя, как ту палку, все лишнее, суетное, сомнительное, все то, что несовместимо с его натурой и убеждениями. Его корабль со временем не обрастал ракушками, — скорее, наоборот: чем дальше шел, тем больше он очищался. Через четверть века после того лета, в декабрьскую полночь, на пустынной площади в Анкаре он мимоходом скажет мне: «Пятьдесят мне минуло... Наступила пора окончательно налаживать отношения с совестью и ни с кем больше не играть в поддавки». (Слово из его уст было деянием.) Вдруг он остановился и неожиданно добавил: «Давай перейдем на «ты». Иначе как-то неловко».

Ты, пишущий воспоминания, должен более или менее точно определить для себя, кем приходится тебе тот, о ком ты решился говорить и осмелился судить, — друг, приятель, товарищ или просто Человек, который прошел по этой земле, наделив тебя своей светящейся частицей, который для тебя «весь не умер». В одном из писем Константина Симонова ко мне есть слова: «Мы с тобой старые товарищи...» А в определении взаимоотношений с людьми он был точен. Следовательно, я пишу о нем на правах старого товарища, испытавшего добро его могучего духа, деятельной натуры, практической отзывчивости. Если смотреть на вещи упрощенно, то получится, что товарищество-то наше с неравноценной отдачей. Ему я мало отвечал делом. Но в том у меня нет угрызений совес-

ти. Ибо у нас неравны были силы и возможности. Я всегда был ему преданно благодарен. И это — немалый ответ.

Так случилось, что я к нему сам никогда ни с одной просьбой не обращался. Но тем не менее я не раз оказывался у него подопечным. Очень больной туберкулезом легких вследствие тяжелого ранения в грудь, я в 1947 году, веруя в спасение, приехал в Москву. Но ни в одной больнице на стационарное лечение меня не приняли. Видимо, там мой оптимизм не разделяли. Об этом узнали работник Союза писателей СССР Разия-ханум Фаизова и руководители комиссии по работе с молодыми литераторами Александр Твардовский и Платон Воронько. Такая комиссия была создана после первого совещания молодых писателей.

При участии Платона, заняв денег на дорогу у Твардовского, я уехал в Уфу. Не прошло недели, получил короткую телеграмму: «По распоряжению министра здравоохранения СССР товарища Смирнова вас примут на стационар в Центральный туберкулезный институт. С приветом Симонов». Еще через неделю мы с Разией-ханум явились в ЦТИ, что на шестом километре по Ярославской дороге. У нас в руках была та «охранная грамота». Но и она не сразу пробила нам дорогу. Первоначально нам отказал главный врач (кстати, спустя много лет он же писал мне почти сентиментальные письма, в которых сильно «гордился» мною, «высоко ценя» мое творчество). Потом этот отказ подтвердил консилиум. Вдруг ответственность за мою маловероятную жизнь и весьма вероятную смерть взял на себя в том же ЦТИ молодой профессор Лев Богуш, о чем я уже не раз говорил печатно и устно.

Только на днях тут, на берегу моря под Карадагом, Платон Воронько сказал мне, что Симонов тогда «выбил» у министра Смирнова не только разрешение, но и несколько спасительных граммов очень дорогого в те времена американского стрептомицина.

С некоторым перерывом я провел в той лечебнице больше года. Однажды мой близкий друг по фронту писатель Николай Атаров привез договор из «Молодой гвардии» на издание книжки моих стихотворений. Об этом у меня никогда ни с кем разговора не было. Я недоуменно посмотрел Атарову в глаза.

— Тебе мало хлопот со мной? — спросил я.

— Только просьба моя, хлопоты — Симонова. Он добился.

Я нисколько не думаю, что и в первом, и во втором случае Константин Михайлович так поступил потому, что хорошо знал тогда, кто я и что делаю. Довоенное наше, чисто внешнее знакомство на досуге в расчет я не беру. Он, наверное, тоже. Он просто поверил словам и озабоченности людей, которые за меня беспокоились и хлопотали. С годами я все больше и больше убеждался в том, что он, баловень безбедной жизни, раннего признания и прижизненной славы, с такой болью при-

нимал чужие страдания и чужую нужду. Поэтому однажды вырвались у него слова: «Чужого горя не бывает...»

В нем друзья не ошибались, ошибались в нем недоброжелатели, ища порою в его многосторонней литературной и общественной работе некую корысть, личную выгоду. Личная выгода у него действительно была. Это — служение стране и человеку. Он нес слишком тяжелую ношу — не только свою — и надорвался. Корыстолюбец никогда не погибнет ни от разрыва сердца, ни от сгорания легких. Симонову было присуще великолепное свойство бойца: он страстно защищал, наступал, отвергал, ненавидел, возмущался, неистово спорил, аж из глаз его сыпались колючие «симоновские» искорки, но никогда не унижал себя роптанием, жалобой, ворчанием, когда ему бывало худо. А худо ему бывало.

В один из вечеров он пригласил на застолье в ресторан «Метрополь» арабскую и индийскую делегации. Среди гостей вместе с Николаем Тихоновым было несколько советских литераторов, в том числе и я. Представляя нас зарубежным гостям, Константин Михайлович обо мне сказал:

— Он, как я, комбайн. Поэт, драматург, прозаик.

Какой я прозаик и драматург? Написал всего две пьесы и одну повесть для детей. Я промолчал, чтобы не подвести хозяина. Только потом, в своем тосте, я внес поправку. «Я не комбайн, а, пожалуй, гусь, который немного ходит, немного плавает, немного летает...» — сказал я.

За столом я оказался рядом с Николаем Семеновичем Тихоновым. Справа от него сидела молодая красивая переводчица, за которой седой поэт весь вечер ухаживал тонко и изящно. Он был одухотворен, поэтому красив. Я смотрел на него с удивлением и скрытой жалостью: ему ведь уже за пятьдесят. Откуда такая резвость? А ведь в самом деле ему было только за пятьдесят. Не зря, видимо, в этот вечер хозяин застолья его озорно сравнил с бенгальским тигром. Схожесть действительно угадывалась. Это подтвердил также один из индусов. А Тихонов нарочито огорченным голосом сказал, что подозревает хозяина в тайной зависти. Среди своих выдающихся современников Симонов был моложе всех, но не был младшим — таковым его не считали. Поэтому его шутливое обращение с Тихоновым на равных было естественным.

Он стал особенно понятным для меня и близким после того, как посетил мою родину, отведал ее хлеб и воду, пожал руку моей матери, прикоснулся к моим детям. Словно в него вошла часть моей земли. Это случилось зимой 1955 года, когда мои земляки выдвинули кандидатуру Константина Симонова в Верховный Совет РСФСР. В те дни в Уфе были сильные метели. Накануне выезда на предвыборные встречи с избирателями в южные районы Башкирии я полдня водил его по огромному

нефтеперерабатывающему заводу. К тому же директор потащил нас по крутой открытой лестнице на самую высокую площадку одной из установок. Порывистый ветер наотмашь бил по лицу. На последнем пролете я оглянулся на Симонова, ища в его глазах укор за это бесцельное «преодоление высоты». Нет. Я в них видел азарт и какое-то детское ликование. Зная нрав директора, я заподозрил его в лукавом намерении. Он хотел показать свою удаль и заодно испытать: хватит ли духу и дыхания у знаменитого писателя забраться во-он куда, да еще в такую пургу? Нашел кого испытывать — незадачливый испытатель...

Вдобавок я еще показал Симонову город — улицы, площади, дома. Он на все смотрел с интересом, как подобает вежливому гостю. А вот людей я почти не показал, не показал ему моих старых приятелей — доморощенных выдумщиков и мудрецов, бывалых балагуров и сказочников: знаменитого вруна Нурислама из Кляша, веселого скрипача, слагателя песен на собственный мотив старого Саита из Ярми, непобедимого острослова и борца на сабантуях Габбаса из Кармаскалов. Собрать бы мне всех вместе за чаркой вина и дать бы им вволю поговорить. Жаль, этого не сделал. Видимо, считал, что молодой завод — бо́льшая достопримечательность, нежели те немолодые фантазеры. А жаль. Наверное, Симонов вписался бы в такой пейзаж. Непременно. Ибо он нигде чужеродным не казался. Потом, через десять лет. на улице Стамбула встречный издалека его окликнет: «Эй, Осман-бей! Салам!» — приняв за своего. И мы, спутники Константина Михайловича, этому не удивились. Лишь дали ему новое имя — Осман-бей. Там многие находили в нем сходство с Назымом Хикметом — не только по внешнему облику.

Четыре года подряд на сессиях Верховного Совета РСФСР в зале Большого Кремлевского дворца мы сидели рядом. Не в пример некоторым из нас, он не любил предаваться посторонним разговорам, когда говорили выступающие, даже самые скучные. Лишь порою, не снимая наушников, он заглядывал в принесенные с собой рукописи или делал какие-то заметки на клочке бумаги. Это лишь изредка. Он. оказывается, был не только хорошим оратором на трибуне, но и уважительным, воспитанным слушателем в зале. Слушателем не только на сессиях Верховного Совета. Об этом я вспомнил потому, что иные из нас, за долгие годы привыкшие находиться только в президиумах, в случае перемещения в зал не находят себе места, так и ерзают или — еще хуже — то и дело выскакивают, чтобы их заметили вновь. Константина Симонова не приводили в растерянность и уныние подобные перемещения вообще. Из них он, пожалуй, умел извлекать поучительные уроки и моральную выгоду, а не ущерб нес.

Я мимоходом уже упоминал о нашем совместном с Симо-

новым пребывании в двух турецких столицах — в Анкаре и Стамбуле. Тогда, в 1965 году, мы втроем — третьим был Радий Фиш — совершили почти двухнедельную поездку по Сирии и Турции. Я раньше много слышал, что Константин Михайлович в дороге хороший, надежный спутник. Он таким и оказался, не чурался ни больших, ни малых хлопот. К нашему стыду, бывало и так: пока сонливый Фиш раскачается, пока я многократно раскланиваюсь с портье и швейцарами, Симонов уже вынесет вещи и погрузит в машину. В каждом новом месте, прежде чем самому вселиться в номер, он проверит, удобно ли размещены его товарищи. Таков уж характер. В этого аристократа духа и рыцаря так и не сумел вселиться барин. Он этого не допустил.

Я смотрю на маловыразительные, тусклые фотографии тех дней. Вот он сидит на поверженной не то временем, не то варварами колонне одного из дворцов древней Пальмиры, затерянной в сирийских песках, куда нас из Дамаска привез журналист Леонид Медведко. Перед ним пустая арена, где целую вечность тому назад бушевали страсти, лилась кровь. Его голова опущена. Когда весело, голову так не опускают. О чем он думает — о времени или о варварах? Что страшнее — варвары или время?..

На другой фотографии он идет по пустыне — против песчаной поземки. Полы его пальто, как два крыла, вздуты. Это — не поза для эффектной съемки. Мы так довольно долго шли к кочующим бедуинам. Те нас встретили со сдержанной вежливостью. Когда узнали, что мы из Советского Союза, стали более приветливыми. Один высокий стройный юноша даже позволил себе попросить у нас сигарету. Однако взаимоотношения дальше этого не пошли. «Дьявольски красив, — сказал Симонов о юноше, — древние ваятели, видимо, вот с таких лепили своих богов». Молодой бедуин с неторопливыми движениями действительно был красив и величав. Симонову очень импонировал его природный дар держаться с достоинством. Позже он несколько раз повторял: «Каков бедуин!..»

Оказывается, мы меньше запоминаем, больше забываем. Так легче нашей ленивой памяти. Многое позабыто о той поездке. Но навсегда запомнились мне его глаза в стамбульском аэропорту при прощании. Он уехал раньше нас. Была у него какая-то тревожная забота. В глубине его глаз затаилась тоска. Такая тоска, что казалось, ему невмочь. Когда он поднялся на трап и у самого входа обернулся, мне померещилось, что по щеке его покатилась слеза. Конечно, только померещилось. Но у меня сердце защемило: не случилось бы непоправимое. К счастью, тогда ничего худого не стряслось. Но глаза его из памяти не ушли...

До непоправимой беды было еще почти четырнадцать лет. Эти его зрелые годы, когда приблизительность в суждениях и

оценках все больше уступала место определенности, нас не отдаляли. Он становился для меня необходимей, чем когда-либо. Его редкие письма, присланные им книги с дарственной надписью, к которым я обращался в минуты сомнения и неуверенности, в дни разочарования в иных друзьях, стали для меня опорой и утешением. Много минуло за это время радостных и горестных событий, которые ощутимо приблизили меня внутренне к нему. Одним из таких была смерть Александра Твардовского.

В августе 1979 года я навестил Константина Михайловича в больничной палате на Мичуринском проспекте. Когда я входил, он лежа разговаривал по телефону, как я понял, с женой Ларисой Алексеевной, которая находилась в той же больнице, в кардиологическом отделении, — подозревали инфаркт. Он ее успокаивал. «Держись, старина!» — говорил. Я просил передать ей привет. Он покачал головой: «Не надо. Потом. Ей сейчас плохо». Положив трубку, Константин Михайлович извинился, что не встает. На столе и подоконнике были книги с закладками, бумаги, старые газеты. Заметив, что я обратил внимание на рабочую обстановку, сказал: «До обеда немного работаю. Обдумываю воспоминания о Серафимовиче. Он был самый лучший наш военный журналист. Потом буду писать о Фадееве. Непросто подступиться к этому ясному и неожиданному во многом человеку. Вот выкачают из легких жидкость... Потом приступлю. Пока дышать трудно. Хотя ты знаешь, как это бывает...»

Уходя из палаты, я унес в себе безысходную печаль его глаз. Мне почудилось, что та его грусть в стамбульском аэропорту была далекой тенью этой печали. Через две недели он сгорел, и пепел его, по его завещанию, был развеян на могилевской земле.

...А море все колышется и колышется. Так оно дышит своим вечным дыханием. Прости меня, море, в этот раз я не был веселым на твоем берегу...

Коктебель, август 1981 г.



К. Симонов, К. Паустовский, А. Роскин, Б. Лавренев. 1939 г.

Л. ФИНК

СКВОЗЬ СОРОК ЛЕТ

1

...Сентябрь 1937 года. Мне уже двадцать один. Косте еще нет двадцати двух. Я — начинающий журналист, у него — имя поэта. Он студент Литинститута, а я аспирант МИФЛИ и сотрудник отдела критики «Литературной газеты». Повод для знакомства нашелся самый естественный. В редакции появился новый сотрудник — Ата Типот, дочь известного драматурга (кто тогда не знал «Свадьбы в Малиновке»). Выросшая в литературном окружении, она производила на меня, приехавшего из Куйбышева провинциального журналиста, неотразимое впечатление. Мне казалось, что Ата бесконечно много знает, обладает абсолютным вкусом и острым аналитическим умом. Может, в этом и была какая-то доля преувеличения, но примерно так же в ту пору ее оценивал и еще один человек: ее муж, молодой поэт Константин Симонов.

Редакция «Литературки» находилась тогда в одном из сре-

тенских переулков, который грустно назывался Последним. Частенько после изматывающей суеты рабочего дня мы выходили на улицу и спускались на Цветной бульвар. Молодожены жили тогда в Лиховом, но мы пересекали кольцо «А», добирались до Петровки и там заходили в кафе «Красный мак».

Очень хороши были эти прогулки и аскетические ужины, заполненные стихами, обсуждением редакционных дел и зачастую тревожных политических новостей. Время было сложное, но молодость оказывалась сильнее любых невзгод: мы беззаветно любили литературу, радостно принимали жизнь и уверенно заглядывали за кромку настоящего. Каждый из нас троих мечтал о больших делах, о будущих книгах. Потом многое осуществилось. Но по-настоящему большие дела оказались доступны только Константину Симонову. И уже в те давние годы иногда я это предчувствовал.

Вспоминается, он протянул мне рукопись и сказал: «Пожалуйста, прочитайте и скажите все, что думаете». Так я стал одним из первых, кто познакомился с поэмой «Ледовое побоище». К сожалению, не сохранились записи, которые я делал в процессе чтения. Но до сих пор помню, что поэма вызвала у меня прежде всего чувство благодарности. Я сказал ему какую-то высокую фразу, примерно так: «Вы написали именно то, что должен написать поэт нашего поколения».

Не забылось, как после этих слов громко вздохнул Симонов. Он был в ту пору очень внимателен к оценке своей работы, взволнованно ждал каждого отзыва. Потом ему будут не в диковину и грубые разносы, и несправедливые упреки, и шумные похвалы. Тогда у него еще не было запаса прочности, он ждал, волновался и верил. Я знал об этом и тщательно обдумал все, что скажу ему. Но, восторженно принимая поэму, я так же горячо говорил о ее недостатках, или, если быть точным, о тех ее особенностях, которые казались мне недостатками. Я не пытаюсь воспроизводить то, что говорил тогда. Слов не помню. Помню только общий смысл, помню, что Симонов слушал меня внимательно, не возражал, иногда переспрашивал. В нашем разговоре он ценил, видимо, только то, что помогало дальнейшей работе. А похвальные эпитеты, как любой другой человек, он слушал с удовольствием, но тут же интересовался чем-нибудь другим, более полезным. Разговор о «Ледовом побоище» в марте 1938 года оказался последним в нашей молодости.

Судьба забросила меня далеко-далеко от Москвы, и долгие годы я не вспоминал о Симонове и не обращался к нему. Только через много лет я написал Симонову, тогда главному редактору «Литературной газеты». С моим письмом в августе

1953 года поехала в Москву жена, Екатерина Николаевна Антонова, мельком видевшая его как-то раз в Последнем переулке.

2

Только для того чтобы читатели верно восприняли этот эпизод в наших отношениях, я вынужден дать краткую справку о себе. Семнадцать лет, начиная с апреля 1938 года, я провел на Севере, не по собственной воле. И написал я Симонову, как человеку, хорошо знавшему меня, вряд ли поверившему в справедливость крутого поворота в моей судьбе. Екатерина отправилась в Москву без особых надежд. Она сомневалась даже в том, что сумеет повидать Симонова. А вернулась обнадеженная, радостная. И рассказала мне следующее. Пришла в редакцию «Литературной газеты», сказала секретарю, что она приехала из Заполярья по личному делу. Секретарша вначале уговаривала ее прийти в другой раз, ссылаясь на то, что редактор сегодня читает очередной номер. Но слова о Заполярье на нее подействовали. Екатерина не помнит, сколько она ждала. Какая ей была разница — час, три, пять... Важно только одно — ее примут. И вот она в кабинете. Недоуменный взгляд Симонова она встретила прямой репликой: «Я — жена такого-то. Вы, наверное, забыли его?» Он спокойно ответил: «Напомните». Но только она начала фразу, как Симонов воскликнул: «Помню! Помню! Где же он сейчас?» Потом долго расспрашивал о нашей жизни и сказал в заключение, что от обещаний он воздержится, но все, что он может, сделает.

Тепло этой встречи долго согревало наше северное жилище. А потом пришел день, когда мы узнали, что Симонов выполнил свое обещание. Краткая официальная бумага за подписью Главного военного прокурора извещала депутата Верховного Совета СССР К. М. Симонова, что по его письму начат пересмотр моего дела. В марте 1955 года я вернулся в Куйбышев. Проезжая Москву, зашел в военную прокуратуру, и какой-то седой полковник, протянув мне руку, до слез взволновал меня уверенно прозвучавшей фразой: «Ваше дело в суде. Все будет хорошо, товарищ».

И вот когда все действительно стало хорошо, а слово «товарищ» вновь приобрело привычный смысл, я снова написал Симонову. Это было письмо, в котором сливались благодарность и надежда. Ох как не просто быть начинающим литератором, когда тебе тридцать девять лет! И ты не знаешь даже, сохранилась ли у тебя способность выражать свои мысли на бумаге. Свою первую статью я отправил Симонову, в ту пору главному редактору журнала «Новый мир». 10 ноября 1955 года Симонов ответил мне пространным письмом, в котором оспаривал мой анализ «Золотой кареты» Л. Леонова. Он

не оставлял мне никаких иллюзий: «Напечатать эту вашу рецензию в журнале я не вижу возможности...» Однако за всем этим следовало несколько строчек, которые приобрели для меня поистине вдохновляющее значение: «Хотя мне Ваша рецензия и не особенно понравилась, но при всем том я хочу отметить, что написана она квалифицированно, что писать Вы не разучились; как говорится, перо у Вас есть. Не огорчайтесь тем, что первый блин комом. Черкните мне, что делаете сейчас и что собираетесь писать дальше».

Симонов безошибочно угадал, что мне прежде всего хотелось услышать именно эти слова: «Писать Вы не разучились... перо у Вас есть».

Вскоре я предложил Симонову статью о первых стихах Евгения Евтушенко, предсказывая молодому поэту большое будущее. К. Симонов 16 декабря 1955 года ответил: «Ваше общее мнение о стихах Евтушенко разделяю. Думаю, что небольшая статья о нем нас бы устроила. Прошу Вас по этому вопросу связаться с редактором отдела критики журнала «Новый мир» Александром Моисеевичем Марьямовым...»

Так я второй раз попытался напечататься в «Новом мире», и вновь меня ждал отказ. Через несколько лет я подружился с Александром Моисеевичем, и он рассказал мне: «Константин Михайлович, передавая статью, предупредил меня, что очень заинтересован в ее авторе. Но тут же разъяснил: «Однако никаких скидок». А Вы тогда еще не тянули на уровень нашего журнала».

Я не мог знать об этом в конце пятидесятых годов, но правильно угадал главное: Симонов убежден, что я могу, но еще не умею. А для меня самое необходимое и заключалось в том, чтобы поверить: могу. Ведь все остальное решается временем и работой. Через пять лет я был принят в Союз писателей.

3

К сожалению, я уже не помню сейчас с достаточной точностью, как возникла мысль начать работу над пьесой «Маленькая докторша». Представляется, что главный режиссер Куйбышевского театра драмы П. Л. Монастырский где-то в Москве случайно встретил Константина Михайловича и заговорил с ним о возможности создания пьесы по романам «Живые и мертвые» или «Солдатами не рождаются». И вот тогда Симонов предложил ему выделить в романе какую-то одну сюжетную линию, например историю маленькой докторши. Монастырский передал этот разговор мне, и летом 1967 года я повидал Константина Михайловича и получил от него разрешение взяться за дело. Прошло несколько ме-

сяцев нелегкого труда. 23 января 1968 года пришла телеграмма: «Работу над Вашей инсценировкой «Маленькая докторша» на сцене Куйбышевского театра в принципе разрешаю. Одновременно посылаю письмом ряд коррективов. Сердечный привет всем участникам. Ваш Константин Симонов».

Этот ряд исправлений был изложен в огромном четырехстраничном письме. Там содержался новый план всей пьесы, подробное изложение нескольких сцен, которые он решил сам написать, советы режиссеру и художнику. За полмесяца он полностью написал очень ответственную первую картину, основательно переделал еще шесть и отредактировал все остальные одиннадцать.

Через десять лет он напишет мне: «Надя могла появиться и могла не появиться в романах «Солдатами не рождаются» и в «Последнем лете». А без Тани эти романы не могли бы существовать...» В переписке по поводу «Маленькой докторши» еще не было такой категорической формулировки, но необходимость Тани для выражения авторского идеала уже очевидна.

Письма того времени, пожалуй, особенно примечательны как свидетельство интереса Симонова.

Вот что писал Константин Михайлович о начале пьесы:

«В одном углу сцены происходит разговор между Синцовым и Люсиным. Дело в том, что Синцов, пока Таня впадала в забытье, отобрал у нее наган. На эту тему — разговор с Люсиным: зачем отобрал наган? Смысл разговора в том, что Синцов, уже понимая высокий нравственный комплекс Тани, отобрал у нее наган, потому что боялся, что она может застрелиться, чтобы не стать им обузой и не погубить их. А Люсин, не говоря этого прямо, разумеется, в сущности был бы рад, если бы это случилось, и они пошли бы в условиях относительно большей безопасности, с бóльшими шансами на спасение».

И еще одну особенность этих писем хочется отметить — отсутствие в них какого бы то ни было диктата, высокомерного желания командовать. Во всех случаях, когда я советовался с Константином Михайловичем, я неизменно слышал эту бережливую интонацию, эту уважительность по отношению к своим собеседникам и сотрудникам. Встречались мы в разных обстоятельствах — у него в кабинете, в Малеевке, в издательстве, даже за столиком ресторана ЦДЛ, — и всюду мне было с ним легко и просто. Я часто думал, что если Симонова представить подсказанной Л. Толстым дробью, когда в числителе должно быть подлинное значение человека, в знаменателе — его самооценка, то мы получим изрядную величину.

Когда в 1972 году в Куйбышев приехал Театр имени Ер-

моловой и играл у нас спектакль «Завтра в семь...» (по роману «Последнее лето»), он обратился с письмом в редакцию областной газеты: «Мне было очень дорого то, что именно в Куйбышеве впервые шла сделанная по моему роману «Солдатами не рождаются» инсценировка «Маленькая докторша».

Так я узнал, что он все еще помнит о нашем совместном детище, хотя ему не суждено было увидеть «Маленькую докторшу» на сцене.

Увидела куйбышевский спектакль Александра Леонидовна и потом сказала мне, что в письме к сыну очень хвалила работу актрисы Н. Засухиной и весь спектакль в целом.

Как-то, приехав в Малеевку повидаться с матерью, Симонов сказал мне: «В самом деле жалко, что так и не увидел результатов вашей работы». Я немедленно возразил: «Прежде всего, вашей собственной». Он улыбнулся: «Ну, какая же это моя, если я только со слов мамы знаю, как это выглядит». Теперь пользуюсь случаем сказать, что на титульном листе «Маленькой докторши» недаром обозначено, что мне принадлежит только сценическая композиция. Если бы нужно было подготовить сборник пьес К. Симонова, включив в этот сборник и автоинсценировки, то следовало бы включить и «Маленькую докторшу». Все реплики принадлежат Симонову: или взяты непосредственно из прозаического текста, или созданы им в процессе работы над пьесой. Исключения из этого правила ничтожны.

В этой связи я должен рассказать об одном огорчении, которое пришлось мне испытать. Вначале, делая пьесу по собственному плану, я сочинил сцену, когда Таня встречает в партизанском отряде Машу, жену Синцова. С чисто театральной точки зрения эта сцена, видимо, удалась. В труппе нашлась не одна актриса, захотевшая сыграть эпизодическую роль Маши, богатую мелодраматическими эффектами. Но я очень хорошо помню, как Симонов извлек из моей папки эти несколько страниц и добродушно-насмешливым тоном сказал мне: «Этого не надо». Я попытался отстоять свое рукоделие ссылкой на трогательность эпизода. И тогда он откровенно рассмеялся: «Вот он — поединок авторских самолюбий! Только поверьте — вы все это придумали. А войну не надо придумывать».

4

Я решил написать монографическую книгу о Константине Симонове, поделился с ним своими планами. Достав с полки недавно вышедший роман «Солдатами не рождаются», Симонов написал на титуле: «В добрый час». И поставил дату — 2 ноября 1965 года.

Так зафиксировано начало моей работы, которой суждено было завершиться только спустя четырнадцать лет.

Все эти годы я копил материалы, думал над концепцией книги, но часто отвлекался на иные дела. Редкие встречи, редкие письма продолжали поддерживать наше взаимопонимание. Когда работа подходила к концу, я попросил Константина Михайловича прочитать рукопись, — ведь многие подробности его жизни и творчества я добывал из разных публикаций, среди которых могли быть и недостоверные, а творческие его замыслы излагал по догадке, по своим представлениям. Получив согласие Константина Михайловича, я уехал домой, завершил работу и выслал ему тяжеленную папку. А вскоре я неожиданно попал в больницу, перенес сложную операцию; лежал, измученный физической болью, и в силу этого нравственно подавленный, растерявший надежды на выздоровление. И Симонов, вовсе не знавший о моих бедах, снова пришел мне на помощь.

Никогда не забуду того декабрьского дня, когда жена вошла в палату с радостным, давно забытым выражением лица. Она, улыбаясь, показала мне огромный конверт и достала оттуда пачку бумаги. Я сразу узнал такую знакомую, такую нужную мне подпись. Это было письмо Симонова, отправленное 6 декабря 1977 года. Письмо почти полностью опубликовано журналом «Литературное обозрение» (№ 11 за 1979 год), и поэтому я лишь перескажу некоторые его моменты, особенно отчетливо характеризующие масштабы личности Симонова, его поразительную отзывчивость и высокий уровень нравственной требовательности прежде всего по отношению к самому себе.

С моей точки зрения, моя рукопись вовсе не страдала комплиментарностью или каким-нибудь преувеличением значения писателя. Всякого рода эпитеты, конечно, встречались, но они представлялись мне только справедливыми. Иначе взглянул на эти места Симонов. Его «общее замечание» решительно требовало убрать «некоторые превосходные степени». Он, кажется, не пропустил ни одного абзаца, в котором я сопоставлял написанное им со строчками других авторов. Он возмущался: «В данном случае вы сравнили в мою пользу — и зря, это несправедливо. Справедливее было бы сравнить мои тогдашние стихи со стихами моих современников и сверстников, причем безусловно в их пользу, а не в мою». Он решительно отклонил мое предположение, что если К. Симонов не создал и, наверное, не мог создать эпического характера, равного Василию Теркину, то и А. Твардовский не написал и, наверное, не мог написать такие шедевры публицистической лирики, как «Убей его» и «Жди меня». «Насчет шедевров в публицистической лирике, — возражал он, — то лично для меня непревзойденным шедевром такой именно лирики явля-

ются стихи «Я убит подо Ржевом», принадлежащие Твардовскому».

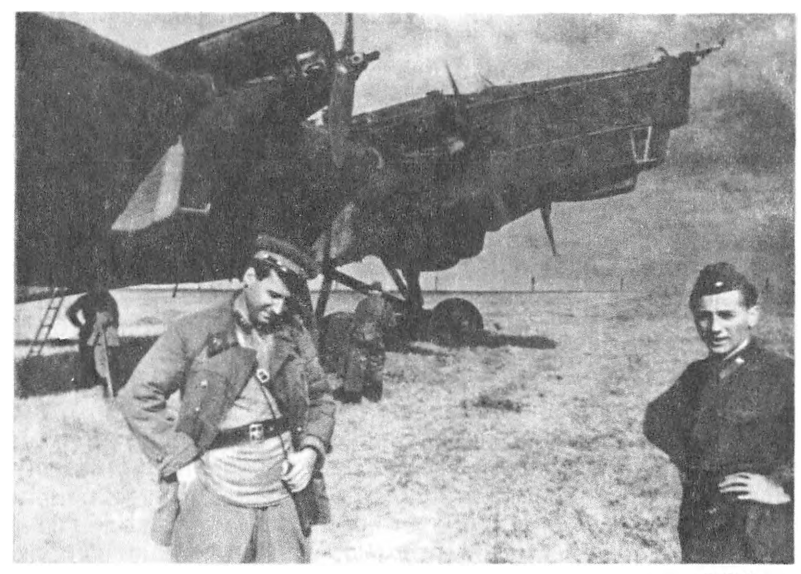
Стоило мне на основании прошлых свидетельств его фронтовых товарищей упомянуть, что Симонов отличался «большой личной храбростью», или заявить, что он первый из литераторов был во время войны награжден боевым орденом, как он бескомпромиссно отвергал подобные утверждения. «...человеком большой личной храбрости никогда не был. Думаю, что человеком долга, в общем, был, как правило, но не сверх того». Так из страницы в страницу. Он бдительно выпалывал любые формулировки, которые могли показаться преувеличением, лестью, фимиамом. Таков был основной смысл текста, который я безоговорочно принял и тут же засел за правку. И признаюсь: делалось это в состоянии подлинного душевного подъема, потому что в письме читался и особенно дорогой, особенно нужный мне подтекст. Не буду скрывать, что работа над монографией шла трудно. Временами меня преследовало мучительное ощущение, что ничего не получается. И вот в письме Симонова звучит явная заинтересованность. Он признал право моей книги на жизнь. Он хотел сделать ее лучше, точнее, справедливее. После получения этого письма мне пришлось провести в больнице еще месяц. Но теперь я энергично боролся с болью, теперь я желал одного — как можно скорее вернуться к письменному столу. Признаюсь в слабости — почти каждый день я перечитывал письмо Симонова. Это помогало мне думать над правкой рукописи, подстегивало, не побоюсь высокого слова — вдохновляло.

Позже мы вместе рассматривали в издательстве оформление книги, спорили о количестве иллюстраций. Производственный отдел предложил дать их на вклейке объемом хотя бы на пол-листа. Константин Михайлович резко возразил: «Это серьезная литературоведческая работа, а не семейный альбом». Я сослался на некоторые прецеденты. Он рассмеялся: «Не будем об этом. Достаточно одной фотографии».

В другой раз я сообщил ему об очередной выходке критика П. Глинкина, статьи которого о военной литературе получили печальную известность. В книге «Страницы подвига», изданной в 1978 году, автор, уверяющий, что «история литературы... не терпит предвзятости», характеризует рассказ Симонова «Пехотинцы» как «нарочитое снижение пафоса» и «предвестие дегероизации». Чтобы оценить это по достоинству, читателю следует знать, что рассказ был впервые опубликован в годы войны не где-нибудь — в «Красной звезде». «Зачем эдакое печатается?» — раздраженно спросил я. Симонов решительно отверг мои претензии: «Надо думать не об этом. Вот если вам не дадут высказаться, если вы не сумеете напеча-

тать свое мнение, тогда худо. Возражать надо по существу!» Симонов, конечно, имел в виду не частный случай. Он и в другой раз в аналогичном разговоре сжато сформулировал свое мнение: «Нужны не запреты. Нужна полемика». «А вам не кажется, — спросил я его, — что мы создаем идеологические качели и понапрасну путаем людей?» Ответ его запомнился своей лаконичной весомостью. «А вы не путайте. Убеждайте. — И Симонов тут же улыбнулся: — Впрочем, мне проще. Я ведь теперь сенатор». (Он уже был «нерабочий» секретарь Союза писателей.)

Последний раз я разговаривал с Константином Михайловичем 3 января 1979 года. Он подарил мне только что вышедшую книгу «Так называемая личная жизнь».



Крым. 1941 г.

Алексей КОНДРАТОВИЧ

«ВСЮ ЖИЗНЬ ЛЮБИЛ ОН РИСОВАТЬ ВОЙНУ...»

«Солдатами не рождаются». Один из моих знакомых, которому название романа Константина Симонова не очень понравилось, сказал как-то, что все это лишь поверхностная символика и мнимая многозначительность: не рождаются и академиками, и доярками, рождаются младенцами... Ну что ж, в буквальном смысле все мы появились когда-то на свет младенцами. И все же, возразил я, название романа если не отличное, то очень точное: солдата не делает солдатом даже армия. Только война.

И я привел в качестве примера случай, который мне никогда не забыть. Произошел он на Мурманском направлении, в 14-й дивизии, где приблизительно за год до этого вместе с Евгением Петровым был Симонов, как раз в расположении того батальона, где находились оба писателя, как раз возле той землянки, в которой рассказывал о встрече с ними командир батальона (как жаль, что не могу припомнить его фамилии). Он рассказывал, когда внезапно в землянку вбежал ординарец:

— Товарищ капитан, убило там сейчас возле землянки... — В том, как он говорил, была явная оторопелость.

— Кого убило? — сильнее ординарца удивился сам комбат.

— Да одного из двух солдат, что поджидали вас...

Землянки в тех местах были жалкими, без обычных накатов (леса-то нет, гористая тундра). Лепились обычно они к скалам, валунам так, чтобы можно было из тонкоствольных кривоватых полярных березок вместе с хворостом соорудить что-то вроде потолка, на который без особой опаски клали хоть какой-нибудь слой земли: тогда и будет землянка. Из такой землянки слышны разговоры снаружи. А тут убило. Чем убило, как убило, если мы не слышали и выстрела, а от разрыва одного снаряда или мины у нас в землянке наверняка бы все вздрогнуло...

Мы выскочили наверх и увидели распростертого солдата без кровинки на лице и рядом с ним — стоящего тоже без кровинки, лишь как-то подергивающего безмолвно губами его товарища. Когда я шел к командиру батальона, то видел их: они сидели на большом теплом на солнце камне, и сопровождавший меня еще спросил, кто они и зачем тут, и один из них, тот, что теперь был мертв, ответил, что их прислали из полка в распоряжение комбата, а тот должен отправить их в роту. Было видно, что это еще не обстрелянные новички, шинели на них выглядели чистыми, и держались они робко, чуть ли не прижимаясь друг к другу. Совсем молоденькие. «Детеныши», — еще подумал я. Но вот один из них уже мертв. «Что произошло?» — спросил комбат, и тот, что остался в живых, чуть не плача, сказал, что он и сам не понимает, как все случилось. «Сидели мы, разговаривали, и вдруг Коля (он так и сказал — Коля) упал». Возле левого виска Коли кровоточила еле заметная ранка. Комбат повернул его голову. «Ну и ну... — протянул он. — Такое и во сне не приснится».

Кругом было на редкость тихо, и я ничего не понимал.

И тогда комбат объяснил мне, что до переднего края здесь метров семьсот, до немцев — весь километр, но по прямой тут не выстрелишь: попадешь только в гору. Значит, залетела какая-то шальная пуля, не исключено, что и наша, и угодила уже на излете бедному парню прямо в голову. Выходного отверстия не было. На излете, и определенно шальная. И неизвестно даже, чья. Черт знает что!

Тогда меня больше всего поразило, как можно на войне нелепо и неожиданно погибнуть. Даже не побывав на передовой. Потом я много раз думал о другой судьбе — того, оставшегося в живых товарища Коли. С какого потрясения начался для него фронт! И кем он стал после этого? Уверен: если все прошло для него более или менее благополучно, стал солдатом. Солдатами становятся. Да, солдатами действительно не

рождаются. Потому что само понятие «солдат» — так, как оно сложилось веками, — включает в себя помимо храбрости, мужества, отваги и прочих доблестей еще одно непременное качество — опыт. Не случайно во время войны в ходу было такое редкое теперь словечко, как «бывалый». Бывалый воин. Бывалый солдат. Василий Теркин. Причем бывалым мог быть, в сущности, мальчишка лет двадцати, но уже, как говорится, прошедший огонь и воду. И также не случайно солдатами, не без оттенка почетной славы, порой называют и генералов, и самих маршалов.

Много позже войны через посредство Симонова, принесшего в «Новый мир» рукопись Конева, я познакомился с самим Иваном Степановичем. Стоило его впервые увидеть воочию, как сразу же приходило на ум: вот настоящий старый Солдат. Хоть и маршал. Глубокие, твердо высеченные годами черты несколько простоватого лица. Умные спокойные глаза чего только не повидавшего на своем веку человека. Он был не в военной форме, а в штатском, и одинаково походил на вышедшего на пенсию сталевара или еще работающего председателя колхоза. Но больше всего именно на Солдата. Пишу это слово с большой буквы не из-за почтительности к маршалу, сказавшему как-то в разговоре, что в конце войны под его началом было миллион двести тысяч человек, а потому, что передо мной был действительно Солдат — революции, трех войн, партии, народа.

Как мне кажется, в названии романа «Солдатами не рождаются» есть итог мысли Константина Симонова и о себе, а не только о других.

Он тоже *становился солдатом*. И стал им.

Если не ошибаюсь, я увидел Константина Симонова первый раз осенью 1938 года в ИФЛИ, куда он, окончив Литературный институт, поступил вместе с Михаилом Матусовским в аспирантуру. Он был кареглаз, черноволос, строен, с мягкими, овально круглыми чертами лица. Красив и уже знаменит. Было ему двадцать три года, но, как многие (не все) настоящие таланты, он буквально ворвался в литературу. В ИФЛИ отлично знали его поэмы «Победитель», «Ледовое побоище». Особенно нравилось стихотворение Симонова «Генерал», посвященное памяти генерала Лукача, Матэ Залки. Все, что происходило тогда в Испании, волновало молодежь, как ничто другое, а в ИФЛИ еще училась дочь Матэ, живая, обаятельная Наталья, которую все звали любовно и нежно — Талка-Залка. Да и стихотворение само по себе превосходное, недавно я его перечитал: живет и останется долго жить. Выскажу, коль к слову пришлось, свое, считайте, субъективное мнение: думаю, что после лирической книги, насквозь пропитанной еще и

мужеством, суровой и целомудренной сдержанностью и строгим духом самой войны, после книги стихотворений «С тобой и без тебя» Симонов-прозаик сначала несколько потеснил, а потом и оттеснил и даже придавил Симонова — поэта-лирика. Лично я об этом сожалею: как бы ни были значительны и нужны его романы, интереснейшее и разнообразное дарование Симонова-поэта осталось не до конца раскрытым, реализовавшимся.

Но вернусь к Симонову, тому, далекому, довоенному, еще даже дохалхингольскому. Как раз от солдата тогда в нем решительно ничего не было. Может, скроме стиха, мерно четкого, как бы уже походного, как бы уже примерявшего на себя шинель, иногда с чужого, но прекрасного плеча, как это было в «Генерале», где так явственно слышна интонация знаменитого «Воздушного корабля» Лермонтова. С чужого, но уже ладно сидевшего на нем самом. И было еще как-то немного странно, что он, Симонов, почему-то вздумал учиться в аспирантуре. До сих пор я так и не знаю, что за тему для диссертации выбрал в ИФЛИ Симонов[1]. Зато я помню, как мы, студенты, сидели в ЦДЛ, в Дубовом зале, на одном из вечеров Ильи Сельвинского, и Симонов горячо (он тогда был еще по-юношески горяч и говорил без пришедшей к нему позднее медлительной рассудительности) обрушился на последние стихи Сельвинского, и тот ничего не мог ответить, кроме очень смешного: «Возражать поэту Симонову я не могу, он еще половину букв русского алфавита не выговаривает».

Бойцовские качества в нем обнаружились рано. И потому никто из ифлийцев не удивился, когда он в следующем, 1939 году исчез из аспирантуры и объявился как корреспондент газеты на Халхин-Голе.

Константин Симонов был фантастически оперативен и смел, дерзок. Могло показаться, что он играет с опасностью и самой смертью: посмотрим еще, кто кого. Это можно почувствовать по его военным дневникам, но лишь при одном условии: если в них внимательно вчитываться и додумывать за автора, чего он не досказал, скрыл от нас, читателей. А не досказывал, скрывал он только одного себя. В дневнике — жанре, казалось бы, сугубо исповедальном, — Симонов все время держит себя где-то на втором, а то и на третьем плане.

Однажды я сказал об этом Симонову, и он ответил: «А как же иначе, это же не дневник институтки, а дневник военных лет, то, что я видел не где-нибудь, а на войне».

Сказал же я ему в связи вот с чем. В дневниках Симонова

[1] *От составителей.* — Диссертация Симонова должна была быть посвящена творчеству А. Блока.

есть небольшой рассказ о том, как он с Евгением Петровым попал под жестокий огонь на наблюдательном пункте одного из полков 14-й дивизии. Небольшая цитата: «Когда два снаряда попадают совсем близко впереди и сзади нас, флегматичный украинец наблюдатель говорит ленивым голосом:

— В вилку взяли. Тот впереди, этот сзади. Теперь аккурат в нас будет.

Петров смеется и говорит мне в ухо:

— Как ни странно, такая форма пророчества успокаивающе действует на нервы. А?

Ему нравится спокойствие украинца».

Дело в том, что я разговаривал с «флегматичным украинцем наблюдателем», когда после Симонова и Петрова побывал и в батальоне, и на НП, и на знаменитой в тех местах и в то время высоте «Пила», о которой тоже пишет Симонов в дневниках. И вот этот украинец, хорошо помнивший писателей и обстрел, под который они попали, сказал мне: «А ведь мы были точно в вилке, и следующий снаряд должен был в нас угодить. И ведь почти, стервец, угодил: метрах в трех от КП в валун вдарил так, что от камня к нам одни брызги посыпались, почище снарядных осколков».

Об этом в дневнике ни слова. И когда я Симонову рассказал об этом, он только пожал плечами: «Мало ли о чем я не писал. Меня в том эпизоде больше всего Петров интересовал». И усмехнулся, держа в правой руке пустую трубку без табака, — была у него в последние годы странная манера «курить» пустые трубки. «А вот Петров, при его в общем немалом корреспондентском опыте, по-моему, всей опасности не представлял. Я даже заметил, что этот флегматик и правдолюб наблюдатель сказал, а сам сжался и приник к земле, ожидая, что следующий снаряд в нас действительно грохнет».

Подумал-подумал и добавил, словно подытожил эту тему: «Да мало ли чего было и что не попало в дневники! Эх, и никуда не попадет! Такова писательская доля: видеть больше, чем сможешь изложить на бумаге».

Симонов успел в войну столько, сколько — думаю, что не преувеличу, — не успел увидеть ни один из писателей. Где он только не побывал! Из одних его командировочных удостоверений, наверно, можно было бы переплести целую книжку. Но это шутка. А не в шутку — не в моей одной памяти навсегда отпечатались четыре выходившие во время войны одна за другой книги Константина Симонова «От Черного до Барен-

цева моря. Записки военного корреспондента». Сравнительно небольшого формата, но довольно толстые, они, пришедшие с фронта в виде корреспонденций и очерков, возвращались обратно, но теперь уже на все фронты, и зачитывались там до дыр.

Михаил Иванович Калинин в одной из своих речей во время войны сравнил боевую страстную публицистику Ильи Эренбурга с действиями целого соединения. То же самое можно было сказать и о Симонове. Ведь кроме бесчисленных очерков и корреспонденций, написанных с самых, хочу подчеркнуть это слово, *самых* горячих, генеральных в тот момент боевых направлений (Западный фронт, Одесса, Севастополь, Рыбачий полуостров, снова Западный фронт, Сталинград, Орловско-Курская дуга, опять Западный фронт, Украинские фронты — Первый, Второй, Третий и Четвертый, а потом Польша, Румыния, Болгария, Югославия, наконец, поверженная в прах Германия, последние бои за Берлин, я перечисляю только самое, опять *самое* важное, где побывал Симонов, писатель и военный трудяга корреспондент, — ведь помимо повседневной, не терпящей малейшего отлагательства газетной работы (бои, бессонница, какие-то там давно потерявшие счет обстрелы и бомбежки, не в счет!) он создавал еще и стихи, пьесы, рассказы, повести, выпускал сборники, вроде таких, как «Славянская дружба», «Югославская тетрадь», «Письма из Чехословакии»... Останавливаюсь: у меня уйдет целая страница на одно упоминание написанного Симоновым. Невероятно. Но факт. Я думаю о писателях, которые больше всех сделали для нашей победы, и на меня, как в кино, наплывают три имени: Эренбург, Твардовский, Симонов. Все они знали «одной лишь думы власть». Впрочем... Сколько не тысяч, а миллионов мы могли бы поставить в этот навеки святой для нас ряд живых и мертвых. Тут я уже говорю словами другого названия романа Константина Симонова.

Он сделал для нашей великой победы невероятно много. Когда я его снова увидел, уже после войны, то сразу и не узнал: он очень изменился, юношеская округлость лица навсегда исчезла. И появилось неторопливое, абсолютно несуетное спокойствие умудренного жизнью человека. Он по-прежнему любил и шутки, и даже розыгрыш, не потерял свойственного ему озорства, но приучился еще и всматриваться, вслушиваться, глядя иногда неподвижно в собеседника и думая при этом что-то свое. В нем появилось то, что называется зоркостью и мудростью многое узнавшего на своем веку человека.

...Так получилось, что после войны Симонов и Твардовский сменяли друг друга на посту главного редактора «Нового мира»: сначала Симонов, выведший этот журнал на новую стезю (в военные годы он вынужденно потоньшал), затем Твардовский, прибавивший ему в весе и авторитете, потом снова Симонов, потом опять Твардовский. Оба много сил отдавали журналу. Я пришел в «Новый мир», когда там был Твардовский. Но с полгода мне пришлось работать и с Симоновым. И, может быть, особенно сильное впечатление на меня произвел такой случай. Он уехал в командировку в Скандинавию. Вернулся, и всего через неделю я увидел, как машинистка печатает страницу, близкую к сотой, а может, и перевалившую за эту цифру. «Что это?» — спросил я почти машинально. «Симоновские впечатления о поездке», — спокойно ответила она. Я слышал, знал, что ему не хватало двух машинисток и стенографисток, — изматывались, не выдерживали его рабочего темпа. Но чтобы за какую-то неделю — и сотую...

Константин Симонов прожил по нашему нынешнему представлению не так много: умер, не дожив до шестидесяти четырех. Но я убежден: он прожил не одну, а две, три, может, и больше жизней. Дело не в количестве им написанного. Не в качестве: оно, как и у всех истинных талантов, разное. Даже не в разножанровости дело. Суть в непрерывной, не знавшей отдыха работе. Однажды он сказал, что работает не больше рабочего: обычный восьмичасовой день. Есть и выходной — раз в неделю. Есть и месячный отпуск, когда он отдыхает. Я в это не верю. Он работал как каторжник, навсегда приковавший себя к тачке творчества. «Ни ночи нету мне, ни дня, ни отдыха, ни срока, моя задолженность меня преследует жестоко», — написал как-то Твардовский. Пожалуй, Симонов ощущал эту задолженность не менее остро, чем Твардовский.

Одно время я был редактором его военных дневников. И знал, что он просиживал часами и днями в Подольском военном архиве, постоянно встречался с маршалами, генералами, сержантами, рядовыми. И часто это бывало ради одной строчки, уточнения одной даты, названия безвестной деревушки, обозначенной, пожалуй, лишь на топографической карте. Он любил точность во всем, — по-видимому, тоже военная жилка. Оттого все написанное им — чистая, стопроцентная правда чувств, характеров и просто фактов. Правда для него была высшим законом, и в разысканиях подлинной правды он бывал дотошно педантичен. Помню, как в течение целой недели он уточнял маршрут одного из полков на Западном фронте. Мог бы вообще не писать

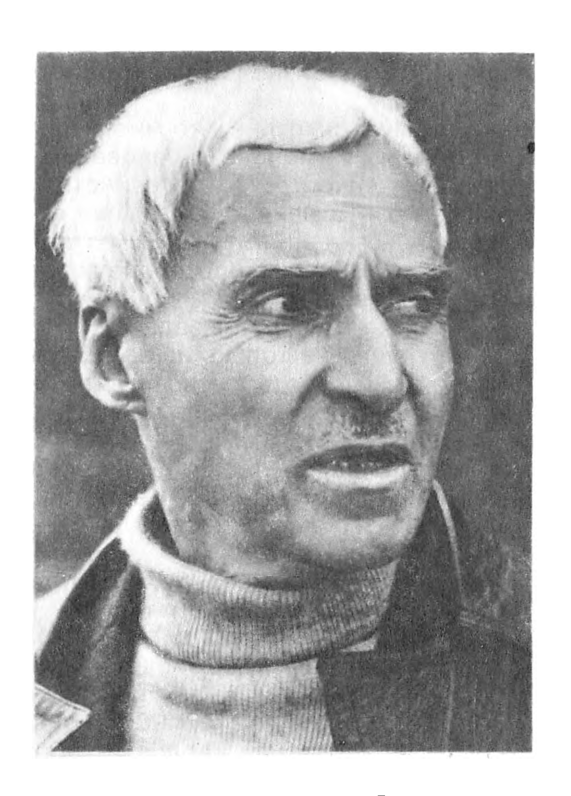
о нем. Он, Симонов, не мог. Иначе бы он не был Симоновым.

В одном из своих самых ранних стихотворений Симонов написал пророческие слова о том, что подлинный человек уходит из жизни, все равно не доделав всей работы: она пожизненна и в сущности своей бесконечна, точнее — нескончаема; кончил одно — а там стоит череда других дел, не менее важных. Таков уж человеческий удел.

Начинается это стихотворение 1939 года так:

Всю жизнь любил он рисовать войну.
Беззвездной ночью наскочив на мину,
Он вместе с кораблем пошел ко дну,
Не дописав последнюю картину.

Войну он не рисовал, он ее делал, как солдат делает свое положенное ему дело. И на мине не взорвался. И сделал очень много. Хотя, как все художники, — не всё. В этом печальная и беспощадная суть раннего стихотворения.



Берлин. 1978 г.

Фридрих ХИТЦЕР

РАЗГОВОР, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ КОНЧИТСЯ...

Мне тяжело писать воспоминания о человеке, много для меня значившем, тяжело — потому что если теперь я захочу спросить его мнение, захочу что-нибудь рассказать ему, попросить его о помощи, он не сможет мне ответить.

И мне еще тяжелее, и внутренне я не могу примириться с тем, что должен говорить о нем в прошедшем времени.

Есть писатели, с которыми хочешь познакомиться в надежде, что величие их произведений соответствует человеческому величию; если же это оказывается иллюзией, испытываешь сожаление, что узнал этого писателя близко, и даже делаешь над собой усилие, чтобы относиться к его литературным произведениям без предвзятости. Крайние противоречия, которые рождает наш век, могут породить, в свою очередь, глубокий разлад в человеческой личности. И отнюдь не только писатели используют маски, делающие их неузнаваемыми,

подчиняют любой ценой свою работу карьере и забывают о гуманизме.

Поэтому я счастлив, что мне выпало познакомиться в лице Константина Симонова с человеком и писателем, в котором ощущаешь такое глубокое единство слова и дела, работы и жизни, что это влияло и на меня, становилось частью моих собственных усилий, потому что помогало лучше постигать головокружительные противоречия нашего времени и учиться их преодолевать.

Но как же трудна моя задача!

Она трудна не только из-за необходимости искать верные слова и при этом относиться к пережитому с той мерой добросовестности, которая была присуща Симонову. Трудность эту усиливает не только мое недоверие к воспоминаниям. Ведь выбирая форму от первого лица, попадаешь на самый сложный уровень литературы — обретаешь статус свидетеля. А в чью пользу ты свидетельствуешь? В его? В свою? Какое дело защищаешь и перед кем?

Нет, взяться за перо меня заставляют не воспоминания. Дело в актуальности разговора, который продолжается; высказанное и продуманное в этом разговоре соединяет прошедшее и будущее, удерживает в памяти и развивает то, о чем я должен говорить с другими. Прежде всего есть тема, которая в малом и в большом охватывает всю планету и крошечное Я: биение сердца и работа мозга, заставляющие человека — из-за чувства бессилия и ужаса перед тотальным уничтожением — почти замолкнуть, а против этого нужно бороться всеми силами, чтобы не утратить чувство свободы и ответственности, сохранить способность ощущать радость, звучащую в творениях Бетховена и Шиллера, в великой песне, прославляющей победу человечества, мир и творчество.

У меня встречи с Константином Симоновым, чтение его прозы, лирики и публицистики, его дневников и писем вызывали чувства, которые одновременно были беспокойством и позволяли спокойно собирать свои силы. Его целеустремленность, его искусство запечатлевать историю в качестве летописца и поэта в те крайние моменты, которые требуют напряжения всех сил, определили мою жизнь уже тогда, когда я еще ничего не мог знать о них, и позднее, уже на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов, когда я уже мог знать, но отнюдь к этому не стремился, находясь под влиянием ложных исторических представлений.

Что могло получиться из мальчика, родители которого с трудом собрали средства, чтобы дать ему образование, а его учитель в школе в 1944 году посоветовал им, учитывая способности их сына, отдать его в школу Адольфа Гитлера (элитарное нацистское учебное заведение).

Наверное, важно, а может быть, в конечном счете и

неважно, что родители не последовали этому совету, несмотря на то что отец был членом национал-социалистской партии. Меня, однако же, берет ужас при мысли о том, что́ могло получиться из того мальчика, если бы Германия добилась «окончательной победы». Как могли противостоять родители искушениям фашистской демагогии, обещаниям «земли обетованной» в победоносном третьем рейхе?

Когда в «Разных днях войны» я читаю заметки о войне, сделанные весной 1945 года 29-летним Симоновым, который хотел понять, почему так много немцев пошло за Гитлером и выполняло его бессмысленнейшие приказы, то мне не приходит на ум почти ничего, что могло бы сравниться с этими заметками, по той точности, с которой в них развенчивается демагогия, обман и самообман, по способности открывать человеческое в том смертельном враге, который пришел из Германии. Я встретил конец войны десятилетним мальчиком в разбомбленном, лежащем в пепле и развалинах когда-то замечательно красивом старинном городе, который находился в американской оккупационной зоне, пока не была образована Федеративная Республика Германия. Прошло много лет, прежде чем я стал понимать, что мы были освобождены; понадобилось прожить еще годы и пройти много трудных, порой ведущих в тупики дорог, прежде чем я постепенно понял, кто предпринял самые большие усилия для этого освобождения, кто принес самые огромные жертвы.

И сегодня, когда повторяются симптомы, которые один раз уже привели к самой ужасной войне в истории человечества, думая о том, чему я научился или мог научиться у Константина Симонова, я не могу не воспринимать каждую прочитанную у него строчку, каждое слово, слышанное от него во время наших встреч, как задание, хотя он никогда мне его не давал.

И наш разговор никогда не кончится, пусть теперь я слышу его голос только на магнитофонной пленке.

«Откровенность за откровенность» — назвал я изданную мной в 1978 году книгу диалогов, полемических разговоров, обмена мнениями между людьми различных профессий в Федеративной Республике Германии и в Советском Союзе. Так назвал Константин Симонов свой ответ на «Открытое письмо одному советскому писателю, касающееся прошлого», которое направил ему Альфред Андерш.

«Откровенность за откровенность» — в этом-то я и видел свою задачу. Расставить в океане враждебности по отношению к Советскому Союзу вехи понимания, стремления научиться общаться друг с другом, делая упор на все то, что было торжественно подтверждено в Хельсинки.

Симонову я и рассказал о своей идее в его московской

квартире в декабре 1975 года, спросил его, как он относится к моему замыслу и не согласится ли принять в нем участие.

Мне не давала покоя идея, чтобы Константин Симонов, советский русский писатель, родившийся в 1915 году, вступил в открытый диалог с немецким, живущим в Швейцарии, родившимся в Мюнхене писателем Альфредом Андершем; оба они принадлежали к поколению моего отца, поколению, втянутому в Германии в истребительную войну против Советского Союза.

Константин Михайлович выслушал меня, не гася своей любимой трубки. Без предисловий, спокойно и деловито он объяснил мне, как, по его мнению, должен протекать диалог: «Один начнет. Лучше немец. Ведь это ваша идея. Я отвечу. А если участники еще раз захотят высказать свое мнение, пусть им будет предоставлена такая возможность».

Едва вернувшись домой, я написал Альфреду Андершу. Мы перезвонились. Голос его, который с 21 февраля 1981 года, к сожалению, можно слышать тоже лишь на пленке, звучал спокойно и сосредоточенно: «Это великолепно. Конечно, я включусь. И с условиями я согласен».

Не буду здесь касаться длинной истории осуществления всего плана. Не буду касаться и подробностей изнурительных переговоров с редакцией газеты «Ди цайт», напечатавшей полностью письмо Андерша, но во что бы то ни стало хотевшей в урезанном виде дать читателям великолепный ответ Симонова[1]. (Переписку, отражающую эту борьбу, которая закончилась нашей победой, я опубликовал в редактируемом мной журнале «Кюрбискерн», 1978, № 4.)

Невосполнимая потеря этих двух больших писателей, которые, принадлежа к одному поколению, ушли из жизни почти одновременно — с разницей в несколько месяцев, — каждый раз потрясает меня, когда я думаю, сколько еще при встрече этих двух людей, посредником между которыми мне посчастливилось быть, могло родиться драгоценных идей и предложений для дела мира и труда, на пользу всему человечеству.

В начале второго тома «Разных дней войны» (1942—1945) Симонов пишет о русском бургомистре, находившемся на службе у немецких оккупантов, о хиви, как немцы называли коллаборационистов советского происхождения. Константин Михайлович пишет о том, как противен был ему этот человек. При этом на память ему приходят прекрасные слова Велимира Хлебникова о том, что Млечный Путь человечества, раз-

[1] На русском языке письмо К. Симонова опубликовано в его книге «Сегодня и давно» (М., 1978).

делился теперь на Млечный Путь изобретателей и Млечный Путь приобретателей. Того хиви Симонов относил к приобретателям.

Я не хочу философствовать на тему, принадлежит ли теперь мое поколение в большинстве своем к изобретателям или к приобретателям, однако подозреваю, что тенденция к приобретательству в ФРГ преобладает, и не только потому, что обстоятельства, существующая система человеческих отношений делают приобретательство самым заманчивым стилем жизни, но еще и потому, что мало у нас отцов, которыми можно было бы гордиться.

Как, к примеру, можно гордиться отцами, которым, правда, тяжело приходилось на фронте, но ведь все свое мужество они использовали для слепого повиновения, для осуществления идеи мирового господства, предполагавшей уничтожение целых народов, представителей которых, не долго думая, объявляли недочеловеками?

Тот, кто познакомится с творчеством Симонова, найдет, не будучи оскорблен в своем чувстве национального достоинства немца, пути к освобождению для себя самого и для других, когда прочтет о судьбах тех, кто нарушил планы людей, провозгласивших себя расой господ.

Константин Симонов писал так ярко и правдиво, что я не могу себе представить, чтобы кто-то относился к нему без доверия. И я бы очень хотел, чтобы его трилогия о войне была включена в учебные планы по изучению мировой литературы в нашей школе, а также преподавалась солдатам и офицерам бундесвера.

Конечно, это мое желание — пока иллюзия; и, конечно, мысль, что каждый его читатель будет относиться к нему с доверием, наивна.

«Чужого горя не бывает» — это название небольшого сборника симоновских стихов, посвященных борющемуся за свободу и независимость вьетнамскому народу, программно и противоположно основному закону мира капитала. Не может быть никакого сочувствия к чужому горю, если существование построено на приобретении предметов и удовольствий любой ценой, при любых условиях. Это и есть чрево того порядка, о котором Брехт писал, что «еще плодоносить оно способно», — чрево фашизма.

Когда мы встречались, темой наших разговоров всегда был вопрос о том, что можно сделать для того, чтобы преодолеть губительное влияние манипуляции мнениями и жизненными устремлениями.

Среди советских товарищей, с которыми мне посчастливилось встречаться, прежде всего Константин Михайлович Симонов и Михаил Ильич Ромм убедительно для меня и ярко показали дегуманизацию общества, привыкшего к чужому

горю, к катастрофам и преступлениям. Это было темой фильма Ромма «Обыкновенный фашизм», и во всех произведениях Симонова возникает вопрос о тех влияниях и силах, которые определяют мысли и действия людей, вопрос об освобожденном или обманутом.

«Я пробыл здесь всего несколько дней, — сказал я как-то Константину Михайловичу в его московском рабочем кабинете, — и отсюда, находясь в другом общественном климате, я чувствую еще отчетливее, чем у себя дома, на что толкает людей массовая манипуляция мнениями. Люди же в своих талантах и достижениях, в своих хороших и плохих качествах всюду схожи».

Симонов кивнул: «Когда я бываю на Западе, я испытываю похожие чувства».

Он испытал не единожды то, что я вижу каждый день и что стало для меня привычным. Уже в 1946 году в Сан-Франциско он выступил с речью, которая была проникнута мыслью о мире, о совместной антифашистской борьбе и о столь важной поэтому дружбе народов СССР и США... Симонов сказал тогда, словно предвидя сегодняшнее:

«Свобода совести — прекрасная вещь, но, к сожалению, некоторые американские журналисты понимают эту свободу совести как свободу не иметь совести».

В симоновском описании сцены, когда Кейтель подписывает капитуляцию, уже можно увидеть все будущие компоненты реваншизма. Молча сжав губы, Кейтель подошел к столу и, посмотрев на Жукова, перевел задумчивый взгляд на представителей западных держав, как будто хотел сказать: вот чего вы от меня требуете, разве вы не видите, что мы только ждем приказа выступить вместе с вами против русских?

Разве в тех строках, которые записал тридцатилетний Симонов в 1945 году в свой дневник, не заключено объяснение того, как формировались реваншистские силы, как возникли неонацистские организации, как произошла реабилитация Гитлера в многочисленных западногерманских публикациях, почему такой популярностью пользуются воспоминания в дешевых сериях бывших солдат рейха, прославляющие грабительскую войну романы Конзалика?

То, что Симонов фиксировал в 1945 году, давно стало сутью основных идей неонацизма и сил, способствующих его развитию. Многие симоновские слова 1945 года звучат сегодня особенно актуально.

Ни по одному вопросу Симонов не занимал позицию зрителя, присутствующего на волнующем спектакле. И уже во время нашей первой встречи в 1972 году в Мюнхене проявилось его стремление к активной деятельности, к поискам союзников в борьбе за разоружение и созда-

ние климата, который обеспечил бы мир и безопасность в Европе.

Константин Симонов (с ним были Лев Гинзбург и Александр Караганов) стремился завязать разговор с коллегами — представителями союза немецких писателей. Конечно, в отношении общих вопросов взаимопонимание было достигнуто, но уже тогда было ясно, что разговор не будет легким из-за демагогической кампании борьбы за «права человека» в социалистических странах, необходимо было преодолеть боязнь контактов, достигнуть конкретных договоренностей, и выполнять их, и выступать активно за то, чтобы в средствах массовой информации хотя бы упоминали о разумных инициативах, а не замалчивали их.

Я тогда впервые увидел, как спокойно, с каким достоинством реагировал Константин Михайлович на нападки задающих тон на литературной сцене ФРГ критиков.

Насколько терпелив Симонов, я имел возможность убедиться и тогда, когда переводил ему предисловие к первому вышедшему в ФРГ сборнику избранных произведений Александра Твардовского.

В 1972 году Константин Михайлович приехал на Франкфуртскую книжную ярмарку. Мы гуляли по городу, покупали подарки, встречались в роскошном отеле «Франкфуртер Хоф» с западногерманским издателем Симонова — Хельмутом Киндлером, который жаловался на то, как трудно распространять на Западе советского автора, который не устраивает у себя на родине никаких политических скандалов. А потом, сидя на скамейке перед одним из выставочных залов и греясь в лучах сентябрьского солнца, мы рассматривали издание Твардовского.

В моих ушах еще звучали слова, сказанные Симоновым о значении Твардовского во время одной дискуссии, происходившей весной того же года в итальянском ресторане в Швабинге.

— Для меня было бы очень важно, если бы вы поддержали это издание, Константин Михайлович, — сказал ему тогда Александр Кемпфе, переводчик и редактор сборника.

— Я охотно это сделаю, но как друг и почитатель поэзии Твардовского и в качестве председателя комиссии по наследству поэта, я хотел бы знать, на что делают главный упор издательство и редактор.

Кемпфе ответил взволнованно и искренне:

— В ФРГ Твардовский неизвестен как поэт. Его знают в связи с нашумевшим именем одного диссидента. На это надо идти, если хочешь сделать Твардовского известным.

Константин Симонов прокомментировал это весьма определенно:

— Никто не имеет никакого отношения к достижениям

Твардовского. Твардовский большой поэт, произведения которого знают многие миллионы людей, знают даже наизусть. Может быть, он даже значительнее Маяковского. Если вы приплетете к изданию Твардовского кого бы то ни было, я не поддержу этого издания.

Кемпфе реагировал бурно, он защищал сборник, наконец обратился ко мне:

— Ты ведь знаешь, что иначе Твардовский не пройдет.

Конечно, Кемпфе, вся жизнь которого посвящена созданию в ФРГ объективной картины достижений советской литературы, ни в коей мере не хотел умалить поэтических достижений Твардовского. Но он знал и своих издателей. Я попытался объяснить Симонову положение, в котором оказался Кемпфе, одновременно подчеркнув, что Симонов, безусловно, прав по сути.

Константин Михайлович твердо стоял на своем.

И вот полгода спустя перед нами лежал готовый том. На суперобложке книги можно было прочитать текст письма, в котором говорилось, что Симонов якобы одобрил западногерманское издание и его состав. А предисловие издателя содержало все то, против чего возражал Симонов.

Разве это не классический пример отчаянного стремления западногерманского переводчика быть объективным и в то же время вынужденного приспособиться к определяемому антисоветскими настроениями книжному рынку в ФРГ?

Эти и другие вопросы мы обсуждали, сидя в одном из залов книжной ярмарки во Франкфурте-на-Майне. Симонов время от времени кивал, комментируя тот или иной пассаж обстоятельного эссе, посвященного двум совершенно несоединимым писателям и людям. И снова ни одного ранящего слова или решительного отказа от попыток понять. Он ведь мог бы сказать коротко и ясно: не хочу больше иметь дело с этими проклятыми западными немцами.

Его доверием злоупотребили и тогда, когда без согласия автора издали роман «Живые и мертвые», сократив его на сто страниц (восстановленных лишь позднее, во втором издании). В письме, написанном мне Симоновым 14 июля 1977 года, когда хотели «ампутировать» его письмо к Андершу, он приводит некоторые примеры подобных случаев, в том числе с изданием Твардовского:

«...в 1972 году, например, издательство «Ланген-Мюллер-Хербиг», выпустив однотомник Твардовского, к которому я, по ряду причин, достаточно подробно изложенных мною в официальном письме в издательство, отказался писать первоначально запланированное в нем мое предисловие, — не постеснялось на суперобложке этого издания процитировать — без моего согласия — абзац из моего предваритель-

ного письма в издательство, написанного в качестве председателя комиссии по литературному наследию Твардовского, вдобавок без моего согласия до неузнаваемости изменив эту цитату при помощи довольно ловко произведенного сокращения ее. В письме я писал: «По поручению комиссии и М. И. Твардовской хочу выразить наше общее удовлетворение тем, что в Вашем издательстве будет выпущен однотомник А. Т. Твардовского. Нам представляется, что это должно быть важным моментом в развитии культурных и литературных связей между нашими странами. Мы удовлетворены Вашим намерением базировать «Избранное» Твардовского на немецком языке на текстах пятитомного собрания сочинений А. Т. Твардовского, вышедшего в Москве и считаем такой принцип совершенно правильным и плодотворным».

Так вот из этой цитаты издательство сочло возможным вычеркнуть слова: «базировать «Избранное» Твардовского на немецком языке на текстах пятитомного собрания сочинений А. Т. Твардовского, вышедшего в Москве».

После такого сокращения дело выглядело так, как будто я одобрял в целом это издание, включая и сопровождавшее его предисловие, и комментарий, о которых у меня было совершенно иное и хорошо известное издательству мнение. Между тем как в моем письме речь шла всего-навсего о том, что я одобряю принцип перевода текстов с последнего, вышедшего в Советском Союзе, прижизненного издания автора. Разница, по-моему, достаточно ясна, так же как и цель, которая при этом преследовалась».

На меня всегда производило глубокое впечатление: сколько ни пытались злоупотребить благородством Симонова это не вызывало у него враждебности к стране, которая однажды уже показала, на что способны люди, исполненные ненависти и презрения к другим людям.

На книжной ярмарке 1972 года он только сказал:

«Ну да, они действуют любыми методами».

Это проявилось еще более отчетливо, когда в 1973 году «Ди вельт» опубликовала комментарий, посвященный сделанному Симоновым документальному фильму «Чужого горя не бывает». Спустя почти три десятилетия после 1945 года мы читали: «Константин Симонов, советский журналист, впервые обратил на себя внимание, когда, будучи в 1944 году военным корреспондентом, писал корреспонденции о высадке союзников в Нормандии. Западные журналисты говорили тогда о «симоновских сказках».

Недавно журналист Симонов вновь привлек к себе внимание Запада. Он является автором просеверовьетнамского фильма, снятого на Центральной киностудии документальных фильмов в Москве.

Один кадр фильма «Чужого горя не бывает» показывает

маленького мальчика, который одиноко сидит на рельсах. Советский текст гласит: «Маленький северный вьетнамец, чьи родители убиты жестокими американскими летчиками».

Москва недооценила память некоторых датчан, которые недавно смотрели этот фильм в Копенгагене. Они вспомнили, что видели именно этот снимок во всемирной истории Гриммберга, т. 16, стр. 20. Там подпись гласит: «Осиротевший ребенок в 1937 году, после японской бомбежки».

Константин Симонов послал опровержение в редакцию «Ди вельт», которое 7 февраля 1973 года я прочитал в «Литературной газете».

«Ненависть делает слепыми. Мне это вновь подумалось, когда я прочитал в «Ди вельт» заметку о моем фильме «Чужого горя не бывает».

Да, совершенно верно, один кадр моего фильма показывает маленького мальчика, который одиноко сидит на рельсах.

Только мой советский текст звучит совершенно иначе, чем это мне приписала «Ди вельт»: не «Маленький северный вьетнамец, чьи родители убиты жестокими американскими летчиками», а «мне было двадцать два года, когда японские самураи сбрасывали бомбы на китайских детей».

В 1937 году мне было двадцать два года, и именно о том времени я произносил слова, сопровождавшие этот кадр моего фильма о Вьетнаме.

Я сознаюсь, что не видел шестнадцатого тома «Всемирной истории» Гриммберга, но зато я видел журнал «Лайф» от 17.12.1971 года, в котором был напечатан именно этот кадр из моего фильма, фотография «маленького голого мальчика» с подписью: «Китайский ребенок, который потерял свою мать во время воздушного налета на Шанхай в 1937 году». Итак, ясно: «Ди вельт» опубликовала совершенно сознательную фальшивку, изготовленную по шпрингеровским рецептам.

Причина этой фальшивки очевидна: кому-то не понравилось, что датское телевидение показывало советский фильм «Чужого горя не бывает», фильм о бомбах, которые падают на маленьких детей.

Вот отсюда и попытка скомпрометировать фильм «Чужого горя не бывает», не испугавшись подлога.

Можно только пожелать, чтобы у редакции газеты нашлось еще достаточно совести, чтобы опубликовать это опровержение!»

Читатели шпрингеровской газеты так же напрасно стали бы дожидаться этого, как и читатели других буржуазных газет, чьи корреспонденты были аккредитованы в Москве и чьим редакторам стал известен этот факт.

Пренебрежение к чужому горю и совершенно сознательная ложь в первую очередь были направлены на моих согра-

ждан, которые не должны были узнать, о чем шла речь в этом фильме.

Я пересказал Симонову эпизод, о котором мне рассказала моя жена Сильвели. Один ее коллега, мелкий служащий и резервист бундесвера, откровенно заявил ей:

«Если ваш муж будет продолжать так себя вести, он попадет в черный список».

«Да он уже в нем», — ответила она, не давая себя запугать.

«Второй раз мы не проиграем. Теперь на нашей стороне американцы».

Она промолчала.

«И мы войдем в Москву, — заявил он с победным видом, — потому что второго Сталинграда не будет».

Выслушав мой рассказ, Симонов коротко ответил:

«Пусть попробуют».

В опубликованном сценарии фильма «Шел солдат...» Симонов напечатал рассказы людей, которые не остались беспомощными и бессильными, которые изведали страх, но нашли в себе силы остановить и победить фашизм.

Симонов приводит высказывания людей, которые, как и он сам, еще не известны большинству немцев в ФРГ; однако, если бы их мысли стали широко известны, сделались бы важны для большинства немцев:

«Я, думая о Родине, написал про эти три березы, но не обязательно березы!

Для украинца — тополя, для казаха — степь.

А для белоруса или для меня, русского, — березы.

Фашисты в годы войны чаще всего называли нас всех: «русс» — русские!

Но мы были не только и не просто — русские, мы были советские. Фашисты говорили, что они воюют с Россией, «Руссдянд»!

Но они воевали не просто с Россией, а с Советской Россией.

А если еще точней — с Советским Союзом.

Фашисты в начале войны очень любили снимать в толпе пленных азиатские лица.

Дураки, — они считали нашей слабостью то, что было нашей силой. Силой нашего единства».

В своих мыслях и чувствах Симонов стремился выразить самое существенное. Когда он предоставил мне возможность посмотреть документальную серию, посвященную тем неизвестным, кого он стремился сделать известными, он спросил меня, какое впечатление произвел бы подобный фильм в ФРГ, если бы его показали по телевизору.

«Мы еще недостаточно сильны, чтобы добиться его показа. Но если его хорошо дублировать, он многих бы потряс и дал

бы повод задуматься о том, насколько лживы слова о «советской угрозе», — ответил я.

Точность и искренность, глубокая непосредственность при передаче пережитого, с которой Симонов ведет диалог с бывшими советскими солдатами, должна была бы привлечь тех немцев, а их немало, которые не хотят, чтобы их еще раз обманули.

Когда я летом 1972 года побывал у Симоновых в Гульрипши, на мой вопрос, почему он вновь и вновь обращается к теме войны, он ответил мне:

«Нельзя сказать, что я возвращаюсь к военной теме. Я ее просто продолжаю. Когда-то я уже ответил на подобный вопрос, что буду писать о второй мировой войне до тех пор, пока не будет исключена вероятность третьей мировой войны. А подобная угроза пока еще существует. Мне представляется необходимым напомнить о том, что значила вторая мировая война, что она принесла человечеству. По своей сути так называемая военная тема — это не только тема войны, но и мира, не только тема прошлого, но и будущего человечества. Каким будет это будущее? Будущее с войнами или будущее без войн?»

В то лето мы с Сильвели провели несколько дней в замечательной Колхиде, где когда-то аргонавты искали золотое руно — символ богатства и храбрости.

Гагра. Пицунда. Сухуми. Гульрипши. Побережье с богатой флорой и фауной, на фоне панорамы Кавказа, вблизи от истоков возникновения нашей цивилизации.

В Гульрипши, маленьком романтическом абхазском местечке, Симонов в течение двадцати четырех лет создал более половины своих произведений.

Дача — незаметный, спрятавшийся в деревьях и кустарниках домик, уютно обставленные комнаты, в соответствии со вкусами Симонова, на берегу Черного моря, — была бы идеальным местом, чтобы сконцентрироваться только на себе и на искусстве, чтобы забыть о том, что происходит в мире, как это делают некоторые мои соотечественники в Тоскане, в Южной Франции, потому что не в состоянии больше выносить конфликты и борьбу в Федеративной Республике.

Константин Михайлович сказал нам, как он представляет себе распорядок в те два дня, что мы должны были провести с ним и с его женой: утром он будет работать, а потом пообедаем вместе с ним, Ларисой и их дочкой. Все шло своим естественным порядком: работа, потом разговор, который я записал и позднее опубликовал в «Кюрбискерне», и незабываемая беседа за гостеприимным столом под вьющимся виноградом с великолепной абхазской и русской едой и прекрасным грузинским вином с его ни с чем не сравнимым сухим букетом.

И среди этой райской идиллии шел разговор о том, что́ не позволяет человеку отрешиться и просто наслаждаться красотой природы и превосходным вином.

Здесь работал, сознавая свою ответственность перед литературой, художник, который не искал уединения, чтобы замкнуться в себе или спрятаться от вопросов, затрагивающих наше будущее, а, напротив, стремился сконцентрироваться на том, чего он хочет добиться печатным словом.

В том месте побережья, которое связано с легендой об аргонавтах, я узнал от человека, убежденного в том, что люди могут разрубить узел, олицетворяющий понимание мира исключительно как дарованную слепой судьбой короткую передышку между войнами, в чем состоит секрет победы.

«Чужого горя не бывает» — разве в этих словах не выражена та естественность, с которой Константин Симонов связывал национальное чувство с интернационалистским? И, поскольку он был не одинок в своем чувстве, это вошло ему в плоть и кровь, это и было основой его характера, этим объяснялись его стойкость и солидарность с теми, кто защищает правое дело. Все это черты человека, который в годы, когда поколение моего отца (и сам мой отец) было превращено в оружие уничтожения, боролся за создание общности разных народов, включая и тех, что когда-то враждовали.

— У Симонова сразу чувствуешь себя как дома и очень свободно, — говорил мне Петер Вайс в Москве после длинного разговора на симоновской кухне в 1974 году.

Это значило: на него мы можем положиться. И это значило, что и у него должна быть возможность положиться на нас.

...Итак, разговор продолжается. С теми, кто по-своему и в свое время открывает все новые и новые измерения задачи, которая сформулирована в словах:

«Чужого горя не бывает».



М. Сарьян пишет портрет К. Симонова в своей мастерской. 1948 г.

С. КАПУТИКЯН

НАШ ДОБРЫЙ ТОВАРИЩ

Был конец войны и была победа. Война ушла, оставив нам имена героев мертвых и имена героев живых, — ими был полон воздух, память людей и сердца.

Константин Симонов. Его имя уже давно успело дойти и до далекой от пылающих и дымящихся полей войны — дойти до Армении. Пьеса «Русские люди» была переведена и поставлена в Ереванском государственном театре и даже напечатана в издающемся на армянском языке бейрутском журнале «Ани». Сборник стихов «С тобой и без тебя» был переведен и издан в Армении, где в те годы были очень скудные возможности — в год 2-3 переводные книги.

Но больше всего Симонов дошел до нас стихотворением «Жди меня», которое было не столько стихотворением, сколько клятвой, магическим внушением, магией, где убежденность на пределе заклинания разрывала силу традиций — сыновей-солдат дольше всех ждут матери — и утверждала свою истину:

Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня...
...Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло...

Симонов эту свою убежденность, страстную, не принимающую споров и сомнений, которую, наверное, только так и можно назвать — симоновской, перенес с поля боя в послевоенную жизнь. Писатель остался воином и в творчестве, и в литературных буднях; он творил и работал в литературе, отстаивая свои принципы гуманизма и интернационализма, закаленные в разноязычных окопах, где воевали вместе и умирали вместе.

Симонов искренней и неуступчивой любовью любил многоязычную литературу нашей страны. Так не был он похож на появившихся в последние годы «штатных» деятелей, которые, едва успев сойти с самолета и досказать дежурные слова приветствия, спешат назад в аэропорт, к себе. Симонов любил, читая, зная, ценя и без снисходительности критикуя. Он занимался национальными литературами серьезно и вдумчиво, стремясь воспринять их особенности, познать их суть, осмыслить выдвигаемые ими проблемы. И может, потому каждому из «националов» казалось, что Симонов связан именно с его литературой, его республикой.

Что греха таить — мы, армяне, более всех были уверены в этом. Может, еще и оттого, что уж очень он был похож на армянина, почему и приходилось ему довольно часто, улыбаясь, выслушивать уверения упорствующих «сынов Армении» в том, что они с Симоновым соотечественники и никаких других вариантов быть не может.

Но конечно же более всего потому, что Константин Михайлович довольно часто приезжал в Армению, бывал на наших литературных вечерах, съездах, обсуждениях и в Москве, и в Ереване и своей активной сопричастностью к делам нашим, знанием поставленных вопросов и справедливым участием в литературной судьбе того или иного писателя внушал нам чувство, что все-таки он Армению любил чуть больше.

Помню его выступление в 1954 году на IV съезде писателей Армении. Обстоятельно обсудив проблемы армянской современной литературы, он в конце остановился на выступлении одного писателя, в котором все было построено вокруг него самого и потому, соответственно, начиналось с «я» и кончалось на «я».

— Вам, дорогой товарищ, — на правах сердобольного друга и перейдя на строгий тон, сказал Симонов, — надо бы вспомнить, что в русском алфавите буква «Я» занимает последнее место... Нельзя все время выносить ее вперед и все на свете строить вокруг этого «Я»...

Известна дружба Константина Симонова с Аветиком Исаакяном, Дереником Демирчяном, Гургеном Боряном, Геворгом Эмином и особенно с Рачия Кочаром — русский писатель-солдат высоко ценил страстные, заряженные гражданским пафосом произведения армянского писателя-солдата, осо-

бенно его роман «Дети большого дома». А когда в мае 1965 года ушел из жизни не переживший и 55-е лето Рачия Кочар, Симонов с болью попрощался с ним на страницах «Литературной газеты», разделяя тяжесть утраты, постигшей армянскую литературу.

Мое знакомство с Симоновым тоже давнее.

Первая встреча состоялась в 1948 году, когда он в качестве руководителя делегации писателей приехал в Ереван для участия в торжествах, посвященных 100-летию со дня рождения Хачатура Абовяна. Я — еще молодая поэтесса, Симонов — всемирная известность, да еще с неприступной внешностью и очень сдержанный в обращении. И хотя разница в возрасте всего 4—5 лет, я предпочитаю держаться на почтительном отдалении. Уже близятся к концу торжества, а я с ним еще не знакома.

И вот в пригородных садах Еревана накрыты столы, звучат прощальные речи. Предлагают тост за здоровье руководителя делегации. Все подходят к нему, протягивают бокалы. Я не знаю, как мне быть, и об этом «как мне быть» говорю сидящей рядом Вере Звягинцевой, объясняя ей, что я с Константином Михайловичем еще не знакома. Не успеваю договорить, как Вера Клавдиевна вскакивает со стула и с присущей ей порывистостью на весь стол провозглашает:

— Товарищи, произошло невероятное упущение, Сильва до сих пор не знакома с Симоновым...

Я от неожиданности теряюсь, а Константину Михайловичу ничего не остается делать, как отреагировать на столь торжественное заявление Звягинцевой и, встав с места, подойти ко мне. Я иду ему навстречу, и под веселое оживление и без того уже развеселых гостей происходит церемония нашего знакомства.

Нельзя сказать, что такое звучное начало имело продолжение в той же тональности. Но, несмотря на это, я при каждой встрече чувствовала какую-то симпатию Симонова ко мне и моему творчеству. Это чувство укрепилось после того, как известный армянский режиссер Армен Гюлакян рассказал мне, что в 1951 году, когда он был членом комитета по присуждению Сталинских премий и там обсуждалась моя книга, вместе с Фадеевым энергичнее всех поддержал мою кандидатуру Константин Симонов и даже прочитал мое стихотворение «Ушел».

Если внешне сдержанный, собранный, всегда немного задумчивый Симонов держал людей на расстоянии, то его мать, приветливая, милая женщина, удивительно умела легко и просто сходиться с людьми. Она была неизменным посетителем почти всех литературных вечеров, и именно поэтому мы встречались довольно часто. Во время одного из этих вечеров по ее же инициативе мы и познакомились. И при каждой

встрече она, становившаяся все более седой и более кроткой, повторяясь, говорила, как любит мои стихи, а я, тоже повторяясь, — как люблю и ценю ее сына. Словам моим вторили ее глаза, наполняющиеся материнской гордостью. Наша беседа обычно заканчивалась тем, что я дарила ей свою последнюю книжку.

Как-то мы встретились с Константином Михайловичем во дворе Союза писателей в Москве. Поздоровались, спросили друг друга, как живется, и я попросила передать привет его матери. У меня был только один экземпляр недавно изданной моей книги «Весна на вершинах».

— Не знаю, кому подарить: вашей маме или вам, — сказала я.

— Маме, маме, — решительно ответил он, — а мне потом...

Была эта встреча не так давно. Константин Михайлович казался осунувшимся, седеющие день ото дня его волосы подчеркивали смуглость лица. Чтоб не выдать свое огорчение, я шутя повторила традиционное утверждение:

— Чем дальше, тем больше вы становитесь похожим на армянина. Если так и дальше пойдет...

Симонов засмеялся:

— Все равно не стану армянином. Но Армению люблю и буду любить.

В последний раз я видела Константина Симонова осенью 1978 года в Тбилиси, в дни советской литературы. Весть о его тяжелой болезни уже разнеслась, и многие думали, что он не приедет. С опозданием, но приехал. Приехал и выступил на заключительном вечере в многолюдном зале тбилисской филармонии. Вечер был торжественный, и, как всегда на подобных вечерах, со сцены звучали красивые стихи и красивые слова... На другой волне прозвучали слова Симонова. Он, как председатель комиссии по грузинской литературе при Союзе писателей СССР, говорил о самом насущном, о предстоящих неотложных делах, о переводах, об изданиях. Говорил деловито, сжато, без красивых слов, без крылатых выражений. Казалось, он знал, что оставшийся отрезок времени он должен израсходовать лишь на слова о самом необходимом.

13 марта 1979 года. В московском Доме литераторов должно было отмечаться мое 60-летие. По делу поднялась на 2-й этаж. На одной из дверей попалась мне на глаза табличка: «Председатель Правления К. М. Симонов». С удивлением узнала, что Симонов все еще, и очень активно, руководит и этим советом, а сегодня вечером у него совещание. Попросила, чтоб, если он придет, передали ему пригласительный билет. На следующий день я получила узенький конверт, адресованный мне Константином Симоновым. Он писал:

«Милая Сильва! Мне очень и очень жаль, что я по нездоровью не смог быть вчера на Вашем вечере и не могу воспользоваться и сегодня Вашим приглашением. Хотя вчера думал, что смогу, — и не смог, провалялся с температурой. Я очень давно и прочно люблю Армению, и Вас — и как неотъемлемую часть любимой мною Армении, и Вас саму по себе, как прекрасного поэта и доброго своего товарища. Целую Вашу руку, Ваш *Константин Симонов*. 15.III.79 г.».

Я эту записку привожу целиком, потому что это, пожалуй, последний документ, заверяющий его «давнюю и прочную» любовь к Армении и ее поэтам, и которая, к сожалению, через несколько месяцев из обычной записки стала дорогой реликвией.

Силою обстоятельств я часто бываю в подмосковной Красной Пахре, где расположен городок писателей. И каждый раз, гуляя, прохожу мимо дачи Симонова. Я не была в этом доме, ни разу не отворяла калитку, но так ощутима мне его грустная тишина, как будто я часто бывала в нем в его шумные, полные дни.



К. Симонов и Э. Буш. Берлин. 1960 г.

Ирмтрауд ГУЧКЕ

...ПЛЮС ОДНО ИНТЕРВЬЮ

Когда в тысяча девятьсот шестьдесят втором году у нас в ГДР вышел роман Симонова «Живые и мертвые», мне было двенадцать. Из школьных уроков я уже кое-что знала об историческом значении второй мировой войны, о ее причинах, ходе и последствиях. Среди нашей родни имелись погибшие, в нашем городе было много руин. Но росла я уже в мирное время, не зная воздушных тревог, голода, страха смерти. Я понимала, что война была чем-то ужасным. Как же вы принимали во всем этом участие? Этот вопрос, должно быть, как и я, задавали своим родителям многие дети. Казалось совершенно непостижимым, что в мрачные времена фашизма можно было смеяться, танцевать, жениться. В моей голове никак не укладывалось, что у наших родителей могли сохраниться светлые воспоминания о своей молодости. Ведь жизнь при Гитлере должна была быть сплошным кошмаром. Как люди могли допустить фашизм? Я была счастлива и полна благодарности за то, что живу в освобожденной стране.

Что же это были за люди, которые победили фашизм и освободили нашу страну? С самого первого класса нам рассказывали о героизме советских воинов. В каждой хрестоматии можно было найти истории о подвигах советских солдат. И все-таки многое было непросто. Люди обходили стороной советские казармы, которые находились поблизости от нашего дома. А советские детишки в испуге убежали от нас, когда однажды мы попытались вступить с ними в игру.

Я отчетливо помню случай, который произошел, когда мне было лет пять. Я пошла гулять со своим дедушкой, в лесу мы встретили советского солдата. Я почувствовала, как испугался мой дед, как он пытался увести меня в сторону. Но солдат уже успел подойти к нам, он присел передо мной на корточки, погладил по волосам, поднял меня, засмеялся, сказал нам на своем языке что-то приветливое. Стало стыдно за наш страх. Может быть, благодаря именно этому советскому солдату определилось мое отношение к советским людям вообще.

Я думаю, что подобное происходило со многими нынешними тридцатилетними. И возможно, это объясняет, почему мы так нуждаемся в симоновских книгах, почему мы их с такой жадностью читали.

В двенадцать лет я не смогла бы ясно сформулировать свои мысли и чувства по поводу романа «Живые и мертвые». Я просто была захвачена этой книгой, я переживала и страдала вместе с Синцовым, я всем сердцем любила «маленькую докторшу» Таню.

Когда я в первый раз читала роман «Солдатами не рождаются», я подчеркнула одно место. Серпилин думает о том, какую большую ответственность несет он за солдат, которыми командует: «Беречь людей на войне означало не подвергать их бессмысленным опасностям, но без промедления бросать их навстречу неминуемой угрозе. И мера этой действительной, если ты прав, и мнимой, если ты заблуждаешься, неизбежности лежит на твоих плечах и на твоей совести. На войне не бывает репетиций, как в театре, где можно сначала играть, пробуя, упражняясь, пока еще не всерьез. На войне не бывает черновиков, которые можно будет переписать заново или разорвать. На войне все пишется кровью, все, с начала до конца, с первого взмаха пера до последней точки».

...Это было в 1972 году. Я работала в газете. И вот я узнала, что Симонов в Берлине. Он приехал как частное лицо, чтобы работать над материалами в государственном киноархиве, и, следовательно, не будет нигде выступать публично. Я огорчилась, потому что очень хотела с ним встретиться. Как же теперь до него добраться? Я разузнала, где он живет, и просто

позвонила: «Константин Михайлович, не согласитесь ли вы дать мне интервью?» Как же я была рада, когда он согласился! Так я с ним познакомилась, и такой он до сих пор в моей памяти — спокойно взвешивающий слова, с трубкой во рту, скромный и одновременно исполненный достоинства. Потом я часто встречала его на разных литературных мероприятиях, видела, как быстро умел он находить контакт со своими слушателями, как страстно говорил, когда речь шла о правдивом изображении войны или о борьбе за мир.

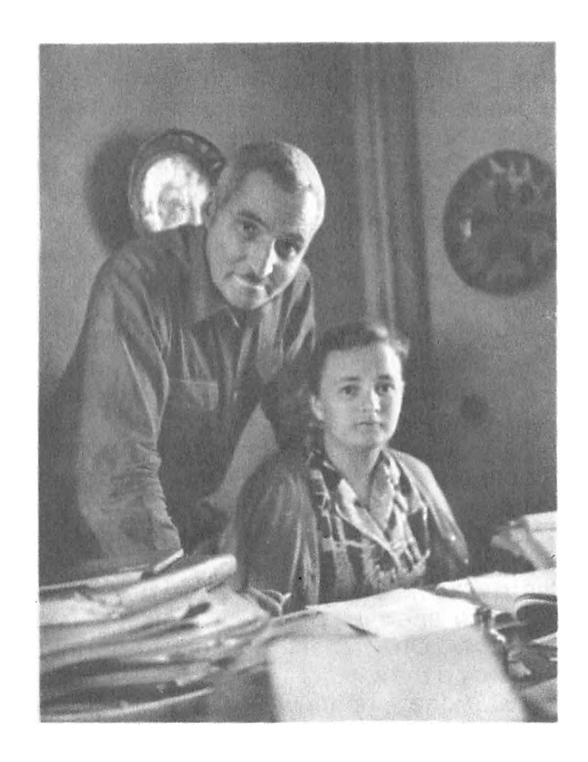
Тогда, в 1972 году, меня среди прочих волновал и такой вопрос: почему он заставляет Серпилина в «Последнем лете» погибнуть? Ведь читатель его так полюбил. Симонов ответил на это так: «Я хотел рассказать правду о войне. На этой войне мы потеряли двадцать миллионов. Это страшная цифра! А теперь представьте себе, что каждый из этих двадцати миллионов был для кого-то самым любимым и дорогим человеком на свете. Это нельзя забывать. И чтобы читатель вместе со мной почувствовал, что война в дни поражений, так же как и в дни побед, с самого первого и до последнего дня была и остается трагедией, чтобы читатель почувствовал, какую высокую цену нам пришлось заплатить за победу, я, писатель, расстался с самым любимым человеком в моих книгах». Правду о войне, какой бы страшной она ни была, Симонов считал важнее всего: «Потому что моя главная цель — писать о войне так, чтобы это способствовало делу мира, способствовало тому, чтобы не было новой войны».

О своих военных дневниках Симонов сказал: «Когда я садился за новую книгу, мне помогала память, память ума и память сердца, двойная память, которая живет в человеке. Мне помогали и мои дневники военного времени. У меня есть военные записные книжки, куда я заносил свои разговоры с разными людьми. Многое я использовал в своих корреспонденциях, но многое осталось. Кроме того, в редкие свободные минуты и часы войны я вел что-то вроде дневника. То есть я писал туда не каждый день, но, возвращаясь с фронта, во время ночных дежурств в редакции я прибегал к помощи стенографисток и диктовал то, что мне глубже всего западало в память».

«В будущем я собираюсь подготовить свои военные дневники к печати», — сказал он тогда. А сейчас они уже вышли и на немецком языке. В книге отражены важнейшие этапы войны, ее кульминационные моменты и одновременно фронтовые будни. Мне важно читать именно о буднях войны. Устанавливать те связи, которые существуют между симоновскими военными дневниками и его романами. Ведь многие люди, с которыми он встречался на войне, позднее стали прототипами

повести «Дни и ночи» и трилогии «Живые и мертвые». Возникает двойная картина: война, какой она была на самом деле, и автор, который ее пережил и описал, — Константин Симонов.

В том же интервью 1972 года он сказал: «Писать о войне непросто, и, может быть, так же непросто читать о войне. Для меня большая радость, что в ГДР много моих читателей, ведь мы идем сейчас общей дорогой. И в основе всех наших устремлений должна лежать борьба за то, чтобы на земле никогда больше не было войны. И если мои книги о войне могут помочь людям в борьбе за мир, значит, цель моей работы, цель моей жизни осуществлена».



К. Симонов с женой Л. Жадовой. Ташкент. 1959 г.

Хамид ГУЛЯМ

В ТАШКЕНТЕ

Наша первая встреча состоялась в Минске. Это было в начале сентября 1954 года. Я приехал на съезд писателей Белоруссии, устроился в гостинице, вышел в коридор и увидел Симонова, выходящего из номера напротив моей комнаты. Мы поздоровались, он спросил об Узбекистане, вспомнил свой приезд в Ташкент, на 500-летие со дня рождения Алишера Навои, интересовался своими знакомыми.

После случайного разговора в коридоре Симонов пригласил меня к себе в номер, и, воспользовавшись этим, я показал ему текст своего выступления на съезде. Он внимательно прочел, одобрил. Но не это главное. Главное заключалось в том, что его очень интересовали факты, приведенные в моем выступлении, — то, что происходило в Ташкенте в годы войны. В повести «Двадцать дней без войны» воспроизведены его встречи с ташкентцами в те годы.

В дни съезда мы были в гостях у Якуба Коласа. В его доме собрались представители почти всех братских литератур. Я помню, Якуб Колас показывал Симонову бутылку с густой бурой жидкостью и с гордостью говорил:

— Это белорусская нефть. Наши геологи нашли ее в Полесье!

Через три года, в голубую весеннюю ночь, в моей ташкентской квартире прозвенел длинный междугородный телефонный звонок. Я поднял трубку и услышал хрипловатый гортанный голос Симонова:

— Ну как, Хамид, еще не спите, ведь у вас в Ташкенте уже за полночь?

Я обрадовался голосу Симонова, но и взволновался: он мне еще никогда не звонил.

— А вы готовы встретить гостей? — весело продолжал спрашивать Симонов. — Мы с Антокольским хотим приехать к вам.

Я ответил, что готов принять их в любое время. Он назвал номер рейса и добавил, что они едут неофициально — немножко отдохнуть и поездить по Узбекистану.

В то время между Москвой и Ташкентом летали самолеты «Ил-14». Они делали несколько остановок и целый день находились в пути.

Самолет прибыл к вечеру. По низенькому железному трапу спускались усталые пассажиры, среди которых я сразу приметил Симонова в черной рубашке с открытым воротом и сером дорожном костюме. Вслед за ним появился сутуловатый, с зоркими орлиными глазами Павел Григорьевич Антокольский, одетый в темный парадный костюм и белую рубашку с красноватым пижонским галстуком.

Я чувствовал себя неловко, так как послушался Симонова, не сообщил никому об их приезде и поехал встречать их на своей старой колымаге, вид и мотор которой не соответствовали ее громкому имени «Победа».

Меня смущало еще и то, что я тогда жил в старом домике по улице Алмазар, где в двух маленьких комнатах помещалась моя семья из семи человек: я, моя жена Манзура и пятеро детей, а на застекленной узенькой веранде — моя мать. Поэтому я гостей не мог поселить у себя. Выход был один: поужинать с гостями дома и постараться удобно устроить их в гостинице.

Приехали ко мне и во дворе под виноградником за скромным столом поужинали. Кроме виноградника у меня во дворе росла большая ветвистая черешня. Как раз в те дни черешня наливалась красным соком, и мы закусывали ароматное узбекское вино «Хосилот» черешней прямо с нависших грузных ветвей дерева.

И невольно пришли воспоминания. В такой же майский вечер 1942 года, ровно пятнадцать лет тому назад, у меня в гостях были Владимир Луговской, Гафур Гулям и Максуд Шейхзаде. Мы вчетвером сидели за этим же круглым столом, пили из мелких пиал какую-то самодельную бурду и закусывали такими же только что созревшими черешнями.

Была такая же голубая ташкентская ночь. Ослепительно яркие звезды усеяли небо. Луговской тяжело прислонился к спинке стула и долго смотрел сквозь ветви черешни на звезды.

— Что это? — спрашивал он, пристально вглядываясь в небо. — Черешни или звезды?

Мой рассказ очень понравился Антокольскому, и Павел Григорьевич, непревзойденный рассказчик, начал вспоминать какие-то давно мною забытые изумительные легенды Востока.

Гостей я все-таки оставил ночевать у себя дома. Ночь была теплая. Мы постелили себе на супе — это такая земляная насыпь в середине двора, на которую настилаются ковры. На рассвете собирались выехать в Самарканд, который в первую очередь хотели осмотреть мои гости.

Что мы и сделали. Завтракали под Янгиюлем, в чайхане у речки, а к обеду приехали в Джизак. Впоследствии Симонов и один, и со мной вместе много раз ездил по этой дороге. Ведь от Ташкента она вела не только в древние центры культуры — Самарканд и Бухару, но и в Голодную степь и в Газли. Но наша первая совместная поездка особенно запомнилась Симонову. А дело было, видно, в том, что он впервые ездил не как официальный «почетный гость», а как писатель и человек, с радостью вновь открывающий Узбекистан, где ему вскоре предстояло поселиться на несколько лет. Как позже я понял, он уже тогда обдумывал эту мысль.

И мне почему-то кажется, что именно та наша поездка вспоминалась ему каждый раз, когда он обращался ко мне с просьбой показать мой родной край тому или другому гостю-писателю.

«Дорогой Хамид,

большая к Вам дружеская просьба. В наши с Вами узбекские солнечные края едет наш друг Рихтер — один из крупнейших писателей ФРГ и руководитель знаменитой группы «47», в которую входят все лучшие прогрессивные антифашистские силы Западной Германии. Он едет с женой и будет делать книгу о своей поездке.

Я никогда не забуду, как Вы помогли мне узнать и полюбить Узбекистан, поэтому и пишу Вам. Если Вы выкроите для этого время, покажите Рихтеру настоящий Узбекистан, чайхану и

стариков, и плов на ветерке, и лагман на Старом базаре, а не только те удобства, которые предоставляет «Интурист». Рихтер — писатель, и если он побывает, скажем, у нашего друга Джуркакулова или у нашего друга Латыпова, это ему очень много даст для живого ощущения страны.

Я очень завидую Рихтеру, что едет он, а не я, но надеюсь, что если не осенью, то ранней весной мы еще с Вами вместе поездим по знакомым дорогам.

Сердечный привет всей Вашей милой семье от всего нашего семейства.

Обнимаю Вас.

Ваш — *Константин Симонов.*

3.X.65.
Москва».

Так писал он много лет спустя. А сейчас отправимся с Симоновым и Антокольским на джизакский базар. Как потом выяснилось, осмотр нового города Симонов обычно начинал с местного базара. Через высокие голубые ворота мы вошли на огромную площадь, разделенную на части: фруктовую, овощную, ковровую, керамический ряд с уютными лавчонками.

Симонов сразу же пошел в маленькие гончарные лавки, рассматривая красочные ляганы (тарелки), касы (чаши) и другую посуду.

Не только в Джизаке, но и в других городах, где мы бывали с ним, он непременно интересовался керамикой, разговаривал с мастерами, рассматривал их кустарные мастерские и нередко покупал у них тяжелую, вышедшую у нас из обихода, керамическую посуду. Я тогда еще не знал о том, что жена Симонова — Лариса Алексеевна Жадова — искусствовед. В то время она увлекалась керамикой, и Симонов начал собирать узбекскую керамику для нее, для ее будущей работы...

Забегая вперед, хочется сказать о том, что Симонов не только собирал образцы нашей керамики, но и, интересуясь условиями труда мастеров-керамистов, помогал им, чем мог, ходатайствуя перед Союзом художников Узбекистана. Среди керамистов Джизака, Риштана, Каттакургана, Гиждувана и сейчас можно найти друзей Симонова.

Итак, мы в пути. Приехали в Самарканд. Осмотрели архитектурные памятники, базар, мастерские керамистов, музеи и направились в гостиницу «Регистан».

И что же мы увидели у входа в эту старую добрую гостиницу? Толпы людей! Среди них знакомые мне лица поэтов, артистов, педагогов Самаркандского университета и очень много молодежи.

Оказывается, мы ходили по городу, осматривали гробницу Тамерлана и знаменитые мечети, любовались изделиями народных мастеров, а в это время люди узнавали нас и, то следуя на почтительном расстоянии, то опережая, собрались у гостиницы.

Вот вам и конспирация!

Все наши планы о приватном путешествии рухнули с этой минуты, и нашим гостям ничего не оставалось, кроме как подчиниться законам узбекского гостеприимства.

Дальше, где бы мы ни бывали — в Каттакургане или Бухаре, Коканде или Андижане, Фергане или Маргилане, — всюду встречали нас, показывали свои города и кишлаки, устраивали вечера поэзии с участием Симонова и Антокольского.

Когда мы вернулись из поездки по республике в Ташкент, Симонов попросил дать ему почитать что-нибудь из моих произведений.

— Знаете, дорогой Хамид, — сказал он прямо, — честно говоря, я не знаю ваше творчество. Я читал некоторые стихи, но мне хотелось бы почитать что-нибудь большое, серьезное из написанного вами.

В те дни была издана первая книга моей трилогии «Светоч» («Первые ласточки»), был сделан подстрочный перевод, по которому работал Дмитрий Холендро.

Я дал Симонову второй экземпляр подстрочного перевода романа. Мои гости в те дни жили в небольшой гостинице на улице Навои, отдыхали после дороги.

Естественно, я волновался.

Через два дня я пришел в гостиницу и увидел сияющего Симонова, который, дымя своей трубкой, рассказывал Антокольскому о прочитанном, то есть о моем романе.

Позднее он мне писал:

«...Еще когда-то давно, когда я читал еще в рукописи первую книгу Вашей трилогии «Светоч», мне казалось, что Ваш путь в узбекской литературе как прозаика, как писателя, глубоко чувствующего и все национальные черты и особенности своей родной страны, и вместе с тем очень чуткого ко всему тому новому, что возникло в Узбекистане вместе с революцией, и что с такой силой развилось впоследствии, — что этот Ваш путь будет большим, значительным и плодотворным... Вспоминаю хохочущий зал театра «Мукими» в тот вечер, когда в нем идет Ваша комедия. Вспоминаю тот задор, с которым играют ее превосходные узбекские актеры, и свое собственное ощущение, что я почти все понимаю, хотя и не знаю языка, — настолько все это остроумно, задиристо, доходчиво...»

Как я упоминал, приезд Симонова с Антокольским в Ташкент преследовал далеко идущую цель, о чем я догадался уже

потом. Говоря военным языком, он как бы проводил рекогносцировку, присматривал место, где ему хорошо бы писалось и удобно и интересно жилось. Давно начатый первый роман трилогии «Живые и мертвые» лежал незаконченным. Писателю остро необходимо было оторваться от московских перегрузок и засесть за книгу. Впоследствии, уже закончив эту книгу, сам Симонов писал зимой 1960 г. из Ташкента одному американскому литератору:

«...Кстати сказать, в том военном романе, что я недавно кончил, я почти все самое главное дописал как раз здесь, в Ташкенте, среди поездок, среди разных дел, казалось бы, не имеющих ни малейшего отношения к этому роману, но я думаю, что именно эти поездки и эти дела как раз и помогли мне его дописать...

...Ведь я не просто любитель батальных картин; описания войны сами по себе меня, в общем, не так уж интересуют. Меня волнует вопрос: ради чего это было, что мы защищали с таким ожесточением и решимостью? А для того, чтобы ответить на этот вопрос прежде всего самому себе, очень полезно пожить вот так, как здесь, среди людей и дел, не имеющих прямого отношения к литературе, но имеющих самое прямое отношение к ответу на этот вопрос...»

Симонов позвонил мне сначала ранней весной 1958 года и сообщил, что вылетает в Ташкент в качестве специального корреспондента «Правды» и будет жить здесь довольно долго. Он также просил устроить его в удобной гостинице, так как в скором времени приедет его семья.

Он звонил вечером. Я обещал его встретить и сделать все для того, чтобы он мог сразу же начать работу.

В те дни в учреждениях работали и по вечерам, а иногда засиживались допоздна.

Мой домик на улице Алмазар находился недалеко от нашей Красной площади. Я решил выйти прогуляться и заодно зайти в Президиум Верховного Совета, где надеялся встретиться с Ш. Р. Рашидовым, тогда Председателем Президиума Верховного Совета Узбекской ССР.

К моему счастью, в окнах кабинета Ш. Р. Рашидова горел свет. Я зашел к нему и рассказал о звонке К. М. Симонова.

Я и сейчас помню, как Шараф Рашидович обрадовался этому известию, приезд Симонова к нам в Узбекистан назвал большим событием и тут же помог мне и с гостиницей, и со всем другим, освободив от хлопот.

На следующий день я встретил Симонова в аэропорту. Он спускался с трапа самолета с огромными рюкзаками в руках. И главное, что я приметил, — это его широкая улыбка на чуть заросшем лице и его радостно сияющие глаза.

Чувствовалось, что все обременявшие его дела позади. Он, как молодой орел, готовый к взлету, легко стоял на трапе самолета, как на вершине горы.

Я взял часть вещей Симонова, помог ему сойти с трапа, и мы начали спешно грузить в машину бесчисленное множество чемоданов, тяжелых, видимо, полных книг, рукописей, архивных материалов.

Симонов крепко пожал руку Марифу — водителю прикрепленной к нему машины, сел в кабину рядом с ним, я примостился на заднем сиденье, и мы поехали с аэродрома в гостиницу.

Уже на следующее утро на машине выехали в Голодную степь.

Это было время, когда освоение земель Голодной степи разворачивалось по-настоящему широко, на индустриальной основе. Руководил этим талантливый организатор Акоп Абрамович Саркисов — начальник «Главголодностепстроя». Он до этого строил Фархадскую ГЭС на реке Сырдарье и ряд других крупных энергетических и ирригационных сооружений. А с 1956 года, когда началось освоение Голодной степи, Саркисов был направлен сюда.

Мы выехали из Ташкента очень рано и приехали в Янги-Ер еще утром, к началу работы. Саркисов уже был в своем кабинете и совещался с товарищами, среди которых был и Дмитрий Константинович Терситский — один из ветеранов ирригационных работ в Узбекистане.

Узнав о нашем приезде, Саркисов тут же пригласил нас в кабинет и просил участвовать в совещании.

То, что говорилось, Симонову было интересно. Я это почувствовал по тому, как он начал задавать вопросы и записывал в свой блокнот ответы.

Симонову не терпелось осмотреть город. Слово «город» я здесь употребляю условно: в то время еще никакого города не было, хотя были распланированы улицы, обозначены площади, стояли какие-то одноэтажные домики. Но то здесь, то там виднелись вагончики, в которых жили строители, и бросались в глаза землянки. Их было много. Короче говоря, облик Янги-Ера напоминал прифронтовую полосу.

Мы с Симоновым, переодетые в спецовки и кирзовые сапоги, шагали по мокрой после дождя земле, тяжело отрывая ноги от прилипчивой глины, и удивлялись. Удивлялись не тому, что еще много вагончиков и землянок, а тому, что по обочинам дорог посажено много деревьев — чинары, карагачи, тополя и даже ели.

— Это здорово, — сказал Симонов, осматривая молодые рощи. — Там, где растет дерево, — будет жизнь.

После обеда я уехал в Ташкент, а Симонов с Саркисовым отправились осматривать новый совхозный поселок.

Мы с Симоновым не виделись почти три месяца. Он находился в Голодной степи и за это время успел опубликовать несколько больших очерков в «Правде» под общим заглавием «Что такое Голодная степь?» Эти очерки затем были изданы отдельным сборником под названием «Люди с характером».

К возвращению Симонова из Голодной степи ему была приготовлена квартира на Полиграфической улице (ныне имени Усмана Юсупова).

К этому времени Лариса Алексеевна закончила работу в Московском университете и приехала в Ташкент с детьми. Они очень быстро устроились в новой квартире.

Началась жара. Ташкентская сорокаградусная жара. Хотя Симоновы часто выезжали на дачу, где был хороший пруд для купания, Константин Михайлович предпочитал работать в квартире. Для этой цели он подвальное помещение превратил в кабинет. Помещение было большое, с высоким потолком, он устроил хорошую вентиляцию, и можно было работать не только ночью, но и днем.

Вот здесь, в этом подвальном кабинете, отчасти дописывалась первая книга трилогии «Живые и мертвые».

Сразу же по приезде в Ташкент Симонов встал на партийный учет в Ташкентском отделении издательства газеты «Правда» и на писательский учет в Союзе писателей Узбекистана. Мы старались как можно меньше отвлекать его от работы. Но когда очень нужно было, просили его принять участие в наших мероприятиях.

Я помню, как проводили в Доме литераторов имени Хамида Алимджана поэтический вечер Симонова. К этому вечеру выпустили в Ташкентском издательстве его «Избранные стихи». Он попросил меня председательствовать на вечере. За день до этого мы с ним были в Самарканде и купались в реке Зеравшан. Вода была холодная. Симонов простудил горло. Но он не согласился отложить вечер. Народу было много. Духота стояла страшная, но он долго и много читал стихи. Записок от читателей поступило бесчисленное множество. По просьбе группы солдат, присутствовавших на вечере, Симонов прочел поэму «Иван да Марья».

Однажды Симонов пригласил меня поехать с ним на завод «Таштекстильмаш». Во второй книге трилогии «Живые и мертвые», в романе «Солдатами не рождаются», Симонов описывает эвакуацию в Ташкент завода «Ростсельмаш», который быстро смонтировали и стали выпускать боеприпасы. Наряду с большими трудностями военного времени, тех голодных военных лет, в романе показана сердечная братская дружба людей разных национальностей.

Теперь завод уже не был военным. Он выпускал различные машины для текстильной промышленности. Но люди, работав-

шие в годы войны, в основном остались на заводе, и многие из них стали мастерами, начальниками цехов.

Записи бесед с рабочими и инженерно-техническими работниками завода Симонов частично опубликовал в 1961 г. в брошюре «Штрихи эпопеи». «Эти страницы истории своего завода в великую и трагическую эпоху 1941—1945 годов мне рассказали рабочие и инженеры завода «Таштекстильмаш» — так начинает он свою книжку.

Эти записи положены в основу нескольких больших глав романа «Солдатами не рождаются».

«...Я хорошо помню, как бывал на Текстильмаше, какие интересные разговоры там были у меня. Не будь этих разговоров, откровенных бесед — не смог бы я написать ни нескольких глав романа, ни этой повести — «Двадцать дней без войны».

Вспоминаю я и то, как Вы были моим добрым советчиком или консультантом по некоторым главам «Солдатами не рождаются», и еще раз мысленно благодарю Вас за это...» — писал мне Симонов в 1975 г., напоминая о том, как специально привозил из Москвы ташкентские главы нового романа.

— Почитайте этот кусок, — попросил меня Симонов, — правильно ли я записал фамилии, названия мест и вообще узбекские слова.

Несколько слов об активном участии Симонова в организации и проведении Ташкентской конференции писателей стран Азии и Африки. Конференция проходила в октябре 1958 г., но подготовка к ней началась гораздо раньше. Еще с лета в Ташкенте работали сразу два подготовительных Комитета: советский и международный. Руководил этими Комитетами Шараф Рашидович Рашидов. В состав советского подготовительного Комитета входили Николай Тихонов, Борис Полевой, Константин Симонов, Мухтар Ауэзов, Мирзо Турсун-заде, Берды Кербабаев, Ираклий Абашидзе, Аалы Токомбаев, Мирза Ибрагимов, Александр Чаковский, Камиль Яшен и многие другие. Среди них мне хочется выделить Константина Михайловича Симонова еще и потому, что он, как житель Ташкента, на правах хозяина принимал гостей. Его видели то с Уильямом Дюбуа — старейшим негритянским писателем, ученым, лауреатом Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», ему тогда было 90 лет, то с И. Хотта — японским прозаиком, то с Фаизом Ахмадом Фаизом — революционным поэтом Пакистана...

Как-то Симонов мне сказал:

— Дорогой Хамид, нельзя ли наших гостей повезти в кишлак, к сельскому учителю, в его дом, пусть они посмотрят, как живет наша кишлачная интеллигенция.

Я сказал, что это очень просто. Можно поехать в любой кишлак, зайти в дом любого учителя.

— А если гостей будет много? — улыбнулся Симонов. — Хватит угощения для всех?

На следующий день мы повезли гостей в кишлак Кибрай Ташкентской области. Там в сельской школе более тридцати лет работал сельский учитель Рахматулло Ниязматов. Ну конечно, мы предупредили его по телефону, и он ждал у калитки своего домика, на берегу реки Базсу. А приехало к нему гостей много — полный автобус «Интуриста» и несколько легковых машин. Ниязматов не только не растерялся, — он очень обрадовался дорогим гостям. Здороваясь с ними, обнимал, выспрашивал у переводчика о каждом: кто он, откуда, на каком языке говорит, какие книги написал...

Во дворе у Ниязматова были расставлены столы. На открытой веранде дома тоже были приготовлены места для гостей.

Дело, конечно, не в угощении. Гостей удивил сам хозяин. Старый учитель был историком, хорошо знал историю стран Азии и Африки, откуда прибыли наши гости, разбирался в сложнейших перипетиях международной жизни.

После обеда он пригласил гостей в свою школу, показал им кабинеты, лаборатории, спортивный зал, познакомил с учителями. Многим гостям все это показалось просто сказкой.

Через несколько лет Симонов с Ларисой Алексеевной полетели во Вьетнам через Ташкент. В Ташкентском аэропорту я их встречал и провожал, а затем через месяц вновь встречал, уже возвращающихся из Ханоя. Очень печальным и, я бы сказал, разгневанным возвращался Симонов из многострадального Вьетнама. Через несколько дней мы прочли в «Правде» подборку его стихотворений «Вьетнам, зима семидесятого...».

...Не пишется проза, не пишется,
И, словно забытые сны,
Все рифмы какие-то слышатся
Оттуда, из нашей войны.

Прожектор, по памяти шарящий,
Как будто мне хочет помочь, —
Рифмует «товарищ» с «пожарищем»
Всю эту бессонную ночь...

Трудно поэту не писать стихи. Симонов всегда оставался поэтом и верным другом поэтов.

Я помню такой случай. В один из летних дней 1960 года Симонов позвонил мне домой:

— Дорогой Хамид, мы с Ларисой Алексеевной хотим приехать вечером, часов в восемь, к вам в гости, но перед этим прошу вас включить телевизор в семь двадцать и посмотреть с Манзурой, что будет происходить на экране.

Включив телевизор, мы увидели Симонова. Он прочел в своем переводе три моих африканских баллады: «Последний мост», «Дым над хижиной» и «Гвоздику».

Потом они с Ларисой Алексеевной приехали к нам домой, и мы под ветвистым абрикосовым деревом долго сидели за чашкой зеленого чая.

Хочу закончить рассказом о нашей встрече в Рязани.

Была зима 1974 года. Стояли лютые февральские холода. По просьбе Симонова я поездом ехал в Рязань, чтобы участвовать в днях советской литературы, которыми он руководил.

Мы встретились в гостинице «Рязань» восемнадцатого февраля вечером, когда они с Ларисой Алексеевной приехали из Москвы и остановились в номере на втором этаже, по соседству с моим. Мы вместе ужинали, и он тогда подарил мне свою книгу «Двадцать дней без войны» с надписью: «Дорогому Хамиду, вместе с которым мы бывали во многих местах, в том числе и у Усмана в Голодной степи. Ваш Константин Симонов».

«У Усмана в Голодной степи...» Да, было такое. Как-то приехал в Ташкент в гости к Симонову Евгений Долматовский, и мы втроем на машине поехали в Бухару. Мы показали Долматовскому прекрасные памятники древнего зодчества Бухары, а затем поехали в Газли — на первое месторождение природного газа. На следующий день возвращались в Ташкент через Самарканд. На площади Регистан увидели толпу, окружавшую широколицего могучего человека, который на веревке поднимал на верхушку высокой трубы зажженный фитиль. Фитиль дошел до конца трубы, зажегся красновато-голубой факел огня. Люди подхватили русского человека на руки и начали качать. Этот человек был Федор Барутто — инженер, первопроходчик газовой магистрали Газли — Ташкент. Мы были свидетелями, как, задыхаясь на руках самаркандцев, Барутто кричал:

— Я же говорил вам, природный газ придет, потому что он есть...

С этим человеком Симонов потом подружился и много раз встречался. И когда Симонов уезжал из Ташкента совсем, среди провожавших его в аэропорту я еще раз увидел Федора Барутто.

А что касается фразы из автографа: «У Усмана в Голодной степи...», то вот что имеется в виду. В ту ночь самаркандцы очень просили остаться у них в гостях, но Симонову необходимо было вернуться в Ташкент, и он настаивал на отъезде.

Через час мы проехали Джизак и еще через два часа достигли Янги-Ера — юной столицы Голодной степи.

Естественно, мы очень утомились, а у водителя Симонова Марифа слипались глаза. Тогда я предложил переночевать у Усмана Юсупова, который работал директором совхоза. Его дом находился в километрах десяти от Янги-Ера.

Услышав фамилию Юсупова, Симонов согласился остаться, и я из конторы «Главголодностепстроя» позвонил в совхоз. Трубку поднял сам Юсупов.

Ночь мы провели у Усмана Юсупова. Конечно, не спали — разговаривали. Юсупов знал все произведения Симонова, был хорошо знаком с поэзией Долматовского. А как рассказывал он об истории узбекского народа, о проблемах, которые ему — Юсупову — пришлось решать в жизни!

Автограф Симонова на книге «Двадцать дней без войны» и напомнил мне об этой интересной встрече с одним из ее героев.



К. Симонов и Е. Петров. 1942 г.

А. ВУЛИС

«ДОБРЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ ЗЛЫХ САТИРИКОВ...»

«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» были предметом безудержного восхищения всех моих друзей (и моего, конечно, тоже), влияя на наши юморески в университетской сатирической газете «Утюг», наши первые фельетоны в печати, да и на самый выбор этого жизненного занятия: писать фельетоны, юморески и вообще писать. В 1956 году я взялся за работу «Творчество И. Ильфа и Е. Петрова». Тема эта тогда не была популярной, потому что романы Ильфа и Петрова давно не переиздавались и отношение к этим произведениям менялось медленно. К середине 1957 года мне удалось опубликовать в виде статьи главку из диссертации. В сентябре 1957 года я имел около ста страниц — сколько в точности, должно было выясниться, когда машинистка закончит перепечатку этого куска. Кажется, за своим текстом я и явился тогда к машинистке в «Комсомолец Узбекистана». В большой комнате, где размещалось не то три, не то четыре отдела, шел обычный редакционный треп. Вдруг кто-то походя заметил:

— А в Ташкенте-то Симонов...

Я знал, что Симонов председатель комиссии по литературному наследию Ильфа и Петрова; читал, конечно, его предисловие к новому изданию романов. Мне сразу стало ясно: надо с Симоновым встретиться, посоветоваться. Захваченный этой идеей, я вслепую выхватил у машинистки — слава богу! — отпечатанный текст, отправился в Союз писателей, разузнал, где искать Симонова, потом схватил такси и поехал, ориентируясь на расплывчатые координаты: Дурмень, Дом творчества или тот же Дурмень, дача Абдуллы Каххара. В Дурмене выяснилось, что правильны обе версии: Симонов живет в Доме творчества, но сейчас обедает у Абдуллы Каххара.

Дача Каххара примыкает к Дому творчества, так что план предстоящей операции выглядел проще простого: сиди себе перед входом в здание и жди, а придет Симонов — вскакивай и на ходу объясняйся. Схема «объясняйся на ходу» — далеко не лучшая из возможных. Но альтернатив нет, и я маячу между крылечком Дома творчества и въездными воротами. Конечно, волнуюсь. Симонов — один из знаменитейших советских писателей. Секретарь Союза. Редактор «Нового мира». Правда, он еще и председатель ильфо-петровской комиссии. Но здесь он наверняка по другим делам.

Волнуюсь все больше. Утешение у меня одно: узбекское гостеприимство безмерно во всех отношениях, и, стало быть, встреча произойдет не скоро. Но Симонов, сопровождаемый Каххаром, появляется через несколько минут. Короткий эпизод прощания, и вот уже легкой походкой идет он как бы прямо ко мне. Собственно, так и есть: орлиным, сверху вниз, взглядом, хорошо тренированным на всяких литературных новичках, он сразу засекает и мою нерешительность, и картонную папку под мышкой.

— Меня ждете?

— Вас! — И я, путаясь в придаточных предложениях, рассказываю, что-де его предисловие к Ильфу и Петрову открыло перед литературоведением прекрасные возможности, каковые...

— Пройдемте-ка вон туда и присядем, — прерывает меня Симонов, идет в вестибюль Дома творчества, предлагает мне кресло у журнального столика, усаживается поудобней сам и выслушивает меня без малейшей торопливости, причем жесты его и мимика подчеркивают именно это обстоятельство: «Я никуда не спешу. Мне интересно вас слушать. Говорите все, что пожелаете, и ровно столько, сколько вам понадобится».

Когда я договариваю последнюю фразу, не столько информационную по своему характеру, сколько извиняющуюся по

интонации, Константин Михайлович делает вид, будто не понял, что я готов с перепугу откланяться. Он делится со мной соображениями о рукописном наследии Ильфа и Петрова, о будущем их собрании сочинений, спрашивает, как складываются у меня взаимоотношения со вдовами сатириков, Марией Николаевной Ильф и Валентиной Леонтьевной Петровой. А общую тональность разговору задает такую: он со мной советуется. Я советуюсь с ним, а он — со мной! И даже вроде если бы я не приехал к нему, то, кто знает, может быть, он сам отыскал бы меня.

Симонов провожает меня. Берет уже в воротах первый экземпляр моей стостраничной рукописи, заглядывает в конец, а там, между прочим, нет авторского адреса, так же как нет авторской фамилии и названия работы на первой странице. Я поспешно раскидываю по местам эти анкетные подробности.

А еще неделю спустя заглядываю в почтовый ящик, там — увесистый конверт. Значит, рукопись возвращают. Понятно: она невычитанная, посему Симонов отказался ее читать. Распечатываю пакет — и действительно вижу свое сочинение, но к нему приложено и письмо:

«Дорогой товарищ Вулис!

Я прочел вашу рукопись и, прочтя ее целиком, в сокращенном виде, в журнале читать ее уже не стал. Рукопись обрывается на полуслове, и в общем рано давать ей оценку, но тем не менее мне уже сейчас хочется сказать Вам: то, что Вы делаете, и то, что Вы уже сделали, — работа серьезная и, добавлю, интересная для чтения, а это немаловажно для литературоведческой работы. Я как раз принадлежу в данном случае к числу наименее благодарных читателей, ибо почти все, о чем Вы упоминаете, я только что прочитал, за исключением некоторых архивных материалов, и все это свежо у меня в памяти. Поэтому те сопоставления, которые Вы делаете, для меня менее неожиданны, чем для большинства других, и менее оглушительны, однако я все равно все это читал с интересом, потому что Ваш анализ мне кажется тонким, достоверным, в нем, что редко бывает в литературоведении, очень мало натяжек. Кроме всего прочего, по-моему, Ваша работа пишется хорошим живым языком и поэтому легко читается.

Чем я могу быть Вам полезен? На данном этапе едва ли чем. Вам просто-напросто надо кончать свою работу, а вот когда кончите, и ежели Вы ее кончите на том же уровне, на котором начали, я приложу все усилия к тому, чтобы помочь Вам издать ее книгой. Очевидно, в январе или феврале я на какое-то время приеду в Ташкент, тогда мы с вами увидимся и поговорим подробнее.

Рукопись посылаю обратно. Одно замечание: мне кажется, что самая последняя страница рукописи написана несколько торопливо. Зря вы свалили в одну кучу Бендера, Фигаро, Скапена, Жиль Блаза и Санчо Панса. Вообще тут не все додумано до конца. Ну, это легко исправимо.

От души желаю Вам успеха в работе. Жму Вашу руку.

С товарищеским приветом *К. Симонов.*

17 октября 1957 г.».

Значительно позже, уже перейдя на работу в «Правду Востока», я услышал от кого-то, что Константин Михайлович одновременно с «моим» письмом отправил еще официальное, секретариату писательской организации, с просьбой обратить внимание на журналиста из комсомольской газеты, по возможности привлечь его к подготовке декады узбекской литературы и искусства в Москве, если понадобится — помочь ему. Письмо мне потом показали. Но никогда ни письменно, ни устно Симонов не сообщал мне — не то что не сообщал, даже намеком не дал понять, — что принял практическое участие в моей судьбе. Так было и позже. Константин Михайлович, ни слова мне не говоря, похвалил на одном праздничном вечере мою незащищенную диссертацию, ускорив ее защиту. Через несколько лет окольными путями до меня дошло, что я рекомендован Симоновым редактору некого журнала в сотрудники. Делая добро, он не афишировал это, скорее даже скрывал.

К декабрю 1957 года, подстегнутый письмом Симонова, я привез свою рукопись в Москву, сдал в издательство и со вторым экземпляром пришел в «Новый мир».

На сей раз Симонова явно обуревали волнения, далекие от моей монографии, он был чем-то расстроен. Вообще его не радовали посетители-метеориты, вторгающиеся в жизнь непредсказуемо и учиняющие хаос там, где время туго забрано в решетку и действуют железные графики. Другое, конечно, дело, если у них имелся настоящий резон для посещения: случилась беда, или радость, или только-только появилось произведение, о котором пока не скажешь, радость оно или беда. А у меня, честно говоря, в тот момент ни радости, ни беды, ни просьбы не было. А были проблемы, какие бывают изо дня в день у каждого из нас. Но они не требовали вмешательства Симонова, причастности Симонова. И Симонов, к которому так часто приходили «за» и «для» и почти никогда попусту, был обескуражен, — конечно, на свой, симоновский манер: усталые глаза запали, и грустно поблескивало в них чувство истекающего времени.

К началу 1958 года Симонов вновь прилетел в Ташкент —

теперь уже с семьей. Впрочем, его появление и на сей раз напоминало молниеносную газетную командировку.

— Где Симонов?

— В Ташкенте.

А кто-то третий, более осведомленный:

— Да он уже давно в Голодной степи, в Янги-Ере.

Вдвоем с А. Наумовым едем в Янги-Ер. Константин Михайлович и его сын живут в маленьком сыром бараке, именуемом гостиницей. Жить-то живут. Но на самом-то деле Симоновы, старший и младший, целыми днями колесят по буеракам Голодной степи и попадают в свой номер, через стенку от нас, лишь к ночи. В такое время даже Симонова, с его фронтовыми расписаниями, тревожить неловко.

Вечером следующего дня состоялась встреча Симонова со строителями Янги-Ера. В антракте — а это был такой длинный литературный вечер, что даже понадобился перерыв, — мы подошли к Константину Михайловичу. Он посмотрел на меня отчужденно, словно не узнал, и я заспешил с разъяснениями, но оказалось, что он прекрасно меня узнал.

Утро... Мы медленно ходим по зазеленевшей уже степи, а чуть поодаль, на дороге, стоит в ожидании газик фронтового вида, как бы напоминая ташкентским визитерам, что время специального корреспондента «Правды» К. М. Симонова строго лимитировано. Но сам Симонов позволяет разговору привольно, по-степному медлительно течь, забирать в одну сторону и в другую, возвращаться вспять и снова уходить вперед. В этих зигзагах нет принужденности или нарочитости. Затрагиваются важные сегодня для Симонова темы: хозяйственные перспективы края, хлопководческая практика, проблемы искусственного орошения, узбекский национальный характер и, в частности, даже особенности здешнего остроумия. Так постепенно, через остроумие, мы добираемся до Ильфа и Петрова. Сын Константина Михайловича, да и сам Симонов по-доброму высказываются о моей рукописи. Но обольщаться, когда имеешь дело с Константином Михайловичем, опасно. Только-только настраиваюсь я на идиллический лад, как начинается критика: убрать восторженность, умерить комплиментарный тон, Ильф и Петров — хорошие писатели, а автор, говоря о них, то и дело взвизгивает от восторга, как институтка. При всей своей внешней резкости, замечания Константина Михайловича не кажутся директивами, они вроде бы и сами выносятся на ваш суд на правах одной из возможных точек зрения. Категоричность появляется лишь там, где затронуты материи принципиальные.

— В сатирическом журнале «Бузотер», — торопливо говорю я, — из номера в номер печатались стишки, посвященные бузотеру Гавриле. Некоторые фельетончики подписывались: Гаврила. Если помните, стихи о Гавриле сочиняет и

Никифор Ляпис в «Двенадцати стульях». Так что можно предположить, что Ильф и Петров пародировали «Бузотер». Но здесь возникает такое осложнение. В «Бузотере» сотрудничал Михаил Зощенко и, как известно, некоторые рассказы публиковал под этим самым псевдонимом — Гаврила. Конечно, своего Ляписа сатирики срисовывали с другого. Позировал им — невольно, разумеется, — один ныне известный поэт. Зощенко, напротив, был для них великолепным мастером, объектом подражания. И все-таки они рискнули вставить зощенковский псевдоним в стишки Никифора Ляписа — взаимное подшучивание не казалось им чем-то зазорным. Даже Валентина Катаева — а ему «Двенадцать стульев» посвящены — молодые соавторы осмеяли в неопубликованных главах романа. Но стоит ли поминать Зощенко в монографии, особенно сейчас, когда у всех еще свежи в памяти критические статьи о нем?

— Если вы не сомневаетесь в фактах — пишите. Не бойтесь злопыхателей. Если очень разойдутся — дайте по морде.

Симонов считает, что подшутить в литературной пародии можно и над классиком. А Зощенко для него — классик. И, если такая пародия состоялась, литературоведу дозволительно о ней говорить. Что же касается этого «дайте по морде», то оно отражает жизненную позицию Симонова: за убеждения нужно драться.

Пятьдесят восьмой и пятьдесят девятый годы Симонова — в основном ташкентские. Жил он в двухэтажном коттедже на тихой Полиграфической улице. Бывал в Союзе писателей. Смотрел постановки театров имени Горького и имени Хамзы. Участвовал в обсуждении некоторых спектаклей. Много внимания уделял подготовке ташкентской конференции писателей Азии и Африки. Читал стихи и прозу местных авторов. Переводил узбекских прозаиков и поэтов — Абдуллу Каххара, Гафура Гуляма, Хамида Гуляма. Встречался с ташкентскими деятелями культуры и рабочими «Ташсельмаша». Бывал в гостях. Острил, иногда поражая неожиданными для такого земного, сегодняшнего человека ассоциациями («Кит проглатывает Иону — самый древний случай гидроионизации»). Писал очерки для «Правды». И многое другое.

Симонов работал как одержимый. Если он просил позвонить утром и я с надеждой переспрашивал: «Часов в десять?» — неизменно оказывалось, что выбираться к телефонному автомату надо к восьми, а то и к полвосьмому. Если Симонов разрешал позвонить вечером, то можете не сомневаться, что и в десять вежливый голос Ларисы Алексеевны скажет вам: «Звоните в двенадцать... Или лучше в половине первого... Нет, не поздно...»

Ко мне на защиту он пришел к половине десятого, я и сам-то только что появился, а о членах ученого совета и говорить нечего. Вышагивал Симонов по длинному университетскому коридору один, а когда я попытался развлечь его светской беседой, смеясь отмахнулся: «Занимайтесь-ка своими делами». Пришел первым, но в прениях выступил четвертым или пятым. Говорил доброжелательно, но вместе с тем сурово, критиковал мои стилистические излишества («Метафоры — это хорошо, много метафор — плохо, это как в картах: двадцать одно — выигрыш, двадцать два — проигрыш. Перебор»). Осуждал он мои цветистые фразы во славу Ильфа и Петрова. Досталось мне за тезис: «Чем больше книгу читают, тем тщательнее ее нужно изучать». Таким способом можно оправдать интерес к любой модной безделушке. Когда огласили итоги голосования, Константин Михайлович сердечно пожал мне руку и заметил: «Ну вот, свершилось — теперь гуляйте. Внизу стоит моя машина — можете ею воспользоваться!»

Вышла моя книга «И. Ильф, Е. Петров». В середине солнечного апрельского дня я повез книгу Симонову. Он ласково подержал в руках маленький коленкоровый томик, сказал: «Хорошо сделано» — и усадил меня за стол, только не за большой, за которым работал, а за другой, поменьше. Достал лист бумаги и начал писать. Мой глаз газетчика быстро схватил слово «Рекомендация...». Симонов давал мне рекомендацию в Союз писателей.

Потом был дружеский разговор. Симонов вольно переходил от одной темы к другой. Пауэрс. Срыв Парижской конференции. Ташкентские литераторы...

Самая характерная черта Симонова в его взгляде на окружающий мир — оптимизм и доброжелательство, и наша беседа подчас принимает форму спора, в котором начинающий специалист по сатире занимает критическую позицию. Симонов убеждает и побеждает, причем не за счет своего авторитета (он избегает запрещенных приемов), а законно: силой логики и обоснованностью аргументации, знанием того, о чем говорит.

В то время я заведовал отделом литературы и искусства в «Правде Востока», и мои «выходы» на Симонова зачастую были связаны с газетными ситуациями, требовавшими его участия, вмешательства и т. п. Однако в «Правде Востока» Симонов печатался мало, а его общение с редакцией, по большей части, выливалось в деловые беседы — то один, то другой ее сотрудник обращался к Симонову за советом. Наиболее заметным событием этого ряда (или рода) осталась в моей памяти встреча Константина Михайловича с Татьяной Сергеевной Есениной.

Татьяна Есенина написала повесть «Женя — чудо XX

века» и дала прочесть ее мне. Рукопись так мне понравилась, что я тотчас позвонил Симонову. Симонов ответил просто:

— Сейчас читать повесть не могу. И не смогу в ближайшее время. Через три месяца — такой срок автора устраивает? Если устраивает — везите рукопись.

Через три месяца я услышал в телефонной трубке голос Константина Михайловича.

— Если Татьяне Сергеевне удобно приехать ко мне завтра — назначим встречу на завтра. Приезжайте, пожалуйста, с нею вместе.

Константин Михайлович в основном хвалил повесть, а заявляя автору какой-нибудь упрек, оговаривался, что не считает себя знатоком сатиры и юмора.

Литературные темы вскоре сменились практическими: где печатать «Женю» и что Симонов может предпринять для ее публикации? Решено было предложить повесть «Москве» (хотя в конечном счете она появилась — опять-таки при содействии Симонова — в «Новом мире»).

— Добрый покровитель злых сатириков, — сказала о ком-то Татьяна Сергеевна. Не помню, о Симонове ли, но знаю, что эти слова очень точно подходят к нему.

И вот июльский разговор в прохладном полуподвале. Я впервые слышу об отъезде Симонова и выражаю надежду, что речь идет об отдаленном будущем, но Симонов говорит:

— Приходите завтра с женой в ресторан «Бахор» на прощальный банкет по случаю нашего отъезда.

На следующий день действительно состоялся банкет в открытом зале «Бахора», на втором этаже. Было много тостов, самых разнообразных. Но все говорившие (а также и все слушавшие) были едины в своем добром чувстве к Симонову и к симоновской семье. Все без исключения — члены правительства, шоферы, литераторы, которым он помог встать на ноги, кинематографисты, секретари Союза писателей и просто секретари, обычно называемые секретаршами. В Симонове чувствовалась детская незащищенность против лавины похвал, какая-то непреодолимая застенчивость, делавшая этот вечер праздничным и, как всякое прощание, грустным, очень утомительным для него. В час ночи Хамид Гулям поблагодарил собравшихся от имени Симонова, и гости стали расходиться, прощаясь в дверях с хозяином и хозяйкой. А они стояли там и стояли, хотя пора было и отдохнуть: до самолета оставалось чуть больше четырех часов.

Шли годы... И вот конец шестьдесят второго.

В моей аспирантской тетрадке появился набросок: «Библиотека советского сатирического романа в 12 томах. Про-

спект». Первый том содержит эренбурговского «Хулио Хуренито». Далее в строгом хронологическом порядке следуют вчерне раскиданные по томам, другие значительные, хотя и полузабытые произведения — «Красавица с острова Люлю» и «Жизнеописание Лососинова» С. С. Заяицкого, романы К. Вагинова, С. Боброва, пародийный монтаж Н. Борисова «Зеленые яблоки» и т. п. Помимо экзотических вещей, никому, если не считать специалистов, не ведомых, проспект «Библиотеки» включал шедевры Л. Леонова и Б. Лавренева, В. Катаева, Ильфа и Петрова. «Библиотека» обещала быть представительной. Гордостью проспекта, а потенциально — и всего издания, являлся восьмой том, куда определено было войти «Мастеру и Маргарите».

Проспект самим фактом своего существования призывал действовать и задавал некую программу действия. Начал я с личных контактов, с вербовки приверженцев.

Первым делом я очутился в «Новом мире» у Александра Григорьевича Дементьева — он тогда был заместителем главного редактора, а редактором был А. Т. Твардовский, — и казалось, что это самый простой путь к реализации моих честолюбивых планов со сказочным замком в финале.

— А-а, разбойник! — обычным своим приветствием встретил меня Дементьев и, выслушав с добродушной рассеянностью, погрузился в чтение преамбулы к проспекту. Потом, забросив очки на лоб, сформулировал свою стратегическую теорию.

Проспект должен был, уподобляясь лавине, обрасти подписями крупных литературных деятелей, что обеспечило бы ему продвижение в издательские планы. Александр Григорьевич решительным росчерком пера положил начало лавине. Но в дальнейшем я пошел по линии наименьшего сопротивления (или наибольшего благоприятствования). То есть позвонил Симонову, вкратце изложил ему суть дела и испросил приема.

Идея «Библиотеки сатирического романа» в ее первозданном виде, признаюсь, не вызвала энтузиазма у Константина Михайловича. «Почему только романа?» — спросил он по телефону, но в детали вдаваться не стал и назначил дату свидания.

— Почему только романа? — переспросил он меня уже с глазу на глаз. — Надо брать шире. Иначе выпадает многое такое, без чего немыслима наша литература. Пускай это будет «Библиотека сатиры и юмора». Два-три тома рассказов. Миниатюры, пародии, эпиграммы.

— Может быть, еще и комедии, — с необъяснимым и самому мне непонятным ехидством переспросил я.

— И том комедий! — подтвердил он. — Почему бы нет.

Через несколько дней я был у Симонова с новым проспектом. Наскоро составленный, этот проспект тем не менее учитывал самые интересные работы советских новеллистов. Попала в проспект бездна имен, и пародия, эпиграмма, стихотворный фельетон тоже не были обойдены.

— Насчет комедий, правда, я — пас, — объявил я Константину Михайловичу.

Симонов положил перед собой лист бумаги и набросал содержание тома.

Сердце мое радостно билось. Симонову абсолютно чуждо прожектерство. Коли он тратит часы на эти комедии, стало быть, считает затею жизнеспособной. Симонов между тем переключался с одного занятия на другое. Разговаривал по телефону — как мне тогда показалось — с Твардовским, прибавлял строчку-другую к проспекту, бегло, по-орлиному заглянув в мой список, озадачивал меня очередным вопросом. В частности:

— А что это — «Мастер и Маргарита»?

(Булгаковским наследием он занялся вплотную позже.)

— Это очень сложный роман... — начал я мямлить. — Действие происходит параллельно в двух временах... Библейские главы чередуются с современными... Сатана попадает в Москву тридцатых годов.

Симонов улыбнулся и прервал меня:

— Вы мне проще скажите: это за советскую власть или против?

— Это не о том, — начал я неуверенно, привыкший, что «за советскую власть» и «о советской власти» — синонимы. Сегодня я безоговорочно ответил бы — «за советскую власть», но, чтобы дозреть до такого ответа, мне, да и не одному мне, понадобилось немало времени.

— Гослит — затяжное дело, — рассуждал Симонов. — Пока они раскачаются — сколько времени уйдет впустую. Давайте ориентироваться на «Огонек». Двадцать четыре тома ежегодного приложения — можно развернуться... Толя, — говорил он через минуту в телефонную трубку, адресуясь, по-видимому, к А. В. Софронову, — тут есть одна идея... Вряд ли стоит обсуждать ее по телефону. Не можешь ли выделить время... Подъедем к тебе в журнал.

Двадцать восьмого ноября все того же шестьдесят второго года я ехал в «Огонек». Симонов уже был в редакторской приемной. Через несколько минут прибыл Софронов. Сразу же ушел в кабинет, пропустив вперед Симонова. Я остался в «предбаннике». Полагал, что начало разговора должно состояться на высоком уровне. Но тотчас дверь распахнулась, и Симонов сказал:

— Что же вы?.. Ради вас ведь собрались...

Затем Симонов сказал:

— Чтоб не объяснять долго, прочти вот это, — и протянул Софронову проспект.

Софронов взял бумагу, введение пропустил и впился глазами в перечень произведений, расписанный по томам.

— Не все, что здесь есть, обязательно включать? — спросил он через полсекунды.

И я тотчас откликнулся в том смысле, что кое-что можно и опустить.

— А что такое Булгаков — «Театральный роман», «Мастер и Маргарита»...

Я начал было опять мусолить свои разъяснительные фразы, но Симонов прервал меня:

— Этот том еще нужно продумать. Возможно, понадобится замена.

Он ручался только за то, что знал, и, ручаясь, дрался напропалую. Поручиться за то, чего он не знал, Симонов не мог. Пойти наперекор своей совести во имя позы, дабы никто, не дай бог, не пришил ему консерватизм или чрезмерную опасливость?! Он обладал высшей смелостью: той, которая не боится обвинений в трусости. Позже, когда Симонов уже прочитал «Мастера и Маргариту», он сделал все, чтоб роман увидел свет. А вот поддерживать своим авторитетом нечитаное не стал.

Софронов просмотрел проспект и произнес в заключение:

— Замечательная идея. Читателю — наслаждение, издательству — прибыль, а нам — слава!..

Приложения к «Огоньку» — книги массовые, они делаются на основе ранее существовавших научных, тщательно подготовленных и продуманных изданий. А замысел «Библиотеки сатиры и юмора» при прочных литературных позициях страдал существенным практическим недостатком — слабостью (или, прямо говоря, отсутствием) издательского тыла, сложившейся книжной традиции. «Библиотеку» следовало создавать прочно, на академический манер. По плечу ли такая работа «Огоньку», у которого нет (или, во всяком случае, тогда не было) самостоятельной книжной редакции? Полагаю, что именно по этой причине проспект так и остался проспектом. Но именно от этого проспекта уходят в будущее другие — нет, не проспекты — улицы, на которых мне вновь и вновь приходилось встречать Симонова.

Константин Михайлович сумел заинтересовать «Мастером и Маргаритой» Евгения Ефимовича Поповкина, главного редактора «Москвы», и летом 1966 года мне сказали:

— С вами хочет поговорить Евгений Ефимович. Вот его телефон. Звоните.

Я позвонил Поповкину и, не веря собственным ушам, услышал:

— Мы хотим печатать «Мастера и Маргариту». Не возьмете ли на себя труд сделать предисловие? С вашей книгой о сатирическом романе я познакомился. Думаю, что вы в «Мастере» разобрались.

А в конце августа, когда предисловие было уже написано, Елена Сергеевна Булгакова, вдова писателя, говорит мне по телефону примерно следующее:

— Я знаю, как много вы сделали для «Мастера». Высоко ценю ваше доброе и искреннее отношение к булгаковскому наследию. Вы любите «Мастера» и, бесспорно, принесете во имя этого романа небольшую жертву. Прошу вас, откажитесь от вашего предисловия. Предисловие согласился написать Симонов. Вы не можете не понять, что его непосредственное участие в публикации — в интересах дела. Позвоните, пожалуйста, ему.

Я сознаю правоту Елены Сергеевны. Но все равно какой-то ком торчит у меня в горле. Собравшись с духом, звоню Симонову. Так, мол, и так, Елена Сергеевна мне обо всем рассказала. Я, конечно, все понимаю... и все в таком роде.

— Приезжайте ко мне... Лучше завтра утром. Можете?

Наутро я был у Симонова. Расспросив меня о моих личных делах, Константин Михайлович сказал:

— Комиссия просит меня написать предисловие. Но я не могу сделать это, не посоветовавшись с вами. А что, если так: в начале идет мое вступительное слово, а в конце — ваша статья, в качестве комментария?

Другая тема моих встреч с Симоновым — замысел трехтомника «Советская сатирическая, юмористическая и пародийная повесть». Появился у меня этот замысел в 1964 году, когда судьба «Мастера» пребывала еще в тумане. Я позвонил Симонову, и он назначил мне свидание на вечере памяти Галины Николаевой.

Мы выходим на улицу, и чувствуется: прежде чем сесть в машину, он должен подышать, просто подышать, хлебнуть свежего воздуха. Меня буквально подмывает задать ему вопрос, который, при всем желании, тактичным не назовешь.

— Константин Михайлович, скучно вам, наверное, без капитанского мостика?

Симонов реагирует на эту эскападу спокойно. Уважая чужую ранимость, оберегая — до трогательности заботливо — настроение и самолюбие других, пускай даже и законченных графоманов, он бесстрашно подставляет себя под любой удар. Внутренний подтекст его распахнутости такой: тому, у кого совесть чиста, не следует опасаться никаких вопросов — даже самых каверзных, самых иезуитских. Хотя,

конечно, на иезуитские вопросы он любит и умеет отвечать. Он задумчиво говорит:

— Должности мешают писать. Лучше жить без должностей. Отрицательный момент один — отсутствие аппарата, позволяющего держать в поле зрения множество нитей одновременно. Вот, например, ваше сегодняшнее дело и другие аналогичные — попробуй-ка отрегулируй их в одиночку...

Симонов добр и благороден, но доброта его может и устрашать. Ибо это обязывающая, требовательная доброта. Доброта-прогноз. Оборотная ее сторона — ожидание: сбудется ли симоновское предчувствие?

Как-то в 1972 году я без спросу заявился к нему на дачу. Симонов что-то диктовал стенографистке и явно намеревался целый день работать. Если бы не я, никто бы ему не помешал: был праздник, пятое декабря, по тогдашнему календарю — День Конституции. Молча выслушал объяснения и проговорил на машинку отзыв на реферат моей диссертации. Вполне положительный, но вместе с тем ироничный. Симонов хвалил мои ранние работы о «Мастере и Маргарите», хотя в диссертации вообще о Булгакове не было речи, и это воспринималось как критика, упрек.

Зато в 1973 году, когда я из больницы позвонил его секретарю, чтоб услышать хоть что-нибудь про булгаковский однотомник, она сказала мне: «Книга вышла, и вы есть у Константина Михайловича в списке. Пришлите кого-нибудь; желательно, чтоб с доверенностью».

В обоих случаях — с отзывом и книгой — Симонов проводил в жизнь один и тот же принцип: «Что заслужил, то и получил». Доброту он, как правило, авансировал, но только однажды, спервоначала, чтоб поднять человека на ноги. А уж ходить тот должен был сам. И подтверждать свое право на новую доброту, как подтверждают звание чемпиона мира по шахматам. И все-таки в расчете на его доброту с личными просьбами к нему обращались все, кому не лень.

Но вернусь к трехтомнику. Невзирая на весьма благоприятную резолюцию директора Гослитиздата В. А. Косолапова (что-то вроде: «Идея интересная, заслуживает рассмотрения»), заявка и по сей день остается заявкой. В семидесятые годы Симонов предпринимал энергичные усилия, чтоб возродить эту идею. Написал мне, что из-за нехватки времени вынужден отказаться от рецензии на сборник, но и самый этот отказ был особым видом положительной рецензии. В одном из писем выразил согласие предпослать будущему трехтомнику вступительное писательское слово — он подчеркивал, что на обстоятельное предисловие у него нет ни сил, ни времени.

Последний раз я его увидел зимой, не то в конце семьдесят седьмого года, не то в начале семьдесят восьмого, на пороге комнаты в Библиотеке имени Ленина, где он делал — как автор, сценарист, режиссер, исполнитель, одним словом, как творец, — свой замечательный документальный киномонолог о Булгакове. Он возвращался после перерыва на съемку. Остановился:

— Ну вот, все булгаковеды в сборе. — И, расспросив о трехтомнике, вдруг сказал: — А может быть, издать сперва однотомник Заяицкого? Вы, кажется, очень этого автора цените... И уж потом, во всеоружии материала, показав, чем мы располагаем, двинуть остальное. Вы по-прежнему за трехтомник? Что ж, будем драться за трехтомник!



К. Симонов с Г. Купером (в центре). Голливуд. 1946 г.

Бернард КОТЕН

ТРИ МЕСЯЦА РЯДОМ С НИМ

Я не верю в жизнь после смерти. Единственное бессмертие для меня — жизнь в памяти тех, кто остался жить: друзей, любимых, любящих. Сколько буду жить я — столько будет жив Константин Симонов... в моей памяти.

Мы с Костей впервые встретились весной 1946-го, когда он вместе с И. Г. Эренбургом и М. Р. Галактионовым приехал в США как член первой официальной советской писательской делегации (впрочем, его как писателя я знал и раньше). Меня попросили на эти три месяца стать переводчиком, спутником, секретарем Симонова. Я согласился. Скоро мы стали друзьями. Мы оставались добрыми друзьями до самой Костиной смерти.

Все, что мы делали вместе, прочно засело в моей памяти. Глупые вещи, мудрые вещи. Просто живые. Смешно иногда, какие пустяки вспоминаются. Ехали мы поездом из Нью-Йорка в Детройт (а потом в Канаду), сидели, завтракали в вагоне-ресторане. У меня тогда была привычка после завтрака выпивать большой стакан холодного молока. Это ужасно раздражало Эренбурга. Он со своей привычкой к французской

еде и французскому питью видел в этом признак молодости Америки и очень сердился, что его друг носит это позорное пятно американской детскости. Зато Симонов, который отнюдь не был любителем молока, с тех пор требовал всякий раз себе молока за компанию со мной. Этот акт солидарности заставил меня полюбить его. Сразу.

Еще одна история, положившая начало нашей долгой дружбе, произошла в Лос-Анджелесе. Было это поздно ночью. Роберт Монтгомери, Эллиот Ньюджент и их друг, в то время редактор ведущей калифорнийской газеты, просили дать интервью, и Симонов согласился. Они сидели и разговаривали в нашем гостиничном номере допоздна. Речь шла о политике. Они его задирали, а Симонов отвечал очень спокойно. Мне это стало действовать на нервы. Я устал еще и оттого, что мне не нравился его мирный тон. Но я держал себя в рамках. Наконец Симонов это заметил и сказал, что ради Котена он готов отвечать на вопросы так, как они задаются, хотя и не поручится за дипломатичность ответов. Тут мою усталость как рукой сняло.

Самой интересной частью пребывания в Америке был месяц, который Симонов провел в Голливуде. Много добрых друзей. Но и происшествия, весьма неприятные. Самым лучшим, самым памятным было время, проведенное с Чаплином, Фейхтвангерами, Брехтом, Гансом Эйслером, Страссбергами... Писатели. Режиссеры. Актеры.

Мы были у Чаплина на студии. Смотрели, как он снимал «Месье Верду» с Мартой Рэй. Обедали у него дома вместе с Ли Страссбергом и Гансом Эйслером. Перед тем как сесть к столу, Чаплин и Симонов опустились на четвереньки и приветствовали друг друга на манер пантомим Кабуки (оба побывали в Японии). За обедом Чаплин взял две булочки и две вилки и исполнил свою замечательную пантомиму из «Золотой лихорадки». Говорили о том, как в Советском Союзе пишут и снимают кино. (Позже Симонов прислал мне японскую маску Кабуки для передачи ее Чаплину.)

Голливуд носился с Симоновым как со знаменитостью, и многие актеры и актрисы (и даже композиторы) устраивали в его честь приемы, усеянные «звездами».

Были у нас интереснейшие дискуссии. Одна — в актерской школе, где большая группа молодых актеров и актрис выясняла, как в Советском Союзе актер становится актером, как принимают и ставят пьесу, как платят драматургу за его труд. А потом мы отправились в маленький театр, принадлежащий школе, и тут уже спрашивал Симонов, а работники школы рассказывали, как ставят пьесы в США и как в них играют.

Словом, Симонов завел в Голливуде множество друзей и с удовольствием пользовался их гостеприимством. Но его собственное славянское чувство гостеприимства требовало

ответа, и ответить он хотел непременно на родной почве. Его осенила идея устроить ответный прием на советском корабле, который стоял в это время в доке Сан-Педро вблизи Лос-Анджелеса. Капитан корабля идею поддержал, а когда он и его команда узнали, что среди гостей будет Чарли Чаплин, энтузиазм русских не знал границ. На борту были советская



К. Симонов и Д. Сикейрос. Москва. 1959 г.

икра, водка, вина, ликеры, коньяки. Разумеется, меню открывали борщ и бефстроганов. Сначала команда устроила для нас концерт, потом показали фильм «Медведь» по Чехову. За обеденным столом все веселились, но внезапно шайка репортеров из херстовских газет, прослышавшая о приеме, сделала попытку прорваться на вечер. Чаплин, у которого со здешними представителями херстовской прессы были свои нелегкие счеты, этим вторжением был возмущен.

Херстовская газета утверждала, что эти русские и американцы сошлись на борту советского судна с подрывными целями. Концерт, данный командой, изображался газетой как пропагандистский трюк, чеховский «Медведь» как фильм об алкоголизме. Настроение у гостей, естественно, испортилось. И только Симонов, хозяин вечера, своим спокойствием и чувством юмора поддерживал у всех веселое расположение духа. То расположение духа, в какое привели гостей прекрасные грузинские тосты, которые он произносил в тот вечер. Помню

один: о чужестранце, который читает надписи на могильных камнях. На одном написано: 3 дня, на другом — 2 недели, на третьем — месяц. Найдя служителя, он спрашивает его: что же это за страна, где человеческая жизнь так коротка? И служитель отвечает ему, что в этой стране, в Грузии, на могильном камне пишут не то, сколько лет прожил человек, а то, сколько времени прожил он в настоящей дружбе.

В другой раз Симонов решил устроить чисто русский вечер для друзей из Голливуда в лос-анджелесском отеле, и я носился в поисках «домашней» русской пищи и советской водки и вина по всему городу. Большой стол в отеле был накрыт по-семейному, и гостей своих он принимал так, словно все это происходило у него дома, в Москве. Среди гостей были Лион Фейхтвангер, Бертольт Брехт...

Были интересные встречи и в Нью-Йорке. Больше всего запомнились несколько дней в обществе Лилиан Хеллман, с которой Симонов познакомился еще в Москве. Мисс Хеллман устроила прием в честь советских писателей; здесь советские гости обсуждали вопросы советской и американской литературы со своими американскими коллегами. «Дни и ночи» Симонова были признаны одной из 12 лучших книг года американским клубом книги, и из советских писателей его знали лучше других.

Во время своего пребывания в Америке Симонов списался с Хемингуэем, который в то время жил на Кубе. Хемингуэй пригласил Симонова погостить у него на Кубе (и поехать с ним на рыбную ловлю). Это было невероятно соблазнительное приглашение, но, посоветовавшись с Эренбургом, он его отклонил. Отношения между тогдашней Кубой и Соединенными Штатами, а тем более с Советским Союзом, были слишком напряженными, чтобы советские писатели могли рискнуть нанести туда визит.

Свой авторский гонорар за американское издание «Дней и ночей» Симонов тратил на подарки для семьи и друзей, но большая часть денег ушла на закупку оборудования для детского дома в Смоленске (от этого города он был избран депутатом в Верховный Совет). Он закупил огромное количество комплектов постельного белья для детей (не так-то просто было его достать в те годы), школьное и медицинское оборудование и даже санитарную машину. Походы за покупками превращались в целые экспедиции, потому что казалось — все в Нью-Йорке знают Симонова и его «Дни и ночи» и хотят с ним поговорить.

В последующие годы Симонов несколько раз приезжал в Штаты: однажды с группой советских писателей, в которую входили Розов, Катаев, Межелайтис, Панова; в другой раз — с женой Ларисой Жадовой, а еще раз, тоже с Ларисой, — проездом. Несколько часов мы провели вместе в аэропорту на



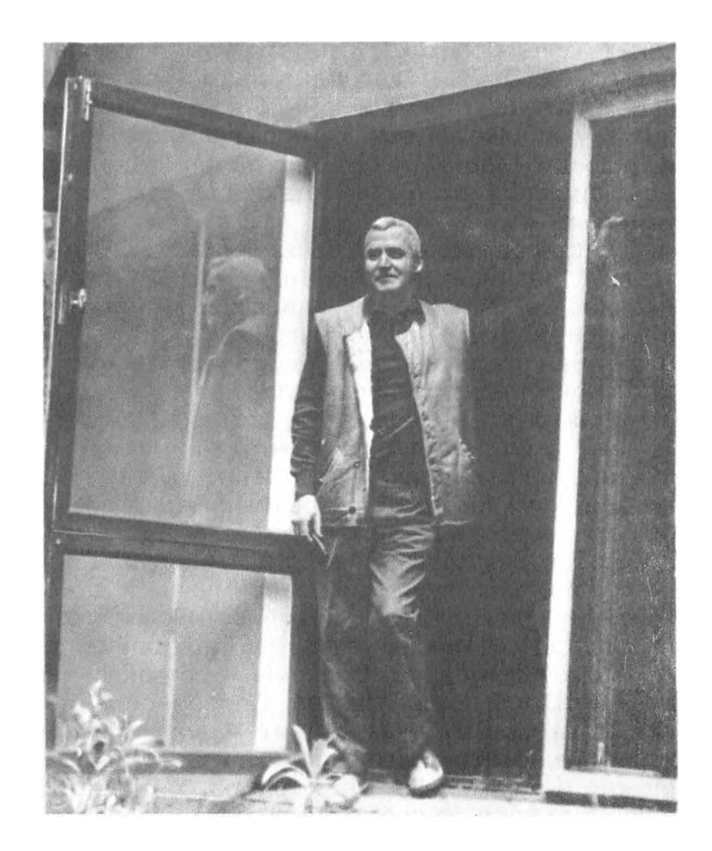
Фото Чарли Чаплина с дарственной надписью К. Симонову. 1946 г.

пути их в Мехико, а на обратном пути Симоновы задержались на день в Нью-Йорке. Это дало им возможность повидаться с друзьями — американскими писателями. День мы провели с Артуром Миллером и его женой Ингой. Симонов с Миллером говорили о последних работах друг друга, о книгах знакомых им обоим американских и советских писателей.

За эти годы и я довольно часто бывал в Советском Союзе (где в 30-е годы прожил шесть лет) и немало приятных минут провел с Симоновым и его семьей в Москве и в Ташкенте. Симонова там хорошо знали и хорошо к нему относились. Однажды на ташкентской улице я остановился почистить ботинки, чистильщик отказался взять с меня деньги, поскольку я гость Симонова. Откуда он это узнал — ума не приложу. Всякий раз заставал я Симонова в окружении писателей — соотечественников и со всего мира. В конце 50-х годов я был в Ташкенте на конференции писателей стран Азии и Африки. В доме одного узбекского писателя во главе стола сидел Симонов. Нам подносили изумительные яства, и над столом витали прекрасные слова из уст японских, индийских, иранских, индонезийских, вьетнамских писателей (и переводчиков). Несмотря на изобилие языков, Симонов ухитрялся поддерживать оживленный диалог о литературной жизни с делегатами многочисленных стран, представленных за этим столом.

Мы с Симоновым подружились еще в его первый приезд в США, в 1946-м. Я даже попал в его сборник стихов «Друзья и враги» — в качестве многоточия, фигуры умолчания.

Памяти не свойственны фигуры умолчания. Она крепка плотью и кровью нашей жизни.



Красная Пахра. 70-е годы.

Роман СОЛНЦЕВ

«С ТОВАРИЩЕСКИМ ПРИВЕТОМ — К. С.»

1

Что делает с нами со всеми, даже неразумными, время!.. Если бы я сейчас писал такие наивные, путаные стихи, как двадцать лет назад, и даже если писал бы лучше, разве решился бы я послать их Константину Михайловичу Симонову? Что я знал о нем? Ни того, что у этого человека нет ни минуты свободного времени, ни того, разумеется, что он помимо своей писательской работы занят делами громадной важности для всей нашей литературы. Это позже я прочту его предисловие к роману Булгакова «Мастер и Маргарита» и сам роман; это позже я пойму, что значили два человека, Симонов и Твардов-

ский, для советской литературы... А тогда, двадцать лет назад, он был для меня знаменитый писатель, блестящий поэт, чьи стихи я помнил со школы, чей портрет видел в учебнике. И все. И, посылая свое письмо со стихами по адресу: Москва, Союз писателей, Константину Симонову, вряд ли ждал, что он мне ответит. А он ответил. И откуда-то издалека — из Ташкента. А стихи — от совершенно ему неизвестного юноши, студента физмата Казанского университета. И, разумеется, о любви. И, разумеется, о любви неразделенной. И конечно же начинающему автору хотелось выйти поскорее к людям с этой книжкой. И даже таковая стояла в плане одного из местных издательств. И уже молодой автор имел поклонниц. На вечерах поэзии срывал аплодисменты. Но временами накатывал ужас: а тем ли делом я занимаюсь? Я ведь знал, твердо знал, что на физмат поступил единственно из суеверия (а внутренне готовил себя к работе в литературе!). Может быть, размышлял я в одиночестве, я пребываю в заблуждении — и это все не стихи, а зеркала, в которых отражаются чужие страсти и чужие поиски, — разве не были в юности все мы переимчивы и даже талантливы в какой-то неожиданной способности своей озадачить странным вопросом, яркой, нелепой метафорой?..

«Дорогой товарищ Солнцев! — отвечал мне К. М. Симонов. — Стихи Ваши прочел. Способности, по-моему, у Вас есть, и стихи Вам писать стоит. А вот «сталкивать с мертвой точки» издание Вашего сборника у меня что-то не лежит душа. Может, и в самом деле его еще рано издавать? Надеюсь, Вы еще не стали и не собираетесь пока становиться профессиональным поэтом, имеете профессию, работу или учитесь — и над Вами не каплет, ничего не случится, если Ваш сборник выйдет и через 2 — 3 года, когда всем будет ясно, что надо его издавать, пора.

Багрицкий, например, выпустил свой первый сборник «Юго-Запад» — в 30 лет и не считал, что это поздно. Зато эта первая же книжка ввела его в круг крупнейших наших поэтов.

С товарищеским приветом

К. Симонов

19 16/I 60

Ташкент»

И еще несколько выписок из его писем, хотя, конечно, есть в них очевидные теперь для меня истины, обидные замечания. Но... может быть, наставнические строки большого поэта что-то подскажут другим, нынешним молодым?

«...Рад был узнать, что Вы учитесь на физико-математическом, и если преждевременный выпуск Вашей книжки не

свихнет Вам мозги и не заставит бросить занятия, то, значит, все будет обстоять совсем хорошо. И я буду этому очень рад...

Что касается новых стихов, Вами присланных, то в принципе мне кажется лучшим «Мое поколение», в нем есть хорошая мысль...»

Отметил он и стихотворение «Море».

«...Остальные стихи мне не понравились. Работать, по-моему, Вам надо. Стихи у Вас, думаю, постепенно начнут получаться, если, повторяю, не помешает преждевременное самоощущение, что вы уже «поэт», да еще с уже вышедшей первой книжкой!

С товарищеским приветом

К. Симонов

Ташкент
5 февраля 1960 г.».

«...Прочитал все, что Вы прислали, — писал он в письме от 20 октября 1961 года, — и в общем порадовался за Вас. Вы как будто начинаете нащупывать в стихах свою интонацию, еще не всюду, не всегда удачно, но нащупываете, а это очень и очень важно...

Есть что-то по-настоящему хорошее в стихотворении об отце, но в то же время есть там какие-то душевные и стилистические бестактности, вроде «шелковой портьеры» и «красного мира сквозь красное вино...».

Есть совсем плохие, показные стихи, вроде «Деревья и знамена» — деревья, знамена и черные души — обыграны, а душй в стихотворении нет.

...А последнее — «Спички» — написано хорошо, я бы тоже напечатал. И «Архипыч» мне нравится. А вот «Деревня спит» — можно, конечно, напечатать, но стихи поверхностные; гладко все, вроде и придумка есть, но придумка эта недорогая. Это стихи из тех, что проходят через узкие двери редакции не потому, что хороши, а потому, что не к чему придраться — ни к хорошему, ни к плохому.

В «Юность», я выберу время, позвоню, узнаю, что там с Вашими стихами, посоветую взять еще 2—3, послушают ли — не знаю, это уж от меня не зависит.

...Времени у меня не то что в обрез, а просто нет, поэтому писать Вам подробно нет возможности. В общем, Вы меня порадовали, но работы Вам еще предстоит очень много. Впрочем, думаю, Вы этого не боитесь. Желаю успеха, жму руку —

К. Симонов».

И еще одно короткое письмецо — от 15 июля 1962 года, касающееся моей первой прозы:

«Дорогой Рома!

Не имею буквально ни минуты времени — уезжаю и собираюсь. Рассказ, по-моему, очень нескладный и наивный, хотя и писан с добрым чувством и с верным взглядом на вещи. Просто ничего не вышло. Это бывает с нашим братом. Стихи на днях выйдут из печати, чему очень рад...»

Наконец, письмо, датированное 30 декабря 1962 года. Этот огромный, чудесный год заканчивался — я впервые вышел ко всесоюзному читателю с поэтическими подборками в журналах «Юность» и «Молодая гвардия»...

«Дорогой Роман!

...Времени у меня сейчас — просто считанные минуты, поэтому пишу кратко. Меня порадовало содержимое обоих пакетов — и стихи, и поэма. Вы хорошо, интересно думаете, хорошо, честно чувствуете. В стихах еще не всегда, не все получается, а кое-что и просто не получается, но, в общем, если сравнить то, что Вы написали в «Юность», с тем, что я прочитал сейчас, — Вы пошли вперед. Это для меня совершенно очевидно и очень радостно.

...Насчет стихов не буду вдаваться в подробности, еще раз скажу: в них есть очень много хорошего.

...Насчет поэмы: поэма интересная, но еще не все в ней дожато. Я над ней посижу, подумаю, потом пошлю Вам подробные замечания... она у Вас сейчас написана на излете, а должна быть на взлете, должно быть такое ощущение финиша, за которым Вы можете сделать еще один круг, а не задохнуться и сойти с дорожки...»

2

Мне посчастливилось увидеться с ним в 1962 году. Я сдал последние госэкзамены в университете и поехал поездом в Москву. До того я там не бывал.

Разумеется, к 1962 году, к середине лета, я был уже не восторженный парнишка, нарочито хмурящий лоб, чтобы казаться разочарованным. Успел поработать в Сибири, в геологической партии (на год удрал из КГУ — хорошо еще, не исключили!), выпустил первую — ту самую — книжечку стихов в Казани, женился... Я уже знал, куда еду после окончания университета, — в Красноярск, сам выбрал и понимал, что еду туда, может быть, навсегда... и вот очень захотел увидеть К. М. Симонова (как я из Сибири в Москву потом попаду? Это же не Казань).

Каким-то чудом устроившись в одной из дешевых гостиниц

около ВДНХ, я позвонил из телефона-автомата Константину Михайловичу домой. Улица Черняховского, 4, квартира 113. Я помню этот подъезд, лифт, который ходил с гулом и щелкал иногда как кнут. «Вот так меня и спустит с лестницы прославленный писатель, — думал я, поднимаясь из суеверия пешком на седьмой этаж. — Одно дело — переписываться, и совсем другое — в гости заявился. Мало ли что он говорит по телефону: приезжай... рад познакомиться. А что он еще может сказать?!» Я постоял у дверей минут десять и позвонил. За дверью раздался тоненький с переливом звоночек. И на пороге появился Константин Михайлович, неожиданно для меня — высокий. Он цепко оглядел меня, перевел через порог и обнял. И мы очутились в его кабинете.

От напряжения я ничего не запомнил из первых минут нашего разговора. Я что-то бормотал в ответ на его вопросы, кивал, краснея. Рассматривал кабинет, книги, книги до потолка, а на самого Константина Михайловича смотреть стеснялся. Я только заметил, что он был одет очень просто — в клетчатую рубашку с закатанными рукавами и серые брюки. Он вдруг рассмеялся:

— Тебя так провожали твои поклонницы — лицо до сих пор горит? И что, в Казани любят стихи? Может, мне тоже туда съездить? — Он подмигивал и шутил, и мне сразу стало легче. — А пока мы сейчас едем в «Юность». Нас ждет Борис Полевой.

Он знал, что в редакции года два лежали мои стихи и куда-то запропастились. По моему убеждению — к счастью! Новые, только новые стихи мне казались интересными. Все, что за гранью минувшего года, — труха. И я подал Симонову пачку стихов.

— Ого! Это все новое?! А я добавлю те, которые мне нравятся. — Он достал с полки картонную папку, на которой синим карандашом было написано: «Р. Солнцев». Быстро перелистав рукопись, он вынул пять или шесть стихотворений с красными точками в уголке листа. — Поехали!

В машине он стал вдруг очень серьезным, надел очки, принялся читать незнакомые ему стихи. И снова развеселился, — видимо, понравилось.

— Слушай, где ты такую машинку купил? У нее в самом деле нет вопросительного знака? Смотрю — то синими, то красными чернилами вписываешь вопросительный знак. А может, не надо никаких вопросов? — Он смеялся, заглядывая мне в лицо. Я смущался. — Да здравствует восклицательный знак! Чье производство? Гэдээровская?! Не обманываешь? Не сам отломил — в часы сомнений и тягостных раздумий?.. Ну, не волнуйся, — вдруг тихо сказал он мне. — Все будет хорошо.

Мы приехали на улицу Воровского — редакция журнала «Юность» располагалась тогда там, в желтом одноэтажном флигеле. Б. Н. Полевой и С. С. Преображенский, которых я также впервые в жизни видел, провели нас по коридору в дальний кабинет. Они разглядывали меня, может быть, недоверчиво, я краснел и уже злился, хотел начать читать — обычно чтение стихов делает меня уверенным и на вид даже умным, — но Симонов лишил меня и этой возможности:

— Он поет как пономарь! Давайте, ребята, я сам почитаю.

И стал читать стихи. Читал он неторопливо, как-то легко, и в его устах многие мои несовершенные стихи показались мне просто замечательными.

— Ну что же, — сказал Полевой, открывая оба глаза, как мудрая сова, дремавшая в ожидании ясного месяца. — Спасибо, Костя. Ты нашел славного парня. И мы будем рады открыть его. В ближайшем номере дадим его стихи, и много дадим. Поздравляю, Рома. — Он протянул мне руку и достал из шкафа бутылку коньяка. — Физики пьют? Или нет?

Мы подняли крохотные рюмки, выпили, и я хмуро буркнул:

— Можно, во дворе подожду? — Мне было тяжко от сладкого и неожиданного счастья.

— Давай! — махнул рукой Симонов, и я выскочил из кабинета.

В коридоре толклись молодые поэты, прозаики, они высокомерно посмотрели на кудлатого чернявого паренька в стоптанных ботинках со шнуровкой разного цвета — коричневой и черной, — но мне было плевать. Я выбежал во двор...

Вскоре в дверях показались Симонов, Полевой и Преображенский.

— Мы пойдем дальше, — сказал Константин Михайлович, демонстративно, как мне казалось, обнимая меня за плечи, и, обернувшись, кивнул редакторам журнала. — И будем ждать, когда выйдет номер с нашими стихами.

Мы пересекли двор и оказались в здании секретариата Союза писателей СССР. Там за столиком, возле лестницы, сидел мрачный, куда мрачнее меня, Луконин. Оказывается, он в эти дни редактировал будущий сборник «День поэзии». Но, увидев Симонова, он просветлел, поднялся из-за стола, сам вдруг стал похожим на грузного драчуна подростка, и два старых друга начали весело листать пачку моих неиспользованных стихов.

— Вот это! — сказал Михаил Кузьмич. Они выбрали стихи «Бараки леспромхоза для рабочих». — Только вот вторая

строка... «Здесь вечерами пьют одеколон». Так-таки вечерами и пьют?! Может, как-то осторожней... «Здесь так бывает — пьют одеколон»?

— Нет! — заволновался я. — Вечерами! Именно — здесь вечерами! Другого там ничего не продают!

— Давай оставим, — сказал Симонов. — Ну, если у них там ничего больше нет! Надо же, чего не пьют?! И ты пробовал? Если пробовал — напечатаем! — И уже более серьезно Луконину: — Конечно, здесь авторское преувеличение. Не каждый же вечер... ну, вечерами по воскресеньям.

Я попросил разрешения эти стихи посвятить К. Симонову. Симонов еще раз перечитал их и кивнул...

Я уже не помню точно, на следующий ли день снова оказался у него дома или все длился первый день моего приезда. Константин Михайлович расспрашивал о моих родителях, о моих планах на будущее — не собираюсь ли сразу бросать работу физика, и, кажется, остался доволен ответами.

Я ему похвастал, что недавно, 5 мая, в «Литературной газете» была напечатана статья Андрея Вознесенского, радостная, колокольная — «Мы — май!», где дерзкий, замечательный поэт цитировал мои стихи со строчками: «Я крикнул: быть на земле дворцам, как каплям росы на яблоке!» — рядом со стихами Асеева и Межелайтиса. Симонов помолчал и ответил, что эти стихи мои ему тоже нравятся, но что у меня есть стихи лучше.

Его дружеское ко мне отношение укрепилось, это видно и по дальнейшим письмам, но я понимал — его огорчают моя разбросанность, простодушная вера во все необычное, смутное, яркое. Когда я заговаривал о наших вечерах поэзии, о тогдашнем нашем эпатаже, он как-то неопределенно отмалчивался. Видимо, Константин Михайлович с его деликатностью не хотел поучать меня, он видел: это как корь, этим надо переболеть — жаждой скандалов, рекламы... вывихами стиля... горами метафор... Сам он больше ценил мои сюжетные стихи.

Так продолжалось лет пять. С одной стороны, это самые удачливые годы в моей жизни — вышло подряд несколько книг в Москве и Красноярске, приняли в члены Союза писателей СССР, причем рекомендации получил от таких поэтов, как Илья Сельвинский и Андрей Вознесенский. Но в то же время со мной происходила какая-то чертовщина. Может быть, я успокоился на достигнутом и стал слегка хулиганить в поэзии?.. Писал стихи в одну строку, вроде «Ушла — надкушенное яблоко чернеет», и терцины о будущем аде — после атомной войны, поэмы с такими названиями, как «Пикассо, кочегарка и Наташа»... Симонов писал об этом

названии: «...прямо-таки завлекательное... Прочел и вздрогнул!..»

Константин Михайлович по-прежнему отвечал мне добрыми и строгими письмами, но, видимо, он чувствовал — заскакал самонадеянный жеребенок без узды по раскаленному асфальту... завязнет. Вот несколько писем Симонова, относящихся к этой «второй» нашей полосе:

«Москва, 30 июня 1963 г.

Дорогой Рома, отвечаю Вам, как водится, с запозданием.

Ну, что ж, глядите сами — коли хотите, чтобы я редактировал Вашу книжку в «Молодой гвардии», можете сообщить издательству, что я на это согласен, хотя, может быть, где-то в душе я бы предпочел редактировать не эту Вашу книжку, а следующую, в которую войдет больше всякого такого, что мне нравится. Но решайте этот вопрос сами. Может быть, практически говоря, Вам именно для этой книжки нужны еще какие-то костыли или костылики в виде редактора Симонова, а для другой уже и не понадобятся — и слава богу. Повторяю, решайте сами... А главное — пишите и не унывайте. Ничего важнее, чем умение не унывать, для человека нашей профессии нет...»

Книга вышла в «Молодой гвардии». Симонова я не решился обременять.

А однажды Константин Михайлович преподал мне жесткий урок товарищества. Хоть стыдно, но не могу утаить это письмо.

«Дорогой Роман! Во-первых, хочу задним числом отругать тебя. Ты сначала, не спросясь, прислал мне целую пачку стихов Николая Беляева (мой товарищ, поэт из Казани. — *Р. С.*), по сути, книжку, а не грех бы сначала все же спросить у меня — могу ли я сейчас это прочесть. А во-вторых, когда был у меня, не вспомнил сам об этой рукописи. Тоже нехорошо. А в итоге получается: ты хороший добрый парень, забрал у товарища рукопись, обещал, что Симонов ее прочтет, и послал ему. А я старый вредный бюрократ, который вон сколько держит эту рукопись и не читает. Так-то!

А теперь по сути дела. Сейчас, когда у меня наконец дошли руки, я прочел рукопись Беляева. Человек он, конечно, с хорошими способностями. У меня абсолютно нет времени заниматься сейчас разбором его вещей, но думаю, что самое лучшее в этой пачке стихов — последний цикл стихов «Поэма солнца». В двух из этих стихотворений есть эдакая модная разоблачительная дешевка, недорогая хлесткость, но думаю, что это накладные расходы, потому что вообще-то парень, видимо, хорошо, строго думающий о жизни и, повторяю, способный. Если у тебя будет охота, можешь пе-

редать ему это мое мнение. Стихи Беляева возвращаю тебе.

Желаю хорошего Нового года тебе и Гале. Завтра улетаю в Норильск. Жму руку, *Константин Симонов.* 26 декабря 1963 года».

«Москва, 24 марта 1964 года.

Дорогой Рома! Получил еще одно твое письмо, еще одну пачку стихов. Есть в тебе противоречие: человек ты терпеливый, шлешь стихи — терпеливо ждешь ответа, ждешь письма — долго не получаешь ответов от меня и не обижаешься, терпишь, а вот терпения доделать до конца стихи, не раскидываться, не метаться из угла в угол вселенной, возникающей в твоем воображении, — вот на это терпения или терпеливости не хватает...

...И вообще — поменьше космизма. Мне все больше начинает казаться, что избыток космизма в некоторых и стихотворных, и прозаических сочинениях является новой, самоновейшей формой ухода от действительности, да в какой-то мере и лакировкой оной. Подумай над этим. Ей-богу, это так.

Испугала меня твоя идея насчет поэмы о светомузыке и о Скрябине. Испугала из-за моей необразованности. Что такое светомузыка, я не знаю, музыку вообще плохо понимаю, Скрябина знаю понаслышке только. Боюсь — напишешь, пришлешь, а я ничего не пойму. Как тогда быть? Признаваться в своей малограмотности?

...Летом безусловно увидимся, в Сибирь приеду. До лета — навряд ли...»

А вот из самого строгого письма, после которого я всерьез наконец задумался. Датировано 14 мая 1964 года, из Гульрипши.

«Дорогой Рома!

Про «Пикассо, кочегарку и Наташу» — прочел. Твое намерение переменить заголовок является, на мой взгляд, вполне прогрессивным. Поэма, как, к сожалению, и все, или почти все, что ты в последнее время пишешь, начата, но не кончена, и я еще раз с тревогой подумал о тебе и о твоем неумении сосредоточиваться и добиваться соответствия выполнения с замыслом. Пока, я все больше убеждаюсь в этом, твоя талантливость ограничивается способностью писать талантливые черновики, но превращать их в законченные вещи ты не умеешь и, по-моему, не учишься, во всяком случае — по-настоящему не учишься.

А положение очень серьезное. Если ты не научишься превращать эти черновики в беловики, то пройдет еще какое-то

количество лет и окажется, что ты как поэт не состоялся. И о тебе будут говорить люди, вполне доброжелательные к тебе: «Смотри, как интересно начинал! Кто бы мог подумать, что из него ничего не получится!» Бойся этого. Я чувствую, что ты еще недостаточно этого боишься, иначе бы, наверное, работал уже сейчас по-другому.

В поэме твоей никуда не годное начало, прекрасна Наташа и все связанное с ней, то есть, в общем, хорошая середина и довольно бестолковый конец, написанный по принципу с бору по сосенке. Все это результат того, что вся поэма целиком недодумана и недочувствована. То, что додумано и дочувствовано, — получилось хорошо, а то, что мерещилось в общем и целом, в общем и целом и получилось, весьма приблизительно, то есть, грубее говоря, — плохо. Ибо приблизительность в поэзии — это синоним низкого качества...

Что бы я на твоем месте сделал с этой поэмой:... взял бы Наташу и твоего героя на этом этапе и сделал бы из этого небольшую хорошую поэму. В этом случае, я думаю, нашлись бы для такой поэмы и конец, и начало. Но откровенно скажу, пока я добрался до твоей Наташи, я едва пересилил в себе желание отложить и не читать дальше...

Вот так, на мой взгляд, обстоят дела с твоей поэмой, а в каком-то смысле и вообще с твоей работой, потому что твоя поэма это вообще портрет твоей работы. Вот так ты все и делаешь — что сразу вышло хорошо, то хорошо, а что сразу не вышло хорошо, то залатал на скорую руку, пришил на живую нитку и на том успокоился.

...Ну, и наконец, хочу сказать тебе еще одну неприятность: до каких пор ты, талантливый человек, будешь продолжать то там, то здесь петь с чужого голоса? То непрожеванный Луговской появляется, то теперь вдруг, во сне Наташи, появляется вариация на тему, очевидно, слишком сильно запавшей тебе в память, песенки Окуджавы, — не буду даже писать какой, сам знаешь. Нравится, ну и пой на здоровье, мне она тоже нравится. А зачем волочь ее ритмический и эмоциональный ход в свою, не имеющую никакого отношения к этому поэму?

Хочу, чтобы ты меня правильно понял. Я человек скорее мягкий, чем грубый, и я не хочу резать тебе этакую отцовскую правду-матку грубым баском человека, которому делать это в разговоре с тобой позволено нашими добрыми отношениями. Я в самом деле очень встревожен тем, что в последнее время никак не могу получить от тебя ничего доведенного до конца, ничего такого, что можно было бы взять и дать в печать куда угодно со спокойной душой, потому что качество сделанного тобой было бы безукоризненно. Все в набросках, все в исканиях, все в желаниях и бросаниях, и нигде нет железной черной работы поэта, умеющего доводить дело до конца.

Ну, хорошо, допустим, ранний Солнцев был парень талантливый и разбросанный, еще не умел по-настоящему работать в поэзии. Но ведь ты уже не ранний, и годов тебе не восемнадцать уже и не двадцать. Ты ощущаешь свою талантливость и готов легко отказаться от невышедшего. Это хорошая черта, это черта богатого талантом человека. Но она одна, сама по себе, ничего не стоит, если рядом с ней нет другой черты — способности то, что начало получаться, довести до конца, до внутренне осознанной пятерки.

Привет твоей Гале. Если она похожа на твою Наташу, то, может быть, она доведет тебя до ума лучше, чем я.

Жму твою руку и желаю тебе всего самого хорошего.

Твой *Константин Симонов*».

Наконец, поумнев, я перестал посылать ему свои новые стихи, циклы и поэмы. Понял, что нужно было становиться работником, профессионалом, не все праздники, не все вечера поэзии, нужно сидеть и корпеть. Иначе все улетит впустую, как костер из соломы при первом ветре...

3

К счастью, мы продолжали видеться — в каждый свой приезд я звонил ему, потому что он просил звонить, «отмечаться». Теперь в свое оправдание могу сказать, что виделись мы редко — раз или два раза в год. Он присылал мне новые свои книги с очень добрыми автографами, но я понимал это как его надежду, что я не сплю в своей провинции, а делаю дело.

Он побывал наконец и в Красноярске — в год перекрытия Енисея. Помню вагончик выездной редакции «Правды» в Дивногорске, среди мощных зеленых сосен и белых быстро летящих облаков, над узкой темной бешеной рекой. Казалось: там они и жили, К. Симонов, Б. Полевой и Е. Рябчиков. Константин Михайлович поразил всех неугомонной веселостью (таким радостным я его впоследствии, может быть, уже не видел), неуемной энергией.

В тот ли приезд или в следующий Константин Михайлович выступил перед студентами нашего пединститута. О выступлении — что оно состоится — стало окончательно известно всего минут за тридцать, и я с понятным чувством ревности и жгучей радости разглядывал толпу, за несколько минут заполнившую зал и коридор, — не пробиться.

Симонов читал по книге, почти по-стариковски отведя ее подальше от глаз, глухим, как бы издалека голосом. Когда он читал «Дом друзей» и «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», губы у сидящих в зале девчонок и пареньков шеве-

лились, — наверное, тут все знали эти стихи наизусть. А когда дошло до «Жди меня...», наступила такая тишина... никто не смел эти стихи повторять за ним. Это были особые стихи. Это была его, Симонова, судьба.

Потом он взял меня с собой в Дивногорск. Еще был с нами в машине красноярский писатель Алексей Черкасов, автор романа «Хмель», ныне тоже покойный. Он все выпытывал у Симонова, как тот организует свой рабочий день. Пьет ли кофе, чтобы подбодрить себя, как потом — может ли спать.

— Черный кофе — в любом количестве! — говорил Симонов. — И сплю потом как убитый, если... если сделал работу. — И подмигивал мне. — Если совесть на сегодня чиста.

Хотя при встречах он улыбался мне и по-прежнему обнимал за плечи, а на людях и вовсе демонстрировал доброе ко мне отношение (к тому времени, сказать к слову, у меня начались трения с местными руководителями), я время от времени ловил на себе его испытующий взгляд: ну, как, мол, ты дальше живешь, глубоко ли копаешь, не размениваешься ли на медяки?.. Письмо из Гульрипши, обидное, а точнее сказать — абсолютно правильное и своевременное, я затвердил наизусть, как заклинание или приговор. Но снова повторяю: то ли время такое было на дворе — 60-е годы... то ли сами мы виноваты... все еще оставались юношами, с завихрениями в мозгах, инфантильными отроками, хотя и повидавшими жизнь. Представляю, с какой горечью, наверное, смотрел иной раз Симонов на мое поколение. Его-то сверстники в двадцатипятилетнем возрасте командовали полками и батальонами, руководили заводами. Черт ее знает, сам не могу понять, что это такое — наша молодость! Язык на плечо, как погон; не умели помолчать, посидеть подумать и пяти минут... ввязывались в любой пустейший разговор, хоть о масляной краске, хоть о пуговице... а кончалось идеями Ганди и Маркса, Шопенгауэра и Конфуция... Но нельзя проклинать свою молодость — она все-таки, как сердцевина дерева, самая нежная и светлая в нас. Может, поэтому, а может, еще и из какого-то упрямства, я никак не шел на откровенный разговор с Симоновым — почтительно слушал его или вдруг совершенно глупейшим образом дерзил.

Особенно запомнился мне один наш разговор. Я прилетел в Москву и от своих товарищей, да еще хватив рюмку вина, позвонил Константину Михайловичу. Мы как раз спорили о новой поэме Александра Трифоновича Твардовского «Теркин на том свете», она только что появилась в «Известиях».

— Да? — услышал я усталый, глухой голос.

Первым желанием было — положить трубку. Время поздноватое, девять часов вечера.

— Константин Михайлович, это Роман. Извините, если не вовремя...

— Приезжай ко мне, — сказал он через паузу.

— Сейчас?

— Ну да. Или ты занят?

— Нет, я вас очень хотел увидеть сам...

И я поехал.

Зачем я поехал к нему?! Я, конечно, был трезв, но все еще полон той вздорной юной отваги, с которой мы перед этим ругали и превозносили поэму Твардовского. Мы, конечно, не понимали ее. Тем более горячо я ругал поэму, что мне казалось — Симонов, сам написавший прекрасные стихи о войне, не будет защищать Твардовского. Я говорил: т о т «Теркин» — великая книга, а вот продолжение — как любое продолжение любой знаменитой книги...

— Нет, это особый жанр, — пытался втолковать мне Симонов. — И Теркин тут — уже как вечный герой, миф... Он уже и самому Твардовскому неподвластен. Хотя бы тем, что вечно живой. А что я молол?.. Даже не хочу сейчас вспоминать. Меня эта история мучила долго — все эти годы. И я сгорал от тяжелого стыда, каждый новый раз встречаясь с Симоновым, но, словно по молчаливому уговору, ни он не напоминал мне о той встрече, ни я сам. Помню, к середине того разговора он рассердился, набил трубку, задымил, а потом вдруг, приглядевшись ко мне, стал хохотать. Видимо, он понял, что со мной что-то творилось.

Константин Михайлович поманил меня пальцем на кухню, заварил крепкий чай, и мы стали пить чай. Может быть, он думал, что это меня успокоит, но я уже никак не мог остановиться.

В июне 1978 года я напомнил ему нашу ту встречу и попросил прощения. Он удивился:

— Да ты о чем?! Во-первых, ты был абсолютно трезв. Пьяных я знаю. Ну, пахло... мало ли что пахло... Во-вторых, мы очень интересно тогда говорили... — и он прищурил левый глаз. — Интересное было время.

Но я видел — он рад, что я вспомнил, что мучился... А я и вовсе был счастлив, что наконец решился напомнить ту встречу и попросил прощения. Хотя бы за потерю им в тот вечер двух или трех часов.

Через несколько лет после того вечера я решился послать ему новую рукопись — на этот раз повесть «День защиты хорошего человека», еще первый вариант. Профессор Марданов носил тогда фамилию Думкин, — это я уточняю, чтобы было понятнее письмо Симонова (забегая вперед, также скажу — он был рад, что эта повесть впоследствии имела счастливую судьбу).

20 июня 1970 года он мне писал из Москвы:

«Дорогой Роман! Получил твою повесть (прости за невольный каламбур!) Раньше прочесть не мог, не позволяла собственная работа.

Впечатление у меня двойственное. С одной стороны, много хорошо написанного: и природа, и переживания человека, связанные с этой природой, и рыба, которая бьется на траве у палатки, и лыжня, и зимняя и весенняя, и многое другое. Предметы, вещи хорошо описаны, без бытовщины, но с точностью. Это относится и к тому, как едят в гостиничном буфете, и к тому, как живут в пустой квартире, и к тому, как едут в поезде и в автобусе.

История отношений Вашего героя с его девушкой мне показалась интересной и для меня достоверной. Я представляю себе, как это было, как началось и как кончилось.

Если говорить о самом Вашем герое, то тут Вы в чем-то сели между двух стульев: для того, чтобы писать так, как Вы его написали, надо было сделать его более лирическим, больше пойти от себя. Может быть, дать ему две профессии: дать ему писание стихов и рассредоточить его жизненные интересы; хотя он у Вас и ученый, и физик, и весьма способный в своем деле человек, но когда Вы ему не даете второго интереса, связанного с искусством, то он где-то становится то непонятным, то неправдивым, натянутым. В общем, где-то здесь Вы заробели, не решились пойти до конца. Может быть, в силу того, что Вам захотелось написать более «объективизированную прозу», чем это было при Ваших первоначальных пробах.

Меня порадовала точность, с которой Вы написали Думкина и его жену. Это хорошо. Повторяю — точно, и далеко от шаблонов на эту тему.

Симпатично, но более с налету, написан у Вас академик. А разговор с ним насчет партийности, по-моему, вовсе уж мыльный пузырь. Чем так на эту тему — лучше уж ее не касаться, при том, что сама мысль совершенно правильная.

Область физики для меня область далекая, и для меня — судить, насколько серьезно все это написано, — задача вообще очень трудная. Но думается, что все-таки у Вас получилось больше экспрессии, чем сути дела. Я — на мой вкус — люблю, коли уж объяснять, так объяснять так, чтобы люди, не знающие того дела, которое я знаю досконально, поняли, о чем идет речь. И пока я этого не добиваюсь, или по крайней мере мне не покажется, что я этого добился, я считаю свою задачу невыполненной. У меня такое чувство, что и Вы своей задачи не выполнили, во всяком случае до конца, заменив суть дела экспрессией, которая где-то подхватывает читателя, держит его некоторое время на определенной высоте, а потом падает, как перегруженный змей...

P. S. (приписка от руки).

Когда перечел письмо, увидел, что сперва писал его на «ты», а потом перешел на «вы». Хочу добавить — чтобы ты не расстраивался моим письмом. При всем, в нем сказанном, твоя повесть укрепила во мне веру в тебя.

К. С.».

Стоит ли говорить, как точны были замечания опытного мастера и как пригодились они мне. Я над повестью работал еще года четыре. Зимой 1975 года она вышла сначала в журнале «Волга», а затем в издательстве «Советский писатель». Но главное — Константин Михайлович, кажется, снова укреплялся в надежде, что я всерьез работаю, учусь всерьез работать. Юность уже была далеко. Лучше поздно, чем никогда.

4

И вот с болью приступаю к концу моих заметок. Наши последние встречи, уже в 70-е годы...

Я однажды позвонил ему из гостиницы, он попросил приехать и вышел встретить в коридор, обнял.

— У меня там съемка опять, ты посиди, скоро кончим.

Я присел в углу. Снимался фильм о фронтовиках, рядовых героях войны. Было накурено, жарко. Симонов, который явно чувствовал себя неважно, когда началась съемка, преобразился, стал даже молодецки попыхивать трубкой. Умел он себя держать в железной узде. Он и какой-то ветеран войны сидели друг против друга на стульях. Симонов расспрашивал, а взволнованный до слез краснолицый крупный человек вспоминал тяжелейшие дни войны...

Потом мы с Константином Михайловичем шли пешком по Москве. Разговор сам собою крутился вокруг кино.

— Это как повезет с режиссером, — говорил Симонов. — «Живые и мертвые» получились, правда? Тебе нравится?

Я рассказал — когда мы впервые смотрели этот фильм, в конце первой серии — это где идут немецкие танки, а наши солдаты вынуждены отступать, бегут в лес — многие из моих друзей не выдерживали, закрывали глаза, отворачивались. А моя мать совсем не может этот фильм смотреть.

— Ну, что ж поделаешь... — вздохнул Симонов. — Такая это была война. Страшная. И надо ее такой и показывать. Не люблю розовые слюнтяйские фильмы... Вон, между прочим, видишь афишу? — Он показал на какой-то сизый плакат с надписью «Возмездие». Мы шли по улице Герцена. — Это ведь фильм по моему роману. Да-а! Ну, как бы продолжение... Так, переделали... Я потребовал снять мою фамилию с титров и афиш.

— А разве вы... — поразился я. — Не можете разве вообще запретить снимать по своей книге, если не нравится?!

— Как запретишь?.. Это кино. — Он покосился на меня, улыбнулся. — Ты-то сам не думаешь работать в кино?

Я сказал, что нет, но признался, что пишу пьесы.

— Театр... я очень люблю театр. — Голос у него дрогнул. — И о чем ты пишешь? О любви, конечно?

— О войне, — буркнул я. — Но действие сегодня происходит... а связано с войной...

— Ну-ка расскажи, — потребовал Симонов.

И я рассказал, о чем эта пьеса.

Мы с ним простились возле кремлевских ворот — он направлялся туда на какое-то торжество.

Уходил он, привычно вскинув голову, но сутуловатый, с подавшимися вперед плечами, и милиционер, узнавший его, почтительно взял под козырек.

И последняя наша встреча — в июне 1978 года.

Когда я рассказал, что на днях в Красноярске идет в производство моя книга стихов с предисловием Виктора Астафьева, Симонов удивился:

— Он к стихам твоим написал?! — И сказал вдруг, задумавшись: — Ты увидишь Астафьева?.. Передай — недавно я прочитал заключительные главы из его «Последнего поклона» в «Нашем современнике». Мы все как-то редко видимся, не говорим друг другу нужных слов, а следовало бы чаще видеться и говорить. Передай — я давно не читал такой точной, яркой, прекрасной прозы. Она человечна, принципиальна, так и передай.

Мы вспоминали о других моих земляках-сибиряках, он сказал о Валентине Распутине:

— «Живи и помни» — замечательная книга. Очень сильная книга. Хотя, я знаю, нашлись люди — мол, о чем он пишет? О ком? О дезертире?! Неважно, с какого боку подошел человек, если — правда. Правда — она одна. А это мы, писатели, с разных сторон к ней идем. Много-много хороших книг появляется о войне, о мужестве наших людей, о муках наших, и это правильно.

...Как-то вечером, в переделкинском Доме творчества, еще при жизни Константина Михайловича, мы в небольшой компании заспорили о его книгах. Большинство сходились на том, что он сделал столько, что можно говорить о целом направлении в советской литературе, во всей нашей культуре. Константин Симонов — это бессмертные стихи о войне, глубокие и точные романы, блестящие пьесы, а его дневники военных лет — произведение выдающееся, которое

стоит для нас рядом с другими великими итогами нашей эпохи.

Один известный прозаик сказал:

— Он гениальный журналист, ребята. А прозаик не очень, не очень...

Поэт возразил:

— Его маленькие повести — это недооцененные шедевры! А вот стихи... в них, конечно, время говорит... но по стилю... не такие уже прекрасные...

Драматург возмутился:

— Стихи Константина Симонова?! Это громадная огненная поэзия! О любви и горе народном! О вере и победе! Я сказал бы, что он во всех жанрах работал отлично... может быть, только в пьесах иногда был излишне прямолинеен...

Но ему не дали договорить — все смеялись...



Первый Украинский фронт. Румыния. 1944 г.

Василий СУББОТИН

ВСЕ БЫЛО СВЯЗАНО С ВОЙНОЙ

Человеку, не знающему той поры, трудно, я думаю, будет представить себе, насколько велика была популярность Симонова в дни войны. Это то, я думаю, о чем следует сказать в самом начале.

К тому времени, когда было напечатано «Жди меня» и многие другие ставшие столь же широко известными стихи Симонова, я не видел ни одного его портрета, не знал, какой он, как выглядит, какое у него лицо. Поэты в те годы гораздо реже печатали свои портреты. Не то что теперь, когда сколько у человека стихов, столько и портретов. Ведь сейчас к каждому стихотворению, публикующемуся в газете, прилагается портрет. Я увидел лицо поэта Константина Симонова лишь долгое время спустя на обложке книжечки стихов, вышедшей в «Огоньке». Очень хорошо помню, как я долго вглядывался в его лицо. Так было интересно разглядывать это, тогда безусое, улыбчивое лицо, лицо человека, написавшего такие прекрасные, такие удивительные стихи, так взволновавшие не одного тебя.

В дни Первого совещания молодых писателей, о котором я столь часто вспоминаю, я передал несколько своих стихотворений в «Новый мир». Сколько — не помню, через кого — то-

же не помню. У меня до сего дня сохранилась открытка, полученная вскоре от редактора отдела поэзии этого журнала, который мне писал: «Ваши стихи я буду показывать т. Симонову — главному редактору журнала, — когда, через две недели, он вернется из заграничной поездки. Надеюсь, они понравятся ему, как и мне». Не знаю, понравились ли стихи Симонову и в какой мере, но вскоре они были опубликованы. Вернувшись после совещания в Симферополь, я через некоторое время получил бандероль, вскрыв которую увидел свежий номер журнала «Новый мир» с моим стихотворением «Баллада о ровеснике», так тогда называлось это мое стихотворение.

Своеобразным отголоском этой публикации, как я думаю, было то, что через много лет, когда я уже учился в Москве, меня в числе нескольких других моих товарищей-поэтов пригласили в редакцию «Нового мира» на совещание авторского актива. С тех пор как было напечатано мое стихотворение, прошло много лет, и было удивительно, что обо мне вспомнили. Выходило, что я уже вошел в актив. Мне это казалось странным, но было приятно. Всего несколько человек было приглашено. Помнится, был Луконин, был Слуцкий, тогда только что начинавший печататься. Симонов сам вел это совещание и весь разговор, и я только тут, вблизи, увидел его, поскольку мы сидели все за одним большим длинным столом, а я сидел рядом.

Я встречался с Симоновым мало и редко, поэтому вспоминаю все, все мои встречи с Симоновым, какими бы короткими и эпизодическими они ни были. Мои встречи с ним все больше связаны с его стихами и с его книгами. С его стихами вначале, в первый период войны, а затем и с его прозой, — и с его стихами, и с его прозой на протяжении всей войны и после нее.

Я буду вспоминать обо всем по порядку, так мне будет легче рассказывать... Прошло, я думаю, много лет. Симонов делал доклад на собрании, посвященном двадцатилетию Победы, и сказал добрые слова о моей первой книге прозы, которая как раз перед этим только что вышла. Было удивительно уже то, что он успел ее прочесть. В тот же день был литературный вечер в нашем Доме литераторов, в Малом зале. Вечер этот вел Симонов. Мои товарищи-поэты читали стихи, а я — впервые — читал прозу, отрывки из только что вышедшей книги «Как кончаются войны», и Константин Михайлович подсказывал мне, что надо прочесть... «Надо будет выступить на телевидении 5-го в 7 часов — будет передача, вести будем Полевой и я. А вы бы прочли кусочек — как заснули у рейхстага», — написал он в записке на этом же вечере. Передача эта вскоре состоялась, и я, как хотел он, читал свои стихи, и что-то из прозы опять же, и, конечно, этот отрывок, о котором он писал.

В память о нашем вечере в Доме литераторов у меня

сохранилось несколько снимков, сделанных и на самом вечере, и в перерыве, в фойе, когда уже надо было расходиться.

Было это в апреле 1965 года, а в октябре того же года я впервые после войны был в Берлине и послал ему оттуда, от Бранденбургских ворот, телеграмму к его пятидесятилетию, вспомнив о том, как тут, в Берлине, у тех же Бранденбургских ворот и у рейхстага, я в мае 1945 года впервые увидел его в группе писателей и журналистов. Эту мою телеграмму я написал почему-то латинскими буквами и слушал ее в Москве, на юбилейном его вечере в том же Доме литераторов. Мало что осталось от этой моей телеграммы, так она была переврана. Во всяком случае, товарищ, читавший на этом вечере телеграммы, читал ее с большим трудом и удивлением. Решил, должно быть, что это розыгрыш... А за день или за два до этого вечера я получил от Константина Михайловича короткое письмо, такое же, думаю, получили многие. В конверт была вложена карточка, что-то вроде куска твердого картона, и разборчиво, крупно было написано: «Милый Вася! Буду рад, если придете выпить наркомовскую норму! Ваш К. Симонов. Место встречи (там-то), время встречи — 28 ноября 1965 года». Своей рукой всем написал — когда, где. А в «Метрополе», где все это происходило, подошел к каждому столу и с каждым выпил. И устоял еще при этом на ногах. Так мне запомнилось все это...

Еще один литературный вечер вспоминается. Это был вечер военной лирики, и проходил он в декабре следующего, 1966 года. Вечер этот тоже вел Симонов. Участников было много, и вечер наш затянулся. Шел он поначалу очень трудно. Все-таки после войны прошло уже двадцать лет, в зале сидела новая публика, а мы читали старые военные стихи и не знали, как все это будет восприниматься. Чувствовали мы себя не очень уверенно. К тому же один из нас, читавший очень темпераментно, актерски (жест у таких людей всегда опережает слово), напрочь забыл свои стихи. Стоя на сцене, он еще пытался что-то вспомнить, долго барахтался, долго сопротивлялся, но так и ушел, ничего не вспомнив, только рукой махнул. После него все читали еще более неуверенно, каждый боялся, что тоже собьется, тоже забудет.

Симонов, как я видел, тоже волновался. Закладывал в своем однотомнике то одни, то другие стихи, перечитывал записки. Но уже к концу первого прочитанного им стихотворения в зале послышалось движение тишины, и настроение публики стало заметно меняться, изменилось буквально у нас на глазах. И вот тут, я думаю, в эту минуту, пришло к нему все необходимое, и прежде всего — полная и абсолютная уверенность в себе. А это так редко бывает с нами.

«Вслед за врагом пять дней за пядью пядь мы по пятам на запад шли опять».

Он много читал в этот раз, но я не знаю, не помню, читал ли Симонов именно это свое стихотворение, все звучало одинаково сильно, одинаково хорошо. Вместе с ним в этот раз я как бы заново прочел всю его военную лирику. Годы войны были, конечно, лучшим временем его поэзии, часом большой выверки ее.

Должно быть, он давно не читал своих стихов. Это и для него было встречей с молодостью, с поэзией...

Он похорошел, если только может быть применимо к нему это выражение, не идущее к нему, к его характеру. Но ведь таким вот, скорее всего, он и был там, на войне, на фронте, когда он бродил по окопам и писал там свои стихи. Только теперь на трибуне стоял не молодой человек, каким он тогда был. Давно уж был он весь седой. Он всегда выглядел старше своих товарищей и своих лет.

Не на полутонах она шла, эта работа. Нет, это было достаточно громко, достаточно резко. Так, как надо было! Про самое главное, существенное, когда стране было трудно. Лучше всего уяснил я тут, что значит это выражение: быть сыном народа, сыном родины.

Мне этот вечер очень памятен, он проходил в Большом зале филармонии, на площади Маяковского в Москве.

Я уже не мог от него оторваться. Публика была им захвачена, покорена. В зале будто и не было этих двух тысяч. Она вся была как один человек.

Я рад, что пережил это, что я видел его в столь сильную для него минуту. И хотя, когда мы ушли за сцену, никто не счел нужным говорить ничего, он знал о своем успехе, был счастлив. Он ушел, по-молодому перекинув через плечо какую-то, наполовину дамскую сумку, удовлетворенно засунув в нее пучок цветов.

Ушел, перекинув эту сумку через плечо, как если бы это была полевая сумка. Ушел не задерживаясь, сразу, не прощаясь даже, как будто в никчемных и бесполезных разговорах боялся растерять что-то.

Зимой семидесятого года, перед самым Новым годом, нам вручали в Советском Комитете ветеранов войны памятные медали. Был Симонов. Он перед этим только что вернулся из Вьетнама. Когда мы вышли из Комитета, Константин Михайлович, видя, что я разыскиваю машину, сказал, что подвезет меня. Об этой поездке по Вьетнаму, продолжавшейся, по-моему, целый месяц, Константин Михайлович говорил коротко уже там, в Комитете ветеранов, за столом. А тут, в машине, когда мы тронулись, сказал мне, что туда, во Вьетнам, в эту поездку, он брал с собой мою книгу. «Хотелось проверить впечатление...» — сказал он, хмурясь, без улыбки, строго, серьезно. А потом, улыбнувшись, рассказал, что случилось так, что дочитывал ее, когда уже гасла лампа, кончался керосин, и он

боялся, что не дочитает. Но дочитал, успел, как раз когда лампа совсем собиралась потухнуть. Видно было, что он и сам рад был рассказать мне все это. Совсем как в нашу войну, в дни нашей молодости, — те же коптилки, те же лампы медные, латунные, из гильзы снарядной.

Ездил он по-фронтовому, в газике, по этой земле, где одна воронка была на другой, спал где придется и как придется, как это было на той, на нашей войне...

Хочу еще рассказать об одном собрании, проходившем все в том же Доме литераторов, на котором обсуждалась повесть «Двадцать дней без войны». Она, эта повесть, незадолго перед тем была опубликована в журнале «Знамя».

Мне эта повесть очень понравилась, я до сих пор считаю ее самой сильной из тех, что вошли затем в книгу «Так называемая личная жизнь». И меня, признаюсь, немало удивила глухота некоторых выступавших на этом собрании критиков, которые говорили об этой повести не то чтобы недоброжелательно, но очень уж сухо, не эмоционально как-то. Излишне пространно, как мне кажется, рассуждали о том, что́ в ней удалось автору больше, что́ меньше. И совсем уж удивил один парень, который то ли написал уже что-то, то ли еще собирался написать. Удивило, как небрежно, с какой снисходительностью говорил этот никому пока еще не известный человек о повести Симонова. Право, слушая его, можно было подумать, что за плечами этого чрезвычайно самоуверенного человека было все то, что написано Симоновым, а у него, у Симонова, еще ничего не было. Я с удивлением слушал его... Вслед за этим странным человеком выступила еще одна дама — литературовед, кажется, — которая уж и вовсе излишне буквально, на мой взгляд, приняла весь материал повести, обиделась за одного из героев повести, угадав за ним определенный прототип. Тяжело было на все это смотреть. Все почему-то хотели видеть в этой повести те или иные прототипы и с этой точки зрения судили о повести.

В конце вечера, когда обсуждение закончилось и мы стояли в очереди, чтобы взять по чашке кофе, Константин Михайлович сказал, стараясь не выдать своего настроения, что, очевидно, она, эта дама, закатившая скандал, рассчитывала, что он будет отвечать ей, но он, конечно, этого не сделал. Вел себя так, как будто ее, этой истерики, и не было. Он как бы спрашивал, правильно ли он поступил.

Удивительно, как он умел держать себя в подобного рода обстоятельствах!

Мы продолжили разговор за столом, но говорили уже не столько об обсуждении, сколько о самой повести. Говоря о герое, вызвавшем все эти споры, Константин Михайлович сказал, что, конечно, если бы ничего не менять, а оставить все так, как было в жизни, сделать Лопатина учеником

Вячеслава Викторовича, учившего и его, Лопатина, и его товарищей, то эффект был бы несравненно бо́льшим, во много раз сильнее все это звучало бы... Он как бы прикидывал, как это было бы выигрышнее — в одном этом данном конкретном случае, вроде бы жалел, что этого нельзя было сделать, что другие, более важные соображения были сильнее. Видно было, что он не впервые об этом задумывается и не впервые об этом говорит...

Так случилось, что Симонов и на этот раз подвозил меня. Нам было по пути. Я жил тогда на Малой Грузинской, недалеко от нашего клуба, в котором, как я уже сказал, проходило обсуждение. Мы выехали на Большую Грузинскую и скоро свернули в переулок. Так я всегда ездил. И тут, неожиданно для меня, когда до моего дома оставалось рукой подать, уткнулись в какой-то забор, которого прежде не было. Видимо, он возник совсем недавно. Там, за этим забором, что-то строилось, по-видимому строился дом на месте старого, уже разобранного, снесенного. Проехать здесь явно было нельзя. Какое-то время я сидел в машине, не находя слов и не зная, что делать, как быть. Я сказал Константину Михайловичу, что неделю уже не был дома. Надо же было оправдаться.

— Так, может, и дом уже разобрали, — сказал Константин Михайлович смеясь.

Мы посмеялись, и я, распрощавшись, вышел. Надо было искать какой-то ход, чтобы переулками, дворами пройти на Малую Грузинскую.

Константин Михайлович пересел на свое привычное место, рядом с водителем, и они развернулись, чтобы ехать к себе, на улицу Черняховского. Я потом, идя домой, долго смеялся над этой его фразой: «Так, может, и дом уже разобрали...»

Тронул меня в этот раз Константин Михайлович. Дело в том, что еще летом издательство, в котором выходила моя книга, попросило Константина Михайловича написать предисловие к ней. Он согласился, хотя был, конечно, очень занят. Теперь, в октябре, встретив меня здесь, в клубе, он сказал, что статью еще не написал, но знает, что книга должна сдаваться в середине ноября.

Прошло еще несколько дней, две недели прошло. Когда я пришел в издательство, я с порога уже заметил, что меня както особенно радушно встречают, ну прямо как никогда, не знают куда посадить! «Вы видели, говорят, то, что написал Константин Михайлович?» Я, конечно, ничего не видел. И повели в кабинет к начальству, под руки прямо повели, и вручили мне странички предисловия Симонова, уже приложенные к рукописи.

Было это пятнадцатого ноября... Всякий другой, я думаю, при сроке пятнадцатого прислал бы шестнадцатого, ну, на худой конец — того же пятнадцатого. А он прислал четырнад-

цатого. «Это высшая обязательность, эталон точности», — сказали мне в издательстве.

Это было необыкновенно чуткое, учитывающее особенности данной книги предисловие, какое-то очень музыкальное, цельное, прекрасное в своей законченности. В издательстве оно очень понравилось. И, конечно, очень щедрое... Я не думаю, что я заслужил все его похвалы, но я был и удивлен, и обрадован тем, что он написал.

Когда вечером того дня я вернулся домой, я увидел в своем почтовом ящике пакет. Я открыл ящик и достал из него довольно объемистую бандероль. Это была все та же статья, первый экземпляр которой я видел в издательстве, копия его статьи обо мне. И к ней, к этой перепечатанной на машинке рукописи, было приложено несколько исчерканных, его рукой написанных страниц, оригинал его статьи. Каждое слово было исправлено или переставлено. Можно было бы, наверно, даже сказать — статья была написана фломастером, — что чернила буквально стекали с рукописи, настолько много в ней было переделок и исправлений. Ко всему этому была приложена короткая, в несколько слов записка:

«Дорогой Вася!

Вместе с копией того маленького предисловия, что отправил в Гослит, посылаю Вам на память его черновик. Вдруг подумал, что Вам будет приятно получить его от такого заматерелого магнитофонщика, как я...» И приписка: «Если что-нибудь в предисловии не так и резануло Вам слух, без колебаний позвоните — поправлю».

Конечно, все было так. Что же там еще могло быть не так! Все было так, все было замечательно и все было удивительно как хорошо!

А это его письмо, записка эта, что была приложена к рукописи, она не такая простая, как может кому-то показаться. В ней многое сказано. Я, мол, знаю, многие из вас считают, что Симонов прямо на магнитофон наговаривает, чуть ли не машинистке прямо диктует, а посмотрите, как это мне дается, каким трудом, так же как — вам, только еще труднее, тяжелее...

Очень многозначительное письмо. Так я понимаю его письмо.

Очень оно для меня дорого, и это его письмо, эта его записка, и эта его рукопись...

Однажды я прочел у него одну удивившую меня фразу. В беседе с корреспондентом журнала «Зинн унд форм» (ГДР), в 1971 году, кажется, он сказал, что написал о войне все, что хотел бы написать, и думает, что к войне он больше обращаться не будет. Так и было сказано: «Собираюсь ли я еще в прозе заниматься Великой Отечественной войной?.. Нет. Мне кажется, по крайней мере сейчас, что все, что я сумел сказать,

я уже сказал». Помню, меня очень удивило это его тогдашнее заявление. Мне показалось оно неосмотрительным или, может быть, вызванным влиянием минуты, каким-нибудь огорчением. Что, кстати сказать, вполне могло быть. Я тогда, помню, подумал, что Симонов не сдержит этого своего слова. Я даже, помню, подумал тогда: «Пусть-ка попробует, не так-то это просто!»

Так именно и случилось. Все, что он писал после этого — в оставшиеся девять лет своей жизни, — все было связано с войной и только с нею. И сценарий фильма «Шел солдат...», и новая его повесть о Лопатине, и многое другое. У него было много замыслов. И все они, как я увидел из интервью журналу «Вопросы литературы», опубликованного после его смерти, опять же были связаны с нею, с войной. И книга «Послевоенные встречи», как можно понять из того же интервью, — беседы с Жуковым, с Коневым, с Василевским, с адмиралом Исаковым, встречи и беседы с генералами, с солдатами. И книга воспоминаний о современниках с использованием сохранившейся в личном архиве переписки с ними, и многое, многое другое.

В той статье, о которой я говорил, он назвал мою прозу «романом от первого лица». Я так и назвал книгу в новом издании. Лучшего я ничего не мог бы придумать.

Все лето я жил в Переделкине, со дня на день ждал выхода книги и думал о том, что мне надо передать ему эту книгу — с его названием — «Роман от первого лица». Об этом и в предисловии было сказано, и в аннотации...

Но когда книга вышла, ее уже некому было дарить и некому было показывать.

Читаю в эти дни Симонова, последнюю из его повестей, названную по строчке его старых стихов, — «Мы не увидимся с тобой...» — и все думаю о нем. И странно мне читать его книгу без него. И хотя отныне всегда будет так — привыкнуть к этому трудно.



Симонов. 1960 г.

Юрий ЧЕРНОВ

ВСЕГО СОРОК МИНУТ...

В ту пору я жил в Липецке. Приезжая в Москву, навещал обычно мать Семена Гудзенко — Ольгу Исаевну. Как-то, договорившись о встрече, я приехал на улицу Чайковского и позвонил в дверь. Прислушиваясь, я всегда улавливал медленные, шаркающие шаги согнутой годами и недугами Ольги Исаевны. На сей раз шаги были твердые, уверенные, дверь быстро распахнулась, и неожиданно для себя я увидел К. М. Симонова.

Как я понял позднее, Константин Михайлович обсуждал с Ольгой Исаевной возможность издания записных книжек Семена Гудзенко.

— Юрий Михайлович живет в Липецке, — сказала Ольга Исаевна.

Симонова это заметно заинтересовало. Он начал расспрашивать о Липецке: сильно ли загазован? Растут ли микрорайоны вокруг заводов обособленно, как острова, или слились в единый массив? Существуют ли Липецкие воды, о которых писал когда-то Шаховской? Какой след в городе оставил Петр I?

Константин Михайлович спрашивал не вежливости ради, — я чувствовал неподдельный интерес к незнакомому городу, к его проблемам, истории, людям.

Ольга Исаевна слушала наш разговор молча и внезапно, может быть внезапно и для себя, перевела беседу на другие рельсы. Она вдруг спросила Симонова:

— А вы стихи Юрия Михайловича читали?

Я знал, что Ольга Исаевна щедро одаряла любовью друзей своего сына. Часть этой любви перепала и мне. И все-таки этот вопрос поставил в неловкое положение и меня, и, наверное, Константина Михайловича.

К тому времени я был автором нескольких поэтических сборников, изданных на периферии и до Москвы скорее всего не дошедших. Конечно, ничего обидного не таилось в простом и прямом ответе: «Не читал». Между тем я напрягся, ожидая именно такого ответа. Сказать «читал» — я это понимал — Симонов не мог.

— Я надеюсь почитать ваши стихи, — сказал Симонов. — У вас с собой что-нибудь есть?

В портфеле моем была рукопись нового сборника. Я вез ее своему будущему редактору Якову Хелемскому и хотел кое-что почитать товарищам по перу.

— Вот и я почитаю, если не возражаете.

Я не возражал. Симонов написал на клочке бумаги свой телефон, попросил позвонить, условиться о встрече.

Я позвонил через три дня.

— День очень забит, — сказал в трубку Симонов. — Вас не обидит регламент в сорок минут?

— Нисколько.

— Тогда приезжайте!

...Кабинет Симонова. На стене — Хемингуэй, мелькнула коллекция трубок, и через секунду — пытливо-внимательные глаза, заглядывающие прямо в душу. Я ожидал, что разговор начнется со стихов, а Симонов, заметив у меня на шее рваный шрам, заинтересовался, где я был ранен, где и кем воевал.

Острый интерес Симонова к жизни, к людским судьбам был ненасытен. Он и литературу воспринимал как часть жизни.

С этой меркой Константин Михайлович подошел и к моим стихам. По этой же причине, по-видимому, он был повышенно доброжелателен к ним. Ознакомившись с моей нелег-

кой фронтовой биографией, Симонов удовлетворенно сказал:

— Все это я узнал из ваших стихов. За ними — ваша судьба.

И он прочитал восьмистрочное стихотворение — будничное, затерянное в рукописи среди других, как я полагал, более весомых:

Уходим в ночь, еще не зная,
Что, может, завтра поутру,
Снег потемневший приминая,
Не все вернемся мы к костру;
Не все махорку мы получим
И похлебаем кипяток.
И старшина пройдет как туча,
Раздаст оставшийся паек.

— У прошедших войну бывают строчки, вынесенные из огня, — сказал Симонов. — Понимаете, — он развел руки в стороны, — вроде бы ничего особенного, но есть вещи, которые не придумаешь в кабинете. Вот и здесь: ночь, гибель товарищей, махорка, кипяток, старшина. Старшина — как туча: несладко раздавать паек тех, кто не вернулся и не вернется...

— А вот это? — Константин Михайлович прочитал строчки: — «На дне окопа сердце колотилось. Окоп, гремя, утюжила броня». Это как родилось?

— На Курской дуге через наши траншеи прошли немецкие танки, — ответил я.

— Вот-вот. Вынесенные из огня. Кусок жизни. А тут совсем уже другое...

Он повел головой, положил передо мной листки стихотворения «Молодая жена», и глаза его выразили сожаление.

Сюжет стихов был незамысловат. Старик любит девушку. Он едва ходит, лыс и немощен. Она становится его женой. Томится. Однако весь авторский сарказм обрушен на старика.

— Я бы эти стихи в сборник не ставил, — корректно заметил Константин Михайлович. — Обрушивайтесь на тех, кто предал друзей, кто ворует, скажем. Любовь критиковать грешно. Ей, как известно, все возрасты покорны.

Я хотя и молчал, но, очевидно, и взглядом, и всей своей позой выражал несогласие. Симонов, конечно, уловил это.

— Понимаете, — продолжал он, — внешне в стихотворении все благополучно. И ритм удачный, и рифмы свежие: описывать — лысого, Майори — на море, рощицы — морщился, девчоночьи — полночи. И все же мне почудилось, что здесь для вас елочные украшения оказались важней самой елки...

Я заупрямился и стихотворение «Молодая жена» оставил в сборнике. Теперь бы я этого не сделал. Но тогда заупрямился.

Симонов попыхтел трубкой, помолчал, изучая меня взглядом. Глаза как бы спрашивали: так что в конечном итоге для тебя окажется главным — елочные украшения или сама елка? И, видимо, пытаясь уточнить это, спросил:

— Ваше любимое стихотворение о минувшей войне?

Я думал не долго и назвал «Перед атакой» Семена Гудзенко. Пояснил: в нем не только детали войны (таких стихов немало), в нем психология солдата, его с о с т о я н и е в тот миг, когда смерть тут же, когда нервы оголены, когда бой разворачивается с сумасшедшей стремительностью и сердце солдата столь же стремительно откликается на мгновенные перемены...

Симонов, ничего не сказав, кажется, согласился со мной, а мой монолог вызвал у него ассоциации со стихотворением другого поэта, жившего в другом веке. И он стал читать куски из лермонтовского «Я к вам пишу», вслушиваясь в звучание строк и как бы любуясь мюридом, конь которого «весь кипит»; потом Константин Михайлович читал о ручье, запруженном телами убитых: «Хотел воды я зачерпнуть... (и зной, и битва утомили меня), но мутная волна была тепла, была красна...»

Не знаю, умышленно или так получилось в результате импровизации, но Симонов как бы соединил бой, в котором участвовал наш солдат-поэт, и тот бой, в котором участвовал подпоручик Лермонтов. Он не комментировал прочитанное, молчал. Молчал и я, однако в тишине стро́ки продолжали властвовать над нами, напоминая о высотах, достигнутых когда-то двадцатишестилетним подпоручиком.

Тонкие морщинки собрались у глаз Симонова. Он повел большими черными глазами: вот, мол, как, а?

Константин Михайлович на мгновение задумался. Я смотрел на его смуглое лицо, крупный нос, короткие седые волосы и вспоминал его строчки об Амундсене, которые так сегодня подходили к нему самому:

Хозяин, как орел белоголовый,
Нахохлившись, сидит перед окном...

Разговор о невоенных стихах был гораздо короче и в моей памяти сохранился меньше. Помню, меня удивило, когда Константин Михайлович стал допытываться, как выглядит дом, в котором я живу, чем он примечателен или, наоборот, чем похож на другие.

Интерес к моему дому объяснился просто: Симонов прошуршал страницами, извлек стихотворение «Новоселье, новоселье» и процитировал строчки о том, что «эти окна открывали при участье топора», и о том, что «дом, похожий на соседей, ты освоен, ты обжит», что «сетки пестрые со снедью в окнах ветер ворошит».

— Видите, — вернулся Симонов к своему коньку, — где кусок жизни вырван из самой действительности, там удача.

Надежно врезались в память два принципиальных замечания. Одно касалось стихотворения о Пушкине («Он не писал сановникам в угоду»).

— Понимаете, — сказал Симонов, — мы часто пытаемся задним числом выровнять, спрямить извилистый и торный путь великих. Этого не следует делать. Написал же, скажем, Пушкин «Стансы». Помните: «В надежде славы и добра...»

Второе замечание, с которым я не согласился тогда, да и теперь не согласен: Константин Михайлович сказал, что не пишет пейзажных стихов и у других их не принимает. Пейзаж, мол, нечто вспомогательное в стихотворении. Самостоятельной жизни ему не дано.

А по-моему, дана ему такая жизнь. И не только у Левитана, у Саврасова, но и в поэзии. Слишком много он значит для человека, слишком многое отражает, передает, вбирает, символизирует. Впрочем, в своих стихах я, очевидно, просто не сумел это выразить.

Интересен был разговор о названии книги. Я назвал будущий сборник «Разлуки и встречи». Симонову, по-моему, название понравилось. Возможно, это контрастное противопоставление пришло ко мне от названий симоновских книг: «Дни и ночи», «Друзья и враги». Потом он что-то вспомнил и посоветовал:

— Проверьте в библиографии Тарасенкова «Русские поэты XX века». Боюсь, что это название лет сорок назад у вас уже кто-то украл.

Опасение Константина Михайловича подтвердилось...

В кабинет вошли две девочки: Катюша и ее школьная подруга. Мне очень понравилось, как доверительно они говорили с Симоновым. Он спросил их:

— Вас поздравить или вам посочувствовать?

— Четыре и пять, — ответила Катюша.

Симонов, судя по диалогу, знал, о каких предметах идет речь.

— Значит, поздравляю.

Девочки ушли. Я взглянул на часы. Стрелки угрожающе уперлись в границу условленного регламента.

— Я хочу подарить вам на память книгу, — сказал Симонов.

Он достал однотомник, подписал его и протянул мне.

Надпись на однотомнике дает возможность точно назвать дату встречи — 7 апреля 1962 года.

Прошли годы, я переехал в Подмосковье. Однажды мы столкнулись в фойе ЦДЛ. Я поздоровался, Симонов ответил, но, как мне показалось, механически, не узнав меня. Пройдя шага два, я оглянулся; оглянулся и Константин Михайлович... и

вдруг улыбнулся и пошел мне навстречу. Он стал задавать вопросы, житейские и литературные, осведомился, над чем я работаю, и, узнав, что пишу о фронтовых журналистах, товарищах по газете «Боевая тревога», попросил прислать рукопись.

Ответ пришел быстро.

«Дорогой Юрий Михайлович! Получил Ваше письмо и повесть. Собственно говоря, лучше бы подумать над каким-нибудь другим обозначением жанра, хотя сам не могу придумать. Можно, конечно, назвать и повестью. Я прочел ее и порадовался за Вас, мне вещь глубоко симпатична. Конечно, у меня к ней дополнительный интерес, как у человека, принадлежащего к той профессии, о людях которой Вы пишете. Но мне думается, что Вашу вещь прочтет с интересом и широкий читатель. Я знаю будни газетчиков на войне, и мне интересно сравнивать Вашу вещь с тем, что я знаю. Но для того, кто не знает этой жизни, многое в Вашей вещи окажется открытием, и открытием интересным. Мне понравился благородный сердечный тон повести. Вы сумели хорошо написать о хороших людях. Наверное, были и плохие, но, может быть, в данном случае Вы правильно поступили, просто-напросто не беря этих людей в поле своего зрения. В данном случае бог с ними.

...У меня нет возможности подробнее написать Вам. Время забито до отказа. Но мне хотелось, не откладывая, отозваться на эту вещь и пожелать Вам, чтобы она была поскорее издана и имела успех у читателя.

Ваш *Константин Симонов».*

В моем кабинете — портрет Симонова. Он смотрит со стены — белоголовый, пристально-внимательный. И я вспоминаю сорок минут, проведенных у Константина Михайловича.

Как это было мало! И как много!



В группе военных корреспондентов: Е. Кригер, К. Симонов, Капустянский, Я. Рюмкин, Р. Кармен, Е. Габрилович, Б. Горбатов, С. Гурарий, В. Темин. Люблин. 1944 г.

Евгений ВОРОБЬЕВ

«ДОПИСАТЬ РАНЬШЕ, ЧЕМ УМЕРЕТЬ...»

После опубликования романа «Солдатами не рождаются», после волны читательских конференций, все силы ума и сердца, все творческое упорство Симонова, вся страсть военного историка и художника были отданы дневнику.

Обнаженная правда и памятливая откровенность документально запечатлели и осмыслили фронтовые события конца июня и июля — августа — сентября сорок первого года. Рукопись подготовили к печати в журнале «Новый мир».

Ранним утром ко мне на дачу пришел, а точнее сказать, приковылял А. Т. Твардовский: в злую гололедицу он поскользнулся, неловко упал на дачном участке соседа, вывихнул лодыжку и теперь не расставался с палкой.

Твардовский принес давно обещанные оттиски. Дневник уже был сверстан и для служебного пользования сброшюрован в типографии тетрадью.

За сверхранним завтраком на кухне (чаще всего он заходил ко мне спозаранок) Твардовский восторженно отозвался о дневнике Симонова. Он настаивал — дневник значительнее

его романов, будет долговечнее. Я возражал как читатель, любящий «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются». А про себя еще и обиделся как человек, причастный к их редактированию.

— Ты всего-навсего рядовой подписчик «Нового мира», — напоминал мне гость с шутейным апломбом, — а я все же главный редактор журнала. Кроме того, с твоей стороны бестактно спорить с маститым, хотя и хромым литератором, который некогда опрометчиво рекомендовал тебя в Союз писателей.

В меню несвоевременного завтрака вошла и белорусская песня «Перепелочка», согласно исполненная рядовым подписчиком журнала и его главным редактором.

Твардовский ушел по обледеневшей тропке, протоптанной в сугробах, грузно опираясь на палку, напевая «А у перепелочки ножки болят». Я провожал его до ворот. Левой рукой он придержал калитку на тугой пружине, правая оставалась свободной.

Он назидательно поднял палец и без недавней категоричности, запальчивости произнес:

— И может быть, — он с минуту молча постоял, высоко держа руку с поднятым пальцем, — может быть, это самое лучшее из всего, что написал Симонов. — Твардовский скрылся в проеме калитки, пружина сработала с ржавым скрипом, и уже из-за ворот донеслось его глубокое, раздумчивое: — Очень может быть...

Когда я поведал об этом разговоре Симонову, он, умело скрыв волнение, неожиданно для меня ответил:

— А не зря ты обиделся? Вдруг Александр Трифонович прав?!

И хотя в первоначальном виде страницы дневника не увидели света, они явились зародышем замечательного двухтомника «Разные дни войны», помогли рождению этой документальной фронтовой эпопеи.

Симонов уединился на даче и засел за роман «Последнее лето», законченный в 1970 году. Просьб, приглашений приехать и выступить было множество, но Симонов от выступлений отказывался. И лишь когда пришло приглашение заведующей библиотекой Дворца культуры Ярцевского хлопчатобумажного комбината Т. А. Андреевой, писатель дал согласие. Он не решился отказать читателям, а прежде всего читательницам с многострадальной Смоленщины.

Среди 1150 прядильщиц, ткачих, рабочих, служащих, приветствовавших 18 ноября 1971 года Симонова, — вдовы, получившие некогда похоронки, сироты, старые матери; при-

ехали издали смоляне, кровно заинтересованные и близко принимавшие к сердцу творчество писателя.

Несколько неожиданны для Симонова были острое сожаление читательниц, вызванное гибелью Серпилина, и многочисленные просьбы оставить его в живых. Эти просьбы прозвучали впервые. Магнитофонная пленка сохранила возражения автора:

— Тут возник такой вопрос, он имеет отношение ко всем трем книгам: почему Серпилин не дожил до конца трилогии? Вопрос для меня очень серьезный, о тяжелом всегда тяжело рассказывать... Ну, оставил бы я в живых Серпилина, но как мне было дать почувствовать читателю, что мы потеряли на войне двадцать миллионов человек, что в каждом доме у нас помнят об этих потерях, что нет таких семей, где не живут отзвуки войны? Самый дорогой или один из самых дорогих людей ушел из каждой семьи... Я Серпилина оживить не могу. Хотел бы, но это невозможно. Если вы на меня сердитесь, значит, верите, что он убит, а если верите, что убит, как же я могу его оживить?..

Симонов уже ответил на записки, на все устные вопросы, конференция закрылась, а он долго стоял за кулисами сцены, окруженный ткачихами. Они никак не могли примириться с гибелью Серпилина!

Не только распорядок дня, образ жизни, но даже какие-то привычки, можно сказать, сам характер Симонова менялся по мере того, как он вживался в новую книгу. Впрочем, может быть, подобная эволюция таилась в его неистовой требовательности к самому себе, в его вдохновенной целеустремленности? Чем глубже он погружался в будущую книгу, чем интимнее знакомился с ее персонажами, тем решительнее отрешался от окололитературной сутолоки, от будничных хлопот и забот, тем больше был одержим своими замыслами, записями, рукописью, предчувствием романа.

Помню зимние месяцы «великого сидения» за письменным столом, когда родилось «Последнее лето». Симонов изо дня в день, с раннего утра до позднего вечера работал самозабвенно, исступленно. К телефону не подходил. Из-за тяжелой двойной двери смутно слышалось, как он глуховатым голосом наговаривал в магнитофон. А если Симонов правил, переписывал набело уже расшифрованные записи, за дверью было тихо. Пересуды о том, что он свою прозу не писал, а диктовал, — зряшные. Я много раз видел листы исчерканной рукописи Симонова после очередной правки, безжалостно перекореженные стенограммы того, что он рассказывал будущему читателю, опираясь на свою превосходную цепкую память. Он вел многочасовые диалоги с героями книги и пьес, психологические поединки с ними.

В конце 60-х годов — зима запомнилась жестокими, стойкими морозами — мы виделись ежедневно еще и потому, что Симонов взял меня, жившего тогда одиноко в соседней даче, на котловое довольствие (по его выражению), и я дней десять — двенадцать подряд обедал у него. Он заканчивал «Последнее лето», а я корпел над своей «Землей, до востребования».

В тот продрогший день Симонов уже просидел около шести часов за столом перед незрячим, покрытым толстым слоем инея окном во всю стену. Изрядно устал и, наверное, поэтому затеял за обедом назидательный разговор о том, что необходимо устраивать перерывы в работе.

— Хотя бы два круга на своих на двоих вокруг нашего квартала — и снова к столу...

Говорилось так, будто он сам строго придерживается этого правила, а я не уразумел, как это полезно при таком творческом напряжении.

— Давай наденем валенки, овчинные полушубки и прошвырнемся по морозцу в конце рабочего дня. Согласен?

— Конечно. Когда за тобой зайти? Часов в шесть, в половине седьмого?

— Это, пожалуй, будет рановато. Понимаешь, старик... Хочу сегодня главу закончить.

— Тогда, может, в восемь, в половине девятого?

— Согласен... — произнес он в нерешительности, с плохо скрытым оттенком сожаления. — Впрочем, пожалуй, удобнее всего будет часов в десять. А лучше — знаешь? В половине одиннадцатого! Я сам зайду за тобой. Пройтись по морозцу перед сном тоже очень полезно...

Затворником Симонову стать не удалось — ему время от времени приходилось наведываться в Москву по неотложным делам.

Еще в молодые годы он научился водить машину. Но после войны забыл о своих водительских правах, как объяснил мне, ради экономии времени. Едучи на дачу ли, с дачи, колеся по городу, Симонов нередко брал лежавшую на сиденье или у заднего стекла алюминиевую доску с зажимом для бумаг — какое-то подобие портативного пюпитра. Он читал почту или — если дорога позволяла и не слишком трясло — на ходу делал пометки, строчил ответы.

Симонов очень страдал от всевозможных «беспокойщиков» (так однажды назвал назойливых и настырных просителей Антон Павлович Чехов), но в меру сил отвечал всем. Нехватка времени, но неиссякаем запас вежливости, такта и терпения...

В машине он просматривал также материалы, присыла-

емые из Бюро газетных вырезок, листал журналы, прочитывал рецензии, публикации, откладывал кое-что для чтения на сон грядущий. В подобных поездках с дачи или из Москвы на дачу мы теряли его как собеседника; пассажиры, если они были, ехали молча.

В 1966 году Симонов был участником большого кинематографического форума в Москве. Присутствие обязательно, а слушать подряд все речи ему не хотелось. Сидел в президиуме и — я видел из зала — держал перед собой блокнот, что-то записывал. В перерыве, когда мы прогуливались по фойе Дома кино, он, заговорщицки улыбнувшись, признался:

— Вчера форум прошел успешно. На вечернем заседании перевел четыре эпитафии Киплинга. Силен старик Редьярд, ох силен!.. А вот сегодня работа застопорилась. Всего две эпитафии. Может, после перерыва дело пойдет успешнее. Если, конечно, не будет серьезного разговора о художестве, о киноискусстве.

В следующем перерыве Симонов отчитался:

— Мне помог один маститый говорун. Под его речь перевел еще одну эпитафию.

Когда ему удавалось остановить ручеек быстротекущего времени, он бывал доволен как озорник мальчишка; лишь бы время бесследно, бездельно не просачивалось сквозь пальцы.

В конце лета 1973 года Симонов вместе с Ларисой Алексеевной отправился из Гульрипши в Краснодар. В местном музее хранятся малоизвестные работы художника Малевича и материалы о нем, необходимые для монографии, которую писала Л. А. Жадова, кандидат искусствоведения. В путешествие отправились на машине.

— Дорога сильно утомила? — спросил я, когда мы увиделись в Москве.

— Дорога как дорога.

— Помнится, после Новороссийска идут крутые подъемы, спуски у станции Тоннельная.

— Разве? Откровенно говоря, не заметил. Особенно любоваться пейзажами было некогда...

В словах его прослушивалась та лукавая интонация, за которой — почти безошибочно — я угадывал желание огорошить меня. Посмеяться над моей недогадливостью, о самом существенном упомянуть как бы между прочим. Дескать, сам не придает этой мелочи большого значения, а если великодушно делится ею, то лишь для того, чтобы унять мое преувеличенное любопытство.

— Некогда? А чем был занят?

— Чтобы не слишком уставать в дороге, переводил Галактиона Табидзе. Могучие поэты Тициан и Галактион!

— И много успел?

— Трудный вопрос. Чем измерять работу переводчика? Если с точки зрения кассира — успел совсем немного. Но худо-бедно — пять стихотворений...

Я вспомнил запись Симонова во фронтовом дневнике, где он рассказывал, как «без отлучки от колес» сочинял «Корреспондентскую застольную». Ехал в открытом «виллисе», сидел закутавшись в бурку. На холодном ветру неохота даже вытащить руку. И он бубнил себе под нос, сочинял, а потом зубрил только что сочиненные строфы, чтобы закрепить в памяти их все, начиная с первой. Водитель решил, что подполковник тронулся умом — всю дорогу громко разговаривал сам с собой. По приезде водитель сигнализировал об этом в санчасть штаба фронта.

Тридцать лет отделяют «Корреспондентскую застольную» от впервые зазвучавших по-русски пяти стихотворений Галактиона Табидзе. Сколько же сотен, тысяч часов транзитного труда осталось за спиной Симонова, на проселочных, шоссейных дорогах, на железнодорожных, морских и воздушных путях!

За два последних десятилетия я был частым свидетелем того, как Симонов успешно спрессовывал, сгущал свое время, но запомнился лишь один разговор на эту тему.

— Эх, поскупился господь бог, когда выделил нам на сутки только двадцать четыре часа. Не надо было скаредничать! Что ему стоило добавить еще несколько часов, — вздохнул Симонов, итожа наш разговор. — В твоей пухлой книге «Земля, до востребования» мне все же удалось выудить одну хорошую фразу про время, которое стремительно убегает от нас даже тогда, когда мы держим свои часы на цепочке... Тем более преступно транжирить время. Будто его у нас навалом, невпроворот. Разве прожигать жизнь — только кутить в ресторанах? Прислушайся: «неплохо убили время». Будто время — какое-то бремя! Или вдумайся в слово «времяпрепровождение». Я всегда, еще с юности, боялся этого страшного слова. — И он проскандировал: — Вре-мя-пре-про-вож-де-ние!..

Огромную усталость, а одновременно много творческой радости, упоения работой принес автору фильм «Шел солдат...» (режиссер М. Бабак). Экран во весь голос рассказал о солдатском житье-бытье на переднем крае, о солдатских горестях и маленьких радостях в минуты передышки между боями.

Симонов вновь обратился к нравственному и боевому солдатскому опыту и в течение нескольких лет провел семьдесят дотошных интервью с полными кавалерами орденов Сла-

вы. Опасался, как бы бесценный фронтовой клад не остался втуне, дожидаясь и не дождавшись своего слушателя и тем более читателя.

20 апреля 1976 года Симонов пригласил друзей на просмотр телефильма об Александре Твардовском. Талантливейшее чтение стихов Ульяновым часто проецировалось на взволнованное лицо Симонова, снятое крупным планом.

Одновременно со съемками этого фильма шла трудоемкая подготовка к изданию двухтомника «Разные дни войны». Симонов вернулся к своим фронтовым дневникам, ширилась переписка с ветеранами, участились поездки в Подольский военный архив, в фронтовых событиях многое уточнялось, дополнялось, исправлялось.

Публикация дневников и съемки шести (за полтора года!) телевизионных фильмов из серии «Солдатские мемуары» были сопряжены с изнурительной работой.

Зимой 1977—1978 годов снимался документальный фильм о Михаиле Булгакове, его также делал Дмитрий Чуковский.

Поздним зимним вечером, близко к полуночи, Симонов, продолжая править свою рукопись, сказал крайне устало, что завтра рано-рано утром его будут ждать на киностудии.

Я осмелился заметить, что он работает на износ.

— Ты у нас верхолаз человеческих душ, с высотниками дружишь, — сказал Симонов колюче, раздраженно. — Допускаю, можешь объяснить, что такое усталость металла. Но, к сожалению, ошибочно судишь об усталости человека при исполнении им своего долга.

— Неосторожное обращение с самим собой. Неугомонный мученик! Сверхурочный подвижник! Чувствуешь себя скверно, а работаешь под высоковольтным напряжением. Это жизнеопасно. Ты к себе безжалостен, Костя.

Обычно ироничный, уклоняющийся от подобных разговоров, на этот раз он заговорил в несвойственной ему манере, обозлившись.

— Безжалостным можно быть к кому-либо или к чему-либо. Но к самому себе?! Какая может быть жалость к самому себе, если речь идет о нравственном долге? — Он закашлялся. — Ты забыл, что я председатель комиссий по литературному наследию и Твардовского, и Булгакова. Мои обязанности не исчерпываются тем, чтобы сочинить воспоминания для сборника, который прочитает узкий круг родных и знакомых. Я не могу отказаться от телетрибуны перед многомиллионной аудиторией. Надо, чтобы люди знали, какое они получили богатое наследство! Своим безжалостным разговором ты лишь, — он никак не мог откашляться, — вызвал

у меня сожаление, что я не сделал такого же фильма о Назыме Хикмете. Обязан был сделать как председатель комиссии по его наследию! А ты разглагольствуешь о жалости...

В ноябре семьдесят восьмого года фильм о Михаиле Булгакове был показан впервые по телевидению. Мы увидели на экране рукопись восьмой главы романа «Мастер и Маргарита». В верхнем правом углу страницы был наказ Булгакова самому себе: «Дописать раньше, чем умереть!» Прочитав эту надпись, автор фильма Симонов обратил наше внимание на то, что слово «умереть» Булгаков подчеркнул.

Всего сорок девять лет прожил Булгаков. Однажды Симонов, забыв о моем присутствии или отрешаясь от меня, погруженный в себя, вслух прикинул: «Доживи я только до этого возраста, не успел бы написать «Последнее лето». А я ужаснулся мысли, что никогда не прочитал бы дневник «Разные дни войны», две последние повести Лопатина и многое другое, без чего мне и сегодня трудно было бы представить свою жизнь на склоне лет.

Рассказ об отчаянной перегруженности Симонова останется неполным, если умолчать, что он готовился тогда к изданию десятитомного собрания сочинений. Напряженного труда потребовал первый том. Симонов очутился в трагическом цейтноте, «в узком промежутке», понимал, что не увидит всех томов своего сочинения. Что может быть горше для писателя? И работал не покладая рук, пытался сделать максимум того, что хотел и что мог.

В первом томе впервые опубликован перевод эпитафии Редьярда Киплинга «Просьба».

«Заканчивая путь земной, всем сплетникам напомню я: так или иначе со мной еще вы встретитесь, друзья! Я вам оставлю столько книг, что после смерти обо мне не лучше ль спрашивать у них, чем лезть с вопросами к родне!»

Перелистывая теперь книгу, я уверился, что эпитафия «Просьба» не случайно напечатана на последней странице.

Выступления Симонова я слышал в Москве, Минске, Ленинграде, Курске, Могилеве, Поныpях, Смоленске, Чаусах, Бресте, Рязани, Ярцеве, Зембине, Кричеве и в других местах. Не раз приходилось выступать вместе с ним. Бывал на поэтических вечерах Симонова, когда аудитория накалялась до температуры всеобщего восторга.

На городском активе в Курске Симонов читал стихотворение «Если бог нас своим могуществом». Впервые на моей памяти он запнулся, перепутал очередность строф.

И нужно было слышать, как зал стоусто, с громогласным наслаждением проскандировал строчки: «Ни любви, ни тоски, ни жалости, даже курского соловья, никакой самой малой малости на земле бы не бросил я...» Симонов признался после вечера, что его взволновало это синхронное сочувствие.

В феврале 1978 года Симонов проводил в Минске заседание Совета по очерку и публицистике Союза писателей СССР, обсуждалась военно-патриотическая тема.

Совет завершил работу дневным заседанием, а вечером предполагалось выступление группы писателей в большом зале окружного Дома офицеров.

Перед обедом мы спустились в вестибюль гостиницы «Минск», Симонова поджидала группа офицеров и суворовцев — делегация из училища. Товарищи упрашивали Симонова поехать к ним. Жаль, времени в обрез, через два с половиной часа ему надо быть в Доме офицеров. Но училище совсем близко, машина ждет у подъезда. Отказать суворовцам? У Симонова просто язык не поворачивался, за много лет я не помнил такого случая.

— Ну что ж, — вздохнул он, — считайте, что уговорили. Вот мы вдвоем с товарищем Воробьевым, — он кивнул на меня, стоявшего рядом, — к вам и поедем.

Я напомнил суворовцам слова Хемингуэя, посвященные американцам, павшим в Испании: «Весной мертвые почувствуют, что земля оживает... Мертвые стали частицей испанской земли, а испанская земля никогда не умрет... Те, что достойно сошли в нее... уже достигли бессмертия».

С Хемингуэем, сквозь годы мчась, перекликается Александр Твардовский в гениальном стихотворении «Я убит подо Ржевом». Разве убитый боец, обративший к нам свою надежду, веру и тревогу, не остается нашим современником? Не чувствует себя частицей русской земли, не чувствует каждую весну, как земля оживает?

Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я — где с облачком пыли
Всходит рожь на холме...

Где травинку к травинке
Речка травы прядет,
Там, куда на поминки
Даже мать не придет...

Мы сидели с Симоновым за столиком с микрофоном. Я посмотрел в его сторону и внезапно увидел, что он плачет — слезы текут по щеке. Симонов не заметил моей нечаянной

наблюдательности. Сбивчиво, не очень-то складно закончил я выступление.

— Может быть, это получилось у тебя случайно, — сказал Симонов, подсмеиваясь, когда мы одевались, торопились в Дом офицеров, — но ты сегодня был в ударе. Суворовцы остались довольны...

Газик училища прыгал по наледям и рытвинам февральской мостовой, а я не мог оправиться от пережитого Симоновым волнения.

На следующий день после возвращения из Гурзуфа 8 июля 1979 года Симонов позвонил вечером и предложил прогуляться возле дома. Видимо, заметил при встрече мой встревоженный взгляд. Остановился у крыльца в поликлинику Литфонда и сказал удрученно:

— Потерял еще три килограмма с лишним... — при этом невесело улыбнулся и тронул пальцами воротник рубашки, который стал широк.

Я осторожно упрекнул его: наверное, не удержался и, несмотря на запрет врачей, продолжал в Гурзуфе работать. Он грустно возразил:

— Хотел работать, но не смог. Совсем новое для меня ощущение: нужно работать, хочу работать, а не могу! Так много нужно доделать! Помнишь, у Михаила Афанасьевича? Он сделал для памяти себе зарубку за шесть лет до смерти: «Дописать раньше, чем умереть!..»

Через несколько дней он принес недавно вышедшую книгу «Так называемая личная жизнь» — роман в трех повестях из записок Лопатина.

Первая повесть вобрала в себя четыре рассказа и получила название «Четыре шага». По обыкновению спросил, нравится ли название, — наши вкусы нередко расходились. На сей раз название понравилось, оно сразу переносило читателя в «землянку» Алексея Суркова — «а до смерти четыре шага».

Симонов невесело поправил меня:

— Ты ошибаешься, старик. Эти самые четыре шага судьба отмеряет не только на фронте...

Вручая мне книгу «Так называемая личная жизнь», он по стародавнему своему обычаю предварил ее экспромтом. Прежде строчки бывали окрашены иронией, юмором. На этот раз надпись на титуле была грустная: «Женечка! Хотя судьба порой строга. И мы ведем с врачами бой, — но за четыре-то шага все ж будем видеться с тобой? А? Твой К. С.»...

В те дни в кабинете Симонова самоотверженная, всепомнящая Нина Павловна Гордон плотно выстраивала на полках

многочисленные папки с рассказами фронтовиков. После расшифровки магнитофонной ленты папки правдиво и сурово заговорили. Будто не папки стояли, а сами кавалеры орденов Славы трех степеней выстроились в одну шеренгу, держа строгое равнение.

Подробные рассказы полных кавалеров Славы и несколько тысяч читательских писем — это шесть-семь тысяч страниц на машинке. Но разве только листажом стенограмм, метражом кинопленки и магнитофонных записей измеряется труд Симонова, ревностного летописца войны?!

Последнее напутствие Симонова в литературу, предисловие к повести Вячеслава Кондратьева, кончалось так: «Сашка» — это история человека, оказавшегося в самое трудное время в самом трудном месте и на самой трудной должности — солдатской»...



Н. Думбадзе, К. Симонов, К. Каладзе. Москва.

Нодар ДУМБАДЗЕ

ВМЕСТО ВОСПОМИНАНИЙ

Дорогая Лариса Алексеевна!

Я не знаю, интересны ли будут мои скромные воспоминания о Константине Михайловиче, но память об этом дорогом человеке всегда со мной.

Я не видел его на смертном одре, и сейчас у меня такое чувство, что Константин Михайлович опять уехал в очередное путешествие, вот-вот вернется, подарит мне или вьетнамский шлем, или филиппинскую зажигалку, или английскую трубку с ароматным табаком и расскажет по-своему мудро, задумчиво и удивительно интересно о том, чтó, кроме него, ни в какой стране и никогда другой не мог заметить и запомнить.

Он многому научил меня, а главное — критическому отношению к собственному творчеству, смелости в творчестве и к дисциплине в труде.

В Гульрипши он почти каждое утро спрашивал меня:

— Ты сколько страниц написал вчера, Нодар?

— Десять, — отвечал я.

— Мало! Хотя, если интересно написано, даже много! — говорил он.

На другой день я говорил, что написал двадцать страниц, — врал, конечно, мне стыдно было за свою лень, — но Константина Михайловича трудно было провести. Это был человек с огромным чувством юмора. Он просил меня прочесть то, что я написал.

— Дорогой Константин Михайлович, ведь я пишу по-грузински, — хитрил я.

— Ничего, если это написано вчера, я пойму и на грузинском языке, — улыбался он.

Помните, я строил камин, Константин Михайлович в день два-три раза приходил, давал советы. Подарил мне огромную свечу, которая и теперь стоит над камином, и когда она горит, у меня такое чувство, что это свет и тепло от Константина Михайловича. Я редко теперь зажигаю эту свечу: боюсь, что она кончится. Еще в этой комнате с камином он навесил двери и это мероприятие назвал так:

— Взнос в фонд помощи грузинским писателям у-дачникам (он обыгрывал слово «дача»).

У меня сохранилось письмо-стихотворение Константина Михайловича, которое он сочинил на заключительном заседании дней советской литературы в Грузии в президиуме. Вот оно:

«Товарищу Думбадзе (гульрипшскому) от Симонова (гульрипшского). Моему соседу справа (если ориентир море, а не формальные поиски в искусстве).

ПРОБА ОДЫ

Я живу на прочной базе!
Все б, наверно, так хотели!
Правый фланг — гараж Думбадзе,
Левый — Крепость Церетели.
Прямо — море,
Сзади — горы,
Посредине — тетя Дуся!
Я без пограничных споров,
Где хочу — там и пасуся!

С почтением
ваш К. Симонов (сосед)».

Помните то лето, когда Константин Михайлович писал «Записки молодого человека», — это про Великую Отечественную... Он давал мне читать рукопись. Потом признался, что книгу пробовал на мне, — заинтересует она молодого читателя или нет?!

— Это все чрезвычайно интересно, Константин Михайлович, но какой же я молодой? — удивился я тогда.

— Ты преждевременно в старики не записывайся, это очень вредно для писателя, — предупредил он меня.

Еще помните: я с берега реки Кетван привез две самшитовые трости: одну для Константина Михайловича, а другую просил передать Твардовскому...

— Вот я вам палки привез! — сказал я.

— Как тебе, Нодар, не стыдно такую прелесть называть палкой, — упрекнул меня Константин Михайлович.

Удивительного здесь нет ничего, но удивительно то, что через некоторое время я получил письмо благодарности от Твардовского, который буквально теми же словами упрекал меня за то, что я такую прелесть назвал палкой.

Еще я помню: Константин Михайлович и Твардовский до очень поздней ночи гуляли на берегу моря. Говорили о литературе. Я, конечно, молчал, но глотал каждое их слово.

Константина Михайловича обожали в Грузии не только писатели. Свидетелями этой любви были Вы и Саня, помните я вез Вас из Тбилиси в Гульрипши на своей машине? Мы тогда остановились на Рикотском перевале в ресторане «Цева».

Когда директор ресторана узнал, что у него такой почетный гость, он от меня ни за что не хотел брать денег.

Он поблагодарил Константина Михайловича за его книги. Я уверен, что он читал их.

О Константине Михайловиче можно вспоминать бесконечно. Я и все мое творчество очень обязаны ему, но я не хочу сейчас злоупотреблять Вашим великодушием и терпением.

Благодарю Вас, что дали возможность мне вспомнить кое-что о Константине Михайловиче, хотя незначительное, но у таких людей, как он, незначительных минут в жизни не бывает.

Когда я приезжал в Москву, он всегда спрашивал:

— Ты когда приехал, Нодар?

— Вчера!

— Надо отметиться, дорогой.

И я «отмечался», приходил в гости к Вам, и он своим гостеприимством мог затмить гостеприимство любого грузина, и если Вы разрешите мне, я всегда буду «отмечаться», ибо он оставил на земле огромный костер любви к Грузии и завещал всем нам иногда подбрасывать в этот костер дрова, чтобы он не потух во веки веков.

С глубоким к Вам уважением
Н. Думбадзе

31.III.80. Тбилиси

К. Симонов и Б. Горбатов. Гульрипши. 50-ые годы.

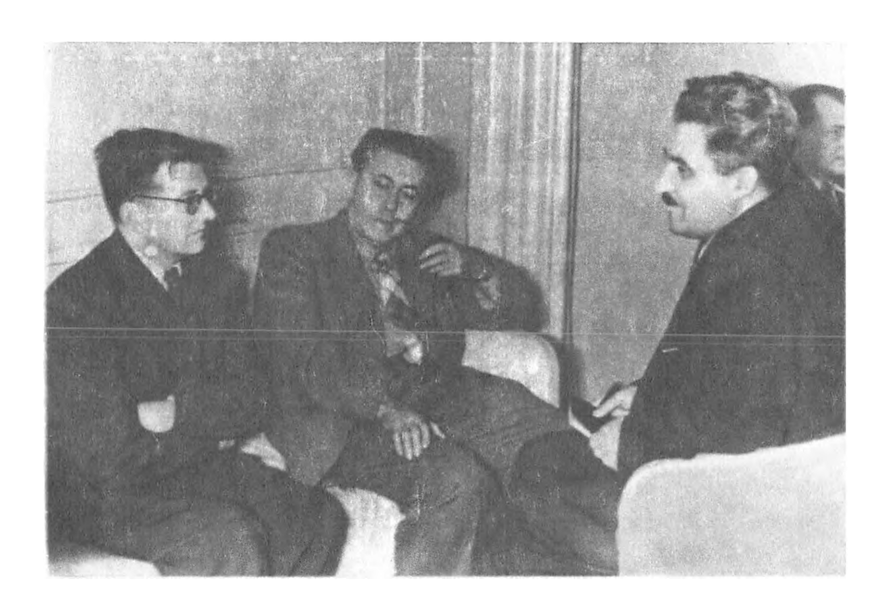
Ф. Гладков и К. Симонов.



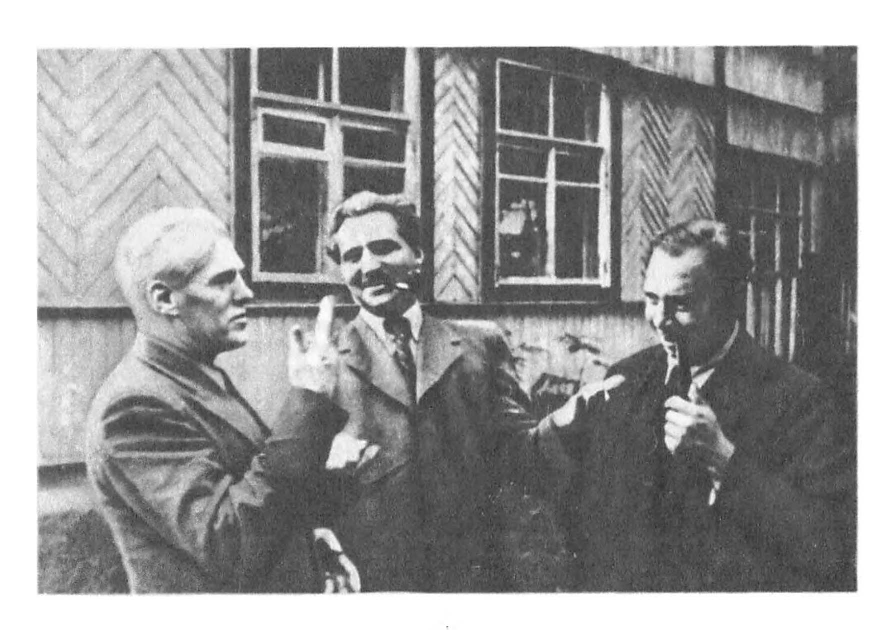
К. Симонов и А. Сурков. 1942 г.



К. Симонов и С. Вургун. 50-ые годы.



Первая Всесоюзная конференция сторонников мира. 1949 г.
Слева направо: Д. Шостакович, И. Эренбург, К. Симонов.



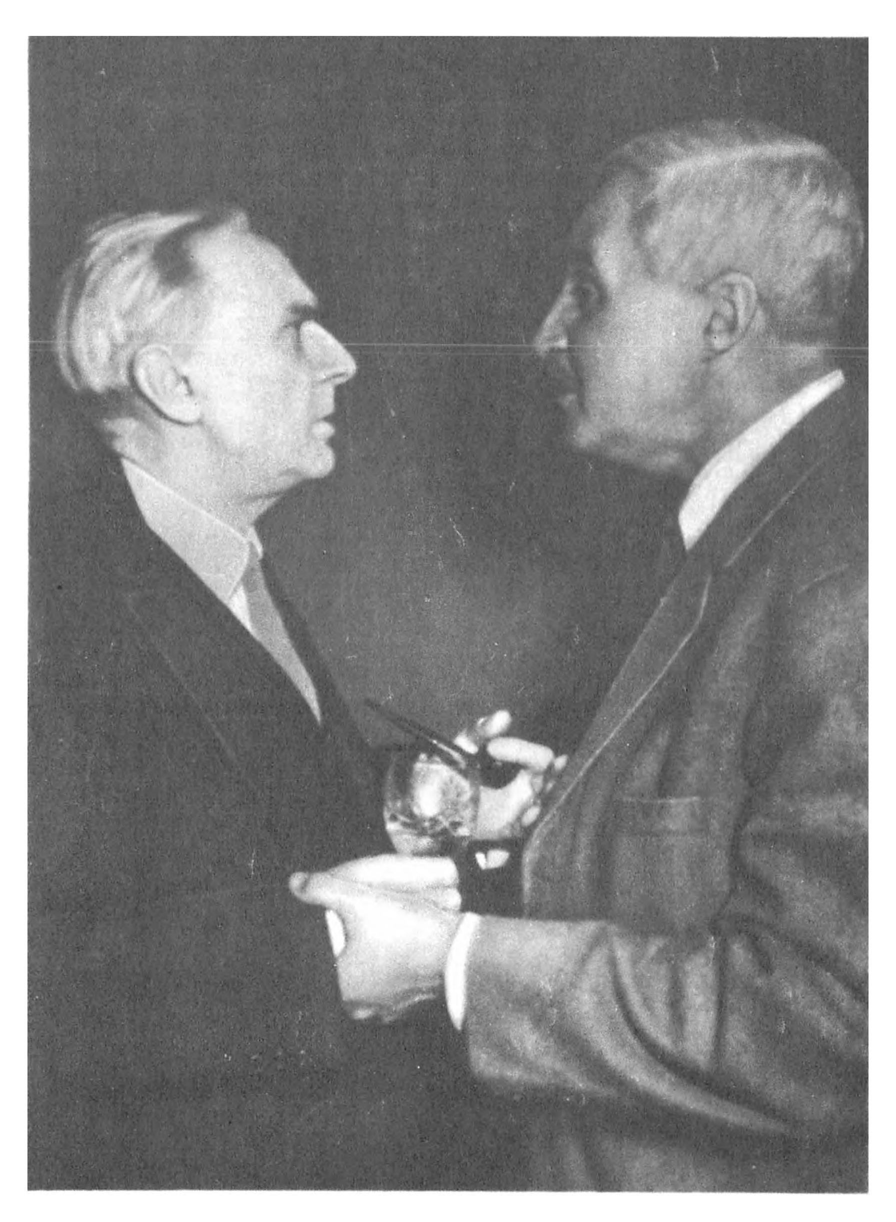
Н. Тихонов, К. Симонов, Д.-Б. Пристли. 1946 г.



К. Симонов и П. Антокольский. 1957 г.



*Встреча с писателями Казахстана. В центре М. Ауэзов,
К. Симонов, М. Рыльский. 50-ые годы.*



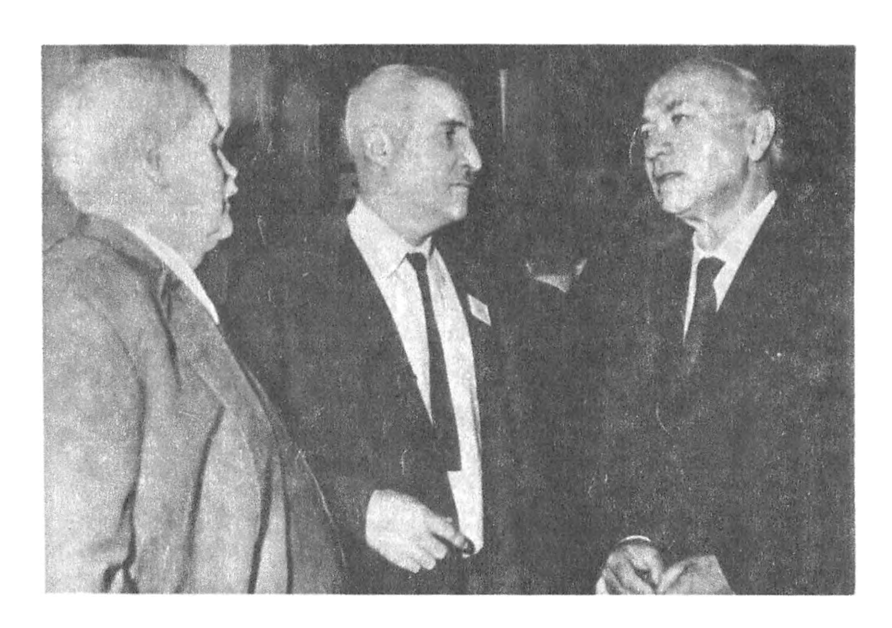
К. Федин и К. Симонов. 1962 г.



С. Орлов, К. Симонов, А. Яшин. 50-ые годы.



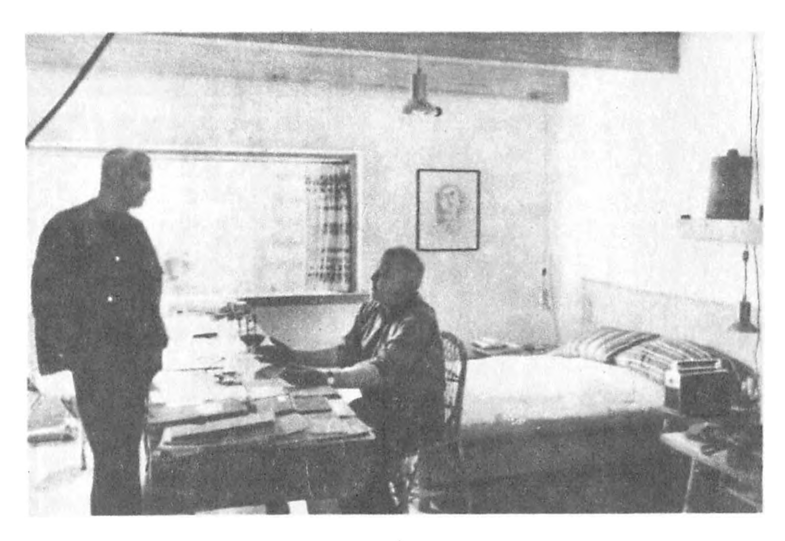
К. Симонов и Ч. Айтматов. 1966 г.



П. Вереш, К. Симонов, Д. Ийеш. Будапешт. 1966 г.



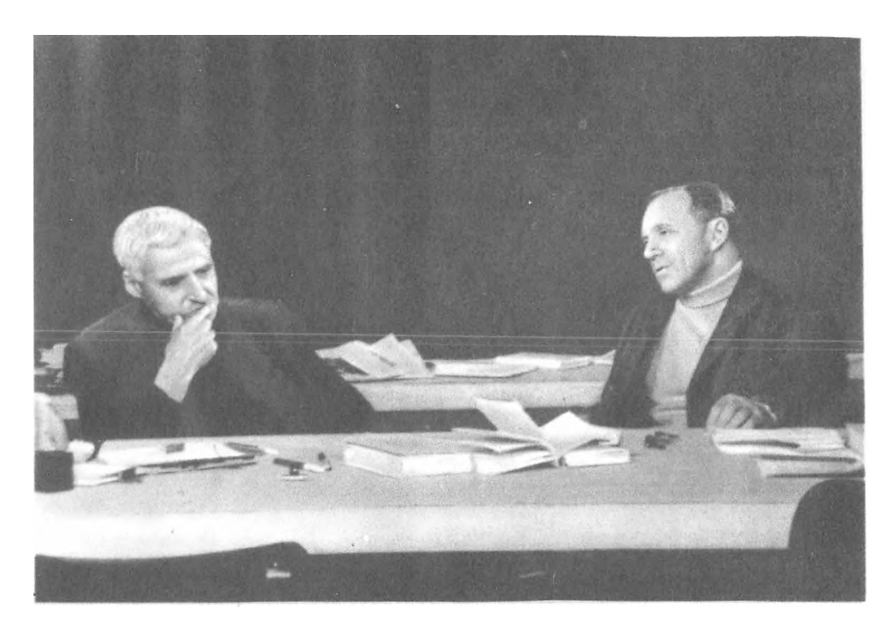
К. Симонов, Р. Кармен. Красная Пахра. 1977 г.



К. Симонов и А. Твардовский. Гульрипши. 1969 г.



К. Симонов и А. Твардовский. Гульрипши. 1969 г.



К. Симонов и М. Ульянов на съемках телепередачи о А. Твардовском. Красная Пахра. 1976 г.

Михаил УЛЬЯНОВ

НАДЕЖНЫЙ ОСТРОВ

Вероятно, каждый народ, каждая эпоха рождает художников, которые всем существом, всеми мыслями, всей жизнью, всем творчеством точнейшим образом соответствуют именно этому времени, именно этому народу. Они родились для того, чтобы быть выразителями этой эпохи. Что тут первое — художник ли, который своим творчеством делает свое время близким, понятным, рассказанным и освещенным, или время, которое ищет, через кого же выразиться, быть понятым. Знаю только, что счастье здесь обоюдное. Счастье художника, что он нужен, он живет в своем времени, у него есть слова и краски, чтобы выразить и показать жизнь, которую он знает, которой живет, болями которой болеет, радостями которой радуется.

Счастье и времени, что оно имеет своего певца, благодаря которому оно будет запечатлено и раскрыто.

Вот таким поразительно современным художником был Константин Михайлович Симонов. Поразительно современным.

Огромная, неохваченная полыхающая картина войны уже не может существовать в нашем сознании без «Жди меня»,

без «Русских людей», без «Разных дней войны», без «Живых и мертвых», без симоновских «Дней и ночей», очерков военных лет. И для тысяч и тысяч читателей Константин Симонов был теми глазами, которыми они смотрели на врага, тем сердцем, которое задыхалось ненавистью к врагу, той надеждой и верой, которая не покидала людей в самые тяжелые часы войны. Война и Константин Симонов теперь неразрывны в памяти людей, — наверное, так будет и для будущих историков нашего времени. На дорогах жизни, по которым без устали, с неослабевающим интересом, с удивительной энергией, с влюбленными в жизнь глазами до конца своих дней ходил этот удивительный человек, он встречал тысячи и тысячи людей. Встретился и я ему на этих дорогах. И я, как и все, кто встречался с ним, подпал под замечательное обаяние крупной личности.

Как-то в 1974 году мне позвонили из литературной редакции телевидения и предложили участвовать в телевизионной передаче о А. Т. Твардовском вместе с Константином Михайловичем. Я с волнением согласился из-за моего огромного уважения и преклонения перед обеими выдающимися личностями — Александра Трифоновича Твардовского и Константина Михайловича Симонова. Попасть в их общество было и страшно, и желанно. Стихи я читаю редко, даже по радио. Но здесь, взяв эту работу с собою на лето, я с особой тщательностью готовился к передаче и к встрече с Константином Михайловичем.

Я встречался с ним раньше, во время работы над фильмом «Солдатами не рождаются», но это были краткие встречи, да и не было у К. Симонова больших причин долго со мною беседовать. Зимой наконец была назначена съемка на даче у Константина Михайловича на Красной Пахре. В кабинете Константина Михайловича с огромным окном, за которым в снегу, совсем рядом, стояли красавицы березы, которые как бы были частью кабинета, мы расположились за письменным столом. Стопка чистой бумаги, томики А. Твардовского, план передачи и прекрасные, разных цветов ручки и фломастеры. Это был стол — плацдарм, на котором шло ежедневное сражение. Вещи, быт — действительно ли они в какой-то мере определяют человека? Если это так, то этот стол определял предельную сосредоточенность, военную привычку порядка и отметания всего, что мешает работе. Все целесообразно, все продуманно, все только для дела, все только для смысла. Это действительно был плацдарм. Кругом на стенах кабинета висели картины, украшения, но на столе — только необходимое для работы. Вот за этим столом мы в течение дня и сняли всю передачу. Собранность, целенаправленность, глубокое, искреннее уважение к личности А. Твардовского, к его поэзии, которая читалась в каждом слове, уважительное, но

требовательное отношение ко всей группе, снимающей фильм, создавали какой-то рабочий, товарищеский, свободный, деловой тон. Было свободно и было ответственно рядом с таким знаменитым человеком. Было спокойно, потому что рядом сидел человек, так много знающий, так много могущий, так много сделавший, так много делающий; и было тревожно, потому что рядом сидел один из крупных и интереснейших людей нашего времени.

За то краткое время, которое я провел с Симоновым, я ни разу не видел его без дела, без обязанности.

В последнюю нашу встречу он сказал, что хотелось бы ему снять фильм, и именно телевизионный фильм, — «Дни и ночи». Но не для того, чтобы еще раз сделать фильм по этой книге, а ради возможности поговорить о том, что воевали-то в основном молодые люди, восемнадцати-двадцатилетние парни. Очень важно сказать об этом сегодняшним парням. Пробудить в них и ответственность, и причастность свою к делам Родины. Его тревожило что-то в этом вопросе, и он искал путей решения проблемы. Искал и тревожился. Вот это сочетание в одном человеке сердца, которое немедленно откликается на все тревоги и сложности, и светлого, деятельного ума, который немедленно начинал искать выход, и создавало поразительно современную личность — Константина Симонова.

Когда он узнал, что избран членом Центральной Ревизионной комиссии ЦК КПСС, он был обрадован. Но опять же не столько за себя, сколько за то, что это высокое доверие давало ему возможность многое сделать и многим помочь. Он так и сказал: «Я смогу теперь многим помочь». И он неустанно помогал. Он пробивал книги, защищал молодых, отстаивал интересы литературы. Сколько мне ни приходилось быть с ним вместе на разных собраниях, он все время что-то отстаивал, кого-то уговаривал, с кем-то договаривался, кому-то объяснял.

Вероятно, это было для него необходимостью. Жизненной необходимостью помогать, выручать, поддерживать, вытягивать, защищать. В этом была еще одна черта, без которой образ Константина Михайловича Симонова был бы неполным. Такие люди для меня — как бы острова верной земли, где можно перевести дыхание, набраться сил перед следующим плаваньем по бурному морю жизни. Ну, а если потерпишь кораблекрушение, то такие острова примут тебя, спасут, дадут возможность жить. Вот таким верным, надежным островом был Константин Симонов — один из тех настоящих людей, в самом точном и высоком смысле этого понятия, с которыми мне пришлось встречаться. За это я благодарю судьбу. Не за то, что это был знаменитый человек, а за то, что это был настоящий человек. К сожалению, бывает, что не

всегда в одном человеке соединяются эти два понятия. Не всегда.

Война была всегда его главной темой. Это не только книги и стихи. Это и известные телевизионные передачи, посвященные солдату. Это и фильмы. И как-то получилось так, что разговор о попытке сделать фильм о Георгии Константиновиче Жукове возник почти сразу же, как только мы познакомились с Константином Михайловичем на телепередаче о Твардовском.

Вначале К. М. Симонов не предполагал писать сам сценарий, он соглашался быть только как бы консультантом. Но, вероятно, эта мысль его захватывала все больше. Он пригласил меня к себе и дал прочесть записи о Г. К. Жукове, сделанные в войну и после. Константин Михайлович как-то в разговоре сказал:

— О Жукове надо сделать не один, а три фильма. Представьте себе трилогию об этом человеке. Первый фильм: Халхин-Гол — начало Г. К. Жукова. Впервые услышали о нем. Второй фильм: Московская битва — один из самых драматичнейших периодов Великой Отечественной войны. Третий фильм: Берлин, капитуляция — Жуков от имени народа диктует поверженной Германии условия капитуляции. Представитель нации.

Эта тема им все больше и больше овладевала. И когда по разным причинам, не имеющим отношения ни к истории войны, ни к личности Г. Жукова, ни к большому смыслу этих возможных фильмов, эти планы были на корню отвергнуты, Константин Михайлович сразу предложил телевидению сделать документальный фильм о Жукове. Но, к сожалению, и этим планам Константина Михайловича не суждено было осуществиться. Вероятно, это были бы прекрасные страницы о войне и об одном знаменитом солдате этой войны — Георгии Константиновиче Жукове, тем более интересные, что писал бы их тоже солдат, который до конца своих дней не бросал своего оружия и всю свою прекрасно и честно проработанную жизнь отдал борьбе за справедливое, живое, новое, искреннее и современное.

Это была счастливая жизнь. Нужная людям, нужная делу, нужная времени.



К. Симонов и режиссер А. Столпер. 1965 г.

Кирилл ЛАВРОВ

...ТОТ САМЫЙ ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

Мокрым холодным ноябрьским вечером мы подъехали к зданию Московской консерватории. В машине кроме шофера нас было трое — Константин Михайлович Симонов, его мама Александра Леонидовна и я. Мы вылезли из машины, взяли Александру Леонидовну с двух сторон под руки и двинулись к подъезду, протискиваясь сквозь толпу многочисленных поклонников симфонической музыки, Александра Леонидовна подняла на меня глаза:

— Скажите, Кирилл, вы еще не испохабили своего имени?

— Как?.. — не понял я.

— А вот он испохабил, — кивнула она головой на сына, — выдумал какого-то Константина...

Симонов громко расхохотался...

А через несколько дней он написал мне на своей фотографии: «Кириллу от тоже Кирилла»...

Имя Константина Симонова давно вошло в мою жизнь, властно и незаметно вплелось в мою собственную судьбу...

Семнадцатилетним мальчишкой я стал солдатом. Шла

Великая война. Как и все люди моего возраста, я зачитывался стихами Симонова, знал их наизусть. Для нас это была не просто поэзия, а что-то несравненно большее, — наши мысли, наши чувства, поразительно точно выраженные скупым, суровым и таким прекрасным симоновским стихом.

Кончилась война. В конце сороковых годов я служил в пограничных войсках на Курильских островах. Там я впервые подумал о театре, о профессии, которой впоследствии посвятил свою жизнь. И первой моей ролью на сцене самодеятельного театра была роль Боба Морфи в «Русском вопросе» Константина Симонова.

Демобилизовавшись в 1950-м и поступая в театр, я читал перед художественным советом:

Полночь бьет над Спасскими воротами,
Хорошо, уставши, кочевать
И, обветрясь всякими широтами,
Снова в центре мира постоять...

Это была симоновская «Красная площадь».

Мог ли я предположить тогда, что не только познакомлюсь с человеком, ставшим кумиром моего поколения, но что наше знакомство перерастет в дружеские отношения, что мы будем связаны общей работой, будем встречаться...

Первая встреча произошла в Ленинграде, в полумраке зала Большого драматического театра имени Горького. Шли последние репетиции новой пьесы Симонова «Четвертый». Я играл в ней небольшой острохарактерный эпизод — Чарльза Говарда. Участники спектакля сидели кучкой в пустом зрительном зале, слушая после очередной репетиции замечания постановщика спектакля Георгия Александровича Товстоногова. И в это время появился Константин Михайлович. Пройдя по проходу между рядами кресел, сухощавый, подтянутый, спортивного сложения, с коротко стриженными серебряными волосами, в сером твидовом пиджаке, темных шерстяных брюках, черной рубашке и вязаном галстуке, он дружески поздоровался с Товстоноговым, с актерами и попросил разрешения присутствовать на репетиции. Я исподволь наблюдал за ним... Смуглое лицо, чуть прищуренные улыбающиеся глаза, неожиданно скорбный рот с опущенными вниз уголками, с крепко зажатой в зубах трубкой. Особенно мне понравились его руки — не слишком крупные, смуглые, сильные и энергичные, вымазанные пеплом, потому что он то и дело большим пальцем утрамбовывал тлеющий в трубке табак. Весь облик его отличался простотой, свободой и какой-то особой мужественной элегантностью.

Он пробыл у нас несколько дней. Шли генеральные репетиции, он давал много советов, очень тактично, ненавязчиво. Потом состоялась премьера, после которой, в тот же вечер, он

уезжал в Москву. Когда пришла пора расставаться, он вдруг подошел ко мне, взял за локоть, отвел в сторону и сказал, что на «Мосфильме» режиссер Столпер собирается экранизировать его роман «Живые и мертвые» и ему кажется, что я смог бы сыграть Синцова... Это было для меня полной неожиданностью! Я, конечно, читал роман, мне очень нравился этот честный суровый рассказ о первых, самых страшных, днях войны, и я, молодой еще артист, был бы счастлив, если бы мне предоставилась возможность сыграть в этом фильме любую самую маленькую и незначительную роль... А тут вдруг такое предложение!.. И от кого! Я стоял в совершенной растерянности... Симонов улыбнулся и сказал:

— Я поговорю с Сашей Столпером, он вас вызовет. — Пожал мне руку и пошел...

— Константин Михайлович, — закричал я ему вслед, — но вы же написали своего Ивана Синцова очень крупным, большого роста человеком...

Симонов обернулся, засмеялся:

— Ну, если это вас смущает, я в следующей книге напишу, что он был среднего роста... До встречи в Москве!

И встреча состоялась. Я не буду сейчас вспоминать фото- и кинопробы, которые проходили на «Мосфильме», сколько было волнений, с какими прекрасными актерами познакомился я на этой картине, какой удивительный человек был Александр Борисович Столпер...

С Симоновым я встретился в один из первых дней моего пребывания в Москве. Он сказал, что видел мою пробу, что в общем она его удовлетворяет, но вот за костюмом надо следить, а то во многих военных фильмах консультанты норовят одеть персонажей по всей уставной форме, в новенькое, «с иголочки», обмундирование... А такого ведь на войне не было... И если мы не сумеем, чтобы в нашем фильме все было правдиво с самого начала (а в неправде нас уличит каждый фронтовик, хотя бы неделю пробывший на фронте), мы сразу подорвем доверие ко всей нашей работе. И надо сказать, что внешняя, изобразительная сторона картины постоянно его волновала. Как он был прав, я не раз вспоминал, снимаясь в других «военных» картинах, когда меня, артиста, играющего фронтовика, пытались одеть в новенькую шерстяную гимнастерку с золотыми (!) пуговицами и золотыми (!) погонами, опоясать скрипящими ремнями и обуть в хромовые сапоги, вместо того чтобы шел человек в кадр в кирзовых сапогах, вылинявшей, пропотевшей гимнастерке, в видавшей виды шинели, то есть в том, в чем солдаты выполняли свой тяжкий, смертельный труд, именуемый войной, как любил говорить Симонов.

Как-то Константин Михайлович пригласил меня к себе домой, на улицу Черняховского. Квартира во всем носила при-

меты вкуса своего хозяина — ничего лишнего, все удобно, все приспособлено к работе. Он провел меня в кабинет... Большой письменный стол светлого дерева, такие же стеллажи с книгами и рукописями, портрет Хемингуэя и конечно же трубки — на стене, на специальном кожаном ремне, на столе, в глиняном горшочке. Две из них — замечательные, «вкусные», обкуренные трубки — он подарит мне вскоре... Сбоку лежала дорожная сумка и маленький портативный магнитофон — постоянные спутники в его бесчисленных поездках по стране, по миру, во встречах с фронтовыми друзьями, первые его помощники в создаваемой им летописи великой войны.

Сняв с полки несколько толстых папок, он положил их передо мной:

— Сидите, читайте, здесь вы найдете все, из чего вышли «Живые и мертвые».

Несколько дней подряд ходил я в этот дом, хозяин занимался работой, а я читал его рукописи, на страницах которых просматривались черты Серпилина и Синцова, Малинина и Золотарева... А через несколько лет, прочитав «Записки Лопатина» и «Двадцать дней без войны», я понял, откуда вышли эти книги.

...Это были интереснейшие дни, в которых чтение перемежалось устными рассказами, разговорами о сегодняшних наших делах, планами на будущее...

А съемки шли своим чередом. Константин Михайлович постоянно был в курсе всех наших дел, регулярно смотрел отснятый материал; сразу после просмотров тут же, в просмотровом зале, завязывались оживленные дискуссии, Симонов рассказывал о своих планах продолжения романа... Однажды он мне сказал, что нашел название для второй части романа — «Солдатами не рождаются», оно ему казалось удачным, выражающим главную идею произведения.

Вскоре мы уехали в экспедицию в Калининскую область снимать натуру. Константин Михайлович и тут не оставлял нас. Несколько раз приезжал, бывал на съемках, и каждый его приезд помимо практической пользы приносил какой-то удивительный заряд сопричастности нас всех к событиям, которые мы стремились показать на экране. Особенно я помню одно его появление — неожиданное, ночью... Мы снимали ночную сцену, в поле были вырыты окопы, построены блиндажи и землянки «серпилинского» полка. Вдруг на наши позиции, осветив нас фарами, въезжает военный газик, из него вылезают Симонов и офицер... И, странное дело, — мне вдруг в темноте показалось, что наши окопы самые что ни на есть настоящие, что вон за тем лесочком скрывается настоящий враг, а Симонов — тот самый военный корреспондент с подполковничьими погонами на плечах, который только

что отправил в Москву очередную корреспонденцию с переднего края.

Встреч было много. И в Москве, и в Ленинграде... Была встреча в Центральном Доме литераторов на улице Герцена в Москве, когда там состоялся творческий вечер двух Лавровых — моего отца, Юрия Сергеевича Лаврова, и мой. Вел этот вечер Константин Михайлович... После концерта мы втроем сфотографировались на память, а через несколько дней получили фотографию с шутливой надписью: «Отцу и сыну от святого духа».

Была встреча, когда мы сидели с ним в кабинете. Лариса Алексеевна хлопотала на кухне, готовя ужин, а он сидел, уже тяжело больной, и говорил мне:

— Врачи, понимаешь, что-то крутят, крутят... А я должен знать, сколько мне осталось... Мне надо спланировать свое время, распределить работу...

А потом мы пошли на кухню ужинать... Он был удивительно хлебосольным хозяином, и сам ел как-то особенно аппетитно и красиво, отламывая сильными пальцами куски хлеба. Разговоры продолжались и за столом... И о чем бы он ни говорил — об искусстве или политике, о литературе или международных делах, — во всем меня поражала масштабность его мышления, его компетентность и какая-то кровная личная заинтересованность.

Однажды мы вместе обедали в ресторане ЦДЛ, в уютном дубовом зале... Он очень любил этот дом и, будучи председателем правления ЦДЛ, отдавал много сил и времени его деятельности. Он был здесь «хозяином», и я замечал, что эта роль ему по душе. Принесли какую-то фирменную, очень вкусную и замысловатую закуску... Вдруг он вынул из кармана мятую и поломанную фотографию, протянул ее мне:

— Это вам, в память о «Живых и мертвых». Не удивляйтесь, что фотография в таком виде, — во время войны я протаскал ее довольно долго в кармане гимнастерки...

С помятой бумаги на меня смотрело озорное, улыбающееся безусое лицо военного человека в лихо сдвинутой на затылок пилотке, с зажатой в зубах папиросой, со шпалой в петлицах... Внизу было написано: «Кириллу Лаврову от одного из военных корреспондентов.

С любовью *К. Симонов*».

Эта фотография стоит у меня на письменном столе... Я смотрю на нее и думаю: насколько была бы беднее моя жизнь, если бы я не встретил этого человека.



К. Симонов в театре «Современник». 1973 г.

Олег ТАБАКОВ

ХОТЕЛОСЬ ЕМУ ПОДРАЖАТЬ

Когда поступал я в школу-студию МХАТа, главным моим козырем было стихотворение Симонова «Изгнанник». Думаю, не так уж сильна была моя подготовка, но стихотворение пронизано таким драматизмом и такой немыслимой захваченностью одной из самых справедливых войн на земле, восхищением этими людьми — испанскими республиканцами, — что у меня, семнадцатилетнего мальчишки, который об Испании знал уж вовсе ах как мало, закипали в глазах слезы, когда я выговаривал: «Не все еще потеряно, пока там не завяли лавровые рощи...»

Тема республиканской Испании вновь возникла для меня на четвертом году существования «Современника», когда театр решился на постановку «Пятой колонны» Хемингуэя. Одним из тех, кто вдохновлял нас на этот «подвиг» (пьеса имела репутацию решительно несценичной), был Константин Михайлович. Нам очень помогли его консультации... «Консультации» — странное слово, ведь он не был в Испании, но удивительно чувствовал природу этой пьесы! И конечно, был

влюблен в манеру письма Хемингуэя, его стилистику. Влюблен до парафразов в своих книгах, что, впрочем, никогда не смотрелось цитатой, ибо являлось частью его, жило в нем. До сих пор слышится записанный на пленку неотразимого обаяния голос Симонова, читавшего хемингуэевское вступление об испанской земле, о тех мертвых, которых положила в землю республиканская Испания, и о том залоге, которым являются эти погибшие, чтобы оставшимся в живых когда-нибудь вернуться и продолжить борьбу. Я вспоминаю этот голос даже и сейчас с волнением, а тогда он просто потряс пришедших смотреть наш спектакль зрителей.

Затем была пьеса самого Симонова «Четвертый». Пьеса по тем временам странная: на сцене появлялись люди, ушедшие в мир иной, мертвецы, но действовали они так жизнелюбиво и весомо, что это вовсе не казалось ни мистикой, ни модернистским изыском. Нет, то был суд совести, выраженный очень реально, чувственно и понятно нам, тогдашним двадцатипятилетним. И, как всегда, у Симонова в пьесе были удивительной нежности сцены между мужчинами и женщинами, нежности и откровенности, опять-таки по тем временам непривычной... Спектакль жил долго и сослужил серьезную службу для становления нашего театра.

Мне как актеру довелось и в кинематографе соприкоснуться с творчеством Симонова. Режиссер Столпер, пригласив сниматься в фильме «Живые и мертвые» Людмилу Крылову, видимо, решил подойти к проблеме по-семейному и, дабы не обойти вниманием мужа, предложил и мне маленькую, но очень важную на мой взгляд роль лейтенанта Крутикова, этакого сноровистого и бойкого молодого человека, который в страшные годы войны предпочитал ошибаться в сторону недоверия к человеку. Играл я со всей присущей мне энергией и большим полемическим задором, и оттого оказались в этой работе определенные излишества, но Константин Михайлович был настолько деликатен, что никогда не говорил мне о неудовлетворенности ролью, хотя мне все-таки казалось, что ему не совсем по душе была моя работа.

Зато он любил и умел хвалить. Посмотрев «Балалайкин и К°», он сказал мне: «А вы знаете, Олег, у вас в этой роли лицо увеличивается в два-три раза и временами оно бывает метр на метр. Как вам это удается?» Эта образная фраза была выше всяких комплиментов и дороже их, ибо я действительно с большим «энерговыражением» играл эту роль.

Удивительным было товарищество Симонова. Он умел быть товарищем, не только когда мы работали над его произведениями. Я вспоминаю его статью об одном из спектаклей «Современника», подвергшемся критике. Симонов выступил в печати и поддержал спектакль. И так поступал Константин Михайлович всегда, когда творчество его друзей, коллективов,

к которым он относился с симпатией, было близким ему по позициям гражданским.

Умел быть верным Константин Михайлович Симонов, умел дружить (умел, кстати, и прощать), умел радовать близких ему людей.

Я несколько раз был с ним за границей, и когда он видел, что его младшему и менее состоятельному в финансовом отношении товарищу нужна какая-нибудь помощь, то оказывал ее так изящно, что мне, довольно молодому тогда человеку, было удобно эту помощь принять.

Широта его натуры была истинной и не показной. Он в высшей степени обладал даром радоваться таланту других. Вспоминаю его предисловие к «Мастеру и Маргарите» Булгакова. Не так уж много писателей, да и не только писателей, могут говорить о своем собрате по искусству с таким уважением и восхищением, как умел Константин Михайлович. Стоит сказать об одной из последних его публикаций, посвященной превосходной военной повести В. Кондратьева «Сашка». Симонов нашел такие точные слова для только входящего в литературу автора, что, читая последующие публикации Кондратьева, дивишься той прозорливости, литературной точности и смелости, с которой написал Константин Михайлович об этой повести.

Его внимание и уважительность к другим всегда вызывали ответное уважение. Не забылся вечер, вернее — ночь, проведенная вместе с Симоновым в квартире замечательного немецкого скульптора Фрица Кремера. Мы были у него долго, говорили много, и так получилось, что Симонов говорил о мире, а Кремер — о войне. Видимо, реальность участия Симонова в этой войне была хорошо известна Кремеру, и он говорил, ощущая всю тяжесть вины, как может ощущать ее немецкий интеллигент, чувствующий ответственность не только за то, что было, но и за то, чтобы этого не было впредь. Так эмоционально выразил всю степень своего уважения к Константину Симонову Фриц Кремер, в общем-то достаточно жесткий и сдержанный человек.

Симонов вызывал не только уважение, но у меня, например (думаю, не только у меня), простое желание подражать ему. Он был красив той несуетливой, спокойной мужской красотой, которой, каждый год прибавляя седины в волосы, прибавлял все больше терпкости и обаяния. И даже та легкая картавость, то грассирование, с которым он читал стихи, всегда как бы извиняясь за этот недостаток, как-то шло к нему и было от него неотделимо. Пожалуй, очень немногие люди, встреченные мною в жизни, вызывали столь сильное желание подражать. Подражать и в быту, и в каком-то, я бы сказал, мужском человеческом поведении.

«Современник» дважды обращался к прозе Симонова.

Повесть «Двадцать дней без войны» ставил тогда только начинающий свою работу в театре Иосиф Райхельгауз. Константин Михайлович решился на это сотрудничество, доверил ему свою повесть, а Райхельгаузу было всего двадцать с небольшим. И получился спектакль серьезный, достойный, содержательный.

К числу удач «Современника», на мой взгляд, можно отнести и работу Валерия Фокина по другой симоновской повести — «Мы не увидимся с тобой». В спектакле играет новое поколение театра, делали его люди в основном молодые, тридцатилетние, и мне дорого, что есть в нем мгновения подлинного проникновения в жизнь духа симоновских героев.

Когда шла работа над спектаклем, было уже известно, что Константин Михайлович чувствует себя плохо. Этой премьеры он не дождался. Пришло известие о его смерти, и настал страшный день похорон.

Я нарочно не пошел с того входа Центрального Дома литераторов, где проходили делегации, а пошел туда, к проспекту Калинина, откуда начиналась очередь. Отстоял и понял, что пришли люди, любившие писателя и оставившие все, все свои заботы на сегодня, чтобы проститься с ним.

Было много военных старшего поколения, особенно признательных Симонову за то редкое постоянство и упорство, с которым он приоткрывал нерассказанные, неразгаданные страницы войны...

Хотелось бы когда-нибудь отплатить Константину Михайловичу Симонову за все то добро, что сделал он и для театра «Современник», и для меня лично, отплатить средствами моего ремесла. И я надеюсь, что мне когда-нибудь удастся это сделать.



В ГДР. Слева направо:
Лео Кошут, К. Симонов, Чоллек, 1966 г.

Лео КОШУТ

«ДОМ ДРУЗЕЙ»

Конечно, я и прежде видел Симонова, однако первым моим серьезным знакомством с ним была работа над переводом стихотворения «Не сердитесь — к лучшему...» в 1962 году. Это стихотворение, может быть, и не из самых популярных, не в пример стихотворению «Жди меня». О том, какое впечатление «Жди меня» производило на немецких антифашистских писателей уже в 1943—1944 годах «между Сталинградом и Миллерово... между Мелитополем и Харьковом», писатель Фридрих Вольф рассказывает в своем предисловии к вышедшему в 1952 году в берлинском издательстве «Культур унд фортшритт» сборнику стихов Симонова «Лирика одного десятилетия». Это стихотворение еще тогда, в годы политической эмиграции, перевела Клара Блюм, да и перевод другого, тоже чрезвычайно важного для читателя ГДР стихотворения «Немец» был сделан Гуго Гуппертом также еще в Советском Союзе. А в том, 1962 году я выпустил в издательстве «Культур унд фортшритт» (оно слилось с издательством «Фольк унд вельт» только в 1964 году) антологию русской советской лирики, которая называлась «Полет к звездам и яблоня в цвету», — вышла она в 1963 году.

Стихотворение Симонова, несмотря на шутливый тон, произвело на меня глубокое впечатление своим искренним, не

наигранным, а серьезным, доходящим до сердца именно своей простотой, поэтическим раскрытием лирического «я». И выбор размера в данном случае был для меня особенно важен потому, что он должен был передать ненавязчивую разговорную интонацию, рождавшуюся в процессе раздумий автора. Я выбрал для перевода размер, несколько отличавшийся от размера оригинала, но, по моему мнению, он позволял средствами немецкого языка наиболее полно передать казавшуюся мне столь важной, ясно выраженную в русском оригинале мысль автора:

Письма пишут разные:
Слезные, болезные,
Иногда прекрасные,
Чаще — бесполезные.

И понимание характера автора, который мне открылся в работе над переводом, я и считаю своим первым знакомством с Симоновым, — затем это понимание только углублялось и расширялось.

Как редактор издательства «Культур унд фортшритт» я был причастен к изданию романа Симонова «Живые и мертвые». Появление его в немецком переводе в 1962 году имело сложную предысторию.

Некоторые советские писатели, книги которых посвящены войне, спрашивали меня, как немецкие читатели воспринимают изображение в них немцев? Этот же вопрос задавал мне в начале нашего знакомства и автор «Живых и мертвых». Но для большинства читателей ГДР — и это результат последовательных демократических преобразований, которые были осуществлены в нашем государстве, — как раз тут не было никакой проблемы. Справедливо писал тогда наш рецензент: «Тот, кто до сих пор еще не научился видеть разницу между фашизмом и немецким народом, того этот роман заставит о многом задуматься». Проблема же, с которой кое-кому, и именно на издательском уровне, все же пришлось столкнуться, — последовательность, с какой Симонов вскрывает противоречия и их глубокие внутренние причины, противоречия, которые обнажила война. Не дискредитирует ли подобная критическая позиция политический идеал, коим для читателя ГДР является Советский Союз?

Меня же еще при первом чтении поразило то, каким гимном нравственной силе русского народа, его социалистическому патриотизму звучит этот роман, сколь справедливо требование Синцова, а вместе с ним и миллионов советских людей, доверия со стороны партии и государства. Право на издание романа было, однако, уже приобретено другим изда-

тельством, но оно колебалось, и как раз по указанной выше причине. Мне удалось добиться передачи права издательству «Культур унд фортшритт». Так издание романа «Живые и мертвые» положило начало с тех пор уже не прерывавшейся работе над переводом произведений Симонова, которую ведет издательство «Фольк унд вельт».

Когда перевод «Живых и мертвых» был готов, прошел через редакцию и получена была из типографии верстка, наш корректор, которая много лет как политический эмигрант прожила в СССР и великолепно владела русским языком, обнаружила в тексте весьма существенные ошибки, так что намеченный по плану выход книги в 1962 году был поставлен под угрозу. Тогда я, как говорится, в свободное время, то есть работая по ночам — днем обязанности главного редактора не оставляли свободного времени, — сверяя перевод с оригиналом, занялся исправлением верстки. Я сын украинки и астрийца, с 1907 года жившего в России, родился под Киевом, и хотя в восьмилетнем возрасте переехал в Вену, но дома постоянно слышал русскую речь. Поэтому русский я знал лучше, чем если бы просто изучал славистику в университете. И, конечно, эта выполненная по необходимости и из энтузиазма редактура явилась для меня неким событием, определившим мои отношения с Симоновым.

Действительно, откуда у нас в первые годы существования ГДР могли взяться переводчики с русского? А потребность в них сразу оказалась очень велика — необходимо было наверстать упущенное в отношении советской литературы. Готтфрид Войтек, который вместе со своей женой Кориной перевел «Живые и мертвые», дезертировал, будучи лейтенантом фашистского вермахта, и русский язык выучил в советском плену. Возможностью вернуться домой, которая была у него как у австрийца, он не воспользовался, а добился перевода в антифашистский лагерь. В этом лагере он работал переводчиком и комментатором тамошнего радио и даже участвовал в спектаклях самодеятельного театра — играл журналиста Смита в поставленной на русском языке пьесе Симонова «Русский вопрос». В 1949 году по собственному желанию он приехал в ГДР. Когда вместе с женой, молодой учительницей русского и немецкого языков, они приступили к работе над симоновским романом, ими уже было совместно переведено несколько произведений советской литературы. И вот тут-то и стало очевидно, что языку им еще надо учиться. Надо сказать, что они с честью прошли через это испытание, о чем говорит, в частности, тот факт, что впоследствии им дана была для перевода еще одна книга Симонова — «Разные дни войны».

Напрашивается вопрос, почему именно роман Симонова сыграл роль своего рода пробного камня? Разве не бытовало

и не бытует еще мнение, будто язык Симонова относительно прост и, следовательно, легок для перевода? Конечно, рано или поздно пусть не эта, так книга какого-нибудь другого автора подтолкнула бы издательство и заставила предпринять определенные шаги — в плане организационном и кадровом, — необходимость этого становилась все более очевидной. Однако, может быть, есть некая закономерность в том, что толчком явился именно симоновский роман. Он потребовал более высокого уровня переводческого мастерства, ведь неустанные поиски Симоновым правды наложили отпечаток и на язык романа, подчиняющийся логике мысли, метафорически незашифрованный.

С момента выхода в 1962 году роман «Живые и мертвые» переиздавался в нашей стране восемнадцать раз, а вся трилогия стала в ГДР поистине настольной книгой, и именно благодаря своей всепокоряющей правдивости. В общей же сложности одно только издательство «Фольк унд вельт» выпустило семнадцать книг Симонова, и выходили они около шестидесяти раз.

Это легко только говорить, будто изображение войны с фашистской Германией не было для нас, не было для меня проблемой.

Еще до того как я попал в издательство и работа в нем стала делом моей жизни, я прочитал повесть «Дни и ночи» — в Германии она была впервые опубликована в издательстве советской военной администрации, — я даже на своих лекциях в университете в Галле и в Литературном институте в Лейпциге говорил о ней. Но тогда, в 1942 году, когда Симонов, будучи военным корреспондентом в Сталинграде, видел то, о чем потом писал в «Днях и ночах», и в 1943-м, когда он работал над повестью, и в 1944-м, когда книга вышла в свет, даже и мысль такая не могла прийти в голову, что между Симоновым и мной может возникнуть знакомство, потому что я был по другую сторону линии фронта.

И то, что я, как и многие другие, после 1945 года учился видеть прошлое и себя в нем новыми глазами, так сказать, глазами Симонова, отдавая себе, однако, отчет в том, что мы были на другой стороне, которая несла Советскому Союзу смерть и рождала ненависть, — это было обусловлено многими причинами. Но среди них, несомненно, большую роль играла советская литература, и в особенности книги Симонова.

Почему же именно симоновские книги? Недавно я снова перечитал «Дни и ночи». Нет в повести ни высокопарной патетики, нет и расхожих антинемецких настроений. А есть — и в этом суть произведения — почти документально воссозданные будни, есть подкупающая достоверность, вплоть до мельчайших деталей, достоверность, которая уже тогда, после

1945-го, в те первые послевоенные годы, убеждала даже бывшего участника агрессии в справедливом освободительном характере войны, которую вел Советский Союз. Иначе говоря, заставляла его, бывшего врага, почувствовать себя героем Симонова — Сабуровым, который, засев в трех сталинградских домах с пустыми окнами и разбитыми квартирами, вместе со своими живыми и мертвыми солдатами, с женщиной и тремя детьми в подвале, защищает всю Россию.

С этой, характерной именно для него, Симонова, позицией я потом сталкивался во всех его последующих произведениях. И с течением времени она приобретала все новые свойства и все больший масштаб.

Да и само слово «характерный» уже с самого начала подразумевает наличие позиции — пусть в повести «Дни и ночи», в отличие от более поздних «Разных дней войны», еще не высказанной отчетливо, едва ощутимой. Симонов так говорил о ней в 1974 году в интервью, данном Кристе Вольф: «В общем-то мы были самой войной четыре года неразрывно связаны с немцами в самом страшном из всех мыслимых сочетаний. И я не помню такого дня на войне, чтобы я не думал о немцах... Если говорить с точки зрения моей тогдашней психики — немцы присутствовали в ней все годы войны со страшной и постоянной силой в качестве прежде всего врага. И, однако, при этом все время возвращался вопрос — как же это могло получиться? Как все это вышло? Как фашизм пришел к власти? Почему он с такой силой подмял под себя нацию?.. В конце войны меня глубоко интересовало, что думают немцы обо всем происшедшем? Свидетельство этому — мои дневники сорок пятого года».

Я цитирую слова из интервью, но конечно же эта проблема постоянно обсуждалась и в наших с Симоновым разговорах, она делала меня участником его поисков, которые были связаны и с моим собственным прошлым, и моей долей участия в истории. Прежде чем Симонов опубликовал завершающую часть «Разных дней войны», рассказывающую о событиях сорок пятого в Гинденбурге (ныне Забрже), — эта часть называлась тогда «Незадолго до тишины», — он дал мне прочитать ее в рукописи, желая услышать мое мнение.

Первый раз мне пришлось вести публичную встречу Симонова с читателями в ГДР 23 апреля 1964 года в берлинском клубе деятелей культуры — у меня сохранились сделанные тогда записи. В ту пору я еще все совмещал в одном лице: и вел встречу, и переводил ее, и участвовал в дискуссии. Вспо-

минаю, как битком был набит зал в библиотеке — сидели даже на лестнице, которая вела на галерею к книжным полкам, — с каким напряжением протекала никак не кончавшаяся дискуссия.

Уже вышел на русском роман «Солдатами не рождаются», готовилось его издание и в ГДР, но разговор уже шел о продолжении трилогии. И то, что Симонов рассказал тогда о своих планах, и то, почему он впоследствии этим планам изменил, необычайно интересно, особенно в аспекте интернациональном, который не только определял общую политическую позицию Симонова, но и конкретно проявлялся, особенно в его отношении к немцам, в давней симпатии к ГДР, проявлялся в человеческих связях и в художественной практике.

Отвечая на вопрос, он в 1964 году сказал: «Заключительная часть трилогии будет посвящена последнему периоду войны. Возможно, действие будет происходить в последний месяц; может быть, отрезок времени будет еще короче. Место действия — по преимуществу Берлин, поскольку бои в Берлине были не только в военном, но и в психологическом отношении узловым моментом войны. Кроме того, писатель, если это возможно, старается говорить о том, что он видел собственными глазами. Я как раз к концу войны был здесь. Это будет книга о конце войны, и многих волновавшая тогда мысль — что же будет дальше? — найдет в ней свое отражение. Война была таким тяжелым испытанием, что каждый, наступавший с победоносной армией, думал: вот прозвучит последний выстрел, и все пойдет хорошо. Но после окончания войны у нас была очень трудная жизнь. Не только немцам было трудно, но и нам. Об этом я и хочу рассказать в книге о последних днях войны».

Тогдашняя берлинская поездка Симонова была предпринята для сбора дополнительного материала и для реализации этих планов. На той встрече Симонов сказал, что основным источником в его работе над книгой являются дневниковые записи конца войны, но потом добавил: «Но все-таки этого мало... нужно еще больше разговаривать... Я уже беседовал здесь с несколькими людьми, находившимися тогда в самых различных ситуациях. И эти первые беседы показали мне, что я могу еще много важного узнать от немецких товарищей».

Как известно, Симонов изменил свои планы, завершает трилогию — роман «Последнее лето», посвященный событиям сорок четвертого года. На читателей в ГДР и на меня не могло не произвести впечатление то, как Симонов аргументировал свой отход от первоначального замысла. Я опять цитирую его интервью с Кристой Вольф: «Я почувствовал, что не сумею психологически проникнуть в глубину того внутренне-

го трагизма, с которым были связаны последние дни Берлина там, на той — немецкой — стороне. А без этого роман о последних днях войны, с моей точки зрения, был бы неполон. И я, отказавшись от первоначальных наметок, решил завершить третью, последнюю книгу своего романа там, где у меня начиналась первая, — в Белоруссии».

После 'той дискуссии в 1964 году я еще много раз вел встречи Симонова с его читателями в ГДР. И все они отличались не только большим числом активных участников, но и особенной атмосферой, — неважно, была ли это встреча со столичной интеллигенцией в клубе деятелей культуры, или с рабочими завода полупроводников во Франкфурте-на-Одере, или, как в последний раз, со строителями нового района в Берлине (Марцане). Всегда получалось так, что под влиянием разговора с Симоновым люди как бы внутренне сближались, и не было ни одного вопроса (или лучше сказать — ответа), который бы этому не способствовал.

Происходило это еще и потому, что Симонов относился к каждому участнику встречи всерьез, а это для него означало: не уходить ни от каких проблем, быть действительно откровенным. Для всех участников каждый такой читательский форум превращался во что-то гораздо большее, чем просто разговор о книгах, о литературе.

Открытая переписка, которую в 1976—1977 годах Симонов вел с писателем Альфредом Андершем и которую издательство «Фольк унд вельт» в 1978 году выпустило отдельной книжечкой, — это образец того, как Симонов отвечал на поставленные перед ним вопросы. Эти письма, его встречи с читателями в ГДР характеризуют Симонова лучше, чем это в состоянии сделать я.

«То, что я пишу Вам, не столько прямой ответ на Ваше письмо, сколько размышления вслух и над некоторыми из проблем, которые Вы в нем поставили, и над собственной жизнью. Ибо основа того разговора, который мы с Вами ведем, в сущности и есть размышления над собственной жизнью каждого из нас в связи с жизнью общества, в котором каждый из нас с Вами живет, и в связи с теми взаимоотношениями, которые сложились между этими двумя обществами и влияют на жизнь каждого из нас».

Именно так все и происходило: читательские встречи с ним превращались в разговор о самой жизни. Здесь, в ГДР, этот разговор уже давно велся на общеидейной основе. В Симонове, несмотря на иную национальную историю, на языковой барьер (правда, судя по тому, как зал реагировал на отдельные его реплики, Симонов мог иногда обходиться и без переводчика), аудитория видела своего писателя, своего това-

рища. И конечно, обаяние Симонова, его умение разрядить серьезный разговор шуткой создавало на таких встречах атмосферу доверия.

Когда я в первый раз прочитал целиком «Разные дни войны», еще по-русски, в рукописи, меня поразило, с какой скрупулезностью Симонов прослеживает судьбы людей, с которыми он сталкивался во время войны, судьбы военных частей и соединений. Это часто требовало долгих поисков, описание которых, в свою очередь, могло бы стать книгой. И я очень сожалел, что, когда Симонов писал о своих встречах с немцами в «Незадолго до тишины», он был лишен возможности проследить их судьбы. Тем неожиданнее оказалась для меня встреча Симонова в мае 1977 года с одним из этих немцев, свидетелем которой я был.

Издательство «Фольк унд вельт» отмечало свое тридцатилетие, и на двух из пяти литературных вечеров, которые были организованы по этому поводу во Дворце Республики, среди других авторов издательства выступал Симонов. Может быть, сам повод и состав аудитории, вся атмосфера способствовали этому, — во всяком случае, встреча, а вести ее было поручено мне, протекала, даже по сравнению с прежними встречами с Симоновым, особенно живо и волнующе. Задавали вопросы, пересылали на сцену записки, и в одной из них — я ее прочел, прежде чем передать Симонову, — было написано: «Уважаемый Константин Михайлович! Двадцать два года назад Вы приезжали в город Гинденбург (Забрже), и я был Вашим переводчиком. Помните ли Вы еще Ваш ночной разговор с пастором из Санкт-Комениуса? *Александр Грютнер*».

Как это было неожиданно! Переводчик, о котором Симонов упоминает в своих военных дневниках (запись датирована 31 марта), как бы проложил мост из прошлого в сегодняшний день. Грютнер закончил Высшую партийную школу, в пятидесятые годы был на дипломатической работе, потом работал в министерстве внутренних дел. После вечера он рассказал Симонову о своей жизни, рассказал также о дальнейшей судьбе упоминающегося в дневниках Адольфа Зауэра: Зауэр, к которому в 1945 году Симонов, не зная точно его прошлого, не отнесся с полным доверием, на самом деле был коммунистом, участвовал в антифашистском Сопротивлении, а после войны и до самой своей смерти в 1955 году работал директором машиностроительного завода в Дрездене.

Была ли эта встреча с Грютнером простой случайностью? Нет, она, можно сказать, была запрограммирована и общественным развитием ГДР, и симоновским творчеством, и популярностью, которой он пользуется в ГДР, и позицией, которую занимал Симонов и которую еще до встречи с Грютнером он

изложил, комментируя свои дневниковые записи о Гинденбурге: «Вспоминая сейчас Зауэра и думая о той огромной работе, которую впоследствии проделали такие, как он, люди, создавая новую, демократическую Германию на развалинах фашистской, я не хочу задним числом каяться в своем тогдашнем неполном доверии, но хочу наряду с этим сказать о том чувстве глубокого уважения и доверия, которое постепенно, с годами, возникло у меня к ним. Именно с годами. Это и будет полной правдой».

Юбилейный вечер с участием Симонова, устроенный тогда издательством во Дворце Республики, имел важные последствия: Симонов сделал вставку в «Разные дни войны». Она, конечно, не вошла в русское издание — опоздала, — зато издание на немецком языке, выпущенное «Фольк унд вельт», было первым, которое вышло с этим добавлением.

В переписке между издательством и Симоновым, которая началась в конце 1962 года, в частных письмах нашли свое отражение и писательская продуктивность Симонова, это прежде всего, и издательская деятельность «Фольк унд вельт», так сказать, по горячим следам, и, кроме того, развитие дружеских связей, а они становились все более тесными, между ним, директором издательства Вальтером Чоллеком, умершим в 1972 году, Юргеном Грунером — нынешним директором, мной и нашими семьями.

. . . .

«Глубокоуважаемый, дорогой Константин Михайлович! — так мы обратились к нему в связи с его юбилеем в 1975 году. — В связи со своим шестидесятилетием примите сердечные поздравления от «Вашего» издательства «Фольк унд вельт». При той популярности, которую Вы приобрели в ГДР, участвуя своими произведениями в жизни, в развитии нашей республики уже с 1947 года, мы считаем себя уполномоченными поздравить Вас не только от своего имени, а от имени Ваших бесчисленных читателей и почитателей в ГДР».

В ответной телеграмме Симонова было сказано: «Ваше издательство для меня уже много лет дом друзей».

Как в письмах раскрывается симоновский характер, например его абсолютная верность и его такт, я хотел бы показать на примере одного случая, когда Симонов, связав себя обещанием, попал в трудное положение.

До выпуска «Разных дней войны» нашим издательством, несмотря на то что книгой очень интересовались и газеты, и журналы, и, конечно, читатели, не должно было быть никаких предварительных публикаций — так решил Симонов. И вдруг выясняется, что журнал «Армеерундшау» собирается печатать отрывок из книги и при этом ссылается на согласие

Симонова. Мы были вынуждены к нему обратиться. Симонов вспомнил, что действительно давал такое согласие, — не случайно он дал его именно армейскому журналу в ГДР, — и, конечно, ему стало ясно, что это исключение, сделанное для одного издания, создает массу проблем. И все-таки он не просто взял назад свое слово с извинениями, вместе с письмом он послал в качестве замены не опубликованный еще в ГДР текст и объяснил в письме, что материал, который он посылает, возможно, представляет для армейского журнала даже больший интерес, чем фрагменты из «Разных дней войны».

Я не знаю ни одного случая, чтобы Симонов нарушил данное им издательству, просто человеку обещание или опоздал с работой к сроку. Даже когда он по болезни вынужден был отменить нашу с ним встречу, о которой была предварительная письменная договоренность, он предложил мне посетить его в больнице, и разговор наш шел о чем угодно, только не о его болезни.

Симонов для нас, директора издательства Грунера и для меня, был бесценным консультантом по всем вопросам, касавшимся литературного процесса в Советском Союзе и наших издательских планов. Как хорошо умел он, отвечая на наши просьбы, в некоторых выразительных предисловиях и послесловиях выделить самое, с его точки зрения, важное, существенное в произведениях других писателей.

Объясняя, почему «поколение девятнадцатилетних читало поэта Семена Гудзенко и почему его читает нынешнее поколение», Симонов во вступительной статье к нашему сборнику «Семен Гудзенко. Потрет одного поколения» (стихи, дневники, свидетельства), вышедшему в мае 1969 года, говорил о связи поколений в своей стране и тем самым как бы перекидывал мостик к молодым или бывшим во время войны молодым немецким читателям, для которых читать Гудзенко — словно бередить старые раны: «Мы не хотим делать вид, что это нас больше не волнует. Когда мы вспоминаем о прошедшей войне, нам очень больно, потому что мы люди». И, конечно, такое стремление к взаимопониманию не случайно, как не случайно и то, что симоновские слова перекликаются с названием вышедшего у нас тогда на экраны фильма Конрада Вольфа «Мне было девятнадцать». Ведь именно Конрада Вольфа Симонов имеет в виду, когда в «Разных днях войны», размышляя о Зауэре, пишет, что среди его нынешних друзей «есть сын эмигранта-антифашиста, в сорок четвертом году в форме советского лейтенанта шедший под немецкие пули с рупором в руках, спасая жизнь окруженных немецких солдат».

Как издатель самого полного собрания сочинений Маяковского на немецком языке, я знаю о том огромном вкладе, который Симонов внес в реконструкцию выставки Маяковского «20 лет работы», открывшейся в июле 1973 года к восьмидесятилетию поэта, и не мог не оценить этот вклад, даже отвлекаясь от значения самой выставки, замечательно передающей атмосферу борьбы, которую вел Маяковский и за которую он отчитывался перед своими современниками и «товарищами-потомками». Я не мог тогда приехать в Москву, чтобы посмотреть выставку, и тем приятнее мне было, когда я получил экземпляр за номером 85 сборника «Маяковский делает выставку», которую мне с сердечным посвящением послал Симонов — составитель этого сборника. Сам я к юбилею Маяковского кроме других материалов опубликовал статью в журнале «ДСФ» западноберлинского общества германо-советской дружбы. По ассоциации со стихотворением Маяковского «Два Берлина» я в этой статье пытался представить себе, как поэт сегодня, «авто Курфюрстендамом катая», в удивлении остановился бы перед домом № 72, привлеченный вывеской «Галерея Маяковского». Пять лет спустя, 26 марта 1978 года, мне представилась возможность посетить вместе с Симоновым в Западном Берлине эту самую выставку. И надо было видеть, какую новую волну интереса к Маяковскому и его творчеству она там вызвала. Например, в том же Доме художников «Бефани», где была выставка и куда приходили все, интересующиеся Маяковским, давал спектакль любительский театр «Центрифуга», который поставил, осовременив пьесу в соответствии с завещанием Маяковского, «Мистерию-буфф». На фоне политической ситуации в Западном Берлине пьеса неожиданно зазвучала очень живо. Вместе с Симоновым, с Ларисой Алексеевной, Юргеном Грунером сидел я среди западноберлинской публики, которую актеры — наборщик, шофер, электроинженер, кандидат на должность учителя, портниха, чертежница, секретарша — сделали участницей этого заразительного действия.

На читательской встрече с Симоновым в Берлине — Марцане, состоявшейся 5 мая 1977 года, строители интересовались, конечно, новыми произведениями писателя, выхода которых все ждали. Это «Разные дни войны», немецкое издание книги мы тогда уже готовили к выпуску, и еще неоконченный роман «Так называемая личная жизнь». На этом вечере Симонов предложил мне шуточное пари: кто быстрее — он ли закончит свой новый роман или издательство «Фольк унд вельт» выпустит его «Разные дни войны»?

Свои «Разные дни войны» Симонов явно писал с мыслью — я цитирую его слова, — «что эту книгу будут читать

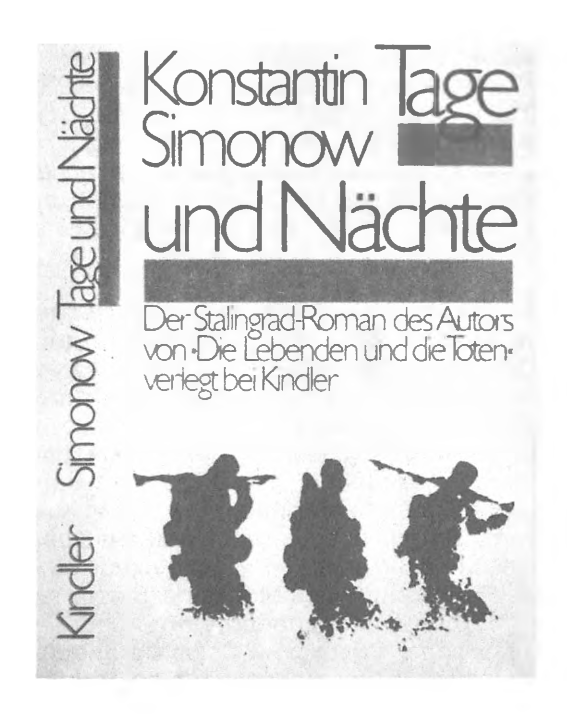
не только мои соотечественники, но и немцы. И среди них люди, которых я уже давно привык считать не только своими друзьями, но и соратниками по общему делу». Нетерпение, с которым он ожидал выхода своих «Разных дней войны» именно в ГДР, быть может, объяснялось еще и желанием самому увидеть это издание, хотя я ни разу не слышал от него жалоб на здоровье, — во время своих поездок в ГДР он без возражений принимал до предела насыщенные разными мероприятиями программы.

Последнее симоновское письмо, адресованное Грунеру и мне, звучало так: «Дорогие мои друзья! Спасибо за письмо и за издание моей переписки с Андершем. Очень рад, что Вы выпустили эту книжечку!

Надеюсь, увидимся в этом году в Берлине!

А пока — до свидания, и привет Вашим милым женам!

Ваш *Константин Симонов*. 22. 3. 79».



Обложка книги К. Симонова «Дни и ночи».

Хельмут КИНДЛЕР

ПОЧЕМУ Я ИЗДАВАЛ ЕГО КНИГИ

25 августа 1979 года мне в Цюрих позвонил Альфред Андерш. «Симонов тяжело болен, — сказал он, — и лежит в московской клинике; он хотел бы, как только сможет подняться, — вероятно недель через шесть, — продолжить лечение в Швейцарии».

Андерш считал, что Симонову было бы приятно получить приглашение от меня — своего издателя.

Я с радостью откликнулся на этот совет, тем более что рассчитывал встретиться с Симоновым в октябре на Франкфуртской книжной ярмарке. Мне нужно было обсудить с ним мероприятия, связанные с выходом его военных дневников,

---

Хельмут Киндлер — издатель книг Константина Симонова в ФРГ. Он опубликовал романы «Живые и мертвые» в 1960 году, «Солдатами не рождаются» в 1965 году, «Последнее лето» в 1972 г., «Дни и ночи» в 1978 и в 1980 году — оба тома «Военных дневников». — *Составители.*

которые сейчас уже вышли в ФРГ совместным с ГДР изданием.

Но моего приглашения он не успел получить. 28 августа — я в это время находился в Болонье — мне позвонила жена и сказала, что Симонов умер.

И тот телефонный разговор с немецким писателем Альфредом Андершем тоже оказался последним. Андерш умер 21 февраля 1980 года в возрасте 66 лет.

Это было больше двадцати лет назад. Мюнхенское издательство «Киндлер» заключило договор на выпуск книги Симонова «Живые и мертвые» на немецком языке. Прежде мне почти ничего не было известно о Симонове и хотелось узнать о нем побольше. Мы тогда готовили в нашем издательстве многотомный литературный словарь, и я поинтересовался в редакции, какие книги Симонова в нем рассматриваются. Среди материалов, которые мне дали, было изложение трехактной пьесы, предназначавшейся для нашей статьи. Пьеса называлась «Русские люди», и я узнал, что впервые она была поставлена в Москве в Театре драмы 12 июля 1942 года.

Я попытался представить себе, что происходило летом 1942 года. Советский Союз остановил наступление гитлеровских войск на Москву. Но во многих областях страны шли ожесточенные бои. Неужели это было возможно — в то время поставить в Москве пьесу, действие которой происходит осенью 1941 года в одном из городов на Южном фронте? Небольшая часть советских войск, окруженная немцами, попала в безвыходное положение. Симонов был, как я узнал, военным корреспондентом и хорошо знал обстановку на фронтах. Отображенный в пьесе патриотизм простых советских людей символизировал патриотизм всего советского народа.

А что писали тогда в Германии? Немецкие военные сообщения фальсифицировали и скрывали истинный ход военных действий в Советском Союзе. Я заказал в архиве мюнхенской городской библиотеки экземпляр газеты «Фёлькишер беобахтер» — «Боевого органа национал-социалистского движения Великой Германии» — от 12 июля 1942 года. И вот я читаю сообщения, наглый и клеветнический тон которых мною уже почти забыт... Лишь теперь стало ясным, каковы результаты провалившегося зимнего наступления большевиков и успешного немецкого контрнаступления в Крыму и в районе Харькова, сколь разительно отличается обдуманное и планомерное ведение восточной войны немецким командованием от бессмысленной траты людских ресурсов большевистским руководством».

Боже правый, да кто же втянул Европу в войну? Кто напал



Берлин. 1945 г.

на Советский Союз? Кто беспощадно требовал, «невзирая на потери», любой ценой завоевать Советский Союз? Ложь о «бессмысленной трате людских ресурсов большевистским руководством» была сфабрикована немецкими сверхчеловеками, которым не мог не быть известен приказ маршала Тимошенко своим частям от 10 июля 1942 года: «Следует выполнить две задачи: нанести противнику возможно больший урон в технике — в первую, и в живой силе — во вторую очередь, и проводить операции таким образом, чтобы избегать окружения. Это важнее, чем защита каждой пяди земли, если с этим связаны большие потери. При всех обстоятельствах фронт должен оставаться выровненным, и должна обеспечиваться связь с соседними частями. Войсковые командиры не должны, руководствуясь соображениями престижа, защищать позиции без учета собственных потерь. Следует в гибкой защите отходить, если этого нельзя избежать».

А что отмечено в моей записной книжке? На 12 июля 1942 года назначена встреча с друзьями. «Друзья» — это единомышленники, антифашисты, которые организовали группу сопротивления «Европейский союз». Спустя год я был схвачен нацистами...

Вторая встреча была уже с самим Симоновым. Произошла она, если не ошибаюсь, в 1961 году. На Франкфуртской книжной ярмарке редактор нашего издательства сказал мне, что у нашего стенда меня спрашивал какой-то американец и что он подойдет позже еще раз. Спустя час этот «американец» снова появился и представился: Константин Симонов. Он хотел бы познакомиться с издателем, который приобрел права на выпуск в Западной Германии его романа «Живые и мертвые».

Ясность, простота, рассудительность — вот мое первое о нем впечатление. И никакой фальши. Да, он мог бы быть и американцем. Эта мысль мне, кстати, еще раз пришла в голову, когда спустя два или три года мы снова встретились в Мюнхене. Мы вчетвером, с женами, обедали в Вальтершпиле в отеле «Четыре времени года». Разговор, который завязался между нашими женами, отнюдь не был «женским», и Симонов через несколько минут отбросил свою сдержанность. Он высказывался откровенно и свободно.

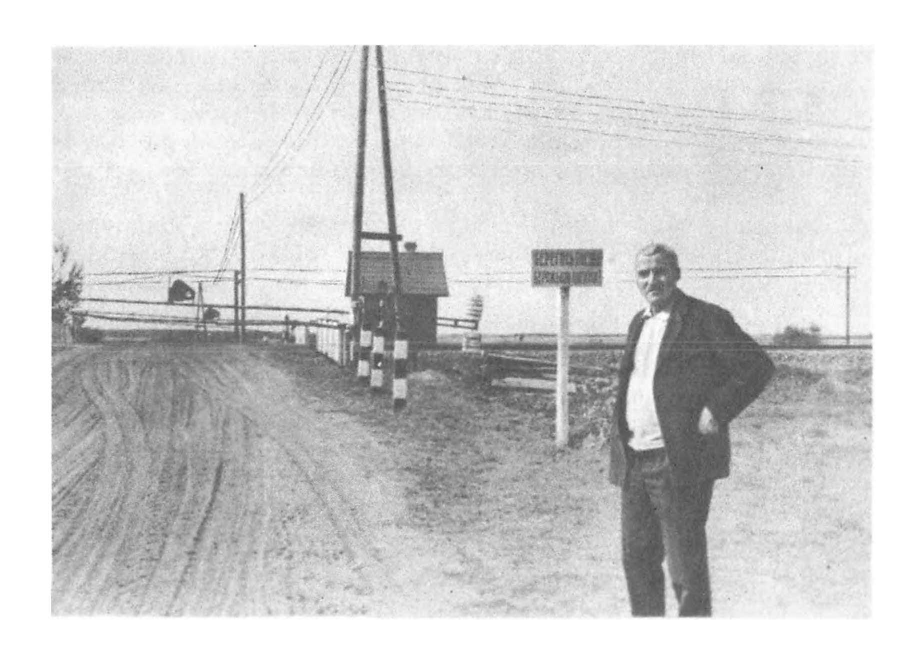
Конечно, глупо с моей стороны было думать, что так держаться могут только американцы. Естественность, широту, умение вести себя мы с женой отметили еще у Ильи Эренбурга, издание мемуаров которого «Люди, годы, жизнь» привело к тому, что правоэкстремистские группировки призвали к бойкоту нашего издательства. Симонов знал об этой истории, и мы подробно обсуждали ее. Элегантный Илья Эренбург,

который выглядел как артист, и производящий впечатление очень делового человека Константин Симонов, которого можно было принять за математика или инженера, — у них было много общего. Оба были корреспондентами, летописцами своего времени, чьи свидетельства вырастали в прекрасные книги.

«Живые и мертвые», — писал Вальтер Иобст Зидлер в «Тагесшпигеле», — дают яркую картину той решающей фазы войны, когда судьба Советского Союза была столь драматичной».

Эта рецензия, опубликованная в западноберлинской газете, говорит о том, что и в Западной Германии у многих открылись глаза на правду, — только, к сожалению, не у всех.

У каждого издателя есть книги, которые ему особенно дороги. К книгам, которые особенно дороги м н е, относятся книги Константина Симонова. Я знаю, что изданием его книг мне не искупить вины за гибель более двадцати миллионов советских людей.



На месте боя под Могилевом. 1971 г.

Сергей БАРУЗДИН

«ОЧЕВИДНО, НАМ С ВАМИ НРАВЯТСЯ ПОХОЖИЕ ЛЮДИ...»

В многообразном творчестве К. М. Симонова книга «Разные дни войны» занимает, пожалуй, особое место. Ни одна его книга не писалась так долго. Основа ее — фронтовые дневниковые записи, сделанные в годы войны. После войны, работая над эпопеей «Живые и мертвые», Константин Симонов не раз обращался к этим записям и, как говорил сам, приводил их в порядок. Это была не просто систематизация записей, а и комментирование их, поиски через архивы людей, оставшихся в живых, и их родственников. В 1965 году отдельные главы дневников были опубликованы в журнале «Новое время» и затем вышли в издательстве «Советская Россия» небольшой книжкой («Каждый день — длинный»). И еще часть записей была опубликована в журнале «Юность» в 1970 году и вышла книгой «Записки молодого человека» (издательство «Молодая гвардия»). Иначе говоря, у военных дневников К. М. Симонова — и в работе над ними, и в публикации их, — прежде чем они были напечатаны целиком, была длинная и сложная предыстория.

В начале 1972 года я узнал, что Константин Михайлович

продолжает работу над дневниковыми записями, и написал ему небольшое письмецо. От него в редакцию «Дружбы народов» пришел ответ:

«Дорогой Сергей Алексеевич!

Для того, чтобы составить себе представление о том, как в принципе может выглядеть десяти-двенадцатилистная книга записок 1945 года, посылаю Вам в свое время опубликованные в печати отрывки из нее.

Гляньте — чтобы иметь представление, подходит ли Вам для журнала в принципе работа такого рода.

Жму Вашу руку,

Ваш

Константин Симонов

5.V.72».

Прочитав, я ответил ему:

«Дорогой Константин Михайлович!

Только что закончил читать Вашу рукопись — Дневники 1945 г. По-моему, это очень интересно! Обязательно будем давать их, как договорились, не позже чем с № 2 «Д. Н.»...

...Теперь о названии. Мне думается, что называть ее «Последняя весна» после «Последнего лета» все же не стоит. Может быть, «Весна сорок пятого» или что-то в этом духе? Впрочем, решайте сами»[1].

Так началась наша работа над «Разными днями войны» в «Дружбе народов».

Сначала мы прочитали записки 1945 года. Позже шли годы 1942, 1943, 1944-й. И лишь потом записки 1941 года.

Ничуть не преуменьшая значения военной прозы К. М. Симонова, действительно думаю, что «Разные дни войны» — событие особое. И в литературе нашей, и в нашей истории — в понимании и осмыслении ее. Осенью 1973 года редакция получила дневники 1942, 1943, 1944-го годов под названием «Разные дни войны», которое впоследствии стало общим названием всей книги дневников.

Я писал тогда Симонову:

«Дорогой Константин Михайлович!

Прежде всего — огромное спасибо за «Разные дни войны». Только что вторым в редакции (первым был Б. Б. Холопов) прочитал рукопись, прочитал не отрываясь (две ночи плюс день), и сразу же хочу сказать: мы ее не просто берем, а с ходу будем вести по зеленой улице в трех очередных номерах. Видимо, это № 4, 5, 6, а может быть, и № 3, 4, 5. Надеюсь, это Вас устроит. О мелочах и всяких формальностях

---

[1] Напечатана под названием «Незадолго до тишины» в «Дружбе народов», 1973, № 1, 2.

даже не хочется сейчас говорить (потом, при сдаче в набор), поскольку есть главное: эти записки безмерно интересны, читаются взахлеб, и, казалось бы, что же другого ждать от К. Симонова? — но они, право, сильнее, крепче и талантливее написаны, чем «Записки молодого человека», которые я очень люблю, чем «Незадолго до тишины», которые плюс к тому мы печатали в «Д. Н.». Спасибо и еще раз спасибо».

Весной 1974 года он уже работал над дневниками 1941 года.

«Над 41 годом — сижу, — будет называться «Июнь — декабрь», — вроде начинает складываться. Стучу по дереву и плюю через левое плечо!» — приписал Константин Михайлович к поздравлению с Днем Победы мне и «симпатичным комбатантам из милого моей душе журнала «Дружба народов», посланному из Кисловодска 3 мая 1974 года. И вскоре, читая главы новой рукописи, я как-то особенно остро ощутил масштабы того, что мы в течение двух лет печатали в «Дружбе народов». И я поспешил поделиться своими размышлениями с автором:

«...Вы знаете мое отношение к трилогии «Живые и мертвые»... Не боюсь обидеть Вас, сказав, что книга, рождающаяся у Вас сейчас из дневников от 1941 до 1945-го, с нынешним ее осмыслением, будет важной, может быть, даже более значимой для Вас в беллетристике и более значимой для литературы и для истории войны, чем все написанное прежде. Это, поверьте, не слова редактора, который печатает Симонова, а слова читателя, прошедшего войну...»[1]

Право, к многотомной, но все же академической «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945», к мемуарам и воспоминаниям выдающихся наших полководцев и военачальников честная книга К. М. Симонова не просто необходимое дополнение — она неотделимая часть всего написанного о войне.

Она — сплав мемуаров и художественной прозы, ибо содержит десятки точно и зримо выписанных портретов участников войны, от генералов до простых солдат, множество наблюдений и писательских раздумий над судьбами фронтовиков. Наконец, важно и то, что записи военных лет комментируются в ней автором со всеми подробностями нынешнего взгляда его на давние события, создавая качественно новый сплав исторического осмысления Отечественной войны.

«Разные дни войны» — книга зрелого историка и талантливого художника, и в этом неповторимое своеобычие ее.

---

[1] «Июнь — декабрь» напечатан в журнале «Дружба народов», 1974, № 11, 12; 1975, № 1, под названием «Разные дни войны».

По этой книге у меня сохранилась огромная переписка с Константином Михайловичем. Это подробная и скрупулезно точная переписка по рукописи, которая публиковалась «Дружбой народов», как это уже очевидно, в обратном порядке: хронологически начиная от 1945-го через 1942—1943—1944 годы, к 1941 году. Так сложно создавалась и публиковалась книга.

Приведу из этой переписки еще одно письмо, конечно частично:

«Многоуважаемый Сергей Алексеевич,
я познакомился с замечаниями по моей рукописи «Разные дни войны», присланными в редакцию «Дружбы народов» военными товарищами.

Прежде всего, хочу сказать Вам, как редактору журнала, что мне доставила искреннюю радость та общая положительная оценка моего дневника писателя, которую дали ему прочитавшие его военные.

Во-вторых, хочу сказать Вам, что я с величайшим вниманием отнесся к тем замечаниям и пожеланиям, которые были высказаны товарищами из военно-мемуарной группы в их письме, а также сделаны в тексте рукописи по ходу ее чтения.

Во всех тех случаях, когда замечания и пожелания рецензентов казались мне справедливыми или частично справедливыми, я внес соответствующие исправления.

В тех же случаях, когда я остался при своем первоначальном мнении и считал, что некоторые из замечаний и пожеланий мне в своем дневнике писателя принимать не следует, я считаю необходимым мотивировать Вам, как редактору журнала, почему в таких случаях я считаю поправку рукописи ненужной...»

Заканчивалось письмо так:

«Подводя итог, хочу повторить, что я с максимальным вниманием отнесся к замечаниям и пожеланиям моих рецензентов и в большинстве случаев, в том или ином объеме, внес соответствующие исправления, оговорив в данном письме те, сравнительно немногочисленные пункты, по которым я не мог согласиться с замечаниями и пожеланиями.

Хотелось бы пораньше познакомиться с соответствующими замечаниями и пожеланиями по второй и третьей части моего Дневника писателя, чтобы иметь побольше времени и на размышления и на поправки и уточнения, если в них возникнет необходимость.

Очень бы просил редакцию журнала в Вашем лице посодействовать этому.

Уважающий Вас

Константин Симонов

24.III.74».

В работе над «Разными днями войны» Константин Михайлович был обязателен, точен, если хотите, вежлив и одновременно неумолим. Там, где речь шла о главном. Для него, для страны, для Отечественной истории...

И вообще, признаюсь, я не знаю такого другого литератора.

Организованность. Обязательность. Чуткость и внимательность к другим. Будь то Д. Ортенберг с его мемуарами или никому не известный художник В. Кондратьев с повестью «Сашка». Будь то генерал-лейтенант в отставке Л. Минюк или кавалер Славы трех степеней И. Прядкин. Будь то студия кинохроники или «Дружба народов» («Трудно даже сказать, — писал Константин Михайлович, — как многое меня связывает с Вами и Вашим журналом в эти последние годы»). Будь то судьба «странного» очеркиста, к которому он пишет предисловие, или перевод стихотворения узбекского поэта...

За публикацию «Разных дней войны» К. М. Симонов получил «рабочую премию» Нурека — нашей подшефной стройки. Он не смог поехать в Нурек вместе с нами, написал нурекчанам доброе письмо, а потом мы попросили Константина Михайловича сказать несколько слов в «Дружбе народов» по поводу нашего шефства.

Конечно, Симонов был занят. Но все же точно сказал, когда он это сделает. И в журнале появилась публикация: «Самый важный эпитет».

Впрочем, все это, конечно, Симонов поздний.

А Симонов вчера?

Для меня и для людей моего поколения?

Не знаю, как другие, но если я запомнил на всю жизнь строфы и строки одного автора, то он навсегда остается для меня настоящим поэтом.

...Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке,
И в краткий миг припомнить разом надо
Все, что у нас осталось вдалеке.

Ты вспомнишь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь родину — такую,
Какой ее ты в детстве увидал.

Клочок земли, припавший к трем березам,
Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком...

Такие строки не забываются, пока ты жив.

Как он работал, понять невозможно, но как он при этом оставался добрым, внимательным, чутким — понять еще труднее!

Обещал — сделал. Даже подчас, когда это не так уж обязательно: какое-то очередное заседание, или вечер в Центральном Доме литераторов, или проходное заседание секретариата Союза писателей.

Вот его письмо от 16 марта 1964 года:

«Дорогой Сергей Алексеевич!

Спасибо за приглашение принять участие в пленуме.

Большая часть апреля у меня предвидится в дальних разъездах, но если выйдет так, что я как раз в это время буду в Москве, то я приеду на пленум. Выступать буду навряд ли, а послушать приду.

С товарищеским приветом

Ваш *Константин Симонов.*

P. S. Между прочим, Вы в своем письме зря кооптировали меня в состав правления. Насколько мне не изменяет память, я в нем не состою, и если приду на пленум, то просто как вольнослушатель.

К. С.».

Он не просто ездил по градам и весям, а привозил конкретное, деловое, важное для нашей литературы.

Он открыл немало новых литературных имен. Приведу пример, мне близкий.

Прочитав когда-то первый вариант романа В. Ажаева «Далеко от Москвы», Симонов многие месяцы работал с автором, пока роман не стал таким, каким мы его знаем и каким он прочно вошел в нашу литературу.

К Константину Михайловичу попала в руки рукопись талантливого, тогда никому не известного прозаика Вячеслава Кондратьева. Он не только посоветовал Кондратьеву, как доработать рукопись, — он горячо рекомендовал ее нам. Довольный и радостный, он принес в «Дружбу народов» повесть Кондратьева «Сашка». Она появилась во втором номере журнала за 1979 год с предисловием Симонова и сразу же вызвала живейший интерес у читателей и критики.

28 февраля того же года Константин Михайлович прислал письмо:

«С. А. Баруздину.

Мой дорогой друг и брат по хворобам! Опять мы с Вами болеем в разных местах. Надо, наверное, когда-нибудь и объединиться, а?

Спасибо за «Сашку» — Вам! Другой бы не напечатал, забоялся. А дело — справедливое и на пользу нашей советской власти!

Выздоравливайте, пожалуйста!

Ваш

К. Симонов».

Константин Михайлович всегда помогал «Дружбе народов», а с января 1979 года он стал членом редколлегии журнала.

Как он относился к этой своей обязанности?

Вот отрывок из его письма от 9 февраля 1979 года:

«...несколько слов в качестве неофита в редколлегии «Дружбы народов». В чем я вижу возможность приносить пользу? Во-первых, рекомендовать то, что мне покажется интересным для журнала. Буду, естественно, иногда ошибаться в этом и, таким образом, вместо пользы приносить вред, но тут уж ничего не поделаешь, так это бывает со всеми нами.

Во-вторых, готов от времени до времени заранее читать в рабочем порядке вещи, относительно которых в редакции нет сомнений, но могут возникнуть впоследствии, и надо посоветоваться.

В-третьих, готов — тоже от времени до времени — читать вещи, которые вызывают спор в самой редакции и Вам, быть может, будет интересно узнать мое мнение. Это относится к вещам самого разного жанра, включая статьи и рецензии, но лучше бы без стихов: от них я отстал и что-то чувствую себя неуверенно в оценках.

Ну, и наконец, в-четвертых, я готов — и деликатно, и, если понадобится, и неделикатно защищать на страницах журнала от рецензентов то, что мы напечатаем на благо нашему обществу и литературе, а рецензенты сочтут, что оное во вред, и придется с ними не согласиться...»

И тут очередная рекомендация.

«...недавно, — пишет Константин Михайлович, — я прочитал рукопись скончавшегося два года назад генерал-лейтенанта в отставке Леонида Федоровича Минюка под названием «О том, что память сохранила». В трудные для Жукова годы у Минюка судьба оказалась еще более нелегкая; в годы войны — между 42-м и 44-м — он был старшим генерал-адъютантом у Жукова, как заместителя Верховного Главнокомандующего; а в 35-м — 37-м году был у Жукова — тогда комбрига — начальником штаба 4-й Донской кавалерийской дивизии. Жуков — комбриг, Минюк — майор.

В этих воспоминаниях — вообще интересных и написанных собственноюрукою, что придает им немалую ценность, хотя, может быть, и требует минимальной стилистической

правки — не переписки, а именно тактичной правки, — много любопытного. Они доведены подряд до начала Великой Отечественной войны, дальше только отрывки, — но это, в общем, история строительства советской армии плюс гражданская война, предшествовавшая этому, — и сын плотника из кубанской станицы, доброволец Красной Армии, солдат, младший командир, а впоследствии — штабной работник и генерал-лейтенант — написал очень колоритно об этом периоде между восемнадцатым и сорок первым годами.

Но среди всего этого интересного материала, который я как книгу хочу рекомендовать издательству ДОСААФ, — еще не уверен, что именно ему, но, видимо, ему, во всяком случае, отзыв я уже написал, — есть одна особо интересная глава. Это глава о совместной работе с Жуковым в 4-й Донской кавалерийской дивизии, причем написано это очень сжато, плотно, по делу, и хотя этот период известен по воспоминаниям самого Жукова, но — каким выглядел Жуков в глазах своего начальника штаба, в глазах своих подчиненных, вплоть до красноармейцев — прочесть очень интересно, тем более что Минюк не стоит в положении коленопреклоненного, а пишет с огромным уважением к Жукову, с верой в его будущее, с пониманием того, что личность он сильная и крупная, — но без пророчеств в тексте, без предвидений всей последующей военной судьбы Жукова. Это делает эту главу очень, на мой взгляд, достоверной и интересной для публикации. Она небольшая, в ней всего лист, двадцать пять страниц. Думаю, что такая вещь могла бы найти место на страницах «Дружбы народов», — может быть, с небольшой врезкой, рассказывающей об авторе, которую мог бы сделать или кто-то из военных, или Вы, или редакция — безымянно. Я себя в данном случае в авторы врезки не предлагаю, поскольку это было бы неудобно после моей предыдущей публикации о Жукове...»[1]

И еще совет Константина Михайловича — обратить внимание на творчество Георгия Караваева — человека трудной судьбы, но очень способного.

Признаться, долгое время я думал, что Константин Михайлович знает меня по работе в Союзе писателей и журнале, а книг моих не читал. И вот как-то он встречает меня в Центральном Доме литераторов и говорит:

— Слышал, что у вас будет выходить в Гослите двухтомник. А кто пишет к нему предисловие?

---

[1] В «Дружбе народов» были опубликованы воспоминания К. М. Симонова о встречах с Г. К. Жуковым. «История одного интервью», «Дружба народов», 1978, № 5. Записки Л. Ф. Минюка «Несколько страниц из жизни Г. К. Жукова» были опубликованы в «Дружбе народов», 1980, № 2.

— Не знаю, — признался я, ибо издание двухтомника предполагалось не скоро, через четыре года.

— Я бы написал с удовольствием, если вы не возражаете. Подскажите издателям.

Двухтомник с предисловием К. Симонова «Точка отсчета» вышел в 1977 году. И надо сказать, что, по-моему, «Точка отсчета» далеко выходит за рамки предисловия. В ней масса интересных мыслей о военной теме в литературе, о литературе и НТР, о жизни.

Мне хочется вспомнить еще одно письмо Константина Михайловича, в котором содержатся, по-моему, очень важные мысли о стихах. Кстати, оно в какой-то мере объясняет и появление последних стихов самого Симонова.

«Дорогой Сергей Алексеевич.

Читая Вашу книгу стихов, вернее, первую ее часть, думал о собственной жизни, собственных отношениях, собственных, растянувшихся на долгие годы, воспоминаниях. В общем-то, наверное, главное назначение стихов и есть вот это — то, что человек, читая чужое, думает о собственном.

Бывают иногда стихи, которые что-то мешают рассуждать о них как о стихах — и больше всего тою болью, за которой жизнь и ее боль. Я читал Ваши стихи с глубоким уважением к силе их искренности и с глубокой болью за двух хороших настоящих людей, про которых они написаны, и которым так трудно, и которым есть что вспомнить в жизни, но в то же время сама необходимость вспомнить — звучит трагично.

Думал и о себе, и о том, что успеваю и чего не успеваю, откладываю сказать самому близкому человеку. Когда люди откладывают, не успевают сказать друг другу самого нужного, где-то рядом чуть слышно или совсем неслышно прячется трагедия. Драма, во всяком случае.

Простите за многословие.

«Просто Саша» мне пришлась очень по душе, — очевидно, нам с Вами нравятся похожие люди, в данном случае — женщины. И еще мне из книжки, кроме Саши, понравился больше всего другой рассказ про мальчика Караваева.

Крепко жму Вашу руку

12.XII.73 г.». Ваш *Константин Симонов*

Как-то (кажется, это было в 1974 году) я прочитал Константину Михайловичу одно из последних своих стихотворений о войне.

Стихотворение такое:

Не было
И горше нет войны,
Той, что завершилась
В сорок пятом.
Слышишь ты ее?

И мне слышны,
Тридцать лет слышны
Ее раскаты.

И сегодня,
В памяти храня,
Все, что было
Так неповторимо,
Проверяешь
Ты войной меня,
Ждешь,
Чтоб возвратился невредимым.

Константин Михайлович прослушал очень внимательно и попросил прочитать стихотворение еще раз.

— Хорошо, — наконец сказал он.

Я осмелился:

— А можно я посвящу его Вам?

— Буду польщен, — сказал Симонов.

Я был у Константина Михайловича в больнице на Мичуринском проспекте за две недели до его неожиданной кончины. Ничто тогда не предвещало беды. Конечно, Константин Михайлович был нездоров. Но он вовсю работал и был полон замыслов на многие годы вперед. Писалась «Книга воспоминаний». Главы из нее — о К. Федине, Б. Горбатове, М. Луконине — мы опубликовали в «Дружбе народов» в № 1 за 1979 год. Симонов приводил в порядок свою переписку с матерью и с нежностью рассказывал мне о ней: какой она была сильной, интересной личностью.

— Жаль, если эта переписка пропадет. Это прекрасная книга! — говорил Константин Михайлович.

Уже после смерти К. М. Симонова мы напечатали цикл его неопубликованных стихов («Дружба народов», № 2 за 1980 год), может быть, даже совершенно непохожих на знакомые симоновские, а точнее — открывающие его с совершенно незнакомой нам стороны. В своем предисловии к публикации Л. А. Жадова писала, что они «возникали как бы нечаянно...», «...в свободные, самому себе предоставленные часы, дни, месяцы...».

Не хватает меня во времени,
Не хватает меня в пространстве,
Не могу я вынести бремени
Этих бдений и этих странствий.

Или:

Был перепахан за эту зиму я,
Как неудавшиеся
озимые.

И тут же рядом с грустными стихами строки, полные иронии, но тоже не без грусти:

Какой-то врач, а может быть,
и знахарь,
По современным
правилам
игры
Сперва нам запретил
белки
и сахар,
Потом, вдогонку,
запретил
жиры!
Диетою
лишенные
свободы,
Едва его
успели
упросить.
Оставить нам
хоть спирт
и углеводы,
Чтоб с горя —
выпить,
С горя —
закусить!

Вот еще одно:

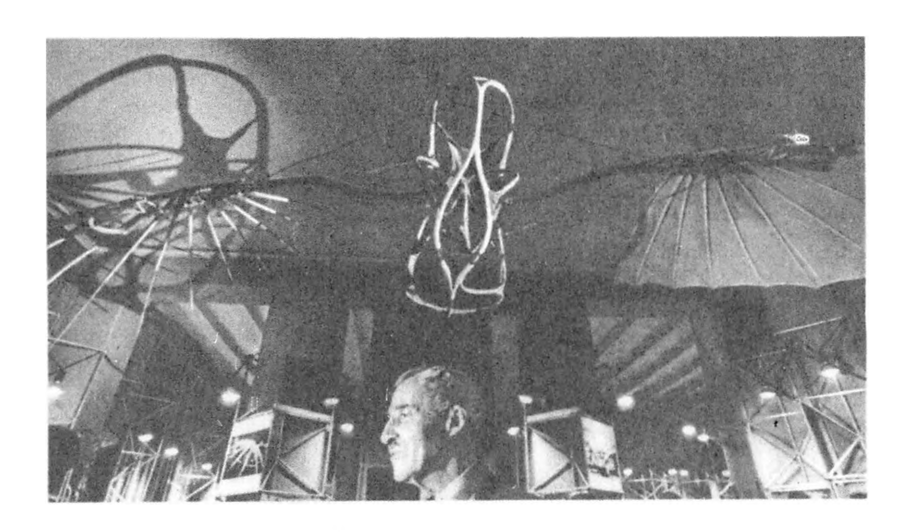
Кабы дубы
Шли на гробы,
А не на лбы!

В апреле 1980 года я был в Бомбее и там познакомился с удивительным человеком и поэтом Аванти Даве. Мы разговорились, и оказалось, что Даве давно и с увлечением переводит стихи К. Симонова на язык махаратхи...

Когда-то Константин Михайлович написал:

«Чувствовать себя нужным — самое главное счастье в жизни человека, чувствовать себя ненужным — самое главное несчастье в жизни человека».

Просто и очень точно сказано.



Центральный дом литераторов 1977 г. Выставка В. Татлина

Борис ФИЛИППОВ

НАШ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

В дневнике К. М. Симонова есть запись от 14 марта 1945 года о нашей встрече в Силезии, в городе, названном именем немецкого фельдмаршала Гинденбурга, ярого монархиста, избранного по иронии судьбы президентом Германской республики в 1925 году.

Зная о встречах Симонова со многими военачальниками, я не удержался и спросил его:

— Константин Михайлович, вы общаетесь с высоким военным начальством. Когда же все-таки кончится война?

Он улыбнулся в ответ:

— Уже то, что мы беседуем с вами в Гинденбурге, говорит о том, что ждать теперь недолго. Но ваш вопрос напомнил мне ходящий по фронту анекдот о водителе машины маршала Жукова: приятели шофера — фамилия его Бучин — пристали к нему, чтобы он выяснил у своего высокого начальства тот же вопрос, который вы задали мне. Бучин долго не решался спросить, но как-то, когда маршал сел в машину, водитель набрался смелости... но не успел даже открыть рта, как маршал сам обратился к нему: «Ну, Бучин, когда же война кончится?» Я знаю, — добавил Симонов, — гораздо меньше, чем Жуков, но думаю, что даже он не сможет сегодня уточнить даты окончательного разгрома фашизма. Но она близка!

У меня много вопросов к Симонову, но моего собеседника сейчас больше интересуют московские новости, театральная жизнь столицы. И он бомбит меня вопросами: над чем работает Николай Охлопков; правда ли, что он повздорил со своим «штатным» драматургом — Николаем Погодиным? И как поживают друзья Симонова из Театра Ленинского комсомола?

Глядя на мое сравнительно новое обмундирование, свидетельствующее о том, что я не был участником жарких боев, Константин Михайлович хитро щурит глаза и не без иронии спрашивает, чем объяснить мое пребывание на Первом Украинском фронте. Я поясняю, что с 1 марта вхожу в группу генерала Сабурова.

— Какого? Известного партизана? — удивляется Симонов.

— Нет, заместителя председателя Госплана. Возглавляю бригаду искусствоведов по спасению художественных ценностей. Вот взгляните — скрипка с клеймом начала XVIII века и автографом знаменитого Страдивари.

И я продемонстрировал с гордостью свою находку на складе нашей военной комендатуры в Гинденбурге. Константин Михайлович весьма уважительно рассматривал скрипку и поздравил меня с успехом. Каков же был мой конфуз, когда к концу марта в ряде комендатур наша бригада обнаружила с десяток подобных же скрипок с аналогичными клеймами, и удалось выяснить, что эти грубые подделки «под старину» производили какие-то ловкие итальянские аферисты, пользуясь доверчивостью наивных немецких «знатоков» музыки. А «музыкальный специалист», входивший в состав нашей группы, разбирался только в духовых инструментах, так как по профессии он был трубачом.

Много лет спустя, в Москве, в Центральном Доме литераторов, Константин Михайлович вручил мне драгоценный дар — книгу своих стихов и поэм, созданных в 1936—1953 гг. На титульном листе были написаны добрые слова автора: «С дружеским и фронтовым приветом Ваш К. Симонов». А в скобках добавлено: «см. стр. 175» — ссылка на стихи «Встреча на чужбине»; они — эти стихи — были наиболее близки по духу к той памятной встрече на немецкой земле, «незадолго до тишины».

Вскоре после войны произошли перемены в моей жизни: я был назначен директором Московского театра сатиры.

— Написали бы вы комедию для нашего театра, — обратился я к Константину Михайловичу.

— Не берусь... это не мой жанр. Я думал, что и не ваш, ибо переключиться от героики и романтики Охлопкова на сатиру Горчакова — далеко не простой шаг!

— Вы правы, мой жанр — это мой любимый Центральный

Дом работников искусств. С актерами и режиссурой не легко общаться, будучи их администратором! И все же я люблю эту среду и имею немало друзей — театралов, художников, музыкантов.

Отвечая так, я, конечно, не предполагал, что буду вновь много лет работать в ЦДРИ, а позднее — в Центральном Доме литераторов, в Правлении которого Симонов был председателем пятнадцать лет — до конца своей жизни. И уж, разумеется, не мог я предполагать, что судьба сведет меня с ним в моем новом качестве — директора писательского клуба.

Перед моими глазами проходит вся пятнадцатилетняя наша совместная работа.

В области литературы он мог любить или не любить некоторых своих коллег по перу, но не признавал групповщины и дал нам всем понять, что трибуна Дома литераторов открыта для всех писателей, если только их творчество не противоречит идейным задачам советской художественной литературы. Он внушал нам, что нельзя требовать от всех членов Союза писателей только гениальных произведений, потому что не хватило бы площадей ставить памятники.

И в то же время Симонов не терпел хамства, бахвальства, самовлюбленности и эгоизма некоторых своих собратьев по перу, что, к сожалению, отражалось порой на их поведении в клубе. Он не выносил пьяниц и разбушевавшихся скандалистов, заявляющих, что «это мой клуб, что хочу, то и делаю». Он предлагал «выносить» из клуба нарушителей порядка, невзирая на лица, и привлекать их к суду общественности.

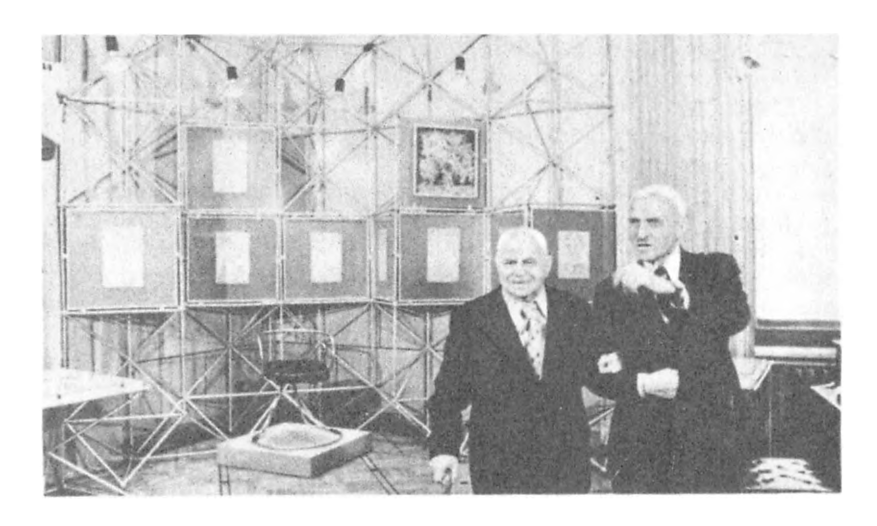
Были у Симонова и свои привязанности. Как он чтил творчество Маяковского и оберегал память о нем, защищая от неуклюжих попыток вторжения в интимную жизнь поэта! И как любил Александра Твардовского, как много сделал для сохранения памяти о нем! И с какою нежностью говорил о Павле Антокольском — этом удивительном поэте и человеке, сохранившем до конца своей жизни черты чисто детской непосредственности, являющемся воплощением честности и порядочности...

Мы предложили к юбилейной дате — 80-летию Маяковского — провести в Доме литераторов конкурс артистов-чтецов, исполнителей произведений Маяковского, но Симонов внес другое предложение, которое и было реализовано осенью 1973 года.

— Конкурс профессиональных актеров, — сказал Симонов, — это дело не Союза писателей, а Министерства культуры. Давайте лучше предложим отделу народного образования и горкому комсомола, совместно с Домом литераторов, прове-

сти конкурс московских школьников на эту тему. Это будет одной из действенных форм пропаганды творчества поэта в школе!

И такой конкурс состоялся. Заключительные его вечера передавались по телевидению. Сначала соревнование юных чтецов проходило в школах, потом — районные, по всей Москве, а третий тур в ЦДЛ. Мы просили Симонова возглавить жюри, но он согласился только войти в состав конкурсной комиссии, а в качестве председателя пригласить специалиста.



В Центральном доме литераторов на выставке В. Татлина. Слева В. Шкловский. 1977 г.

И рекомендовал народного артиста СССР Игоря Ильинского, который и провел третий тур конкурса совместно с народным артистом РСФСР Г. Сорокиным.

Я помню, как Симонов председательствовал на вечере «Поэты читают стихи В. Луговского», с каким уважением он говорил о творчестве поэта. На этом вечере выступали П. Антокольский, М. Алигер, М. Луконин, Е. Евтушенко. А когда возник вопрос — кто должен вручать цветы вдове поэта, Симонов сказал:

— Поручим это самому младшему из нас — Евгению Евтушенко!

Были у Симонова любимые актеры театра и кино, ценимые им не только за их талант и мастерство, но и за чисто человеческие качества. Я помню, с каким уважением он говорил о представителях старой гвардии театра — С. Бирман, С. Гиацинтовой, И. Ильинском, Р. Плятте, и мастерах среднего поколения — Кирилле Лаврове и Анатолии Папанове.

Редкостный вечер состоялся в нашем писательском клубе: он был посвящен творчеству двух народных артистов СССР — Юрию и Кириллу Лавровым.

Юрий Лавров, с которым я дружил с начала 20-х годов, писал мне:

«Вечер, который вы устроили мне и моему сыну в вашем доме писателей, навсегда останется в нашей памяти как одно из лучших воспоминаний нашей жизни, и то, что его украсил своим участием Константин Михайлович Симонов, придало ему особое значение, заставив меня лично поверить в то, что жизнь прожита не зря. А у Кирилла она еще впереди, хотя он уже успел обогнать отца».

Вникая во все стороны клубной жизни, Симонов особенное внимание уделял работе нашей библиотеки и библиографического кабинета. Нашего председателя волновала разбросанность книжного фонда по разным подвальным помещениям, отсутствие современного оборудования и нормальных условий для работников. Он выхлопотал для библиотеки особое здание, почти напротив ЦДЛ, и поторапливал нас с капитальным ремонтом и приспособлением его для нужд библиотеки.

Он постоянно интересовался выставками изобразительного искусства.

Его стараниями были впервые показаны в Москве, в залах ЦДЛ, выставки работ Пиросмани, Петрова-Водкина, Татлина, Хлебниковой — сестры известного поэта.

Нашлось немало противников, обвинявших покойного художника Татлина в семи смертных грехах. Чего только ему не приписывали, вплоть до того, что скончался он якобы в эмиграции. А был он тружеником и бессребреником, человеком не от мира сего и умер в Москве в 1953 году. Благодаря настойчивости и принципиальности Константина Михайловича выставка его состоялась.

В 1967 году мы затеяли в ЦДЛ выставку портретов русских писателей в живописи и графике XVII—XX вв. В свое время некоторые члены Правления ЦДЛ завалили это предложение, ссылаясь на то, что это «нескромно» (?). Но нам все же удалось идею реализовать, с привлечением фондов Третьяковской галереи, Русского музея, Исторического и Литературного музеев и ЦГАЛИ и частных собраний. Получилась уникальная выставка. XIX век был представлен работами Кипренского, Репина, Тропинина, Крамского. Превосходен портрет Горького работы Валентина Серова. Наши современники были показаны также в работах П. Кузнецова — молодой Сергей Городецкий; Фалька — Ксения Некрасова.

Но не обошлось и без курьезов, потребовавших вмешательства Симонова. На выставке был представлен графиче-

ский портрет поэта К. Портрет милый, человечный. Однако поэту он не нравился; он вспомнил, что его портрет в то же время писал другой художник, ныне покойный. Мы с трудом разыскали эту работу в одном из музейных запасников. Поэт был изображен напыщенно важным, с орденом на лацкане пиджака. Живописный портрет был выполнен в подчеркнуто натуралистической манере, хотя художнику была свойственна «левизна». Огромная позолоченная рама как бы усиливала его помпезность.

Когда я в осторожной форме сказал об этом поэту, он возмутился и потребовал консультации — ну, хотя бы Ореста Верейского. Верейский сказал, что «это портрет императора, выполненный парикмахером». Поэт вроде бы согласился с его мнением, но вечером, приехав в клуб, продолжал настаивать на сохранении портрета в экспозиции.

Симонов, к которому я обратился как к арбитру, посмотрел скептически на портрет и сказал:

— Доставьте человеку удовольствие. Поэт он хороший. Ну, а если он себя видит таким, пусть себе видит! Правда, здесь, на портрете, он как будто бы пририсован к ордену!

Второе недоразумение связано с именем замечательного художника Сарьяна. Литературный музей прислал на выставку графический портрет молодой Мариэтты Шагинян, и еженедельник «Литературная Россия» воспроизвел его в одном из номеров. Мариэтта Сергеевна, получив еженедельник в Ялте, где она отдыхала, списалась с Сарьяном и отправила в редакцию опровержение. Оказывается, рисунок был приобретен музеем как портрет молодой Шагинян, но кто это на самом деле — неизвестно, а Сарьян отрицал свое авторство.

— Пишите извинительное письмо Мариэтте Сергеевне! — сказал мне Константин Михайлович. — Вы знаете, мне этот случай напомнил историю с вашим покойным другом Смирновым-Сокольским. Мне рассказывали, что он не только был страстным книголюбом, но и собирателем произведений живописи; якобы ему преподнесли где-то портрет Грибоедова работы Тропинина, а он решил проверить подлинность картины у академика Игоря Грабаря. Тот внимательно осмотрел портрет и сказал: «Что это не Тропинин — ясно с первого взгляда, но почему вы решили, что здесь изображен Грибоедов?»

И я написал покаянное письмо Шагинян, а «Литературная Россия» поместила опровержение на свою публикацию, сопроводив оправдательными комментариями.

Как-то я пригласил телеграфно Константина Михайловича по случаю одного семейного торжества. Приглашение было послано мной в Сухуми, где в это время находился Симонов, и

я очень хотел выяснить — будет ли он в Москве к моему празднику. В ответ пришла телеграмма:

«Пускай поднимут дома вой,
Не испугавшись детских всхлипов,
К тебе явлюсь, мой Домовой,
Борис Михайлович Филиппов».

С легкой руки Бориса Полевого, придумавшего мне эту кличку, Константин Михайлович прочно закрепил ее за мной. А когда я попросил его оставить свой автограф на фотографии, где мы были сняты во время какой-то беседы, он вынул ручку, обвел на снимке мою голову нимбом и написал:

«С таким председателем может работать только святой!»



Марсель Марсо в гостях у К. Симонова. Москва.

Георгий ЗУБКОВ

НЕГАСНУЩАЯ ТРУБКА

...Это его трубка. Небольшая, простая по форме, с чашечкой из темно-коричневого дерева и черным мундштуком. Кончик мундштука со щербинками и почти белесый. Видно, что трубку часто курили.

В трубке сохранился пепел и даже несколько крошек табака. Будто Константин Михайлович не успел ее выбить до конца и так оставил, чтобы обратиться к собеседнику или что-то записать...

Эту трубку привезла в Париж и подарила мне Лариса Алексеевна Жадова.

Мы встречаемся в Латинском квартале, на площади Сен-Жермен-де-Пре: у самой древней церкви и в самом юном парижском квартале. Столики кафе на тротуарах теснят прохожих на мостовую. Людской поток накатывается на столики, едва не смывая их. А на площади бродячие артисты глотают огонь и ложатся на доски с гвоздями, разыгрывают пантомимы, распевают под аккордеон куплеты о крышах и мостах Парижа...

Он любил больше других эту парижскую площадь: старин-

ную и молодую, оживленную и задумчивую, веселую и грустную. Старался в каждый приезд побывать в Латинском квартале. Непременно заходил в такие же тесные, как сами улочки, книжные магазины. Почти всегда его ждали здесь редкие книги, заказанные в прошлый раз.

Мы идем на бульвар Сен-Жермен, в ночной магазин — драгстор. В драгсторе торгуют всем чем угодно: от продуктов до спортивных товаров, от книг до одежды; на полную мощность включены проигрыватели с модными пластинками; тут же — кафе, бар; на верхнем этаже — кино... Он любил ночью снова вернуть день, опять слиться с многолюдным потоком.

Симонов часто приезжал в Париж. И никогда не был в Париже просто гостем. Он жил и работал здесь, как жил и работал в Москве. Независимо от того, долго или коротко задерживался или оказывался только проездом.

Он встречался с читателями, литераторами, издателями. Правил рукописи: свои и чужие. Он и в Париже оставался не только писателем, но и литературным вожаком, задумывая выпуск новых поэтических антологий или большую поездку французских писателей по советским республикам, чтобы издать книгу о нашем многонациональном государстве. Он и в Париже кого-то постоянно открывал, представлял читателям. Так это было в последний раз в книжном магазине, где проходило обсуждение только что вышедшего во Франции сборника стихов Олжаса Сулейменова. Он подготовил многие советские выставки во французской столице. После Москвы привез в Париж выставку о Маяковском. Немало сделал для организации невиданной экспозиции «Москва — Париж», на которой было представлено более двух с половиной тысяч экспонатов и которую за пять с лишним месяцев посетило почти полмиллиона человек. Эта парижская выставка семьдесят девятого года стала одним из самых крупных событий культурного сотрудничества.

В 1977 году он был почетным гостем праздника «Юманите» — крупнейшего праздника народной Франции.

Он длительное время работал в Париже над фильмом о летчиках «Нормандия — Неман», о совместной борьбе с фашизмом, как потом в Москве долгие месяцы отдал документальной кинопопее о славе советского солдата.

Он участвовал в парижских встречах сторонников мира: сразу после войны, когда зарождалось это всемирное движение, и три десятилетия спустя, когда международная разрядка доказала свою жизненность и всю свою пользу.

Его естественно было встретить в редакции «Юманите». Он снимался в наших телевизионных фильмах о Франции, рассказывал о событиях и встречах, участником которых становился.

У Симонова во Франции много друзей. Очень много...

— Ты любил Константина Симонова, как брата. Ты говорил об этом. Скажи, почему? — спросил я у Жана Марсенака.

— Я не знал человека, который был бы ближе к людям, чем Симонов, — ответил французский поэт. — Это был такой же человек, как все другие. Он любил радости жизни, простое счастье, хорошую еду, самые обыкновенные вещи. Он излучал доброту и искренность, сразу внушал доверие. И самое главное, он сумел высказать то, что несут в себе люди. А этого и ждут от писателя. Как и все выдающиеся литераторы современности, как Неруда, который его очень любил, как Элюар, который его очень любил, как другие, Симонов отдал свою индивидуальность, свой талант, свое «я» служению общественным интересам. Он сумел, чтобы «я» стало «мы».

ЧТОБЫ «Я» СТАЛО «МЫ»...

Жан Марсенак приехал в Сен-Дени еще в пятидесятых годах. Он сразу облюбовал свой будущий дом.

...Дом большой, с гладкими серыми стенами, без каких-либо архитектурных украшений. Один из тех домов с умеренной квартирной платой, что строятся в рабочих предместьях Парижа.

Прямоугольная арка под домом. На внутренней стороне арки — портрет Поля Элюара. Его слова: «Наша улица ведет на другую улицу, в другой город, к другим людям».

Когда Марсенак увидел портрет и прочел надпись, сразу решил, что поселится здесь.

Много лет назад в этот дом, в маленькую квартиру на втором этаже, впервые пришел Константин Симонов.

— Позвонили Арагон и Эльза Триоле и сказали, что вечером приедут к нам вместе с Симоновым и его женой, — вспоминает Марсенак. — Я очень обрадовался. Я узнал Симонова уже после войны, и он сразу стал близок и дорог мне своей военной биографией, своим творчеством. Но это была наша первая встреча. Тогда Симонов почти совсем не говорил по-французски, и нам помогала вести беседу Эльза Триоле. Больше всего мы говорили о войне. Для каждого из нас, сидящих за столом, это была не только общая, но и личная тема. Я спросил у Симонова, испытывал ли он страх на фронте. Спросил потому, что сам познал этот страх. Симонов не ответил. Я неоднократно возвращался во время разговора к своему вопросу. Но Симонов каждый раз его обходил. Нет, он не боялся сказать правду. Он не хотел объяснять, что его страх отступал, подчинялся другому, более важному, более существенному и первостепенному чувству — чувству долга. Симонов был прежде всего человеком долга.

Над рабочим столом Жана Марсенака парит легкая дере-



Л. Жадова, К. Симонов, Э. Триоле, Л. Арагон. Париж. 1960 г.

вянная птица. Подарок Константина Симонова. Распластанные крылья и хвост образуют почти сплошной круг. Горделиво поднята мастерски вырезанная птичья голова с клювом.

От малейшего дуновения деревянная птица колышется, движется.

— Мне нравится, что эта птица всегда как бы в полете, — говорит Марсенак. — Эта птица напоминает мне самого Симонова. Как он умел прислушиваться к ветрам нашего времени. И постоянно напоминал нам, сколь важно при этом не сбиться с курса. Найти свою Полярную звезду. Симонов многим помог и еще очень многим поможет отыскать свою единственную звезду... Меня восхищала в Симонове способность, не пренебрегая ни одной из своих писательских обязанностей, сочетать творчество с государственными поручениями, оставаться одним из самых деятельных работников Союза писателей. Я видел это сам, когда приезжал в Москву, присутствовал на встречах и заседаниях, где председательствовал Симонов. Он совмещал принципиальность с деликатностью, умел настоять на своем, не отвергая мнения других.

У французского поэта-коммуниста Марсенака много общего с Константином Симоновым. Он не мыслит себя, своей литературной работы вне общественной миссии. Делает все возможное в условиях другого социального общества, чтобы приобщить людей труда к культуре. От открытия в Сен-Дени постоянного театра или музея до печатания листовок.

Марсенак тоже прошел войну. Поражение Франции обернулось для него немецким концлагерем. После двух неудачных попыток в третий раз из лагеря бежал. Основал в подполье патриотический журнал. Воевал в Сопротивлении.

Это он, Жан Марсенак, перевел на французский язык стихотворение Симонова «Жди меня».

— Я перевел это стихотворение с большой нежностью и глубоким уважением. Никто лучше Симонова не смог передать того, что хранил в тайниках души, о чем думал наперекор всей войне советский солдат и боец французского Сопротивления. Об этом думал я. Об этом думал сам Симонов. Как и со мной, Симонов побратался с миллионами. С теми, кто читал его стихи в окопах, с теми, кто услышал их под звездами мирного неба.

...Зал у ворот Пантэн достался Парижу в наследство от старых скотобоен. Огромное помещение под высокой крышей быстро приспособили для всяких массовых зрелищ, соорудив в центре и по бокам на легких металлических опорах ступенчатые трибуны и поставив на них многоярусными рядами несколько тысяч красных пластмассовых стульев.

Они сидят на сцене полукругом: Константин Симонов,

Роберт Рождественский, Булат Окуджава, Размик Давоян, Олжас Сулейменов, Виталий Коротич, Владимир Высоцкий, Евгений Евтушенко, Марк Сергеев.

Этот вечер советской поэзии, на который парижан привели афиши Литературного и артистического агентства по культурным обменам, вызвал немало волнений у организаторов и участников. Главное сомнение было в том: не слишком ли рискованно проводить поэтический вечер в таком гигантском зале, к тому же на окраине Парижа? Ведь парижане совершенно не приучены к публичному чтению стихов. И стихи будут читаться на русском, украинском, армянском языках только с небольшими предварительными пояснениями по-французски. Вплоть до начала вечера никто не был уверен, заполнится ли многотысячный зал, и не знал, как пройдет знакомство настолько широкой публики с советской поэзией.

Первым поднялся и подошел к микрофону Константин Симонов. Мгновение подождал и спокойно, негромко начал:

Жди меня...

Зал провалился в темноту. Из этой темноты к сцене тянется единственный луч театрального фонаря. Падает на лицо поэта. Неподвижный яркий луч еще сильнее концентрирует внимание слушателей.

Нет между залом и поэтом языкового барьера. Нет десятилетий, миновавших со дня появления стихотворения. Есть общность, рожденная едиными переживаниями и раздумьями...

Мы вспоминаем об этом небывалом вечере поэзии с прославленным артистом Марселем Марсо.

— Симонов обладал даром выражать чувства и мысли людей, их огорчения и радости, их повседневную озабоченность и готовность к подвигу, — говорит Марсель Марсо. — И он живет среди нас, будет жить с нашими детьми, внуками... Как живут, обновляясь каждую весну, деревья. Чтобы снова удивлять и радовать нас... Теперь это будет аллея Константина.

АЛЛЕЯ КОНСТАНТИНА...

Уже полдень, но иней лежит на земле, покрывает ветви деревьев. Ночь была холодной, а солнце прячется в хмурой пелене неба.

Деревья стали такими большими, так вплотную подступили к самой калитке, что я не сразу узнал и нашел дом Марсо, хотя бывал здесь много раз. Дважды проехал мимо по сельской дороге.

Рассказываю об этом Марселю, а он улыбается, радуется, хочет показать каждый новый саженец, каждый новый куст.

Сокрушается, что одна из березок засохла и ее пришлось спилить. Тянет меня под высокую ель, чтобы набрать полный карман шишек. Мы все дальше удаляемся от калитки, от дома.

Кто бы ни приехал в Бершер-сюр-Вегр, Марсо сначала тут же покажет гостю свою рощицу. Да теперь это уже не рощица, а лесок. Бер-сюр-Вегр — настоящая деревня, находится в шестидесяти километрах от Парижа, а растительности в этой местности почти никакой не было. Особенно на том участке с фермой, который приобрел Марсо. Он посадил почти три тысячи деревьев.

Березовую аллею Марсель Марсо назвал «аллеей Чехова».

А эту, где мы остановились, — «аллеей Константина». В память о Симонове.

Мы не идем дальше. Снеговая дорожка лежит первозданной между елями.

Мы молчим... Упала еловая шишка, нарушив тишину, прошелестев между веток.

— Когда Симонов приезжал сюда, — вспоминает Марсо, — эти ели были еще совсем молодыми. Стояла жара, и от нее некуда было деться. Мы устроились под старой вишней, тогда, пожалуй, единственным укрытием, и говорили о том, как важно сажать деревья. Нет, не для того, чтобы сидеть в тени, а для продолжения жизни. Для вечной жизни человека... Я вижу Симонова только живым. Я готов даже вообразить себе, как он развеивает свой прах своими собственными руками... Но представить Симонова мертвым не могу...

Среди пантомим Марселя Марсо, в галерее его прекрасных мимических портретов Бипа, есть сценка о Бипе-солдате.

Бип уходит на войну. Он наивен, романтичен, далеки от суровой реальности его представления о войне. Очень скоро солдат Бип начинает понимать, что такое война, на себе испытывает всю ее жестокость, весь ее ужас. Бип погибает. Как опавший лист, его подхватывает и кружит по сцене ветер. Но не уносит. Бип не может исчезнуть. Как не может исчезнуть солдат, отдавший жизнь во имя жизни других. Бип возрождается. Как возрождается в нашей благодарной памяти герой.

— Конечно, мой Бип-солдат — персонаж условный. Когда я создавал эту пантомиму, я не думал о конкретном литературном герое. Но так или иначе, мой Бип-солдат навеян произведениями Симонова...

Мы пришли в дом. Расположились у камина в гостиной.

Огонь в камине разгорается неохотно. Слизнул щепки, а к поленьям не хочет подбираться.. Будто поджидает кого-то, чтобы весело забегать, заиграть искрами, задышать теплом, поддакивать время от времени общему разговору своим потрескиванием.

Марсо смотрит на огонь.

— Как бы хотелось, чтобы Симонов был сейчас здесь, с

нами... Его книги для меня, для всех французов были первым контактом с Советским Союзом после войны. От него мы узнали о днях и ночах Сталинграда... Я, по-моему, уже говорил в наших беседах, но это можно повторять каждый раз, постоянно: если бы не было Сталинграда, если бы не выстояли, не победили его солдаты, нас бы не было в живых... Живые и мертвые... В этих двух понятиях, в этих двух словах — ваша великая война и ваша великая Победа.

...Роман Константина Симонова «Живые и мертвые» знаком очень многим французам. Отрывки из романа длительное время печатались в «Юманите». Это был редкий случай, чтобы литературное произведение, да еще зарубежного автора, публиковалось газетой.

— Почему «Юманите» решила печатать роман Симонова? — мой вопрос задан политическому директору газеты французских коммунистов Ролану Леруа.

— Как-то у Пикассо спросили, почему он вступил в Коммунистическую партию? Пикассо сказал, что для него это было естественным поступком. Таким же естественным, как пойти к роднику и напиться, когда хочется пить. Публикация Симонова в «Юманите» — естественное действие. Как пойти к роднику.

КАК ПОЙТИ К РОДНИКУ...

Ролан Леруа принимает меня в редакции, в своем кабинете. Встреча назначена на четыре часа. Это напряженный и интенсивный период редакционного дня. Но у Леруа свободных и спокойных минут практически не бывает. Рабочий день члена Политбюро Французской коммунистической партии, депутата Национального собрания Франции, члена президентского совета общества «Франция — СССР» и других общественных организаций до крайней степени уплотнено.

Для этого разговора Ролан Леруа находит время.

— Как состоялось мое знакомство с Симоновым?.. Это было в первый послевоенный год. Тогда, молодой секретарь департаментской организации, я проводил вместе с моим другом Андре Дюремеа, который впоследствии стал мэром города Гавра, партийную конференцию. Мы, как и другие коммунисты, только что вышли из подполья. Дюремеа вернулся из концлагеря. Он был приговорен гитлеровцами к смертной казни. Его спасла Победа. В конце конференции Андре подарил мне советскую книгу, переведенную на французский язык. Сборник фронтовых корреспонденций, в который были включены и военные репортажи Симонова. Я очень устал после конференции, но ночью стал читать книгу и не смог отложить.

Корреспонденции Симонова с фронта вошли в мою память. Они были написаны по-особому. Он не писал о том, где был он, что делал он, что испытал он. Он писал о людях, которых встретил, с которыми шел в бой, в разведку. О том, какими были эти люди, что делали они, что испытали они. Военный корреспондент Симонов не просто регистрировал события, а жил жизнью своих героев... Потом вскоре я увидел самого Симонова. В Праге, на Всемирном конгрессе сторонников мира. Я узнал в нем того же Симонова, чьи фронтовые репортажи читал ночью после партийной конференции в Гавре...

Уже в который раз звонит телефон. Звонят из Центрального Комитета партии, из редакционных отделов. Что-то нужно срочно поставить в номер, о чем-то посоветоваться, что-то решить с политическим директором газеты.

В очередной раз положив телефонную трубку, Леруа продолжает:

— Однажды я пригласил Константина Симонова к нам, в Центральный Комитет. Потом он приходил еще несколько раз. Я подумал, что его мнение о наших контактах, о нашей партийной работе с творческой интеллигенцией может быть интересно и полезно. Это была как раз сфера моей деятельности. Симонов снова удивил меня. Проникновенным вниманием и заинтересованностью нашей работой, событиями в культурной жизни Франции, проблемами, которые нам предстояло решить. Он проявил свойственную ему тактичность, не высказывая нам своего мнения, а о многом расспрашивая нас. Его суждения содержались в точных и тонких вопросах.

— Симонов часто бывал и в «Юманите»?

— Всякий раз, когда приезжал в Париж. Он обязательно навещал меня. И без официального повода, и когда совсем не было времени для визитов. Заходил, чтобы поприветствовать, пожать руку, обменяться хотя бы несколькими словами. Как поступают друзья. Мы стали с Симоновым большими друзьями, я называл его Костя... Но чаще мы беседовали долго, по-приятельски сердечно. Между нами сложились отношения откровенного доверия... Не знаю, должен ли об этом вспоминать, но это тоже была его отличительная черта: о совершенных им ошибках он говорил просто, напрямик, с горечью и мужеством. Чувствительность, искренность и сила, которые открылись мне в первых прочитанных мною фронтовых корреспонденциях Симонова, углублялись потом и дополнялись его новыми книгами и нашими встречами, раскрывая суть симоновского гуманизма.

— Какой был отклик читателей «Юманите» на публикацию романа «Живые и мертвые»?

— Самый широкий и положительный. Газета получила массу писем. А совсем недавно произошел такой случай. Вместе с одной из провинциальных делегаций я в качестве

депутата отправился в министерство культуры, чтобы добиваться субсидий. Когда мы выходили из министерского здания, ко мне неожиданно обратился привратник. «Месье директор, почему вы не печатаете новых произведений русского писателя Симонова? Таких прекрасных, как «Живые и мертвые».

За окнами быстро стемнело. Январский день короток.

...Не могу задерживать директора газеты «Юманите» — время, предусмотренное для разговора, истекло. Поднимаюсь первым. Леруа провожает меня.

— Я уже шесть лет в «Юманите». Руководить газетой с таким прошлым, с такими традициями — дело не только ответственное, но и захватывающее. Ведь Жорес основал газету еще в 1904 году. «Юманите» после нескольких месяцев своего создания объявила о солидарности с русской революцией 1905 года... Я люблю свою трудную работу, которая каждый день требует быстрых решений и непрерывных усилий. Главное в ней — не утомление, а возможность общения с множеством людей. Как и во всей моей партийной деятельности. С какими необыкновенно разными людьми я смог встречаться! Какими обогащающими оказались для меня многие знакомства! В первом ряду этих людей — Костя Симонов.

...Его трубка с чашечкой из темно-коричневого дерева и черным мундштуком — рядом со мной, у пишущей машинки.

Сколько раз Константин Михайлович набивал ее и закуривал... И сколько страниц написал, покусывая кончик мундштука, ставший белесым! Как часто видели его с этой трубкой в кругу друзей...

Люди будут читать Симонова, открывая в его «я» свое, будут связывать с его именем, подобно «аллее Константина», памятные места встреч, будут обращаться к нему, как ходят к роднику напиться.

...Она негаснущая — трубка Симонова.



1973 г.

Д. ПАВЛОВ

«...НЕ СГЛАЖИВАЯ ОСТРЫХ УГЛОВ»

Однажды К. М. Симонов позвонил мне и пригласил посмотреть на Мосфильме кинокартину «Солдатами не рождаются», еще не вышедшую на экраны. Картина была снята по его роману.

— Этот второй фильм по трилогии «Живые и мертвые» вызывает возражения, — сказал Константин Михайлович, — от меня требуют убрать некоторые кадры, хочу знать твое мнение.

Приглашению я был рад. Как раз незадолго до этого разговора второй раз прочитал «Живые и мертвые» и «Солдатами не рождаются». Эти книги, мне кажется, обладают редкой особенностью: чем дальше уходит время, тем больше они привлекают. Перечитывая, в них находишь то, что ранее, увлекшись захватывающим сюжетом повествования, прошло незамеченным.

Вечером К. М. Симонов, режиссер А. Б. Столпер и я

смотрели картину. По окончании просмотра я сказал, что из того, что я видел до сих пор о войне, — это лучшая картина. Масштабно, все кадры сурово правдивы и потому глубоко западают в душу, вырезать что-либо было бы неоправданно.

— Все это так, — проговорил А. Б. Столпер, — но фильм задержат, а люди его ждут. Может быть, убрать два эпизода? — обратился он к Симонову.

— Нет, Александр Борисович, я не согласен, — ответил Симонов, — дело не в авторском самолюбии, а в истине. Если мы будем все прихорашивать, обходить неприятные стороны, зрители, особенно бывшие фронтовики, не поверят. Они-то хорошо знают, как было. Я скорее сниму свою подпись под сценарием, но не отступлю.

И Константин Михайлович остался непреклонным. Переделанный фильм вышел без фамилии К. М. Симонова и под иным, чем роман, названием — «Возмездие».

Я познакомился с К. М. Симоновым в августовский вечер 1960 г., когда писатели пригласили меня как министра торговли на беседу.

С того вечера мое знакомство с К. М. Симоновым перешло в долгую, добрую дружбу. Мы встречались, беседовали. Симонов был преисполнен простоты и скромности. Двери его дома были всегда открыты. Лариса Алексеевна — собранная, энергичная — жила теми же интересами, что и ее муж. Общительные, гостеприимные, они притягивали к себе людей. С ними интересно было проводить время.

Чем ближе я узнавал Константина Михайловича, тем больше восхищался его душевной чистотой, убежденностью.

Работал он много, и не только как писатель, но и как общественный деятель. К нему поступали письма со всех сторон: молодых писателей, поэтов, читателей его книг, фронтовиков. Иногда Симонов звонил и мне (и не только мне) — просил принять того или иного фронтовика. «Я разобрался, — говорил он, — ему действительно нужно помочь».

В одну из встреч в 1974 году, прогуливаясь по саду на даче, мы обсуждали произведения различных писателей. Когда я упомянул имя одного хорошо известного автора, Симонов после короткой паузы сказал:

— Его произведения со всех точек зрения великолепны, но сам автор человек капризный, честолюбивый.

По тону ответа я почувствовал, что Симонов не хотел бы о нем говорить. Но когда речь зашла о Твардовском, Константин Михайлович оживился.

— Это лучший поэт нашего времени, до боли жаль, что его не стало, — говорил Симонов с каким-то особым желанием и внутренней потребностью выразить свое глубокое уважение в Твардовскому. — К тому же Александр Трифоно-

вич был на редкость честным человеком, с большим характером.

Затем речь зашла о военной литературе.

— О войне много написано, — сказал Симонов, — и надо писать дальше. Это неисчерпаемая тема. История будет благодарна летописцам, художникам, поэтам за их труд.

И тут, в ответ на эти слова, я признался, что тоже грешен, подготовил книгу, условно назвав ее «Стойкость», о войне и хлебе. Но меня смущает: будут ли поднятые в ней вопросы интересны читателям молодого поколения? Ведь в ней нет захватывающих дух баталий, а говорится о прозаических делах, о снабжении армии и борьбе за продовольственные ресурсы в ходе войны и после нее. Рукопись держу, никуда не сдаю.

— Дайте ее мне, я посмотрю и недели через три-четыре решим, что с ней делать.

Я поблагодарил Константина Михайловича и вскоре вручил ему объемистую папку.

Прошло два месяца, и я получил письмо из Кисловодска. Четким, размашистым почерком Константин Михайлович писал:

«Дорогой Дмитрий Васильевич!

К сожалению, не уложился в намеченные мною же самим сроки из-за того, что здесь после московских перегрузок, против ожидания, не сразу вошел в норму. Простите великодушно за проволочку!

Чтение Вашей рукописи укрепило меня в убеждении, что она должна вызвать широкий и серьезный читательский интерес, и чем скорее она превратится в книгу — тем лучше.

Во-первых, это для большинства — нераскрытая страница нашей общественной истории, причем страница, имеющая отношение к быту, повседневной жизни и уровню этой жизни миллионов и миллионов людей. Из этой книги ее читатели узнают не только, как выглядели в общегосударственном масштабе те или иные перемены, имевшие прямое отношение к их личной жизни, быту, уровню питания. Они узнают из книги не только, как было, но во многих случаях — и почему было так, а не иначе, какие государственные неотвратимые потребности и необходимости вынуждали обрекать людей на те или другие лишения.

И то, что это во многих случаях объяснено автором книги, и объяснено, чаще всего, просто, понятно и убедительно, — это очень важно. Думаю, что именно таких объяснений нам еще не хватает при историческом рассмотрении разных сторон нашего и более и менее давнего прошлого.

Во-вторых, для меня, как читателя книги, немаловажно и

ощущение личности ее автора и человека дела, всецело и до конца преданного этому делу.

Чувство доверия к автору — чувство одинаково важное и в художественной, и в мемуарной литературе. Книга — автору которой не доверяют читатели — есть мнимая ценность, не более того. Это именно то соображение, которое мне не раз приходилось приводить в спорах со своими, разного рода, оппонентами, просившими, а то и требовавшими стесать те или иные углы истории, смягчить что-нибудь из того, что неудобно, торчком стоит в памяти.

Приходилось отвечать: стешу это, смягчу то — не поверят и всему остальному. Нет, не смягчу и не стешу! Пишу это Вам потому, что боюсь таких советчиков и в данном случае — по этапам прохождения Вашей рукописи.

Какие у меня соображения и замечания:

Говоря о продовольствовании армии — Вы, в единственном, пожалуй, за всю книгу случае, изображаете дело слишком в розовом свете. В армейском звене, особенно в весну 42 года (но бывало и позже), бывало много крупных непорядков с продснабжением. Я мог бы привести Вам примеры из своих нынешних бесед с трижды кавалерами ордена Славы — они хорошо помнят, как это бывало — даже через тридцать лет.

Короче говоря, по-моему, где-то в общих формулировках Ваших на этот счет не хватает, как говорится, критики и самокритики, а она нужна, а то, читая это место, именно это место, иные фронтовики, особенно находившиеся в годы войны в солдатских должностях и на переднем краю, могут рассердиться на автора и в данном, именно в данном случае, поколебаться в своем доверии к нему. Я говорю об этой стороне дела, хорошо понимая, как много хорошего и многотрудного было сделано для продовольствования армии, в глобальном масштабе.

С большим интересом читал Ваши выводы, Ваше заключение. Думается, оно хорошо завершает книгу; и мне лично очень импонирует та заинтересованность в будущем, то стремление, чтобы из Вашей книги сделали ряд практических выводов — которое звучит в ее финале. И не только в финале, а добавлю, и во многих местах книги. Ее деловой, целеустремленный пафос вообще сильная ее сторона.

Вот, пожалуй, и все, дорогой Дмитрий Васильевич. От души желаю Вам успеха.

Глубоко уважающий Вас
Ваш *Константин Симонов*

Кисловодск
19.IV—74».

Столь обстоятельное письмо явилось для меня душевным и умственным фильтром. Его замечания были настолько справедливы, что мне при чтении письма стало неловко, как это я мог допустить такой промах. Конечно, я тут же поправил рукопись, написал о недостатках в снабжении такими, какими они были в действительности. Выверил все факты, «не сглаживая острых углов» и не смягчая «что-нибудь из того, что неудобно, торчком стоит в памяти».

Меня глубоко тронула обязательность Константина Михайловича. На отдыхе он все же прочел 500 страниц рукописи, и не просто прочел, а разобрал и дал добрый совет.

Время шло. Незадолго перед выходом книги «Стойкость» из печати я сообщил Константину Михайловичу, что в ближайшие дни выйдет в свет книга, первый же экземпляр вышлю ему. Вскоре получил ответ:

«Дорогой Дмитрий Васильевич!

Очень рад доброму известию о Вашей книге и буду очень благодарен за нее, когда она выйдет.

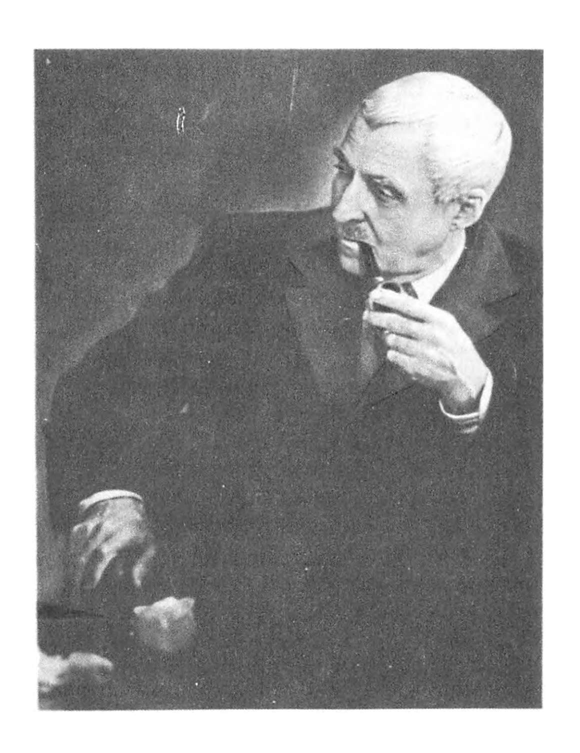
Сейчас я в больнице, видимо, скоро переберусь в санаторий, как теперь говорят, на реабилитацию.

Крепко жму Вашу руку и сердечный привет от Ларисы и Вам и Вашей супруге.

Ваш *Константин Симонов*

15.5.1979 г.».

Но судьба распорядилась по-другому, книга задержалась в печати и вышла в свет тогда, когда Константина Михайловича уже не было в живых...



1974 г.

Павел КОЗЫРЬ

В ОДЕССЕ

Я долго не решался взяться за перо, чтобы принять участие в этом почетном и печальном сборнике, посвященном памяти Константина Симонова.

Но мне придали уверенность его же, Симонова, слова — он всем желал:..

> Богатство лишь в одном — в друзьях,
> Вперед не приготовленных...

Мы с ним познакомились случайно — на одном из совещаний в Москве. Это было вскоре после того, как появился трехтомник «Живые и мертвые». Среди участников того совещания (посвященного отнюдь не вопросам литературы) много разговора было в кулуарах о новом произведении Симонова. И нам, что называется, повезло — Симонов оказался среди нас.

Как память о той встрече осталась дарственная надпись на титуле этой книги:

«Товарищу П. П. Козырю с глубоким уважением
от автора

Константин Симонов

27.III.73 г.».

Хотя это самые обычные слова и в них не видно какого-то знака особых отношений, они меня взволновали, вошли мне в память и в душу вместе с тем чувством, которое я, давний читатель книг Симонова, испытал от личного знакомства, пожатия его крепкой руки, от его скупой, но искренней и доверчивой улыбки.

Главное, что после этих первых памятных слов потом последовали еще и еще — надписи на книгах, письма, приветствия. Из них выстроилась небольшая по объему, но емкая для меня по значению летопись человеческих отношений.

Таких знакомств у Симонова, разумеется, было много. Наверно, не перечесть, скольких он одарил своим вниманием, дружеским расположением. Людей самых разных профессий! Я же хочу засвидетельствовать его глубоко заинтересованное и искреннее, душевное общение с партийными работниками.

Я ему отвечал на письма и писал первым.

Теперь только перелистываю с грустью эти дорогие моему сердцу документы...

В октябре 1975 года он писал мне:

«Мне хочется передать Вам от имени правления Союза писателей и от себя лично большую сердечную благодарность за то, как Вы радушно приняли наших иностранных гостей, приехавших к нам на встречу, посвященную теме борьбы за мир и ответственности писателей перед обществом...

Хочу сказать, что наши гости вернулись, хорошо заряженные после этой поездки, и это положительно отразилось на том, как проходит эта важная международная встреча, которая сегодня заканчивается.

...Прошу передать мою большую благодарность всем товарищам, которые отдали свое время и заботы нашим гостям.

Добавлю, что я очень сожалел, что не смог приехать в Одессу вместе с ними, как я вначале надеялся, но, к сожалению, Алексея Александровича Суркова, который должен был делать вступительный доклад, срочно послали в Англию. Доклад переложили на мои плечи, его надо было не только писать, но и коллективно предварительно обсуждать, и это лишило меня возможности приехать. А мне так хотелось

съездить, повидать еще раз милую моему сердцу гостеприимную Одессу и увидеться с Вами.

Крепко жму Вашу руку.

Уважающий Вас

Ваш *Константин Симонов.*

25.X 75 г.».

«Спасибо Вам большое за очень обрадовавшую меня телеграмму, за дружеское внимание, за доброе слово.

У меня тепло на душе, когда я вспоминаю наши встречи на одесской земле. И, если, как говорится, буду жив и здоров, надеюсь в будущее лето — на новые.

А пока сижу в Кисловодске, укрепляю слегка подкошенное юбилеем здоровье.

Моя жена шлет сердечные приветы Вам и Вашей супруге.

Крепко жму Вашу руку.

Ваш *Константин Симонов.*

5.XII 75 г.».

Вышло новое издание дневника «Разные дни войны» — и он снова шлет книгу: в ней много об Одессе. Это уже в 1977 году.

А потом письмо из больницы:

«Дорогой Павел Пантелеевич!

Спасибо Вам за письмо. Простите, что не сразу ответил, лежу в больнице, и мне не сразу переслали Ваше письмо. Чувствую себя неплохо и, очевидно, недельки через две уже выпишусь. В общем, все более или менее в порядке.

В последнее время много работал, связал в один большой роман то, что печатал раньше с подзаголовками «Из записок Лопатина», сдал его в печать и надеюсь, что в конце осени этого года роман этот выйдет в издательстве «Московский рабочий». Тогда буду рад прислать его Вам.

И Лариса Алексеевна, и я с теплотой вспоминаем Ваше доброе отношение к нам. Шлем Вам привет и просим передать наш привет Вашей супруге.

Жму Вашу руку уважающий Вас

Ваш *Константин Симонов.*

6.III 78 г.».

И — прискорбно писать — последняя дарственная надпись на сборнике стихов «Из трех тетрадей» (откуда мне запомнились слова о друзьях, «вперед не приготовленных...»). Прощание оказалось коротким — как первое знакомство:

«На память

28.III 79 г.». Ваш *Константин Симонов.*

Более речистыми были наши встречи в Одессе, оставившие много воспоминаний.

Несколько раз он был у нас проездом. А один раз специально приехал — на празднование 30-летия Великой Победы. Уж на этот раз он был целиком наш! Участвовал в шествии и возложении венков у могилы Неизвестному матросу, на трибуне приветствовал демонстрантов, выступал в производственных коллективах, среди студентов.

Всюду, где бывал Константин Михайлович — в порту, на стройках, в университете, — люди, пришедшие на встречу, задавали много вопросов, касающихся его творчества, но был один повторяющийся вопрос: «Какое место в вашем творчестве занимает Одесса?..»

Не на комплимент напрашивались одесситы, хотя знали наперед, что услышат приятные сердцу слова. Одесские читатели, хорошо знакомые с творчеством Симонова, знали, что многое из того, что увидел корреспондент «Красной звезды» в осажденной Одессе, потом было воспроизведено писателем на страницах его повестей и романов. Некоторые бойцы и командиры из тех, кого он встречал здесь летом 1941-го, стали прямыми прообразами его героев.

На встрече с работниками областного комитета партии, с партийным активом города Константин Михайлович поделился воспоминаниями. Потом он дал интервью для местной газеты.

Об этом хочется особенно подробно рассказать вот почему. Творчество Константина Симонова будет изучаться еще не одним поколением, и, может быть, исследователям пригодится свидетельство самого писателя, что у него откуда пошло...

— Мне пришлось еще до войны побывать в Одессе, — начал Константин Михайлович. — Должен признаться, что тогда я не разглядел ее как следует. Шумный, пестрый южный город с довольно своеобразным языком — вот, наверное, все, что запомнилось.

А потом была поездка в осажденную Одессу. И это стало одним из двух самых сильных впечатлений первого, наитруднейшего периода войны. Впервые под Могилевом, а потом под Одессой я увидел, что советские люди могут стоять насмерть под натиском бронированных армад фашистов.

Я познакомился с необыкновенным мужеством одесситов, мужеством, замешенным на добром юморе, без которого просто невозможно представить себе ваш город.

Я познакомился тогда в Одессе с очень интересными людьми — с Петровым, Балашовым, Ковтуном. Эти одесские воспоминания и образы защитников Одессы, сплавившись потом со всем увиденным мной на Дальнем Севере, на полуострове Рыбачьем, легли в основу первой моей пьесы — «Русские

люди»... Потом, когда я сел писать роман «Живые и мертвые», целая часть была связана с Одессой.

И образ главного героя этой части — Левашова — навеян комиссаром Балашовым. Действовал там и Иван Петрович Ефимов, за которым прозрачно просматривался генерал Иван Ефимович Петров. Правда, потом, при окончательной доработке романа, эти части выпали и составили самостоятельную повесть «Левашов» из цикла повестей «Записки Лопатина». Кстати, по этой повести в свое время был поставлен телефильм, в котором Левашова играет Евгений Матвеев, а Ефимова — Борис Бабочкин.

Образ Левашова перекочевал потом в другие мои романы. Образ Ефимова нашел свое место и в повести «Двадцать дней без войны». Могу сказать, что генерал Петров был одним из наиинтереснейших людей, какие мне встречались на войне, и к образу, навеянному им, я еще собираюсь возвратиться в своем творчестве.

Интерес к одесскому материалу не прекратился у меня и поныне. Читатели, знакомые с моими дневниками тех лет, знают и понимают, что, для того чтобы все это написать, мне пришлось провести глубокий поиск материалов. Так я опять углубился в оборону Одессы...

В Одессе Симонов как бы снова окунулся в стихию военных лет. Повторяю: то был юбилейный год — 30-летие Победы. Одесса жила воспоминаниями.

В день, когда по программе пребывания Симонова в Одессе было намечено посещение мемориальных памятников на Поясе Славы, мы поехали также на то место, где когда-то стояла легендарная 411-я батарея.

Он хорошо знал ее.

411-я батарея располагалась на даче Ковалевского. О том, какую роль сыграла эта батарея в дни обороны, рассказывали не мы Симонову, а он нам — с большим знанием тогдашней обстановки, с живыми подробностями. Мы же ему рассказали об идее, родившейся в коллективе научно-производственного объединения «Холодмаш». И он был ею восхищен.

На «Холодмаше» трудится около четырехсот ветеранов Великой Отечественной войны, есть участники обороны Одессы, в частности бывший командир 411-й батареи Иван Николаевич Никитенко. Он вместе с товарищами и предложил создать на месте легендарной батареи мемориальный комплекс, музей под открытым небом.

Готовились к этому исподволь. Во время субботников привели в порядок территорию будущего музея, а в юбилейный год взялись за дело. Предложение поддержал Одесский горком партии. Объемный макет будущего мемориала был создан на «Холодмаше» энтузиастами в нерабочее время.

В те дни, когда у нас гостил Симонов, музей еще не был

готов полностью, и мы назвали Константина Михайловича первым почетным посетителем неоткрывшегося музея. Признаться, были у нас некоторые опасения: ведь мы это все показываем человеку, который видел самую натуру в 1941 году, человеку с профессиональной памятью, с обостренным чувством достоверности. Не приукрасили ли мы чего? Что ж, если будут замечания — примем с благодарностью.

Но он больше молчал, внимательно осматривал каждую деталь, — видимо, заново переживал когда-то виденное.

— Тридцать четыре года тому назад я шел этой тропинкой. — Подумать только!.. — сказал он в раздумье. — Да, здесь стояла 180-миллиметровая...

Первую из артиллерийских позиций к тому времени уже реставрировали во всех подробностях. Около второго каземата возвышался памятник легендарным артиллеристам. Здесь Константин Михайлович постоял дольше, всматривался в лица героев. Вокруг была боевая техника первых месяцев войны, трамвай с надписью «Одесса — фронт».

— Будто живьем все перенесено через десятилетия. — Он улыбнулся, а потом высказал мысль, к которой пришел одному ему ведомыми ассоциациями. — Некоторые до сих пор спорят, кто в дни обороны проявил больше мужества, а кто меньше... Напрасно. Когда надо было, стойкость и непоколебимость проявили все — и Приморская армия, и моряки. Только оказавшись в совершенном отрыве от Южного фронта и еще не войдя в подчинение Черноморского Флота, командование Приморской армии имело достаточно оснований беспокоиться за судьбу вверенных войск...

На встрече в обкоме партии Симонов сказал:

— ...Я видел, с каким энтузиазмом работают на строительстве мемориального комплекса люди, работают со смехом, с шутками, работают, чтобы молодежь получила предметное представление о прошлой войне, о вкладе отцов и дедов в нашу победу. И работают бесплатно. В этом труде я словно опять увидел тот одесский характер, который помог одесситам в далеком сорок первом году выстоять.

А потом — как на каждой встрече — вопросы.

— Какой вам кажется Одесса сегодня? — спросили из зала.

Он ответил:

— Я не открою Америки, когда скажу, что Одесса — неповторимый город. Разумеется, за последнее время она выросла и изменилась. Как изменилась? Безусловно, к лучшему!

Обычно в таких случаях говорят о новых предприятиях, о возведенных кварталах домов. Все это Константин Михайлович видел и радовался новостройкам. Но особенно его поразило другое:

— Как изменилась природа стараниями людей! Я увидел километры чудесных пляжей там, где всегда были только «скалки», как называли одесситы выступавшие на побережье небольшие рыжие скалы. И какие зеленые стали улицы. Поднялись парки. Всюду чистота...

О замыслах, о будущем пошел у нас разговор в тот вечер за чашкой кофе у меня дома, в семейном кругу.

— Вы в своих дневниках, например, много достойного сказали об Азарове. Этот человек и теперь, находясь в отставке, много делает для воссоздания обороны Одессы... Мы с большим вниманием прочли ваш дневник «Разные дни войны» и все, что там говорится об обороне нашего города. Конечно, одесситы мечтают и надеются, что дневник — это ваш первый шаг к большому полотну... Да и вы сами прямо сказали в дневнике, что тогда в Одессе у вас родился замысел написать «какую-то большую вещь о городе»...

Константин Михайлович с грустью улыбнулся:

— Вот-вот — в дневнике... Сколько их! Закончу приводить в порядок дневники, свой архив, а он у меня не умещается в квартире — жена не даст соврать. — Лариса Алексеевна, смеясь, подтвердила. — Подшивки журналов и газет, десятки тысяч метров кинопленки. Письма — горы их! Вот управлюсь со всем этим — тогда обдумаем ваше предложение... Хватило бы времени на все... — Коснувшись рукой моего плеча — он сидел рядом, — Симонов повернул беседу: — А теперь я прошу выслушать меня и принять мой совет. У вас, Павел Пантелеевич, богатый опыт партийной работы. Большой путь уже пройден. Вы разменяли третий десяток на посту первого секретаря обкома партии. Никто не может так глубоко осмыслить и убедительно написать о деятельности человека на этом посту, как это смог бы сам первый секретарь. А до этого вы все годы войны находились в армии — в таких местах, о которых теперь можно интересно рассказать.

— Во время войны я был в Иране...

— Тогда об этих краях писал Эль-Регистан...

Я рассказал Константину Михайловичу, что имел счастье больше месяца сопровождать Эль-Регистана по местам дислокации наших войск.

Константин Михайлович стал горячо убеждать:

— Из всего, что вы мне рассказали, да и я сам знал о вашей работе немало, могу заключить как писатель: у вас богатейший материал! Кочетов написал книгу о секретаре обкома партии. Но он же сам им не был...

Я улыбнулся, а Константин Михайлович тут же подчеркнул реальность своего предложения:

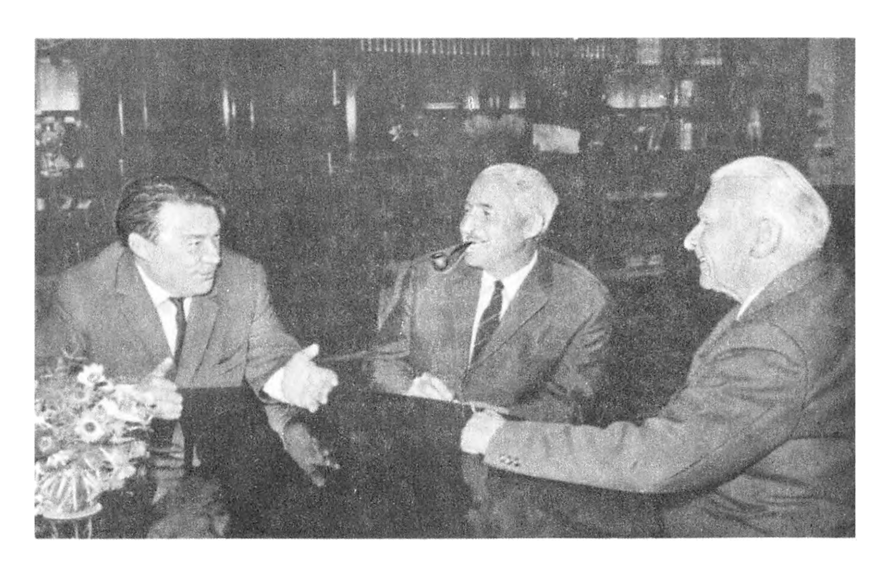
— Писать надо, не обязательно питая надежду, что все будет напечатано. Пусть останется для внуков, для потомков. У меня тоже не все напечатано, есть произведения, которые

существуют в рукописи, в одном экземпляре, показаны далеко не все документальные ленты, которыми я располагаю. Время, которое мы с вами прожили, — богатейшее в истории человечества! От революции и до наших дней. Периода, насыщенного таким содержанием, еще не было. Особенно война и после войны. И потомки не только по написанному и напечатанному, но и по архивному наследству, оставленному нами, будут изучать историю. И на расстоянии глубже, чем мы вблизи, разберутся во всех перипетиях Великой Отечественной войны, пятилетках восстановления и развития народного хозяйства. Вот этим, собственно, я и хотел ответить на ваше предложение... Получилось: предложение на предложение...

После короткого молчания я сказал:

— Вот когда уйду на пенсию, соберусь с мыслями и засяду за работу, на которую вы так убежденно зовете...

Теперь этим я и занимаюсь, постоянно вспоминая Константина Михайловича...



Б. Полевой, К. Симонов и Л. Свобода. Чехословакия. 1968 г.

Борис ПАНКИН

СТРАСТЬ К НАСТОЯЩЕМУ

Воспоминания о Константине Симонове... Казалось бы, в порядке вещей, когда садится за них человек, который знал писателя, что называется, «с младых ногтей». А есть ли у тебя право на это? И отвечаешь вопросом на вопрос: ну, а если, независимо от стажа личного знакомства, ты знал его, кажется, всю твою жизнь... и вообще не можешь, как ни стараешься, провести грань между тем временем, когда известно тебе было лишь имя, творчество его, и тем, когда познакомился с ним — человеком?

И вот — не могу воспоминания о нем отделить от размышлений. И не знаю, надо ли это делать... В конце концов насадить, как рыбу на кукан, эпизод за эпизодом на ось времени — дело нехитрое. Константин Симонов прожил не столь долгую жизнь, но он с ранних лет находился — и в этом судьба его — в круговерти людской, он как магнитом до последнего часа привлекал внимание к себе, и, наверное, не у десятка, не у сотен даже из встречавших его нашлось бы что вспомнить, о чем рассказать.

...Три стихотворения Симонова: «Жди меня...», «Не сердитесь — к лучшему...» и «Майор привез мальчишку на лафете...» — всегда стоят в его сборниках рядом и помечены одним годом — сорок первым. Но только недавно я узнал, что

они и написаны были в один день. Узнал и не удивился. Мне и поныне звездными часами в жизни и творчестве Симонова представляются военные годы, а звездною его тропой — стихи той поры.

Этой записи в общем-то немногих личных встреч с писателем я не могу не предпослать рассказа о своем, всего моего поколения мальшичек военной поры увлечении Константином Симоновым, который был для нас в те военные и послевоенные годы одновременно и символом, и реальностью, и человеком, и книгой. Книгой, строкой из газеты даже больше, чем живым, во плоти и крови человеком...

Сколько раз бывало, уже в позднюю пору его жизни, и сам-то уже не мальчик, прогуливаясь с ним рядом по улицам ли Москвы, по окрестностям ли Тбилиси или по дорожкам больничного двора — чаще и дольше всего именно здесь, — я на мгновение как бы уходил в себя, переставал слышать его глуховатый, с хрестоматийной — ни у кого другого такой не было — картавинкой голос и твердил себе, что вот этот человек, с которым рядом, чинно, на равных беседуя, ты вышагиваешь уже второй час подряд, и есть обладатель; сущность, реалия того имени — Симонов, которое внутри тебя живет, кажется, ровно столько, сколько ты себя помнишь.

Стремительное и мстительное — в наши дни как никогда — время вносит поправки в наши чувствования и представления. Наивным и недалеким назовем мы, наверное, того, кто, став уже мужем взрослым и косматым, живет и руководствуется исключительно впечатлениями и представлениями тридцатилетней и более давности. Но и жалок, достоин лишь сострадания тот, для кого сегодняшнего, умудренного и отягощенного грузом пережитого, они, эти впечатления былого, ничего не значат, если он еще, не дай ему бог, и чурается их.

Самостоятельно, для себя, а не потому, что «урок», «задано», я начал стихи читать и запоминать, кажется, в тринадцать-четырнадцать лет. Точно помню, что это были не Пушкин, и не Лермонтов, и не Некрасов, которых уже успели «пройти» в школе и которые поэтому заучивались, но не запоминались в ту пору и пришли снова позднее. Не могу теперь с уверенностью сказать, что именно это было, но знаю определенно, что первым поэтом, которого я прочитал для души, был Константин Симонов. И так было, я знаю, не со мной одним. Мы влюблялись по Симонову, ссорились и «мучились от разлук» по Симонову. По Симонову учились ненавидеть врага и дружить терпкой, горьковатой, как дымок его неизменной трубки, мужской дружбой. Тогда мы, я уверен, не задумывались, почему мы любим Симонова, зачитываемся Симоновым, верим ему...

Пленяло все — музыка стихов, их тематика и настрой...

Пленял сам облик Симонова, овал его смуглого, знакомого лишь по портретам лица, нос с едва уловимой горбинкой, усы равнобедренным треугольником... К тому же он всегда на фронте, всегда там, где жарко, он любит и любим, и свидетелей его любви — миллионы, и любовь у него не такая, как у других...

И, быть может, оттого именно, что так рано познакомились мы с его стихами, он всегда казался — и я знаю, не мне одному — старше, не возраста своего, а вообще старше... Это ощущение жило долго — и в ту уже пору, когда возрастная грань начала стираться все заметнее.

Теперь я пытаюсь разобраться в юношеских своих мечтаниях, перечитываю строки, которые, в общем-то, и до сих пор во множестве помню наизусть, и вновь попадаю под обаяние этих поэтических прозаизмов, этого в замедленном темпе, с толчкообразной, как у Гейне, мелодией речитатива, которым поведал он и своему «боев жестокою страдой» завязанному «в железный узел поколенью», и нашему, идущему вослед, о простых и мужественных истинах, о высоких радостях честно исполненного воинского долга, хорошо сделанной работы, яростной, истовой любви и беззаветной ненависти... Помните эти строки, написанные еще в 1938 году:

Святая ярость наступленья,
Боев жестокая страда
Завяжут наше поколенье
В железный узел навсегда...

Одного он тогда не предвидел, как и многие, — отступления. Но сказал, когда пришло время, и о нем.

Наше личное знакомство произошло в ту пору, когда с юных лет светивший тебе ореол имени, личности сиял по-прежнему и по-прежнему обладал свойствами магического круга, переступить который мешало что-то заветное в душе. Но в ней же, «умудренной», зрел и неизбежный протест против собственной, казалось, инфантильности. Хотелось говорить на равных, так сказать, грубым голосом, без оглядок на разницу в возрасте и прочем. И Константин Михайлович как будто бы шел навстречу этому желанию, которое он, чувствовалось, все чаще стал улавливать в людях и удовлетворить которое ему самому было проще и удобнее.

«У каждого писателя своя походка, — любит повторять один мой знакомый литератор. — В природе пишущего, — уверяет он меня, — заложены потребность и необходимость «подавать» себя, то есть, фигурально говоря, выше поднимать голову, шире расправлять плечи и напрягать голос, чтобы заметили.

Точность, говорят, вежливость королей. Вежливостью Симонова, его «походкой» была именно вежливость. И «подавал» он себя простотой обращения и с малыми, и с большими сими предупредительностью, деловитостью манер. Иной стиль был чужд. Его коробило, когда он с этим «иным» сталкивался.

К примеру, он что-то написал для газеты, а вам в качестве редактора или литсотрудника предстоит работать с этим материалом. Так вот он первым был готов забыть и действительно забывал, сколько на своем веку он написал таких материалов, а сколько вы, и сколько уже было на пути разных редакторов и литсотрудников. Перед ним была работа, которую он сделал и завершить которую в рамках и условиях газетной специфики можно только совместными усилиями.

И точно так же он забывал обо всем привходящем, о своем и собеседника своего творческом опыте, возрасте, «послужном списке», когда надо было оценить ему принесенное — прозу или стихи, хороши они были или плохи. Были стихи, и надо было сказать о них все, что ты думаешь, помня при этом, что значит для собеседника каждое твое слово, доброе или суровое, какой резонанс может от этого слова быть...

Вспоминаю, как в «Комсомольской правде» — я был тогда уже редактором ее, и это был чуть ли не первый мой личный контакт с Константином Михайловичем — мы попросили написать рецензию на книжку одного из его однополчан-публицистов. Первый вопрос, который он задал, согласившись, был:

— А сколько вы хотите, чтобы я написал по этому поводу, — две или три страницы? — И пояснил в своей суховатой, но обстоятельной манере, словно отгораживаясь ею от моих восторженных излияний насчет того, что, мол, почаще бы нам, бедным редакторам, слышать такие вопросы от таких знаменитых авторов: — Для меня, понимаете ли, размер — это элемент формы. Я об этой книге мог бы написать и пятнадцать страниц, но это уже скорее для журнала, да. Для газеты же в данном случае будет как раз, я думаю, если написать две с половиной — три страницы. Такое вот дело. Так что если вы мне эту площадь гарантируете, я вам через три дня три странички занесу.

И занес — точно через три дня и точно три странички.

Вспоминаю, как позднее, когда мы уже были знакомы ближе, Константин Михайлович сам пришел в газету и, сказав, что готовится к докладу о публицистике на писательском пленуме, попросил ведущих журналистов «Комсомолки» собраться «за круглым столом» и поделиться своими соображениями. Идея конечно же вызвала энтузиазм; вопросник, который Симонов предложил заранее, подлил масла в огонь. О Симонове в ходе разговора почти забыли, а ему, пожалуй, только это и надо было. Потом, слушая и читая его доклад — мы печатали его в

«Комсомолке», — дивились тому, как точен и цепок у него слух, как много удалось ему выловить из пучины того эмоционального и хаотичного, как всегда бывало в «Комсомолке», разговора. Порадовались и тому, как рачительно, с каким уважением к собеседникам он отнесся ко всему добытому. И долго еще потом на редакционных летучках, всевозможных «круглых столах» и собеседованиях «у самовара» приводили мы самим себе в пример и поучение, что вот, мол, какой принципиальный документ нашей литературы родился на шестом этаже.

Еще одним, и, пожалуй, самым впечатляющим, эпизодом сотрудничества Симонова с «Комсомолкой» 70-х годов был его знаменитый очерк «В свои восемнадцать лет».

Многие, наверное, помнят эту трагическую быль — подвиг комсомольца Анатолия Мерзлова из маленького городка под Рязанью, который погиб, спасая от пожара, вспыхнувшего на хлебной полосе, свой трактор. В начале своего очерка Константин Михайлович пишет: «Не сразу, а уже по дороге к Михайлову я задним числом подумал, что товарищи из «Комсомолки» в данном случае обратились ко мне, а не к другому писателю моего поколения, наверно, потому, что кто-то в газете вспомнил мою старую корреспонденцию, присланную тогда, в сорок первом, из Михайлова».

То был конечно же типично симоновский жест великодушия по отношению к братьям газетчикам. Никто из нас, увы, не вспомнил в тот момент об этой оказавшейся в конце концов решающей детали. Приглашая Константина Симонова высказаться по поводу обильной почты, пришедшей в редакцию в связи с опубликованной в газете информацией о поступке Анатолия, мы и не мечтали о том, что он поедет в этот маленький городок под Рязанью. С его писательским и человеческим авторитетом достало бы и того, чтобы он просто высказал публично свое мнение — стоило или не стоило восемнадцатилетнему парню бросаться в огонь, смертельно рисковать из-за трактора, «какой-то железяки».

Однако Симонов поехал, для него тут не могло быть двух решений. Он, маститый писатель, репортером «с лейкой и блокнотом» вновь отправился туда, где побывал впервые чуть ли не в возрасте своего героя.

Беседы с отцом, с матерью юноши, умершего от ожогов в больнице, с его друзьями, сослуживцами, односельчанами. Странствия по обширным совхозным угодьям, от дома к дому в поисках нелегкого ответа, который сегодня отыскать было, пожалуй, куда труднее, чем тридцать лет назад...

Очерк в газете — «полоса, как договаривались», — новая буря читательских писем и долгие еще месяцы совместной с газетой работы над этими письмами, консультации документального фильма о молодежи, где происшедшее с Анатолием

Мерзловым — сначала в поле, а потом на газетной странице — было в основе... И все это с заразительным чувством ответственности, почерком писателя и человека, для которого в данный момент ничего более важного не существовало.

Личное знакомство с писателем, которого долго знал и почитал издалека, не всегда, не обязательно приносит радость. И ожидаешь его с нетерпением, но и с боязнью. В Константине Михайловиче Симонове я чем дальше, тем больше обнаруживал человека, писателя, который живет, стремится жить по законам, предписанным им его собственным, самым дорогим ему героям. Он хотел бы быть похожим на них, на всех вместе и на каждого в отдельности.

Это было нелегко даже для него самого — следовать примеру героев Симонова. Быть таким же, как они, мужественным и скромным, эмоциональным, но сдержанным в выражении своих эмоций. Испытывать аллергию к высоким словам и фразам, но быть преисполненным высоких чувств, идеальных стремлений.

Да, глубина чувств — и скупость при их выражении. Верность долгу — и нежелание распространяться об этой верности. Культ немногословной мужской дружбы — и тоска по идеалу женщины... Все то, что адекватное себе выражение обретало в подчеркнуто суховатом, спартанском, порой даже как бы нарочито обедненном слоге его стихов и прозы, нежно-суровой их интонации.

Все главные герои Симонова в чем-то главном похожи друг на друга, а в целом — на того идеального человека, который, несомненно, жил в его представлении, каким он сам хотел и стремился быть. В каждом из них жила частица его самого. Его идеала, его представлений о настоящем герое, настоящем мужчине, настоящей девушке, настоящем воине, настоящем друге. Она, я уверен, была самой сильной в нем — эта страсть к настоящему. И то, что не всегда он умел, не всегда хватало сил следовать идеалу, — было драмой его жизни. Но в том, что эта драма была, что он был способен на нее — можно ли так сказать? — в этом была и сила его творчества, которое одно лишь и способно искупить если не все, то хоть некоторые наши вины и беды.

«Если родилась красивой, значит, будешь век счастливой», — с грустной иронией написал поэт в одном из ранних своих стихотворений. Сам он родился счастливчиком, как судила молва, которая, как известно, всегда схватывает общее впечатление, нимало не заботясь о деталях. Ему, если верить этой «госпоже», все давалось и удавалось легко, в том числе и творить добро. А то, что дается легко, таким же образом и ценится. Не раз и не два, думается, встречался Симонов в своей жизни с тенденцией окружающих, в том числе и достаточно близких ему людей, каким-то лукавством,

быть может даже позой, объяснить бросающееся в глаза благородство тех или иных его поступков.

Поза? Как легко и привычно бывает для нас употребить лишний раз это слово, по сути — обвинение. Самоотверженность — поза. Доброе дело — поза. Негодование — поза тоже. Все, что выходит за ряд скучного, повседневного, заунывного, — поза. Все так, и тем не менее поспорить с ярлыком не под силу слову. С ним может спорить только поступок. Их в жизни Константина Симонова было немало. Последним «поступком» были последние годы, последние дни его жизни. О них и будет теперь мой рассказ.

Что мне, человеку, не так уж много лет знакомому с Константином Михайловичем, дает на это право? Быть может, поздние, но бурно развивающиеся отношения? Да нет, не было и этого. Не было ничего или почти ничего, что можно отнести к привычным аксессуарам дружбы: мы редко виделись, хотя всякий раз, кажется, с удовольствием. Не знались или почти не знались домами, ничего кинотеатрального или литературного сообща не сотворили и только два раза были вместе в служебной командировке. И все же, все же, вопреки этим многочисленным «не» или помимо них, над ними что-то вырастало такое, что побуждало говорить о сокровенном, и он делал это, как бы отрывая от нутра по фразе, по признанию... Обстоятельства, сводившие нас, тоже способствовали этому. Я слушал его и не подозревал, что так скоро настанет час переплавить услышанное тогда, в часы этих бесед, в воспоминания...

Подобно своим героям, которые не любили и бешено сопротивлялись тому, чтобы их действиям, для них вполне естественным, приписывались какие-то особо благородные мотивы, Симонов не любил «высокого штиля» в общении. Коробили его и фамильярность, и панибратство. Идеалом был «мужской язык» (из его письма матери), когда не зло, но остроумно подшучивают друг над другом, растроганность скрывают под покровом напускной строгости, нежное слово заменяют похмыкиванием или набиванием трубки... Последнего удовольствия, увы, он был лишен к концу жизни.

В октябре 1978 года проходили дни советской литературы в Грузии. Мы с Константином Михайловичем, который был вместе с женой Ларисой Алексеевной Жадовой, оказались соседями в одном из загородных коттеджей, где жили и другие писатели. Симоновы задерживались из-за давшего вновь знать о себе нездоровья Константина Михайловича. Приехав наконец, он сразу стал «гостем из гостей» — человек с высоким и заслуженным ореолом друга Грузии, ее интеллигенции. Несмотря на его явные для всех хвори, за ним раньше всех приезжали по утрам и позже всех «возвращали» домой.

Так что по-соседски мы с ним почти совсем не виделись, и наблюдал я его издали — на трибуне, на сцене, в кругу других писателей, выступающих, читающих свои стихи и прозу шумному, впечатлительному тбилисскому слушателю, который валом валил на встречи со съехавшимися со всех концов страны разноязычными литераторами.

Симонов все время выглядел уставшим, но был одновременно оживлен и как-то по-особому собран и отзывчив на все говорившееся и происходящее вокруг. Особенно в ударе он был на вечере «Русские поэты о Грузии». Он вместе с Георгием Маргвелашвили вел этот вечер, состоявшийся в помещении Театра имени Руставели, и читал стихи. А когда слушал других, уходил, казалось мне, мысленно и чувствами в далекие-далекие пределы тех пространств и тех времен, от которых сохранились лишь стихи, те, что сейчас на русском и грузинском звучали со сцены. Там читали стихи и говорили о тех, кто их создавал в восемнадцатом, девятнадцатом, двадцатом веках.

И казалось, что в глазах переполненного, жадно слушающего и мгновениями, так же как и он на сцене, уходящего в какие-то в свои дали зала он был одним из той славной плеяды, что веками строили словом, делом, дружбой свой мост между двумя великими культурами... Догадывался ли он сам об этом, не знаю, но мнилось, что он в те часы подсознательно прощался в этом зале с привычной, ставшей такой дорогой за прожитую жизнь атмосферой переполненного фанатиками поэзии зала — с бурями аплодисментов, восторженными выкриками, цветами, жаром юпитеров... Быть может, подобно Блоку «с белой площади Сената», он «тихо кланялся» с возвышения тбилисцам и Тбилиси, городу, который был так дорог для него и которому он посвятил главу в своем последнем прозаическом цикле.

Не знаю, угадал ли я. Но на следующий день мы собрались-таки вместе за завтраком, после которого он, проводив до своих дверей Ларису Алексеевну, попросил с непременной вежливостью разрешения заглянуть ко мне. Посидели на веранде, подышали бодрящим октябрьским холодком тбилисских предгорий, полюбовались темно-золотыми слитками айвы на оголенных ветвях, поговорили о текущих литературных новостях. Он поднялся, направился было мягким шагом в мягких туфлях к двери, но — предчувствие не обмануло меня — разговор еще не был окончен. Вернулся к креслу, сел снова и, коснувшись моего колена, сказал как бы между прочим:

— Вот приеду в Москву и недели через две зайду, занесу... должны выйти одним томом мои лопатинские повести.

Я уже давно заметил, что, когда Симонов заговаривает о своем творчестве, речь его становится как бы невнятнее —

он глотает окончания одних слов, проборматывает другие, повторяет без особой нужды третьи.

— Специально собрал эти повести под одной крышей... Назвал романом. «Так называемая личная жизнь»... Хочу, чтобы кто-то прочитал их подряд, только так, знаете ли, разом, залпом, — он повел рукой наискосок сверху вниз, — и сказал бы, — тут он кашлянул, — стоит ли дальше писать беллетристику.

Он снова поднялся и, не давая мне возможности ответить, не говоря более ни слова, двинулся к дверям и вышел, обернувшись на мгновение с порога, глянул глазами, которые все больше начинали походить на глаза замученной птицы.

Я вспомнил в те минуты, как несколько лет назад спросил его, почему он перестал писать стихи. И он ответил как-то очень просто, непринужденно, как бы об отболевшем, что стихи нельзя писать, если потерян «нерв любви».

— Лирические стихи я имею в виду, — добавил он, возвращаясь, по своему обыкновению, к только что сказанному.

Случилось так, что книжку свою он сумел передать мне только через два месяца, когда мы вновь оказались рядом — пациентами одной больницы.

Сговорившись предварительно, мы в урочный час встречались в больничном дворе и прогуливались ежедневно по часу, а то и по два на протяжении двух примерно недель. Говорили о разном, и разговоры были достаточно сумбурными, что, наверное, неизбежно в таких ситуациях. Возвращаясь, однако, позднее мысленно к этим дням, я убеждался, что была в них своя логика, свой лейтмотив, и предложен он был конечно же Симоновым, который теперь еще острее, быть может, чем два месяца назад, нуждался не то что в собеседнике, а в выверке на слух каких-то итоговых размышлений.

В один из тех декабрьских вечеров показали по телевидению подготовленную Константином Михайловичем передачу о Булгакове. Она была первой из задуманного им цикла «Литературное наследие»; трудно, по его рассказам, делалась, долго «лежала», и ее демонстрация доставила ему, это чувствовалось, глубокое, что-то отпускающее, распрямляющее в душе удовлетворение. Передачу эту конечно же смотрели все, и когда мы утром встретились на обычной своей прогулке, не было такого больного (а Симонова узнавал каждый), кто бы не поздравил его с успехом, не поблагодарил или просто не покачал бы головой: ну, мол, и ну...

Константин Михайлович рассказывал о треволнениях, связанных с созданием этой вещи, отвечал на приветствия, отшучивался, и в этот день так часто, как никогда раньше, я слышал знаменитый симоновский смех. Смех от наслаждения содеянным, что удалось еще что-то «пробить». Очень многое стояло для меня за этим молодым смехом преждевременно состарив-

шегося внешне Симонова. Смех этот напоминал мне о том Константине Симонове, которого я, собственно, и не знал, о котором только слышал, которого мог вообразить себе по фотографиям ранних лет, в частности и той, впервые с усами и в подполковничьих погонах, о которой мать писала ему в Москву из Перми: «...появился задор, что-то вроде самолюбования и горделивого удивления на себя со стороны: вот он я!»

И, подстегнутый этим его прекрасным настроением, вновь явившейся бодростью, я отважился в бочку меда капнуть каплю дегтя. Я сказал Константину Михайловичу, что одно место в его передаче, несколько слов в ней, меня, ну... покоробили, что ли... Это — упоминание о том, что Сталин в критическую минуту велел оставить Булгакова в покое. Может быть, так и было. Но что же получается? Все кругом не понимают, и только Сталин приходит на помощь. А между прочим сама-то атмосфера была создана...

Константин Михайлович зябко поежился, но, помолчав, сказал, что тем не менее действительно так оно на самом деле и было в этом случае: именно благодаря Сталину Булгаков продолжал жить в Москве и писать. И молодец Булгаков, что, в отличие от других, не задумывался, что с ним может быть завтра.

— Почему Сталин так относился к Булгакову? — продолжал Симонов. — Он ценил храбрых и чувствовал это в Булгакове. Так же, как и в Фадееве.

И в подтверждение рассказал историю о том, как Сталин предложил повысить уровень премии одной модной в то время писательнице. Кажется, комиссия предлагала дать третьей степени, а Сталин предлагал перевести в разряд вторых. Фадеев возражал с максимально допустимой в данной, весьма специфической, ситуации настойчивостью. Сталин с непривычной для него терпимостью повторил свои доводы и спросил: «Так какую же премию все-таки дадим?» — «Воля ваша, — угрюмо сказал, по словам Симонова, Фадеев, — но пишет она плохо».

К сказанному мною о Булгакове он еще вернулся. Была у него такая особенность — когда разговор упирался во что-то неприятное или трудное для него, он незаметным способом оставлял тему. Но не для того, чтобы уйти от спора. Ему надо было обдумать наедине с самим собой, хотя бы и в вашем присутствии, услышанное возражение.

И когда я заметил, развивая свою мысль, что у его реплики, коль скоро она произнесена была по телевидению — и кем, Симоновым! — миллионы слушателей и есть опасность, что многие только ту часть правды, которая в ней заключена, и постигнут, он, снова помолчав, сказал:

— Да, тут вы правы. Это опасно.

Что касается Сталина, то не случайно, думаю, он так часто

обращался к разговору о нем. Казалось, тут было для него нечто такое, к чему он, тысячи раз уже подумав, не мог не возвращаться снова и снова. И ему небезразлична была реакция собеседника, принадлежащего иному, чем он, поколению. Казалось, что это продолжалась работа над чем-то, что увидело бы свет, проживи Константин Михайлович дольше.

Вот еще один из рассказанных им эпизодов.

«Почему Илье Эренбургу за «Бурю» вы предлагаете дать премию второй степени?» — спрашивал Сталин Фадеева. «Большинство считает, товарищ Сталин, что все-таки у него советские люди показаны хуже, чем французы». — «Почему хуже? Он же показал, что русские воевали, а французы капитулировали. А то, что он французов знает — знает, не любит, — лучше, чем советских людей, — это уже факт его биографии...»

Константин Михайлович приводил немало других реплик, резюме, указаний Сталина по различным поводам, нередко действительно поражавших (во всяком случае, в мастерском пересказе Симонова) неожиданностью и какой-то даже своеобразной мудростью, которой он и теперь, когда у него уже не оставалось никаких романтических иллюзий в отношении этой фигуры, не мог не отметить, следуя своему стремлению к обостренной до предела объективности. Что же касается той опасности, которую, по убеждению моего собеседника, Сталин нес в себе ежедневно и ежечасно для каждого из тех, кто с ним соприкасался, то в ту давнюю пору она, как мне представлялось, выглядела в глазах Симонова стихией характера, которая капризна и может и одарить и покарать в одно и то же время.

...Как-то вечером за нами увязался невесть откуда взявшийся черный кот. Признаюсь, я не люблю черных котов. Этот упрямо волочился по дорожкам больничного парка, то забегая вперед, то отставая, чтобы снова в два-три мягких прыжка догнать. Вскоре я почувствовал, что и Константин Михайлович следит за передвижением кота так же бдительно и скрытно, как я. Не сговариваясь, мы облегченно вздохнули, когда кот свернул за кем-то из тех, кто оказался у нас на пути. Тем горше была молчаливая наша досада, когда он вдруг снова дал о себе знать толчками тела о щиколотки.

— Не переживайте, — вдруг сказал мой спутник. — Это он по моему поводу. Даром я, что ли, потревожил дух Булгакова?!

Через полгода со сломанным при падении с лошади позвонком я снова оказался в той же больнице. И в один далеко не прекрасный день, к тому же еще в душную, влажную, жаркую пору, увидел у своей постели Константина Михайловича, который только-только «поступил» в это же

учреждение. Я лежал распластанный на спине — строго в соответствии с предписаниями врачей, — а он присел рядом и не то чтобы утешал, а старался приободрить, пошучивая и поругивая... Я смотрел, благодарный и утешенный, на него и вдруг впервые увидел, прочитал в его облике то, что, наверное, и называют печатью смерти: какое-то темное свечение исходило от его лица, и непонятно было, в чем же его природа, что давало этот холодящий душу эффект, — иссиня ли выбритые щеки, глаза, глубоко сидящие в туго обтянутых потемневшей и тонкой, как пергамент, кожей глазницах?

Сам он, так казалось, свободен был от каких-либо предчувствий и объяснил, что попал в больницу «не по основному своему делу — лёгким, а так... для профилактики». При встречах говорил о работе, о планах на будущее и, когда врачи позволили мне вставать, а затем и ходить, великодушно предложил перейти на тот, прошлогодний график прогулок. В одну из первых таких встреч с Константином Михайловичем был один из крупных наших военачальников времен Отечественной. Разговор, как и следовало ожидать, тут же повернул к тем временам — к Сталинграду (так называли этот город мои собеседники), к Берлину... Посыпались названия знакомых и незнакомых мне мест, имена, фамилии, номера частей и соединений...

Их называли так уверенно, словно они постоянно на устах. И как будто бы невидимую грань провела между нами эта перекличка. Те же вокруг были аллеи больничного парка, те же деревья, дома за ними, но колдовская сила уже взялась за работу, и с каждым шагом мы, трое разновозрастных мужчин, уходили в далекое, но такое отчетливое время... *Командарм* Чуйков и *военный корреспондент* Симонов вели свою беседу у присыпанного землей блиндажа под зловещий аккомпанемент артиллерийской канонады. А я — *тринадцатилетний мальчишка* — в крохотном пензенском селе цепко держал счастливо попавший в руки газетный лист...

Встречи наши, увы, уже не могли быть такими регулярными, как полгода назад. Все чаще, позвонив Константину Михайловичу в урочную минуту, я слышал в трубке смущенное покашливание: «Медицина свирепствует». Да и ненароком заглянув к нему в палату, как правило, заставал врачей и сестер: то делали укол, то брали анализ, то подключали капельницу — причудливое сооружение из стеклянных и резиновых трубок.

Если же медицинская аппаратура отдыхала, палата становилась рабочим кабинетом: загорался зеленый глаз диктофона («Заведите диктофон, в наше время никуда от него не уйти»), приходили в движение кипы старых писем («Разбираю переписку военных лет с родителями — давний мой долг»), появлялись и исчезали стопки гранок — Симо-

нов держал корректуру очередного тома собрания сочинений.

— А «Чужую тень», — сказал он в одну из таких мимолетных наших встреч, — не включаю. Нечего и было г... писать.

Сказал и словно поставил точку в каком-то давнем, не однажды зачинавшемся монологе.

Кажется, последнее, над чем он работал в больнице с микрофоном, потом с пером в руках над гранками, была статья о Халхин-Голе. Симонов очень тужил, что не может быть в Монголии в дни, когда отмечались сорокалетние события, где он впервые выступил в роли военного корреспондента. И когда через несколько дней «Литературка» была у меня в руках, словно морозом сковало сердце: слишком много было об ушедших, слишком много прощаний...

Возвращаясь поневоле к своей болезни, Константин Михайлович рассказал, что настаивает на применении ему одной, «говорят, небезболезненной, но радикальной процедуры», он назвал ее «выкачкой».

— Надо попробовать, — говорил он, грассируя больше, чем обычно, — надо попробовать. Иначе нет смысла. Иначе нет никакого смысла... — И можно было только гадать, что́ он имел в виду — пребывание в больнице или самое жизнь...

Настал такой день, когда, позвонив ему дважды и трижды и не услышав ответа, я спустился несколькими этажами ниже и обнаружил палату пустой. Медицинские сестры с непроницаемыми лицами сообщали, что Константина Михайловича перевели на особый этаж.

И еще два штриха, как два огненных следа трассирующей пули, обозначили в моей памяти последнюю прямую в жизни Константина Симонова.

Разговор с женщиной-врачом у большого лифта:

— Скажите, вы не оттуда, не с...?

— Оттуда.

— Как у Константина Михайловича дела?

— Положение сложное, крайне сложное...

— Тогда спрошу грубее... есть надежда?

Вместо ответа отрицательное, на полный поворот шеи движение головой. И несколько слов затем — в утешение, в оправдание:

— К сожалению, медицина не все может. Наступает предел и ее возможностям.

— Но он в сознании?

— Да.

— Сколько же может... могут продлиться страдания?

— Этого никто с уверенностью не скажет. Никто не знает, сколько последних сил в организме... Но держится мужественно...

И просятся на уста слова о том, что эти две предсмертные недели были подвигом писателя и человека Константина Симонова. Он знал, что умирает, мужественно приготовился к смерти, с хладнокровием воина заглянув за тот предел, где его уже не будет...

...Кому доведется хоть раз бывать в Риме, не миновать и собора Святого Петра. И там, перед собором, у не менее знаменитой четырехрядной колоннады Бернини, ему непременно покажут такую точку на выложенной камнем площади, с которой контуры всех четырех колонн сливаются воедино. Никто не знает, был ли этот чудесный эффект задуман мастером или возник сам собой.

Во время одной из наших последних бесед Константин Симонов рассказывал мне, что замыслил пьесу, которую про себя называет «О моих четырех Я». И расшифровал: «Я в довоенные годы, Я в послевоенные, Я в 1945-м и Я сегодня... Я сегодняшний больше знаю о тех временах, но меньше помню... Любопытно взглянуть на себя той поры с высоты сегодняшних представлений и на себя нынешнего из предвоенного далека...»

Не искал ли он в себе ту самую точку зрения, точку отсчета, с которой воедино слились бы для него драматические противоречия эпохи, судеб человеческих?

И не затем ли самым — попыткой увидеть одного Симонова в тех трех, которых я знал, — являются и эти страницы моих воспоминаний?



Ташкент. 1975 г.

Виктор АСТАФЬЕВ

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Когда рукопись моей книги об Александре Николаевиче Макарове «Зрячий посох» была доведена до того, что ее можно было читать не только жене, но и другим «заинтересованным» лицам, я решил попросить ее прочесть Константина Михайловича Симонова: и потому, что в книге он присутствует неоднократно, и потому, что учился вместе с Александром Николаевичем Макаровым, и потому, что опыт его работы в литературе, в том числе и документальной, неизмеримо больше моего. Следовательно, надеяться можно было и на добрые советы, и на поправки каких-либо неточностей, и просто мне давно хотелось встретиться и поговорить с Константином Михайловичем, к которому я со всей душевной симпатией относился еще с фронтовых юношеских лет, и пребывание мое в одном с ним литературном цехе не только не убавило этой симпатии и уважения, но и преумножило их.

Я запомнил отчетливо тот год, когда Константин Михайлович ушел из «Нового мира» и по какому-то поводу, вроде бы опять о войне, выступал по телевидению. До этого мне почти не доводилось его видеть «вживе», — кажется, видел у гроба Фадеева, но в отдалении и не задержался на нем взглядом.

Потом — в редакции журнала «Знамя». В 1959 году у меня печатали там рассказ — первый в толстом журнале! А у Симонова — роман. И вот я сидел на старом, впивавшемся в зад пружинами кожаном диване, жмясь поближе к обласкавшему меня работнику отдела прозы, милому человеку Виталию Сергеевичу Уварову, дожидаясь очередных поправок от очень капризной, начисто подавившей меня своим всезнанием и интеллектом редакторши. И в это время возник в редакции маленький переполох, — редакция размещалась тогда в тесном, захламленном помещении, и большому переполоху там негде было подняться. Прочастила каблучками какая-то дама, юркнула под лестницу уборщица, распахнул перед кем-то двери лучащийся светозарной улыбкой секретарь журнала Катинов; задвигались, закружились какие-то люди с сигаретами и без сигарет. И в этом людском водовороте и дыму вдруг тоже закружилась комочком пены, седая-седая голова. У головы оказалось довольно смущенное лицо Симонова! И хотя говорила про меня бабушка: «Приметлив! Ох приметлив!» — я все же с трудом его узнал, ибо Симонов мне все еще представлялся чернявым, густоволосым, с усами почти гусарскими и с трубкой в зубах — истинный поэт!

В руках у него были цветы — большой букет роз, который он нес, уверенно выставив перед собой, раскланиваясь на ходу, кому-то улыбаясь, и, гортанно выкрикнув что-то Катинову, исчез за дверьми незнакомого мне кабинета.

Впоследствии Александр Николаевич, выслушав всю эту картину в словах и в лицах и разрешая мое недоумение: «Неужто Кожевникову цветы?!» — уничижительно усмехнулся.

— Деревня! Кожевникому?! Да если Кожевникову начнут дарить цветы благодарные авторы — он не выберется из вороха цветов! Он задохнется от ароматов! У него будет болеть голова. Это Людмиле Ивановне волок Костя цветы. Много, говоришь? Дорогие? Тогда ей! Ну Костя... фрукт! Ах ты, Костя, Костя! «Каким ты быв, таким остався!» — передразнил он Симонова. И ко мне: «Ну, а вы-то, вы-то что? — И глазки его засветились искоркой перевозбужденного любопытства.

— Ну, чё я? — говорю я Уварову, Виталию Сергеевичу, со всей непосредственностью озлившегося провинциала, которому терять нечего и в Москве негде жить. — Дак мне чё, тоже букет нести?

— Тебе не надо, — сказал Уваров. — Ты еще молодой и у тебя денег нету. Вот уж когда роман выдашь — раскошелишься!..

Роман я так до сих пор и не выдал, букеты по редакциям носить не научился. И зря! Есть в редакциях и издательствах

люди, которым я последнюю рубаху с тела отдам, кусок хлеба разделю пополам, кровь, сердце, а вот с цветами...

Впрочем, всяк должен делать то, что у него хорошо получается. Мне кажется, и я убедился в этом впоследствии, у Константина Михайловича была врожденная способность делать людям приятное, не считаясь ни со временем, ни со здоровьем, ни с обстоятельствами, которые часто мешают нам делать людям добро.

И вот несколько лет спустя увидел я Симонова на экране телевизора, погасшего, усталого, совсем белоголового, без усов — или телевизор у меня был такой, что не все предметы различались? — говорил он тихо, как-то особенно проникновенно, печально и под конец прочел несколько стихов из фронтовых тетрадей. У меня слезы навернулись на глаза; жена, слышу, носом зашмыгала. Мы с ней весь вечер проговорили о поэзии Симонова, о том влиянии, которое она на нас оказала в свое время, и выяснилось, что и она, хотя и была далеко от передовой, помнит по фронту стихи Симонова, Суркова, прозу Шолохова, и позднее — «Василия Теркина». И до них, работников военного тыла, мало что доходило, что уж говорить о нас — окопных землеройках?

Лишь в длительной обороне лета 1944 года, когда на передовой и стрельбы никакой не было, стали приносить газеты, один раз показали кино. Мы очень зачитывались главами из «Теркина» и, чтобы всем досталось, наклеивали газетные вырезки на картонки и передавали их из взвода во взвод.

Когда я — единственный раз — беседовал с Твардовским и сказал ему об этих картонках, он как-то по-особенному заинтересовался моим сообщением, спросил, не сохранилась ли у меня хоть одна картонка? И когда я развел руками — сам-де едва сохранился, — мне показалось, он даже погрустнел или огорчился, да и я вместе с ним, что нет у меня с собой такой редкостной, да и вообще никакой окопной реликвии.

Конечно же фронт, да и передовая не совсем оторваны от мира, идет сообщение людей туда-сюда: раненые — с передовой, пополнение — на передовую; хоть и худо, но работали рации, тянулись к фронту и по фронту провода; хоть и реденько, добирались до передовой письма — и в них часто песни, стихи, цветочки, карточки. Попав на передовую, песня или стих, простыми или сложными путями, распространялись по окопам. Так, песню «Бьется в тесной печурке огонь» я сам переписал и в ночное время по телефону орал ее неделю своим телефонистам.

Командир дивизиона молодой был, щеголеватый (умер совсем недавно — 2 января 1981 года в Ленинграде), услышал как-то мое пение, а я, напугавшись, прервался — нельзя ведь пустяками полевой телефон занимать! — сказал мне:

— Ну, что ты, что ты? Пой! Хорошая песня, и у тебя получается!

И потом, когда у него случались небольшие офицерские сборища с выпивкой, приказывал: «А ну, давай «Землянку»! И я затягивал, а офицеры подпевали.

Так, с моего голоса, и пошла по нашей части замечательная песня, и я об этом тоже имел удовольствие совсем недавно, во время последнего писательского съезда, рассказать нашему старейшему поэту Алексею Александровичу Суркову. Мне показалось, он выслушал мой рассказ не без душевной приятности.

А тогда вечером, растроганные воспоминаниями, мы с женой надумали было написать письмо Симонову, но, будучи по природе деликатным человеком, жена подсказала мне:

— Пошли-ка ты ему свою книжку и напиши сам.

— Нужна ему книжка какого-то очусовелого автора?

— Нужна не нужна, а ты пошли! Книжка с хорошими картинками, да и письма ты под настрой писать умеешь.

Иногда жен надо слушаться. Я это давно понял. И написал письмо Константину Михайловичу, в котором рассказал о том, как однажды пришел к нам, в почти полностью выбитый взвод, молоденький лейтенант и читал нам его стихи, вроде бы не к поре и ни к селу ни к городу, — о любви стихи. И все-таки стронулось что-то в наших онемелых душах. Но вскоре этот командир тоже погиб, а вот память сохранила и его, и как он читал стихи...

И книжку послал я Симонову, первую «толстую» книгу, изданную в Москве, да еще и с иллюстрациями. Ответ не заставил себя ждать. Пришло письмо, обстоятельное, без высокомерно-покровительственного тона, письмо старшего товарища по работе, в котором были и ободряющие слова, и замечания о прочитанной книге.

А вот встретиться и поговорить нам удалось лишь однажды. Так уж вбитая в меня наука — не быть навязчивым — действовала и действует до сих пор.

Когда я работал над «Зрячим посохом», один писатель, бывший на юге в Доме творчества, передал мне привет от Симонова и сообщил о том, что ему очень понравились заключительные главы «Последнего поклона» и он желал мне всяческих успехов. Признаюсь, я не думал, что эта книга «ляжет на сердце» Симонову, — очень уж, казалось мне, далека она от его творческого направления, да и жизнь, в ней рассказанная, ему, городскому человеку, должна быть совершенно чужая и неинтересная. Но шло время, и почта приносила письма — отклики на «Поклон», и, как ни странно, — больше от людей городских, и не только бывших селян, что вполне объяснимо, а людей, в деревне никогда не живших.

Меж тем работа над «Зрячим посохом» подходила к концу,

я давал ее читать друзьям по труду и тем, кто так или иначе в ней заинтересован и «отражен».

Когда рукопись «Зрячего посоха» прочла Аннета Александровна — дочь Макарова — и приободрила меня своим к ней добрым отношением, я попросил у нее совета дать ли рукопись для прочтения Симонову, поскольку о нем в книге кое-что сказано и сказанное нуждается в уточнении, да и знал он Александра Николаевича давно и близко.

— Непременно! — сказала Аннета Александровна. — Непременно! Он, думаю, обрадуется этой книге. Вот только, слышала, он тяжело болен...

В тот же приезд в Москву, буквально через несколько дней после разговора с Аннетой Александровной, по приглашению любимого моего артиста Михаила Александровича Ульянова был я в Театре имени Вахтангова, на премьере «Степана Разина», и увидел там Симонова. Он сидел чуть впереди меня, справа, в теплой рубашке и надетой на нее меховой безрукавке. Тяжкий кашель давил его весь спектакль.

«Пневмония! Знакомая мне болезнь, которая хуже тихой и злой тещи». Не знаю, мой ли пристальный взгляд или что другое заставило Константина Михайловича обернуться, и я увидел впалое землистое лицо, худую шею с туго натянутыми от трудного дыхания жилами, усталые глаза в темном, почти угольном обводе с как бы прилипшей к ним пленкой загустелых слез.

Мои глаза тоже затянуло слезами, и я какое-то время ничего не мог различить на сцене — слишком много дорогого и светлого связано у нашего поколения с этим писателем, слишком он был нам необходим и привычен, и привычен всегда молодым, деятельным, романтичным, удачливым, у всех и всегда на виду...

Он не создавал себе такого «портрета» — это время и мы, читатели, создали его, — и у меня разбитый болезнью, худущий, усталый человек вызвал не столько чувство горести, сколько растерянности, сознания и собственной уже изработанности, немощей, прошедшей молодости. Ведь часто в других жалеешь утраченного себя лучшего, и это единственный эгоизм, который можно оправдать в нас, людях.

«До рукописи ли ему?» — махнул я рукой, а вот повидаться мне с Константином Михайловичем захотелось — наитие, что ли, сработало? — можно и не увидеть, не успеть — не хочу об этом судить задним числом.

При еще одной встрече Аннета Александровна спросила, послал ли я рукопись Симонову, и сообщила, что разговаривала с ним по телефону, что он очень тепло отозвался обо мне и рад был, что именно я решился написать книгу о Макарове.

Я написал коротенькое письмо Симонову и скоро получил ответ с разрешением прислать рукопись.

Прочел он ее очень быстро, как потом сказал, — «за одну ночь», и попросил меня побывать у него. «Поговорить есть о чем», — добавил он в письме.

Позвонил ему от друга, слышу — кашляет беспрерывно, хрипит даже, и я сказал, что, может, не надо? Может, потом?

— Нет-нет! Немедленно приходите, а то я скоро уеду, и многое забудется. Надо поговорить сейчас, по горячим следам...

Он был совсем болен, выглядел еще хуже, чем в театре, но при моем появлении поднялся, вышел в коридор, — видимо, чтобы приободрить меня и как-то оградить от укорных взглядов близких своих: ночью, как выяснилось, была «неотложка».

Я чувствовал себя скованно и неловко.

— Да не переживайте вы, — махнул он худой и слабой в кисти рукой. — Вы что думаете, лежать вот тут, на диване, и смотреть в потолок — легче, что ли? Правда, я пробовал читать. Вы «Сашку» Кондратьева читали, с моим предисловием?

Я сказал, что читал и что повесть мне понравилась, и Симонов, откашлявшись и отдышавшись, сказал, что как раз Кондратьева новую вещь и читал.

Заговорив о литературе, Константин Михайлович оживился, и мы с ним повспоминали военное время, он мне упомянул про бои под Могилевом, а я ему сказал, что мир очень кругл и узок и что, прочитавши в его дневниках о самолете-кукурузнике, сидящем на крыше, вспомнил и место, и городок — это было на окраине городка Зборова, на Львовщине, ныне по новому административному делению отошедшему в Тернопольскую область.

— Да что вы говорите?! Н-ну, знаете! — рассмеялся Константин Михайлович. — Вот и еще одна страничка войны разгадана!

— Я был молод, — говорю, — по бабушкиному заключению — «приметлив», да и стояли мы в Зборове несколько дней. А вы небось промелькнули на корреспондентской машине?!

— Да уж помелькал, поездил, полетал! — протяжно вздохнул Константин Михайлович. — Чаю, водки, Виктор Петрович?

— Какая уж нам, пневмоникам, водка? — отмахнулся я. — Спина вон и без нее мокрá...

— Тоже, значит? Не запускайте эту проклятую болезнь. Вымотает! Вон, говорят, и Шукшина она доконала.

— Да, будто бы с нее началось...

Принесли чаю, крепкого, горячего, и под чаек мы с Константином Михайловичем о многом переговорили. Я знал об его истовой работоспособности, посетовал на себя, разбросанного, работающего лихорадочно, наскоками.

— А как вырываете вы время для такого объема работы, чтения, служб? — поинтересовался я и тут же с восхищением отозвался о его телевизионной работе «Шел солдат» и сказал растроганно: — Если б не были вы так худы, обнял бы вас от имени всех нас — солдат, живых и погибших, да боюсь — задавлю!

Он очень засмущался, покашлял и сказал, что в пятницу, субботу и воскресенье всегда уезжает на дачу и уже эти дни его, уж тут он работает с упоением, работает и старается никого к себе не пускать.

«Старается», — сказал он, однако тут же, узнавши, что я собираюсь писать роман о войне, о быте войны, о солдатах, об окопной жизни — если это можно назвать жизнью, — пригласил меня обязательно побывать у него в Пахре, на даче, пожить там и посмотреть, вернее — просмотреть, богатейшую его фототеку.

— Вы знаете, — сообщил он, — я всю войну собирал фото: на дорогах, в окопах, в заброшенных избах, маленькие, большие, с документов, парадные, семейные, и ох как вам необходимо это все посмотреть. Уверен, очень и очень вам поможет моя фототека в работе. Приезжайте в любое время. Я вам дам ключ, садитесь и действуйте. Вот я съезжу в Крым, подлечусь, поработаю...

Я робко возразил — не надо бы в Крым-то. Два раза я там был, и оба раза дело оборачивалось обострениями.

— Да вот знаете, в Гурзуфе такое удобное место для работы, в санатории. И подсушусь, глядишь...

Я сказал, что сушиться нашему брату пневмонику, наверное, следует все же в сухом месте, где-нибудь в Туркмении или в Таджикистане.

— Или вот, — вспомнил я, — в Узбекистане. Вы ж его обжили, перевели на русский!..

— Да, обжил, — согласился он, — наверное, туда и поеду когда-нибудь. Но сейчас... вот собрались уж... И нравится мне в Гурзуфе. Да, секретарша моя принесет вам все, что я успел сказать о вашей рукописи. Извините, что на диктофон, но так скорее, да и руки у меня что-то дрожат последнее время. Мы с вами потом обязательно еще встретимся и поговорим, непременно поговорим. Нам есть о чем поговорить, и не только по рукописи, — нам говорить и не переговорить о войне. Берегитесь. Пишите. Мы, газетчики, уже «свою» войну написали. Вы правы — по количеству написанного выходит, что мы — главная ударная сила были на войне... — Он опять слабо махнул рукой, закашлялся.

Я поднялся.

— Все-таки мне надо уходить, Константин Михайлович. Я и так злоупотребил вашим вниманием и гостеприимством.

— Да что вы там такое... говорите... Господь с вами! — с перерывом произнес Константин Михайлович.

Но он все же очень утомился и сам и, верно, почувствовав это, надписал мне на память несколько книжек, в том числе особенно мне дорогую как бывшему окопнику «Шел солдат», и мы стали прощаться. В коридоре, подав мне руку, Константин Михайлович слабо коснулся щекой моей щеки, и меня чуть уколола редкая щетина.

«Симонов — и не бритый! Да что же это такое!» На глаза снова навернулись слезы. Я поклонился всем домашним и вышел, осторожно притворив дверь.

Более Константина Михайловича Симонова я не видел. Звонил ему еще раз и по голосу понял: в Крыму ему стало хуже и разговаривает он со мною лежа.

А потом раздался, уже в Вологду, телефонный междугородный звонок, и Константин Михайлович сообщил, что звонит из больницы, что тут его хорошо подлечили, что он работает, непременно хочет со мной встретиться, показать фототеку. И я решил, как он выпишется из больницы, отдохнет маленько, одолеет писательскую текучку, сразу же и поеду к нему, хоть на недельку.

А вскорости прилетел я или приехал откуда-то, и прямо у дверей жена моя, Мария Семеновна, дрожа голосом и утирая слезы, сообщила:

— Ты знаешь, беда-то какая!.. Константин Михайлович скончался.

Вот и все, что я смог вспомнить и написать о человеке и писателе, к которому всю жизнь привязан как читатель, уважал его как гражданина, воина и труженика, такого, каких, к сожалению, очень мало в нашей литературе.

А то, что успел надиктовать Константин Михайлович о рукописи «Зрячий посох» всего за несколько часов до отхода поезда в Крым, будучи совершенно больным, — пусть станет послесловием к моей книге и уроком нам, в сущности физически здоровым людям, частенько проживающим часы и дни в пустопорожней суете, болтовне и прекраснодушии.



К. Симонов и Герман Кант. Дрезден. 1978 г.

ГЕРМАН КАНТ

ТРИ ВСТРЕЧИ

Вспоминать о Симонове — словно вспоминать о далекой любви, в которую поверить до конца потом невозможно. Выражалась она в осторожных, почти робких проявлениях взаимной симпатии, и, конечно, на нее накладывали отпечаток те обстоятельства, при которых происходили наши встречи. Или прощания.

В первой встрече с человеком столь знаменитым всегда есть что-то щекотливое, потому что сравниваешь его с легендой о нем, а это способен выдержать не каждый.

Но для Симонова это не составляло труда. Он, кажется, вообще не подозревал о существовании подобной проблемы.

Он был, если можно так выразиться, в самом естественном своем проявлении благородный человек. Обаяние редко сочетается с высоким положением, у Симонова одно тесно соседствовало с другим.

Даже если бы я прежде не знал его по фотографиям, он бросился бы мне в глаза при первой же встрече, обратил бы на себя внимание своей значительностью. Это было в Москве, во время одного из писательских съездов. И если до той поры я знал Симонова-писателя, то есть Симонова, говорящего с читателем, здесь я познакомился со слушателем, вни-

мательно и напряженно вслушивающимся. В каждом перерыве его можно было встретить в коридорах перед залом заседаний Верховного Совета, и всякий раз он выслушивал кого-то другого. Впечатление было настолько сильно, что с тех пор, едва упоминалось имя Константина Симонова, перед моими глазами возникал образ человека, слушающего другого, — человека, которому все можно сказать и которому все надо сказать.

Я не знаю содержания ни одного из тех разговоров. Но я уверен: каждый раз это была просьба о совете или помощи; и я так же уверен: совет был дан и помощь оказана. Потому что Симонов помнил о долге тех, на чью долю выпадает слава. Литературный авторитет не сделал его недоступным для окружающих, он использовал его, чтобы помочь другим.

Быть может, и он бывал порой громким и сердитым — тому, кто прожил такую, как он, жизнь, без этого, наверное, не обойтись, — но я видел его только спокойным, внимательным, взвешивающим свои слова человеком. Когда думаешь об этом, возникает образ: его слова, его вопросы были похожи на движения того, кто ходит по помещению, сплошь уставленному стеклянной посудой, стараясь ничего не разбить. Несомненно, он был человеком, который очень хорошо знал, что такое раны и как они болят, и ни за что на свете не хотел причинять боль. Может быть, больше не хотел, никогда больше.

Я уже говорил, что, возможно, существовал и другой Симонов, и если так оно и есть, то в этом сборнике, для которого я пишу свои заметки, наверное, будет рассказано и об этом, но я его таким не видел. Я вообще разговаривал с ним всего три раза: во время одной из его поездок в Берлин, на встрече в Софии и потом, уже в последний раз, в больнице.

Про Берлин рассказывать недолго. Наш Союз устроил обед в честь знаменитого автора «Живых и мертвых», и я прежде всего вспоминаю облегчение, которое испытал, когда увидел, что этот глубокоуважаемый коллега был одним из самых сдержанных, более того — самых скромных. Ему стоило явного труда преодолеть себя, чтобы занести свою фамилию первой в почетную книгу только что открывшегося отеля «Метрополь», как будто кто-нибудь имел на это больше прав, чем он!

И все-таки Берлин — хоть это и был приятный дружеский эпизод — не оказался той встречей, которая остается в памяти на всю жизнь. Такой встречей была встреча в Софии, спустя год.

Вместе с семьюдесятью коллегами со всех концов мира

мы были гостями болгарского Союза писателей, который организовал международную писательскую встречу. В перерывах между заседаниями мы порой обменивались несколькими словами по поводу того или иного выступления, в качестве представителей наших союзов принимали участие в беседе за «круглым столом», но все это не выходило за рамки обычного общения делегатов на подобных встречах.

Тем больше я был удивлен, даже поражен, когда Симонов через пять минут после начала одного из обязательных приемов спросил меня, не хочу ли я пойти вместе с ним в город. Он был в Софии в 1944 году в качестве военного корреспондента Советской Армии, освобождавшей Болгарию от фашизма. Тогда он ночевал в гостинице с маленьким ресторанчиком, который надеялся сейчас отыскать. Это значило, что он приглашал меня отправиться вместе с ним на поиски частицы его прошлого.

Я был в большом смятении, потому что такое приглашение — от кого бы оно ни исходило — награда. Но это приглашение исходило от Симонова, а ведь вокруг было много его бывших товарищей по оружию, я же в 44-ом принадлежал к тем, против кого он пошел воевать, чтобы изгнать их туда, откуда они начали войну.

Конечно, несмотря на смятенность, я с огромной радостью отправился вместе с ним, и мы нашли то самое место. А когда наша переводчица рассказала персоналу этого ресторанчика, что за одним из столиков сидит Симонов и каким образом он уже побывал однажды под этой крышей, удержать их не было никакой возможности, начался небольшой пир.

Мы самым приятным образом поели и, конечно, кое-что выпили, но все это не суть важно. Важно то, что мы несколько часов проговорили, мы рассказывали друг другу о жизни и смерти, о живых и мертвых и не уставали удивляться тому, что, несмотря на эти смерти и несмотря на такие жизни, мы сидим сейчас вместе и почти лихорадочно рассказываем о том, какими мы были, во что верили, чего хотели и на что надеялись.

Вот только одна деталь: я рассказал Симонову, что, находясь в плену в варшавском лагере, я участвовал в постановке его пьесы «Русский вопрос», но, к счастью, уже не помню, какой была моя актерская работа. А Симонов мне ответил: «Зато я довольно хорошо помню эту литературную работу, но отнюдь не уверен, что это к счастью».

Вечер в Софии затянулся, и передо мной опять был Симонов, слушающий Симонов, задумывающийся Симонов, решивший еще раз проверить все счета своей жизни.

Я еще не знал тогда, что он давно болен, сам он не проронил об этом ни слова. Вместо этого Симонов снова и

снова возвращался к травме, которая донимала меня после автомобильной катастрофы, и настойчиво советовал мне лечь в Москве в больницу. И потом, когда бы он ни передавал мне приветы через нашего общего друга Женю Кацеву, они всегда кончались призывом поскорее обратиться к московским врачам. А сам он все медлил принять приглашение Альфреда Андерша, чтобы подлечить свое больное легкое в мягком климате Тессина.

Когда я наконец лег в московскую больницу и он навестил меня там, он был уже человеком, который готовился к концу, и готовился удивительно мужественно: он доканчивал незавершенные дела, отправлял рукописи и письма в архив, выполнял обязательства, данные редакторам, писал отзывы и предисловия (в том числе и предисловие к русскому изданию моего романа «Остановка в пути») — он приводил все в полный порядок.

Страшно теперь подумать, как трудно ему было проделать неблизкий путь ко мне в Кунцево. Но он просидел у меня долго, и с Жениной чуткой помощью мы говорили друг с другом так, словно сто лет были друзьями, и тон его речи делался особенно настоятелен, когда он говорил о долге и ответственности, которая ложится на тех, кто избирает нашу профессию.

Немногословный, он стал необычно красноречив, когда заговорил о последних днях Достоевского. Достоевский использовал это время единственно правильным образом, а именно — напряженно работая. Нетрудно понять, что Симонов говорил о примере — примере, которому сам следовал.

После этого разговора он ушел из больницы и вскоре ушел из моей жизни. Садясь в машину, он помахал мне своей меховой шапкой, и на пронизывающем зимнем ветру он единственный раз показался мне таким хрупким, каким и был в действительности.

Наступила весна, пришло лето, известия становились все хуже, но до самого конца речь шла о работе.

В названии одной из его мужественных книг он сказал о том, что солдатами не рождаются. Не знаю, так ли это, но твердо знаю одно: Симонов умер как сознательный боец. Или точнее, если говорить о том отрезке времени, который я могу проследить, — как человек, который до самого конца отдавал себя жизни.

На его похоронах я шел за открытым гробом, и это было страшно. Я видел мертвого друга и должен был поверить в то, что он мертв.

Ветер позднего лета развевал его тонкие седые волосы, и я не мог не вспомнить, как он стоял на ветру поздней зимы и махал мне на прощанье. Он махал шапкой, и когда я шел за

гробом, я с чувством беспомощности думал: кто знает, может, если бы он тогда не снял шапку с влажных волос... Я понимал, что эти глупые мысли были только выражением потерянности, которая охватывает при мысли о том, что Симонова больше нет.

Но возникает и мысль обратная: наш мир уже не столь беспомощен, и мы в нем не так потеряны, потому что в этом мире и среди нас жил мужественный и мудрый писатель Константин Симонов.

Я не знаю, что подсказало Ларисе послать мне потом шапку своего мужа, но знаю, что не забуду друга, который ее носил. И не забуду той задачи, которой он посвятил свои книги и свою жизнь.



Камень на Буйническом поле.

Василий ПЕСКОВ

КАМЕНЬ ПОД МОГИЛЕВОМ

На шестом километре дороги, если ехать из Могилева в Бобруйск, шоссе слегка расширяется, в разрезе придорожной полосы елей и кленов проезжий видит площадку и на ней дикий камень. Памятник?.. Остановившись, видишь у камня цветы и хорошо знакомое факсимиле еще недавно жившего человека, а теперь резцом просеченное на валуне — Константин Симонов. С тыльной стороны камня — литая доска: «...Всю жизнь он помнил это поле боя 1941 года и завещал развеять здесь свой прах». Эти слова заставляют снять шапку и помолчать, глядя на поле, прилегающее к дороге.

Если проезжий не очень спешит, он от кого-нибудь узнает: полоса кустарника и деревьев, линейкой идущая в поле, скрывает остатки рва, который когда-то спешно вырыли — остановить танки. Но немецкие танки тут в 41-м остановил не этот теперь оплывший земляной ров, а люди, тут и полегшие. Симонов видел, как это было. Помнил об этом всю свою жизнь. И однажды обмолвился, что хотел бы, чтобы прах его был развеян на поле боя под Могилевом.

* * *

...Симонов много видел и много всего пережил. И если уж так запал ему в душу кусок земли на подступах к Могилеву, то, видно, были на это причины немаленькие. И это действительно так.

Я беседовал с Константином Михайловичем незадолго до его смерти. Перебрали многое, что пришлось пережить на войне и после войны, и было заметно: все, что касалось июня — июля 41-го, и особенно всего, что было пережито под Могилевом, его очень волновало. Читая книги его, статьи, вспоминая его беседы и публичные речи, многие могут заметить: слово М о г и л е в непременно всюду нет-нет да всплывет, и непременно в почетном ряду названий, в ряду таких славных мест, как Москва, блокадный Ленинград, Сталинград, Курская дуга, Севастополь, Одесса...

Оборона Могилева была героической. Город сражался в кольце врагов, когда оставлены были Минск и Смоленск, — сражался, зная, что обречен. Слава его заслуженная. Однако была у Симонова и личная приязнь к этому древнему белорусскому городу, к могилевским полям, лесам и дорогам. Обращаясь к опубликованным теперь военным дневникам писателя, отчетливо видишь причину этой приязни.

В 1941 году Константину Симонову было двадцать пять лет. За Могилев, к линии фронта, военным корреспондентом он прибыл к пятому дню войны. Каким он был, этот совсем еще молодой человек, уже известный, впрочем, как автор только что пошедшей пьесы «Парень из нашего города», известный как поэт? «Шинель была хорошо пригнана, ремни скрипели, и мне казалось, что вот таким я всегда буду. Не знаю, как другие, а я, несмотря на Халхин-Гол, в эти первые два дня настоящей войны был наивен, как мальчишка». Это из дневника. И там же, через пять-шесть страниц: «Две недели войны были так непохожи на все, о чем мы думали раньше. Настолько непохожи, что мне казалось: я и сам уже не такой, каким уезжал 24 июня из Москвы». Таково потрясение, пережитое на могилевской и смоленской земле. Это все тогда пережили. Симонов надолго это сохранил — в памяти, в дневниках. Нельзя без волнения читать страницы записок о выходивших из окружений, о беженцах на дорогах, о самолетах над дорогами, о танках, вдруг прорывавшихся в тыл отступающим, об июльской пыльной жаре, неразберихе, путанице, об ощущении огромного горя, которое разом обрушилось и которое разрасталось.

Общее горе сближает людей. Это известно. Но и место, где горе превозмогалось, тоже становится особо дорогим человеку. Пробираясь на драном пикапе по проселкам Могилевщины

и Смоленщины (большаки уже заняты были шедшими на восток танками!), молодой горожанин, корреспондент столичной и армейской газет, впервые близко увидел деревню, деревенскую жизнь, деревенских людей. И в душе его проросли до этих дней дремавшие в зернах чувства. «Я понял, насколько сильно во мне чувство Родины, насколько я чувствую эту землю своей и как глубоко корнями ушли в нее все эти люди, которые живут на ней... Было чувство острой жалости и любви ко всему находившемуся здесь: к этим деревенским избам, к женщинам, к детям, играющим возле дороги, к траве, к березам, ко всему русскому, мирному, что нас окружало и чему недолго оставалось быть таким, каким оно было сегодня». Это из дневника, опубликованного недавно. А тогда, в 41-м, чувства, пробужденные на могилевско-смоленской земле, были выражены в стихах. В сильных стихах.

Ты знаешь, наверное, все-таки Родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на проселках свела.

Это часть стихотворения, посвященного А. Суркову.
А вот из другого стихотворения тех же далеких дней:

Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке
И в краткий миг припомнить разом надо
Все, что у нас осталось вдалеке,

Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь Родину —
такую,
Какой ее ты в детстве увидал.

Клочок земли, припавший к трем березам,
Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.

Эти строки и сегодня сжимают сердце. А тогда, в 41-м, 42-м?! В духовной жизни тех дней такие стихи были новой и свежей силой, такой же, как новой конструкции танки и самолеты. Я это знаю не с чьих-то слов. Я помню, как эти стихи в облетевшем осеннем саду нашего прифронтового села читал красноармейцам молоденький лейтенант. Читал не из газеты, не из книжки. Из тетрадки, куда стихи переписаны были

карандашом! И сейчас помню взволнованный голосок лейтенанта: «Кусок земли, припавший к трем березам...», помню, как его слушали, какая была тишина. Мы с приятелем, сидевшие, как воробьи, возле кучки бойцов, украдкой, когда все уже расходились, попросили лейтенанта переписать стихи. Лейтенант внимательно нас оглядел и вдруг вырвал из тетрадки листок: «Возьмите, я это знаю на память». Через два года в школе из книжки я узнал, что запавшие в душу стихи называются «Родина» и написал их К. Симонов.

Очень жалею, что забыл рассказать об этом давнем памятном эпизоде Константину Михайловичу во время нашей долгой беседы весной 1978 года, — тогда я больше спрашивал, а он отвечал. Но это уместно вспомнить сейчас, у камня под Могилевом. Уместно потому, что родник святого, высокого чувства, ощущаемый в этих стихах, пробился сквозь боль и тревогу на могилевско-смоленской земле.

На поле, у которого стоит теперь этот камень, Симонов приезжал не единожды после войны. В большой последней своей работе «Шел солдат...» он прямо говорит об этом памятном для нас месте: «Одному человеку этот мирный сейчас пейзаж ничего не говорит, а для других — это поле боя... Я не был солдатом, был всего-навсего корреспондентом, но и у меня есть кусок земли, который мне век не забыть, — поле под Могилевом, где я впервые видел в июле сорок первого, как наши сожгли тридцать девять немецких танков...»

Сколько сожженной техники пришлось увидеть за годы войны! Но всю жизнь он помнил эти тридцать девять подбитых танков. Случайно ли? Нет. По дневникам мы видим, как тяжело, как мучительно тяжело было переживать неудачи первых недель войны. Человеку нужна, просто необходима была какая-то точка опоры в мыслях и чувствах, попытка глянуть хоть немного вперед, обрести какую-нибудь надежду и написать в газету «не ложь во спасенье», не полуправду, простительную в те драматические дни, а что-то такое, что и другим служило бы точкой опоры, вселяло бы веру. И военный корреспондент такую точку нашел на подступах к Могилеву.

В шести километрах от города на пути немцев оказалась дивизия, которая не отступала, которая сама попятила танки Гудериана. Из дневника узнаем: корреспонденты «Известий» Павел Трошкин и Константин Симонов прибыли в один из полков оборонявшей город дивизии ночью. И об этом приходе лучше, чем записано в дневнике, не расскажешь. «Нас задержали и под конвоем доставили в штаб полка. Из окопа поднялся очень высокий человек и спросил, кто мы такие...

— Какие корреспонденты?! — закричал он. — Какие корреспонденты могут быть здесь в два часа ночи? Кто вас послал? Вот я вас сейчас положу на землю, и будете лежать до рассвета. Я не знаю ваших личностей».

«В те дни, — рассказывал Симонов, — такой прием нас обрадовал. Я сразу почувствовал дисциплину, порядок, уверенность. И не ошибся. Все это было в полку, которым командовал Семен Федорович Кутепов».

За время войны и после нее писатель видел много разных людей — командиров и рядовых. О многих сумел рассказать со знанием военного дела и знанием человеческой сущности. Много разных фамилий. И всюду имя Кутепова стоит у него в самом почетном ряду имен. Так же, как Могилев упоминается рядом с Москвой, Ленинградом, так и Кутепова он решается назвать рядом с очень известными нам именами. Несомненно, тут много личного. Кутепов был первым из командиров, в ком писатель увидел человека знающего, умного, стойкого, храброго. Конечно, имел значение психологический фон, на котором возникла для молодого, пока еще растерянного интеллигента с наганом фигура решительного бойца. Отступление, неразбериха — и вдруг порядок, железная стойкость, и главное — налицо результаты: разбитые танки. Тридцать девять! Стоят почти рядом с окопами на измятом, избитом пшеничном поле. Соблюдая осторожность, можно к ним подойти (немцы рядом, в леске!), как следует их осмотреть, потрогать руками, заснять. Танки, о которых так много было в те дни разговоров тревожных, нередко панических, стоят, разбитые в пух и прах! И тут рядом — люди, только что выдержавшие четырнадцатичасовой бой. Несомненно, навалятся новые танки, но люди тут собранны и спокойны, как и сам командир, сказавший неожиданным в той горячей точке гостям: «Мы так уж решили тут между собой, что бы там кругом ни было, кто бы там ни отступал, а мы стоим вот тут, у Могилева, и будем стоять пока живы».

Менее суток были корреспонденты «Известий» в расположении полка Кутепова. «Беседовали с людьми. Прошли по траншее к подбитым танкам. Трошкин с упоением их снимал и так и эдак. И был, несомненно, замечен из леса немцами — появился над танками «мессершмитт» и начал охоту за Трошкиным, которому пришлось отсидеться под днищем одной из подбитых машин».

Менее суток — срок небольшой, чтобы верно судить о людях. Обстановка, однако, до крайних пределов обнажала тогда человеческую сущность. И Симонов увидел в Кутепове и в людях его полка подлинных героев. Молодому корреспонденту, писателю и поэту еще предстояло рассказывать о войне, и встреча под Могилевом явилась важнейшей точкой опоры, символом веры, успокоением. «Сопротивле-

ние прущему немцу действительно существует, и, несомненно, Кутепов не единичен на всем огромном пространстве войны».

Так оно и было. И люди, полегшие у Могилева, навсегда остались для Симонова образцом мужества. Мы это чувствуем по его дневнику, мы это знаем по тщательным розыскам (не остался ли кто в живых из полка?), по частым упоминаниям в статьях и книгах. Литературный образ Серпилина — собирательный образ, но в основе его лежит личность конкретная — командир 388-го стрелкового полка 172-й дивизии Семен Федорович Кутепов. Помещая портрет полковника в дневниках, Симонов пишет: «В моей памяти Кутепов — человек, который, останься он жив там, под Могилевом, был бы способен на очень многое».

Кутепов и все, кто был с ним рядом, остаться в живых не могли. Корреспонденты «Известий» почувствовали это уже в тот день, когда уезжали с линии обороны. Они и сами на своем помятом пикапе чудом проскочили линию окружения Могилева. Несомненно, Симонов часто думал об этом дне. Отвечая в беседе на мой вопрос: «Что для него, журналиста, было самым тяжелым в войну?» — он сказал: «Уезжать от людей в критической для них ситуации...»

Корреспонденты «Известий» спешили в Москву с бесценной для той поры информацией. 20 июля в газете появился рассказ о сражении под Могилевом.

Я отыскал в архиве тот номер газеты. На пожелтевшей первой странице — большой портрет Сталина (в тот день объявлялось о назначении его Народным Комиссаром Обороны СССР), а внизу, во всю газетную полосу, снимок — панорама подбитых танков. Симонов в дневнике пишет: «У витрин с газетами стояли толпы народа... Это было вполне объяснимо. В сводках Совинформбюро постоянно сообщалось о подбитых немецких танках, число их перевалило за тысячу. Но впервые люди увидели: танки действительно подбивают».

В том же номере «Известий» на третьей странице с пометкой «Действующая армия» напечатан очерк «Горячий день». Это был первый репортаж Симонова с войны. Его, несомненно, с волнением прочли тогда миллионы людей. Но его, скорее всего, не прочли, не могли прочесть люди, которым он посвящался. Возможно, как раз 20 июля они умирали под Могилевом в схватке с новой, свежей колонной танков...

Наверное, этого и довольно, чтобы понять, почему Симонов постоянно помнил о Могилеве и людях, которые его защищали, и почему однажды сказал: «Мое поле там...»

Сам Симонов умер не в бою — в больничной постели. Последнее его деловое распоряжение: «Папка с документами о Жукове — с краю на верхней полке». Об этом человеке он готовился написать...

Он много сделал. Очень много для одной человеческой жизни. Прилежно работал (иногда по двенадцать — пятнадцать часов в сутки!), любил работать, умел хорошо организовать работу. Непрерывность труда была стилем и смыслом жизни. И, возможно, самым печальным днем для этого человека был день в июле 1979 года, когда он почувствовал, что не может работать. В тот день на телеграфном бланке, найденном недавно среди бумаг, возможно, лишь для себя Симонов записал: «Я уже ничего не могу доделать. Что сделано, то сделано, что задумано и не додумано, тоже не в моей власти. Я могу только, если потребуется, привести в порядок неприведенное в него».

Крепким здоровьем он не отличался — за жизнь много раз болел воспалением легких. С температурой 39 он полетел на Даманский. Не жаловался. Говорил: «Война приучила». И оттого, что не жаловался, многим казалось, что износа этому человеку не будет. Но сам он почувствовал этот износ. Незадолго до смерти, как-то вечером, полушутливо стал вдруг считать, сколько же лет ему не по метрике. «Военное время засчитывать надо год за два... Годы сидения над «Живыми и мертвыми» тоже надо удвоить. Этот вот фильм («Шел солдат...») — тоже нелегкая ноша. Словом, мне сейчас — восемьдесят семь». Он улыбнулся, грустно радуясь тому, что жизнь его была плотной, наполненной до краев, и потому ему хотелось считать ее более длинной. А по метрике он не дожил до шестидесяти четырех.

В 1978 году, условившись о беседе для «Комсомолки», я приуныл, узнав, что Константин Михайлович лег в больницу. Но он позвонил с шуткой: «Приезжайте, в больнице тоже можно работать». В больнице же Симонов диктовал ответы на горы писем (за жизнь получил он их многие тысячи и, кажется, не оставил без ответа ни одного). Сразу после больницы он, помню, поехал в Берлин, работал над фильмом, начал новую повесть, собирал документы, наезжая довольно часто в Подольский военный архив. Работал. Вот почему смерть его была для многих ошеломляюще неожиданной. Уже израненный жизнью, он все-таки шел. Шел и упал.

* * *

Могилев, через который война прошла «туда и обратно», давно залечил свои раны. О войне напоминают только названия улиц. Есть среди них улица полковника Кутепова, есть

теперь еще и улица писателя Симонова. Вблизи большой городской площади улицы скрещиваются.

А на шестом километре шоссе, идущего в Бобруйск, след войны сохранился. Заросший ольхою, шиповником, бузиной и волчьим лыком противотанковый ров упирается в берег Днепра. Тут видишь бетонный дот, траншеи на кручах, окопы, пулеметные гнезда, заросшие бурьяном. И по правую сторону от шоссе — то самое поле, то место, где в сорок первом по немецкой броне хлестали снаряды защитников Могилева.

В память тех, кто остался навечно у этого поля, уже много лет стоит обелиск. И чуть в стороне, в разрезе зеленых посадок, с военного вездехода сняли и поставили камень. Это память о человеке, чья жизнь была связана крепко с судьбою тех, которые воевали, — с живыми и мертвыми.

СОДЕРЖАНИЕ

Константин Симонов в воспоминаниях современ-
К 65 **ников:** Сборник. — М.: Советский писатель, 1984. —
608 с.

В этой книге делятся своими воспоминаниями о Константине Михайловиче Симонове (1915—1979) крупные советские и зарубежные писатели, общественные деятели, военачальники, актеры, друзья Симонова.

К $\frac{4702010200-183}{083(02)-84}$ 18-83 **8Р2**

Составители

Лариса Алексеевна ЖАДОВА

Софья Григорьевна КАРАГАНОВА

Евгения Александровна КАЦЕВА

Константин Симонов в воспоминаниях современников

Сборник

М., «Советский писатель», 1984, 608 стр.
План выпуска 1983 г. № 18

Редактор
М. Я. МАЛХАЗОВА

Художественный редактор
Н. С. ЛАВРЕНТЬЕВ

Технические редакторы
Т. С. КАЗОВСКАЯ,
Е. П. РУМЯНЦЕВА

Корректоры
Т. В. МАЛЫШЕВА,
А. В. МУРАВЬЕВА

ИБ № 3700

Сдано в набор 14.03.83. Подписано к печати 24.04.84. А02469. Формат 60×90$^{1}/_{16}$. Бумага тип. № 1. Гарнитура Гельветика. Офсетная печать. Усл. печ. л. 38. Уч.-изд. л. 35,77. Тираж 150000 экз. Заказ № 2136. Цена 2 р. 90 к. Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Калинин, пр. Ленина, 5


Ft. 70.-

2р.90к.